This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 861,165

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

Уважаемой Фредерикѣ Карловнѣ
на долгую память отъ А. Пипикъ

Всеволодъ Гаршинъ.

Garshin, Vsevolod Mikhaĭlovich.

РАЗСКАЗЫ.

Съ біографіею, написанною А. М. Скабичевскимъ,
и тремя портретами.

Изданіе 10-е.
Изданіе Литературнаго Фонда.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія М. М. Стасюлевича. Вас. Остр., 5 лин., 28.
1905.

891.78
G24
1905

3431

24.0446-172

ОГЛАВЛЕНІЕ.

	стран.
Свѣдѣнія о жизни Всеволода Михайловича Гаршина	1
Четыре дня	77
Происшествіе	91
Трусъ	111
Встрѣча	136
Художники	158
Ночь	180
Attalea Princeps	201
То, чего не было	210
Денщикъ и Офицеръ	215
Изъ воспоминаній рядового Иванова	231
Красный Цвѣтокъ	285
Медвѣди	304
Сказка о жабѣ и розѣ	324
Надежда Николаевна	332
Лягушка-путешественница	407
Сказаніе о гордомъ Аггеѣ	413
Сигналъ	424
Боевыя картинки (Аясларское дѣло)	434
Очень коротенькій романъ	451
Петербургскія письма	457

СТРАН.

Статьи по художественной критикѣ:

Новая картинка Семирадскаго „Свѣточи христіанства“. . . . 477

Вторая выставка „Общества выставокъ художественныхъ произведеній 487

Императорская академія художествъ за 1876—1877 учебный годъ 496

Замѣтки о художественныхъ выставкахъ. 507

Стихотворенія 525

СВѢДѢНІЯ О ЖИЗНИ

ВСЕВОЛОДА МИХАЙЛОВИЧА ГАРШИНА.

Первое и главное мѣсто изъ всѣхъ біографическихъ свѣдѣній о Всеволодѣ Михайловичѣ Гаршинѣ должно быть, безспорно, отведено его автобіографической запискѣ, данной имъ С. Аѳ. Венгерову въ концѣ 1884 года. Вотъ что сообщаетъ В. М — чъ въ этой запискѣ о своихъ предкахъ, родителяхъ и первыхъ годахъ своей жизни [1]):

„Родъ Гаршиныхъ — старинный дворянскій родъ. По семейному преданію, нашъ родоначальникъ, мурза Горша или Гарша, вышелъ изъ Золотой Орды при Иванѣ III и крестился. Ему или его потомкамъ были даны земли въ нынѣшней воронежской губерніи, гдѣ Гаршины благополучно дожили до нынѣшнихъ временъ и даже остались помѣщиками въ лицѣ моихъ двоюродныхъ братьевъ, изъ которыхъ я видѣлъ только одного, да и то въ дѣтствѣ. О Гаршиныхъ много сказать не могу. Дѣдъ мой, Егоръ Архиповичъ, былъ человѣкъ крутой, жестокій и властный: поролъ мужиковъ, пользовался правомъ primae noctis и *выливалъ кипяткомъ* фруктовыя деревья непокорныхъ однодворцевъ. Онъ судился всю жизнь съ сосѣдями изъ-за какихъ-то подтоповъ мельницы и къ концу жизни сильно разстроилъ свое крупное состояніе, такъ что отцу моему, одному изъ четверыхъ сыновей и одиннадцати дѣтей, досталось только 70 душъ въ старобѣльскомъ уѣздѣ. Страннымъ образомъ, отецъ мой былъ совершенною противополож-

[1]) См. сборникъ „Красный Цвѣтокъ“, стр. 60.

ностью дѣду: служа въ кирасирахъ (въ Глуховскомъ полку) въ Николаевское время, онъ никогда не билъ солдатъ; развѣ ужъ когда очень разсердится, то ударитъ фуражкой. Онъ кончилъ курсъ въ 1-й московской гимназіи и пробылъ года два въ московскомъ университетѣ на юридическомъ факультетѣ; но потомъ, какъ онъ самъ говорилъ, „увлекся военной службой“ и поступилъ въ кирасирскую дивизію. Квартируя съ полкомъ на Донцѣ и ѣздя съ офицерами по помѣщикамъ, онъ познакомился съ моею матерью, Екатериною Степановною, тогда еще Акимовою, и въ 1848 году женился.

„Ея отецъ, помѣщикъ бахмутскаго уѣзда, екатеринославской губерніи, отставной морской офицеръ, былъ человѣкъ очень образованный и рѣдко хорошій. Отношенія его къ крестьянамъ были такъ необыкновенны въ то время, что окрестные помѣщики прославили его опаснымъ вольнодумцемъ, а потомъ — и помѣшаннымъ. Помѣшательство его состояло, между прочимъ, въ томъ, что въ голодъ 1843 года, когда въ тѣхъ мѣстахъ чуть не полъ-населенія вымерло отъ голоднаго тифа и цынги, онъ заложилъ имѣніе, занялъ денегъ и самъ привезъ „изъ Россіи“ большое количество хлѣба, который и роздалъ голодающимъ мужикамъ, своимъ и чужимъ. Къ сожалѣнію, онъ умеръ очень рано, оставивъ пятерыхъ дѣтей; старшая, моя мать, была еще дѣвочкой; но его заботы о воспитаніи ея принесли плоды, и послѣ его смерти попрежнему выписывались учителя и книги, такъ что ко времени выхода замужъ моя мать сдѣлалась хорошо образованной дѣвушкой, а по тогдашнему времени, и для глухихъ мѣстъ екатеринославской губерніи—даже рѣдко образованной.

„Я родился третьимъ (въ имѣніи бабушки, въ бахмутскомъ уѣздѣ), второго февраля 1855 года, за двѣ недѣли до смерти Николая Павловича. Какъ сквозь сонъ помню полковую обстановку, огромныхъ рыжихъ коней и огромныхъ людей въ латахъ, бѣлыхъ съ голубыми колетахъ и волосатыхъ каскахъ. Вмѣстѣ съ полкомъ мы часто переѣзжали съ мѣста на мѣсто; много смутныхъ воспоминаній сохранилось въ моей

памяти изъ этого времени, но разсказать я ничего не могу, боясь ошибиться въ фактахъ. Въ 1858 году отецъ, получивъ наслѣдство отъ умершаго дѣда, вышелъ въ отставку, купилъ домъ въ Старобѣльскѣ, въ 12 верстахъ отъ котораго было наше имѣніе, и мы стали жить тамъ. Во время освобожденія крестьянъ отецъ участвовалъ въ харьковскомъ комитетѣ членомъ отъ старобѣльскаго уѣзда. Я въ это время выучился читать; выучилъ меня по старой книжкѣ „Современника“ (статьи не помню) нашъ домашній учитель, П. В. Завадскій, впослѣдствіи сосланный—за безпорядки въ харьковскомъ университетѣ — въ Петрозаводскъ и теперь уже давно умершій.

„Пятый годъ моей жизни былъ очень бурный: меня возили изъ Старобѣльска въ Харьковъ, изъ Харькова въ Одессу, оттуда въ Харьковъ и назадъ въ Старобѣльскъ (все это на почтовыхъ, зимою, лѣтомъ и осенью); нѣкоторыя сцены оставили во мнѣ неизгладимое воспоминаніе и, быть можетъ, слѣды на характерѣ. Преобладающее на моей физіономіи печальное выраженіе, вѣроятно, получило свое начало въ эту пору“.

Уже въ этомъ нѣжномъ возрастѣ В. М—чъ началъ обнаруживать свойства, которыя привлекали всѣхъ, знавшихъ его впослѣдствіи. Такъ уже тогда, по словамъ брата его, онъ „былъ необыкновенно красивъ, добръ, кротокъ и пользовался общей любовью всѣхъ окружающихъ“ [1]). Ему было четыре года, когда однажды, при выходѣ изъ церкви, къ матери его подошелъ незнакомый старикъ и замѣтилъ, восхищаясь мальчикомъ:

— Вашъ сынъ удивительно хорошъ, но эта красота не ангельская: болѣе всего онъ напоминаетъ мнѣ Іоанна Крестителя, какъ его изображаютъ съ агнцемъ. Я именно такого видѣлъ за границей, въ дрезденской галереѣ.

Въ особенности прекрасны были его глаза — большіе, свѣтлокаріе, съ длинными рѣсницами. Уже съ дѣтства свѣтились въ нихъ и доброта, и кротость, и какая-то грусть.

---

[1]) „Родникъ“, 1888. № 6, стр. 559.

Вмѣстѣ съ тѣмъ уже въ первые годы его жизни обнаружились въ ребенкѣ крайняя чуткость нервовъ, впечатлительность и чувствительность. Такъ, въ тѣхъ же воспоминаніяхъ брата въ „Родникѣ“ мы читаемъ, что въ Старобѣльскѣ, гдѣ жила семья Гаршиныхъ во время крымской войны, постоянно смѣнялись квартировавшіе тамъ кавалерійскіе полки. Въ домѣ Гаршиныхъ часто бывали офицеры, защитники Севастополя, и разсказы о всѣхъ ужасахъ и подвигахъ севастопольской обороны не прерывались. Жадно прислушивался ребенокъ къ этимъ разсказамъ и такъ наэлектризовался ими, что у него явилось серьезное намѣреніе идти на войну. Нѣсколько разъ собирался онъ въ дорогу: заказывалъ повару на дорогу пирожки, собиралъ бѣлье въ узелокъ, надѣвалъ его на плечи и являлся прощаться съ домашними. Эти прощанія доводили его до горькихъ слезъ, и послѣ немалыхъ увѣщаній онъ соглашался отложить походъ до утра. Проснувшись утромъ, онъ забывалъ о вчерашнемъ, но черезъ нѣсколько времени снова начинались тѣ же сборы на войну.

Согласно со всѣмъ этимъ вспоминаетъ о дѣтскихъ годахъ В. М — ча и дядя его, В. С. Акимовъ [1]). „Я — говоритъ онъ — познакомился со Всеволодомъ въ маѣ 1857 года. Ему было два года. Это былъ забавный бутузъ, только-что начавшій болтать, общій баловень въ семьѣ. Когда онъ начиналъ капризничать, нашъ старый лакей, Дмитрій, пугалъ его „Грицкомъ“, и этотъ фантастическій Грицко приводилъ ребенка въ такой ужасъ, что при одномъ произнесеніи страшнаго имени онъ глоталъ слезы и утихалъ. Помню, что онъ любилъ молиться Богу и усердно поминалъ „дѣдаку“ и „бабаку“ (дѣдушку и бабушку). Часто онъ изображалъ святогорскаго іеродіакона и, надѣвъ на себя простыню въ видѣ мантіи, съ линейкой въ рукѣ, изображавшей свѣчу, прохаживался по комнатамъ, возглашая: „Возстаните!“ Позже, въ началѣ 1860 г., онъ пріѣзжалъ съ матерью ко мнѣ въ Одессу, куда я только-

[1]) „Красный Цвѣтокъ“, стр. 10.

что возвратился изъ лондонскаго плаванія на пароходѣ „Веста“ (впослѣдствіи знаменитомъ). Это былъ уже пятилѣтній мальчикъ, очень кроткій, серьезный и симпатичный, носившійся постоянно съ „Міромъ Божьимъ“ Разина, который онъ оставлялъ только ради излюбленнаго имъ рисованія. У меня до сихъ поръ сохраняются мои замѣтки о плаваніи, совершенно имъ испорченныя изображеніями на каждой страницѣ „Весты“.

Здѣсь встрѣчается маленькое противорѣчіе между сообщеніями дяди и племянника. Такъ, по свидѣтельству В. М—ча, читать выучился онъ во время освобожденія крестьянъ, слѣдовательно, около 1861 года; у А. Акимова же читаемъ, что уже въ началѣ 1860 года онъ видѣлъ племянника постоянно съ „Міромъ Божьимъ“ въ рукахъ. Свидѣтельство А. С. Акимова заслуживаетъ бо́льшаго вѣроятія, какъ воспоминаніе, принадлежащее къ зрѣлому уже возрасту, да и откуда же иначе могло бы взяться въ его памяти представленіе мальчика съ книгою въ рукахъ? Гаршинъ же могъ и сбиться въ годахъ, вспоминая о такомъ нѣжномъ возрастѣ, и къ тому же неизвѣстно, какъ понималъ онъ освобожденіе крестьянъ: появленіе манифеста или вообще весь актъ, начавшійся, какъ извѣстно, съ 1858 года?

Какъ бы то ни было, но съ пятилѣтняго возраста мы видимъ уже В. М—ча грамотнымъ, и, какъ ребенокъ крайне любознательный, онъ съ жадностью набросился на книги, сразу раскрывшія передъ нимъ цѣлый невѣдомый ему міръ. Вотъ какъ вспоминаетъ онъ о періодѣ своей жизни съ пяти до восьми лѣтъ [1]):

„Старшихъ братьевъ отправили въ Петербургъ; матушка поѣхала съ ними, а я остался съ отцомъ. Жили мы съ нимъ то въ деревнѣ, въ степи, то въ городѣ, то у одного изъ моихъ дядей въ старобѣльскомъ уѣздѣ. Никогда, кажется, я не перечиталъ такой массы книгъ, какъ въ три года жизни съ отцомъ, отъ пяти до восьмилѣтняго возраста. Кромѣ раз-

[1]) „Кр. Цвѣт.“, стр. 62.

ныхъ дѣтскихъ книгъ (изъ которыхъ особенно памятенъ мнѣ превосходный „Міръ Божій“ Разина), я перечиталъ все, что могъ едва понимать, изъ „Современника“, „Времени“ и другихъ журналовъ за нѣсколько лѣтъ. Сильно на меня подѣйствовала Бичеръ-Стоу („Хижина дяди Тома“ и „Жизнь негровъ“). До какой степени свободенъ былъ я въ чтеніи, можетъ показать фактъ, что я прочелъ „Соборъ парижской Богоматери“ Гюго въ семь лѣтъ и, перечитавъ его въ двадцать пять, не нашелъ ничего новаго, а „Что дѣлать“ читалъ по книжкамъ въ то самое время, когда Чернышевскій сидѣлъ въ крѣпости. Это раннее чтеніе было, безъ сомнѣнія, очень вредно. Тогда же я читалъ Пушкина, Лермонтова („Герой нашего времени“ остался совершенно непонятнымъ, кромѣ Бэлы, о которой я горько плакалъ), Гоголя и Жуковскаго“.

Вотъ все, что намъ извѣстно о первомъ періодѣ жизни В. М—ча, о годахъ дѣтства, проведенныхъ имъ въ провинціи. На девятомъ году послѣдовалъ полный переворотъ въ его жизни: онъ былъ перевезенъ въ столицу и вслѣдъ затѣмъ отданъ въ одну изъ петербургскихъ гимназій. Вотъ какъ самъ онъ вспоминаетъ объ этомъ событіи, равно какъ о своихъ гимназическихъ годахъ [1]):

„Въ 1863 году матушка пріѣхала за мною изъ Петербурга и увезла съ собою. 15-го августа въѣхали мы въ него послѣ путешествія изъ Старобѣльска до Москвы на перекладныхъ и отъ Москвы по желѣзной дорогѣ; помню, что Нева привела меня въ неописанный восторгъ (мы жили на Вас. остр.), и я началъ даже съ извозчика сочинять къ ней стихи съ рифмами „широка“ и „глубока“. Съ тѣхъ поръ я — петербургскій житель, хотя часто уѣзжалъ въ разныя мѣста.

„Въ 1864 году меня отдали въ 7-ю спб. гимназію, въ 12 лин. Вас. остр. Учился я вообще довольно плохо, хотя не отличался особенною лѣностью: много времени уходило на постороннее чтеніе. Во время курса я два раза болѣлъ и

---

[1]) „Кр. Цвѣт.“, стр. 62—64.

разъ остался въ классѣ по лѣности, такъ что семилѣтній курсъ для меня превратился въ десятилѣтній, что́, впрочемъ, не составило для меня большой бѣды, такъ какъ я поступилъ въ гимназію девяти лѣтъ. Хорошія отмѣтки я получалъ только за русскія „сочиненія“ и по естественнымъ наукамъ, къ которымъ я чувствовалъ сильную любовь, не умершую до сихъ поръ, но не нашедшую себѣ приложенія. Математику искренно ненавидѣлъ, хотя трудна она мнѣ не была, и старался, по возможности, избѣгать занятій ею. Наша гимназія въ 1866 году была преобразована въ реальную гимназію и долго служила образцовымъ заведеніемъ для всей Россіи (теперь она 1-е реальное училище). Мнѣ рѣдко случалось видѣть воспитанниковъ, которые сохранили бы добрую память о своемъ учебномъ заведеніи; что касается до 7-й гимназіи, то она оставила во мнѣ самыя дружелюбныя воспоминанія. Къ В. О. Эвальду (директоръ въ мое время, директоръ и теперь) я навсегда, кажется, сохраню хорошія чувства. Изъ учителей я съ благодарностью вспоминаю В. П. Геннинга (словесность) и М. М. Федорова (ест. исторія); послѣдній былъ превосходный человѣкъ и превосходный учитель, къ сожалѣнію, погубленный рюмочкой. Онъ умеръ нѣсколько лѣтъ тому назадъ.

„Начиная съ 4-го класса, я началъ принимать участіе (количественно, впрочемъ, весьма слабое) въ гимназической литературѣ, которая одно время у насъ пышно цвѣла. Одно изъ изданій, „Вечерняя Газета“, выходило еженедѣльно аккуратно въ теченіе года. Сколько помню, фельетоны мои (за подписью „Агасферъ“) пользовались успѣхомъ. Тогда же я, подъ вліяніемъ „Иліады“, сочинилъ поэму (гекзаметромъ) въ нѣсколько сотъ стиховъ, въ которой описывался нашъ гимназическій бытъ, преимущественно — драки.

„Будучи гимназистомъ, я только первые три года жилъ въ своей семьѣ. Затѣмъ мы съ старшими братьями жили на отдѣльной квартирѣ (имъ было тогда 16 и 17 лѣтъ); слѣдующій годъ прожилъ у своихъ дальнихъ родственниковъ.

потомъ былъ пансіономъ въ гимназіи; два года жилъ въ семьѣ знакомыхъ петербургскихъ чиновниковъ и наконецъ былъ принятъ на казенный счетъ. Передъ концомъ курса я выдержалъ тяжкую болѣзнь, отъ которой едва спасся послѣ полугодового леченія. Въ это же время застрѣлился мой второй братъ".

Вопреки свидѣтельству В. М—ча о томъ, что онъ учился въ гимназіи плохо, Я. В. Абрамовъ, въ своемъ собраніи матеріаловъ для біографіи В. М. Гаршина [1]), утверждаетъ, что „учился В. М. хорошо и оставилъ самыя пріятныя воспоминанія въ своихъ учителяхъ и воспитателяхъ". Противорѣчіе это очень легко разрѣшается тѣмъ соображеніемъ, что В. М—чу могло казаться, что онъ учится плохо, просто потому, что при блестящихъ способностяхъ ему не приходилось на приготовленіе уроковъ тратить много времени; но это не мѣшало ему производить на учителей впечатлѣніе отличнаго ученика. Будучи любимцемъ гимназическаго начальства, онъ пользовался общею симпатіею и со стороны товарищей. „Среди товарищей, по словамъ Я. В. Абрамова, онъ съ первыхъ же лѣтъ пріобрѣлъ много друзей, съ которыми и поддерживалъ затѣмъ самыя задушевныя отношенія до самой смерти. Въ томъ возрастѣ въ немъ уже ярко проявлялись всѣ тѣ прелестныя черты его характера, которыя позднѣе невольно очаровывали и покоряли всякаго, имѣвшаго съ нимъ какое либо дѣло: его необычайная мягкость въ отношеніяхъ къ людямъ, глубокая справедливость, уживчивость, строгое отношеніе къ себѣ, скромность, отзывчивость на горе и радость ближняго и многое другое".

Вотъ что сообщаетъ о Гаршинѣ, какъ гимназистѣ, товарищъ его, М. Малышевъ, знавшій его съ 1865 года, когда Гаршинъ перешелъ изъ перваго класса во второй [2]).

„Онъ былъ мальчикъ необыкновенно скромный, но веселый, уживчивый, и чудесный товарищъ, и хотя я не отли-

[1]) Памяти В. М. Гаршина, Худ.-лит. сб., стр. 2.
[2]) Ibid., стр. 124.

чался всѣми этими качествами, но мы съ нимъ подружились и до самой трагической кончины Гаршина жили душа въ душу. Разъ только нашла тучка на нашу дружбу, да и то кругомъ виноватъ былъ я, и Вс. Мих. разсердился больше по принципу. Я былъ пансіонеромъ, а Вс. Мих. приходящимъ; насъ, пансіонеровъ, кормили не важно, а для здороваго, сильнаго шалуна даже очень мало, почему я частенько бывалъ впроголодь. Гаршинъ же, приходя въ училище, ежедневно приносилъ съ собою завтракъ — и вотъ разъ, въ особенно плохую минуту, я напалъ на него, отнялъ завтракъ и съѣлъ. Это грубое насиліе страшно возмутило Вс. М—ча, и мнѣ стоило большихъ усилій, признавъ всю неблаговидность моего поступка, примириться съ нимъ. Это — наша единственная ссора за всѣ двадцать три года дружбы.

„Частенько, вспоминая годы дѣтства и дойдя до этого эпизода, В. М—чъ не могъ не прибавить: „А все же, сознайся, это было подло!“

„Изъ всѣхъ, знавшихъ покойнаго В. М—ча, врядъ ли найдется кто, могущій сказать дурное объ этомъ глубоко честномъ, миломъ и хорошемъ человѣкѣ. Вмѣстѣ съ нравственными, уже въ гимназическіе годы, начали обнаруживаться въ В. М—чѣ и тѣ умственныя качества, которыя поражали всѣхъ знавшихъ его: его вдумчивое отношеніе ко всему видѣнному, слышанному и читанному, способность быстро схватывать сущность дѣла и находить разрѣшеніе вопроса, видѣть въ предметѣ тѣ стороны, которыя обыкновенно ускользаютъ отъ вниманія другихъ, оригинальность выводовъ и обобщеній, способность быстро и легко пріискивать доводы и аргументы въ подкрѣпленіе своихъ воззрѣній, умѣнье находить связь и зависимость между предметами, какъ бы они затемнены ни были, и пр.“.

Вотъ въ какомъ видѣ изображаетъ В. М—ча Н. В. Рейнгардтъ, видѣвшій его въ началѣ 1866 г., т.-е. когда Гаршину было еще всего 11 лѣтъ [1]).

[1]) „Кр. Цвѣт.“, стр. 54—57.

„Помню, мнѣ нравились въ маленькомъ Всеволодѣ любознательность и основательное знаніе тѣхъ предметовъ, съ которыми онъ успѣлъ познакомиться. Онъ очень любилъ естественныя науки и сильно интересовался ими. Пользуясь полной свободой, проводя часто время со взрослыми, онъ не былъ похожъ на тѣхъ дѣтей, которыя любятъ корчить большихъ, вмѣшиваться въ разговоры, резонерствовать. Ничего подобнаго у него не было. Онъ былъ добрымъ, милымъ ребенкомъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, очень умнымъ. Впрочемъ, я помню, какъ онъ однажды вмѣшался въ разговоръ взрослыхъ, но это вмѣшательство было необходимо и вышло само собой. Какъ-то вечеромъ собралось у Екатерины Степановны нѣсколько знакомыхъ, между которыми были довольно извѣстныя въ интеллигентныхъ кружкахъ лица. Мы съ Всеволодомъ сидѣли въ сторонѣ и о чемъ-то вполголоса толковали. По какому-то поводу одна дама, очень образованная и начитанная особа, задала вопросъ: почему такъ легко подымается якорь изъ воды, между тѣмъ какъ онъ такъ крѣпко держится на днѣ, что скорѣе лопнетъ во время бури якорная цѣпь, чѣмъ сдвинется корабль? Изъ присутствующихъ никто не могъ дать отвѣтъ; одинъ очень образованный господинъ замѣтилъ между прочимъ, что надо спросить моряка. Услышавъ это, Всеволодъ всталъ съ своего мѣста и подошелъ туда, гдѣ шелъ разговоръ объ якорѣ. — „Вотъ почему его такъ легко поднять“, обратился онъ къ вопрошавшей особѣ, и затѣмъ объяснилъ весьма просто и наглядно способъ подъема якоря. Оказалось, что образованные люди, изучавшіе физику и много разъ вѣроятно видѣвшіе поднятіе якоря, не могли дать объясненія относительно очень простого и обыкновеннаго явленія, которое объяснилъ гимназистъ 3-го или 4-го класса (на самомъ дѣлѣ второго).

„В. М—чъ, насколько я успѣлъ замѣтить, былъ вполнѣ самостоятельной натурой. Эта самостоятельность, какъ мнѣ казалось тогда, выражалась въ томъ, что на него не имѣла никакого вліянія окружающая обстановка. Вообще дѣти, ко-

торымъ предоставлена полная свобода, являются часто вѣрнымъ отраженіемъ всего окружающаго; они повторяютъ слова, фразу, которыя приходится имъ слышать, стараются интересоваться тѣмъ, чѣмъ интересуются взрослые. В. М—чъ представлялъ, по моему мнѣнію, въ этомъ отношеніи нѣчто особенное: онъ жилъ какъ будто въ другомъ мірѣ. Да и дѣйствительно, у него былъ свой маленькій міръ, который заключался въ книжкахъ, рисункахъ, различныхъ вещицахъ, небольшихъ естественно-историческихъ коллекціяхъ — кажется, если не ошибаюсь, имъ самимъ составленныхъ — и этотъ маленькій міръ сосредоточивалъ въ себѣ все его вниманіе, всѣ его созерцательныя способности, отвлекая мысли отъ окружающихъ явленій".

Страсть къ естествознанію и наблюденіямъ явленій природы въ особенности проявлялась въ В. М—чѣ лѣтомъ, въ деревнѣ. По цѣлымъ днямъ бродилъ онъ по окрестностямъ, то собирая грибы, то возясь съ лягушками, ящерицами и жуками. Однажды онъ распоролъ брюхо лягушкѣ, разсмотрѣлъ ея внутренности, затѣмъ аккуратно зашилъ, приложилъ деревяннаго масла, обвязалъ тоненькимъ бинтикомъ, и лягушка послѣ этого ускакала [1]). Особенно же любилъ онъ составлять гербаріи. Страсть собирать растенія онъ сохранилъ до конца жизни.

Когда В. М—чъ былъ въ среднихъ классахъ гимназіи, родные его переселились на югъ, и онъ сталъ жить въ семьѣ одного изъ товарищей по гимназіи, В. И. Афанасьева, пріѣзжая на лѣтнія каникулы къ роднымъ въ Старобѣльскъ или въ Харьковъ, что продолжалось до 1877 года, до поступленія его въ армію, при чемъ ему приходилось иногда путешествовать одному, безъ провожатыхъ, даже тринадцатилѣтнимъ ребенкомъ. Въ это время онъ образовалъ съ нѣсколькими товарищами нѣчто въ родѣ общества для составленія библіотеки. Средства на покупку книгъ добывались

[1]) См. „Родникъ" 1888 г., № 6, стр. 559.

самыми разнообразными способами: собирались членскіе взносы и добровольныя пожертвованія, туда же шли деньги, отпускаемыя на завтракъ или выручаемыя отъ продажи въ мелочныя лавочки старыхъ тетрадокъ. Не было въ Петербургѣ букиниста, которому В. М—чъ со своими сочленами не надоѣли бы, разыскивая разрозненныя книги старыхъ журналовъ. Собранныя книги разрывались, и изъ нихъ составлялись цѣлые романы, повѣсти и пр., и все это переплеталось экономическимъ способомъ: кое-что изъ переплетныхъ инструментовъ было пріобрѣтено, а остальное замѣнялось домашнею утварью [1]).

Въ старшихъ классахъ гимназіи начались уже, какъ мы выше видѣли, первыя попытки сочинять. Отъ этого времени сохранилось небольшое сочиненіе В. М—ча, поданное имъ въ 1872 году учителю словесности и обнаруживающее уже всѣ признаки его таланта. Приводимъ цѣликомъ это первое, дѣтское проявленіе творчества В. М—ча [2]).

Смерть.

Я прочелъ „Смерть“ Тургенева и не могу не согласиться съ нимъ, что русскій человѣкъ умираетъ *удивительно*. Другого слова не подберешь. Припомните смерть Максима, обгорѣвшаго мельника, Авенира Сорокоумова — какъ они умирали; тихо, спокойно, какъ будто исполняя свою непремѣнную обязанность. И развѣ это не обязанность?

Помню и я смерть близкаго мнѣ дорогого человѣка, Е. Ф. Ф. Часто, бывало, сажалъ онъ меня въ своей комнатѣ и заставлялъ слушать докучные разсказы о томъ, откуда происходитъ слово *серьга* (не помню уже откуда, кажется, съ языка фризовъ или бетовъ), что ни одному филологу доподлинно неизвѣстно происхожденіе слова *хорошо*. Былъ онъ человѣкъ маленькій, крайне некрасивый, съ такимъ же земляным цвѣтомъ лица, какой былъ у Авенира Сорокоумова. Былъ онъ записнымъ филологомъ; писалъ диссертаціи на магистра, ѣздилъ и къ Костомарову, и къ Срезневскому, которые признавали въ немъ глубоко ученаго языковѣда. Умеръ Е. Ф.—и вся его ученость канула въ Лету. Но не въ томъ дѣло; я взялся описывать его смерть.

Е. Ф. страдалъ болѣзнью, погубившею много добрыхъ и умныхъ, сильныхъ и слабыхъ людей. Онъ страшно пилъ. Когда я жилъ вмѣстѣ съ нимъ

[1]) Сб. Памяти Г., стр. 6—8.
[2]) Ibid., стр. 6.

на дачѣ въ 1866 году, однажды онъ попросилъ у меня пучекъ соломы; я принесъ. Е. Ф. молча перерѣзалъ ее въ трубочки вершка по три и спряталъ ее въ столъ. Скоро я узналъ, для какого страшнаго употребленія предназначаются эти трубочки; онъ тянулъ черезъ нихъ вино. Конечно, я утащилъ несчастную солому и забросилъ ее въ рѣку.

Это было лѣтомъ 1866 г., когда въ Петербургѣ и по его окрестностямъ страшно свирѣпствовала холера. Соломинки помогли ей убить Е. Ф. Онъ заболѣлъ, нашъ докторъ И. П. Б. вылечилъ его отъ холеры, но не спасъ отъ воспаленія въ кишкахъ и печени. Черезъ мѣсяцъ послѣ начала болѣзни Е. Ф. пришлось очень плохо. Онъ умеръ въ сентябрѣ, въ дождливый вечеръ. Онъ лежалъ на постели; его густые волосы падали на липкій, зеленоватый лобъ, покрытый каплями пота. Тѣло исхудало страшно, на ребрахъ осталась одна кожа; на ногахъ и на спинѣ были пролежни. На столикѣ предъ нимъ горѣли двѣ лампады (онъ уже жаловался на недостатокъ свѣта), стояли лекарства, лежали его любимыя нѣмецкія книжки, да тетрадь съ диссертаціей. Я сидѣлъ въ углу комнаты и смотрѣлъ на сцену съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ. Какъ ни любилъ я моего Е. Ф., какъ ни былъ привязанъ къ нему, но зная, что черезъ четверть часа онъ умретъ, я уже не жалѣлъ о немъ. Это не была холодность или равнодушіе: я уже отпѣлъ и похоронилъ своего больного друга; передо мной лежалъ просто умирающій человѣкъ, а я видѣлъ смерть еще въ первый разъ. Надъ больнымъ склонился его другой другъ, бывшій товарищъ. Далеко теперь ужъ онъ, за Атлантическимъ океаномъ, но какъ теперь помню его блѣдное, страдающее за больного лицо. Всѣ мои воспоминанія объ этомъ человѣкѣ касаются только смерти Е. Ф.

Больной лежалъ почти неподвижно, только губы шептали что-то, изрѣдка произнося слова. Его другъ уговаривалъ его причаститься. Е. Ф. жилъ атеистомъ и хотѣлъ умереть такъ, какъ жилъ. Послали за священникомъ; онъ пришелъ. Это былъ высокій, худощавый человѣкъ въ широкой расѣ, со строгимъ, худымъ греческимъ профилемъ и симпатичнымъ лицомъ. Онъ наклонился надъ кроватью; Е. Ф. отрицательно покачалъ головой. „Не надо“ — тихо произнесъ онъ. „Ужъ пора бы“ — сказалъ священникъ. Другъ бросился уговаривать больного, говоря, что четверть часа, и онъ умретъ. Е. Ф. серьезно слушалъ сначала, потомъ на лицѣ его появилась широкая, добродушная улыбка. „Какой ты странный, Лева! Всю жизнь былъ умнымъ человѣкомъ, а теперь глупость говоришь. Ну, умру,—ну, что же такое? Пора и на покой; жаль только—диссертацію не кончу“. Все это онъ говорилъ шопотомъ; послѣднія слова были слышны только Левѣ и мнѣ (я подошелъ къ кровати). „Дописалъ бы ты ее... охъ, да вѣдь ты математикъ“, какъ бы вспомнилъ онъ. Онъ замолчалъ; наступила долгая, томительная тишина.

Священникъ началъ исповѣдывать. — „Уйдите, батюшка, пожалуйста; Лева, попроси батюшку уйти“. — „Да причастись ты, Бога ради, отца-то успокой!“ Е. Ф. не отвѣчалъ, наконецъ, онъ выговорилъ уже съ трудомъ: „Дайте свѣчку, темно... уже пора зажигать“. Подали свѣчей. Вдругъ больной оживился, приподнялся даже, схватилъ Леву за руку и сказалъ ему: „А если reine Glaube...“ Онъ не кончилъ, и упалъ мертвый на подушку. Я заплакалъ. Лева зарыдалъ, какъ ребенокъ... Священникъ какъ-то странно смутился и поспѣшно сталъ снимать съ себя епитрахиль. На лицѣ мертваго

осталось странное выраженіе; ни испуга, ни боли душевной, ничего на немъ не было: оно было спокойно

...И страненъ
Былъ томный лікъ его чела.

Его похоронили на Волковомъ кладбищѣ. Отцу написали, что сынъ умеръ какъ христіанинъ. На могилѣ поставили маленькій памятникъ, окруженный другими, подъ которыми лежатъ люди, умершіе такимъ же страннымъ образомъ, какъ Е. Ф. Такъ же умерли и Тургеневскіе Максимъ, мельникъ, Авенировъ, старушка-помѣщица. Ни бравурства, ни горести, ни страха не увидите вы на лицѣ умирающаго русскаго человѣка: въ послѣднюю минуту жизни онъ будетъ заботиться о своихъ дѣлахъ, о какой-нибудь коровѣ, о томъ, чтобы заплатить священнику за свою отходную. Вѣрующій былъ человѣкъ—онъ точно обрядъ надъ собой совершитъ; невѣрующій умретъ въ большинствѣ случаевъ безъ сознательнаго раскаянія, не отступивъ отъ того, за что онъ стоялъ передъ самимъ собою всю жизнь, что досталось ему послѣ тяжкой борьбы.

На этомъ сочиненіи учитель словесности выставилъ отмѣтку $4^1/_2$.

Въ концѣ 1872 года начали обнаруживаться у В. М—ча признаки того психическаго недуга, о которомъ онъ говоритъ въ своей автобіографической запискѣ. Болѣзнь началась съ того, что онъ обратилъ квартиру старшаго брата Виктора въ средоточіе разнообразныхъ естественнонаучныхъ занятій и опытовъ, всецѣло погрузившись въ нихъ и придавая имъ міровое значеніе; занялся, между прочимъ, гальванопластикой, устройствомъ химической лабораторіи, проведеніемъ въ квартиру газа и много др. Увѣренный въ чрезвычайной важности своихъ занятій, онъ увлекъ ими и многихъ изъ своихъ товарищей; всѣмъ и каждому изъ взрослыхъ разъяснялъ значеніе своихъ затѣй и въ особенности энергично нападалъ на директора гимназіи, желая и его привлечь на свою сторону. Его странности, крайне нервное возбужденіе, припадки наконецъ обратили на себя общее вниманіе и заставили помѣстить его въ больницу св. Николая. Здѣсь онъ первое время велъ себя сравнительно спокойно и пользовался полной свободой, перевезъ сюда свою лабораторію и всѣ инструменты, задумалъ у другихъ больныхъ учиться музыкѣ, англійскому языку, говоря, что и во время леченія нельзя терять даромъ

время. Скоро, однако, недугъ его усилился. Болѣзнь шла crescendo, и въ началѣ 1873 года онъ былъ уже настолько боленъ, что къ нему не всегда пускали навѣщавшихъ его. Иногда на него находили минуты просвѣтлѣнія, и онъ вспоминалъ все, что̀ дѣлалъ въ періоды безумія. Мало-по-малу здоровье его возстановилось. Оставались лишь нервные припадки по ночамъ. Тогда его помѣстили въ лечебницу д-ра Фрея, гдѣ разумное лѣченіе оправило его, и лѣтомъ 1873 г. онъ совершенно выздоровѣлъ [1]).

Въ слѣдующемъ, 1874 году, В. М—чъ успѣшно окончилъ курсъ училища и поступилъ въ Горный институтъ. Вотъ какъ объясняетъ онъ свое поступленіе въ это техническое училище въ своей автобіографической запискѣ [2]):

„Не имѣя возможности [3]) поступить въ университетъ, я думалъ сдѣлаться докторомъ. Многіе изъ моихъ товарищей (предыдущихъ выпусковъ) попали въ медицинскую академію, и теперь доктора. Но какъ разъ ко времени моего окончанія курса, Д—въ подалъ записку покойному государю, что вотъ, молъ, реалисты поступаютъ въ медицинскую академію, а потомъ проникаютъ изъ академіи въ университетъ. Тогда было приказано реалистовъ въ доктора не пускать. Пришлось выбирать какое-нибудь изъ техническихъ заведеній: я выбралъ то, гдѣ поменьше математики—Горный институтъ“...

Въ институтѣ В. М—чъ удѣлялъ горнымъ наукамъ лишь столько времени, сколько было это необходимо, чтобы слѣдить за курсомъ. Главное же вниманіе его было теперь обращено на развитіе своего таланта и подготовленіе къ литературной дѣятельности, призваніе къ которой окончательно къ этому времени овладѣло имъ. Какое серьезное значеніе придавалъ онъ этимъ трудамъ, видно изъ письма его, которое онъ писалъ лѣтомъ изъ Харькова, куда ѣздилъ на каникулы,

[1]) Сб. Пам. Г., стр. 9—10.
[2]) „Кр. Цвѣт.“, стр. 64.
[3]) Вслѣдствіе того, что училище, гдѣ учился В. М., было реальное, не дававшее правъ на поступленіе въ университетъ.

А. Я. Герду, съ которымъ познакомился еще въ гимназіи, благодаря одному изъ товарищей, В. М. Латкину, и которому онъ былъ обязанъ, какъ самъ выражался, болѣе чѣмъ кому нибудь другому, въ дѣлѣ умственнаго и нравственнаго развитія:

„Дѣлаю довольно мало; это касается институтскихъ занятій; вообще же сижу за столомъ цѣлое утро и исписываю весьма значительное количество бумаги. То, что я пишу, очень интересуетъ меня и, будучи близко моему сердцу, доставляетъ хорошія минуты. Мои литературные замыслы очень широки, и я часто сомнѣваюсь въ томъ, смогу ли исполнить поставленную задачу. То, что написано, по-моему, удачно; само собой разумѣется, что я не могу не быть пристрастнымъ, несмотря на самое строгое и недовѣрчивое отношеніе къ своимъ силамъ... Но если я буду имѣть успѣхъ?!. Дѣло въ томъ (это я чувствую), что только на этомъ поприщѣ я буду работать изо всѣхъ силъ, стало быть, успѣхъ — вопросъ въ моихъ способностяхъ, и вопросъ, имѣющій для меня значеніе вопроса жизни и смерти. Вернуться ужъ я не могу. Какъ вѣчному жиду, голосъ какой-то говоритъ: „Иди, иди“, такъ и мнѣ что-то суетъ перо въ руки и говоритъ: „Пиши и пиши“. Не подумайте, что это заставитъ меня бросить ученье. Нѣтъ, я очень хорошо знаю, что будь я семи пядей во лбу, курсъ даже и Горнаго института мнѣ необходимъ: вѣдь я совершеннѣйшій еще невѣжда“...

Въ 1876 году В. М—чъ впервые выступилъ въ печати, напечатавъ гдѣ-то маленькій разсказъ [1]), но В. М. не придавалъ значенія этому своему дебюту и упорно умалчивалъ о немъ. Не любилъ говорить онъ и о своихъ трехъ статьяхъ о художественныхъ выставкахъ, помѣщенныхъ имъ въ теченіе 1877 года въ „Новостяхъ“. Этими своими статьями В. М—чъ, безспорно, былъ обязанъ своему сближенію съ кружкомъ художниковъ, которое послѣдовало какъ разъ въ

[1]) Сб. Пам. Гарш., стр. 13 и 77.

это время. Вотъ что мы читаемъ объ этомъ въ воспоминаніяхъ г. М. Малышева [1]):

„Кончивъ гимназію и поступивъ въ Горный институтъ, В. М. сблизился съ кружкомъ молодыхъ художниковъ и сталъ непремѣннымъ членомъ ихъ сборищъ. На этихъ собраніяхъ, „пятницахъ", читались впервые нѣкоторыя изъ произведеній его, обсуждались и комментировались, а такъ какъ тѣсная дружба царила между членами кружка, то и мнѣнія, иногда, правда, нелѣпыя, бывали всегда искренни. Споры объ искусствѣ не умолкали, и В. М—чъ горячо, горячѣе многихъ художниковъ, ратовалъ за искусство, какъ служеніе высшимъ идеаламъ добра и правды, и этому искусству оставался вѣренъ всю свою жизнь. Дружбу и симпатію къ нѣкоторымъ членамъ этого кружка онъ сохранилъ до самой своей смерти, и воспоминаніе о „пятницахъ" всегда было однимъ изъ лучшихъ его юношескихъ воспоминаній".

Живя вмѣстѣ со своими пріятелями въ области художественныхъ интересовъ, В. М—чъ, конечно, не могъ упустить изъ вниманія бывшую въ 1874 г. въ Петербургѣ и надѣлавшую не мало шума выставку картинъ Верещагина; картины эти произвели на него такое потрясающее впечатлѣніе, что онъ выразилъ его стихами. Считаемъ не лишнимъ привести эти стихи цѣликомъ, какъ весьма важный біографическій матеріалъ:

Толпа мужчинъ, дѣтей и дамъ нарядныхъ
Тѣснится въ комнатахъ парадныхъ,
И, шумно проходя, болтаетъ межъ собой:
„Ахъ, милая, постой!
Regarde, Lili,
Comme c'est joli!
Какъ это мило и реально,
Какъ нарисованы халаты натурально!"
„Какая техника!—толкуетъ господинъ
Съ очками на носу и съ знаніемъ во взорѣ—
Взгляните на песокъ: что стоитъ онъ одинъ!
Дѣйствительно, пустыни море
Какъ будто солнцемъ залито,

[1]) Сб. П. Гарш., стр. 124.

И лица недурны!..“ Не то
Увидѣлъ я, смотря на эту степь, на эти лица:
Я не увидѣлъ въ нихъ эффектнаго эскиза,
Увидѣлъ смерть, услышалъ вопль людей,
Измученныхъ убійствомъ, тьмой лишеній...
Не люди то, а только тѣни
Отверженниковъ родины своей.
Ты предала ихъ, мать! Въ глухой степи—одни,
Безъ хлѣба, безъ глотка воды гнилой,
Изранены врагами, всѣ они
Готовы пасть, пожертвовать собой.
Готовы биться до послѣдней крови
За родину, лишившую любови,
Пославшую на смерть своихъ сыновъ...
Кругомъ—песчаный рядъ холмовъ,
У ихъ подножія—орда свирѣпая кольцомъ
Объяла горсть героевъ. Нѣтъ пощады!
Къ нимъ смерть стоитъ лицомъ!..
И, можетъ быть, они ей рады;
И, можетъ быть, не стоитъ жить-страдать?..
Плачь и молись, отчизна-мать!
Молись! Стенанія дѣтей,
Погибшихъ за тебя среди глухихъ степей,
Вспомянутся чрезъ много лѣтъ,
Въ день грозныхъ бѣдъ!

Стихотвореніе это интересно въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, оно показываетъ намъ міросозерцаніе В. М—ча въ это время и его серьезные взгляды на задачи искусства, въ которомъ уже тогда онъ видѣлъ не одни эстетическія наслажденія, но и высокое служеніе человѣчеству и родинѣ, а во-вторыхъ, это же стихотвореніе свидѣтельствуетъ намъ, что созерцаніе картинъ Верещагина было какъ бы предуготовленіемъ къ тѣмъ впечатлѣніямъ, которыя пришлось В. М—чу вскорѣ вынести изъ собственнаго военнаго опыта. Картины настроили заранѣе В. М—ча видѣть въ войнѣ страшную грагедію пролитія человѣческой крови и потери родиною лучшихъ своихъ сыновъ—трагедію, несправедливость которой не могутъ загладить никакіе блестящіе результаты войны; а такъ какъ кровь падаетъ равно на всѣхъ согражданъ, ради которыхъ она пролита, то отсюда В. М—чъ логически вывелъ заключеніе объ обязанности каждаго принять непосредственное участіе въ общемъ бѣдствіи. Этотъ выводъ совѣсти и заста-

вилъ В. М—ча принять участіе въ русско-турецкой войнѣ. Нужно ли говорить о томъ, что впечатлѣніе картинъ Верещагина отразилось на самомъ выборѣ деталей послѣдующихъ разсказовъ В. М—ча изъ военныхъ дѣйствій, особенно „Четыре дня“ и „Трусъ“?

Если художественныя картины произвели на Гаршина такое потрясающее впечатлѣніе, то можно себѣ представить въ какое волненіе пришелъ онъ весною и лѣтомъ 1876 года, когда до его слуха начали долетать ужасающія извѣстія о неистовствахъ турокъ въ Болгаріи, когда все русское общество встрепенулось; воинственное настроеніе росло въ немъ съ каждымъ днемъ болѣе и болѣе; начались всеобщія пожертвованія на славянъ; со всѣхъ концовъ тянулись въ Сербію добровольцы. Какъ все это отражалось на В. М—чѣ, видно изъ слѣдующихъ отрывковъ изъ писемъ его къ Н. С. Дрентельну, писанныхъ лѣтомъ 1876 г. изъ Харькова:

„2 іюня 1876 г. Харьковъ... Пишу я съ отчаяніемъ; вчера исписалъ нѣсколько листовъ бумаги. Работа удовольствія не доставляетъ, скорѣе — какое-то робкое, желчное чувство. Если это такъ пойдетъ всегда, то незавидная предстоитъ мнѣ участь. А не писать не могу, да и что со мной будетъ безъ этого...“

„18 іюня 1876 г. Харьковъ... За сообщеніе новостей изъ профессорскаго міра весьма благодаренъ, хотя, по правдѣ сказать, электрофорная машина Теплова и соединеніе химическаго и физическаго обществъ интересуютъ меня гораздо меньше, чѣмъ то, что турки перерѣзали 30.000 безоружныхъ стариковъ, женщинъ и ребятъ. Плевать я хотѣлъ на всѣ ваши общества, если они всякими научными теоріями никогда не уменьшатъ вѣроятностей совершенія подобныхъ вещей...“

„18 іюня 1876 г. Харьковъ. Дражайшій Н. С., пиши пожалуйста. Ей Богу, я тоже нуждаюсь въ чьихъ нибудь письмахъ. Если бы ты зналъ, каково бываетъ у меня на душѣ, особенно со времени объявленія войны. Если я не заболѣю это лѣто, то это будетъ чудомъ.

„Получилъ письмо отъ Alexandre Heard Esq-re изъ Лондона. Тоже тоскуетъ. Господи, куда же дѣваться? Развѣ въ самомъ дѣлѣ удариться въ Гартмановщину или еще въ какую нибудь ерундищу? Не ударишься ни во что подобное; мозги все-таки такъ положительно устроены, что Гартманъ не соблазнитъ“ [1]).

Какія мысли сложились около этого времени въ В. М—чѣ относительно необходимости идти на войну, объ этомъ мы можемъ судить по факту, приводимому г. Павловскимъ въ его воспоминаніяхъ о В. М—чѣ [2]). Дѣло заключалось въ томъ, что когда, года два спустя, В. М—чъ выразилъ однажды желаніе вновь идти на войну, одинъ молодой человѣкъ началъ доказывать ему всю несообразность этого съ разныхъ радикальныхъ точекъ зрѣнія. По мѣрѣ того, какъ онъ говорилъ, Гаршинъ приходилъ все въ большее негодованіе, наконецъ не выдержалъ, вскочилъ и въ волненіи заходилъ по комнатѣ.

— Нѣтъ, позвольте, позвольте... Вы, стало быть, находите безнравственнымъ, что я буду жить жизнью русскаго солдата и помогать ему въ борьбѣ, гдѣ каждый полезенъ? Неужели будетъ болѣе нравственно сидѣть здѣсь, сложа руки, тогда какъ этотъ солдатъ будетъ умирать за насъ!.. Извините, я этого не могу допустить.

И вотъ, въ продолженіе всего 1876 года В. М—ча такъ и подмывало бросить все и ѣхать въ Сербію, „но къ несчастію — писалъ онъ въ своей автобіографической запискѣ — меня не пустили, такъ какъ я былъ призывного возраста“. Зато, когда была объявлена война Россіи съ Турціей, онъ не могъ уже удержаться. „12 апрѣля 1877 г., — говоритъ онъ,—я съ товарищемъ (Афанасьевымъ) готовился къ экзамену изъ химіи; принесли манифестъ о войнѣ. Наши записки такъ и остались открытыми: мы подали прошеніе объ увольненіи изъ института и уѣхали въ Кишиневъ“ [3]).

---

[1]) Сб. П. Г., стр. 15.
[2]) „Кр. Цв.“, стр. 21.
[3]) „Кр. Цв.“, стр. 64.

Въ Кишиневѣ В. М—чъ и его товарищъ поступили рядовыми въ 138 Болховской пѣхотный полкъ и черезъ день выступили въ походъ. Походъ къ Дунаю былъ очень тяжелъ. В. М—чу пришлось страдать вдвойнѣ: и физически, перенося всю трудную лямку рядового, и нравственно, такъ какъ сердце его постоянно возмущалось печальнымъ положеніемъ нашего солдата, царившими въ арміи злоупотребленіями и т. п. Но несмотря на всю трудность, большіе переходы, грязь, жару, жажду, В. М—чъ никогда не былъ въ числѣ отсталыхъ и не только самъ повидимому легко переносилъ тягости похода, но и другихъ подбодрялъ: то займетъ разсказомъ, то попотчуетъ табакомъ, то пристыдитъ. По приходѣ на привалъ или на ночлегъ, онъ первый бѣжалъ съ манеркой за водой и, пока другіе отдыхали, устраивалъ чай. Съ солдатами онъ скоро сошелся очень близко. И по натурѣ, и по принципамъ онъ не терпѣлъ никакихъ отличекъ или возвышеній надъ товарищами, тотчасъ же сталъ на совершенно равную ногу съ ними, принималъ участіе во всѣхъ ихъ работахъ и кромѣ того писалъ и читалъ имъ письма, давалъ разнаго рода объясненія; объяснялся за нихъ съ начальствомъ, училъ ихъ грамотѣ. Солдаты полюбили его, и память о немъ долго сохранялась между ними. Когда позднѣе они узнали, что онъ почему-то не получилъ ордена св. Георгія, къ которому былъ представленъ, они крайне сожалѣли, что въ надеждѣ, что онъ и безъ того получитъ этотъ орденъ, не присудили ему ротнаго Георгія. Самъ В. М—чъ весьма привязался къ своимъ товарищамъ по походу и многихъ изъ нихъ охотно вспоминалъ [1]).

Вотъ что писалъ изъ своего похода своимъ близкимъ В. М—чъ. Такъ, товарищу И. Е. Малышеву онъ писалъ 5 мая 1877 г. изъ Кишинева:

„Мы очень удачно пріѣхали въ Кишиневъ: пріѣхали вчера, 4 мая, а завтра, 6-го, уже выступаемъ въ походъ съ

---

[1]) Сб. Пам. Гарш., стр. 15, 19.

138 пѣхотнымъ полкомъ. Служить будемъ въ ротѣ у Ив. Наз. Афанасьева, брата Васи (товарища В. М—ча), и притомъ вмѣстѣ. Одинаковый ростъ позволяетъ намъ даже во фронтѣ стоять рядомъ. Не знаю, каково вынесемъ мы походъ. Выступивъ завтра въ $5^1/_2$ часовъ утра, мы придемъ въ Баніасъ (покуда — наша конечная цѣль, мѣстечко на Дунаѣ противъ Рущука) 28 мая. Походъ — пѣшкомъ, по 20 — 30 верстъ въ день.

„И такъ, почти на мѣсяцъ мы лишены всякихъ сношеній съ міромъ: можетъ быть, не придется увидѣть клочка печатной бумаги, такъ какъ маршрутъ избѣгаетъ всѣхъ городовъ. Только черезъ Плоешти (гдѣ теперь главная квартира) придется проходить.

„Писалъ бы больше, да нужно идти представляться полковому командиру. До свиданья, когда-то увидимся? Да и увидимся ли еще?

1-го іюня, тому же Малышеву изъ Баніаса, предмѣстья Бухареста:

„Походъ нашъ по первому маршруту конченъ: мы пришли въ Баніасъ, который оказался вовсе не на Дунаѣ, а около Бухареста (наши офицеры, не имѣя картъ, ошиблись). Дня черезъ 3 или 4 идемъ на Дунай. Сдѣланный походъ былъ не легокъ. Переходы доходили до 48 верстъ. Это—при страшной жарѣ, въ суконныхъ мундирахъ, ранцахъ, съ шинелями черезъ плечо. Въ одинъ день изъ нашего батальона упало на дорогѣ до 100 человѣкъ; по этому факту можете судить о трудности похода. Но мы съ В. (т.-е. съ Афанасьевымъ) держимся и не плошаемъ. Хорошо, что теперь уже идемъ въ очень легкихъ костюмахъ: бѣлыя рубахи и штаны“.

9 іюня, А. Я. Герду изъ Черницы (между Бѣлою и Рущукомъ):

„Что̀ писать, я рѣшительно не знаю. Правда, впечатлѣній множество, но если бы я вздумалъ излагать ихъ, то необходимо вдался бы въ такія подробности, которыя сдѣлали бы доставку этого письма невозможной. Удивляюсь нашимъ кор-

респондентамъ! Какъ они ухитряются писать, лавируя между Сциллою и Харибдою—достойное изученія явленіе.

„Наша дивизія (35), какъ вы, вѣроятно, знаете изъ газетъ, прикомандирована къ рущукскому отряду. До сихъ поръ я не слышалъ ни одного выстрѣла и до того привыкъ къ мирному характеру нашего похода, что мнѣ теперь кажется, что мы и вернемся въ Россію, не бывъ въ бою. Впрочемъ, кто знаетъ?

„Вчера вернулся изъ довольно интереснаго путешествія. Изъ Коссова, гдѣ мы стояли раньше, мы, т.-е. я, Афанасьевъ и еще трое солдатъ, были посланы въ Тырново за покупками для роты. Мы отправились рано утромъ, а въ 10 ч. нашей бригадѣ приказано было выступить, и когда мы вернулись изъ Тырнова, то не нашли на мѣстѣ бивуака ничего, кромѣ золы и прочихъ признаковъ оставленнаго лагеря. Куда ушелъ отрядъ — неизвѣстно. Два дня блуждали мы и наконецъ догнали нашъ полкъ уже здѣсь, въ Черницѣ.

„Тырново — преинтересный городъ. Узкія, кривыя улицы (узкія до того, что во многихъ мѣстахъ разъѣхаться нельзя), двухъ- трехъэтажные дома съ выдающимися верхними этажами, открытыя на улицу лавки и мастерскія, водоемы. Болгаре радуются, вѣшаютъ поперекъ своихъ переулковъ гирлянды, а въ окнахъ лоскутки бумаги съ надписями въ родѣ: „Ура, ура, ура, царь Александръ!“ Въ деревняхъ этой радости меньше. Весьма понятныя причины этого не могу изложить вамъ. Говорить съ болгарами не составляетъ особаго труда, особенно съ грамотными, знающими церковный языкъ. Съ однимъ же образованнымъ лавочникомъ я объяснялся совершенно свободно“...

29 іюня, И. Е. Малышеву изъ Ковачицы:

„Наиболѣе выдающееся событіе нашей жизни вамъ уже описалъ Вася; поэтому не стану распространяться о немъ. Скажу только, какое впечатлѣніе произвелъ на меня видъ раненыхъ, крови, труповъ и прочихъ аксесуаровъ войны.

„Я никогда не ожидалъ, чтобы при моей нервности я до такой степени спокойно отнесся къ сказаннымъ предметамъ. Трупы мы видѣли истинно ужасные; одного турку вмѣсто того, чтобы зарывать, казаки обложили снопами и зажгли. Представьте, что́ изъ него вышло. Черная, обугленная масса, приблизительно подходящая по формѣ къ человѣческому тѣлу. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ трещины, въ которыхъ видно красное мясо. Черепъ оскалилъ зубы; они рѣзко выдаются на черномъ фонѣ своею бѣлизною. Тамъ, гдѣ были ноги, какія-то черныя угольныя бревна. Кости высовываются изъ нихъ, потому что ступни отвалились. И все это, отъ пятидневнаго лежанія на солнцѣ, издаетъ невыносимый запахъ (перечитавъ это описаніе, я всею душою пожелалъ, чтобы вамъ не пришлось читать его за столомъ). И представьте, даже такое нехудожественное описаніе дѣйствуетъ на меня самого болѣе непріятно, болѣе вывертываетъ душу, чѣмъ самый видъ неизвѣстнаго правовѣрнаго.

„Тоже и раненые. Непріятно слушать, читать объ ужасныхъ ранахъ, видѣть ихъ на картинахъ; но на самомъ дѣлѣ впечатлѣніе значительно смягчается. А какія ужасныя бываютъ раны! Я пересмотрѣлъ около 150 человѣкъ и видѣлъ страшно искалѣченныхъ людей. Особенно непріятны раны въ лицо. Констатировано, что турки стрѣляли, между прочимъ, и разрывными пулями.

„18-го и 19-го іюля нашъ батальонъ (2-й) посылали прибрать трупы послѣ боя. Турки лежали, какъ посѣянные. Нашихъ было гораздо менѣе. Турецкіе солдаты (бывшіе въ этомъ дѣлѣ) — огромный, жирный народъ. Раздуло ихъ въ пять дней ужасно. На позиціи осталось множество большихъ цинковыхъ ящиковъ и цѣлыя груды гильзъ. Страшно подумать, что все это было высыпано въ наши нѣсколько ротъ.

Полковника венгерца узнали по надписи на клинкѣ: Patrona Hungariae, Virgo Maria. Кромѣ того, на бѣльѣ у него мѣтка латинскими буквами—А. М.

„Обмундировка турокъ, аммуниція и оружіе превосходны.

Ружья Снайдера лучше нашихъ Крнка, но хуже Бердана, но зато ружья Пибоди лучше даже и Бердана. Заряжаются моментально. Кромѣ Снайдера и Пибоди, у турокъ были еще „магазинныя ружья“, изъ которыхъ можно выпустить безъ перерыва чуть не 90 пуль.

„Это-то хорошее орудіе отчасти и было причиною турецкой неудачи. Имѣя огромное количество патроновъ и скоро заряжающіяся ружья, они не жалѣли патроновъ и сыпали пулями, не цѣлясь, тогда какъ наши солдаты стрѣляли рѣдко да мѣтко.

„Изъ газетъ вы, конечно, знаете, гдѣ стоитъ 13 корпусъ и каково его назначеніе. Быть можетъ, къ тому времени, какъ это письмо дойдетъ до васъ, вы уже прочтете о дѣлѣ, въ которомъ мы, конечно, будемъ участвовать. Турки непремѣнно будутъ наступать на насъ отъ Разграды до Шумлы.

„Теперь они отъ насъ верстахъ въ 10—12. Видно каждый день зарево то тамъ, то сямъ. Это горятъ болгарскія деревни. Самихъ болгаръ рѣжутъ. Богатѣйшіе хлѣба, уже готовые (рожь даже осыпается), стоятъ неприбранными. Несчастная страна! Сколько она заплатитъ выкупа за освобожденіе!

„Вообще турки — премилый народъ. Недѣли двѣ назадъ казаки привели двухъ негодяевъ („мирныхъ“ жителей), которые изнасиловали дѣвочку лѣтъ 15, а потомъ перерѣзали ей жилы на рукахъ“ [1]).

В. М—чу пришлось принять участіе въ двухъ дѣлахъ съ турками. Первое было небольшимъ дѣломъ. Послѣ него позиція осталась за турками, которые однако очистили ее. Были посланы войска для уборки и погребенія труповъ. И здѣсь-то былъ найденъ среди труповъ живымъ солдатъ также Болховского полка, въ которомъ служилъ и В. М—чъ, остававшійся на полѣ сраженія четыре дня безъ пищи и воды съ перебитыми ногами. Это и послужило темой для знаменитаго разсказа Гаршина „Четыре дня“.

---

[1]) Сб. П. Г., стр. 15—19.

Вторымъ дѣломъ, въ которомъ участвовалъ В. М—чъ, было сраженіе при Аясларѣ, описанное имъ въ „Новостяхъ“. Въ реляціи объ этомъ сраженіи было сказано, что „рядовой изъ вольноопредѣляющихся В. Гаршинъ примѣромъ личной храбрости увлекъ впередъ товарищей въ атаку, во время чего и раненъ въ ногу“. Вотъ какъ онъ описываетъ это дѣло въ письмѣ къ И. Е. Малышеву.

Бѣла. 56 военный временный госпиталь. 20 августа 1877 года. Пишу къ вамъ лежа; поэтому прошу извинить за, можетъ быть, ужъ слишкомъ дурной почеркъ. Вѣроятно вы уже знаете отъ В. о томъ, что мнѣ прострѣлили ногу. Рана неопасная, но все-таки придется провозиться съ нею мѣсяца три-четыре.

„Лежу я въ 56 военномъ временномъ госпиталѣ. Такъ какъ В. вѣроятно описывалъ вамъ бой, то о немъ умолчу. Могу сказать впрочемъ, что мы лицомъ въ грязь не ударили. Я удивлялся самъ своему спокойствію: жаркій споръ съ вами изъ-за жидовъ (въ былыя времена) производилъ во мнѣ гораздо большее волненіе. В. скажетъ вамъ то же самое. Гранатамъ, конечно, кланялись земно, да и нельзя было не кланяться: безъ этихъ поклоновъ разнесло бы на кусочки. Пахнетъ дымомъ (орудія стояли отъ насъ всего на 1200—1300 шаговъ), жужжитъ граната, прямо на тебя. Бросишься ничкомъ, и чрезъ секунду, когда съ воемъ и визгомъ пронесутся надъ тобою осколки, встаешь, весь засыпанный землею. Около—ямы; это—мѣсто, гдѣ „она“ разорвалась.

„Меня ранили (точно дубиной хватило) тотчасъ же послѣ того, какъ мы отбили турецкую атаку. Помню, какъ я сѣлъ на землю и закрылъ оба отверстія раны руками. Кровь лилась: я перетянулъ ногу выше раны платкомъ, снялъ съ плеча шинель, сухари, отстегнулъ патроны и поползъ. Ахъ, какъ трудно ползти съ прострѣленной ногой, да еще подъ выстрѣлами, когда пули визжатъ и лопаются около твоего носа! Гранаты рвало чуть не возлѣ меня. Однако Богъ спасъ, я протащился шаговъ съ сотню; тутъ меня подняли нашъ

барабанщикъ и еще какой-то унтеръ-офицеръ и повели. Больная нога цѣплялась за кусты... Съ полверсты вели они меня, наконецъ встрѣтили носилки, и я закачался на нихъ. Это была сущая благодать. Черезъ два часа я уже уѣхалъ, перевязанный, въ фургонѣ въ дивизіонный лазаретъ.

„О нашей санитарной части я ничего не могу сказать, кромѣ хорошаго. Такая заботливость, такой уходъ, что хоть куда. Сестры—сущіе ангелы, и ангелы, не торчащіе даромъ, а работающіе не хуже докторовъ.

„14 августа насъ привезли сюда, въ Бѣлу. Здѣсь пробуду я, быть можетъ, недѣли двѣ. Лежу, конечно, цѣлый день (нога въ лубкѣ), ѣмъ (винограду фунта по 3 въ день), пью, сплю. Два раза въ день перевязка: сквозь рану просунули дренажъ и промываютъ карболовой кислотой.

„Сейчасъ пріѣхалъ транспортъ раненыхъ 140 Зарайскаго полка. Это дѣло 18-го августа. Бѣдные зарайцы цѣлый день держались противъ цѣлой арміи! Убитыхъ и раненыхъ множество. Вообще наша дивизія хоть изъ молодыхъ, а уже потрепаны изрядно всѣ четыре полка. Рядомъ со мною положили офицера съ раздробленною стопою“ [1]).

Покончивши такимъ образомъ свое участіе въ общемъ военномъ бѣдствіи и успокоивши свою чуткую совѣсть, В. М — чъ всѣ мысли свои устремилъ на родину. Всѣ вопросы и явленія нашей жизни, которые волновали его ранѣе, вновь встали на первый планъ. Въ письмахъ изъ госпиталя онъ усиленно проситъ писать о томъ, что дѣлается въ Петербургѣ и вообще въ Россіи; проситъ о присылкѣ газетъ и, получивъ таковыя, несказанно радуется и благодаритъ прославшихъ; не менѣе радуется встрѣчѣ съ людьми, съ которыми можно говорить о Петербургѣ, а еще болѣе—съ только что прибывшими оттуда. Такъ, напримѣръ, его посѣтилъ товарищъ М. Малышевъ.

„Наша встрѣча — разсказываетъ онъ [2]) — въ Бѣлѣ была

[1]) Сб. П. Г., стр. 20—22.
[2]) Сб. П. Г., стр. 126.

совершенной неожиданностью для насъ обоихъ и поэтому, несмотря на печальную госпитальную обстановку, очень насъ порадовала. Рана Гаршина была не опасна; пулей пробило ему мякоть ноги выше колѣна на вылетъ; кость осталась цѣла. Я нашелъ его на койкѣ бодрымъ и веселымъ. Тѣ нѣсколько часовъ, которые мы провели вмѣстѣ, были для насъ обоихъ манной небесной. Я привезъ цѣлый коробъ новостей о Петербургѣ, откуда я выѣхалъ только мѣсяцъ назадъ, а Гаршинъ посвятилъ меня въ тайны военно-походной и боевой жизни, съ которой уже ознакомился на опытѣ. Тутъ же въ госпиталѣ услышалъ я отъ него эпизодъ, послужившій темой для его разсказа „Четыре дня“... Фактъ этотъ такъ поразилъ В. М—ча, что онъ, придя на бивуакъ, немедленно же принялся за свои „Четыре дня“. Такъ какъ всѣ детали были еще свѣжи въ его памяти, то разсказъ — а разсказывалъ онъ очень хорошо — вышелъ необыкновенно сильнымъ и произвелъ на меня громадное впечатлѣніе. Однако Гаршинъ, по свойственной ему скромности, сильно побаивался, что разсказа его не примутъ въ „Отечественныя Записки“.

Въ концѣ августа В. М—ча въ числѣ прочихъ раненыхъ повезли въ Россію. Вотъ какъ онъ описывалъ путешествіе отъ Бѣлы до Харькова своимъ, оставшимся на театрѣ войны, товарищамъ [1]):

„25 августа нами нагрузили транспортъ и повезли. Шоссе каменистое, трясетъ, да еще хохолъ, чтобы подогнать, иногда катаетъ рысью. Мы ночевали около той самой горы, гдѣ, помнишь, у насъ былъ большой бивуакъ. Холодъ былъ страшный, и я простудился и схватилъ лихорадку. Совсѣмъ она меня изнурила. Да еще рана, не перевязанная два дня, уже начала вонять. Просто бѣда. Пріѣхали въ Ферешти, переночевали, а утромъ я уже катилъ на санитарномъ поѣздѣ Берлинскаго креста. Очень хорошо ѣздить на этихъ поѣздахъ.

[1]) Сб. П. Г., стр. 23.

Въ Яссахъ насъ пересадили на поѣздъ Александры Іосифовны. Ѣхалъ я на немъ до Бирзулы, а отсюда просто во второмъ классѣ".

Хотя В. М — чъ и писалъ домой о своей ранѣ и о скоромъ пріѣздѣ, но почему-то ему не удалось извѣстить родныхъ телеграммой о днѣ пріѣзда, и никто не встрѣтилъ его на вокзалѣ; когда онъ прибылъ въ Харьковъ съ партіей раненыхъ. Ему наняли извозчичью коляску и отправили въ офицерскій баракъ, на другой конецъ города. Проѣзжая по улицамъ, онъ все ждалъ, не встрѣтитъ ли кого-нибудь, и перваго попавшагося знакомаго окрикнулъ, остановилъ и попросилъ пойти увѣдомить мать о его пріѣздѣ. На другой же день его перевезли въ маленькую квартиру его родныхъ, на Мало-Сумской улицѣ, гдѣ онъ и пробылъ все время до своего выздоровленія.

„Это время его выздоровленія — читаемъ мы въ воспоминаніяхъ о В. М — чѣ В. Фауссека [1]) — было счастливое и веселое время: рана его шла хорошо, и онъ пролежалъ, я думаю, всего мѣсяцъ или полтора. Когда ему перевязывали и промывали ее, онъ стоналъ отъ боли и капризничалъ; но въ остальное время чувствовалъ себя по большей части хорошо и былъ въ самомъ веселомъ и хорошемъ настроеніи духа. Изъ Петербурга пріѣхалъ навѣстить его товарищъ и пріятель, Вл. М. Латкинъ, и прожилъ нѣсколько времени въ Харьковѣ; товарищи его брата, молодые люди и молодыя дѣвицы, толпились постоянно въ домѣ Гаршиныхъ, и В. М—чъ рѣдко оставался одинъ. Длинные вечера проходили въ неистощимыхъ разговорахъ, шуткахъ и смѣхѣ".

Не въ столь радужномъ цвѣтѣ представляетъ это время самъ В. М — чъ въ письмѣ къ В. Афанасьеву отъ 12 сентября [2]):

„Ежедневно ко мнѣ являются разные посѣтители: жду скоро даже одного генерала. Десятки разъ приходится мнѣ

[1]) Сб. П. Г., стр. 79.
[2]) Тамъ же, стр. 23.

повторять о нашемъ положеніи, о туркахъ, какъ они вооружены, каково дерутся и пр. и пр. Надоѣло порядкомъ. Надоѣло также и валяться. Уже второй мѣсяцъ, какъ я нахожусь въ горизонтальномъ положеніи, да, кажется, придется оставаться въ немъ еще не одинъ мѣсяцъ. Рана идетъ хорошо, но страшно медленно. Ужъ очень много мяса выхватила проклятая пуля. А тутъ еще любезная сестра милосердія помогла, обожгла ногу чистою карболовою кислотою. Ожогъ мучаетъ еще больше раны".

Къ этому всему присоединилась еще мучившая В. М—ча лихорадка. Выздоровленіе шло медленно. Рана долго не затягивалась, да и потомъ долго нельзя было ходить. Но для живой натуры В. М—ча неподвижность была не по силамъ. Поэтому онъ часто ѣздилъ кататься по городу, а дома ухитрился ползать по комнатамъ, выставляя впередъ туго забинтованную ногу.

Въ первые же дни по пріѣздѣ въ Харьковъ В. М — чъ принялся за обработку разсказа „Четыре дня". Разсказъ былъ посланъ въ „Отечественныя Записки", былъ напечатанъ въ октябрьской книжкѣ этого журнала и тотчасъ же обратилъ на себя общее вниманіе, доходившее до сенсаціи. Общимъ приговоромъ и публики, и критики, за авторомъ былъ признанъ выдающійся талантъ, и литературное имя его было сразу упрочено.

Окрыленный этимъ успѣхомъ, Гаршинъ не могъ дождаться выздоровленія: его такъ и потянуло въ Петербургъ. Но раньше декабря желаніе его не могло осуществиться, да и то ему пришлось ѣхать, далеко не возстановивши своего здоровья. Вотъ что писалъ онъ В. И. Афанасьеву передъ отъѣздомъ [1]):

„Послѣ завтра утромъ я уѣзжаю въ Питеръ, безъ денегъ, больной, но все-таки ѣду. Очень ужъ захотѣлось Питера. Предвижу въ немъ не мало себѣ затрудненій. Хотя литературная работа теперь для меня вполнѣ обезпечена, но вотъ

[1]) Сб. П. Г., стр. 26.

загвоздка: въ 55 (кажется) № „Летучаго В. Листка“ есть приказъ, воспрещающій „военнослужащимъ“ всякое литераторство. Но я буду писать, пока не посадятъ. Къ январской книжкѣ, думаю, поспѣетъ новенькое. Мнѣ, къ удивленію моему, дали (безъ всякой съ моей и матушкиной стороны просьбы) отпускъ *на годъ*, а что еще лучше — даровой билетъ до Петербурга. Впрочемъ, нога у меня попорчена надолго—это вѣрно. Болитъ часто, устаетъ послѣ полуверсты ковылянья на палочкѣ. Болѣю еженедѣльно, и все разными напастями. Теперь — желудочная лихорадка... Просто горе. Нервы разстроились совершенно, и все мое спокойствіе, пріобрѣтенное за походъ, пошло къ чорту“.

Черезъ нѣсколько дней В. М—чъ былъ уже въ Петербургѣ. Устроившись въ столицѣ, онъ весь предался писательству. Въ это время онъ писалъ маленькій разсказъ „Очень маленькій романъ“, напечатанный въ „Стрекозѣ“, и разсказъ „Происшествіе“. Снова вошелъ онъ въ кружокъ художниковъ, началъ усердно посѣщать выставки, всматриваться въ картины и изучать ихъ. До какой степени проникался онъ въ это время вопросами художественнаго творчества, можно судить по тому, что, не будучи лично знакомъ съ И. Н. Крамскимъ, онъ тѣмъ не менѣе обратился къ нему съ слѣдующимъ письмомъ 14 февраля 1878 г. [1]):

„М. г. Иванъ Николаевичъ! Беру на себя смѣлость обратиться къ вамъ съ покорнѣйшею просьбою. Я увѣренъ въ правотѣ моего мнѣнія, и для себя вовсе не сталъ бы безпокоить васъ, но мнѣ хотѣлось бы получить разъясненіе отъ васъ самихъ, для того, чтобы другихъ вывести изъ заблужденія. Дѣло идетъ о моментѣ, изображаемомъ вашею картиною „Христосъ въ пустынѣ“. Утро ли это 41-го дня, когда Христосъ уже вполнѣ рѣшился и готовъ идти на страданіе и смерть, или та минута, когда „прінде къ нему бѣсъ“, какъ выражаются мои оппоненты? Я вполнѣ увѣренъ въ правотѣ

[1]) Сб. П. Г., стр. 27.

перваго толкованія. Видѣть на фигурѣ Іисуса страданіе и борьбу только потому, что у него измученное лицо — это показываетъ очень поверхностное знакомство съ человѣческою душою. „Если бы Онъ рѣшился, Онъ имѣлъ бы сіяющее лицо“, сказалъ мнѣ одинъ изъ публики. Христу сіять изъ-за сознанія того, что онъ рѣшился на хорошее дѣло! „Какой, дескать я хорошій!“

„Тѣ черты, которыя вы придали своему созданію, по-моему, вовсе не служатъ къ возбужденію жалости къ „страдальцу“ (говорю это потому, что одинъ изъ толкователей нашелъ, что лицо Христа ужасно *жалко*). Нѣтъ, меня онѣ сразу поразили, какъ выраженіе громадной нравственной силы ненависти ко злу, совершенной рѣшимости бороться съ нимъ. Онъ поглощенъ своею наступающею дѣятельностью. Онъ перебираетъ въ головѣ все, что Онъ скажетъ презрѣнному и несчастному люду, отъ котораго Онъ ушелъ въ пустыню подумать на свободѣ; Онъ сейчасъ же взялъ бы связку веревокъ и погналъ изъ храма безстыжихъ торгашей. А страданіе до Него теперь не касается; оно такъ мало, такъ ничтожно въ сравненіи съ тѣмъ, что у Него теперь въ груди, что и мысль о немъ не приходитъ ему въ голову“...

Увлеченіе искусствомъ не отвлекало В. М—ча отъ заботъ объ общемъ образованіи. Онъ много въ это время читалъ, но при этомъ былъ врагъ всякаго систематическаго чтенія, имѣющаго видъ „изученія“. Такъ, когда близкій пріятель его, Н. С. Дрентельнъ, предложилъ ему пройти систематическій курсъ біологіи, онъ ему писалъ 18 мая 1878 г. [1]): „Ты рекомендуешь мнѣ курсъ біологіи, точно будто не знаешь, что у меня въ головѣ постоянно будетъ сидѣть вопросъ: на кой чортъ мнѣ эта біологія? Вопросъ „зачѣмъ“ до такой степени овладѣлъ моимъ существомъ, что ни за что, не дающее практическихъ результатовъ, я не рискну взяться. Писательство имѣетъ результаты непосредственные — изящное

[1]) Сб. П. Г., стр. 28.

(насколько изящное — это другой вопросъ) произведеніе, шевелящее если не мозги, то чувства (въ моемъ случаѣ, беря меня) людей. Вотъ почему я писать не брошу. Учиться (т.-е. читать разумныя умныя книжки) я не брошу до смерти, но взяться за какой-нибудь „курсъ“ не ради себя, своего любопытства, я никогда не возьмусь. „Что онъ дѣлаетъ?“ Учится! До какихъ же это поръ я буду учиться, до какихъ поръ съ меня не будетъ ни шерсти, ни молока?“

Нѣсколько позднѣе, 7 августа, онъ писалъ тому же лицу: „А все-таки поступлю въ университетъ. Конечно, біологіей заниматься не буду. Что ты ни разговаривай, а съ легкой руки Писарева послѣднее мнѣніе о значеніи естественныхъ наукъ я мало раздѣляю“. Въ это время В. М—ча начала уже занимать исторія, для лучшаго ознакомленія съ которою онъ осенью 1878 г. поступилъ даже вольнослушателемъ на историко-филологическій факультетъ петербургскаго университета, но пробылъ тамъ недолго.

О своихъ литературныхъ занятіяхъ В. М—чъ писалъ В. Афанасьеву въ январѣ 1878 г. [1]): „Литературныя мои дѣла находятся въ блестящемъ положеніи, если брать „потенціалъ“. Только пиши, а брать вездѣ будутъ. Въ нѣкоторые журналы („Слово“, „Пчела“) я приглашенъ самими редакціями. Но печататься теперь я буду только въ крайнемъ случаѣ. Пишу, правда, я довольно много, но все это для меня этюды и этюды; выставлять же ихъ я не желаю, хотя увѣренъ, что они шли бы не безъ успѣха. Буду печатать столько, чтобы только просуществовать“.

Но какъ ни оживленъ былъ В. М—чъ въ теченіе зимы, къ веснѣ расположеніе духа его внезапно омрачилось, и съ этого времени почти каждую весну съ нимъ повторялся пароксизмъ безпредметной тоски. Такъ уже 21 февраля 1878 г. онъ пишетъ В. Афанасьеву: „Петербургъ уже надоѣлъ мнѣ хуже горькой рѣдьки. Стремлюсь изъ него удрать. Собственно

[1]) Сб. П. Г., стр. 28.

говоря, здѣсь можно бы было жить и интересно: мнѣ открыта полная возможность познакомиться со всякими знаменитостями; да со мной что-то сдѣлалось странное: прежняя страсть къ знакомствамъ исчезла. Особенно не хочется знакомиться съ разными генералами отъ интеллигенціи, можетъ быть потому, что не хочется „ученичествовать“ и съ почтеніемъ выслушивать слова, изрекаемыя на манеръ пророчества. Богъ съ ними. Къ своей литературѣ я сталъ относиться строже. Художественныя рецензіи писать бросилъ, ибо вѣдь собственно это было съ моей стороны шарлатанство. Буду работать побольше, вылѣзать поменьше, авось что нибудь и выйдетъ?“

Въ половинѣ марта онъ уѣхалъ въ Харьковъ, но и тамъ тоска не покидала его. „Живу я скверно, — писалъ онъ тому же лицу отъ 2-го апрѣля — скверность исходитъ изъ меня самого, потому что внѣшнія обстоятельства всѣ благополучны. Часто спрашиваешь: какого еще тебѣ рожна нужно?— и не находишь отвѣта. Но что рожонъ этотъ гдѣ-то завалился и необходимо его сыскать — это ясно, какъ день. Полторы недѣли, какъ я пріѣхалъ въ Харьковъ, и до сихъ поръ, что́ называется, палецъ о палецъ не ударилъ. Не дѣлаю рѣшительно ничего. Хандра, печальныя соображенія о своемъ ничтожествѣ. Одинъ хохолъ, никогда до тѣхъ поръ не пившій, напился пьянъ, и началъ горько плакать. „Чего ты ревешь?“ — „Да какъ же я пахать буду, какъ же я косить буду, когда я теперь и на печь взлѣзть не могу!“ — Вотъ и я нахожусь теперь въ точно такомъ же положеніи. Впрочемъ не думаю, чтобы это продолжалось долго: вокругъ все такъ хорошо. Весна и прочія обстоятельства“.

Хандра эта должна была еще болѣе обостриться тѣмъ обстоятельствомъ, что вскорѣ по пріѣздѣ въ Харьковъ В. М—чъ серьезно заболѣлъ. Двѣ недѣли провелъ онъ безъ сна и безъ пищи, перенося ужасную боль. Послѣ болѣзни онъ долго едва могъ ходить.

При такомъ душевномъ и физическомъ недомоганіи не

утѣшило В. М—ча и производство въ офицеры, состоявшееся какъ разъ въ это время.

„Поздравляю тебя съ чиномъ, — писалъ онъ 6 мая В. Афанасьеву — себя съ производствомъ не поздравляю, а напротивъ, желалъ бы быть скромнымъ унтеръ-офицеромъ. Дѣло въ томъ, что отнынѣ мой годичный отпускъ пропадаетъ, и я, какъ и всѣ офицеры, обязанъ свидѣтельствоваться. Хотя я хромаю до сихъ поръ, но вдругъ признаютъ здоровымъ — и отправляйся къ вамъ въ Виддинъ. При моемъ теперешнемъ состояніи здоровья (нервы) это мнѣ смерть. Если бы я былъ способенъ пьянствовать, я спился бы въ Виддинѣ въ мѣсяцъ. Чую это и смотрю на полкъ, какъ на гробъ. Мнѣ очень плохо: хандрю, потому что не могу ничего дѣлать, ничего не дѣлаю, потому что хандрю. Всѣ вокругъ работаютъ; одинъ я палецъ о палецъ не ударю. Тоска...“ [1]).

Замѣчательно, что одновременно съ этими сѣтованіями В. М—чъ въ письмѣ къ другому своему другу, Н. С. Дрентельну, высказываетъ, наоборотъ, желаніе оставаться въ военной службѣ:

„Отъ очень многихъ хорошихъ людей — пишетъ онъ — выданъ и мнѣ аттестатъ „хорошаго“. Эти хорошія качества (буде они существуютъ) нужно наконецъ пустить въ оборотъ. Ты вѣроятно удивишься, когда я скажу тебѣ, на что я рѣшился. Я хочу оставаться въ военной службѣ. Буду даже добиваться академіи“.

То же самое около этого же времени писалъ онъ въ письмѣ къ товарищу-офицеру:

„Мы съ тобой достаточно убѣдились въ плохомъ положеніи нашей арміи. Мы хотимъ уходить изъ нея потому, что въ ней для насъ скверно, душно. Если такъ будутъ разсуждать всѣ, видящіе гадость въ военной средѣ, то никогда и среда не измѣнится. Не лучше ли намъ влѣзть въ эту среду? Можетъ быть, что нибудь и сдѣлаемъ путнаго.

[1]) Сб. П. Г., стр. 29—30.

Можетъ быть, современемъ мы будемъ имѣть возможность не дозволить бить солдата, какъ это дѣлается теперь, не дозволить вырывать изъ его рта послѣднюю корку хлѣба".

Такія мысли можно объяснить двояко. Съ одной стороны, нельзя не видѣть здѣсь той чуткости совѣсти и глубокой вдумчивости въ каждое дѣло, какія были присущи В. М—чу; съ другой же стороны замѣчается здѣсь и одинъ изъ симптомовъ его хандры, такъ какъ и потомъ, каждый разъ, когда обострялся тяжкій душевный недугъ В. М—ча, въ разгарѣ самоуничиженія ему начинало казаться, что онъ ни на что болѣе не способенъ, какъ лишь на военную службу. Такъ въ 1880 г., почти наканунѣ поступленія въ харьковскую больницу для душевно-больныхъ, онъ въ письмѣ къ А. Я. Герду, 25 апрѣля, сообщаетъ о своемъ рѣшеніи поступить въ какой-нибудь кавалерійскій полкъ. Еще позднѣе, оправившись отъ болѣзни, но находясь все еще въ самомъ мрачномъ настроеніи, онъ пишетъ 10 января 1882 г. В. А. Фауссеку: „А знаете ли, В. А., мнѣ часто приходитъ въ голову: не махнуть ли и мнѣ въ свой Болхонскій полкъ! Завязнуть туда по уши, да и все. Ей Богу, правда: ну, на какого чорта я гожусь, если не писать, а писать я, право, кажется, не буду никогда. Буду солдатъ обучать „словесности", и то хорошо, что бить ихъ по мордѣ не стану..."

Но въ 1878 году, когда болѣзнь не представляла еще столь сильнаго развитія, какъ впослѣдствіи, воинственное настроеніе В. М—ча было непродолжительно, и уже 9 августа онъ писалъ тому же товарищу-офицеру: „Дѣла мои очень скверны. Чувствую непреоборимое желаніе удрать изъ службы, а между тѣмъ это едва ли удастся".

Въ концѣ 1878 года онъ наконецъ получилъ отставку [1]).

Въ теченіе лѣта 1878 года В. М—чъ ѣздилъ къ теткѣ въ орловскую губернію, гдѣ прожилъ около мѣсяца. Это развлекло его на время, и онъ съ одушевленіемъ отдавался лѣт-

[1]) Сб. П. Г., стр. 25.

нимъ деревенскимъ удовольствіямъ. Но по возвращеніи въ Харьковъ вновь затосковалъ. „Долблю латынь, — писалъ онъ 7 августа Н. С. Дрентельну, — читаю Куно Фишера. Куно Фишеръ очень хорошій нѣмецъ, но, по правдѣ сказать, мнѣ теперь не до него! Писать теперь ужасно трудно, хотя очень хочется написать что-нибудь къ сентябрю. Пишу туго, да что и напишу, безжалостно рву...“

Зиму 1878—79 гг. В. М—чъ провелъ снова въ Петербургѣ, и она была повтореніемъ предшествовавшей зимы. Онъ писалъ, читалъ, попрежнему интересовался наукой и искусствами. Въ это время были имъ написаны „Трусъ“ и „Встрѣча“. Но не было въ немъ оживленія предшествовавшей зимы. Тоска не оставляла, и къ тому же внѣшнія событія, тяжело ложившіяся на его впечатлительную душу, имѣли крайне мрачный характеръ. Онъ лишился многихъ друзей и знакомыхъ, что̀ еще болѣе заставляло его чувствовать тягость общаго положенія вещей.

Возвратившись весною въ Харьковъ, В. М—чъ повидимому былъ настроенъ весьма жизнерадостно“.

„Никогда онъ не былъ такъ полонъ кипучимъ весельемъ, такою жизненностью, такой суетливой энергіей, какъ весной 1879 года“, говоритъ Фауссекъ въ своихъ воспоминаніяхъ [1]). Онъ былъ въ это время душою веселой компаніи, состоявшей изъ молодежи обоего пола и предававшейся всевозможнымъ удовольствіямъ и экскурсіямъ. Но это веселое настроеніе, равно и участіе въ молодыхъ развлеченіяхъ, были напускными, средствомъ забыться отъ той щемящей тоски, которая не покидала В. М—ча, какъ объ этомъ можно судить по такимъ мрачнымъ произведеніямъ, какъ „Художники“ и „Attalea princeps“, а также по нѣкоторымъ письмамъ, относящимся къ этому же времени. Такъ, въ письмѣ къ старому другу, написанномъ тотчасъ по возвращеніи изъ веселой экспедиціи въ Куряжскій монастырь, которая описана

[1]) Сб. П. Г., стр. 81.

въ воспоминаніяхъ Фауссека, В. М—чъ отзывается о своемъ весельѣ, какъ о чемъ-то въ родѣ „Пира во время чумы“:

„Прочелъ Маудсли „Душу“. Хочу Гризингера прочесть и сверхъ того хожу со студентами V курса въ психіатрическую больницу на „разборъ больныхъ“. Какая это интересная вещь! Дурная сторона: невольно начинаешь „разбирать“ не больныхъ, а т. наз. „здоровыхъ“ и находишь то Tobsucht, то Wahnsinn, что́ впрочемъ неизбѣжно должно случиться при внимательномъ разсмотрѣніи людскихъ поступковъ. Профессоръ, дай Богъ ему здоровья, не гонитъ съ лекціи, такъ что я надѣюсь походить на Сабурову дачу (больницу) еще съ мѣсяцъ. Что нибудь въ головѣ останется“.

Въ теченіе лѣта В. М—чъ не мало путешествовалъ, посѣщая своихъ многочисленныхъ друзей; былъ въ екатеринославской губерніи, въ донской области, въ орловской губерніи. Все это до нѣкоторой степени развлекало его и успокоивало нервы. Но осенью, по возвращеніи въ Харьковъ, хандра съ новой еще небывалою силою овладѣла имъ. „Дѣлать онъ ничего не могъ,—разсказываетъ Фауссекъ въ своихъ воспоминаніяхъ [1]) — онъ чувствовалъ страшную апатію и упадокъ силъ: не только всякая забота была ему мучительно тяжка — всякое проявленіе воли, всякій поступокъ казался ему тяжелымъ, мучительнымъ. Всякое, самое простое дѣйствіе требовало отъ него напряженія душевныхъ силъ совершенно непропорціональнаго значенію дѣйствія и физической работѣ, съ нимъ сопряженной. Душу его угнетала постоянная тоска. Онъ измѣнился и физически: осунулся, голосъ сталъ слабымъ и болѣзненнымъ, походка вялая; онъ шелъ, понуря голову, казалось даже идти было для него непріятнымъ и болѣзненнымъ трудомъ. Его мучила безсонница. Цѣлый день онъ не могъ ничего дѣлать, а по ночамъ лежалъ до 4, до 5 часовъ и не могъ заснуть. Онъ проводилъ ночи за чтеніемъ романовъ и старыхъ журналовъ. Чтеніе

[1]) Сб. П. Г., стр. 84.

случайное и неправильное, перваго, что̀ попадется подъ руку, было единственное доступное ему занятіе. Ничто не могло доставить ему удовольствія или обрадовать его. Самое ощущеніе удовольствія стало для него недоступно; всѣ душевныя проявленія были для него болѣзненны. Онъ ходилъ иногда къ знакомымъ, разъ или два былъ въ театрѣ или въ концертѣ, куда его затаскивали почти насильно, но нигдѣ не покидалъ своего мрачнаго вида".

О душевномъ состояніи Гаршина можно судить по его произведенію „Ночь", которое было написано именно въ эту зиму. Къ концу зимы возбужденіе достигло крайнихъ предѣловъ и наконецъ разразилось кризисомъ [1]). Вслѣдъ за покушеніемъ на гр. Лорисъ-Меликова, В. М — чъ явился къ нему ночью — убѣдить его въ необходимости „примиренія" и произнесенія „всепрощенія". В. М — чъ былъ до такой степени проникнутъ сознаніемъ важности и необходимости своей миссіи, и такъ импонировалъ, что хотя графа въ то время строго охраняли, В. М — чъ былъ допущенъ къ нему и долго бесѣдовалъ съ нимъ. Съ этого момента дальнѣйшія дѣйствія В. М — ча доказываютъ все болѣе ненормальный характеръ. Всѣ, видѣвшіе его въ это время, говорятъ о немъ, какъ о человѣкѣ крайне возбужденномъ и дѣйствовавшемъ полубезсознательно. Скоро онъ уѣхалъ въ Москву. Тамъ скитался по какимъ-то вертепамъ, попалъ въ участокъ, въ свою очередь бесѣдовалъ съ московскимъ оберъ-полиціймейстеромъ Козловымъ. Изъ Москвы ѣздилъ въ Рыбинскъ; оттуда, растративши всѣ деньги, какія у него были, при помощи уже Афанасьева, онъ отправился въ Харьковъ, но доѣхавши до Тулы, уѣхалъ верхомъ, бросивъ всѣ свои вещи въ гостинницѣ, и совершилъ цѣлый рядъ странствій, то верхомъ, то пѣшкомъ, по тульской и орловской губерніямъ, что-то проповѣдывая крестьянамъ; жилъ нѣкоторое время у матери извѣстнаго критика Писарева, попалъ въ Ясную По-

[1]) Сб. П. Г., стр. 33.

ляну къ Л. Н. Толстому, ставилъ ему какіе-то, мучившіе его вопросы, иногда выдавалъ себя за тайнаго правительственнаго агента.

Во все это время онъ строилъ колоссальные планы, какъ о поѣздкахъ по разнымъ частямъ Россіи, въ Болгарію и т. п., такъ и о литературныхъ работахъ, толковалъ о романѣ изъ болгарской жизни, объ изданіи своихъ разсказовъ подъ заглавіемъ „Страданія человѣчества“, о большомъ произведеніи, подъ заглавіемъ „Люди и война“, долженствовавшемъ служить протестомъ противъ войны. Изъ письма къ А. Я. Герду, писанному изъ Тулы 13 апрѣля, видно, что помѣщенный около того времени въ „Русскомъ Богатствѣ“ разсказъ его „Денщикъ и офицеръ“ былъ началомъ этого произведенія, при чемъ въ письмѣ этомъ В. М—чъ извѣщаетъ А. Я. Герда, что у него „написано вполнѣ уже 6 — 7 листовъ и заготовлено на клочкахъ всего съ написаннымъ до 15, и книга все еще не кончена“. Все это безслѣдно погибло во время болѣзни В. М—ча, если только когда-либо существовало, а не было бредомъ больного воображенія [1]).

Во время странствій В. М—чъ былъ наконецъ отысканъ братомъ Евгеніемъ и препровожденъ въ Харьковъ. Но проживъ въ Харьковѣ три недѣли, онъ неожиданно исчезъ оттуда, и снова пришлось отыскивать его. Онъ оказался въ Орлѣ, въ домѣ умалишенныхъ. Состояніе его въ это время было буйное, и его пришлось везти связаннымъ, въ отдѣльномъ купе. Въ Харьковѣ онъ былъ препровожденъ въ больницу умалишенныхъ на Сабуровой дачѣ. Онъ узнавалъ всѣхъ, сознавалъ, что онъ боленъ, но въ то же время постоянно жилъ въ мірѣ фантазіи и говорилъ посѣтителямъ самыя невѣроятныя вещи. На Сабуровой дачѣ онъ прожилъ нѣсколько мѣсяцевъ. Затѣмъ, по совѣту проф. Ковалевскаго, былъ перевезенъ въ Петербургъ, въ лечебницу Фрея. Здѣсь онъ оправился отъ помѣшательства, но представлялъ собою чело-

[1]) Сб. П. Г., стр. 34, 35.

вѣка, совершенно разбитаго и физически и нравственно, какой-то полутрупъ. Въ такомъ видѣ его привезли къ роднымъ въ Харьковъ, а отсюда его взялъ къ себѣ въ деревню дядя В. С. Акимовъ.

Въ деревнѣ дяди, Ефимовкѣ, въ херсонскомъ уѣздѣ, на берегу днѣпровско-бугскаго лимана, прожилъ В. М—чъ съ конца 1880 г. до весны 1882 г. Крайне уединенное мѣсто это какъ нельзя болѣе подходило къ состоянію здоровья В. М—ча. Отсутствіе рѣзкихъ впечатлѣній, полное спокойствіе и степное раздолье — все это вполнѣ благопріятствовало выздоровленію. Родственники, у которыхъ жилъ В. М—чъ, были къ нему крайне добры, и онъ всегда вспоминалъ съ удовольствіемъ о проведенномъ у нихъ времени. Онъ велъ самый регулярный образъ жизни, правильно питался, ходилъ и ѣздилъ по окрестностямъ, катался зимой на конькахъ по лиману. Оправившись нѣсколько, онъ взялся и за умственныя занятія необременительнаго свойства: писалъ протоколы въ камерѣ своего дяди, мирового судьи, учился англійскому языку, читалъ кое-что, переводилъ (въ это время онъ перевелъ „Colomba“ Мериме; переводъ напечатанъ въ 1883 г. въ „Изящной Литературѣ“). У В. С. Акимова оказалась недурная библіотека; особенно много было въ ней французскихъ авторовъ, которыхъ В. М—чъ принялся перечитывать; вмѣстѣ съ тѣмъ получались почти всѣ періодическія изданія, и В. М—чъ зачитывался своихъ излюбленныхъ Щедрина и Гл. Ив. Успенскаго [1]).

Мало-по-малу В. М—чъ оправился, и къ нему вернулось даже веселое настроеніе. Нѣкоторыя письма его къ друзьямъ, относящіяся къ началу 1882 года, отличаются даже юморомъ. Спокойное состояніе нерѣдко однако прерывалось воспоминаніями о прошломъ, угрызеніями совѣсти за совершонное во время безумія. Такъ Фауссеку онъ писалъ, между прочимъ [2]):

[1]) Сб. П. Г., стр. 37 и 38, а также сб. „Кр. Ц.“, стр. 13.
[2]) Сб. П. Г., стр. 44.

„Болѣе всего угнетаютъ меня безобразныя мучительныя воспоминанія послѣднихъ двухъ лѣтъ. Господи, какъ извращаетъ человѣка болѣзнь! Чего только я ни надѣлалъ въ своемъ безумствѣ! Хотя и существуетъ мнѣніе, что человѣкъ съ больнымъ мозгомъ не отвѣтственъ за свои поступки, но я по себѣ вижу, что оно не такъ. По крайней мѣрѣ, то, что называется совѣстью, мучитъ меня ничуть не менѣе за сдѣланное во время изступленія, какъ если бы его и вовсе не было".

Вмѣстѣ съ тѣмъ смущалъ В. М—ча вопросъ о будущемъ. Такъ, въ концѣ пребыванія въ Ефимовкѣ, 1882 г. апрѣля 3, онъ писалъ тому же Фауссеку [1]):

„Я въ послѣднее время опять повѣсилъ носъ на квинту (ей Богу, не могу уяснить себѣ этого выраженія). Причины этому самыя резонныя: оставаться въ Ефимовкѣ зазорно, хотя и знаю, что я здѣсь не составляю тяготы — зазорно передъ самимъ собою; вѣдь нужно же наконецъ куда нибудь дѣваться. Полкъ — чудище одно. Матушка пишетъ, что хорошо я бы сдѣлалъ, если бы постарался попасть въ городскіе учителя въ Петербургѣ; оно, положимъ, и хорошо — только дѣло въ томъ, что я считаю себя совершенно негоднымъ для такого дѣла. Когда-то я даже слово далъ себѣ никогда не лѣзть въ педагогію. Да наконецъ, и не легко вовсе захватить одну изъ 20 открывающихся въ этомъ году ваканцій; я увѣренъ, что на 20 мѣстъ явится по крайней мѣрѣ 120 конкурентовъ, которые всѣ болѣе меня имѣютъ право на мѣсто. Прибѣгать къ помощи протекціи, чтобы оттереть дѣйствительно голоднаго человѣка—какъ-то погано".

О томъ, чтобы существовать одною литературою, нечего было и думать. Въ виду болѣзни В. М—чъ готовъ былъ совсѣмъ отказаться отъ литературы. „Писать я не могу (должно быть), а если и могу, то не хочу, — писалъ онъ въ письмѣ къ В. Н. Афанасьеву 31 декабря 1881 г. [2]): — ты знаешь,

[1]) Сб. П. Г., стр. 39.
[2]) Сб. П. Г., стр. 40.

что я писалъ, и можешь имѣть понятіе, какъ доставалось мнѣ это писаніе. Хорошо или нехорошо выходило написанное, это вопросъ посторонній; но что я писалъ въ самомъ дѣлѣ одними своими несчастными нервами и что каждая буква стоила мнѣ капли крови, то это, право, не будетъ преувеличеніемъ. Писать для меня теперь — значитъ снова начать старую сказку, и черезъ три-четыре года, можетъ быть, снова попасть въ больницу душевно-больныхъ. Богъ съ ней, съ литературой, если она доводитъ до того, что̀ хуже смерти, гораздо хуже, повѣрь мнѣ. Конечно, я не отказываюсь отъ нея навсегда; черезъ нѣсколько лѣтъ, можетъ быть, и напишу что нибудь. Но сдѣлать литературныя занятія единственнымъ занятіемъ жизни—я рѣшительно отказываюсь".

Размышленія о томъ, какъ устроиться, привели В. М—ча даже къ мысли, какъ мы выше говорили, о вторичномъ поступленіи въ военную службу, и это намѣреніе одно время такъ серьезно заняло его, что онъ по этому поводу велъ продолжительную переписку со старымъ товарищемъ-офицеромъ.

Въ послѣднее время пребыванія въ Ефимовкѣ В. М—чъ писалъ свою сказочку: „То, чего не было". Предназначалась она для рукописнаго дѣтскаго журнальчика „Маленькій корабликъ", который задумали издавать дѣти А. Я. Герда, но сказка, какъ В. М—чъ самъ признавалъ, вышла не дѣтская, а „скалдырническая", т.-е. слишкомъ мизантропическая, и была напечатана въ журналѣ „Устои". Но раньше выхода въ свѣтъ она стала извѣстною среди публики и возбудила разные толки. По этому поводу В. М—чъ жалуется въ письмѣ къ В. А. Фауссеку (26 февраля 1882 г.) [1]):

„Господи, вотъ гдѣ истинные мизантропы, сэръ! Экій, подумаешь, нюхъ! Гдѣ и нѣтъ ничего—и тамъ слышится имъ запахъ. Клянусь моимъ свиданьемъ съ вами: мнѣ и въ го-

[1]) Тамъ же, стр. 41.

лову не приходило, что за этими Антонами и мухами можно угадывать что нибудь, кромѣ мухъ и Антоновъ. Какъ хорошо прежде было: сиди себѣ и бряцай „рукой разсѣянной“, а теперь только начнешь бряцать — думаешь: просто струну невинную зацѣпилъ, анъ оказывается, что NN за носъ задѣлъ“.

Въ маѣ 1882 года В. М—чъ былъ уже въ Петербургѣ. Въ числѣ причинъ, влекшихъ его сюда, было желаніе повидаться съ Тургеневымъ, который сочувственно отнесся къ В. М—чу съ появленія первыхъ разсказовъ его и принималъ большое участіе въ немъ во время его болѣзни. Когда В. М—чъ оправился, онъ вступилъ съ Тургеневымъ въ переписку. Послѣдній собирался пріѣхать на лѣто 1882 года въ Россію и приглашалъ В. М—ча провести это лѣто у него въ имѣніи (Спасское-Лутовиново). Болѣзнь помѣшала Тургеневу побывать въ Россіи, но онъ все-таки приглашалъ В. М—ча пріѣхать въ Спасское и пожить тамъ, сколько поживется.

Прибывъ въ Петербургъ, В. М—чъ занялся изданіемъ первой книжки своихъ разсказовъ. Когда книжка была напечатана, В. М—чъ воспользовался приглашеніемъ Тургенева и отправился въ Спасское. Здѣсь въ это время гостилъ поэтъ Я. П. Полонскій съ семьей; такимъ образомъ образовалось небольшое общество. В. М—чъ съ удовольствіемъ отзывался о времени, проведенномъ въ имѣніи Тургенева, говоря, что тамошняя обстановка какъ нельзя лучше благопріятствовала душевному успокоенію и работѣ. Въ это время были написаны имъ „Записки рядового Иванова“.

Осенью В. М—чъ былъ снова въ Петербургѣ. Начались поиски какого нибудь посторонняго занятія ради насущнаго хлѣба. Сначала В. М—чъ поступилъ въ помощники управляющаго торговою частью Анноповской писчебумажной фабрики, въ Гостинномъ дворѣ, 50 руб. мѣсячнаго жалованья. Но занятія эти, довольно иногда тяжелыя и отнимавшія у него много времени, продолжались недолго, а въ слѣдующемъ

году В. М—чъ получилъ мѣсто секретаря съѣзда представителей желѣзныхъ дорогъ. Въ слѣдующемъ же 1883 году, 11 февраля, В. М—чъ женился на слушательницѣ женскихъ врачебныхъ курсовъ, Надеждѣ Михайловнѣ Золотиловой.

Съ пріисканіемъ мѣста и съ женитьбою для В. М—ча наступилъ самый свѣтлый моментъ его жизни. Семейная жизнь его была до того счастлива, что даже удивляла его, и онъ писалъ всегда друзьямъ о ней, какъ объ „удивительномъ исключеніи изъ матримоніальныхъ порядковъ“... „Вотъ одиннадцатый мѣсяцъ, какъ мы обвѣнчались,—писалъ В. М—чъ Латкину 9 декабря 1883 г.—всегда буду помнить этотъ годъ съ благодарностью Богу о судьбѣ. И надѣемся, что наша жизнь будетъ долго такъ же спокойна (глупое слово, найди самъ); очень ужъ мы съ нею сошлись“...

Кромѣ взаимной любви и соотвѣтствія характеровъ молодыхъ супруговъ, большое значеніе для В. М—ча имѣло то обстоятельство, что Надежда Михайловна была женщина-врачъ. Больной, онъ нуждался не только въ заботливомъ уходѣ, но и въ разумномъ медицинскомъ присмотрѣ. В. М—чъ хорошо понималъ, какъ много заботъ и хлопотъ и страданій доставлялъ онъ женѣ, и очень высоко цѣнилъ ея терпѣливыя и нѣжныя попеченія о немъ.

Благодаря занимаемому мѣсту, матеріальныя заботы были сняты съ В. М—ча. Мѣсто секретаря съѣзда, вполнѣ обезпечивая скромныя потребности его, въ то же время не особенно обременяло его: оно требовало усиленныхъ занятій не болѣе одного-двухъ мѣсяцевъ въ году, когда собирался съѣздъ; въ остальное время текущія дѣла отнимали очень немного времени. Отношенія къ сослуживцамъ и начальству у В. М—ча сразу установились самыя задушевныя.

Обезпеченность и досугъ доставили В. М—чу возможность свободно располагать своимъ временемъ и писать, когда приходитъ желаніе. И вотъ мы видимъ, что онъ энергически принялся за литературную работу. Въ половинѣ 1883 года онъ писалъ сразу три разсказа, между прочимъ „Красный

цвѣтокъ". Съ этого же времени онъ задумалъ большую историческую повѣсть изъ эпохи Петра Великаго, о чемъ онъ мечталъ еще въ ранніе годы юности, какъ признавался самъ, и для этого усиленно занимался чтеніемъ историческихъ изысканій и сырыхъ матеріаловъ, относящихся къ этой эпохѣ. Содержаніе повѣсти должно было представлять борьбу старой и новой Россіи. Представители послѣдней должны были быть самъ Петръ и „пирожникъ" — князь Меньшиковъ, а представителемъ старой Россіи — извѣстный подъячій Докукинъ, рѣшившійся поднести Петру знаменитое „письмо", въ которомъ онъ прямо и рѣшительно указалъ ему темныя стороны его дѣятельности. Фигура Петра производила еще въ дѣтствѣ громадное впечатлѣніе на В. М—ча, а личность Докукина заинтересовала еще при первомъ же знакомствѣ. Мысль объ историческомъ романѣ не оставляла В. М—ча до самой смерти, и во всѣ остальные годы своей жизни онъ постоянно былъ занятъ ознакомленіемъ съ матеріалами по исторіи эпохи Петра I, а также предшествовавшаго и послѣдующаго времени.

Однимъ словомъ, въ продолженіе всего 1883 г. В. М—чъ былъ избавленъ отъ припадковъ меланхоліи, былъ веселъ, оживленъ, полонъ энергіи, надеждъ, несмотря на то, что лѣто провелъ въ Петербургѣ, ограничившись лишь небольшою экскурсіею съ Малышевымъ въ Тихвинъ на 500-лѣтіе тихвинской иконы, при чемъ туда ѣхали они по желѣзной дорогѣ и на почтовыхъ, а назадъ — на почтовыхъ и на пароходѣ по Сяси, каналамъ и Невѣ.

Но при всемъ этомъ внѣшнемъ благополучіи и довольствѣ, даже и въ эти самые свѣтлые дни жизни не переставалъ точить сердце В. М—ча червякъ, не дававшій ему насладиться вполнѣ безоблачнымъ счастьемъ. Съ одной стороны, не мало смущала его временами боязнь вновь подвергнуться психическому недугу. Такъ, по словамъ Я. В. Абрамова, В. М—чъ не разъ говорилъ ему [1]): „Я предпочиталъ бы

[1]) Сб. П. Г., стр. 44.

страдать самою ужасною болѣзнью, быть сифилитикомъ, отличаться крайнимъ уродствомъ, наконецъ потерять обѣ руки, только избавиться бы отъ этой ужасной болѣзни сумасшествія". Такія мрачныя опасенія В. М—чъ высказывалъ даже въ минуту совершеннаго спокойствія и счастія. Вмѣстѣ съ тѣмъ общій характеръ русской жизни въ то время былъ таковъ, что омрачалъ духъ даже людей съ вполнѣ здоровыми нервами. Можно же судить о томъ, какъ тяжело ложились впечатлѣнія жизни на болѣзненно чуткіе нервы В. М—ча. Такъ, по поводу извѣстія о самоубійствѣ одной знакомой дѣвушки онъ писалъ, между прочимъ, В. А. Фауссеку въ письмѣ 18 мая 1883 г.:

„Всѣ люди, которыхъ я зналъ, раздѣляются (между прочими дѣленіями, которыхъ, конечно, множество: умные и дураки, Гамлеты и Донъ-Кихоты, лѣнтяи и дѣятельные и пр.) на два разряда, или, вѣрнѣе, распредѣляются между двумя крайностями: одни обладаютъ хорошимъ, такъ сказать, самочувствіемъ, а другіе — скернымъ. Одинъ живетъ и наслаждается всякими ощущеніями: ѣстъ онъ — радуется, на небо смотритъ — радуется. Даже низшія физіологическія отправленія совершаетъ съ видимымъ удовольствіемъ. Это я не разъ слышалъ, да навѣрно и вы тоже. Словомъ, для такого человѣка самый процессъ жизни — удовольствіе, самосознаніе жизни — счастіе. Вотъ какъ Платоша Каратаевъ. Такъ ужъ онъ устроенъ, и я не вѣрю ни Толстому, никому иному, что такое свойство Платоши зависитъ отъ міросозерцанія, а не отъ устройства. Другіе же совсѣмъ напротивъ: озолоти его — онъ все брюзжитъ, все ему скверно; успѣхъ въ жизни не доставляетъ никакого удовольствія, даже если онъ вполнѣ налицо. Просто человѣкъ неспособенъ чувствовать удовольствіе — неспособенъ, да и все тутъ. Отчего? — конечно, не я вамъ это скажу: когда Бернары найдутъ хвостики самихъ хвостиковъ нервовъ и все поймутъ и опишутъ, тогда сейчасъ и объяснятъ. Посмотрятъ подъ микроскопомъ и скажутъ: ну, братъ, живи, потому что если тебя даже каждый день

сѣчь станутъ, то и тогда ты будешь доволенъ и будешь чувствовать себя великолѣпно. А другому скажутъ: плохо твое дѣло, никогда ты не будешь доволенъ: лучше заблаговременно помирай. И такой человѣкъ помретъ. Такъ умерла и Надя. Ей тоже все сладкое казалось горькимъ. Да и сладкаго немного было".

Переходя затѣмъ къ себѣ, В. М—чъ пишетъ въ томъ же письмѣ:

„Служу, женатъ. Вообще „очень потолстѣлъ и играетъ на скрипкѣ", насколько можетъ предаваться такому занятію человѣкъ, который по устройству своему также склоненъ принимать сладкое, если не за горькое, то за не очень сладкое. Насколько я могу быть доволенъ—кажется, доволенъ. Недоволенъ только тѣмъ, что почти ничего не пишу. Пугаюсь даже, Викторъ Андреевичъ, не кончилъ ли я своей литературной карьеры! До такой степени трудно писать, думать, что я не знаю, въ головѣ ли у меня совершается какой-то скверный процессъ („хвостики" портятся), или это „такъ" — временное затменіе напало? Не знаю, но только хотя писать охота смертная, да участь горькая — ничего не выходитъ".

Насколько внѣшнія впечатлѣнія раздражали и мучили В. М — ча, мы можемъ судить также и изъ слѣдующей выдержки изъ письма В. М. Латкину 23 декабря 1883 г.

„6-го были мы съ Васей у Х.; собралось на именины человѣкъ 15 молодыхъ учителей, адъюнктовъ, лаборантовъ и прочей ученой братіи. Нехорошее я вынесъ впечатлѣніе. Разговоры объ единицахъ, рѣшеніе геометрическихъ курьезовъ, разговоры о трихлорметилбензолоидной окиси какой-то чертовщины (я конечно навралъ въ этомъ названіи, какъ дикарь, но si non è vero, è ben trovato) — это часть первая. Гнуснѣйшіе въ полномъ смыслѣ анекдоты — соединеніе ужасной чепухи съ безцѣльной и неостроумной пахабщиной (какая-то турецкая или ташкентская) — это вторая. Основательная выпивка — третья. И больше ничего. Ни одного не только ра-

зумнаго, а хоть сколько нибудь интереснаго слова. Право, какое-то одичаніе. Да и вообще одичаніе. Какъ мы привыкли, напримѣръ, къ этому свѣжеванію! Толкуютъ конечно, потому что любопытно и интересно, но ужаса — никакого, такого ужаса, какой испытываетъ человѣкъ въ морѣ, а онъ (ужасъ) вполнѣ законенъ"...

Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ впечатлѣній уже въ февралѣ 1884 года В. М — чъ заскучалъ. Такъ, 3-го февраля онъ писалъ В. А. Фауссеку: „Теперь я „влачу жизнь". Именно не живешь, а влачишь жизнь, т.-е. не прилагаешь къ ней никакихъ стараній, а отдаешься пассивно: пусть будетъ, что будетъ. Съ нетерпѣніемъ ожидаю перемѣны настроенія (точно морякъ вѣтра!), чтобы что нибудь писать. Пробовалъ я было писать, да что-то не идетъ... Вчера мнѣ минуло 29 лѣтъ. Довольно скверное чувство овладѣваетъ мной при мысли, что *тридцать* лѣтъ черезъ годъ и что молодость прошла. А впрочемъ, куда ни посмотришь, молодость далеко не обрѣтается въ авантажѣ. Можетъ быть, и лучше, что моя молодость прошла" [1])...

Въ теченіе лѣта хандра эта усилилась до такой степени, что В. М — чъ долженъ былъ прекратить всякія занятія. „Я страшно хандрю всѣ эти полгода, — писалъ онъ В. А. Фауссеку [2]), — самой скверной, безпричинной хандрой и ужасно боюсь, какъ бы не заболѣть. Мнѣ не такъ страшно умереть, какъ заболѣть. А не будь возлѣ меня Надежды Михайловны, непремѣнно заболѣлъ бы... Теперь у меня нѣтъ острой, мучительной тоски, но апатія и лѣнь чудовищныя. И нѣтъ никакихъ силъ сбросить ихъ съ себя. Очень плохи мои дѣла, В. А.".

Но на этотъ разъ, благодаря уходу жены и силамъ, пріобрѣтеннымъ пребываніемъ въ Ефимовкѣ, В. М—чъ скоро отдѣлался отъ своей болѣзни и къ августу настолько опра-

[1]) Сб. П. Г., стр. 51.
[2]) Сб. П. Г., стр. 111.

вился, что могъ приняться за большую работу, именно за повѣсть „Надежда Николаевна“. „Ты спрашиваешь, — писалъ онъ В. М. Латкину 10 августа 1884 года, — что я пишу. Приступаю только къ написанію той самой старинной штуки о художникѣ, его амантѣ и злодѣѣ-убійцѣ, которую ты, помнится, одобрилъ. Выйдетъ что-то листа въ четыре, а можетъ быть, и больше—по моимъ привычкамъ вещь огромная, надъ которой придется сидѣть мѣсяца 2—3“ [1]).

Затѣмъ 18 ноября онъ писалъ тому же Латкину: „Художникъ-убійца подходитъ къ концу; нарочно для него ходилъ въ „залъ общедоступныхъ увеселеній“ (нѣчто въ родѣ Марцинкевича) и тамъ созерцалъ множество б. и б.“.

Къ началу 1885 года повѣсть была окончена и напечатана въ первыхъ книжкахъ „Русской Мысли“. Вообще къ этому времени жизнь В. М—ча вполнѣ установилась, и остальные годы представляютъ одинъ и тотъ же однообразный характеръ: зимой нѣсколько мѣсяцевъ оживленія и энергической дѣятельности въ свободные часы отъ службы; лѣто, проводившееся по большей части въ квартирѣ родныхъ его жены, въ сухопутной таможнѣ, у Екатерингофа, проходило въ неизбѣжныхъ припадкахъ меланхоліи, которые съ каждымъ годомъ дѣлались продолжительнѣе.

Но прежде, чѣмъ мы остановимся на выдающихся фактахъ четырехъ послѣднихъ лѣтъ жизни В. М—ча и на его печальной кончинѣ, постараемся, насколько можемъ, изобразить портретъ В. М—ча со всѣми выдающимися нравственными и умственными качествами его, руководствуясь для этого воспоминаніями друзей его, и въ особенности В. А. Фаусека, знавшаго покойнаго очень близко въ продолженіе 12 лѣтъ и напечатавшаго въ „Сб. Пам. Гарш. самыя обстоятельныя воспоминанія о своемъ другѣ.

Первое, что васъ болѣе всего поражаетъ во всѣхъ отзывахъ о В. М—чѣ, какъ о человѣкѣ, это общій и единодуш-

[1]) Сб. П. Г., стр. 53.

ный восторгъ при видѣ чего-то необыкновеннаго по своей безукоризненной цѣльной идеальности. Такъ, напр., вотъ какъ отзывается о немъ А. И. Эртель [1]): „При первомъ же знакомствѣ васъ необыкновенно влекло къ нему. Печальный и задумчивый взглядъ его большихъ „лучистыхъ“ глазъ, дѣтская улыбка на губахъ, то застѣнчивая, то ясная и добродушная, „искренній“ звукъ голоса — я не умѣю подобрать другого выраженія — что-то необыкновенно простое и милое въ движеніяхъ—все въ немъ прельщало... И за всѣмъ тѣмъ, все, что онъ ни говорилъ, все, что онъ ни думалъ, не становилось въ противорѣчіе съ его внѣшними обстоятельствами, не вносило диссонанса въ эту удивительно гармоническую натуру. Трудно было найти бо́льшую скромность, бо́льшую простоту, бо́льшую искренность; въ малѣйшихъ оттѣнкахъ мысли, какъ и въ малѣйшемъ жестѣ можно было замѣтить ту же присущую ему мягкость и правдивость...“

Съ такимъ же восторгомъ отзывается о своемъ другѣ и В. А. Фауссекъ [2]): „Я часто думалъ, — говоритъ онъ — что если можно представить себѣ такое состояніе міра, когда въ человѣчествѣ наступила бы полная гармонія, то это было бы тогда, если бы у всѣхъ людей былъ такой характеръ, какъ у В. М—ча. Онъ не былъ способенъ ни на какое дурное движеніе душевное. Основная черта его была — необыкновенное уваженіе къ правамъ и чувствамъ другихъ людей, необыкновенное признаніе человѣческаго достоинства во всякомъ человѣкѣ, не разсудочное, не вытекающее изъ выработанныхъ убѣжденій, а безсознательное, инстинктивное, свойственное его натурѣ. Чувство человѣческаго равенства было ему присуще въ высшей степени; всегда со всѣми людьми безъ исключенія держался онъ одинаково... Онъ уважалъ право всякаго человѣка имѣть свои интересы, и съ кѣмъ бы онъ ни говорилъ, умѣлъ всегда войти въ кругъ желаній и понятій сво-

[1]) Кр. Цв., стр. 45—46.
[2]) Сб. П. Г., стр. 107.

его собесѣдника, понять и оцѣнить значеніе тѣхъ интересовъ, которые его занимаютъ. Насмѣшливость совершенно не была въ его характерѣ. Онъ любилъ трунить и добродушно подсмѣиваться надъ своими друзьями, охотно и самъ въ свою очередь подвергался шуткамъ. Но я въ жизни не слыхалъ, чтобы онъ сказалъ кому либо въ лицо насмѣшку или самую незначительную колкость; если онъ хотѣлъ выразить свое неодобреніе, то всегда говорилъ серьезно и открыто, и всегда съ огорченіемъ.

„Когда онъ узнавалъ о какомъ нибудь злом дѣлѣ, дурномъ поступкѣ, въ немъ сильнѣе пробуждалось чувство участія къ пострадавшему, чѣмъ негодованія противъ обидчика. А все-таки иногда онъ бывалъ вспыльчивъ, и если на его глазахъ случалась какая нибудь гадкая, злая обида, онъ могъ выходить изъ себя и безъ малѣйшаго колебанія и раздумья становился на защиту обижаемаго, не стѣсняясь въ выраженіяхъ вражды. Теорія непротивленія злу казалась ему особенно несимпатичною своею холодною разсудочностью“...

А вотъ что говоритъ о В. М—чѣ сослуживецъ его, г. Н. Васильевъ [1]):

„Своимъ благороднымъ, добродушно кроткимъ, простымъ и тихимъ обращеніемъ В. М—чъ приблизилъ къ себѣ всѣхъ, имѣвшихъ съ нимъ дѣло, пріобрѣлъ общія симпатіи служащихъ, сталъ общимъ всѣхъ любимцемъ. Кротостью и добродушіемъ онъ доводилъ иногда до изумленія. Въ подтвержденіе послѣдняго я приведу здѣсь два-три факта.

„Разъ посланный за полученіемъ денегъ на почту по одной повѣсткѣ получилъ и сдалъ ему деньги сполна, а по другой отдалъ только пакетъ съ препроводительной бумагой, извинившись, что вложенныя деньги издержалъ на свои потребности, и В. М—чъ, по добротѣ своей, не только не донесъ объ этомъ, кому слѣдовало, но не въ состояніи былъ сдѣлать ему даже легкое замѣчаніе за это: вложилъ недо-

[1]) Кр. Цв., стр. 25.

ставленныя деньги изъ своихъ средствъ и только сожалѣлъ о поступившемъ такимъ образомъ.

„Въ другой разъ пришлось мнѣ быть свидѣтелемъ дерзкаго оскорбленія его лицомъ почти что постороннимъ, безъ малѣйшаго со стороны В. М — ча повода, отъ котораго онъ отошелъ безропотно и плакалъ; а на другой день самъ же себя винилъ, что оскорбился, говоря, что, можетъ быть, и самъ онъ виноватъ, что съ нимъ такъ поступили".

Несмотря на то, что по цѣлымъ мѣсяцамъ онъ былъ одержимъ припадками меланхоліи и писалъ такіе мрачные разсказы, при малѣйшемъ проясненіи духа и едва онъ чувствовалъ себя хоть немного здоровымъ, онъ тотчасъ же дѣлался преисполненнымъ самою свѣтлою жизнерадостностью. „У него была — говоритъ В. А. Фауссекъ [1]) — огромная способность понимать и чувствовать счастье жизни. Его разносторонняя, впечатлительная, богато одаренная натура была крайне чутка ко всему доброму и хорошему въ мірѣ; всѣ источники радости и наслажденія въ человѣческой жизни были ему доступны и понятны. Страстный цѣнитель искусствъ, онъ всею душою любилъ поэзію, живопись и музыку, никогда не уставалъ ими наслаждаться. Знатокъ и любитель природы, онъ чрезвычайно чутко относился ко всѣмъ ея красотамъ, ко всѣмъ ея проявленіямъ; онъ любилъ небо и звѣзды, море и степь, звѣрей и растенія; книга природы была для него великолѣпная книга, каждая страница которой доставляла ему наслажденіе. Онъ любилъ людей, былъ общительнаго характера, и человѣческое общество ему, доброму, скромному и въ высшей степени терпимому человѣку, всегда было пріятно, всегда доставляло удовольствіе. Онъ любилъ всякія физическія упражненія, всякій личный трудъ и съ увлеченіемъ и радостью предавался имъ. Словомъ, всѣ источники радости и удовольствія, какіе только существуютъ для людей, всѣ были ему доступны"...

[1]) Сб. П. Г., стр. 110.

Изъ всѣхъ ручныхъ упражненій самымъ любимымъ для него было переплетное мастерство, которымъ онъ занимался съ большою любовью, и посвящалъ ему обыкновенно почти каждый день предобѣденные и послѣобѣденные часы „Его нервность, — говоритъ В. А. Фауссекъ [1]) — его живая, подвижная натура не давали покоя его рукамъ, вѣчно ищущимъ дѣятельности, и когда въ нихъ попадали какія-нибудь вещи, инструменты, мелкіе приборы, клочекъ бумаги или веревки— онѣ подвергались цѣлому ряду фантастическихъ превращеній... Когда я, возвращаясь домой, находилъ въ своей комнатѣ какой нибудь особенно странный безпорядокъ — книги, разложенныя узоромъ, или на столѣ огромное сооруженіе, на верхушкѣ котораго качалась на кончикѣ пера записка, я зналъ уже, что это заходилъ безъ меня В. М—чъ".

Техническія способности однажды совершенно неожиданно принесли ему немалую для него выгоду. Ему пришлось быть вечеромъ у одного стараго знакомаго, инженера. Разговоръ зашелъ о преміи, назначенной за устройство особаго приспособленія къ вагонамъ для перевозки хлѣба. Обсуждая задачу и придумывая ея рѣшеніе, пріятели мало-по-малу создали цѣлый проектъ вагона и въ тотъ же вечеръ написали его; сестра инженера переписала, и они рѣшили подать его, и если получатъ премію, раздѣлить ее на три части по числу сотрудниковъ.

Премія въ самомъ дѣлѣ досталась проекту, и В. М — чъ получилъ въ свою долю около 800 руб. Надсонъ, жившій тогда за границей, въ шуточномъ письмѣ къ В. М — чу поздравлялъ его съ успѣхомъ на инженерномъ поприщѣ и предсказывалъ ему великую желѣзнодорожную будущность [2]).

Начитанность В. М — ча была обширна и разнообразна, а превосходная память помогала ему сохранять въ головѣ обширный запасъ свѣдѣній. На первомъ планѣ конечно стояла

---

[1]) Сб. П. Г., стр. 97.
[2]) Сб. П. Г., стр. 98.

для него русская литература, и онъ зналъ ее очень хорошо. У него былъ тонкій вкусъ и отличное критическое пониманіе. Сужденія его были мѣтки и оригинальны, и отзывы его всегда вполнѣ искренни и самостоятельны; все, что онъ говорилъ, было всегда его собственное, придуманное; онъ былъ въ высшей степени самостоятеленъ и независимъ въ своихъ мнѣніяхъ. За современнымъ движеніемъ литературы онъ слѣдилъ внимательно, и всякое проявленіе новаго таланта его сердечно радовало. Покойнаго Надсона онъ близко зналъ и любилъ, и считалъ его очень талантливымъ. Въ послѣдніе годы жизни поэта, когда онъ, умирая отъ чахотки, жилъ то за границей, то въ Кіевѣ, то въ Крыму, В. М—чъ постоянно переписывался съ нимъ и радъ былъ хоть какой нибудь бездѣлицей доставить ему мимолетное удовольствіе. Онъ писалъ ему остроумныя, полныя юмора, письма; однажды онъ сочинилъ даже цѣлое посланіе на церковно-славянскомъ языкѣ, тщательно выводя славянскія буквы... Съ величайшею симпатіей встрѣтилъ онъ появленіе разсказовъ г. Короленко и позднѣе — г. Чехова; въ его сердцѣ не было никогда ни тѣни зависти къ чужому успѣху.

„Онъ любилъ—говоритъ далѣе В. А. Фауссекъ [1]) — изучать старую русскую литературу, и нѣкоторыя старинныя произведенія были его любимыми книгами, которыя онъ зналъ почти наизусть. Къ числу таковыхъ принадлежало, напр., житіе протопопа Аввакума. Онъ зналъ также много наизусть изъ старыхъ поэтовъ, изъ Ломоносова и Державина, любилъ цитировать Державина и указывать на его поэтическія достоинства. Пушкина и Лермонтова онъ перечитывалъ изъ года въ годъ. Онъ говорилъ мнѣ какъ-то, что Пушкина надо каждый годъ перечитывать, потому что съ каждымъ годомъ жизни открываешь въ немъ все новыя черты. Я засталъ его какъ-то за „Евг. Онѣгинымъ“; онъ сказалъ мнѣ, что сейчасъ плакалъ, читая, плакалъ не потому, что былъ тронутъ

[1]) Сб. П. Г., стр. 100.

какими нибудь мѣстами самой поэмы, а плакалъ отъ умиленія и восторга при мысли, что у насъ былъ такой поэтъ: „Вотъ стихи, которые я тысячу разъ читалъ, и всякій разъ замѣчаю новыя подробности“. Онъ сталъ читать мнѣ отъѣздъ Лариныхъ изъ деревни и указалъ на стихъ „Ведутъ на дворъ осьмнадцать клячъ“, какъ на перлъ добродушнаго юмора, ускользавшій до сихъ поръ отъ его вниманія.

Но настоящимъ властителемъ его думъ былъ Л. Н. Толстой. Его произведенія были для него настольною книгой, несравненнымъ образцомъ художественнаго творчества. Онъ перечитывалъ его десятки разъ и помнилъ всякую подробность. О герояхъ и разныхъ событіяхъ изъ романовъ Толстого онъ часто въ разговорѣ упоминалъ такимъ тономъ, какъ будто это былъ не вымыселъ, а дѣйствительность. Но съ религіозно-нравственнымъ ученіемъ Л. Н. Толстого Гаршинъ не могъ согласиться. Самая сущность этого ученія казалась ему ошибочной, вслѣдствіе стремленія построить жизнь на разсудочной почвѣ; между тѣмъ, жизнь управляется, по мнѣнію В. М—ча, главнымъ образомъ, страстями людей. Ученіе о „непротивленіи злу“ было ему несимпатично; онъ не одобрялъ Толстого за его презрѣніе къ историческому развитію нравственности, къ историческому взгляду на жизнь. Это не мѣшало ему, конечно, сочувствовать цѣлямъ и дѣятельности „Посредника“. Онъ былъ друженъ съ П. Г. Чертковымъ и относился къ нему съ большою симпатіею и уваженіемъ. Въ 1886 году онъ предоставилъ „Посреднику“ издать „Четыре дня“ съ картинками.

„Власть тьмы“ онъ встрѣтилъ съ величайшимъ энтузіазмомъ. Въ одномъ небольшомъ обществѣ нѣкій критикъ прочелъ свою рецензію на драму Л. Толстого, возмутившую В. М—ча, и онъ возражалъ на нее, произнесши экспромптомъ цѣлую рѣчь, и такъ краснорѣчиво, такъ убѣдительно, что, казалось, вложилъ всю душу въ защиту любимаго писателя. Онъ защищалъ пьесу Толстого противъ обвиненія въ безнравственности; по его мнѣнію, „Власть тьмы“ была на-

стоящая истинная трагедія, какъ ее понимали греки: по Аристотелю, трагедія должна вызывать въ зрителѣ „ужасъ и состраданіе“; „Власть тьмы“ именно и вызываетъ ужасъ и состраданіе.

Съ европейскими литературами Гаршинъ не былъ знакомъ съ такою же основательностью; ему мѣшало плохое знаніе языковъ, такъ какъ лишь на французскомъ языкѣ онъ могъ читать свободно. Съ дѣтства не выучившись языкамъ практически, онъ потомъ никогда уже не могъ этого сдѣлать, хотя часто огорчался своимъ незнаніемъ. Не разъ принимался онъ за симпатичное чтеніе по-нѣмецки или по-англійски, за грамматику и упражненія, но скоро утомлялся и бросалъ. Онъ вовсе не былъ лѣнивъ, но не могъ быть усидчивымъ; онъ никогда не могъ заниматься тѣмъ, что̀ требовало много терпѣнія и выучки. Однообразный и утомительный трудъ, частое повтореніе одного и того же были ему не по нервамъ. А между тѣмъ, англійскій языкъ особенно привлекалъ его; національный геній англійскаго народа былъ для него всегда предметомъ уваженія и глубокаго интереса. Когда онъ мечталъ о поѣздкѣ за границу, то на первомъ планѣ всегда стояли Англія и Лондонъ. Ни одинъ народъ, по его мнѣнію, не могъ выставить двухъ такихъ именъ, какъ Ньютонъ и Дарвинъ: „и если я прибавлю къ нимъ—говорилъ онъ—еще третье великое имя — Шекспира, то должно сказать, что это дѣйствительно первый народъ на землѣ“.

Тѣмъ не менѣе, европейскихъ классиковъ, равно какъ и древнихъ (разумѣется, въ переводахъ) онъ зналъ хорошо. Два европейскихъ писателя пользовались его особенной любовью — Диккенсъ и Андерсенъ. Слогу Диккенсовскихъ героевъ онъ любилъ подражать въ шутку въ своихъ письмахъ. Вліяніе Андерсеновыхъ сказокъ отразилось на его собственной литературной дѣятельности. Онъ сообщилъ однажды своему пріятелю, В. А. Фауссеку, что ему хотѣлось бы издать когда нибудь всѣ свои сказки отдѣльной книжечкой съ общимъ посвященіемъ „великому учителю своему, Гансу-Хри-

стіану Андерсену". О его любви къ живописи, о постоянныхъ посѣщеніяхъ выставокъ и о знакомствахъ въ художественномъ мірѣ мы говорили. Позднѣе знакомства эти еще болѣе расширились, особенно среди членовъ товарищества передвижныхъ выставокъ; онъ былъ въ дружескихъ отношеніяхъ съ И. Е. Рѣпинымъ и Н. А. Ярошенко. Особенно сблизился онъ съ первымъ. „Очень я сошелся съ Рѣпинымъ— пишетъ онъ въ письмѣ къ Латкину 10 августа 1884 г. [1]);— какъ человѣкъ, онъ мнѣ нравится не меньше, чѣмъ какъ художникъ. Такое милое, простое, доброе и умное созданіе божіе этотъ Илья Ефимычъ, и къ этому еще, насколько я могъ оцѣнить, сильный характеръ, при видимой мягкости и даже нѣжности. Не говорю о томъ, какъ привлекателенъ уже самый талантъ его. Я, кажется, писалъ тебѣ, что онъ началъ мой портретъ. Скоро онъ будетъ конченъ".

Въ какой восторгъ привела его знаменитая картина Рѣпина „Иванъ Грозный", мы можемъ судить по выдержкѣ изъ слѣдующаго письма В. М—ча къ В. М. Латкину 20-го февраля 1885 г. [2]):

„Въ какомъ бы восторгѣ ты былъ теперь, увидѣвъ „Ив. Грозн." Рѣпина! Да, такой картины у насъ еще не было, ни у Рѣпина, ни у кого другого—и я желалъ бы осмотрѣть всѣ европейскія галлереи для того только, чтобы сказать то же и про Европу... Представь себѣ Грознаго, съ котораго соскочилъ царь, соскочилъ Грозный, тиранъ, владыка — ничего этого нѣтъ; передъ тобою выбитый изъ сѣдла звѣрь, который подъ вліяніемъ страшнаго удара на минуту сталъ человѣкомъ. Я радъ, что живу въ то время, когда живетъ Илья Ефимовичъ Рѣпинъ. У меня нѣтъ похвалы для этой картины, которая была бы ея достойна..."

Члены товарищества передвижныхъ выставокъ приглашали его на свои обычные обѣды передъ началомъ выставки.

---

[1]) Сб. П. Г., стр. 52.
[2]) Сб. П. Г., стр. 51.

Возросшій въ то время, когда у насъ естественныя науки были въ особенной модѣ и литература наполнялась популярными переводными книгами по естествознанію, В. М—чъ въ молодости прочиталъ множество такихъ книгъ, да и позднѣе прочитывалъ все, что̀ попадало ему подъ руку изъ области естествознанія. О лѣсѣ, о степи, о животныхъ, дикихъ и домашнихъ, о ихъ нравахъ и привычкахъ могъ онъ говорить цѣлые часы; въ его разсказахъ было много поэзіи, много юмору и наблюдательности. Имя Дарвина было для него однимъ изъ величайшихъ именъ, и къ нашимъ доморощеннымъ антидарвинистамъ онъ относился съ враждебной насмѣшкой. „Они не понимаютъ того, — говорилъ онъ — что если бы даже всѣ теоретическіе взгляды Дарвина были поколеблены, его заслуга отъ этого не уменьшится. Онъ взглянулъ на міръ иными глазами, чѣмъ смотрѣли до него; онъ научилъ людей иначе думать. Его критики не замѣчаютъ того, что когда они даже опровергаютъ его, они идутъ въ томъ же направленіи, которое имъ указано, смотрятъ на вещи такъ, какъ онъ научилъ смотрѣть“.

Писалъ онъ свои разсказы недолго, обыкновенно даже очень быстро, исписывая мелкимъ почеркомъ маленькіе, безпорядочные клочки бумаги; но когда онъ садился писать, весь разсказъ былъ уже готовъ въ его головѣ. Онъ обдумывалъ его на улицѣ, во время своихъ продолжительныхъ прогулокъ, или дома, работая, за переплетнымъ станкомъ. Онъ говорилъ, что главное удовольствіе, доставляемое ему переплетаніемъ книгъ, состоитъ въ томъ, что за этимъ занятіемъ такъ хорошо думать.

Тѣмъ не менѣе, онъ не могъ много и долго работать; не даромъ говорилъ онъ, что каждая буква стоила ему капли крови. Литературная работа слишкомъ утомляла его, слишкомъ напрягала его нервы, чтобы онъ могъ постоянно или часто заниматься ею. Онъ не могъ писать спокойно и не волнуясь; его маленькіе разсказы требовали отъ него силь-

наго напряженія всѣхъ душевныхъ силъ, и созданія его воображенія глубоко его волновали.

И. Павловскій въ своей статьѣ „Дебютъ В. М. Гаршина“ [1]) разсказываетъ, какъ В. М—чъ пришелъ однажды къ одной знакомой акушеркѣ, г-жѣ Д., когда она готовилась къ экзамену. Какъ товарищу, котораго достаточно уважаешь, чтобы не стѣсняться съ нимъ, она сказала ему, что занята и не можетъ съ нимъ болтать. — „Ничего, работайте, я попишу“, отвѣтилъ В. М—чъ. Д. продолжала заниматься, а В. М—чъ, вынувши записную книжку, сталъ что-то записывать. Прошло нѣкоторое время; г-жа Д., углубленная въ занятіе, была вдругъ поражена рыданіями. Плакалъ В. М—чъ, описывая страданія Надежды Николаевны.

Мы уже говорили выше, что въ послѣдніе четыре года болѣзнь В. М—ча возвращалась къ нему каждое лѣто, становилась сильнѣе и все болѣе и болѣе захватывала осенніе мѣсяцы. „Промучивши его, по словамъ В. А. Фауссека [2]), цѣлое лѣто, это меланхолическое состояніе проходило въ августѣ, сентябрѣ такъ же быстро и внезапно, какъ появлялось. Иной разъ было даже удивительно. Три дня тому назадъ видѣлъ Гаршина въ самомъ несчастномъ видѣ; смотришь—онъ идетъ бодрый, спокойный, а еще черезъ два дня веселъ и подвиженъ, какъ будто съ нимъ ничего не было. У него былъ одинъ странный симптомъ болѣзни. Со времени наступленія тоски онъ не могъ курить; какъ только болѣзнь начинала его покидать, у него вдругъ снова появлялся аппетитъ и вкусъ къ куренію. Онъ зналъ это, и въ концѣ лѣта съ какимъ-то суевѣрнымъ чувствомъ ждалъ, когда онъ будетъ опять въ состояніи курить. Это ожиданіе раздѣляли и его окружающіе: какъ только куреніе дѣлалось ему доступнымъ, онъ зналъ, что черезъ нѣсколько дней будетъ здоровъ“. Въ эти тяжкіе, ежегодно повторявшіеся періоды жена

---

[1]) „Кр. Цвѣт.“, стр. 20.
[2]) Сб. П. Гарш., стр. 11.

его была ему неоцѣненнымъ другомъ, помощникомъ, нянькой. Съ безконечнымъ терпѣніемъ ухаживала она за нимъ, успокоивала, берегла его, отстраняя отъ малѣйшихъ трудовъ, хлопотъ и волненій, день и ночь возилась около него, чтобы хоть чѣмъ нибудь развлечь, облегчить и успокоить. Онъ былъ тяжелъ въ это время; его мрачный, страдающій видъ производилъ невольно угнетающее впечатлѣніе. Его слезы и жалобы разстраивали. Иногда онъ становился раздражительнымъ. Безпомощный и изнеможенный, онъ не могъ исполнять самыхъ пустыхъ житейскихъ мелочей; пойти куда нибудь по самому пустому дѣлу было для него невыносимымъ трудомъ. Служба его, обыкновенно мало его утомлявшая, даже развлекавшая его, превращалась для него въ каторгу. И надобно отдать справедливость учрежденію, въ которомъ онъ служилъ: и главный завѣдующій имъ, и всѣ сослуживцы относились къ В. М—чу съ полнымъ участіемъ, съ самымъ искреннимъ вниманіемъ. Во время его заболѣванія ему доставляли всевозможныя облегченія, обыкновенно освобождали даже совсѣмъ отъ его обязанностей до выздоровленія. Онъ высоко цѣнилъ дружелюбное участіе и хорошее расположеніе своихъ сослуживцевъ и чувствовалъ къ нимъ самую теплую благодарность.

Въ свободные отъ болѣзни мѣсяцы В. М—чъ попрежнему занимался изученіемъ 18-го столѣтія для своего историческаго романа и редактировалъ вмѣстѣ съ А. Я. Гердомъ выпуски библіографическаго листка подъ заглавіемъ: „Обзоръ дѣтской литературы“. Въ началѣ 1886 года былъ написанъ имъ разсказъ „Агей“. Это былъ послѣдній его беллетристическій трудъ, появившійся въ печати, въ апрѣльской книжкѣ „Русской Мысли“. Лѣто 1886 года провелъ онъ въ сухопутной таможнѣ, въ ужасномъ видѣ.

„Я посѣщалъ его въ это время нѣсколько разъ,—разсказываетъ Я. В. Абрамовъ [1]), — мнѣ приходилось видѣть его

[1]) Сб. Пам. Г., стр. 59—60.

больнымъ и въ предшествовавшія лѣта, но никогда онъ не производилъ на меня такого тяжелаго впечатлѣнія, какъ въ это лѣто. Особенно тяжело было видѣть его въ первое посѣщеніе. Онъ лежалъ полураздѣтый и увѣрялъ, что не можетъ подняться съ постели. Дѣйствительно, онъ страшно исхудалъ и казался совершенно обезсиленнымъ. Между прочимъ, онъ жаловался на сильную боль въ одномъ мѣстѣ головы, боль, доводившую его до того, что онъ кричалъ. Мало-по-малу, разговаривая съ В. М—чемъ о текущихъ литературныхъ явленіяхъ, а также о французскихъ и англійскихъ писателяхъ, въ особенности о Диккенсѣ, въ симпатіяхъ къ которому мы сходились, я отвлекъ его мысли отъ его собственнаго состоянія, и онъ мало-по-малу пободрѣлъ, забылъ о своей головной боли, всталъ съ постели и даже предложилъ мнѣ погулять по садику и огороду, прилегавшимъ къ дому. Мы отправились, ходили, лежали на землѣ—и В. М—чъ былъ очень разговорчивъ и почти веселъ. Между прочимъ, онъ много смѣшного разсказывалъ по поводу полуразрушившихся построекъ, стоявшихъ передъ нами, выстроенныхъ въ ожиданіи громаднаго наплыва товаровъ, подлежащихъ таможенному осмотру, но оказавшихся ненужными за отсутствіемъ этихъ товаровъ. Но затѣмъ какой-то неосторожный вопросъ съ моей стороны навелъ его мысли снова на него самого, и онъ сразу измѣнился: почувствовалъ себя уставшимъ, больнымъ, поспѣшилъ въ комнаты — и я оставилъ его совсѣмъ разнемогшимся. Въ такомъ же родѣ были и остальныя наши свиданія. Въ его болѣзни большую роль играло разстроенное воображеніе, но насколько онъ дѣйствительно страдалъ, лучше всего показывали его пожелтѣвшее, осунувшееся лицо, его худоба и полная неспособность что-либо дѣлать въ періодъ болѣзни. Между прочимъ, онъ жаловался въ это лѣто на то, что у него пропала довольно большая работа: въ теченіе предшествовавшей зимы она сложилась у него въ головѣ и уже въ значительной мѣрѣ была перенесена на бумагу, оставалось связать отдѣльныя части, и повѣсть была бы готова,

но болѣзнь помѣшала этому, и онъ, какъ увѣрялъ, *забылъ*, что̀ собственно онъ хотѣлъ написать. Кажется, эта работа была имъ сожжена".

Къ зимѣ 1886 г. В. М—чъ опять оправился. „Въ эту зиму, — разсказываетъ Я. В. Абрамовъ — я видѣлся съ нимъ особенно часто. Помимо свиданій безъ особенно опредѣленной цѣли, мы сходились часто потому, что работали вмѣстѣ надъ обработкою матеріала для дальнѣйшихъ выпусковъ „Обзора дѣтской литературы". Никогда В. М—чъ не казался мнѣ такимъ веселымъ и полнымъ жизни, какъ въ эту зиму 1886—87 гг. Между прочимъ, онъ усиленно интересовался въ это время художественными работами и старался просвѣтить на этотъ счетъ меня, совершеннаго профана по этой части: онъ чуть не читалъ мнѣ цѣлыя лекціи по теоріи и исторіи искусства, затащилъ разъ на передвижную выставку и т. д. Въ это время онъ написалъ для „Сѣвернаго Вѣстника" статью — отчетъ по поводу очередной выставки. Глядя на него, на его оживленіе, невольно хотѣлось вѣрить въ то, что онъ избавился отъ своего недуга. Особенно бодрымъ выглядѣлъ онъ послѣ того, какъ раннею весною 1887 г. сдѣлалъ двухнедѣльную экскурсію въ Крымъ въ обществѣ нѣсколькихъ друзей. Уже въ половинѣ іюня В. М—чъ былъ еще вполнѣ здоровъ и строилъ разные планы, какъ относительно поѣздокъ въ Англію, на югъ Россіи и т. п.

„Но болѣзнь пришла, когда ее всего менѣе ожидали, и уже не оставляла В. М—ча до самой смерти. На этотъ разъ, кромѣ внутренней причины, дѣйствовали и внѣшнія. На В. М—ча обрушился рядъ непріятностей, приведшихъ къ полному разрыву съ близкими ему людьми. Болѣзнь В. М—ча сначала проявилась въ формѣ болѣе легкой сравнительно съ предшествовавшими годами, но затѣмъ она крайне усилилась и съ наступленіемъ холоднаго времени не только не исчезла, какъ бывало прежде, но сдѣлалась еще интенсивнѣе. Ко всему, перенесенному В. М—чемъ, присоединился еще рядъ новыхъ непріятностей. Съ начала болѣзни

В. М—чъ, по обыкновенію, былъ освобожденъ отъ исполненія своихъ обязанностей по съѣзду, до улучшенія здоровья. Но время шло, болѣзненное состояніе не исчезало. В. М—чъ считалъ невозможнымъ долѣе пользоваться любезностью своего начальства и рѣшился приступить къ исполненію обязанностей секретаря, несмотря на свое печальное состояніе. Но когда онъ явился на службу, временно замѣнявшій его господинъ встрѣтилъ его крайне грубо и заявилъ ему, что онъ, соглашаясь замѣнить В. М—ча, разсчитывалъ занять его мѣсто навсегда. Грубая выходка эта такъ подѣйствовала на В. М—ча, что онъ немедленно заявилъ объ оставленіи имъ мѣста секретаря. Съ этого времени къ числу давившихъ В. М—ча мыслей присоединились еще мысли о томъ, что ему нечѣмъ будетъ жить, что теперь онъ ни къ чему не годенъ и неспособенъ и что онъ вынужденъ будетъ обременять свою жену заботами о его содержаніи.

„При болѣзненномъ состояніи В. М—ча на немъ крайне вредно отражалась каждая мелкая непріятность, а въ эту зиму 1887 — 88 года, какъ нарочно, этихъ непріятностей выпало на его долю весьма не мало. Помню, между прочимъ, какъ болѣзненно отозвалась на немъ грубая выходка одного изъ „начинающихъ писателей“ (надоѣдавшихъ В. М—чу своими визитами и просьбами о прочтеніи или пристроеніи ихъ дебютовъ); В. М—чъ откровенно высказалъ свое невысокое мнѣніе о его „произведеніи“, и тотъ наговорилъ В. М—чу кучу самыхъ невозможныхъ дерзостей, чѣмъ разстроилъ несчастнаго В. М—ча до послѣдней степени болѣзненности.

„Еще болѣе болѣзненно дѣйствовали на В. М—ча разныя непріятныя исторіи, совершавшіяся въ это время въ литературномъ мірѣ. В. М—чъ всегда крайне скорбѣлъ передъ раздорами, царящими въ литературномъ мірѣ, вызываемыми сплошь и рядомъ чисто личными отношеніями. Въ зиму 1887—88 г. было особенно много такихъ печальныхъ явленій — и они крайне болѣзненно отзывались на впечатлительной натурѣ В. М—ча.

„Въ началѣ 1888 года съ В. М—чемъ произошелъ любопытный эпизодъ, вполнѣ характерный для этой свѣтлой личности. Проходя ночью по Невскому проспекту, В. М—чъ сдѣлался свидѣтелемъ возмутительной сцены: по распоряженію агента общественной нравственности два дворника волокли дѣвушку, заподозрѣнную въ проституціи. В. М—чъ возмутился такимъ безцеремоннымъ обращеніемъ съ человѣкомъ, хотя бы и съ проституткою, и вступился за несчастную. Заступничество его увлекло и собравшуюся на мѣстѣ толпу, которая также вступилась за дѣвушку. Явилась полиція, и послѣ разныхъ пререканій, нѣсколько лицъ съ В. М—чемъ отправились въ участокъ заявить жалобу на жестокое обращеніе агентовъ полиціи съ заподозрѣнной. Тамъ, вмѣсто принятія жалобы, переписали всѣхъ явившихся и привлекли ихъ къ отвѣтственности за нарушеніе общественной тишины и порядка. На разбирательствѣ у мирового судьи (конечно, оправдавшаго всѣхъ, привлеченныхъ къ дѣлу) высказалась во всей ясности симпатичная, глубокогуманная, всепрощающая натура В. М—ча. Въ то время, какъ другіе участники дѣла не могли иначе, какъ съ глубокой злобой, говорить объ агентѣ врачебно-полицейскаго комитета, арестовавшемъ несчастную дѣвушку, о дворникахъ, тащившихъ ее, и полицейскомъ чиновникѣ, грубо встрѣтившемъ протестантовъ, явившихся въ участокъ заступиться за арестованную, В. М—чъ относился ко всѣмъ этимъ лицамъ безъ малѣйшей злобы, указывая на то, что корень зла не въ этихъ исполнителяхъ медико-полицейскаго надзора, а въ самомъ этомъ надзорѣ, въ тѣхъ условіяхъ жизни, которыя создали и поддерживаютъ этотъ надзоръ“ [1]).

До начала послѣдняго приступа болѣзни, лѣтомъ 1887 года, В. М—чъ задумалъ и почти написалъ новый разсказъ, какъ объ этомъ онъ сообщалъ В. А. Фауссеку въ письмѣ отъ 15 іюня 1887 года [2]).

[1]) Сб. П. Г., стр. 63.
[2]) Тамъ же, стр. 116.

„Почти кончилъ разсказъ, который врядъ ли увидитъ свѣтъ. Не знаю, порвать его или отложить. Очень деликатный для меня вопросъ. Дѣло въ томъ, что въ разсказѣ фигурируетъ фантастическій элементъ и, можешь себѣ представить, наука. А такъ какъ дѣйствующія лица могутъ говорить о наукѣ, не превышая уровня пониманія автора, то выходитъ дѣло очень плохо..."

Когда осенью того же года В. А. Фауссекъ посѣтилъ В. М—ча, послѣдній передалъ ему содержаніе этого разсказа [1]).

„Это была странная исторія,—разсказываетъ В. А. Фауссекъ въ своихъ воспоминаніяхъ — съ яркимъ фантастическимъ характеромъ, съ медіумическими явленіями и пространными діалогами научнаго и философскаго характера. Общій смыслъ ея былъ—защита ересей въ наукѣ, протестъ противъ научной нетерпимости, противъ исключительной ортодоксальности людей ученаго міра. Дѣйствующія лица повѣсти были ученые, старые и молодые, профессора университета и ученики ихъ, начинающіе, но гордые знаніемъ, и враждебные ко всему, что „не научно", химики и физики. Между прочимъ, тамъ появлялись со своими теоретическими взглядами и дѣйствительныя лица, не названныя конечно, но описанныя съ полнымъ сохраненіемъ всѣхъ ихъ индивидуальныхъ чертъ, и между ними профессора Менделѣевъ и Манассеинъ. Оба они были всегда предметомъ глубокаго уваженія В. М—ча, и, лично знакомый съ проф. Манассеинымъ, онъ отзывался о немъ съ симпатіей, но не будучи нисколько ни спиритомъ, ни гомеопатомъ, не одобрялъ ихъ отношенія къ этимъ „ересямъ". Въ повѣсти аргументація его основывалась главнымъ образомъ на исторіи науки, на томъ, сколько разъ уже ученія и теоріи, казавшіяся и всѣми признаваемыя за нелѣпость, за грубыя заблужденія, за суевѣріе, оказывались основанными на вполнѣ реальныхъ фактахъ и открывали для научнаго изслѣ-

[1]) Тамъ же, стр. 117—118.

дованія такія области, такія явленія, самое существованіе которыхъ никѣмъ не подозрѣвалось.

„Главными дѣйствующими лицами разсказа были два молодыхъ пріятеля: одинъ — начинающій ученый, молодой самодовольный педантъ, другой — тоже натуралистъ по образованію, но не занимающійся спеціально наукою, замкнутый въ себѣ, странный, болѣзненный чудакъ, можетъ быть даже съ легкимъ „психозомъ“ и съ сильною наклонностью къ отвлеченному мышленію. Онъ вѣчно сидитъ въ своей комнатѣ и думаетъ, и додумался до медіумическихъ явленій. По просьбѣ своего ученаго друга, пораженнаго новыми таинственными явленіями, онъ показалъ то, до чего онъ додумался, избранному обществу ученыхъ скептиковъ — и поплатился, заранѣе это зная, за обнаруженіе своей „творческой силы“ всей своей душевной дѣятельностью: послѣ сеанса онъ впалъ въ неизлечимое слабоуміе. При этомъ въ повѣсти былъ описанъ петербургскій университетъ, зданіе физическаго кабинета, старинное зданіе, которое всегда интересовало В. М—ча.

„Онъ передалъ мнѣ весь разсказъ послѣдовательно и подробно, во многихъ мѣстахъ, вѣроятно, прямо подлинными словами, какъ было написано, и все, что онъ разсказывалъ, было очень умно и очень интересно, несмотря на отвлеченныя разсужденія; самый интересъ разсказа и фабулы все болѣе и болѣе возрасталъ, а фантастическій элементъ, полный страстной и нѣсколько болѣзненной поэтичности, придавалъ всему разсказу особенный оригинальный оттѣнокъ. Вообще, это была вещь въ высшей степени оригинальная. Онъ написалъ ее въ іюнѣ, кажется, всего въ нѣсколько дней, а когда заболѣлъ, то сжегъ рукопись, и теперь, разсказывая мнѣ, глубоко сожалѣлъ объ этомъ и говорилъ, что не можетъ уже вновь написать позднѣе, „когда поправится“. Но ему уже не суждено было поправиться...“

Съ тѣхъ поръ, какъ онъ вышелъ въ отставку, жизнь его совершенно вышла изъ колеи. Онъ плакалъ, по словамъ В. А. Фауссека, жаловался на свои страданія и переходилъ

все въ большее и большее отчаяніе. По ночамъ его мучила безсонница, и засыпалъ онъ часто не раньше 5 часовъ утра; проснувшись, онъ не имѣлъ силы встать съ постели и лежалъ иногда до 3, до 4 часовъ дня. Никакого занятія онъ не могъ переносить: его переплетный станокъ всю зиму простоялъ безъ употребленія. Общество людей нѣсколько развлекало его, но не надолго. Иногда, когда къ нему собиралось вечеромъ нѣсколько друзей, и завязывался живой разговоръ о всякихъ вещахъ — о литературѣ, о политикѣ, о природѣ, онъ, сначала вялый, молчаливый и грустный, постепенно оживлялся, голосъ его становился громче и сильнѣе, онъ стряхивалъ съ себя тоску свою и дѣлался на нѣкоторое время тѣмъ же умнымъ и живымъ собесѣдникомъ, какимъ былъ обыкновенно. Но какъ только онъ оставался одинъ, минутное искусственное оживленіе исчезало мгновенно, и душой его опять овладѣвалъ мракъ отчаянья...

Друзья его совѣтовали ему уѣхать; но онъ ни за что не хотѣлъ, боялся безлюдья и зимней дурной погоды гдѣ нибудь на югѣ, куда бы могъ онъ поѣхать. Н. А. и М. П. Ярошенко предлагали ему ѣхать въ Кисловодскъ и жить тамъ у нихъ на дачѣ. Въ первыхъ числахъ марта В. М—чу стало хуже, онъ рѣшился воспользоваться этимъ предложеніемъ гг. Ярошенко и началъ собираться въ дорогу. Но послѣ короткаго перерыва болѣзнь пошла впередъ быстрыми и рѣшительными шагами; онъ сталъ бояться за себя, поѣхалъ къ доктору Фрею и совѣтовался съ нимъ. Докторъ еще надѣялся на улучшеніе и уговаривалъ его немедленно уѣхать. У него стали, повидимому, проскальзывать безумныя идеи, такъ какъ въ послѣдніе дни у него вырывались замѣчанія и слова, непонятныя для слушателей. Онъ чувствовалъ, вѣроятно, приближеніе безумія, не выдержалъ страшнаго ожиданія, и 19-го марта, наканунѣ назначеннаго отъѣзда, когда все уже было готово и вещи уложены, послѣ мучительной, безсонной ночи, въ припадкѣ безумной тоски, онъ вышелъ изъ своей квартиры, спустился этажомъ ниже и бросился съ лѣстницы въ пролетъ.

Его подняли разбитаго, съ переломленною ногой, и перенесли въ квартиру. Тѣ нѣсколько часовъ, которые онъ оставался еще въ сознаніи, онъ глубоко страдалъ нравственно, не переставая упрекать себя за свой проступокъ. Въ близости конца онъ, повидимому, былъ увѣренъ. „Неужели? неужели?“ сказалъ онъ, глядя на свои изувѣченныя ноги; была ли это радость, что прекратятся его страданія, или ужасъ при мысли, что для него все кончено — это осталось непонятнымъ. Доктору, который успокоивалъ его, что черезъ мѣсяцъ онъ встанетъ, онъ отвѣтилъ усмѣшкой. Когда А. Я. Гердъ пріѣхалъ къ нему, онъ засталъ В. М—ча лежащимъ на кровати и цѣлующимъ руки жены. На вопросъ, больно ли ему, страдаетъ ли онъ, онъ отвѣтилъ А. Я. Герду: „Что̀ значитъ эта боль въ сравненіи съ тѣмъ, что́ здѣсь!“—и указалъ на сердце. Когда физическое страданіе усиливалось, В. М—чъ говорилъ: „Такъ мнѣ и нужно, такъ мнѣ и нужно“.

Изъ маленькой квартирки въ Поварскомъ переулкѣ, гдѣ было неудобно оставлять больного и по тѣснотѣ помѣщенія, и по недостатку воздуха, онъ былъ въ тотъ же день перевезенъ въ лечебницу Краснаго Креста (на Бронницкой улицѣ). Тамъ онъ вскорѣ по прибытіи впалъ въ безсознательное состояніе и уже не выходилъ изъ него до смерти. „Я увидѣлъ его,—разсказывалъ В. А. Фауссекъ [1]),—уже въ больницѣ, въ безсознательномъ состояніи. Около него сидѣли жена его и В. М. Латкинъ. Онъ казался спящимъ крѣпкимъ и спокойнымъ сномъ здороваго, но очень утомленнаго человѣка. Дыханіе его было сильное и громкое. Онъ не шевелилъ ни рукой, ни ногой, и жена его (бывшая при немъ безотлучно) отъ времени до времени перемѣняла положеніе его головы и тѣла, чтобы не отекали члены. Къ головѣ его прикладывали ледъ. Красивый южный типъ его смуглаго лица, его густые черные волосы какъ-то особенно рѣзко выдѣлялись на бѣлой подушкѣ, бѣломъ одѣялѣ и бѣломъ платкѣ, при-

[1]) См. Сб. П. Г.

крывавшемъ голову. Выраженіе лица было спокойно и не обнаруживало страданія"...

Въ четвергъ, 24 марта, онъ тихо скончался. Похороны В. М—ча въ субботу, 26 марта, были торжественныя. Собралось нѣсколько тысячъ человѣкъ, пожелавшихъ проводить его въ послѣднее жилище. На гробъ было положено болѣе 20 вѣнковъ, изъ которыхъ особенно выдѣлялись вѣнки отъ высшихъ учебныхъ заведеній Петербурга, а также отъ разныхъ женскихъ „курсовъ", высшихъ, фельдшерскихъ, акушерскихъ. На могилѣ были произнесены обычныя рѣчи. Печать единодушно оплакала безвременную утрату лучшаго изъ молодыхъ писателей, подававшаго своимъ талантомъ самыя блестящія надежды, а друзья не могли утѣшиться, потерявъ въ лицѣ его человѣка, въ высшемъ смыслѣ этого слова, который своею идеальностью, цѣльностью и чистотою мирилъ ихъ съ жизнью и пробуждалъ ихъ силы къ соревнованію и совершенствованію. Память его въ концѣ того же года была почтена двумя сборниками. Одинъ былъ изданъ друзьями Гаршина, нѣсколькими наиболѣе близкими къ нему писателями и художниками, подъ заглавіемъ: „Памяти Гаршина"; другой сборникъ—„Красный Цвѣтокъ" былъ изданъ нѣсколькими молодыми беллетристами, сверстниками Гаршина. Цѣль перваго сборника заключалась въ учрежденіи школы имени покойнаго. Второй сборникъ имѣлъ своимъ предназначеніемъ предоставить чистый сборъ въ комитетъ Общества для пособія нуждающимся литераторамъ и ученымъ для пріобщенія къ капиталу имени В. М. Гаршина. Обѣ цѣли были достигнуты, такъ какъ сборники были распроданы въ теченіе одного года. Кромѣ массы статей и изящныхъ рисунковъ, которыми художники украсили сборникъ „Памяти Гаршина", въ обоихъ сборникахъ были тщательно собраны и напечатаны множество писемъ Гаршина, воспоминаній о немъ родныхъ и друзей и прочихъ біографическихъ матеріаловъ, которые главнымъ образомъ и послужили для настоящаго очерка. Но, конечно, все собранное и обнародованное пока составляетъ лишь часть

всѣхъ тѣхъ біографическихъ матеріаловъ, какіе могутъ быть напечатаны лишь впослѣдствіи, когда придетъ для этого время. Поэтому многія обстоятельства жизни Гаршина остаются пока неразъясненными, и полная біографія его возможна будетъ лишь въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ.

А. Скабичевскій.

РАЗСКАЗЫ.

Четыре Дня.

Я помню, какъ мы бѣжали по лѣсу, какъ жужжали пули, какъ падали отрываемыя ими вѣтки, какъ мы пробирались сквозь кусты боярышника. Выстрѣлы стали чаще. Сквозь опушку показалось что-то красное, мелькавшее тамъ и сямъ. Сидоровъ, молоденькій солдатикъ первой роты („какъ онъ попалъ въ нашу цѣпь?“ мелькнуло у меня въ головѣ), вдругъ присѣлъ къ землѣ и молча оглянулся на меня большими испуганными глазами. Изо рта у него текла струя крови. Да, я это хорошо помню. Я помню также, какъ уже почти на опушкѣ, въ густыхъ кустахъ, я увидѣлъ... *его*. Онъ былъ огромный, толстый турокъ, но я бѣжалъ прямо на него, хотя я слабъ и худъ. Что-то хлопнуло, что-то, какъ мнѣ показалось, огромное пролетѣло мимо; въ ушахъ зазвенѣло. „Это онъ въ меня выстрѣлилъ“, подумалъ я. А онъ съ воплемъ ужаса прижался спиною къ густому кусту боярышника. Можно было обойти кустъ, но отъ страха онъ не помнилъ ничего и лѣзъ на колючія вѣтви. Однимъ ударомъ я вышибъ у него ружье, другимъ воткнулъ куда-то свой штыкъ. Что-то не то зарычало, не то застонало. Потомъ я побѣжалъ дальше. Наши кричали ура! падали, стрѣляли. Помню, и я сдѣлалъ нѣсколько выстрѣловъ, уже выйдя изъ лѣсу, на полянѣ. Вдругъ „ура“ раздалось громче, и мы всѣ сразу двинулись впередъ. Т.-е. не мы, а наши, потому что я остался. Мнѣ

это показалось страннымъ. Еще страннѣе было то, что вдругъ все исчезло; всѣ крики и выстрѣлы смолкли. Я не слышалъ ничего, а видѣлъ только что-то синее; должно быть, это было небо. Потомъ и оно исчезло.

Я никогда не находился въ такомъ странномъ положеніи. Я лежу, кажется, на животѣ и вижу передъ собою только маленькій кусочекъ земли. Нѣсколько травинокъ, муравей, ползущій съ одной изъ нихъ внизъ головою, какіе-то кусочки сора отъ прошлогодней травы — вотъ весь тотъ міръ. И вижу я только однимъ глазомъ, потому что другой зажатъ чѣмъ-то твердымъ, должно быть, вѣткою, на которую опирается моя голова. Мнѣ ужасно неловко, и я хочу, но рѣшительно не понимаю, почему я не могу шевельнуться. Такъ проходитъ время. Я слышу трескъ кузнечиковъ, жужжанье пчелы. Больше нѣтъ ничего. Наконецъ я дѣлаю усиліе, освобождаю правую руку изъ-подъ себя и, опираясь обѣими руками о землю, хочу встать на колѣни.

Что-то острое и быстрое, какъ молнія, пронизываетъ все мое тѣло отъ колѣнъ къ груди и головѣ, и я снова падаю. Опять мракъ, опять ничего нѣтъ.

Я проснулся. Почему я вижу звѣзды, которыя такъ ярко свѣтятся на черно-синемъ болгарскомъ небѣ? Развѣ я не въ палаткѣ? Зачѣмъ я вылѣзъ изъ нея? Я дѣлаю движеніе и ощущаю мучительную боль въ ногахъ.

Да, я раненъ въ бою. Опасно или нѣтъ? Я хватаюсь за ноги тамъ, гдѣ болитъ. И правая, и лѣвая ноги покрылись заскорузлой кровью. Когда я трогаю ихъ руками, боль еще сильнѣе. Боль какъ зубная: постоянная, тянущая за душу. Въ ушахъ звонъ, голова отяжелѣла. Смутно понимаю я, что раненъ въ обѣ ноги. Что-жъ это такое? Отчего меня не подняли? Неужели турки разбили насъ? Я начинаю припо-

минать бывшее со мной, сначала смутно, потомъ яснѣе, и прихожу къ заключенію, что мы вовсе не разбиты. Потому что я упалъ (этого, впрочемъ, я не помню; но помню, какъ всѣ побѣжали впередъ, а я не могъ бѣжать, и у меня осталось только что-то синее передъ глазами) — и упалъ на полянку наверху холма. На эту полянку намъ показывалъ нашъ маленькій батальонный. „Ребята, мы будемъ тамъ!“ закричалъ онъ намъ своимъ звонкимъ голосомъ. И мы были тамъ; значитъ, мы не разбиты... Почему же меня не подобрали? Вѣдь здѣсь на полянѣ открытое мѣсто, все видно. Вѣдь навѣрно, не я одинъ лежу здѣсь. Они стрѣляли такъ часто. Нужно повернуть голову и посмотрѣть. Теперь это сдѣлать удобнѣе, потому что еще тогда, когда я, очнувшись, видѣлъ траву и муравья, ползущаго внизъ головою, я, пытаясь подняться, упалъ не въ прежнее положеніе, а перевернулся на спину. Оттого-то мнѣ и видны эти звѣзды.

Я приподнимаюсь и сажусь. Это дѣлается трудно, когда обѣ ноги перебиты. Нѣсколько разъ приходится отчаяваться; наконецъ, со слезами на глазахъ, выступившими отъ боли, я сажусь.

Надо мною—клочокъ черно-синяго неба, на которомъ горитъ большая звѣзда и нѣсколько маленькихъ, вокругъ что-то темное, высокое. Это—кусты. Я въ кустахъ: меня не нашли!

Я чувствую, какъ шевелятся корни волосъ на моей головѣ.

Однако, какъ это я очутился въ кустахъ, когда они застрѣлили меня на полянкѣ? Должно быть, раненый, я переползъ сюда, не помня себя отъ боли. Странно только, что теперь я не могу пошевельнуться, а тогда съумѣлъ дотащиться до этихъ кустовъ. А быть можетъ, у меня тогда была только одна рана, и другая пуля доканала меня уже здѣсь.

Блѣдныя розоватыя пятна заходили вокругъ меня. Большая звѣзда поблѣднѣла, нѣсколько маленькихъ—исчезли. Это всходитъ луна. Какъ хорошо теперь дома!..

Какіе-то странные звуки доходятъ до меня... Какъ будто бы кто-то стонетъ. Да, это—стонъ. Лежитъ ли около меня

какой нибудь такой же забытый, съ перебитыми ногами или съ пулею въ животѣ? Нѣтъ, стоны такъ близко, а около меня, кажется, никого нѣтъ... Боже мой, да вѣдь это — я самъ! Тихіе, жалобные стоны; неужели мнѣ, въ самомъ дѣлѣ такъ больно? Должно быть. Только я не понимаю этой боли, потому что у меня въ головѣ туманъ, свинецъ. Лучше лечь опять и уснуть, спать, спать... Только проснусь ли я когда нибудь? Это все равно.

Въ ту минуту, когда я собираюсь ложиться, широкая блѣдная полоса луннаго свѣта ясно озаряетъ мѣсто, гдѣ я лежу, и я вижу что-то темное и большое, лежащее шагахъ въ пяти отъ меня. Кое-гдѣ на немъ видны блики отъ луннаго свѣта. Это пуговицы или аммуниція. Это или трупъ, или раненый.

Все равно, я лягу...

Нѣтъ, не можетъ быть. Наши не ушли. Они здѣсь, они выбили турокъ и остались на этой позиціи. Отчего же нѣтъ ни говора, ни треска костровъ? Да вѣдь я отъ слабости ничего не слышу. Они навѣрно здѣсь.

„Помогите!!. Помогите!“

Дикіе, безумные, хриплые вопли вырываются изъ моей груди, и нѣтъ на нихъ отвѣта. Громко разносятся они въ ночномъ воздухѣ. Все остальное молчитъ. Только сверчки трещатъ попрежнему неугомонно. Луна жалобно смотритъ на меня круглымъ лицомъ.

Если бы *онъ* былъ раненый, онъ очнулся бы отъ такого крика. Это трупъ. Нашъ или турокъ? Ахъ, Боже мой! будто не все равно?.. И сонъ опускается на мои воспаленные глаза.

Я лежу съ закрытыми глазами, хотя уже давно проснулся. Мнѣ не хочется открыть глаза, потому что я чувствую сквозь закрытыя вѣки солнечный свѣтъ: если я открою глаза, то онъ будетъ рѣзать ихъ. Да и лучше не шевелиться... Вчера (кажется, это было вчера?) меня ранили; прошли сутки,

пройдутъ другія, я умру. Все равно. Лучше не шевелиться. Пусть тѣло будетъ неподвижно. Какъ было бы хорошо остановить и работу мозга! Но ее ничѣмъ не задержишь. Мысли, воспоминанія тѣснятся въ головѣ. Впрочемъ, все это не надолго, скоро конецъ. Только въ газетахъ останется нѣсколько строкъ, что, молъ, потери наши незначительны: ранено столько-то; убитъ рядовой изъ вольноопредѣляющихся, Ивановъ. Нѣтъ, и фамиліи не напишутъ; просто скажутъ: убитъ одинъ. Одинъ рядовой, какъ та одна собаченка.

Цѣлая картинка ясно вспыхиваетъ въ моемъ воображеніи. Это было давно; впрочемъ, все, вся моя жизнь, *та* жизнь, когда я не лежалъ еще здѣсь съ перебитыми ногами, была такъ давно... Я шелъ по улицѣ, кучка народа остановила меня. Толпа стояла и, молча, глядѣла на что-то бѣленькое, окровавленное, жалобно визжавшее. Это была маленькая хорошенькая собачка: вагонъ конно-желѣзной дороги переѣхалъ ее. Она умирала, вотъ какъ теперь я. Какой-то дворникъ растолкалъ толпу, взялъ собачку за шиворотъ и унесъ. Толпа разошлась.

Унесетъ ли меня кто-нибудь? Нѣтъ, лежи и умирай. А какъ хороша жизнь!.. Въ тотъ день (когда случилось несчастіе съ собачкой) я былъ счастливъ. Я шелъ въ какомъ-то опьянѣніи, да и было отчего. Вы, воспоминанія, не мучьте меня, оставьте меня! Былое счастье, настоящія муки... пусть бы остались одни мученія, пусть не мучатъ меня воспоминанія, которыя невольно заставляютъ сравнивать. Ахъ, тоска, тоска! Ты хуже ранъ.

Однако, становится жарко. Солнце жжетъ. Я открываю глаза, вижу тѣ же кусты, то же небо, только при дневномъ освѣщеніи. А вотъ и мой сосѣдъ. Да, это турокъ, трупъ. Какой огромный! Я узнаю его, это тотъ самый...

Передо мной лежитъ убитый мною человѣкъ. За что я его убилъ?

Онъ лежитъ здѣсь мертвый, окровавленный. Зачѣмъ судьба пригнала его сюда? Кто онъ? Быть можетъ, и у него, какъ

у меня, есть старая мать. Долго она будетъ по вечерамъ сидѣть у дверей своей убогой мазанки, да поглядывать на далекій сѣверъ: не идетъ ли ея ненаглядный сынъ, ея работникъ и кормилецъ?..

А я? И я также... Я бы даже помѣнялся съ нимъ. Какъ онъ счастливъ: онъ не слышитъ ничего, не чувствуетъ ни боли отъ ранъ, ни смертельной тоски, ни жажды... Штыкъ вошелъ ему прямо въ сердце... Вотъ на мундирѣ большая черная дыра; вокругъ нея кровь. *Это сдѣлалъ—я.*

Я не хотѣлъ этого. Я не хотѣлъ зла никому, когда шелъ драться. Мысль о томъ, что и мнѣ придется убивать людей какъ-то уходила отъ меня. Я представлялъ себѣ только, какъ я буду подставлять *свою* грудь подъ пули. И я пошелъ и подставилъ.

Ну, и что же? Глупецъ, глупецъ! А этотъ несчастный феллахъ (на немъ египетскій мундиръ) — онъ виноватъ еще меньше. Прежде, чѣмъ ихъ посадили, какъ сельдей въ бочку, на пароходъ и повезли въ Константинополь, онъ и не слышалъ ни о Россіи, ни о Болгаріи. Ему велѣли идти, онъ и пошелъ. Если бы онъ не пошелъ, его стали бы бить палками, а то, быть можетъ, какой нибудь паша всадилъ бы въ него пулю изъ револьвера. Онъ шелъ длиннымъ, труднымъ походомъ отъ Стамбула до Рущука. Мы напали, онъ защищался. Но видя, что мы страшные люди, не боящіеся его патентованной англійской винтовки Пибоди и Мартини, все лѣземъ и лѣземъ впередъ, онъ пришелъ въ ужасъ. Когда онъ хотѣлъ уйти, какой-то маленькій человѣкъ, котораго онъ могъ бы убить однимъ ударомъ своего чернаго кулака, подскочилъ и воткнулъ ему штыкъ въ сердце.

Чѣмъ же онъ виноватъ?

И чѣмъ виноватъ я, хотя я и убилъ его? Чѣмъ я виноватъ? За что меня мучитъ жажда? Жажда! Кто знаетъ, что значитъ это слово! Даже тогда, когда мы шли по Румыніи, дѣлая въ ужасные сорока-градусные жары переходы по пяти-

десяти верстъ, тогда я не чувствовалъ того, что чувствую теперь. Ахъ, если бы кто нибудь пришелъ!

Боже мой! Да у него въ этой огромной флягѣ навѣрно есть вода! Но надо добраться до него. Что это будетъ стоить! Все равно, доберусь.

Я ползу. Ноги волочатся, ослабѣвшія руки едва двигаютъ неподвижное тѣло. До трупа сажени двѣ, но для меня это больше—небольше, а хуже—десятковъ верстъ. Все-таки нужно ползти. Горло горитъ, жжетъ, какъ огнемъ. Да и умрешь безъ воды скорѣе. Все-таки, можетъ быть...

И я ползу. Ноги цѣпляются за землю, и каждое движеніе вызываетъ нестерпимую боль. Я кричу, кричу съ воплями, а все-таки ползу. Наконецъ, вотъ и онъ. Вотъ фляга... въ ней есть вода—и какъ много! Кажется, больше полфляги. О! воды мнѣ хватитъ надолго... до самой смерти!

Ты спасаешь меня, моя жертва!.. Я началъ отвязывать флягу, опершись на одинъ локоть, и вдругъ, потерявъ равновѣсіе, упалъ лицомъ на грудь своего спасителя. Отъ него уже былъ слышенъ сильный трупный запахъ.

Я напился. Вода была тепла, но не испорчена, и притомъ ея было много. Я проживу еще нѣсколько дней. Помнится, въ „Физіологіи обыденной жизни“ сказано, что безъ пищи человѣкъ можетъ прожить больше недѣли, лишь бы была вода. Да, тамъ еще разсказана исторія самоубійцы, уморившаго себя голодомъ. Онъ жилъ очень долго, потому что пилъ.

Ну, и что же? Если я проживу еще дней пять-шесть, что будетъ изъ этого? Наши ушли, болгаре разбѣжались. Дороги близко нѣтъ. Все равно—умирать. Только вмѣсто трехдневной агоніи я сдѣлалъ себѣ недѣльную. Не лучше ли кончить? Около моего сосѣда лежитъ его ружье, отличное англійское произведеніе. Стоитъ только протянуть руку; потомъ—одинъ мигъ, и конецъ. Патроны валяются тутъ же, кучею. Онъ не успѣлъ выпустить всѣхъ.

Такъ кончать или — ждать? Чего? Избавленія? Смерти? Ждать, пока пріѣдутъ турки и начнутъ сдирать кожу съ моихъ раненыхъ ногъ? Лучше ужъ самому.

Нѣтъ, не нужно падать духомъ; буду бороться до конца, до послѣднихъ силъ. Вѣдь если меня найдутъ, я спасенъ. Быть можетъ, кости не тронуты; меня вылечатъ. Я увижу родину, мать, Машу...

Господи, не дай имъ узнать всю правду! Пусть думаютъ, что я убитъ наповалъ. Что будетъ съ ними, когда они узнаютъ, что я мучился два, три, четыре дня!

Голова кружится; мое путешествіе къ сосѣду меня совершенно измучило. А тутъ еще этотъ ужасный запахъ. Какъ онъ почернѣлъ... что будетъ съ нимъ завтра или послѣзавтра? И теперь я лежу здѣсь только потому, что нѣтъ силы оттащиться. Отдохну и поползу на старое мѣсто; кстати, вѣтеръ дуетъ оттуда и будетъ относить отъ меня зловоніе.

Я лежу въ совершенномъ изнеможеніи. Солнце жжетъ мнѣ лицо и руки. Накрыться нечѣмъ. Хоть бы ночь поскорѣе; это, кажется, будетъ вторая.

Мысли путаются, и я забываюсь.

Я спалъ долго, потому что, когда проснулся, была уже ночь. Все попрежнему; раны болятъ, сосѣдъ лежитъ, такой же огромный и неподвижный.

Я не могу не думать о немъ. Неужели я бросилъ все милое, дорогое, шелъ сюда четырехверстнымъ походомъ, голодалъ, холодалъ, мучился отъ зноя; неужели, наконецъ, я лежу теперь въ этихъ мукахъ—только ради того, чтобы этотъ несчастный пересталъ жить? А вѣдь развѣ я сдѣлалъ что нибудь полезное для военныхъ цѣлей, кромѣ этого убійства?

Убійство, убійца... И кто же? Я!

Когда я затѣялъ идти драться, мать и Маша не отговаривали меня, хотя и плакали надо мною. Ослѣпленный идеею, я не видѣлъ этихъ слезъ. Я не понималъ (теперь я понялъ), что я дѣлалъ съ близкими мнѣ существами.

Да вспоминать ли? Прошлаго не воротишь.

А какое странное отношеніе къ моему поступку явилось у многихъ знакомыхъ! „Ну, юродивый! Лѣзетъ, самъ не зная чего!“ Какъ могли они говорить это? Какъ вяжутся такія слова съ *ихъ* представленіями о геройствѣ, любви къ родинѣ и прочихъ вещахъ? Вѣдь въ *ихъ* глазахъ я представлялъ всѣ эти доблести. И тѣмъ не менѣе, я—„юродивый“.

И вотъ я ѣду въ Кишиневъ; на меня навьючиваютъ ранецъ и всякія военныя принадлежности. И я иду вмѣстѣ съ тысячами, изъ которыхъ развѣ нѣсколько наберется, подобно мнѣ, идущихъ охотно. Остальные остались бы дома, если бы имъ позволили. Однако, они идутъ такъ же, какъ и мы, „сознательные“. Проходятъ тысячи верстъ и дерутся такъ же, какъ и мы, или даже лучше. Они исполняютъ свои обязанности, несмотря на то, что сейчасъ же бросили бы и ушли—только бы позволили.

Понесло рѣзкимъ утреннимъ вѣтеркомъ. Кусты зашевелились, вспорхнула полусонная птичка. Звѣзды померкли. Темно-синее небо посѣрѣло, подернулось нѣжными перистыми облачками; сѣрый полумракъ поднимался съ земли. Наступалъ третій день моего... Какъ это назвать? Жизнь? Агонія?

Третій... Сколько ихъ еще осталось? Во всякомъ случаѣ, немного. Я очень ослабѣлъ и, кажется, даже не смогу отодвинуться отъ трупа. Скоро мы поровняемся съ нимъ и не будемъ непріятны другъ другу.

Нужно напиться. Буду пить три раза въ день: утромъ, въ полдень и вечеромъ.

Солнце взошло. Его огромный дискъ, весь пересѣченный и раздѣленный черными вѣтвями кустовъ, красенъ, какъ кровь. Сегодня будетъ, кажется, жарко. Мой сосѣдъ — что̀ станется съ тобой? Ты и теперь ужасенъ.

Да, онъ былъ ужасенъ. Его волосы начали выпадать. Его кожа, черная отъ природы, поблѣднѣла и пожелтѣла; раз-

дутое лицо натянуло ее до того, что она лопнула за ухомъ. Тамъ копошились черви. Ноги, затянутыя въ штиблеты, раздулись, и между крючками штиблетъ вылѣзли огромные пузыри. И весь онъ раздулся горою. Что сдѣлаетъ съ нимъ солнце сегодня?

Лежать такъ близко къ нему невыносимо. Я долженъ отползти, во что бы то ни стало. Но смогу ли я? Я еще могу поднять руку, открыть флягу, напиться; но—передвинуть свое тяжелое, неподвижное тѣло? Все-таки буду двигаться, хоть понемногу, хоть на полъ-шага въ часъ.

Все утро проходитъ у меня въ этомъ передвиженіи. Боль сильна, но что мнѣ она теперь? Я уже не помню, не могу представить себѣ ощущеній здороваго человѣка. Я даже будто привыкъ къ боли. Въ это утро я отползъ таки сажени на двѣ и очутился на прежнемъ мѣстѣ. Но я не долго пользовался свѣжимъ воздухомъ, если можетъ быть свѣжій воздухъ въ шести шагахъ отъ гніющаго трупа. Вѣтеръ перемѣняется и снова наноситъ на меня зловоніе до того сильное, что меня тошнитъ. Пустой желудокъ мучительно и судорожно сокращается; всѣ внутренности переворачиваются. А зловонный, зараженный воздухъ такъ и плыветъ на меня.

Я прихожу въ отчаяніе и плачу.

Совсѣмъ разбитый, одурманенный, я лежалъ почти въ безпамятствѣ. Вдругъ... Не обманъ ли это разстроеннаго воображенія? Мнѣ кажется, что... нѣтъ. Да, это — говоръ. Конскій топотъ, людской говоръ. Я едва не закричалъ, но удержался. А что, если это турки? Что тогда? Къ этимъ мученіямъ прибавятся еще другія, болѣе ужасныя, отъ которыхъ дыбомъ волосъ становится, даже когда о нихъ читаешь въ газетахъ. Сдерутъ кожу, поджарятъ раненыя ноги... Хорошо, если еще только это; но вѣдь они изобрѣтательны. Неужели лучше кончить жизнь въ ихъ рукахъ, чѣмъ умереть здѣсь? А если это—наши? О, проклятые кусты! Зачѣмъ

вы обросли вокругъ меня такимъ густымъ заборомъ? Ничего я не вижу сквозь нихъ; только въ одномъ мѣстѣ будто окошко между вѣтвями открываетъ мнѣ видъ вдаль, въ лощину. Тамъ, кажется, есть ручеекъ, изъ котораго мы пили передъ боемъ. Да, вонъ и огромная песчаниковая плита, положенная черезъ ручеекъ, какъ мостикъ. Они навѣрно поѣдутъ черезъ нее. Говоръ умолкаетъ. Я не могу разслышать языка, на которомъ они говорятъ: у меня и слухъ ослабѣлъ. Господи! если это наши... Я закричу имъ; они услышатъ меня и отъ ручейка. Это лучше, чѣмъ рисковать попасть въ лапы башибузукамъ. Что-жъ они такъ долго не ѣдутъ? Нетерпѣніе томитъ меня; я не замѣчаю даже запаха трупа, хотя онъ нисколько не ослабѣлъ.

И вдругъ на переходѣ черезъ ручей показываются казаки! Синіе мундиры, красные лампасы, пики. Ихъ цѣлая полусотня. Впереди, на превосходной лошади, чернобородый офицеръ. Только что полусотня перебралась черезъ ручей, онъ повернулся на сѣдлѣ всѣмъ тѣломъ назадъ и закричалъ:

„Р-ы-сью, ма-аршъ!“

— Стойте, стойте, Бога ради! Помогите, помогите, братцы! — кричу я; но топотъ дюжихъ коней, стукъ шашекъ и шумный казачій говоръ громче моего хрипѣнья — и меня не слышатъ!

О, проклятіе! Я въ изнеможеніи падаю лицомъ къ землѣ и начинаю рыдать. Изъ опрокинутой мною фляжки течетъ вода, моя жизнь, мое спасенье, моя отсрочка смерти. Но я замѣчаю это уже тогда, когда воды осталось не больше полстакана, а остальная ушла въ жадную, сухую землю.

Могу ли я припомнить то оцѣпенѣніе, которое овладѣло мною послѣ этого ужаснаго случая? Я лежалъ неподвижно, съ полузакрытыми глазами. Вѣтеръ постоянно перемѣнялся и то дулъ на меня свѣжимъ и чистымъ воздухомъ, то снова обдавалъ меня вонью. Сосѣдъ въ этотъ день сдѣлался страшнѣе всякаго описанія. Разъ, когда я открылъ глаза, чтобы взглянуть на него, я ужаснулся. Лица у него уже не было. Оно

сползло съ костей. Страшная костяная улыбка, вѣчная улыбка, показалась мнѣ такой отвратительной, такой ужасной, какъ никогда, хотя мнѣ случалось не разъ держать черепа въ рукахъ и препарировать цѣлыя головы. Этотъ скелетъ въ мундирѣ съ свѣтлыми пуговицами привелъ меня въ содроганіе. „Это—война, подумалъ я;—вотъ ея изображеніе".

А солнце жжетъ и печетъ попрежнему. Руки и лицо у меня уже давно обожжены. Оставшуюся воду я выпилъ всю. Жажда мучила такъ сильно, что, рѣшившись выпить маленькій глотокъ, я залпомъ проглотилъ все. Ахъ, зачѣмъ я не закричалъ казакамъ, когда они были такъ близко отъ меня! Если бы даже это были и турки, все-таки лучше. Ну, мучили бы часъ, два, а тутъ я и не знаю еще, сколько времени придется валяться здѣсь и страдать. Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои сѣдыя косы, ударишься головою объ стѣну, проклянешь тотъ день, когда родила меня, весь міръ проклянешь, что выдумалъ на страданіе людямъ войну!

Но вы съ Машей, должно быть, и не услышите о моихъ мукахъ. Прощай, мать, прощай, моя невѣста, моя любовь! Ахъ, какъ тяжко, горько! Подъ сердце подходитъ что-то...

Опять эта бѣленькая собачка! Дворникъ не пожалѣлъ ее, стукнулъ головою объ стѣну и бросилъ въ яму, куда бросаютъ соръ и льютъ помои. Но она была жива. И мучилась еще цѣлый день. А я несчастнѣе ея, потому что мучаюсь цѣлыхъ три дня. Завтра—четвертый, потомъ пятый, шестой... Смерть, гдѣ ты? Иди, иди! Возьми меня!

Но смерть не приходитъ и не беретъ меня. И я лежу подъ этимъ страшнымъ солнцемъ, и нѣтъ у меня глотка воды, чтобъ освѣжить воспаленное горло, и трупъ заражаетъ меня. Онъ совсѣмъ расплылся. Миріады червей падаютъ изъ него. Какъ они копошатся! Когда онъ будетъ съѣденъ и отъ него останутся однѣ кости и мундиръ, тогда — моя очередь. И я буду такимъ же.

Проходитъ день, проходитъ ночь. Все то же. Наступаетъ утро. Все то же. Проходитъ еще день...

Кусты шевелятся и шелестятъ, точно тихо разговариваютъ. „Вотъ ты умрешь, умрешь, умрешь!“ шепчутъ они. „Не увидишь, не увидишь, не увидишь!“ отвѣчаютъ кусты съ другой стороны.

— Да тутъ ихъ и не увидишь!—громко раздается около меня.

Я вздрагиваю и разомъ прихожу въ себя. Изъ кустовъ глядятъ на меня добрые голубые глаза Яковлева, нашего ефрейтора.

— Лопаты!—кричитъ онъ.—Тутъ еще двое, да ихній.

„Не надо лопатъ, не надо зарывать меня, я живъ!“—хочу я закричать; но слабый стонъ выходитъ изъ запекшихся губъ.

— Господи! Да никакъ онъ живъ? Баринъ Ивановъ! Ребята! Вали сюда, нашъ баринъ живъ! Да доктора зови!

Черезъ полминуты мнѣ льютъ въ ротъ воду, водку и еще что-то. Потомъ все исчезаетъ.

Мѣрно качаясь, двигаются носилки. Это мѣрное движеніе убаюкиваетъ меня. Я то проснусь, то снова забудусь. Перевязанныя раны не болятъ; какое-то невыразимо отрадное чувство разлито во всемъ тѣлѣ...

— Сто-о-ой! О-опуска-а-й! Санитары четвертая смѣна, маршъ! За носилки! Берись, подыма-ай!

Это командуетъ Петръ Ивановичъ, нашъ лазаретный офицеръ, высокій, худой и очень добрый человѣкъ. Онъ такъ высокъ, что, обернувъ глаза въ его сторону, я постепенно вижу его голову съ рѣдкой длинной бородой и плечи, хотя носилки несутъ на плечахъ четыре рослыхъ солдата.

— Петръ Иванычъ! шепчу я.

— Что, голубчикъ?

Петръ Иванычъ наклоняется надо мною.

— Петръ Иванычъ, что вамъ сказалъ докторъ? Скоро я умру?

— Что вы, Ивановъ, полноте! Не умрете вы. Вѣдь у васъ всѣ кости цѣлы. Этакій счастливецъ! Ни кости, ни

артеріи. Да какъ вы выжили эти трое съ половиною сутокъ? Что вы ѣли?

— Ничего.

— А пили?

— У турка взялъ флягу. Петръ Иванычъ, я не могу говорить теперь. Послѣ...

— Ну, Господь съ вами, голубчикъ, спите себѣ.

Снова сонъ, забытье...

Я очнулся въ дивизіонномъ лазаретѣ. Надо мною стоятъ доктора, сестры милосердія, и кромѣ нихъ я вижу еще знакомое лицо знаменитаго петербургскаго профессора, наклонившагося надъ моими ногами. Его руки въ крови. Онъ возится у моихъ ногъ недолго и обращается ко мнѣ:

— Ну, счастливъ вашъ Богъ, молодой человѣкъ! Живы будете. Одну ножку-то мы отъ васъ взяли; ну, да вѣдь это— пустяки. Можете вы говорить?

Я могу говорить и разсказываю имъ все, что здѣсь написано.

Происшествіе.

I.

Какъ случилось, что я, почти два года ни о чемъ не думавшая, начала думать — не могу понять. Не могъ же въ самомъ дѣлѣ натолкнуть меня на эти думы тотъ господинъ. Потому что эти господа такъ часто встрѣчаются, что я уже привыкла къ ихъ проповѣдямъ.

Да, почти всякій изъ нихъ, кромѣ совершенно привыкшихъ, или очень умныхъ, непремѣнно заговариваетъ объ этихъ ненужныхъ ни ему, ни даже мнѣ вещахъ. Сперва спроситъ, какъ меня зовутъ, сколько мнѣ лѣтъ, потомъ, большей частью съ довольно печальнымъ видомъ, начнетъ говорить о томъ, что „нельзя ли какъ нибудь уйти отъ подобной жизни?“ Сначала меня мучили такіе разспросы, но теперь я привыкла. Ко многому привыкаешь.

Но вотъ уже двѣ недѣли, всякій разъ, когда я не весела, т.-е. не пьяна (потому что развѣ есть для меня возможность веселиться, не будучи пьяной?) и когда я остаюсь совсѣмъ одна, я начинаю думать. И не хотѣла бы, да не могу: не отвязываются эти тяжелыя думы; одно средство забыть—уйти куда нибудь, гдѣ много народа, гдѣ пьянствуютъ, безобразничаютъ. Я начинаю также пить и безобразничать, мысли путаются, ничего не помнишь... Тогда—легче. Отчего прежде

этого не бывало, съ самаго того дня, какъ я махнула рукой на все? Больше двухъ лѣтъ я живу здѣсь, въ этой скверной комнатѣ, все время провожу одинаково, также бываю въ разныхъ Эльдорадо и Пале-де-Кристаль, и все время, если и не было весело, такъ хоть не думалось о томъ, что не весело; а теперь вотъ—совсѣмъ, совсѣмъ другое.

Какъ это скучно и глупо! Вѣдь все равно не выберусь никуда, не выберусь просто потому, что сама не захочу. Въ жизнь эту я втянулась, путь свой знаю. Вонъ и въ „Стрекозѣ“ (которую приноситъ мнѣ одинъ знакомый довольно часто и ужъ непремѣнно, когда въ ней появляется что нибудь „пикантное“), и въ „Стрекозѣ“ я видѣла рисунокъ: посрединѣ маленькая, хорошенькая дѣвочка съ куклой, а около нея два ряда фигуръ. Вверхъ отъ дѣвочки идутъ: маленькая гимназистка или пансіонерка, потомъ скромная молодая дѣвушка, мать семейства и наконецъ старушка, почтенная такая, а въ другую сторону, внизу — дѣвочка съ коробкомъ изъ магазина, потомъ я, я и еще я. Первая я — вотъ какъ теперь; вторая—улицу метлой мететъ, а третья — та ужъ совсѣмъ отвратительная, гнусная старуха. Но только я ужъ не допущу себя до этого. Еще два-три года, если вынесу такую жизнь, а потомъ въ Екатериновку. На это меня хватитъ, не испугаюсь.

Какой странный, однако, этотъ художникъ! Почему такъ-таки непремѣнно, если пансіонерка или гимназистка, такъ уже и скромная дѣвица, почтенная мать и бабушка? А я-то? Слава Богу, вѣдь и я могу блеснуть гдѣ-нибудь на Невскомъ французскимъ или нѣмецкимъ языкомъ! И рисовать цвѣты, я думаю, еще не забыла, и „Calipso ne pouvait se consoler du départ d'Ulysse“ помню. И Пушкина помню, и Лермонтова, и все, все: и экзамены, и то роковое, ужасное время, когда я осталась дурой, набитой дурой, одна у добрыхъ родныхъ, увѣрявшихъ, что они „пріютили сироту“, и пылкія пошлыя рѣчи того фата, и какъ я сдуру обрадовалась, и всю ложь и грязь тамъ, въ „чистомъ обществѣ“, откуда я попала сюда, гдѣ теперь одурманиваюсь водкой...

Да, теперь я стала пить даже и водку. „Horreur!“ закричала бы кузина Ольга Николаевна.

Да и въ самомъ дѣлѣ, развѣ не horreur? Но виновата ли я сама въ этомъ дѣлѣ? Если бы мнѣ, семнадцатилѣтней дѣвчонкѣ, съ восьми лѣтъ сидѣвшей въ четырехъ стѣнахъ и видѣвшей только такихъ же дѣвочекъ, какъ и я сама, да еще разныхъ мамановъ, попался не такой, какъ тотъ, съ прической à la Capoul, любезный мой другъ, а другой, хорошій человѣкъ—то, пожалуй, тогда было бы и не то...

Глупая мысль! Развѣ есть они, хорошіе люди, развѣ я ихъ видѣла и послѣ, и до моей катастрофы? Должна ли я думать, что есть хорошіе люди, когда изъ десятковъ, которыхъ я знаю, нѣтъ ни одного, котораго я могла бы не ненавидѣть? И могу ли я вѣрить, что они есть, когда тутъ и мужья отъ молодыхъ женъ, и дѣти (почти дѣти — четырнадцати-пятнадцати лѣтъ) изъ „хорошихъ семействъ“, и старики лысые, параличные, отжившіе?

И наконецъ, могу ли я не ненавидѣть, не презирать, хотя я сама — презираемое и презрѣнное существо, когда я увижу среди нихъ такихъ людей, какъ нѣкоторый молодой нѣмчикъ съ вытравленнымъ на рукѣ, повыше локтя, вензелемъ? Онъ самъ объяснилъ мнѣ, что это — имя его невѣсты. „Jetzt aber bist du meine liebe, allerliebteste Liebchen“, сказалъ онъ, смотря на меня масляными глазками и вдобавокъ прочелъ стишки Гейне. И даже съ гордостью объяснилъ мнѣ, что Гейне — великій нѣмецкій поэтъ, но что у нихъ, у нѣмцевъ, есть еще выше поэты, Гёте и Шиллеръ, и что только у геніальнаго и великаго нѣмецкаго народа могутъ рождаться такіе поэты.

Какъ мнѣ хотѣлось вцѣпиться въ его скверную, смазливую, бѣлобрысую рожу! Но вмѣсто этого я залпомъ выпила стаканъ портвейна, которымъ онъ меня поилъ, и забыла все.

Зачѣмъ мнѣ думать о своемъ будущемъ, когда я и такъ знаю его очень хорошо? Зачѣмъ мнѣ думать и о прошедшемъ,

когда тамъ нѣтъ ничего, что̀ могло бы замѣнить мою теперешнюю жизнь? Да, это правда. Если бы мнѣ предложили сегодня же вернуться туда, въ изящную обстановку, къ людямъ съ изящными проборами, шиньонами и фразами, я не вернулась бы, а осталась бы умирать на своемъ посту...

Да, и у меня свой постъ! И я тоже нужна, необходима. Недавно приходилъ ко мнѣ одинъ юноша, очень разговорчивый, и цѣлую страницу прочиталъ мнѣ наизусть изъ какой-то книги. Это нашъ философъ, нашъ русскій философъ, говорилъ онъ. Философъ говорилъ что-то очень туманное и для меня лестное; въ родѣ того, что мы—„клапаны для общественныхъ страстей“... И слова гадкія, и философъ, должно быть, скверный, а хуже всего былъ этотъ мальчишка, повторявшій эти „клапаны“.

Впрочемъ, недавно и мнѣ пришла въ голову та же мысль. Я была у мирового судьи, который приговорилъ меня къ пятнадцати рублямъ штрафа за неприличное поведеніе въ общественномъ мѣстѣ.

Въ ту самую минуту, когда онъ читалъ рѣшеніе, при чемъ всѣ встали, я подумала вотъ что̀. За что̀ вся эта публика такъ презрительно смотритъ на меня? Пусть я исполняю грязное, отвратительное дѣло, занимаю самую презрѣнную должность; но вѣдь это — должность! Этотъ судья тоже занимаетъ должность. И я думаю, что мы оба...

Я ничего не думаю, я чувствую, что пью, что ничего не помню и путаюсь. Въ моей головѣ все перемѣшалось: и та скверная зала, гдѣ я сегодня буду безстыдно плясать, и Литовскій замокъ, и эта скверная комната, въ которой можно жить только пьяной. Въ вискахъ у меня стучитъ, въ ушахъ звонъ, въ головѣ все куда-то скачетъ и несется, и я сама несусь куда-то. Мнѣ хочется остановиться, удержаться за что нибудь, хоть за соломинку, но у меня нѣтъ и соломинки.

Лгу я, есть она у меня! И даже не соломинка, а, быть можетъ, что-то понадежнѣе; но я сама до того опустилась, что не хочу протянуть руку, чтобы схватиться за опору.

Кажется, это случилось въ концѣ августа. Помню, тогда былъ такой славный осенній вечеръ. Я гуляла по Лѣтнему саду и тамъ познакомилась съ этой „опорой“. Этотъ человѣкъ не представлялъ ничего особеннаго, кромѣ развѣ какой-то добродушной болтливости. Онъ разсказалъ мнѣ чуть не о всѣхъ своихъ дѣлахъ и знакомыхъ. Ему было двадцать пять лѣтъ, звали его Иваномъ Ивановичемъ. Собою онъ былъ ни дуренъ, ни хорошъ. Онъ болталъ со мною, какъ съ какимъ нибудь знакомымъ; разсказывалъ даже анекдоты о своемъ начальникѣ и объяснилъ мнѣ, кто у нихъ въ департаментѣ въ виду.

Онъ ушелъ и я забыла о немъ. Черезъ мѣсяцъ онъ, однако, явился. И явился пасмурный, печальный, похудѣвшій. Когда онъ вошелъ, я даже немного испугалась незнакомаго нахмуреннаго лица.

— Вы меня помните?

Въ эту минуту я вспомнила его и сказала, что помню.

Онъ покраснѣлъ.

— Я потому думалъ, что вы не помните, что вѣдь много... Разговоръ пересѣкся. Мы сидѣли на диванѣ; я въ одномъ углу, онъ въ другомъ, какъ будто въ первый разъ выѣхалъ съ визитами, прямой, вытянутый, даже цилиндръ въ рукахъ держалъ. Сидѣли мы довольно долго; наконецъ онъ приподнялся и поклонился.

— Такъ до свиданья-съ, Надежда Николаевна,—произнесъ онъ со вздохомъ.

— Какъ вы узнали мое имя? — закричала я, вспыхнувъ. Мое ходячее имя было не Надежда Николаевна, а Евгенія.

Я крикнула на Ивана Ивановича такъ сердито, что онъ даже испугался.

— Вѣдь я ничего дурного, Надежда Николаевна... Я ни одному человѣку... А я знакомъ съ Петромъ Васильевичемъ, участковымъ, такъ онъ мнѣ разсказалъ о васъ все, какъ было. Я хотѣлъ сказать вамъ: Евгенія, да языкъ не послушался, и я ваше настоящее имя произнесъ.

— Да вы скажите, зачѣмъ вы пришли ко мнѣ?

Онъ молчалъ и печально смотрѣлъ мнѣ въ глаза.

— Для чего? — продолжала я все разгорячаясь. — Какой интересъ я представляю для васъ? Нѣтъ, вы лучше не ходите ко мнѣ; знакомства я съ вами вести не буду, потому что у меня нѣтъ знакомыхъ. Я знаю, зачѣмъ вы пришли ко мнѣ! Васъ заинтересовалъ разсказъ этого полицейскаго. Вы подумали: вотъ рѣдкость, образованная дѣвушка въ какую жизнь попала... Вы вздумали спасать меня? Подите отъ меня, мнѣ ничего не нужно! Оставьте меня лучше издыхать одну, чѣмъ...

Тутъ я взглянула на его лицо—и остановилась. Я видѣла, что била его каждымъ словомъ. Онъ не говорилъ ничего, но одинъ видъ его заставилъ меня замолчать.

— До свиданья, Надежда Николаевна, — сказалъ онъ. — Очень жалѣю, что огорчилъ васъ. И себя тоже. До свиданья.

Онъ протянулъ мнѣ руку (я не могла не дать ему своей) и вышелъ медленными шагами. Я слышала, какъ онъ спускался по лѣстницѣ, и видѣла въ окно, какъ онъ, согнувъ шею, перешелъ черезъ дворъ какою-то медленною и качающеюся походкою. У воротъ онъ оглянулся, посмотрѣлъ на мои окна и исчезъ.

И вотъ этотъ-то человѣкъ можетъ быть моей „опорой“. Стоитъ мнѣ только заикнуться, и я сдѣлаюсь законной женой. Законной женой бѣднаго, но благороднаго человѣка, и даже сдѣлаюсь бѣдною, но благородною родительницею, если только Господь во гнѣвѣ своемъ еще пошлетъ мнѣ ребенка.

II.

Сегодня Евсей Евсеичъ говорилъ мнѣ:

— Вы послушайте меня, Иванъ Иванычъ, что я вамъ, старикъ, скажу. Вы, батюшка, не дѣльно вести себя стали: смотрите, какъ бы до начальства не дошло!

Онъ еще долго говорилъ (стараясь говорить о самой сути дѣла обиняками) о службѣ, чинопочитаніи, о нашемъ генералѣ, обо мнѣ, и наконецъ началъ добираться и до моего несчастія. Мы сидѣли въ трактирѣ, куда Надежда Николаевна часто заходитъ со своими знакомыми.

Евсей Евсеичъ все давно замѣтилъ и давно уже вытянулъ отъ меня многія подробности. Не могъ я удержать глупаго языка, разболталъ все, да притомъ еще чуть не разревѣлся.

Евсей Евсеичъ разсердился.

— Ахъ вы бабень, бабень вы чувствительный! Молодой человѣкъ, хорошій чиновникъ, изъ-за дряни какую исторію развелъ! Да плюньте вы на нее! Да что вамъ до нея за дѣло? Добро бы дѣвица благопристойная, а то, съ позволенья сказать...

Евсей Евсеичъ даже плюнулъ.

Послѣ этого случая онъ часто возвращался къ предмету своихъ огорченій (Евсей Евсеичъ искренно огорчается за меня), но уже не ругался, потому что замѣтилъ, что это мнѣ непріятно. Впрочемъ онъ могъ сдерживать себя не долго, и хотя сначала старался заговаривать издалека, но въ концѣ концовъ приходилъ къ одному заключенію, что надо бросить, „наплевать“—и тому подобное.

Я и самъ сочувствую, строго говоря, тому, что онъ твердитъ мнѣ каждый день. Сколько разъ и я думалъ тоже, что нужно бросить и наплевать! Да, сколько разъ! И столько же разъ, послѣ такихъ мыслей, выходилъ изъ дому, и ноги несли меня въ ту улицу... И вотъ она идетъ, нарумяненная, съ насурмленными бровями, въ бархатной шубкѣ и щегольской ботиковой шапочкѣ — прямо на меня, и я сворачиваю на другую сторону, чтобы она не замѣтила моихъ преслѣдованій. Она доходитъ до угла и поворачиваетъ назадъ, нагло и гордо смотря на прохожихъ и иногда заговаривая съ ними; я слѣжу за нею съ другой стороны улицы, стараясь не терять ее изъ виду, и безнадежно смотрю на ея маленькую

фигурку, пока какой нибудь... мерзавецъ не подойдетъ къ ней, не заговоритъ. Она отвѣчаетъ ему, она поворачивается и идетъ съ нимъ... И я за ними. Если бы дорога была утыкана острыми гвоздями, мнѣ не было бы больнѣе. Я иду, не слыша ничего и не видя ничего, кромѣ двухъ фигуръ...

Я не смотрю себѣ подъ ноги и около себя и иду, выпуча глаза, натыкаясь на прохожихъ, получая замѣчанія, ругательства и толчки. Одинъ разъ я опрокинулъ ребенка...

Они поворачиваютъ направо и налѣво, входятъ въ калитку; сначала она, потомъ онъ: почти всегда изъ какой-то странной вѣжливости онъ даетъ ей дорогу. Потомъ и я вхожу. Противъ двухъ оконъ, хорошо мнѣ знакомыхъ, стоитъ сарай съ сѣноваломъ; на сѣноваль ведетъ легкая желѣзная лѣсенка, кончающаяся площадкою безъ перилъ. И сижу я на этой площадкѣ и смотрю на спущенныя бѣлыя занавѣски...

Сегодня я тоже стоялъ на своемъ странномъ посту, хотя на дворѣ порядочный морозъ. Озябъ я ужасно, ногъ не слышалъ подъ собою, а все-таки стоялъ. Паръ шелъ отъ моего лица, усы и борода обмерзли, ноги начали цѣпенѣть. По двору ходили люди, но не замѣчали меня и, громко разговаривая, проходили мимо. Съ улицы доносились пьяная пѣсня (веселая эта улица!), какая-то перебранка, стукъ скребковъ о панель, которую чистили дворники. Всѣ эти звуки шумѣли въ моихъ ушахъ, но я не обращалъ на нихъ вниманія, какъ и на морозъ, щипавшій лицо, и на озябшія ноги. Все это: и звуки, и ноги, и морозъ, было какъ будто далеко, далеко отъ меня. Ноги ныли сильно, но внутри меня что-то ныло еще сильнѣе. У меня нѣтъ силъ пойти къ ней. Знаетъ ли она, что есть человѣкъ, который счелъ бы за счастье сидѣть съ нею въ одной комнатѣ и, не касаясь даже руки ея, только смотрѣть ей въ глаза? что есть человѣкъ, который кинется въ огонь, если это поможетъ ей выйти изъ ада, если бы она захотѣла выйти? Но она не хочетъ... И я до сихъ поръ не знаю, почему она не хочетъ. Вѣдь я не могу повѣрить, что она испорчена до мозга костей; не могу я по-

вѣрить этому, потому что знаю, что это не такъ, потому что знаю ее, потому что люблю, люблю ее...

Лакей подошелъ къ Ивану Иванычу, который положилъ локти на столъ и на локти — лицо, и изрѣдка вздрагивалъ, и сталъ трогать его за плечо.

— Господинъ Никитинъ! такъ нельзя-съ... При всѣхъ... Хозяинъ забранитъ. Господинъ Никитинъ! Здѣсь нельзя, чтобъ этакимъ родомъ. Извольте вставать!

Иванъ Иванычъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на слугу. Онъ вовсе не былъ пьянъ, и слуга понялъ это, какъ только увидѣлъ его печальное лицо.

— Это, Семенъ, ничего. Это такъ. Ты вотъ дай мнѣ графинчикъ очищенной.

— Съ чѣмъ прикажете?

— Съ чѣмъ? Съ рюмкой. И побольше, чтобы не графинчикъ, а графинъ. Вотъ тебѣ, получи за все и еще возьми два двугривенныхъ. Черезъ часъ отправишь меня домой на извозчикѣ. Ты вѣдь знаешь, гдѣ я живу?

— Знаю-съ... Только, сударь, какъ оно это?..

Онъ, очевидно, недоумѣвалъ: подобный случай представился ему въ первый разъ за все время его долголѣтней практики.

— Нѣтъ, постой, я лучше самъ.

Иванъ Иванычъ вышелъ въ переднюю, одѣлся и, выйдя на улицу, завернулъ въ торговое заведеніе, на низкомъ окнѣ котораго ярко блестѣли освѣщенные газомъ разноцвѣтные ярлыки бутылокъ, аккуратно и со вкусомъ уложенныхъ въ подстилку изъ мха. Черезъ минуту онъ вышелъ, неся въ рукахъ двѣ бутылки, дошелъ до своей квартиры, которую нанималъ въ меблированныхъ комнатахъ Цукербергъ, и заперъ за собою дверь на ключъ.

III.

Я опять забылась и опять проснулась. Три недѣли ежедневнаго шатанья! Какъ я только выношу это! Сегодня у меня болитъ голова, кости, все тѣло. Тоска, скука, безцѣльныя и мучительныя разсужденія! Хоть бы пришелъ кто нибудь.

Какъ-будто въ отвѣтъ на ея мысль, въ передней зазвенѣлъ звонокъ. „Дома Евгенія?“ — „Дома, пожалуйте“, — отвѣтилъ голосъ кухарки. Неровные, торопливые шаги простучали по корридору, дверь распахнулась, и въ ней появился Иванъ Иванычъ.

Онъ вовсе не былъ похожъ на того робкаго и застѣнчиваго человѣка, который приходилъ сюда же два мѣсяца назадъ. Шляпа на бекрень, цвѣтной галстукъ, увѣренный, дерзкій взглядъ. И при этомъ шатающаяся походка и сильный винный запахъ.

Надежда Николаевна вскочила съ мѣста.

— Здравствуй! — началъ онъ — я къ тебѣ пришелъ.

И онъ сѣлъ на стулъ у двери, не снявъ шляпы и развалясь. Она молчала, молчалъ и онъ. Если бы онъ не былъ пьянъ, она бы нашла что сказать, но теперь она потерялась. Пока она думала, что ей дѣлать, онъ опять заговорилъ.

— Надя! Вотъ я и пришелъ... Имѣю право! — вдругъ бѣшено закричалъ онъ и вытянулся во весь ростъ. Шляпа упала съ его головы, черные волосы въ безпорядкѣ падали на лицо, глаза сверкали. Вся его фигура выражала такое бѣшенство, что Надежда Николаевна испугалась на минуту.

Она попробовала говорить съ нимъ ласково.

— Слушайте, Иванъ Иванычъ, я очень буду рада вашему приходу, только идите теперь домой. Вы выпили лишнее. Будьте такъ добры, голубчикъ, идите домой. Приходите, когда будете здоровы.

— Струсила!—пробормоталъ будто про себя Иванъ Иванычъ, опять усаживаясь на стулъ. — Укротилась? Да за что ты меня гонишь? — опять отчаянно завопилъ онъ. — За что? Пить-то вѣдь я изъ-за тебя началъ, вѣдь трезвый былъ! Чѣмъ ты тянешь меня къ себѣ, скажи ты мнѣ?

Онъ плакалъ. Пьяныя слезы душили его, текли по лицу и попадали въ ротъ, искривленный рыданіями. Онъ едва могъ говорить.

— Вѣдь другая за счастье бы сочла избавиться отъ этого ада. Работалъ бы я, какъ волъ. Жила бы ты беззаботно, спокойная, честная. Говори, чѣмъ я заслужилъ отъ тебя ненависть?

Надежда Николаевна молчала.

— Что ты молчишь?— закричалъ онъ.— Говори! Говори что хочешь, только скажи что нибудь. Пьянъ я—это вѣрно... непьяный не пришелъ бы сюда. Знаешь ты, какъ я бокось тебя, когда я въ здравомъ умѣ? Вѣдь ты меня въ узелокъ связать можешь. Скажешь: украдь—украду. Скажешь: убей—убью. Знаешь ли ты это? Навѣрно знаешь. Ты умная, ты все видишь. Если не знаешь... Надя, родная моя, пожалѣй меня!

И онъ на колѣняхъ ползалъ передъ нею по полу. А она неподвижно сидѣла у стѣны, облокотясь на нее закинутою головою и заложивъ руки за спину. Ея взоръ былъ устремленъ на какую-то одну точку пространства. Видѣла ли она что нибудь, слышала ли что? Что она чувствовала при видѣ этого человѣка, валявшагося у нея въ ногахъ и просившаго у нея любви? Жалость, презрѣніе? Ей хотѣлось жалѣть его, но она чувствовала, что не можетъ жалѣть. Онъ возбуждалъ въ ней только отвращеніе. И могъ ли возбуждать онъ иное чувство въ этомъ жалкомъ видѣ: пьяный, грязный, униженно молящій?

Онъ уже нѣсколько дней, какъ бросилъ ходить на службу. Пилъ каждый день. Найдя утѣшеніе въ винѣ, онъ сталъ меньше слѣдить за своею страстью, и все сидѣлъ дома и

пилъ, собираясь съ силами, чтобы пойти къ ней и сказать *все*. Что онъ долженъ былъ сказать ей, онъ и самъ не зналъ. „Скажу все, открою душу“—вотъ что мелькало въ его пьяной головѣ. Наконецъ онъ рѣшился, пришелъ, началъ говорить. Даже сквозь туманъ похмелья онъ сознавалъ, что говоритъ и дѣлаетъ вещи, вовсе не возбуждающія къ нему любви, и все-таки говорилъ, чувствуя, что съ каждымъ словомъ все ниже и ниже куда-то падаетъ, все туже и туже затягивая петлю на своей шеѣ.

Онъ говорилъ еще долго и безсвязно. Рѣчь становилась все медленнѣе и медленнѣе, и наконецъ его опьянѣвшія, опухшія вѣки сомкнулись, и, откинувъ голову назадъ на спинку стула, онъ заснулъ.

Надежда Николаевна стояла въ прежней позѣ, безцѣльно глядя куда-то въ потолокъ и барабаня пальцами по обоямъ стѣны.

— Жалко мнѣ его? Нѣтъ, не жалко. Что я могу сдѣлать для него? Выйти за него замужъ? Да развѣ я смѣю? И развѣ же это не будетъ такою же продажею? Господи, да нѣтъ, это еще хуже.

Она не знала, почему хуже, но чувствовала это.

— Теперь я, по крайней мѣрѣ, откровенна. Меня всякій можетъ ударить. Развѣ я мало терплю оскорбленій? А тогда! Чѣмъ я буду лучше? Развѣ не будетъ тотъ же развратъ, только не откровенный? Вонъ онъ сидитъ сонный, и голова отвалилась назадъ. Ротъ раскрытъ, лицо блѣдное, какъ у мертваго. Платье на немъ выпачканное: должно быть, валялся гдѣ-нибудь. Какъ онъ тяжело дышетъ... Иногда даже хрипитъ... Да, но вѣдь это пройдетъ, и онъ опять будетъ приличнымъ, скромнымъ. Нѣтъ, тутъ не то! А мнѣ кажется, что этотъ человѣкъ, если я дамъ ему надъ собою верхъ, замучаетъ меня однимъ воспоминаніемъ... И я не вынесу. Нѣтъ, пусть я останусь тѣмъ, что есть... Да вѣдь и недолго ужъ оставаться...

Она набросила себѣ на плечи накидку и вышла изъ ком-

наты, хлопнувъ дверью. Иванъ Иванычъ проснулся отъ стука, посмотрѣлъ вокругъ себя безсмысленными глазами и найдя, что на стулѣ спать неудобно, съ трудомъ добрался до постели, повалился на нее и заснулъ мертвымъ сномъ. Онъ проснулся съ головною болью, но трезвый, уже поздно вечеромъ и, увидя, гдѣ онъ находится, тотчасъ же убѣжалъ.

Я вышла изъ дому, сама не зная, куда пойду. Погода была скверная, день пасмурный, темный; мокрый снѣгъ падалъ на лицо и руки. Гораздо лучше было бы сидѣть дома; но можно ли мнѣ теперь сидѣть тамъ? Онъ совсѣмъ погибаетъ. Что́ мнѣ дѣлать, чтобы поддержать его? Могу ли я измѣнить свои отношенія къ нему? Ахъ, все въ моей душѣ, вся моя внутренность горитъ. Я не знаю сама, почему я не хочу воспользоваться случаемъ бросить эту ужасную жизнь, освободиться отъ кошмара. Если бы я вышла за него? Новая жизнь, новыя надежды... Развѣ то чувство жалости, которое я все-таки чувствую къ нему, не можетъ перейти въ любовь?

Ахъ, нѣтъ! Теперь онъ готовъ лизать мои руки, а тогда... тогда онъ придавитъ меня ногою и скажетъ: а ты еще сопротивлялась, презрѣнная тварь! презирала меня!

Скажетъ ли онъ это? Я думаю, что скажетъ.

Есть у меня одно средство спастись, избавиться — отличное, на которое я уже давно рѣшилась и къ которому навѣрно, въ концѣ концовъ, прибѣгну; но мнѣ кажется, что теперь еще рано. Слишкомъ я молода, слишкомъ много чувствую въ себѣ жизни. Жить хочется. Хочется дышать, чувствовать, слышать, видѣть; хочется имѣть возможность хоть изрѣдка взглянуть на небо, на Неву.

Вотъ и набережная. Громадныя зданія съ одной стороны, а съ другой—почернѣвшая Нева. Скоро тронется ледъ, рѣка будетъ голубая. Паркъ на той сторонѣ зазеленѣетъ. Острова также покроются зеленью. Хоть и петербургская, а все-таки весна.

И вдругъ вспомнилась мнѣ моя послѣдняя счастливая весна. Была тогда я дѣвочкой семи лѣтъ, жила у отца и матери, въ деревнѣ, въ степи. За мною присматривали мало, и я бѣгала, гдѣ хотѣла и сколько хотѣла. Помню, какъ въ началѣ марта у насъ по степнымъ оврагамъ побѣжали, зашумѣли рѣки талой воды, какъ потемнѣла степь, какой удивительный сталъ воздухъ, такой сырой и отрадный. Обнажились сперва вершины бугровъ, зазеленѣла на нихъ травка. Потомъ и вся степь зазеленѣла, хотя въ оврагахъ еще лежалъ умиравшій снѣгъ. Быстро, въ нѣсколько дней, точно изъ-подъ земли, совсѣмъ готовые, выскочили, выросли кустики шіоновъ, и на нихъ пышные, ярко пурпуровые цвѣты. Жаворонки начали пѣть...

Господи, что́ я сдѣлала такого, что еще при жизни меня слѣдовало бросить въ адъ? Развѣ не хуже всякаго ада то, что́ я переживаю!

Каменный спускъ ведетъ прямо къ проруби. Что-то потянуло меня спуститься и посмотрѣть на воду. Но вѣдь еще рано? Конечно, рано. Я подожду еще.

А все-таки хорошо было бы стать на этотъ скользкій, мокрый край проруби. Такъ сама бы соскользнула. Только холодно... Одна секунда — и поплывешь подъ льдомъ внизъ по рѣкѣ, будешь безумно биться объ ледъ руками, ногами, головою, лицомъ. Интересно знать, просвѣчиваетъ ли туда дневной свѣтъ?

Я стояла надъ прорубью неподвижно и долго и уже дошла до того состоянія, когда человѣкъ ни о чемъ не думаетъ. Я давно промочила себѣ ноги, а не двигалась съ мѣста. Вѣтеръ былъ не холодный, но пронизывалъ меня насквозь, такъ что я вся дрожала, а все-таки стояла. И не знаю, сколько бы времени продолжалось это оцѣпенѣніе, если бы съ набережной кто-то не закричалъ мнѣ:

— Эй! мадамъ! Сударыня!

Я не обертывалась.

— Сударыня, пожалуйте на панель!

Кто-то сзади меня началъ спускаться по лѣстницѣ. Кромѣ шарканья ногъ по посыпаннымъ пескомъ ступенямъ, я слышала еще какой-то тупой стукъ. Я обернулась: спускался городовой, стучала его шашка. Увидѣвъ мое лицо, онъ вдругъ измѣнилъ чинное выраженіе своей физіономіи на грубое и дерзкое, подошелъ ко мнѣ и дернулъ за плечо:

— Убирайся вонъ отсюда, дрянь ты эдакая! Шляетесь вездѣ! Сунешься съ дуру въ прорубь; потомъ отвѣчай за васъ, за шельмовъ.

Онъ узналъ по моему лицу, кто я.

IV.

Все то же и то же. Нѣтъ возможности ни минуты остаться одной, чтобы не схватила за душу тоска. Что сдѣлать съ собою, чтобы забыть?

Аннушка принесла мнѣ письмо. Откуда оно? Я такъ давно не получала ни отъ кого писемъ.

„Милостивая государыня, Надежда Николаевна! Хотя я очень хорошо понялъ, что для васъ не составляю ничего, но все-таки полагаю, что вы добрая дѣвушка и не захотите обидѣть меня. Въ первый и послѣдній въ жизни разъ я прошу васъ быть у меня, такъ какъ сегодня мои именины. Родныхъ и знакомыхъ у меня нѣтъ. Умоляю васъ, приходите. Даю вамъ слово, что я ничего не скажу вамъ обиднаго или непріятнаго. Пожалѣйте преданнаго вамъ

Ивана Никитина.

„P. S. О своемъ недавнемъ поведеніи въ квартирѣ вашей не могу вспомнить безъ стыда. Будьте же у меня сегодня въ 6 часовъ. Прилагаю адресъ. И. Н.“.

Что это значитъ? Онъ рѣшился написать ко мнѣ. Тутъ что нибудь не совсѣмъ просто. Что онъ хочетъ сдѣлать со мною? Идти или нѣтъ?

Странно разсуждать—идти или не идти? Если онъ хочетъ

заманить меня въ западню, то или для того, чтобы убить, или... но если и убьетъ, все же развязка.

Пойду.

Я одѣнусь попроще и поскромнѣе, смою съ лица румяна и бѣлила. Ему все-таки будетъ пріятнѣе. Причешу попроще голову. Какъ мало у меня осталось волосъ! Я причесалась, надѣла черное шерстяное платье, черный шарфикъ, бѣлый воротничекъ и рукавчики и подошла къ зеркалу взглянуть на себя.

Я чуть не заплакала, увидя въ немъ женщину, совсѣмъ не похожую на ту Евгенію, которая такъ „хорошо“ пляшетъ скверные танцы въ разныхъ притонахъ. Я увидѣла вовсе не нахальную, нарумяненную кокотку съ улыбающимся лицомъ, съ ухарски взбитымъ шиньономъ, съ наведенными рѣсницами. Эта забитая и страдающая женщина, блѣдная, тоскливо смотрящая большими черными глазами съ темными кругами вокругъ—что-то совсѣмъ новое, вовсе не я. А можетъ быть, это-то и есть я? А вотъ та Евгенія, которую всѣ видятъ и знаютъ, та—что-то чужое, насѣвшее на меня, давящее меня, убивающее.

И я дѣйствительно заплакала и плакала долго и сильно. Отъ слезъ легче становится, такъ твердили мнѣ съ самаго дѣтства; только, должно быть, это справедливо не для всѣхъ. Не легче мнѣ стало, а еще хуже. Каждое рыданье болью отзывалось, каждая слеза горька. Тѣхъ, кому есть еще какая нибудь надежда на исцѣленіе и миръ, тѣхъ слезы, быть можетъ, и облегчаютъ. А гдѣ она у меня?

Я вытерла слезы и отправилась.

Я безъ труда нашла нумера мадамъ Цукербергъ, и чухонка-горничная показала мнѣ дверь къ Ивану Ивановичу.

— Можно войти?

Въ комнатѣ раздался стукъ быстро задвигаемаго ящика. „Войдите!“ — быстро закричалъ Иванъ Ивановичъ. Я вошла.

Онъ сидѣлъ у письменнаго стола и заклеивалъ какой-то конвертъ. Мнѣ онъ даже какъ будто и не обрадовался.

— Здравствуйте, Иванъ Иванычъ,—сказала я.

— Здравствуйте, Надежда Николаевна, — отвѣтилъ онъ, вставая и протягивая мнѣ руку. Что-то нѣжное мелькнуло у него на лицѣ, когда я протянула ему свою, но тотчасъ же и исчезло. Онъ былъ серьезенъ и даже суровъ.

— Благодарю васъ, что пришли.

— Зачѣмъ вы звали меня?—спросила я.

— Боже мой, неужели вы не знаете, что̀ значитъ для меня видѣть васъ! Впрочемъ, этотъ разговоръ для васъ непріятенъ.

Мы сидѣли и молчали. Чухонка принесла самоваръ. Иванъ Ивановичъ подалъ мнѣ чай и сахаръ. Потомъ поставилъ на столъ варенье, печенье, конфекты, полбутылки сладкаго вина.

— Вы извините меня за угощеніе, Надежда Николаевна. Вамъ, быть можетъ, непріятно, но не сердитесь. Будьте добры, заварите чай, налейте. Кушайте; вотъ конфекты, вино.

Я стала хозяйничать, а онъ сѣлъ противъ меня такъ, что его лицо оставалось въ тѣни, и принялся разсматривать меня. Я чувствовала на себѣ его постоянный и пристальный взглядъ и чувствовала, что краснѣю.

Я на минуту подняла глаза, но сейчасъ же опять опустила, потому что онъ продолжалъ серьезно смотрѣть мнѣ прямо въ лицо. Что это значитъ? Неужели эта обстановка, скромное, черное платье, отсутствіе нахальныхъ лицъ, пошлыхъ рѣчей подѣйствовали на меня такъ сильно, что я опять превратилась въ скромную и конфузливую дѣвочку, какою была два года тому назадъ? Мнѣ стало досадно.

— Скажите пожалуйста, что вы выпучили на меня глаза?— выговорила я съ усиліемъ, но бойко.

Иванъ Ивановичъ вскочилъ и заходилъ по комнатѣ.

— Надежда Николаевна! не говорите такъ грубо. Побудьте хоть часъ такою, какою вы сюда пришли.

— Но я не понимаю, зачѣмъ вы меня позвали. Неужели только за тѣмъ, чтобы молчать и смотрѣть на меня?

— Да, Надежда Николаевна, только за этимъ. Вамъ вѣдь это особаго огорченія не сдѣлаетъ, а мнѣ утѣшеніе — въ послѣдній разъ на васъ посмотрѣть. Вы были такъ добры, что пришли, и въ этомъ платьѣ, такою, какъ теперь. Я этого не ждалъ, и за это вамъ еще больше благодаренъ.

— Но отчего же въ послѣдній разъ, Иванъ Иванычъ?

— Я вѣдь уѣзжаю.

— Куда?

— Далеко, Надежда Николаевна. Я вовсе сегодня не именинникъ. Я такъ это, не знаю самъ почему написалъ. А мнѣ просто хотѣлось еще разъ на васъ посмотрѣть. Хотѣлъ я сначала пойти и ждать, когда вы выйдете, да ужъ какъ-то рѣшился просить васъ къ себѣ. И вы были такъ добры, что пришли. Дай вамъ Богъ за это всего хорошаго.

— Мало хорошаго впереди, Иванъ Иванычъ.

— Да, для васъ мало хорошаго. Впрочемъ, вѣдь вы сами знаете лучше меня, что для васъ впереди... — Голосъ Ивана Ивановича задрожалъ.—Мнѣ лучше,—прибавилъ онъ—потому что я уѣду.

И его голосъ задрожалъ еще болѣе.

Мнѣ стало невыразимо жалко его. Справедливо ли все то дурное, что я чувствовала противъ него? За что я такъ грубо и рѣзко оттолкнула его? Но теперь уже поздно сожалѣть.

Я встала и начала одѣваться. Иванъ Ивановичъ вскочилъ, какъ ужаленный.

— Вы уже уходите? — взволнованнымъ голосомъ спросилъ онъ.

— Да, надо идти...

— Вамъ надо... Опять туда! Надежда Николаевна! Да давайте, я лучше убью васъ сейчасъ!

Онъ говорилъ это шопотомъ, схвативъ меня за руку и смотря на меня большими, растерянными глазами.

— Вѣдь лучше? Скажите!

— Да вѣдь вамъ, Иванъ Иванычъ, за это въ Сибирь идти. Я вовсе не хочу этого.

— Въ Сибирь!.. Развѣ я оттого не могу убить васъ, что Сибири боюсь? Я не оттого... Я не могу васъ убить потому, что... да какъ же я убью васъ? Да какъ же я убью тебя?— задыхаясь, выговорилъ онъ,—вѣдь я...

И онъ схватилъ меня, поднялъ, какъ ребенка, на воздухъ, душа въ объятіяхъ и осыпая поцѣлуями мое лицо, губы, глаза, волосы. И такъ же внезапно, какъ внезапно это случилось, поставилъ меня на ноги и быстро заговорилъ:

— Ну, идите, идите... Простите меня, но вѣдь это въ первый и послѣдній разъ. Не сердитесь на меня. Идите, Надежда Николаевна.

— Я не сержусь, Иванъ Иванычъ...

— Идите, идите! Благодарю, что пришли.

Онъ выпроводилъ меня и тотчасъ же заперся на ключъ. Я стала спускаться съ лѣстницы. Сердце ныло еще больше прежняго.

Пусть онъ ѣдетъ и забудетъ меня. Останусь доживать свой вѣкъ. Довольно сентиментальничать. Пойду домой.

Я прибавила шагу и думала уже о томъ, какое платье надѣну и куда отправлюсь на сегодняшній вечеръ. Вотъ и конченъ мой романъ, маленькая задержка на скользкомъ пути! Теперь покачусь свободно, безъ задержекъ, все ниже и ниже...

Да вѣдь онъ теперь стрѣляется! вдругъ закричало что-то у меня внутри. Я остановилась, какъ вкопанная; въ глазахъ у меня потемнѣло, по спинѣ побѣжали мурашки, дыханіе захватило... Да, онъ теперь убиваетъ себя! Онъ захлопнулъ ящикъ — это онъ револьверъ разсматривалъ. Письмо писалъ... Въ послѣдній разъ... Бѣжать! Быть можетъ, еще успѣю. Господи! удержи его! Господи! оставь его мнѣ!

Смертельный, неиспытанный ужасъ охватилъ меня. Я бѣжала назадъ, какъ безумная, налетая на прохожихъ. Не помню, какъ я вбѣжала по лѣстницѣ. Помню только глупое лицо чухонки, впустившей меня, помню длинный, темный корридоръ, со множествомъ дверей, помню, какъ я кинулась

къ его двери. И когда я схватилась за ея ручку, за дверью раздался выстрѣлъ. Отовсюду выскочили люди, бѣшено завертѣлись вокругъ меня, вмѣстѣ съ корридоромъ, дверьми, стѣнами. И я упала... и въ моей головѣ тоже все завертѣлось и исчезло...

Трусъ.

Война рѣшительно не даетъ мнѣ покоя. Я ясно вижу, что она затягивается, и когда кончится—предсказать очень трудно. Нашъ солдатъ остался тѣмъ же необыкновеннымъ солдатомъ, какимъ былъ всегда, но противникъ оказался вовсе не такимъ слабымъ, какъ думали, и вотъ уже четыре мѣсяца, какъ война объявлена, а на нашей сторонѣ еще нѣтъ рѣшительнаго успѣха. А между тѣмъ каждый лишній день уноситъ сотни людей. Нервы, что ли, у меня такъ устроены, только военныя телеграммы, съ обозначеніемъ числа убитыхъ и раненыхъ, производятъ на меня дѣйствіе гораздо болѣе сильное, чѣмъ на окружающихъ. Другой спокойно читаетъ: „потери наши незначительны, ранены такіе-то офицеры, нижнихъ чиновъ убито 50, ранено 100“, и еще радуется, что мало, а у меня при чтеніи такого извѣстія тотчасъ появляется передъ глазами цѣлая кровавая картина. Пятьдесятъ мертвыхъ, сто изувѣченныхъ—это незначительная вещь! Отчего же мы такъ возмущаемся, когда газеты приносятъ извѣстія о какомъ нибудь убійствѣ, когда жертвами являются нѣсколько человѣкъ? Отчего видъ пронизанныхъ пулями труповъ, лежащихъ на полѣ битвы, не поражаетъ насъ такимъ ужасомъ, какъ видъ внутренности дома, разграбленнаго убійцей? Отчего катастрофа на тилигульской насыпи,

стоившая жизни нѣсколькимъ десяткамъ человѣкъ, заставила кричать о себѣ всю Россію, а на аванпостныя дѣла, съ „незначительными“ потерями, тоже въ нѣсколько десятковъ человѣкъ, никто не обращаетъ вниманія?

Нѣсколько дней тому назадъ Львовъ, знакомый мнѣ студентъ-медикъ, съ которымъ я часто спорю о войнѣ, сказалъ мнѣ:

— Ну, посмотримъ, миролюбецъ, какъ-то вы будете проводить ваши гуманныя убѣжденія, когда васъ заберутъ въ солдаты, и вамъ самимъ придется стрѣлять въ людей.

— Меня, Василій Петровичъ, не заберутъ; я зачисленъ въ ополченіе.

— Да если война затянется, тронутъ и ополченіе. Не храбритесь, придетъ и вашъ чередъ.

У меня сжалось сердце. Какъ эта мысль не пришла мнѣ въ голову раньше! Въ самомъ дѣлѣ, тронутъ и ополченіе — тутъ нѣтъ ничего невозможнаго. „Если война затянется“... да она навѣрно затянется. Если не протянется долго эта война, все равно, начнется другая. Отчего же и не воевать? Отчего не совершать великихъ дѣлъ? Мнѣ кажется, что нынѣшняя война—только начало грядущихъ, отъ которыхъ не уйду ни я, ни мой маленькій братъ, ни грудной сынъ моей сестры. И моя очередь придетъ очень скоро.

Куда-жъ дѣнется твое „я“? Ты всѣмъ существомъ своимъ протестуешь противъ войны, а все-таки война заставитъ тебя взять на плечи ружье, идти умирать и убивать. Да нѣтъ, это невозможно! Я, смирный, добродушный молодой человѣкъ, знавшій до сихъ поръ только свои книги, да аудиторію, да семью и еще нѣсколько близкихъ людей, думавшій черезъ годъ-два начать иную работу, трудъ любви и правды, я, наконецъ, привыкшій смотрѣть на міръ объективно, привыкшій ставить его передъ собою, думавшій, что всюду я понимаю въ немъ зло и тѣмъ самымъ избѣгаю этого зла—я вижу все мое зданіе спокойствія разрушеннымъ, а самого себя напяливающимъ на свои плечи то самое рубище, дыры и пятна кото-

раго я сейчасъ только разсматривалъ. И никакое развитіе, никакое познаніе себя и міра, никакая духовная свобода не дадутъ мнѣ жалкой физической свободы—свободы располагать своимъ тѣломъ.

Львовъ посмѣивается, когда я начинаю излагать ему свои возмущенія противъ войны.

— Относитесь, батюшка, къ вещамъ попроще, легче жить будетъ,—говоритъ онъ.—Вы думаете, что мнѣ пріятна эта рѣзня? Кромѣ того, что она приноситъ всѣмъ бѣдствіе, она и меня лично обижаетъ, она не даетъ мнѣ доучиться. Устроятъ ускоренный выпускъ, ушлютъ рѣзать руки и ноги. А все-таки я не занимаюсь безплодными размышленіями объ ужасахъ войны, потому что, сколько я ни думай, я ничего не сдѣлаю для ея уничтоженія. Право, лучше не думать, а заниматься своимъ дѣломъ. А если пошлютъ раненыхъ лечить, поѣду и лечить. Что-жъ дѣлать, въ такое время нужно жертвовать собой. Кстати, вы знаете, что Маша ѣдетъ сестрой милосердія?

— Неужели?

— Третьяго дня рѣшилась, а сегодня ушла практиковаться въ перевязкахъ. Я ее не отговаривалъ; спросилъ только, какъ она думаетъ устроиться со своимъ ученьемъ. „Послѣ, говоритъ, доучусь, если жива буду“. Ничего, пусть ѣдетъ сестренка, доброму научится.

— А что-жъ Кузьма Ѳомичъ?

— Кузьма молчитъ, только мрачность на себя напустилъ звѣрскую и заниматься совсѣмъ пересталъ. Я за него радъ, что сестра уѣзжаетъ, право, а то просто извелся человѣкъ, мучается, тѣнью за ней ходитъ, ничего не дѣлаетъ. Ну, ужъ эта любовь!—Василій Петровичъ покрутилъ головой.—Вотъ и теперь побѣжалъ привести ее домой, будто она не ходила по улицамъ всегда одна!

— Мнѣ кажется, Василій Петровичъ, что нехорошо, что онъ живетъ съ вами.

— Конечно нехорошо, да кто же могъ предвидѣть это? Намъ съ сестрой эта квартира велика: одна комната остается лишняя—отчего-жъ не пустить въ нее хорошаго человѣка? А хорошій человѣкъ взялъ да и врѣзался. Да мнѣ, по правдѣ сказать, и на нее досадно: ну, чѣмъ Кузьма хуже нея! Добрый, неглупый, славный. А она точно его не замѣчаетъ... Ну, вы однако убирайтесь изъ моей комнаты; мнѣ некогда. Если хотите видѣть сестру съ Кузьмой, подождите въ столовой, они скоро пріѣдутъ.

— Нѣтъ, Василій Петровичъ, мнѣ тоже некогда, прощайте.

Только что я вышелъ на улицу, какъ увидѣлъ Марью Петровну и Кузьму. Они шли молча: Марья Петровна съ принужденно сосредоточеннымъ выраженіемъ лица впереди, а Кузьма немного сбоку и сзади, точно не смѣя идти съ нею рядомъ, и иногда бросая искоса взглядъ на ея лицо. Они прошли мимо, не замѣтивъ меня.

Я не могу ничего дѣлать и не могу ни о чемъ думать. Я прочиталъ о третьемъ Плевненскомъ боѣ. Выбыло изъ строя двѣнадцать тысячъ однихъ русскихъ и румынъ, не считая турокъ... Двѣнадцать тысячъ... Эта цифра то носится передо мною въ видѣ знаковъ, то растягивается безконечной лентой лежащихъ рядомъ труповъ. Если ихъ положить плечо съ плечомъ, то составится дорога въ восемь верстъ... Что́ же это такое?

Мнѣ говорили что-то про Скобелева, что онъ куда-то кинулся, что-то атаковалъ, взялъ какой-то редутъ, или его у него взяли... я не помню. Въ этомъ страшномъ дѣлѣ я помню и вижу только одно—гору труповъ, служащую пьедесталомъ грандіознымъ дѣламъ, которыя занесутся на страницы исторіи. Можетъ быть, это необходимо—я не берусь судить, да и не могу; я не разсуждаю о войнѣ и отношусь къ ней съ непосредственнымъ чувствомъ, возмущаемымъ массою

пролитой крови. Быкъ, на глазахъ котораго убиваютъ подобныхъ ему быковъ, чувствуетъ вѣроятно что нибудь похожее... Онъ не понимаетъ, чему его смерть послужитъ, и только съ ужасомъ смотритъ выкатившимися глазами на кровь и реветъ отчаяннымъ, надрывающимъ душу голосомъ.

Трусъ я или нѣтъ?

Сегодня мнѣ сказали, что я трусъ. Сказала, правда, одна очень пустая особа, при которой я выразилъ опасеніе, что меня заберутъ въ солдаты, и нежеланіе идти на войну. Ея мнѣніе не огорчило меня, но возбудило вопросъ: не трусъ ли я въ самомъ дѣлѣ? Быть можетъ, всѣ мои возмущенія противъ того, что всѣ считаютъ великимъ дѣломъ, исходятъ изъ страха за собственную кожу? Стоитъ ли, дѣйствительно, заботиться о какой нибудь одной неважной жизни, въ виду великаго дѣла! И въ силахъ ли я подвергнуть свою жизнь опасности вообще ради какого нибудь дѣла?

Я недолго занимался этими вопросами. Я припомнилъ всю свою жизнь, всѣ тѣ случаи—правда, немногіе,—въ которыхъ мнѣ приходилось стоять лицомъ къ лицу съ опасностью, и не могъ обвинить себя въ трусости. Тогда я не боялся за свою жизнь, и теперь не боюсь за нее. Стало быть, не смерть пугаетъ меня...

Все новыя битвы, новыя смертныя страданія. Прочитавъ газету, я не въ состояніи ни за что взяться: въ книгѣ, вмѣсто буквъ—валящіеся ряды людей; перо кажется оружіемъ, наносящимъ бѣлой бумагѣ черныя раны. Если со мной такъ будетъ идти дальше, право, дѣло дойдетъ до настоящихъ галюцинацій. Впрочемъ, теперь у меня явилась новая забота, немного отвлекшая меня отъ одной и той же гнетущей мысли.

Вчера вечеромъ я пришелъ къ Львовымъ и засталъ ихъ за чаемъ. Братъ и сестра сидѣли у стола, а Кузьма быстро ходилъ изъ угла въ уголъ, держась рукой за распухшее и обвязанное платкомъ лицо.

— Что съ тобой?—спросилъ я его.

Онъ не отвѣтилъ, а только махнулъ рукой и продолжалъ ходить.

— У него разболѣлись зубы, сдѣлался флюсъ и огромный нарывъ,—сказала Марья Петровна.—Я просила его во-время сходить къ доктору, но онъ не послушался, а теперь вотъ до чего дошло.

— Докторъ сейчасъ пріѣдетъ; я заходилъ къ нему,—сказалъ Василій Петровичъ.

— Очень нужно было,—процѣдилъ сквозь зубы Кузьма.

— Да какъ же не нужно, когда у тебя можетъ сдѣлаться подкожное изліяніе? И еще ходишь, несмотря на мои просьбы лечь. Ты знаешь, чѣмъ это иногда кончается?

— Чѣмъ бы ни кончилось, все равно,—пробормоталъ Кузьма.

— Вовсе не все равно, Кузьма Ѳомичъ; не говорите глупостей,—тихо сказала Марья Петровна.

Довольно было этихъ словъ, чтобы Кузьма успокоился. Онъ даже подсѣлъ къ столу и попросилъ себѣ чаю. Марья Петровна налила и протянула ему стаканъ. Когда онъ бралъ стаканъ изъ ея рукъ, его лицо приняло самое восторженное выраженіе, и это выраженіе такъ мало шло къ смѣшной, безобразной опухоли щеки, что я не могъ не улыбнуться. Львовъ также усмѣхнулся; одна Марья Петровна сострадательно и серьезно смотрѣла на Кузьму.

Пріѣхалъ свѣжій, здоровый, какъ яблоко, докторъ, большой весельчакъ. Когда онъ осмотрѣлъ шею больного, его обычное веселое выраженіе лица перемѣнилось на озабоченное.

— Пойдемте, пойдемте въ вашу комнату: мнѣ нужно хорошенько осмотрѣть васъ.

Я пошелъ за ними въ комнату Кузьмы.

Докторъ уложилъ его на постель и началъ осматривать верхнюю часть груди, осторожно трогая ее пальцами.

— Ну-съ, вы извольте лежать смирно и не вставать.

Есть у васъ товарищи, которые пожертвовали бы немного своимъ временемъ для вашей пользы?—спросилъ докторъ.

— Есть, я думаю,—отвѣтилъ Кузьма недоумѣвающимъ тономъ.

— Я попросилъ бы ихъ,—сказалъ докторъ, любезно обращаясь ко мнѣ,—съ этого дня дежурить при больномъ, и если покажется что нибудь новое, пріѣхать за мной.

Онъ вышелъ изъ комнаты; Львовъ пошелъ проводить его въ переднюю, гдѣ они долго разговаривали о чемъ-то вполголоса, а я пошелъ къ Марьѣ Петровнѣ. Она задумчиво сидѣла, опершись головою объ одну руку и медленно шевеля другою ложечку въ чашкѣ съ чаемъ.

— Докторъ приказалъ дежурить около Кузьмы.

— Развѣ въ самомъ дѣлѣ есть опасность? — тревожно спросила Марья Петровна.

— Вѣроятно есть; иначе, зачѣмъ были бы эти дежурства? Вы не откажетесь ходить за нимъ, Марья Петровна?

— Ахъ, конечно, нѣтъ! Вотъ и на войну не ѣздила, а ужъ приходится быть сестрой милосердія! Пойдемте къ нему; ему вѣдь очень скучно лежать одному.

Кузьма встрѣтилъ насъ, улыбнувшись, насколько ему позволяла опухоль.

— Вотъ спасибо,—сказалъ онъ,—а я думалъ ужъ, что вы меня забыли.

— Нѣтъ, Кузьма Ѳомичъ, теперь мы васъ не забудемъ; нужно дежурить около васъ. Вотъ до чего доводитъ непослушаніе,—улыбаясь, сказала Марья Петровна.

— И вы будете?—робко спросилъ Кузьма.

— Буду, буду, только слушайтесь меня.

Кузьма закрылъ глаза и покраснѣлъ отъ удовольствія.

— Ахъ да,—сказалъ онъ вдругъ, обращаясь ко мнѣ,—дай мнѣ пожалуйста зеркало; вонъ на столѣ лежитъ.

Я подалъ ему маленькое круглое зеркало; Кузьма попросилъ меня посвѣтить ему и съ помощью зеркала осмотрѣлъ больное мѣсто. Послѣ этого осмотра лицо его потемнѣло, и

несмотря на то, что мы втроемъ старались занять его разговорами, онъ во весь вечеръ не вымолвилъ ни слова.

Сегодня мнѣ навѣрно сказали, что скоро потребуютъ ополченцевъ; я ждалъ этого, и не былъ особенно пораженъ.

Я могъ бы избѣжать участи, которой я такъ боюсь, могъ бы воспользоваться кое-какими вліятельными знакомствами и остаться въ Петербургѣ, состоя въ то же время на службѣ. Меня „пристроили“ бы здѣсь, ну, хотя для отправленія писарской обязанности, что ли. Но, во-первыхъ, мнѣ претитъ прибѣгать къ подобнымъ средствамъ, а во-вторыхъ, что-то, не подчиняющееся опредѣленію, сидитъ у меня внутри, обсуждаетъ мое положеніе и запрещаетъ мнѣ уклониться отъ войны. „Нехорошо“, говоритъ мнѣ внутренній голосъ.

Случилось то, чего я никакъ не ожидалъ.

Я пришелъ сегодня утромъ, чтобы занять мѣсто Марьи Петровны около Кузьмы. Она встрѣтила меня въ дверяхъ, блѣдная, измученная безсонной ночью, и съ заплаканными глазами.

— Что такое, Марья Петровна, что съ вами?

— Тише, тише, пожалуйста,—зашептала она.—Знаете, вѣдь все кончено.

— Что кончено? Не умеръ же онъ?

— Нѣтъ, еще не умеръ... только надежды никакой. Оба доктора... мы вѣдь другого позвали...

Она не могла говорить отъ слезъ.

— Пойдите, посмотрите... Пойдемте къ нему.

— Вытрите сначала слезы и выпейте воды, а то вы его совсѣмъ разстроите.

— Все равно... Развѣ онъ уже не знаетъ? Онъ еще вчера зналъ, когда просилъ зеркало; вѣдь самъ скоро былъ бы докторомъ.

Тяжелый запахъ анатомическаго театра наполнялъ комнату, гдѣ лежалъ больной. Его кровать была выдвинута на середину комнаты. Длинныя ноги, большое туловище, руки, вытянутыя по бокамъ тѣла, рѣзко обозначались подъ одѣяломъ. Глаза были закрыты, дыханіе медленно и тяжело. Мнѣ показалось, что онъ похудѣлъ за одну ночь; лицо его приняло скверный земляной оттѣнокъ и было липко и влажно.

— Что съ нимъ?—спросилъ я шепотомъ.

— Пусть онъ самъ... Оставайтесь съ нимъ, я не могу.

Она ушла, закрывъ лицо руками и вздрагивая отъ сдерживаемыхъ рыданій, а я сѣлъ около постели и ждалъ, пока Кузьма проснется. Мертвая тишина была въ комнатѣ; только карманные часы, лежавшіе на столикѣ около постели, выстукивали свою негромкую пѣсенку, да слышалось тяжелое и рѣдкое дыханіе больного. Я смотрѣлъ на его лицо и не узнавалъ его; не то, чтобы его черты слишкомъ перемѣнились—нѣтъ; но я увидѣлъ его въ совершенно новомъ для меня свѣтѣ. Я зналъ Кузьму давно и былъ съ нимъ пріятелемъ (хотя особенной дружбы между нами не существовало), но никогда мнѣ не приходилось такъ входить въ его положеніе, какъ теперь. Я припомнилъ его жизнь, неудачи и радости, какъ будто бы онѣ были моими. Въ его любви къ Марьѣ Петровнѣ я до сихъ поръ видѣлъ больше комическую сторону, а теперь понялъ, какія муки долженъ былъ испытывать этотъ человѣкъ. Неужели онъ въ самомъ дѣлѣ такъ опасенъ! подумалъ я. Не можетъ быть; не можетъ же человѣкъ умереть отъ глупой зубной боли. Марья Петровна плачетъ о немъ, но онъ выздоровѣетъ, и все будетъ хорошо.

Онъ открылъ глаза и увидѣлъ меня. Не перемѣняя выраженія лица, онъ заговорилъ медленно, дѣлая остановки послѣ каждаго слова.

— Здравствуй... Вотъ видишь, каковъ я... Конецъ наступилъ. Подкрался такъ неожиданно... глупо...

— Скажи мнѣ наконецъ, Кузьма, что съ тобой? Можетъ быть, вовсе и не такъ дурно.

— Не дурно, ты говоришь? Нѣтъ, братъ, очень дурно. На такихъ пустякахъ не ошибусь. На, смотри!

Онъ медленно методически отвернулъ одѣяло, разстегнулъ рубашку, и на меня пахнуло невыносимымъ трупнымъ запахомъ. Начиная отъ шеи, на правой сторонѣ, на пространствѣ ладони, грудь Кузьмы была черна, какъ бархатъ, слегка покрытый сизымъ налетомъ. Это была гангрена.

Вотъ уже четыре дня, какъ я не смыкаю глазъ у постели больного, то вмѣстѣ съ Марьей Петровной, то съ ея братомъ. Жизнь, кажется, едва держится въ немъ, и все не хочетъ оставить его сильнаго тѣла. Кусокъ чернаго мертваго мяса ему вырѣзали и выбросили, какъ тряпку, и докторъ велѣлъ намъ каждые два часа промывать большую рану, оставшуюся послѣ операціи. Каждые два часа мы, вдвоемъ или втроемъ, приступаемъ къ постели Кузьмы, повертываемъ и приподнимаемъ его огромное тѣло, обнажаемъ страшную язву и поливаемъ ее черезъ гуттаперчевую трубку водою съ карболовой кислотой. Она брызжетъ по ранѣ, и Кузьма иногда находитъ силы даже улыбаться, „потому что, объясняетъ онъ, щекотно“. Какъ всѣмъ рѣдко болѣвшимъ людямъ, ему очень нравится, что за нимъ ухаживаютъ, какъ за ребенкомъ, а когда Марья Петровна беретъ въ руки, какъ онъ говоритъ, „бразды правленія“, т.-е. гуттаперчевую трубку. и начинаетъ его поливать, онъ бываетъ особенно доволенъ и говоритъ, что никто не умѣетъ дѣлать этого такъ искусно. какъ она, несмотря на то, что трубка часто дрожитъ въ ея рукахъ отъ волненія, и вся постель бываетъ облита водою.

Какъ измѣнились ихъ отношенія! Марья Петровна, бывшая для Кузьмы чѣмъ-то недосягаемымъ, на что онъ и смотрѣть боялся, почти не обращающая на него вниманія, теперь часто тихонько плачетъ, сидя у его постели, когда онъ спитъ, и нѣжно ухаживаетъ за нимъ; а онъ спокойно принимаетъ ея

заботливость, какъ должное, и говоритъ съ нею точно отецъ съ маленькой дочерью.

Иногда онъ очень страдаетъ. Рана его горитъ, лихорадка трясетъ его... Тогда мнѣ приходятъ въ голову странныя мысли. Кузьма кажется мнѣ единицею, одной изъ тѣхъ, изъ которыхъ составляются десятки тысячъ, написанныя въ реляціяхъ. Его болѣзнью и страданіями я пробую измѣрить зло, причиняемое войной. Сколько муки и тоски здѣсь, въ одной комнатѣ, на одной постели, въ одной груди—и все это одна лишь капля въ морѣ горя и мукъ, испытываемыхъ огромною массою людей, которыхъ посылаютъ впередъ, ворочаютъ назадъ и кладутъ на поляхъ грудами мертвыхъ и еще стонущихъ и копошащихся окровавленныхъ тѣлъ.

Я совершенно измученъ безсонницей и тяжелыми мыслями. Нужно попросить Львова или Марью Петровну посидѣть за меня, а я засну хоть на два часа.

Я спалъ мертвымъ сномъ, прикурнувъ на маленькомъ диванчикѣ, и проснулся, разбуженный толчками въ плечо. „Вставайте, вставайте!“ — говорила Марья Петровна. Я вскочилъ и въ первую минуту ничего не понималъ. Марья Петровна что-то быстро и испуганно шептала.

— Пятна, новыя пятна!—разобралъ я наконецъ.

— Какія пятна, гдѣ пятна?

— Ахъ, Боже мой, онъ ничего не понимаетъ! У Кузьмы Ѳомича новыя пятна показались. Я уже послала за докторомъ.

— Да, можетъ быть, и пустое, — сказалъ я съ равнодушіемъ только что разбуженнаго человѣка.

— Какое пустое, посмотрите сами!

Кузьма спалъ, раскинувшись, тяжелымъ и безпокойнымъ сномъ; онъ метался головой изъ стороны въ сторону и иногда глухо стоналъ. Его грудь была раскрыта, и я увидѣлъ на ней, на вершокъ ниже раны, покрытой повязкой, два новыхъ чер-

ныхъ пятнышка. Это гангрена проникла дальше подъ кожу, распространилась подъ ней и вышла въ двухъ мѣстахъ наружу. Хоть я и до этого мало надѣялся на выздоровленіе Кузьмы, но эти новые, рѣшительные признаки смерти заставили меня поблѣднѣть.

Марья Петровна сидѣла въ углу комнаты, опустивъ руки на колѣни, и молча смотрѣла на меня отчаянными глазами.

— Да вы не приходите въ отчаяніе, Марья Петровна. Пріѣдетъ докторъ, посмотритъ; можетъ быть, еще не все кончено. Можетъ быть, мы еще выручимъ его.

— Нѣтъ, не выручимъ, умретъ,—шептала она.

— Ну, не выручимъ, умретъ, — отвѣчалъ я ей также тихо,—для всѣхъ насъ конечно это большое горе, но нельзя же такъ убиваться: вѣдь вы въ эти дни на мертвеца стали похожи.

— Знаете ли вы, какую муку я испытываю въ эти дни? И сама не могу себѣ объяснить, отчего это. Я вѣдь не любила его, да и теперь, кажется, не люблю такъ, какъ онъ меня, а умретъ онъ — сердце у меня разорвется. Все мнѣ будетъ вспоминаться его пристальный взглядъ, его постоянное молчаніе при мнѣ, несмотря на то, что онъ умѣлъ говорить и любилъ говорить. Навсегда останется въ душѣ упрекъ, что не пожалѣла я его, не оцѣнила его ума, сердца, его привязанности. Можетъ быть, это и смѣшно вамъ покажется, но теперь меня постоянно мучитъ мысль, что люби я его — жили бы мы совсѣмъ иначе, все бы иначе случилось, и этого страшнаго нелѣпаго случая могло бы и не быть. Думаешь-думаешь, оправдываешься-оправдываешься, а на днѣ души все что-то повторяетъ: виновата, виновата, виновата.

Тутъ я взглянулъ на больного, боясь, что онъ проснется отъ нашего шепота, и увидѣлъ перемѣну въ его лицѣ. Онъ проснулся и слышалъ, что̀ говоритъ Марья Петровна, но не хотѣлъ показать этого. Его губы дрожали, щеки разгорѣлись, все лицо точно освѣтило солнцемъ, какъ освѣщается мокрый и печальный лугъ, когда раздвинутся тучи, нависъ-

шія надъ нимъ, и дадутъ взглянуть солнышку. Должно быть, онъ забылъ и болѣзнь, и страхъ смерти; одно чувство наполнило его душу и вылилось двумя слезинками изъ закрытыхъ дрожащихъ вѣкъ. Марья Петровна смотрѣла на него нѣсколько мгновеній какъ будто испуганно, потомъ покраснѣла, нѣжное выраженіе мелькнуло на ея лицѣ и, наклонясь надъ бѣднымъ полутрупомъ, она поцѣловала его.

Тогда онъ открылъ глаза. „Боже мой, какъ не хочется умирать!“ — проговорилъ онъ. И въ комнатѣ вдругъ раздались странные, тихіе, хлипающіе звуки, совершенно новые для моего уха, потому что раньше я никогда не видѣлъ этого человѣка плачущимъ.

Я ушелъ изъ комнаты. Я самъ чуть было не разревѣлся.

Мнѣ тоже не хочется умирать, и всѣмъ этимъ тысячамъ тоже не хочется умирать, у Кузьмы хоть утѣшеніе нашлось въ послѣднія минуты — а тамъ? Кузьма, вмѣстѣ съ страхомъ смерти и физическими страданіями, испытываетъ такое чувство, что врядъ ли онъ промѣнялъ бы свои теперешнія минуты на какія нибудь другія изъ своей жизни. Нѣтъ, это совсѣмъ не то! Смерть всегда будетъ смертью, но умереть среди близкихъ и любящихъ, или валяясь въ грязи и собственной крови, ожидая, что вотъ-вотъ пріѣдутъ и добьютъ, или наѣдутъ пушки и раздавятъ, какъ червяка...

— Я вамъ скажу откровенно,—говорилъ мнѣ докторъ въ передней, надѣвая шубу и калоши, — что въ подобныхъ случаяхъ, при госпитальномъ лѣченіи, умираютъ девяносто девять изъ ста. Я надѣюсь только на тщательный уходъ, на прекрасное расположеніе духа больного и на его горячее желаніе выздоровѣть.

— Всякій больной желаетъ выздоровѣть, докторъ.

— Конечно, но у вашего товарища есть нѣкоторыя усиливающія обстоятельства, — сказалъ докторъ съ улыбочкой. —

И такъ, сегодня вечеромъ мы сдѣлаемъ операцію — прорѣжемъ ему новое отверстіе, вставимъ дренажи, чтобы лучше дѣйствовать водою, и будемъ надѣяться.

Онъ пожалъ мнѣ руку, запахнулъ свою медвѣжью шубу и поѣхалъ по визитамъ, а вечеромъ явился съ инструментами.

— Можетъ быть, угодно вамъ, мой будущій коллега, для практики сдѣлать операцію?—обратился онъ къ Львову.

Львовъ, кивнувъ головою, засучилъ рукава и съ серьезно мрачнымъ выраженіемъ лица приступилъ къ дѣлу. Я видѣлъ, какъ онъ запустилъ въ рану какой-то удивительный инструментъ съ трехграннымъ остріемъ, видѣлъ, какъ остріе пронизало тѣло, какъ Кузьма вцѣпился руками въ постель и защелкалъ зубами отъ боли.

— Ну, не бабничай,—угрюмо говорилъ ему Львовъ, вставляя дренажъ въ новую ранку.

— Очень больно?—ласково спросила Марья Петровна.

— Не такъ больно, голубушка, а ослабѣлъ я, измучился.

Положили повязки, дали Кузьмѣ вина, и онъ успокоился. Докторъ уѣхалъ, Львовъ ушелъ въ свою комнату заниматься, а мы съ Марьей Петровной стали приводить комнату въ порядокъ.

— Поправьте одѣяло,—проговорилъ Кузьма ровнымъ, беззвучнымъ голосомъ.—Дуетъ.

Я началъ поправлять ему подушки и одѣяло по его собственнымъ указаніямъ, которыя онъ дѣлалъ очень придирчиво, увѣряя, что гдѣ-то около лѣваго локтя есть маленькая дырочка, въ которую дуетъ, и прося получше подсунуть одѣяло. Я старался сдѣлать это какъ можно лучше, но, несмотря на все мое усердіе, Кузьмѣ все-таки дуло, то въ бокъ, то въ ноги.

— Неумѣлый ты какой, — тихо брюзжалъ онъ, — опять въ спину дуетъ. Пусть она. — Онъ взглянулъ на Марью Петровну, и мнѣ стало очень ясно, почему я не съумѣлъ угодить ему.

Марья Петровна поставила склянку съ лекарствомъ, которую держала въ рукахъ, и подошла къ постели.

— Поправить?

— Поправьте... Вотъ хорошо... тепло!...

Онъ смотрѣлъ на нее, пока она управлялась съ одѣяломъ, потомъ закрылъ глаза и съ дѣтски-счастливымъ выраженіемъ на измученномъ лицѣ заснулъ.

— Вы пойдете домой?—спросила Марья Петровна.

— Нѣтъ, я выспался отлично и могу сидѣть; а впрочемъ, если я не нуженъ, то уйду.

— Не ходите пожалуйста, поговоримте хоть немножко. Братъ постоянно сидитъ за своими книгами, а мнѣ одной быть съ больнымъ, когда онъ спитъ, и думать о его смерти такъ горько, такъ тяжело!

— Будьте тверды, Марья Петровна; сестрѣ милосердія тяжелыя мысли и слезы воспрещаются.

— Да я и не буду плакать, когда буду сестрой милосердія. Все-таки, не такъ тяжело будетъ ходить за ранеными, какъ за такимъ близкимъ человѣкомъ.

— А вы все-таки ѣдете?

— Ѣду, конечно. Выздоровѣетъ онъ или умретъ — все равно поѣду. Я уже сжилась съ этою мыслью и не могу отказаться отъ нея. Хочется хорошаго дѣла, хочется оставить себѣ память о хорошихъ, свѣтлыхъ дняхъ.

— Ахъ, Марья Петровна, боюсь я, что не увидите вы свѣту на войнѣ.

— Отчего? Работать буду—вотъ вамъ и свѣтъ. Хоть чѣмъ нибудь принять участіе въ войнѣ мнѣ хочется.

— Принять участіе! Да развѣ она не возбуждаетъ въ васъ ужаса? Вы ли говорите мнѣ это?

— Я говорю. Кто вамъ сказалъ, что я люблю войну? Только... какъ бы это вамъ разсказать? Война — зло; и вы, и я, и очень многіе такого мнѣнія; но вѣдь она неизбѣжна; любите вы ее или не любите, все равно, она будетъ, и если не пойдете драться вы, возьмутъ другого, и все-таки чело-

вѣкъ будетъ изуродованъ или измученъ походомъ. Я боюсь, что вы не понимаете меня: я плохо выражаюсь. Вотъ что: по-моему, война есть *общее* горе, *общее* страданіе, и уклоняться отъ нея, можетъ быть, и позволительно, но мнѣ это не нравится.

Я молчалъ. Слова Марьи Петровны яснѣе выразили мое смутное отвращеніе къ уклоненію отъ войны. Я самъ *чувствовалъ* то, что она чувствуетъ и думаетъ, только *думалъ* иначе.

— Вотъ вы, кажется, все думаете, какъ бы постараться остаться здѣсь,—продолжала она,—если васъ заберутъ въ солдаты. Мнѣ братъ говорилъ объ этомъ. Вы знаете, я васъ очень люблю, какъ хорошаго человѣка, но эта черта мнѣ въ васъ не нравится.

— Что же дѣлать, Марья Петровна! Разные взгляды. За что я буду тутъ отвѣчать? Развѣ *я* войну началъ?

— Не вы, да и никто изъ тѣхъ, кто теперь умеръ на ней и умираетъ. Они тоже не пошли бы, если бы могли, но они не могутъ, а вы можете. Они идутъ воевать, а вы останетесь въ Петербургѣ — живой, здоровый, счастливый, только потому, что у васъ есть знакомые, которые пожалѣютъ послать знакомаго человѣка на войну. Я не беру на себя рѣшать, можетъ быть, это и извинительно, но мнѣ не нравится, нѣтъ.

Она энергически покачала кудрявой головой и замолчала.

Наконецъ, вотъ оно. Сегодня я одѣлся въ сѣрую шинель и уже вкушалъ корни ученія... ружейнымъ пріемамъ. У меня и теперь раздается въ ушахъ:

— Смирно!.. Ряды вздвой! Слушай, на краулъ!

И я стоялъ смирно, вздваивалъ ряды и брякалъ ружьемъ. И черезъ нѣсколько времени, когда я достаточно постигну премудрость вздваиванья рядовъ, меня назначатъ въ партію, насъ посадятъ въ вагоны, повезутъ, распредѣлятъ по полкамъ, поставятъ на мѣста, оставшіяся послѣ убитыхъ...

Ну, да это все равно... Все кончено; теперь я не принадлежу себѣ, я плыву по теченію; теперь самое лучшее не думать, не разсуждать, а безъ критики принимать всякія случайности жизни и развѣ только выть, когда больно...

Меня помѣстили въ особое отдѣленіе казармы для привилегированныхъ, которое отличается тѣмъ, что въ немъ не нары, а кровати, но въ которомъ все-таки достаточно грязно. У непривилегированныхъ новобранцевъ совсѣмъ скверно. Живутъ они, до распредѣленія по полкамъ, въ огромномъ сараѣ, бывшемъ манежѣ: его раздѣлили палатями на два этажа, натащили соломы и предоставили временнымъ обитателямъ устраиваться какъ знаютъ. На проходѣ, идущемъ посрединѣ манежа, снѣгъ и грязь, наносимые со двора ежеминутно входящими людьми, смѣшались съ соломой и образовали какую-то невообразимую слякоть, да и въ сторонѣ отъ него солома не особенно чиста. Нѣсколько сотъ человѣкъ стоятъ, сидятъ и лежатъ на ней группами, состоящими изъ „земляковъ“: настоящая этнографическая выставка. И я разыскалъ земляковъ по уѣзду. Высокіе, неуклюжіе хохлы, въ новыхъ свиткахъ и смушковыхъ шапкахъ, лежали тѣсной кучкой и молчали. Ихъ было человѣкъ десять.

— Здравствуйте, братцы.

— Здравствуйте.

— Давно изъ дому?

— Та вже дві неділи. А вы яки-таки будете?—спросилъ меня одинъ изъ нихъ. Я назвалъ свое имя, оказавшееся всѣмъ имъ извѣстнымъ. Встрѣтивъ земляка, они немного оживились и разговорились.

— Скучно?—спросилъ я.

— Такъ якъ же не скучно! Дуже моторно. Коли-бъ ще годували, а то така страва, що и Боже мій!

— Куда-жъ васъ теперь?

— А хто єго зна! Кажутъ, пидъ турку...

— А хочется на войну?

— Чого я тамъ не бачивъ?

Я началъ разспрашивать о нашемъ городѣ, и воспоминанія о домѣ развязали языки. Начались разсказы о недавней свадьбѣ, для которой была продана пара воловъ и вскорѣ послѣ которой молодого забрали въ солдаты, о судебномъ приставѣ „сто чортивъ ему коннихъ у горло“, о томъ, что мало становится земли, и потому изъ слободы Марковки въ этомъ году поднялось нѣсколько сотъ человѣкъ идти на Амуръ... Разговоръ держался только на почвѣ прошедшаго; о будущемъ, о тѣхъ трудахъ, опасностяхъ и страданіяхъ, которые ждали всѣхъ насъ, не говорилъ никто. Никто не интересовался узнать о туркахъ, о болгарахъ, о дѣлѣ, за которое шелъ умирать.

Проходившій мимо пьяненькій солдатикъ мѣстной команды остановился противъ нашей кучки, и когда я снова заговорилъ о войнѣ, авторитетно заявилъ:

— Этого самаго турку бить слѣдуетъ.

— Слѣдуетъ? — спросилъ я, невольно улыбнувшись увѣренности рѣшенія.

— Такъ точно, баринъ, чтобъ и званія его не осталось, поганаго. Потому, отъ его бунту сколько намъ всѣмъ муки принять нужно! Ежели бы онъ, напримѣръ, безъ бунту, чтобы благородно, смирно... былъ бы я теперь дома, при родителяхъ, въ лучшемъ видѣ. А то онъ бунтуетъ, а намъ огорченіе. Это вы, будьте спокойны, вѣрно я говорю. Папиросочку пожалуйте, баринъ!—вдругъ оборвалъ онъ, вытянувшись передо мной во фронтъ и приложивъ руку къ козырьку.

Я далъ ему папироску, простился съ земляками и пошелъ домой, такъ какъ наступило время, свободное отъ службы.

„Онъ бунтуетъ — а намъ огорченіе“, звенѣлъ у меня въ ушахъ пьяный голосъ. Коротко и неясно, а между тѣмъ дальше этой фразы не пойдешь.

У Львовыхъ тоска, уныніе. Кузьма очень плохъ, хотя рана его и очистилась, страшный жаръ, бредъ, стоны. Братъ

и сестра не отходили отъ него всѣ дни, пока я былъ занятъ поступленіемъ на службу и ученьями. Теперь, когда они знаютъ, что я отправляюсь, сестра стала еще грустнѣе, а братъ еще угрюмѣе.

— Въ формѣ уже! — проговорилъ онъ, когда я поздоровался съ нимъ въ комнатѣ, закуренной и заваленной книгами.—Эхъ вы, люди, люди...

— Что же мы за люди, Василій Петровичъ?

— Заниматься вы мнѣ не даете—вотъ что! И такъ времени совсѣмъ нѣтъ, кончить курса не дадутъ, пошлютъ на войну; и такъ многаго узнать не придется, а тутъ вы еще съ Кузьмой!

— Ну, положимъ, Кузьма умираетъ, а я-то что?

— Да вы развѣ не умираете? Не убьютъ васъ — съ ума сойдете, или пулю въ лобъ пустите. Развѣ я не знаю васъ и развѣ не было примѣровъ?

— Какихъ примѣровъ? Развѣ вы знаете что-нибудь подобное? Разскажите, Василій Петровичъ!

— Отстаньте вы, очень нужно васъ еще пуще разогорчать! Вредно вамъ. И я ничего не знаю, это я такъ сказалъ.

Но я пристадъ къ нему, и онъ разсказалъ мнѣ свой „примѣръ“.

— Мнѣ одинъ раненый офицеръ, артиллеристъ, разсказывалъ. Вышли они только что изъ Кишинева, въ апрѣлѣ, тотчасъ послѣ объявленія войны. Дожди шли постоянные, дороги исчезли; осталась одна грязь, такая, что орудія и повозки уходили въ нее по оси. До того дошло, что лошади не берутъ; прицѣпили канаты, поѣхали на людяхъ. На второмъ переходѣ дорога ужасная: на семнадцати верстахъ двѣнадцать горъ, а между ними все топь. Въѣхали и стали. Дождь хлещетъ, на тѣлѣ ни нитки сухой, проголодались, измучились, а тащить нужно. Ну, конечно, тянетъ-тянетъ человѣкъ, и упадетъ лицомъ въ грязь безъ памяти. Наконецъ, добрались до такой трясины, что двинуться впередъ было невозможно, а все-таки продолжали надрываться! „Что тутъ бы-

ло, — офицеръ мой говоритъ, — вспомнить страшно!“ Докторъ молодой былъ у нихъ, послѣдняго выпуска, нервный человѣкъ. Плачетъ. „Не могу, говоритъ, я вынести этого зрѣлища; уѣду впередъ“. Уѣхалъ. Нарубили солдаты вѣтокъ. сдѣлали чуть не цѣлую плотину и наконецъ сдвинулись съ мѣста. Вывезли батарею на гору; смотрятъ, а на деревѣ докторъ виситъ... Вотъ вамъ примѣръ. Не могъ человѣкъ вида мученій вынести, такъ гдѣ-жъ вамъ самыя-то муки одолѣть?..

— Василій Петровичъ, да не легче ли самому муки нести. чѣмъ казниться, какъ этотъ докторъ?

— Ну, не знаю, что хорошаго, что васъ самихъ въ дышло запрягутъ.

— Совѣсть мучить не будетъ, Василій Петровичъ.

— Ну, это, батюшка, что-то тонко. Вы съ сестрой объ этомъ поговорите: она насчетъ этихъ тонкостей дока. „Анну Каренину“ ли по косточкамъ разобрать, или о Достоевскомъ поговоритъ, все можетъ; а ужъ эта штука въ какомъ нибудь романѣ навѣрно разобрана. Прощайте, философъ.

Онъ добродушно разсмѣялся своей шуткѣ и протянулъ мнѣ руку.

— Вы куда?

— На выборгскую, въ клинику.

Я вошелъ въ комнату Кузьмы. Онъ не спалъ и чувствовалъ себя лучше обыкновеннаго, какъ объяснила мнѣ Марья Петровна, неизмѣнно сидѣвшая около постели. Онъ еще не видѣлъ меня въ формѣ, и мой видъ непріятно поразилъ его.

— Тебя здѣсь оставятъ или ушлютъ въ армію? — спросилъ онъ.

— Отправятъ; развѣ ты не знаешь?

Онъ молчалъ.

— Зналъ, да забылъ. Я, братъ, теперь вообще мало помню и соображаю... Что-жъ, поѣзжай. Нужно.

— И ты, Кузьма Ѳомичъ!

— Что „и я“? Развѣ неправда? Какія твои заслуги,

чтобъ тебя простили? Иди, помирай. Нужнѣе тебя есть люди, работящѣе тебя, и тѣ идутъ... Поправь мнѣ подушку... вотъ такъ.

Онъ говорилъ тихо и раздраженно, какъ будто мстя кому-то за свою болѣзнь.

— Все это вѣрно, Кузя, да развѣ я и не ѣду? Развѣ я протестую лично за себя? Если бы это было такъ, я бы остался здѣсь безъ дальнихъ разговоровъ: устроить это нетрудно. Я не дѣлаю этого, меня требуютъ, и я иду. Но пусть, по крайней мѣрѣ, мнѣ не мѣшаютъ имѣть объ этомъ свое собственное мнѣніе.

Кузьма лежалъ, неподвижно устремивъ глаза въ потолокъ, какъ будто не слушая меня. Наконецъ онъ медленно повернулъ ко мнѣ голову.

— Ты не прими моихъ словъ за что нибудь настоящее,—проговорилъ онъ; — я измученъ и раздраженъ и право не знаю, за что придираюсь къ людямъ. Ужъ очень я сталъ сварливъ; должно быть, скоро помирать пора.

— Полно, Кузьма, подбодрись. Рана очистилась, поживаетъ, все идетъ къ лучшему. Теперь не о смерти, а о жизни говорить слѣдуетъ.

Марья Петровна взглянула на меня большими печальными глазами, и мнѣ вдругъ вспомнилось, какъ она сказала мнѣ двѣ недѣли тому назадъ: „Нѣтъ, не выздоровѣетъ, умретъ“.

— А что, если бы въ самомъ дѣлѣ ожить? Хорошо бы было!—слабо улыбнувшись, сказалъ Кузьма. — Тебя ушлютъ драться, и мы съ Марьей Петровной поѣдемъ: она милосердной сестрицей, а я врачемъ. И буду я около тебя, раненаго, возиться, какъ ты теперь около меня.

— Будетъ болтать, Кузьма Ѳомичъ, — сказала Марья Петровна. — Вредно вамъ много говорить, да и пора начать ваше мученіе.

Онъ отдался въ наше распоряженіе; мы раздѣли его, сняли повязки и принялись за работу надъ огромной истерзанной грудью. И когда я направлялъ струю воды на обна-

женныя кровавыя мѣста, на показавшуюся и блестѣвшую какъ перламутръ ключицу, на вену, проходившую черезъ всю рану и лежавшую чисто и свободно, точно это была не рана на живомъ человѣкѣ, а анатомическій препаратъ, я думалъ о другихъ ранахъ, гораздо болѣе ужасныхъ и качествомъ, и подавляющимъ количествомъ, и, сверхъ того, нанесенныхъ не слѣпымъ безсмысленнымъ случаемъ, а сознательными дѣйствіями людей.

Я не пишу въ эту книжку ни слова о томъ, что̀ дѣлается и что̀ я испытываю дома. Слезы, которыми встрѣчаетъ и провожаетъ меня мать, какое-то тяжелое молчаніе, сопровождающее мое присутствіе за общимъ столомъ, предупредительная доброта братьевъ и сестеръ—все это тяжело видѣть и слышать, а писать объ этомъ еще тяжелѣе. Когда подумаешь, что черезъ недѣлю придется лишиться всего самаго дорогого въ мірѣ, слезы подступаютъ подъ горло...

Вотъ наконецъ и прощанье. Завтра утромъ, чуть свѣтъ, наша партія отправляется по желѣзной дорогѣ. Мнѣ позволили провести послѣднюю ночь дома; и я сижу въ своей комнатѣ одинъ, въ послѣдній разъ. Въ послѣдній разъ! Знаетъ ли кто нибудь, не испытавшій такого послѣдняго раза, всю горечь этихъ двухъ словъ? Въ послѣдній разъ разошлась семья, въ послѣдній разъ я пришелъ въ эту маленькую комнату и сѣлъ къ столу, освѣщенному знакомой низенькой лампой, заваленному книгами и бумагой. Цѣлый мѣсяцъ я не прикасался къ нимъ. Въ послѣдній разъ я беру въ руки и разсматриваю начатую работу. Она оборвалась и лежитъ мертвая, недоношенная, безсмысленная. Вмѣсто того, чтобы кончать ее, ты идешь, съ тысячами тебѣ подобныхъ, на край свѣта, потому что исторіи понадобились твои физическія силы. Объ умственныхъ — забудь: онѣ никому не нужны. Что̀ до

того, что многіе годы ты воспитывалъ ихъ, готовился куда-то примѣнить ихъ? Огромному, невѣдомому тебѣ организму, котораго ты составляешь ничтожную часть, захотѣлось отрѣзать тебя и бросить. И что можешь сдѣлать противъ такого желанія ты,

ты—палецъ отъ ноги?..

Однако довольно. Пора лечь и постараться заснуть: завтра нужно вставать очень рано.

Я просилъ, чтобы меня никто не провожалъ на желѣзную дорогу. Дальніе проводы—лишнія слезы. Но когда я уже сидѣлъ въ вагонѣ, набитомъ людьми, я ощутилъ такое щемящее душу одиночество, такую тоску, что, кажется, отдалъ бы все на свѣтѣ, чтобъ хоть нѣсколько минутъ провести съ кѣмъ нибудь изъ близкихъ. Наконецъ насталъ назначенный часъ, но поѣздъ не тронулся: что-то задержало его. Прошло полчаса, часъ, полтора, а онъ все еще стоялъ. Въ эти полтора часа я успѣлъ бы побывать дома... Можетъ быть, кто нибудь не утерпитъ и пріѣдетъ... Нѣтъ, вѣдь всѣ думаютъ, что поѣздъ уже ушелъ; никто не станетъ разсчитывать на опозданіе. А все-таки, можетъ быть... И я смотрѣлъ въ ту сторону, откуда могли ко мнѣ прійти. Никогда время не тянулось такъ долго.

Рѣзкіе звуки рожка, игравшаго сборъ, заставили меня вздрогнуть. Солдаты, вылѣзшіе изъ вагоновъ и толпившіеся на платформѣ, торопились усаживаться. Сейчасъ тронется поѣздъ, и я никого не увижу.

Но я увидѣлъ. Львовы, братъ и сестра, почти бѣжали къ вагону, и я ужасно обрадовался имъ. Не помню, что я говорилъ имъ; не помню, что они мнѣ говорили, кромѣ одной только фразы: „Кузьма умеръ“.

На этой фразѣ кончаются замѣтки въ записной книжкѣ.

Широкое снѣжное поле. Бѣлые холмы окружаютъ его,

на нихъ бѣлыя же, заиндевѣвшія деревья. Небо пасмурно, низко; въ воздухѣ чувствуется оттепель. Трещатъ ружья, слышатся частые удары пушечныхъ выстрѣловъ; дымъ покрываетъ одинъ изъ холмовъ и медленно сползаетъ съ него на поле. Сквозь него чернѣетъ движущаяся масса. Когда вглядишься въ нее пристальнѣе, то видишь, что она состоитъ изъ отдѣльныхъ черныхъ точекъ. Многія изъ этихъ точекъ уже неподвижны, но другія все двигаются и двигаются впередъ, хотя имъ еще далеко до цѣли, видимой только по массѣ дыма, несущагося съ нея, и хотя ихъ число съ каждымъ мгновеніемъ становится все меньше и меньше.

Батальонъ резерва, лежавшій въ снѣгу, не составивъ ружья въ козлы, а держа ихъ въ рукахъ, слѣдилъ за движеніемъ черной массы всею тысячью своихъ глазъ.

— Пошли, братцы, пошли... Эхъ, не дойдутъ!

— Чего это только насъ держатъ? Съ подмогой живо бы взяли.

— Жизнь тебѣ надоѣла, что-ли?—угрюмо сказалъ пожилой солдатъ изъ „билетныхъ“;—лежи, коли положили, да благодари Бога, что цѣлъ.

— Да я, дяденька, цѣлъ буду, не сомнѣвайтесь, — отвѣчалъ молодой солдатъ съ веселымъ лицомъ: — я въ четырехъ дѣлахъ былъ, хоть бы что! Оно спервоначалу только боязно, а потомъ—ни Боже мой! Вотъ барину нашему впервой, такъ онъ, небось, у Бога прощенья проситъ. Баринъ, а баринъ?

— Что тебѣ? — отозвался худощавый солдатъ съ черной бородкой, лежавшій возлѣ.

— Вы, баринъ, глядите веселѣе!

— Да я, голубчикъ, и такъ не скучаю.

— Вы меня держитесь, ежели что. Ужъ я бывалъ, знаю. Ну, да у насъ баринъ молодецъ, не побѣжитъ. А то былъ такой до васъ вольноопредѣляющій, такъ тотъ, какъ пошли мы, какъ начали пули летать, бросилъ онъ и сумки, и ружье, и побѣгъ, а пуля ему въ догонку, да въ спину. Такъ нельзя, потому—присяга.

— Не бойся, не побѣгу,—тихо отвѣчалъ „баринъ“,—отъ пули не убѣжишь.

— Извѣстно, гдѣ отъ ей убѣжать! Онъ шельма... Батюшки свѣты! Никакъ наши-то стали!

Черная масса остановилась и задымилась выстрѣлами.

— Ну, палить стали, сейчасъ назадъ... Нѣтъ, впередъ пошли. Выручай, Мать Пресвятая Богородица! Ну-ка еще, ну, ну... Эка раненыхъ-то валитъ, Господи! И не подбираютъ.

„Пуля! пуля“—раздался вдругъ говоръ. Въ воздухѣ дѣйствительно что-то зашуршало. Это была залетная, шальная пуля, перелетѣвшая черезъ резервы. Вслѣдъ за ней полетѣла другая, третья. Батальонъ оживился.

— Носилки!—закричалъ кто-то.

Шальная пуля сдѣлала свое дѣло. Четверо солдатъ съ носилками бросились къ раненому. Вдругъ на одномъ изъ холмовъ, въ сторонѣ отъ пункта, на который велась атака, показались маленькія фигурки людей и лошадей, и тотчасъ же оттуда вылетѣлъ круглый и плотный клубъ дыма, бѣлаго, какъ свѣтъ.

„Въ насъ подлецъ мѣтитъ!“—закричалъ веселый солдатъ. Завизжала и заскрежетала граната, раздался выстрѣлъ. Веселый солдатъ уткнулся лицомъ въ снѣгъ. Когда онъ поднялъ голову, то увидѣлъ, что „баринъ“ лежитъ рядомъ съ нимъ ничкомъ, раскинувъ руки и неестественно изогнувъ шею. Другая шальная пуля пробила ему надъ правымъ глазомъ огромное черное отверстіе.

Встрѣча.

На десятки верстъ протянулась широкая и дрожащая серебряная полоса луннаго свѣта; остальное море было черно; до стоявшаго на высотѣ доходилъ правильный, глухой шумъ раскатывавшихся по песчаному берегу волнъ; еще болѣе черные, чѣмъ самое море, силуэты судовъ покачивались на рейдѣ; одинъ огромный пароходъ (вѣроятно, „англійскій“, подумалъ Василій Петровичъ) помѣстился въ свѣтлой полосѣ луны и шипѣлъ своими парами, выпуская ихъ клочковатой, тающей въ воздухѣ струей; съ моря несло сырымъ и соленымъ воздухомъ. Василій Петровичъ, до сихъ поръ не видавшій ничего подобнаго, съ удовольствіемъ смотрѣлъ на море, лунный свѣтъ, пароходы, корабли и радостно, въ первый разъ въ жизни, вдыхалъ морской воздухъ. Онъ долго наслаждался новыми для него ощущеніями, повернувшись спиной къ городу, въ который пріѣхалъ только сегодня и въ которомъ долженъ былъ жить многіе и многіе годы. За нимъ пестрая толпа публики гуляла по бульвару, слышалась то русская, то нерусская рѣчь, то чинные и тихіе голоса мѣстныхъ почтенныхъ особъ, то щебетанье барышень, громкіе и веселые голоса взрослыхъ гимназистовъ, ходившихъ кучками около двухъ или трехъ изъ нихъ. Взрывъ хохота въ одной изъ такихъ группъ заставилъ Василія Петровича обернуться. Веселая гурьба шла мимо; одинъ изъ юношей говорилъ что-то

молоденькой гимназисткѣ, товарищи шумѣли и перебивали его горячую и, повидимому, оправдательную рѣчь.

— Не вѣрьте, Нина Петровна! Все вретъ! Выдумываетъ!

— Да право же, Нина Петровна, я нисколько не виноватъ!

— Если вы, Шевыревъ, еще когда-нибудь вздумаете меня обманывать...—принужденно чиннымъ молодымъ голосомъ заговорила дѣвушка. Конца Василій Петровичъ не дослышалъ, потому что гурьба прошла мимо. Черезъ полминуты изъ темноты вновь послышался взрывъ смѣха.

„Вотъ она, моя будущая нива, на которой я, какъ скромный пахарь, буду работать", — подумалъ Василій Петровичъ, во-первыхъ, потому, что онъ былъ назначенъ учителемъ въ мѣстную гимназію, а во-вторыхъ, потому, что любилъ фигуральную форму мысли, даже когда не высказывалъ ее вслухъ. „Да, придется работать на этомъ скромномъ поприщѣ,—подумалъ онъ, вновь садясь на скамью лицомъ къ морю. — Гдѣ мечты о профессурѣ, о публицистикѣ, о громкомъ имени? Не хватило пороху, братъ Василій Петровичъ, на всѣ эти затѣи; попробуй-ка здѣсь поработать!"

И красивыя и пріятныя мысли зашевелились въ головѣ новаго учителя гимназіи. Онъ думалъ о томъ, какъ онъ будетъ съ первыхъ классовъ гимназіи угадывать „искру Божію" въ мальчикахъ; какъ будетъ поддерживать натуры, „стремящіяся сбросить съ себя иго тьмы"; какъ подъ его надзоромъ будутъ развиваться молодыя, свѣжія силы, „чуждыя житейской грязи"; какъ, наконецъ, изъ его учениковъ современемъ могутъ выйти замѣчательные люди... Даже такія картины рисовались въ его воображеніи: сидитъ онъ, Василій Петровичъ, уже старый, сѣдой учитель, у себя, въ своей скромной квартиркѣ, и посѣщаютъ его бывшіе его ученики, и одинъ изъ нихъ — профессоръ такого-то университета, извѣстный „у насъ и въ Европѣ", другой — писатель, знаменитый романистъ, третій—общественный дѣятель, тоже извѣстный. И всѣ они относятся къ нему съ уваженіемъ. „Это

ваши добрыя сѣмена, запавшія въ мою душу, когда я былъ мальчикомъ, сдѣлали изъ меня человѣка, уважаемый Василій Петровичъ“,—говоритъ общественный дѣятель и съ чувствомъ жметъ руку своему старому учителю...

Впрочемъ, Василій Петровичъ не долго занимался такими возвышенными предметами; скоро мысль его перешла на вещи, непосредственно касавшіяся его настоящаго положенія. Онъ вынулъ изъ кармана новый бумажникъ и, пересчитавъ свои деньги, началъ размышлять о томъ, сколько у него останется за покрытіемъ всѣхъ необходимыхъ расходовъ. „Какъ жаль, что я такъ необдуманно тратилъ деньги дорогою — подумалъ онъ.—Квартира... ну, положимъ, рублей двадцать въ мѣсяцъ, столъ, бѣлье, чай, табакъ... Тысячу рублей въ полгода, во всякомъ случаѣ, сберегу. Навѣрно, здѣсь можно будетъ достать уроки по хорошей цѣнѣ, этакъ рубля по четыре, по пяти“... Чувство довольства охватило его, и ему захотѣлось полѣзть въ карманъ, гдѣ лежали два рекомендательныхъ письма на имя мѣстныхъ тузовъ, и въ двадцатый разъ перечесть ихъ адресы. Онъ вынулъ письма, бережно развернулъ бумагу, въ которой они были завернуты, но прочесть адресы ему не удалось, потому что лунный свѣтъ не былъ достаточно силенъ, чтобы доставить Василію Петровичу это удовольствіе. Вмѣстѣ съ письмами была завернута фотографическая карточка. Василій Петровичъ повернулъ ее прямо къ мѣсяцу и старался разсмотрѣть знакомыя черты. „О, моя Лиза!“ проговорилъ онъ почти вслухъ — и вздохнулъ не безъ пріятнаго чувства. Лиза была его невѣста, оставшаяся въ Петербургѣ и ожидавшая, пока Василій Петровичъ не скопитъ тысячи рублей, которую молодая чета считала необходимою для первоначальнаго обзаведенія.

Вздохнувъ, онъ спряталъ въ лѣвый боковой карманъ карточку и письма и принялся мечтать о будущей семейной жизни. И эти мечты показались ему еще пріятнѣе, чѣмъ даже мечты объ общественномъ дѣятелѣ, который пріѣдетъ къ нему благодарить за посѣянныя въ его сердце добрыя сѣмена.

Море шумѣло далеко внизу, вѣтеръ становился свѣжѣе. Англійскій пароходъ вышелъ изъ полосы луннаго свѣта, и она блестѣла сплошная и переливалась тысячами матово-блестящихъ всплесковъ, уходя въ безконечную морскую даль и становясь все ярче и ярче. Не хотѣлось встать со скамьи, оторваться отъ этой картины и идти въ тѣсный номеръ гостинницы, въ которомъ остановился Василій Петровичъ. Однако, было уже поздно; онъ всталъ и пошелъ вдоль по бульвару.

Господинъ, въ легкомъ костюмѣ изъ шелковой сырцовой матеріи и въ соломенной шляпѣ, съ навернутымъ на тулью кисейнымъ полотенцемъ (лѣтній костюмъ мѣстныхъ щеголей), всталъ со скамейки, мимо которой проходилъ Василій Петровичъ, и сказалъ:

— Позвольте закурить.

— Сдѣлайте одолженіе, — отвѣтилъ Василій Петровичъ. Красный отблескъ озарилъ знакомое ему лицо.

— Николай, другъ мой! Ты ли это?

— Василій Петровичъ?

— Онъ самый... Ахъ, какъ я радъ! Вотъ не думалъ, не гадалъ! — говорилъ Василій Петровичъ, заключая друга въ объятія и троекратно лобзая его.—Какими судьбами?

— Очень просто, на службѣ. А ты какъ?

— Я учителемъ гимназіи сюда назначенъ. Только что пріѣхалъ.

— Гдѣ же ты остановился? Если въ гостинницѣ, ѣдемъ пожалуйста ко мнѣ. Я очень радъ видѣть тебя. У тебя вѣдь нѣтъ здѣсь знакомыхъ? Поѣдемъ ко мнѣ, поужинаемъ, поболтаемъ, вспомнимъ старину.

— Поѣдемъ, поѣдемъ,—согласился Василій Петровичъ.— Я очень, очень радъ. Пріѣхалъ сюда какъ въ пустыню—и вдругъ такая радостная встрѣча. Извозчикъ!—закричалъ онъ.

— Не нужно, не кричи. Сергѣй, давай!—громко и спокойно произнесъ другъ Василія Петровича. Къ тротуару подкатила щегольская коляска; хозяинъ вскочилъ въ нее, Ва-

силій Петровичъ стоялъ на тротуарѣ и въ недоумѣніи смотрѣлъ на экипажъ, вороныхъ коней и толстаго кучера.

— Кудряшевъ, эти лошади—твои?

— Мои, мои. Что, не ожидалъ?

— Удивительно... Ты ли это?

— Кто же другой, какъ не я? Ну, полѣзай въ коляску, еще успѣемъ поговорить.

Василій Петровичъ влѣзъ въ коляску, усѣлся рядомъ съ Кудряшевымъ, и коляска покатилась, дребезжа и подскакивая по мостовой. Василій Петровичъ сидѣлъ на мягкихъ подушкахъ и, покачиваясь, улыбнулся. „Что за притча!—думалъ онъ.—Давно ли Кудряшевъ былъ бѣднѣйшимъ студентомъ, а теперь—коляска!“ Кудряшевъ, положивъ вытянутыя ноги на переднюю скамейку, молчалъ и курилъ сигару. Черезъ пять минутъ экипажъ остановился.

— Ну, братецъ, выходи. Покажу тебѣ мою скромную хижину—сказалъ Кудряшевъ, сойдя съ подножки и помогая Василію Петровичу вылѣзть.

Прежде чѣмъ войти въ скромную хижину, гость окинулъ ее взглядомъ. Луна была за нею и не освѣщала ее, поэтому онъ могъ замѣтить только, что хижина была одноэтажная, каменная, въ десять или двѣнадцать большихъ оконъ. Зонтикъ на колонкахъ съ завитками, кое-гдѣ позолоченными, висѣлъ надъ дверью изъ тяжелаго дуба съ зеркальными стеклами, бронзовой ручкой, въ видѣ птичьей лапы, держащей хрустальный многогранникъ, и блестящей мѣдной доской съ фамиліей хозяина.

— Однако, хижина у тебя, Кудряшевъ! Это не хижина, а такъ сказать, палаццо—сказалъ Василій Петровичъ, когда они вошли въ переднюю съ дубовой мебелью и зіявшимъ черною пастью каминомъ.—Неужели собственная?

— Нѣтъ, братъ, до этого еще не дошло. Нанимаю. Недорого, полторы тысячи.

— Полторы!—протянулъ Василій Петровичъ.

— Выгоднѣе платить полторы тысячи, чѣмъ затратить

капиталъ, который можетъ дать гораздо большій процентъ, если не обращенъ въ недвижимость. Да и денегъ много нужно: вѣдь ужъ если строить, такъ не этакую дрянь.

— Дрянь!—воскликнулъ въ изумленіи Василій Петровичъ.

— Конечно, домъ неважный. Ну, пойдемъ, пойдемъ скорѣе...

Василій Петровичъ успѣлъ уже снять пальто и направился за хозяиномъ. Обстановка квартиры Кудряшева дала новую пищу его удивленію. Цѣлый рядъ высокихъ комнатъ съ паркетными полами, оклеенныхъ дорогими, тисненными золотомъ, обоями; столовая „подъ дубъ“ съ развѣшанными по стѣнамъ плохими моделями дичи, съ огромнымъ рѣзнымъ буфетомъ, съ большимъ круглымъ столомъ, на который лился цѣлый потокъ свѣта изъ висячей бронзовой лампы съ молочнымъ абажуромъ; залъ съ роялемъ, множествомъ разной мебели изъ гнутаго бука, диванчиковъ, скамеекъ, табуретокъ, стульевъ, съ дорогими литографіями и скверными олеографіями въ раззолоченныхъ рамахъ; гостиная, какъ водится, съ шелковою мебелью и кучей ненужныхъ вещей. Казалось, хозяинъ квартиры вдругъ разбогатѣлъ, выигралъ двѣсти тысячъ, что ли, и на скорую руку устроилъ себѣ квартиру на широкую ногу. Все было куплено сразу, куплено не потому, что было нужно, а потому, что въ карманѣ зашевелились деньги, нашедшія себѣ выходъ для покупки рояля, на которомъ, насколько зналъ Василій Петровичъ, Кудряшевъ могъ играть только однимъ пальцемъ; скверной старой картины, одной изъ десятковъ тысячъ, приписываемыхъ второстепенному фламандскому мастеру, на которую навѣрно никто не обращалъ вниманія; шахматовъ китайской работы, въ которые нельзя было играть, такъ они были тонки и воздушны, но въ головкахъ у которыхъ было выточено по три шарика, заключенныхъ одинъ въ другой, и множества другихъ ненужныхъ вещей.

Друзья вошли въ кабинетъ. Здѣсь было удобнѣе. Большой письменный столъ, заставленный разною бронзовою и фарфо-

ровою мелочью, заваленный бумагами, чертежными и рисовальными принадлежностями, занималъ середину комнаты. По стѣнамъ висѣли огромные раскрашенные чертежи и географическія карты, а подъ ними стояли два низенькихъ турецкихъ дивана съ шелковыми мутаками. Кудряшевъ, обнявъ Василія Петровича за талію, повелъ его прямо къ дивану и усадилъ на мягкихъ тюфякахъ.

— Ну, очень радъ, очень радъ встрѣтить стараго товарища,—сказалъ онъ.

— Я тоже... Знаешь ли, пріѣхалъ, какъ въ пустыню, и вдругъ такая встрѣча! Знаешь ли, Николай Константиновичъ, при видѣ тебя такъ много зашевелилось въ душѣ, такъ много воскресло въ памяти воспоминаній.

— О чемъ это?

— Какъ о чемъ? О студенчествѣ, о времени, когда жилось такъ хорошо, если не въ матеріальномъ, то въ нравственномъ отношеніи... Помнишь...

— Что помнить-то? Какъ мы съ тобою собачью колбасу жрали? Будетъ, братъ, надоѣло... Сигару хочешь? Regalia Imperialia, или какъ тамъ ее; знаю только, что полтинникъ штука.

Василій Петровичъ взялъ изъ ящика предлагаемую драгоцѣнность, вынулъ изъ кармана ножичекъ, обрѣзалъ кончикъ сигары, закурилъ ее и сказалъ:

— Николай Константиновичъ, я рѣшительно какъ во снѣ. Какихъ нибудь нѣсколько лѣтъ—и у тебя такое мѣсто!

— Что мѣсто! Мѣсто, братъ, плюнь да отойди.

— Какъ же это? Да ты сколько получаешь?

— Какихъ? Жалованья?

— Ну, да, содержанія.

— Жалованья получаю я, инженеръ, губернскій секретарь Кудряшевъ 2-й—тысячу шестьсотъ рублей въ годъ.

У Василія Петровича вытянулось лицо.

— Какъ же это? Откуда это все?

— Эхъ, братъ, простота ты! Откуда? Изъ воды и земли, изъ моря и суши. А главное, вотъ откуда.

И онъ ткнулъ себя указательнымъ пальцемъ въ лобъ.

— Видишь вонъ эти картинки, что по стѣнамъ висятъ?

— Вижу,—отвѣтилъ Василій Петровичъ:—что же дальше?

— Знаешь ли, что это?

— Нѣтъ, не знаю. — Василій Петровичъ всталъ съ дивана и подошелъ къ стѣнѣ. Синяя, красная, бурая и черная краски ничего не говорили его уму, равно какъ и какія-то таинственныя цифры около точеныхъ линій, сдѣланныя красными чернилами.

— Что это такое? Чертежи?

— Чертежи-то чертежи, но чего?

— Право, другъ мой, не знаю.

— Чертежи эти изображаютъ, милѣйшій Василій Петровичъ, будущій молъ. Знаешь, что такое молъ?

— Ну, конечно. Вѣдь я все-таки учитель русскаго языка. Молъ—это такая... какъ бы сказать... ну, плотина, что-ли...

— Именно плотина. Плотина, служащая для образованія искусственной гавани. На этихъ чертежахъ изображенъ молъ, который теперь строится. Ты видѣлъ море сверху?

— Какъ же, конечно! Необыкновенная картина! Но построекъ я не замѣтилъ.

— Мудрено и замѣтить, — сказалъ Кудряшевъ со смѣхомъ. — Этотъ молъ почти весь не въ морѣ, Василій Петровичъ, а здѣсь на сушѣ.

— Гдѣ же это?

— Да вотъ у меня и у прочихъ строителей: у Кноблоха, Пуйциковскаго и у прочихъ. Это между нами, конечно: тебѣ я говорю это, какъ товарищу. Что ты такъ уставился на меня? Дѣло самое обыкновенное.

— Послушай, это наконецъ ужасно! Неужели ты говоришь правду? Неужели ты не брезгаешь нечистыми средствами для достиженія этого комфорта? Неужели все прошлое служило только для того, чтобы довести тебя до... до... И ты такъ спокойно говоришь объ этомъ...

— Стой, стой, Василій Петровичъ! Пожалуйста, безъ

сильныхъ выраженій. Ты говоришь: „нечестныя средства? Ты мнѣ скажи сперва, что̀ значитъ честно и что̀ значит нечестно. Самъ я не знаю; быть можетъ, забылъ, а думаю что и не понималъ; да сдается мнѣ и ты, собственно говоря не помнишь, а такъ только напяливаешь на себя какой-т мундиръ. Да и вообще, ты это оставь; прежде всего, это не вѣжливо. Уважай свободу сужденія. Ты говоришь—нечестно говори, пожалуй, но не брани меня; вѣдь я не ругаю тебя за то, что ты не одного со мною мнѣнія. Все дѣло, братъ во взглядѣ, въ точкѣ зрѣнія, а такъ какъ ихъ много, точекъ этихъ, то плюнемъ мы на это дѣло и пойдемъ въ столовую водку пить и о пріятныхъ предметахъ разговаривать.

— Ахъ, Николай, Николай, больно мнѣ смотрѣть на тебя.

— Это ты можешь; можешь душою болѣть, сколько тебѣ угодно. Пусть будетъ больно; пройдетъ! Приглядишься. Присмотришься, самъ скажешь: „какая я однако телятина“; такъ и скажешь, помни мое слово. Пойдемъ-ка, выпьемъ по рюмочкѣ и забудемъ о заблудшихъ инженерахъ; на то и мозги дружище, чтобы заблуждаться... Вѣдь ты, учитель мой любезный, сколько будешь получать, а?

— Тебѣ все равно.

— Ну, напримѣръ?

— Ну, тысячи три заработаю съ частными уроками.

— Вотъ видишь: за три-то тысячи таскаться всю жизнь по урокамъ! А я сижу себѣ да посматриваю: хочу — дѣлаю, хочу — нѣтъ; если бы фантазія пришла хоть цѣлый день въ потолокъ плевать, и то можно. А денегъ... денегъ столько, что онѣ—„вещь для насъ пустая“.

Въ столовой, куда они вошли, все было готово для ужина. Холодный ростбифъ возвышался розовой горой. Банки съ консервами пестрѣли разноцвѣтными англійскими надписями и яркими рисунками. Цѣлый рядъ бутылокъ воздвигался на столѣ. Пріятели выпили по рюмкѣ водки и приступили къ ужину. Кудряшевъ ѣлъ медленно и съ разстановкою; онъ совершенно углубился въ свое занятіе.

Василій Петровичъ ѣлъ и думалъ, думалъ и ѣлъ. Онъ былъ въ большомъ смущеніи и рѣшительно не зналъ, какъ ему быть. По принятымъ имъ убѣжденіямъ, онъ долженъ былъ бы поспѣшно скрыться изъ дома своего стараго товарища и никогда въ него больше не заглядывать. „Вѣдь этотъ кусокъ—краденый,—думалъ онъ, положивъ себѣ въ ротъ кусокъ и прихлебывая подлитое обязательнымъ хозяиномъ вино;—а самъ что я дѣлаю, какъ не подлость?“ Много такихъ опредѣленій шевелилось въ головѣ бѣднаго учителя, но опредѣленія такъ и оставались опредѣленіями, а за ними скрывался какой-то тайный голосъ, возражавшій на каждое опредѣленіе: „ну, такъ что-жъ?“ И Василій Петровичъ чувствовалъ, что онъ не въ состояніи разрѣшить этотъ вопросъ, и продолжалъ сидѣть. „Ну, что-жъ, буду наблюдать,—мелькнуло у него въ головѣ въ видѣ оправданія, послѣ чего онъ и самъ передъ собой сконфузился—для чего мнѣ наблюдать, писатель я, что-ли?“

— Этакого мяса, — началъ Кудряшевъ,—ты обрати вниманіе, не достанешь въ цѣломъ городѣ. — И онъ разсказалъ Василію Петровичу длинную исторію о томъ, какъ онъ обѣдалъ у Кноблоха, какъ его поразилъ своимъ достоинствомъ поданный ростбифъ, какъ онъ узналъ, откуда доставать такой, и какъ наконецъ досталъ.

— Ты попалъ какъ разъ кстати,—сказалъ онъ въ заключеніе разсказа о мясѣ.—Ѣдалъ ли ты что нибудь подобное?

— Дѣйствительно, ростбифъ отличный,—отвѣтилъ Василій Петровичъ.

— Превосходный, братецъ! Я люблю, чтобы все было, какъ слѣдуетъ. Да что ты не пьешь? Постой, вотъ я тебѣ налью вина.

Послѣдовала не менѣе длинная исторія о винѣ, въ которой участвовали и англійскій шкиперъ, и торговый домъ въ Лондонѣ, и тотъ же Кноблохъ, и таможня. Разсказывая о винѣ, Кудряшевъ попивалъ его и, по мѣрѣ того, какъ пилъ,

оживлялся. На щекахъ его вялаго лица обозначались румяны пятна, рѣчь становилась быстрѣе и оживленнѣе.

— Да что-жъ ты молчишь наконецъ?—спросилъ онъ Ва силія Петровича, который дѣйствительно упорно молчалъ, вы слушивая эпопеи о мясѣ, винѣ, сырѣ и прочихъ благодатяхъ украшавшихъ собою столъ инженера.

— Такъ, братъ, не говорится что-то.

— Не говорится... вотъ вздоръ! Ты, я вижу, все еш киснешь по поводу моего признанія. Жалѣю, очень жалѣю что сказалъ; съ бо̀льшимъ бы удовольствіемъ поужинали еслибъ не этотъ проклятый молъ... Да ты лучше не дума объ этомъ, Василій Петровичъ, брось... А? Васенька, плюнь право! Что-жъ дѣлать, братецъ, не оправдалъ я надежд Жизнь не школа. Да я не знаю, долго ли и ты удержишьс на своей стезѣ.

— Пожалуйста не дѣлай обо мнѣ предположеній,—ска залъ Василій Петровичъ.

— Обидѣлся?.. Конечно не удержишься. Что̀ дало теб твое безкорыстіе? Развѣ ты теперь спокоенъ? Развѣ не ду маешь каждый день о томъ, согласны ли твои поступки с твоими идеалами, и не убѣждаешься ли каждый день въ томъ что несогласны? Вѣдь правда, а? Выпей вина, хорошее вино

Онъ налилъ и себѣ рюмку, посмотрѣлъ на свѣтъ, попро бовалъ, щелкнулъ губами и выпилъ.

— Вѣдь вотъ, любезный мой другъ, ты думаешь, я н знаю, какая у тебя въ головѣ теперь мысль сидитъ? Да подлинно знаю: „Зачѣмъ, думаешь ты, я у этого человѣк сижу? Очень онъ мнѣ нуженъ! Развѣ не могу я обойтис безъ его вина и сигаръ?“ Постой, постой, дай договорит Я вовсе не думаю, что ты сидишь у меня изъ-за вина сигаръ. Вовсе нѣтъ; если бы ты и очень захотѣлъ ихъ, та не сталъ бы лизоблюдничать. Лизоблюдство вещь очень тяж лая. Ты сидишь у меня и говоришь со мною просто потом что не можешь рѣшить, дѣйствительно ли я преступник Не возмущаю я тебя, да и все. Конечно, для тебя это очен

обидно, потому что въ твоей головѣ расположены подъ разными рубриками убѣжденія, и, подогнанный подъ нихъ, я, твой бывшій товарищъ и другъ, оказываюсь мерзавцемъ, а между тѣмъ, вражды ко мнѣ ты никакой чувствовать не можешь. Убѣжденія убѣжденіями, а я самъ по себѣ, товарищъ, добрый малый и даже, можно сказать, добрый человѣкъ. Вѣдь ты знаешь, что я неспособенъ никого обидѣть...

— Постой, Кудряшевъ. Откуда у тебя все это?—Василій Петровичъ обвелъ рукой.—Самъ говоришь, чужое: ну, тотъ и обиженъ, у кого похищено.

— Легко сказать: у кого похищено. Я вотъ думаю, думаю, кого я обидѣлъ — и все не могу понять, кого. Ты не знаешь, какъ это дѣло дѣлается; я разскажу тебѣ, и ты, можетъ быть, согласишься со мною, что найти обиженнаго не такъ-то легко.

Кудряшевъ позвонилъ. Явилась безстрастная лакейская фигура въ черномъ фракѣ.

— Иванъ Павлычъ, принеси мнѣ изъ кабинета чертежъ. Между окнами виситъ. Ты посмотри, Василій Петровичъ, дѣло-то какое грандіозное: право, я даже поэзію въ немъ нынче находить сталъ.

Иванъ Павловичъ бережно принесъ огромный листъ, наклеенный на коленкоръ. Кудряшевъ взялъ его, раздвинулъ около себя тарелки, бутылки и рюмки и расположилъ чертежъ на забрызганной краснымъ виномъ скатерти.

— Посмотри сюда,—сказалъ онъ.—Вотъ тебѣ поперечный разрѣзъ нашего мола, вотъ его продольный разрѣзъ. Видишь голубую краску? Это море. Глубина его здѣсь настолько велика, что начинать кладку со дна нельзя, потому мы приготовляемъ для мола прежде всего постель.

— Постель? — спросилъ Василій Петровичъ. — Странное названіе!

— Постель каменную изъ огромныхъ булыжниковъ, не меньше одного кубическаго фута объемомъ.—Кудряшевъ отвинтилъ отъ часового ключика крошечный серебряный цир-

куль и взялъ имъ на чертежѣ какую-то маленькую линію.— Смотри, Василій Петровичъ: это сажень. Если мы ею смѣримъ постель поперекъ, то окажется безъ малаго пятьдесятъ саженъ ширины. Не узка постелька, неправда ли? Такой ширины каменная масса выводится со дна моря до шестнадцати футовъ ниже его поверхности. Если ты сообразишь ширину постели и огромную длину, то можешь имѣть нѣкоторое представленіе о громадности этой массы камня. Иногда, знаешь ли, цѣлый день барка за баркой подходитъ къ молу, барка за баркой выбрасываетъ свой грузъ, а смѣряешь — приращеніе самое ничтожное.—Точно въ бездну валятъ камень... Постель выкрашена здѣсь на планѣ грязно-сѣрой краской. Ее подвигаютъ впередъ, а отъ берега начинается на ней уже другая работа. Паровыми кранами спускаютъ на эту постель огромнѣйшіе искусственные камни, кубическія глыбы, слѣпленныя изъ булыжника и цемента. Каждый такой кусокъ величиною въ кубическую сажень и вѣситъ многія сотни пудовъ. Паръ поднимаетъ ихъ, поворачиваетъ и укладываетъ рядами. Странное чувство испытываешь, когда легкимъ нажатіемъ руки заставляешь такую массу подниматься и опускаться по своему желанію. Когда такая масса повинуется тебѣ, чувствуешь могущество человѣка... Видишь, вотъ они, эти кубики.— Онъ показалъ циркулемъ.—Кладка изъ нихъ доводится почти до поверхности воды, а на ней начинается уже верхняя каменная кладка изъ тесанаго камня. Такъ вотъ какое это дѣло: оно не уступитъ любой египетской пирамидѣ. Вотъ тебѣ въ общихъ чертахъ работа, которая тянется уже нѣсколько лѣтъ, а сколько времени протянется—Богъ знаетъ. Желательно бы, чтобы подольше... Впрочемъ, если она будетъ идти такъ, какъ послѣднее время, то, пожалуй, на нашъ вѣкъ хватитъ.

— Ну, что-жъ дальше?— спросилъ Василій Петровичъ послѣ долгаго молчанія.

— Дальше? Ну, а мы сидимъ на своихъ мѣстахъ и получаемъ, сколько слѣдуетъ.

— Я еще не вижу изъ твоего разсказа возможности получать.

— Молодъ ты, вотъ что! Впрочемъ, мы съ тобой, кажется, ровесники; только опытъ, котораго тебѣ не хватаетъ, умудрилъ, состарилъ меня. Дѣло вотъ въ чемъ. Тебѣ извѣстно, что во всякомъ морѣ бываютъ бури? Онѣ-то и дѣйствуютъ. Онѣ размываютъ каждый годъ постель, а мы кладемъ новую.

— Все-жъ я не вижу возможности...

— Кладемъ мы ее,—спокойно продолжалъ Кудряшевъ,— на бумагѣ, вотъ здѣсь, на чертежѣ, потому что только на чертежѣ буря ее и размываетъ.

Василій Петровичъ весь превратился въ недоумѣніе.

— Потому что не могутъ же на самомъ дѣлѣ размыть постель волны, достигающія только восьми футовъ высоты. Наше море не океанъ, да и тамъ такіе молы, какъ нашъ, выдерживаютъ; а у насъ, на двухъ съ лишнимъ саженяхъ глубины, гдѣ кончается постель, почти что мертвая тишина. Слушай, Василій Петровичъ, какъ дѣла дѣлаются. Весною, послѣ осеннихъ и зимнихъ непогодъ, мы собираемся и ставимъ вопросъ: сколько въ этомъ году размыло постели? Беремъ чертежи и отмѣчаемъ. Ну, и пишемъ, куда слѣдуетъ: размыло, дескать, бурями столько-то и столько-то кубическихъ саженъ начатыхъ работъ. Оттуда отвѣчаютъ: стройте, чините, чортъ съ вами! Ну, мы и чинимъ.

— Да что-жъ вы чините-то?

— Да карманы себѣ чинимъ, — сострилъ Кудряшевъ, и самъ разсмѣялся своей остротѣ.

— Нѣтъ, это невозможно! невозможно!—закричалъ Василій Петровичъ, вскакивая со стула и бѣгая по комнатѣ.—Слушай, Кудряшевъ, вѣдь ты губишь себя... Не говоря о безнравственности... Я просто хочу сказать, что васъ всѣхъ поймаютъ на этомъ, и ты погибнешь, по Владимиркѣ пойдешь. Боже, Боже, вотъ онѣ надежды, упованія! Способный и честный юноша—и вдругъ...

Василій Петровичъ вошелъ въ экстазъ и говорилъ долго

и горячо. Но Кудряшевъ совершенно спокойно курилъ сигару и посматривалъ на расходившагося друга.

— Да, ты навѣрно пойдешь по Владимиркѣ!—закончилъ Василій Петровичъ свою филиппику.

— До Владимирки, другъ мой, очень далеко. Чудной ты человѣкъ, я посмотрю: ничего-то ты не понимаешь. Развѣ я одинъ... какъ бы это повѣжливѣе сказать... пріобрѣтаю? Все вокругъ, самый воздухъ — и тотъ, кажется, тащитъ. Недавно явился къ намъ одинъ новенькій и сталъ-было по части честности корреспонденціи писать. Что-жъ? Прикрыли... И всегда прикроемъ. Всѣ за одного, одинъ за всѣхъ. Ты думаешь, что человѣкъ самъ себѣ врагъ? Кто-жъ рѣшится меня тронуть, когда черезъ это самъ можетъ пошатнуться?

— Стало быть, —какъ сказалъ Крыловъ,—рыльце-то у всѣхъ въ пушку.

— Въ пушку, въ пушку. Всѣ берутъ съ жизни что могутъ, а не относятся къ ней платонически... О чемъ, бишь, мы начали говорить? Да, о томъ, кого я обижаю. Скажи, кого? Низшую братію, что ли? Ну, чѣмъ? Вѣдь я черпаю не прямо изъ источника, а беру готовое, что ужъ взято, и если не достанется мнѣ, то, можетъ быть, кому-нибудь и похуже. По крайней мѣрѣ, я не по-свински живу, есть кой-какіе и духовные интересы: выписываю кучу газетъ, журналовъ. Кричатъ о наукѣ, о цивилизаціи, а къ чему бы эта цивилизація прилагалась, если бы не мы, люди со средствами? И кто бы далъ наукѣ возможность двигаться впередъ, какъ не люди со средствами? А ихъ нужно откуда нибудь взять. Такъ называемыми честными путями...

— Ахъ, не доканчивай, не говори ты хоть послѣдняго слова, Николай Константиновичъ!

— Слова? Что-жъ, лучше было бы, кривая твоя душа, если бы я сталъ врать, оправдываться? Воруемъ, слышишь ли ты? Да если правду-то говорить, то и ты теперь воруешь.

— Послушай, Кудряшевъ...

— Нечего мнѣ тебя слушать, — сказалъ со смѣхомъ Кудряшевъ. — Ты тоже, братъ, грабитель, подъ личиною добродѣтели. Ну, что это за занятіе твое учительство? Развѣ ты уплатишь своимъ трудомъ даже тѣ гроши, что тебѣ теперь платятъ? Приготовишь ли ты хоть одного порядочнаго человѣка? Три четверти изъ твоихъ воспитанниковъ выйдутъ такіе же, какъ я, а одна четверть такими, какъ ты, то-есть благонамѣренной размазнею. Ну, не даромъ ли ты берешь деньги, скажи откровенно? И далеко ли ты ушелъ отъ меня? А тоже храбрится, честность проповѣдуетъ!

— Кудряшевъ! Повѣрь, что мнѣ чрезвычайно тяжелъ этотъ разговоръ.

— А мнѣ—нисколько.

— Я не ожидалъ встрѣтить въ тебѣ то, что встрѣтилъ.

— Немудрено; люди измѣняются, и я измѣнился, а въ какую сторону—ты угадать не могъ: не пророкъ вѣдь.

— Не нужно быть пророкомъ, чтобы надѣяться, что честный юноша сдѣлается честнымъ гражданиномъ.

— Ахъ, оставь, не говори ты мнѣ этого слова. Честный гражданинъ! И откуда, изъ какого учебника ты эту архивность вытащилъ? Пора бы перестать сентиментальничать: не мальчикъ вѣдь... Знаешь что, Вася,—при этомъ Кудряшевъ взялъ Василія Петровича за руку:—будь другомъ, бросимъ этотъ проклятый вопросъ. Лучше выпьемъ по товарищески. Иванъ Павлычъ! Дай, братъ, бутылочку вотъ этого.

Иванъ Павлычъ немедленно явился съ новой бутылкой. Кудряшевъ налилъ стаканы.

— Ну, выпьемъ за процвѣтаніе... чего бы это? Ну, все равно: за наше съ тобой процвѣтаніе.

— Пью — сказалъ Василій Петровичъ съ чувствомъ—за то, чтобы ты опомнился. Это мое сильнѣйшее желаніе.

— Будь другъ, не поминаній... Вѣдь если опомниться, такъ ужъ пить будетъ нельзя: тогда зубы на полку. Видишь, какая у тебя логика. Будемъ пить просто, безъ всякихъ пожеланій. Бросимъ эту скучную канитель: все равно, ни до чего

не договоримся: ты меня на путь истинный не наставишь, да и я тебя не переспорю. Да и не стоитъ переспаривать: собственнымъ умомъ до моей философіи дойдешь.

— Никогда!—съ жаромъ воскликнулъ Василій Петровичъ, стукнувъ стаканомъ объ столъ.

— Ну, это посмотримъ. Да что это все я про себя разсказывалъ, а ты о себѣ молчишь? Что ты дѣлалъ, что думаешь дѣлать?

— Я говорилъ уже тебѣ, что назначенъ учителемъ.

— Это твое первое мѣсто?

— Да, первое; я занимался раньше частными уроками.

— И теперь думаешь заниматься ими?

— Если найду, отчего же?

— Доставимъ, братъ, доставимъ!—Кудряшевъ хлопнулъ Василія Петровича по плечу.—Все здѣшнее юношество тебѣ въ науку отдадимъ. Почемъ ты бралъ за часъ въ Петербургѣ?

— Мало. Очень трудно было доставать хорошіе уроки. Рубль-два, не больше.

— И за такіе гроши человѣкъ терзается! Ну, здѣсь меньше пяти и не смѣй спрашивать. Это работа трудная: я самъ помню, какъ на первомъ и на второмъ курсѣ по урочишкамъ бѣгалъ. Бывало, добудешь по полтиннику за часъ и радъ. Самая неблагодарная и трудная работа. Я тебя перезнакомлю со всѣми нашими—тутъ есть премилыя семейства, и съ барышнями. Будешь умно себя вести—сосватаю, если хочешь. А, Василій Петровичъ?

— Нѣтъ, благодарю, я не нуждаюсь.

— Сосватанъ уже? Правда?

Василій Петровичъ выразилъ своимъ видомъ смущеніе.

— По глазамъ вижу, что правда. Ну, братъ, поздравляю. Вотъ какъ скоро! Ай да Вася! Иванъ Павлычъ!—закричалъ Кудряшевъ.

Иванъ Павлычъ съ заспаннымъ и сердитымъ лицомъ появился въ дверяхъ.

— Дай шампанскаго!

— Шампанскаго нѣту, все вышло, — мрачно отвѣчалъ лакей.

— Будетъ, Кудряшевъ, зачѣмъ же это, право!

— Молчи; я тебя не спрашиваю. Обидѣть меня хочешь, что ли? Иванъ Павлычъ, безъ шампанскаго не приходить, слышишь? Ступай!

— Да вѣдь заперто, Николай Константиновичъ.

— Не разговаривай. Деньги у тебя есть; ступай и принеси.—Лакей ушелъ, ворча что-то себѣ подъ носъ.

— Вотъ скотина, еще разговариваетъ! А ты еще „не нужно“. Если по такому случаю не пить, то для чего и существуетъ шампанское?.. Ну, кто такая?

— Кто?

— Ну, она, невѣста... Бѣдна, богата, хороша?

— Ты все равно ее не знаешь, такъ зачѣмъ называть ее тебѣ? Состоянія у нея нѣтъ, а красота—вещь условная. По-моему, красива.

— Карточка есть?— спросилъ Кудряшевъ.— Поди, при сердцѣ носишь? Покажи!

И онъ протянулъ руку.

Красное отъ вина лицо Василія Петровича еще болѣе покраснѣло. Не зная зачѣмъ, онъ разстегнулъ сюртукъ, вынулъ свою книжку и досталъ драгоцѣнную карточку. Кудряшевъ схватилъ ее и началъ разсматривать.

— Ничего, братъ: ты знаешь, гдѣ раки зимуютъ.

— Нельзя ли безъ такихъ выраженій! — рѣзко сказалъ Василій Петровичъ.—Дай ее мнѣ, я спрячу.

— Погоди, дай насладиться. Ну, дай вамъ Богъ совѣтъ да любовь. На, возьми, положи опять на сердце. Ахъ, ты чудакъ, чудакъ!—воскликнулъ Кудряшевъ и расхохотался.

— Не понимаю, что ты нашелъ тутъ смѣшного?

— А такъ, братецъ, смѣшно стало. Представился мнѣ ты черезъ десять лѣтъ; самъ въ халатѣ, подурнѣвшая беременная жена, семь человѣкъ дѣтей и очень мало денегъ для покупки имъ башмаковъ, штанишекъ, шапченокъ и всего прочаго.

Вообще проза. Будешь ли ты тогда носить эту карточку въ боковомъ карманѣ? Ха, ха, ха!

— Ты скажи лучше, какая поэзія ждетъ въ будущемъ тебя? Получать деньги и проживать ихъ? Ѣсть, пить да спать?

— Не ѣсть, пить и спать, а жить. Жить съ сознаніемъ своей свободы и нѣкотораго даже могущества.

— Могущества! Какое у тебя могущество?

— Сила въ деньгахъ, а у меня есть деньги. Что хочу, то и сдѣлаю... Захочу тебя купить—и куплю.

— Кудряшевъ!..

— Не хорохорься попусту. Неужели намъ съ тобою, старымъ друзьямъ, нельзя и пошутить другъ надъ другомъ? Конечно, тебя покупать не стану. Живи себѣ по-своему. А все-таки, что хочу, то и сдѣлаю. Ахъ, я дурень, дурень!—вдругъ вскрикнулъ Кудряшевъ, хлопнувъ себя по лбу,—сидимъ столько времени, а я тебѣ главной достопримѣчательности-то и не показалъ. Ты говоришь: ѣсть, пить и спать? Я тебѣ сейчасъ такую штуку покажу, что ты откажешься отъ своихъ словъ. Пойдемъ. Возьми свѣчу.

— Куда это?—спросилъ Василій Петровичъ.

— За мной. Увидишь, куда.

Василій Петровичъ, вставъ со стула, чувствовалъ себя не въ полномъ порядкѣ. Ноги не совсѣмъ повиновались ему, и онъ не могъ держать подсвѣчникъ такъ, чтобы стеаринъ не капалъ на коверъ. Однако, нѣсколько справившись съ непослушными членами, онъ пошелъ за Кудряшевымъ. Они прошли нѣсколько комнатъ, узенькій коридоръ и очутились въ какомъ-то сыромъ и темномъ помѣщеніи. Шаги глухо стучали по каменному полу. Шумъ падающей гдѣ-то струи воды звучалъ безконечнымъ аккордомъ. Съ потолка висѣли сталактиты изъ туфа и синеватаго литого стекла; цѣлыя искусственныя скалы возвышались здѣсь и тамъ. Масса тропической зелени прикрывала ихъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ блестѣли темныя зеркала.

— Что это такое?—спросилъ Василій Петровичъ.

— Акварій, которому я посвятилъ два года времени и много денегъ. Подожди, я сейчасъ освѣщу его.

Кудряшевъ скрылся за зелень, а Василій Петровичъ подошелъ къ одному изъ зеркальныхъ стеколъ и началъ разсматривать, что было за нимъ. Слабый свѣтъ одной свѣчки не могъ проникнуть далеко въ воду, но рыбы, большія и маленькія, привлеченныя свѣтлой точкой, собрались въ освѣщенномъ мѣстѣ и глупо смотрѣли на Василія Петровича круглыми глазами, раскрывая и закрывая рты и шевеля жабрами и плавниками. Дальше виднѣлись темныя очертанія водорослей. Какая-то гадина шевелилась въ нихъ; Василій Петровичъ не могъ разсмотрѣть ея формы.

Вдругъ потокъ ослѣпительнаго свѣта заставилъ его на мгновеніе закрыть глаза, и когда онъ открылъ ихъ, то не узналъ акварія. Кудряшевъ въ двухъ мѣстахъ зажегъ электрическіе фонари: свѣтъ ихъ проходилъ сквозь массу голубоватой воды, кишащую рыбами и другими животными, наполненную растеніями, рѣзко выдѣлявшимися на неопредѣленномъ фонѣ своими кровавокрасными, бурыми и грязно-зелеными силуэтами. Скалы и тропическія растенія, отъ контраста сдѣлавшіяся еще темнѣе, красиво обрамляли толстыя зеркальныя стекла, сквозь которыя открывался видъ на внутренность акварія. Въ немъ все закопошилось, заметалось, испуганное ослѣпительнымъ свѣтомъ: цѣлая стая маленькихъ большеголовыхъ „бычковъ“ носилась туда и сюда, поворачиваясь точно по командѣ, стерляди извивались, прильнувъ мордой къ стеклу, и то поднимались до поверхности воды, то опускались ко дну, точно хотѣли пройти черезъ прозрачную твердую преграду; черный гладкій угорь зарывался въ песокъ акварія и поднималъ цѣлое облако мути; смѣшная кургузая каракатица отцѣпилась отъ скалы, на которой сидѣла, и переплывала акварій толчками, задомъ напередъ, волоча за собой свои длинныя щупала. Все вмѣстѣ было такъ красиво и ново для Василія Петровича, что онъ совершенно забылся.

– Каково, Василій Петровичъ? — спросилъ Кудряшевъ, выйдя къ нему.

— Чудесно, братъ, удивительно! Какъ это ты все устроилъ! Сколько вкуса, эффекта!

— Прибавь еще, и знанія. Нарочно въ Берлинъ ѣздилъ посмотрѣть тамошнее чудо и, не хвастая, скажу, что мой хотя и уступаетъ, конечно, въ величинѣ, но на счетъ изящества и интересности — нисколько... Это моя гордость и утѣшеніе. Какъ скучно станетъ — придешь сюда, сядешь и смотришь по цѣлымъ часамъ. Я люблю всю эту тварь за то, что она откровенна, не такъ, какъ нашъ братъ человѣкъ. Жретъ другъ друга и не конфузится. Вотъ смотри, смотри: видишь, нагоняетъ.

Маленькая рыбка порывисто металась вверхъ и внизъ и въ стороны, спасаясь отъ какого-то длиннаго хищника. Въ смертельномъ страхѣ, она выбрасывалась изъ воды на воздухъ, пряталась подъ уступы скалы, а острые зубы вездѣ нагоняли ее. Хищная рыба уже готова была схватить ее, какъ вдругъ другая, подскочивъ сбоку, перехватила добычу: рыбка исчезла въ ея пасти. Преслѣдовательница остановилась въ недоумѣніи, а похитительница скрылась въ темный уголъ.

— Перехватили! — сказалъ Кудряшевъ. — Дура, осталась ни при чемъ. Стоило гоняться для того, чтобъ изъ-подъ носа выхватили кусокъ!.. Сколько, если бы ты зналъ, они пожираютъ этой мелкой рыбицы: сегодня напустишь цѣлую тучу, и на другой день все уже съѣдено. Съѣдятъ и не помышляютъ о безнравственности—а мы? Я только недавно отвыкъ отъ этой ерунды, Василій Петровичъ! Неужели ты наконецъ не согласишься, что это ерунда?

— Что такое?—спросилъ Василій Петровичъ, не отрывая глазъ отъ воды.

— Да вотъ эти угрызенія. На что они? Угрызайся, не угрызайся — а если попадется кусокъ... Ну, я и упразднилъ ихъ, угрызенія эти, и стараюсь подражать этой скотинѣ.

Онъ показалъ пальцемъ на акварій.

— Вольному воля,—сказалъ со вздохомъ Василій Петровичъ. — Послушай, Кудряшевъ, вѣдь это, кажется, морскія растенія и животныя?

— Морскія. И вода вѣдь у меня морская. Нарочно водопроводъ устроилъ.

— Неужели изъ моря? Но вѣдь это должно стоить огромныхъ денегъ.

— Не маленькихъ. Акварій мой стоитъ около тридцати тысячъ.

— Тридцать тысячъ! — воскликнулъ въ ужасѣ Василій Петровичъ.—При тысячѣ шестистахъ рублей жалованья!

— Да брось ты это ужасанье! Если насмотрѣлся — пойдемъ. Должно быть, Иванъ Павлычъ принесъ требуемое... Подожди только, я разомкну токъ.

Акварій вновь погрузился въ мракъ. Свѣча, продолжавшая горѣть, показалась Василію Петровичу тусклымъ, коптящимъ огонькомъ.

Когда они вышли въ столовую, Иванъ Павлычъ держалъ уже наготовѣ завернутую въ салфетку бутылку.

Художники.

—•—

I.

Дѣдовъ.

Сегодня я чувствую себя такъ, какъ будто бы гора свалилась съ моихъ плечъ. Счастье было такъ неожиданно! Долой инженерскіе погоны, долой инструменты и смѣты!

Но не стыдно ли такъ радоваться смерти бѣдной тетки только потому, что она оставила наслѣдство, дающее мнѣ возможность бросить службу? Правда, вѣдь она, умирая, просила меня отдаться вполнѣ моему любимому занятію, и теперь я радуюсь между прочимъ и тому, что исполняю ея горячее желаніе. Это было вчера... Какую изумленную физіономію сдѣлалъ нашъ шефъ, когда узналъ, что я бросаю службу! А когда я объяснилъ ему цѣль, съ которою я дѣлаю это, онъ просто разинулъ ротъ!

— Изъ любви къ искусству?.. Мм! подавайте прошеніе.

И не сказалъ больше ничего, повернулся и ушелъ. Но мнѣ ничего больше и не было нужно. Я свободенъ, я художникъ! Не верхъ ли это счастья?

Мнѣ захотѣлось уйти куда нибудь подальше отъ людей и отъ Петербурга: я взялъ яликъ и отправился на взморье. Вода, небо, сверкающій вдали на солнцѣ городъ, синіе лѣса, окаймившіе берега залива, верхушки мачтъ на крон-

штадтскомъ рейдѣ, десятки пролетавшихъ пароходовъ и скользившихъ мимо меня парусныхъ кораблей и лайбъ — все показалось мнѣ въ новомъ свѣтѣ. Все это мое, все это въ моей власти, все это я могу схватить, бросить на полотно и поставить передъ изумленною силою искусства толпою. Правда, не слѣдовало бы продавать шкуру еще неубитаго медвѣдя: вѣдь пока я—еще не Богъ знаетъ какой великій художникъ...

Яликъ быстро разрѣзалъ гладь воды. Яличникъ, рослый, здоровый и красивый парень въ красной рубахѣ, безъ устали работалъ веслами; онъ то нагибался впередъ, то откидывался назадъ, сильно подвигая лодку при каждомъ движеніи. Солнце закатывалось и такъ эффектно играло на его лицѣ и на красной рубахѣ, что мнѣ захотѣлось набросать его красками. Маленькій ящикъ съ холстиками, красками и кистями всегда при мнѣ.

— Перестань грести, посиди минутку смирно; я тебя напишу,—сказалъ я.

Онъ бросилъ весла.

— Ты сядь такъ, будто весла заносишь.

Онъ взялся за весла, взмахнулъ ими, какъ птица крыльями, и такъ и замеръ въ прекрасной позѣ. Я быстро набросалъ карандашемъ контуръ и принялся писать. Съ какимъ-то особеннымъ радостнымъ чувствомъ я мѣшалъ краски. Я зналъ, что ничто не оторветъ меня отъ нихъ уже всю жизнь.

Яличникъ скоро началъ уставать; его удалое выраженіе лица смѣнилось вялымъ и скучнымъ. Онъ сталъ зѣвать и одинъ разъ даже утеръ рукавомъ лицо, для чего ему нужно было наклониться головою къ веслу. Складки рубахи совсѣмъ пропали.

Такая досада! Терпѣть не могу, когда натура шевелится.

— Сиди, братецъ, смирнѣе.

Онъ усмѣхнулся.

— Чего ты смѣешься?

Онъ конфузливо ухмыльнулся и сказалъ:

— Да чудно, баринъ.

— Чего-жъ тебѣ чудно?

— Да будто я—рѣдкостный какой, что меня писать. Будто картину какую.

— Картина и будетъ, другъ любезный.

— На что-жъ она вамъ?

— Для ученья. Вотъ попишу, попишу маленькія, буду и большія писать.

— Большія?

— Хоть въ три сажени.

Онъ замолчалъ и потомъ серьезно спросилъ:

— Что-жъ, вы поэтому и образа можете?

— Могу и образа; только я пишу картины.

— Такъ.—Онъ задумался и снова спросилъ:

— На что-жъ онѣ?

— Что такое?

— Картины эти...

Конечно, я не сталъ читать ему лекціи о значеніи искусства, а только сказалъ, что за эти картины платятъ хорошія деньги, рублей по тысячѣ, по двѣ и больше. Яличникъ былъ совершенно удовлетворенъ и больше не заговаривалъ. Этюдъ вышелъ прекрасный (очень красивы эти горячіе тоны освѣщеннаго заходящимъ солнцемъ кумача), и я возвратился домой совершенно счастливымъ.

II.

Рябининъ.

Предо мною стоитъ въ натянутомъ положеніи старикъ Тарасъ, натурщикъ, которому профессоръ Н—ъ велѣлъ положить „руки на галава“, потому что это „ошень классишесскій поза“; вокругъ меня—цѣлая толпа товарищей, также какъ и я сидящихъ передъ мольбертами съ палитрами и кистями въ рукахъ. Впереди всѣхъ Дѣдовъ, хотя и пейзажистъ,

но усердно пишетъ Тараса. Въ классѣ запахъ красокъ, масла, терпентина, и мертвая тишина. Каждые полчаса Тарасу дается отдыхъ; онъ садится на край деревяннаго ящика, служащаго ему пьедесталомъ, и изъ „натуры“ превращается въ обыкновеннаго голаго старика, разминаетъ свои оцѣпенѣвшія отъ долгой неподвижности руки и ноги, обходится безъ помощи носового платка, и прочее. Ученики тѣснятся около мольбертовъ, разсматривая работы другъ друга. У моего мольберта всегда толпа; я — очень способный ученикъ академіи и подаю огромныя надежды сдѣлаться однимъ изъ „нашихъ корифеевъ“, по счастливому выраженію извѣстнаго художественнаго критика, г. В. С., который уже давно сказалъ, что „изъ Рябинина выйдетъ толкъ“. Вотъ отчего всѣ смотрятъ на мою работу.

Черезъ пять минутъ все снова усаживается на мѣста, Тарасъ влѣзаетъ на пьедесталъ, кладетъ руку на голову, и мы мажемъ, мажемъ...

И такъ каждый день.

Скучно, неправда ли? Да я и самъ давно убѣдился въ томъ, что все это очень скучно. Но какъ локомотиву съ открытою паропроводною трубою предстоитъ одно изъ двухъ: катиться по рельсамъ до тѣхъ поръ, пока не истощится паръ, или, соскочивъ съ нихъ, превратиться изъ стройнаго желѣзномѣднаго чудовища въ груду обломковъ—такъ и мнѣ... Я на рельсахъ; они плотно обхватываютъ мои колеса, и если я сойду съ нихъ, что̀ тогда? Я долженъ во что бы то ни стало докатиться до станціи, несмотря на то, что она, эта станція, представляется мнѣ какой-то черной дырой, въ которой ничего не разберешь. Другіе говорятъ, что это будетъ художественная дѣятельность. Что это нѣчто художественное—спора нѣтъ, но что это дѣятельность...

Когда я хожу по выставкѣ и смотрю на картины, что̀ я вижу въ нихъ? Холстъ, на который наложены краски, расположенныя такимъ образомъ, что онѣ образуютъ впечатлѣнія, подобныя впечатлѣніямъ отъ различныхъ предметовъ. Люди

ходятъ и удивляются: какъ это онѣ, краски, такъ хитро расположены! И больше ничего. Написаны цѣлыя книги, цѣлыя горы книгъ объ этомъ предметѣ; многія изъ нихъ я читалъ. Но изъ Тэновъ, Карьеровъ, Куглеровъ и всѣхъ, писавшихъ объ искусствѣ, до Прудона включительно, не явствуетъ ничего. Они все толкуютъ о томъ, какое значеніе имѣетъ искусство, а въ моей головѣ, при чтеніи ихъ, непремѣнно шевелится мысль: если оно имѣетъ его. Я не видѣлъ хорошаго вліянія хорошей картины на человѣка; зачѣмъ же мнѣ вѣрить, что оно есть?

Зачѣмъ вѣрить? Вѣрить-то мнѣ нужно, необходимо нужно, но *какъ* повѣрить? Какъ убѣдиться въ томъ, что всю свою жизнь не будешь служить исключительно глупому любопытству толпы (и хорошо еще, если только любопытству, а не чему нибудь иному, возбужденію скверныхъ инстинктовъ, напримѣръ) и тщеславію какого нибудь разбогатѣвшаго желудка на ногахъ, который, не спѣша, подойдетъ къ моей пережитой, выстраданной, дорогой картинѣ, писанной не кистью и красками, а нервами и кровью, пробурчитъ: „мм... ничего себѣ“, сунетъ руку въ оттопырившійся карманъ, броситъ мнѣ нѣсколько сотъ рублей и унесетъ ее отъ меня. Унесетъ вмѣстѣ съ волненіемъ, съ безсонными ночами, съ огорченіями и радостями, съ обольщеніями и разочарованіями. И снова ходишь одинокій среди толпы, машинально рисуешь натурщика вечеромъ, машинально пишишь его утромъ, возбуждая удивленіе профессоровъ и товарищей быстрыми успѣхами. Зачѣмъ дѣлаешь все это, куда идешь?

Вотъ уже четыре мѣсяца прошло съ тѣхъ поръ, какъ я продалъ свою послѣднюю картинку, а у меня еще нѣтъ никакой мысли для новой. Если бы выплыло что нибудь въ головѣ, хорошо было бы... Нѣсколько времени полнаго забвенія: ушелъ бы въ картину, какъ въ монастырь, думалъ бы только о ней одной. Вопросы: куда? зачѣмъ? во время работы исчезаютъ; въ головѣ одна мысль, одна цѣль, и приведеніе ея въ исполненіе доставляетъ наслажденіе. Картина—

міръ, въ которомъ живешь и передъ которымъ отвѣчаешь. Здѣсь исчезаетъ житейская нравственность; ты создаешь себѣ новую въ своемъ новомъ мірѣ и въ немъ чувствуешь свою правоту, достоинство или ничтожество и ложь, по-своему, независимо отъ жизни.

Но писать всегда нельзя. Вечеромъ, когда сумерки прервутъ работу, вернешься въ жизнь и снова слышишь вѣчный вопросъ: „зачѣмъ?“ не дающій уснуть, заставляющій ворочаться на постели въ жару, смотрѣть въ темноту, какъ будто бы гдѣ нибудь въ ней написанъ отвѣтъ. И засыпаешь подъ утро мертвымъ сномъ, чтобы, проснувшись, снова опуститься въ другой міръ сна, въ которомъ живутъ только выходящіе изъ себя самого образы, складывающіеся и проясняющіеся предъ тобою на полотнѣ.

— Что вы не работаете, Рябининъ?—громко спросилъ меня сосѣдъ.

Я такъ задумался, что вздрогнулъ, когда услышалъ этотъ вопросъ. Рука съ палитрой опустилась; пола сюртука попала въ краски и вся вымазалась; кисти лежали на полу. Я взглянулъ на этюдъ; онъ былъ конченъ, и хорошо конченъ: Тарасъ стоялъ на полотнѣ, какъ живой.

— Я кончилъ,—отвѣтилъ я сосѣду.

Кончился классъ. Натурщикъ сошелъ съ ящика и одѣвался; всѣ, шумя, собирали свои принадлежности. Подошли ко мнѣ, похвалили.

— Медаль, медаль...—Лучшій этюдъ,—говорили нѣкоторые. Другіе молчали: художники не любятъ хвалить другъ друга.

III.

Дѣдовъ.

Кажется и мнѣ, я пользуюсь между моими товарищами-учениками уваженіемъ. Конечно, не безъ того, чтобы на это не оказывалъ вліянія мой, сравнительно съ ними, солидный

возрастъ; во всей академіи одинъ только Вольскій старше меня. Да, искусство обладаетъ удивительной притягательной силой! Этотъ Вольскій — отставной офицеръ, господинъ лѣтъ сорока пяти, съ совершенно сѣдою головой; поступить въ такихъ лѣтахъ въ академію, снова начать учиться — развѣ это не подвигъ? Но онъ упорно работаетъ: лѣтомъ, съ утра до вечера, пишетъ этюды во всякую погоду, съ какимъ-то самоотверженіемъ; зимою, когда свѣтло — постоянно пишетъ, а вечеромъ рисуетъ. Въ два года онъ сдѣлалъ большіе успѣхи, несмотря на то, что судьба не наградила его особенно большимъ талантомъ.

Вотъ Рябининъ—другое дѣло: чертовски талантливая натура, но зато лѣнтяй ужасный. Я не думаю, чтобы изъ него вышло что нибудь серьезное, хотя всѣ молодые художники— его поклонники. Особенно мнѣ кажется страннымъ его пристрастіе къ такъ называемымъ реальнымъ сюжетамъ: пишетъ лапти, онучи и полушубки, какъ будто бы мы не довольно насмотрѣлись на нихъ въ натурѣ. А что главное, онъ почти не работаетъ. Иногда засядетъ, и въ мѣсяцъ окончитъ картинку, о которой всѣ кричатъ, какъ о чудѣ, находя, впрочемъ, что техника оставляетъ желать лучшаго (по-моему, техника у него очень и очень слаба); а потомъ броситъ писать даже этюды, ходитъ мрачный и ни съ кѣмъ не заговариваетъ, даже со мной, хотя, кажется, отъ меня онъ удаляется меньше, чѣмъ отъ другихъ товарищей. Странный юноша! Удивительными мнѣ кажутся эти люди, не могущіе найти полнаго удовлетворенія въ искусствѣ. Не могутъ они понять, что ничто такъ не возвышаетъ человѣка, какъ творчество.

Вчера я кончилъ картину, выставилъ, и сегодня уже спрашивали о цѣнѣ. Дешевле 300 не отдамъ. Давали уже 250. Я такого мнѣнія, что никогда не слѣдуетъ отступать отъ разъ назначенной цѣны. Это доставляетъ уваженіе. А теперь тѣмъ болѣе не уступлю, что картина навѣрное продастся; сюжетъ— изъ ходкихъ и симпатичный; зима, закатъ; черные стволы на

первомъ планѣ рѣзко выдѣляются на красномъ заревѣ. Такъ пишетъ К., и какъ онѣ идутъ у него! Въ одну зиму, говорятъ, до двадцати тысячъ заработалъ. Недурно! Жить можно. Не понимаю, какъ это ухитряются бѣдствовать нѣкоторые художники. Вотъ и у К. ни одинъ холстикъ даромъ не пропадаетъ: все продается. Нужно только прямѣе относиться къ дѣлу; пока ты пишешь картину — ты художникъ, творецъ; написана она — ты торгашъ; и чѣмъ ловче ты будешь вести дѣло, тѣмъ лучше. Публика часто тоже норовитъ надуть нашего брата.

IV.

Рябининъ.

Я живу въ пятнадцатой линіи на Среднемъ проспектѣ, и четыре раза въ день прохожу по набережной, гдѣ пристаютъ иностранные пароходы. Я люблю это мѣсто за его пестроту, оживленіе, толкотню и шумъ, за то, что оно дало мнѣ много матеріала. Здѣсь, смотря на поденщиковъ, таскающихъ кули, вертящихъ ворота и лебедки, возящихъ телѣжки со всякой кладью, я научился рисовать трудящагося человѣка.

Я шелъ домой съ Дѣдовымъ, пейзажистомъ... Добрый и невинный, какъ самъ пейзажъ, человѣкъ, и страстно влюбленъ въ свое искусство. Вотъ для него такъ уже нѣтъ никакихъ сомнѣній: пишетъ, что видитъ; увидитъ рѣку—и пишетъ рѣку, увидитъ болото съ осокою — и пишетъ болото съ осокою. Зачѣмъ ему эта рѣка и это болото?—онъ никогда не задумывается. Онъ, кажется, образованный человѣкъ; по крайней мѣрѣ, кончилъ курсъ инженеромъ. Службу бросилъ, благо явилось какое-то наслѣдство, дающее ему возможность существовать безъ труда. Теперь онъ пишетъ и пишетъ: лѣтомъ сидитъ съ утра до вечера на полѣ или въ лѣсу за этюдами, зимой безъ устали компонуетъ закаты, восходы, полдни, начала и концы дождя, зимы, весны и прочее. Инже-

нерство свое забылъ и не жалѣетъ объ этомъ. Только, когда мы проходимъ мимо пристани, онъ часто объясняетъ мнѣ значеніе огромныхъ чугунныхъ и стальныхъ массъ: частей машинъ, котловъ и разныхъ разностей, выгруженныхъ съ парохода на берегъ.

— Посмотрите, какой котлище притащили!—сказалъ онъ мнѣ вчера, ударивъ тростью въ звонкій котелъ.

— Неужели у насъ не умѣютъ ихъ дѣлать?—спросилъ я.

— Дѣлаютъ и у насъ, да мало, не хватаетъ! Видите, какую кучу привезли. И скверная работа; придется здѣсь чинить: видите, шовъ расходится? Вотъ тутъ тоже заклепки распатались. Знаете ли, какъ эта штука дѣлается? Это, я вамъ скажу, адская работа. Человѣкъ садится въ котелъ и держитъ заклепку изнутри клещами, что есть силы напирая на нихъ грудью, а снаружи мастеръ колотитъ по заклепкѣ молотомъ и выдѣлываетъ вотъ такую шляпку.

Онъ показалъ мнѣ на длинный рядъ выпуклыхъ металлическихъ кружковъ, идущій по шву котла.

— Дѣдовъ, вѣдь это все равно, что по груди бить!

— Все равно. Я разъ попробовалъ-было забраться въ котелъ, такъ послѣ четырехъ заклепокъ еле выбрался. Совсѣмъ разбило грудь. А эти какъ-то ухитряются привыкать. Правда, и мрутъ они, какъ мухи: годъ-два вынесетъ, а потомъ, если и живъ, то рѣдко куда нибудь годенъ. Извольте-ка цѣлый день выносить грудью удары здороваго молота по груди, да еще въ котлѣ, въ духотѣ, согнувшись въ три погибели. Зимой желѣзо мерзнетъ, холодъ, а онъ сидитъ или лежитъ на желѣзѣ. Вонъ въ томъ котлѣ — видите, красный, узкій—такъ и сидѣть нельзя: лежи на боку, да подставляй грудь. Трудная работа этимъ глухарямъ.

— Глухарямъ?

— Ну, да, рабочіе ихъ такъ прозвали. Отъ этого трезвона они часто глохнутъ. И вы думаете, много они получаютъ за такую каторжную работу? Гроши! Потому что тутъ ни навыка, ни искусства не требуется, а только мясо... Сколько

тяжелыхъ впечатлѣній на всѣхъ этихъ заводахъ, Рябининъ, если бы вы знали! Я такъ радъ, что раздѣлался съ ними навсегда. Просто жить тяжело было сначала, смотря на эти страданія... То ли дѣло съ природою? Она не обижаетъ, да и ее не нужно обижать, чтобы эксплуатировать ее, какъ мы, художники... Поглядите-ка, поглядите, каковъ сѣроватый тонъ!— вдругъ перебилъ онъ самъ себя, показывая на уголокъ неба— пониже, вонъ тамъ, подъ облачкомъ... прелесть! Съ зеленоватымъ оттѣнкомъ. Вѣдь вотъ напиши такъ, ну, точно такъ— не повѣрятъ! А вѣдь не дурно, а?

Я выразилъ свое одобреніе, хотя, по правдѣ сказать, не видѣлъ никакой прелести въ грязно-зеленомъ клочкѣ петербургскаго неба, и перебилъ Дѣдова, начавшаго восхищаться еще какимъ-то „тонкомъ“ около другого облачка.

— Скажите мнѣ, гдѣ можно посмотрѣть такого глухаря?

— Поѣдемте вмѣстѣ на заводъ; я вамъ покажу всякую штуку. Если хотите, даже завтра! Да ужъ не вздумалось ли вамъ писать этого глухаря? Бросьте, не стоитъ; неужели нѣтъ ничего повеселѣе? А на заводъ, если хотите, хоть завтра.

Сегодня мы поѣхали на заводъ и осмотрѣли все. Видѣли и глухаря. Онъ сидѣлъ, согнувшись въ комокъ, въ углу котла и подставлялъ свою грудь подъ удары молота. Я смотрѣлъ на него полчаса: молотъ поднялся и опустился сотни разъ. Глухарь корчился. Я его напишу.

V.

Дѣдовъ.

Рябининъ выдумалъ такую глупость, что я не знаю, что о немъ и думать. Третьяго дня я возилъ его на металлическій заводъ; мы провели тамъ цѣлый день, осмотрѣли все, при чемъ я объяснилъ ему всякія производства (къ удивленію моему, я забылъ очень немногое изъ своей профессіи); на-

конецъ я провелъ его въ котельное отдѣленіе. Тамъ въ это время работали надъ огромнѣйшимъ котломъ. Рябининъ влѣзъ въ котелъ и полчаса смотрѣлъ, какъ работникъ держитъ заклепку клещами. Вылѣзъ оттуда блѣдный и разстроенный; всю дорогу назадъ молчалъ. А сегодня объявляетъ мнѣ, что ужъ началъ писать этого рабочаго глухаря. Что за идея! Что за поэзія въ грязи! Здѣсь я могу сказать, никого и ничего не стѣсняясь, то, чего, конечно, не сказалъ бы при всѣхъ: по-моему, вся эта мужичья полоса въ искусствѣ—чистое уродство. Кому нужны эти пресловутые Рѣпинскіе „Бурлаки“? Написаны они прекрасно, нѣтъ спора; но вѣдь и только. Гдѣ здѣсь красота, гармонія, изящное? А не для воспроизведенія ли изящнаго въ природѣ и существуетъ искусство?

То ли дѣло у меня! Еще нѣсколько дней работы, и будетъ кончено мое тихое „майское утро“. Чуть колышется вода въ прудѣ, ивы склонили на него свои вѣтви; востокъ загорается; мелкія перистыя облачка окрасились въ розовый цвѣтъ. Женская фигурка идетъ съ крутого берега съ ведромъ за водой, спугивая стаю утокъ. Вотъ и все; кажется, просто, а между тѣмъ, я ясно чувствую, что поэзіи въ картинѣ вышло пропасть. Вотъ это—искусство! Оно настраиваетъ человѣка на тихую, кроткую задумчивость, смягчаетъ душу. А Рябининскій „глухарь“ ни на кого не подѣйствуетъ уже потому, что всякій постарается поскорѣе убѣжать отъ него, чтобы только не мозолить себѣ глаза этими безобразными тряпками и этой грязной рожей. Странное дѣло! Вѣдь вотъ въ музыкѣ не допускаются рѣжущія ухо, непріятныя созвучія; отчего-жъ у насъ въ живописи можно воспроизводить положительно безобразные, отталкивающіе образы? Нужно поговорить объ этомъ съ Л.; онъ напишетъ статейку и кстати прокатитъ Рябинина за его картину. И стоитъ.

VI.

Рябининъ.

Уже двѣ недѣли, какъ я пересталъ ходить въ академію: сижу дома и пишу. Работа совершенно измучила меня, хотя идетъ успѣшно. Слѣдовало бы сказать не *хотя*, а *тѣмъ болѣе*, что идетъ успѣшно. Чѣмъ ближе она подвигается къ концу, тѣмъ все страшнѣе и страшнѣе кажется мнѣ то, что я написалъ. И кажется мнѣ еще, что это — моя послѣдняя картина.

Вотъ онъ сидитъ передо мною въ темномъ углу котла, скорчившійся въ три погибели, одѣтый въ лохмотья, задыхающійся отъ усталости человѣкъ. Его совсѣмъ не было бы видно, если бы не свѣтъ, проходящій сквозь круглыя дыры, просверленныя для заклепокъ. Кружки этого свѣта пестрятъ его одежду и лицо, свѣтятся золотыми пятнами на его лохмотьяхъ, на всклоченной и закопченной бородѣ и волосахъ, на багрово-красномъ лицѣ, по которому струится потъ, смѣшанный съ грязью, на жилистыхъ надорванныхъ рукахъ и на измученной широкой и впалой груди. Постоянно повторяющійся страшный ударъ обрушивается на котелъ и заставляетъ несчастнаго глухаря напрягать всѣ свои силы, чтобы удержаться въ своей невѣроятной позѣ. Насколько можно было выразить это напряженное усиліе — я выразилъ.

Иногда я кладу палитру и кисти и усаживаюсь подальше отъ картины, прямо противъ нея. Я доволенъ ею; ничто мнѣ такъ не удавалось, какъ эта ужасная вещь. Бѣда только въ томъ, что это довольство не ласкаетъ меня, а мучаетъ. Это — не написанная картина, это — созрѣвшая болѣзнь. Чѣмъ она разрѣшится, я не знаю; но чувствую, что послѣ этой картины мнѣ нечего уже будетъ писать. Птицеловы, рыболовы, охотники со всякими экспрессіями и типичнѣйшими физіономіями, вся эта „богатая область жанра“ — на что мнѣ теперь она?

Я ничѣмъ уже не подѣйствую такъ, какъ этимъ глухаремъ, если только подѣйствую...

Сдѣлалъ опытъ: позвалъ Дѣдова и показалъ ему картину. Онъ сказалъ только: „ну, батенька“, и развелъ руками. Усѣлся, смотрѣлъ полчаса, потомъ молча простился и ушелъ. Кажется, подѣйствовало... Но вѣдь онъ все-таки художникъ.

И я сижу передъ своей картиной, и на меня она дѣйствуетъ. Смотришь, и не можешь оторваться, чувствуешь за эту измученную фигуру. Иногда мнѣ даже слышатся удары молота... Я отъ него сойду съ ума. Нужно его завѣсить.

Полотно покрыло мольбертъ съ картиной, а я все сижу передъ нимъ, думая все о томъ же неопредѣленномъ и страшномъ, что такъ мучаетъ меня. Солнце заходитъ и бросаетъ косую желтую полосу свѣта сквозь пыльныя стекла на мольбертъ, завѣшанный холстомъ. Точно человѣческая фигура. Точно духъ земли въ „Фаустѣ“, какъ его изображаютъ нѣмецкіе актеры.

... Wer ruft mich?

Кто позвалъ тебя? Я, я самъ создалъ тебя здѣсь. Я вызвалъ тебя, только не изъ какой-нибудь „сферы“, а изъ душнаго, темнаго котла, чтобы ты ужаснулъ своимъ видомъ эту чистую, прилизанную, ненавистную толпу. Прійди, силою моей власти прикованный къ полотну, смотри на него, на эти фраки и трэны, крикни имъ: „Я — язва растущая!“ Ударь ихъ въ сердце, лиши ихъ сна, стань передъ ихъ глазами призракомъ! Убей ихъ спокойствіе, какъ ты убилъ мое“...

Да, какъ бы не такъ!.. Картина кончена, вставлена въ золотую рамку, два сторожа потащатъ ее на головахъ въ академію на выставку. И вотъ она стоитъ среди „полдней“ и „закатовъ“, рядомъ съ „дѣвочкой съ кошкой“, недалеко отъ какого-нибудь трехсаженнаго „Іоанна Грознаго, вонзающаго посохъ въ ногу Васьки Шибанова“. Нельзя сказать, чтобы на нее не смотрѣли; будутъ смотрѣть и даже хвалить. Художники начнутъ разбирать рисунокъ. Рецензенты, прислушиваясь къ нимъ, будутъ чиркать карандашиками въ своихъ

записныхъ книжкахъ. Одинъ г. В. С. выше заимствованій; онъ смотритъ, одобряетъ, превозноситъ, пожимаетъ мнѣ руку. Художественный критикъ Л. съ яростью набросится на бѣднаго глухаря, будетъ кричать: но гдѣ же тутъ изящное, скажите, гдѣ тутъ изящное? и разругаетъ меня на всѣ корки. Публика... Публика проходитъ мимо безстрастно или съ непріятной гримасой; дамы — тѣ только скажутъ: „ah, comme il est laid, ce глухарь“, и поплывутъ къ слѣдующей картинѣ, къ „дѣвочкѣ съ кошкой“, смотря на которую, скажутъ: „очень, очень мило“, или что нибудь подобное. Солидные господа съ бычьими глазами поглазѣютъ, потупятъ взоры въ каталогъ, испустятъ не то мычанье, не то сопѣнье—и благополучно прослѣдуютъ далѣе. И развѣ только какой-нибудь юноша или молодая дѣвушка остановятся со вниманіемъ и прочтутъ въ измученныхъ глазахъ, страдальчески смотрящихъ съ полотна, вопль, вложенный мною въ нихъ.

Ну, а дальше? Картина выставлена, куплена и увезена. Что-жъ будетъ со мною? То, что я пережилъ въ послѣдніе дни, погибнетъ ли безслѣдно? Кончится ли все только однимъ волненіемъ, послѣ котораго наступитъ отдыхъ съ исканіемъ невинныхъ сюжетовъ?.. Невинные сюжеты! Вдругъ вспомнилось мнѣ, какъ одинъ знакомый хранитель галлереи, составляя каталогъ, кричалъ писцу:

— Мартыновъ, пиши, № 112. Первая любовная сцена: дѣвушка нюхаетъ розу.

— Мартыновъ, еще пиши, № 113. Вторая любовная сцена: дѣвушка нюхаетъ розу.

Буду ли я попрежнему нюхать розу? Или сойду съ рельсовъ?

VII.

Дѣдовъ.

Рябининъ почти кончилъ своего „глухаря“ и сегодня позвалъ меня посмотрѣть. Я шелъ къ нему съ предвзятымъ мнѣніемъ и, нужно сказать, долженъ былъ измѣнить его. Очень сильное впечатлѣніе. Рисунокъ прекрасный. Лѣпка рельефная. Лучше всего это фантастическое и въ то же время высоко истинное освѣщеніе. Картина, безъ сомнѣнія, была бы съ достоинствами, если бы только не этотъ странный и дикій сюжетъ. Л. совершенно согласенъ со мною, и на будущей недѣлѣ въ газетѣ появится его статья. Посмотримъ, что скажетъ тогда Рябининъ. Л—у, конечно, будетъ трудно разобрать его картину со стороны техники, но онъ съумѣетъ коснуться ея значенія, какъ произведенія *искусства*, которое не терпитъ, чтобъ его низводили до служенія какимъ-то низкимъ и туманнымъ идеямъ.

Сегодня Л. былъ у меня. Очень хвалилъ. Сдѣлалъ нѣсколько замѣчаній относительно разныхъ мелочей, но въ общемъ очень хвалилъ. Если бы профессора взглянули на мою картину его глазами! Неужели я не получу наконецъ того, къ чему стремится каждый ученикъ академіи—золотой медали? Медаль, четыре года жизни за границей, да еще на казенный счетъ, впереди — профессура... Нѣтъ, я не ошибся, бросивъ эту печальную будничную работу, грязную работу, гдѣ на каждомъ шагу натыкаешься на какого нибудь рябининскаго глухаря.

VIII.

Рябининъ.

Картина продана и увезена въ Москву. Я получилъ за нее деньги и, по требованію товарищей, долженъ былъ устроить имъ увеселеніе въ „Вѣнѣ“. Не знаю, съ какихъ поръ это

повелось, но почти всѣ пирушки молодыхъ художниковъ происходятъ въ угольномъ кабинетѣ этой гостинницы. Кабинетъ этотъ—большая, высокая комната съ люстрой, съ бронзовыми канделябрами, съ коврами и мебелью, почернѣвшими отъ времени и табачнаго дыма, съ роялемъ, много потрудившимся на своемъ вѣку подъ разгулявшимися пальцами импровизированныхъ пьянистовъ; одно только огромное зеркало ново, потому что оно перемѣняется дважды или трижды въ годъ, всякій разъ, какъ вмѣсто художниковъ въ угольномъ кабинетѣ кутятъ купчики.

Собралась цѣлая куча народа: жанристы, пейзажисты и скульпторы, два рецензента изъ какихъ-то маленькихъ газетъ, нѣсколько постороннихъ лицъ. Начали пить и разговаривать. Черезъ полчаса всѣ уже были навеселѣ. И я тоже. Помню, что меня качали, и я говорилъ рѣчь. Потомъ цѣловался съ рецензентомъ и пилъ съ нимъ брудершафтъ. Пили, говорили и цѣловались много и разошлись по домамъ въ четыре часа утра. Кажется, двое расположились на ночлегъ въ томъ же угольномъ номерѣ гостинницы „Вѣна“.

Я едва добрался домой и, нераздѣтый, бросился на постель, при чемъ испыталъ что-то въ родѣ качки на кораблѣ: казалось, что комната качается и кружится вмѣстѣ съ постелью и со мною. Это продолжалось минуты двѣ; потомъ я уснулъ.

Уснулъ, спалъ и проснулся очень поздно. Голова болитъ; въ тѣло точно свинцу налили. Я долго не могу раскрыть глазъ, а когда раскрываю ихъ, то вижу мольбертъ — пустой, безъ картины. Онъ напоминаетъ мнѣ о пережитыхъ дняхъ, и вотъ все снова, сначала... Ахъ, Боже мой, да надо же это кончить!

Голова болитъ больше и больше, туманъ наплываетъ на меня. Я засыпаю, просыпаюсь и снова засыпаю. И я не знаю, мертвая ли тишина вокругъ меня, или оглушительный шумъ, хаосъ звуковъ, необыкновенный, страшный для уха. Можетъ быть, это и тишина, но въ ней что-то звонитъ и

стучитъ, вертится и летаетъ. Точно огромный, тысячесильный насосъ, выкачивающій воду изъ бездонной пропасти, качается и шумитъ, и слышатся глухіе раскаты падающей воды и удары машины. И надъ всѣмъ этимъ одна нота, безконечная, тянущаяся, томящая. И мнѣ хочется открыть глаза, встать, подойти къ окну, раскрыть его, услышать живые звуки, человѣческій голосъ, стукъ дрожекъ, собачій лай, и избавиться отъ этого вѣчнаго гама. Но силъ нѣтъ! Я вчера былъ пьянъ. И я долженъ лежать и слушать, слушать безъ конца.

И я просыпаюсь, и снова засыпаю. Снова стучитъ и гремитъ гдѣ-то рѣзче, ближе и опредѣленнѣе. Удары приближаются и бьютъ вмѣстѣ съ моимъ пульсомъ. Во мнѣ они, въ моей головѣ, или внѣ меня? Звонко, рѣзко, четко... разъ-два, разъ-два... Бьетъ по металлу и еще по чему-то. Я слышу ясно удары по чугуну; чугунъ гудитъ и дрожитъ. Молотъ сначала тупо звякаетъ, какъ будто падаетъ въ вязкую массу, а потомъ бьетъ звонче и звонче, и наконецъ, какъ колоколъ, гудитъ огромный котелъ. Потомъ остановка, потомъ снова тихо; громче и громче, и опять нестерпимый, оглушительный звонъ. Да, это такъ: сначала бьютъ по низкому, раскаленному желѣзу, а потомъ оно застываетъ. И котелъ гудитъ, когда головка заклепки уже затвердѣла. Понялъ. Но тѣ, другіе звуки... Что это такое? Я стараюсь понять, что это такое, но дымка застилаетъ мнѣ мозгъ. Кажется, что такъ легко припомнить, такъ и вертится въ головѣ, мучительно близко вертится, а что именно — не знаю. Никакъ не схватить... Пусть стучитъ, оставимъ это. Я знаю, но только не помню.

И шумъ увеличивается и уменьшается, то разростаясь до мучительно чудовищныхъ размѣровъ, то будто бы совсѣмъ исчезая. И кажется мнѣ, что не онъ исчезаетъ, а я самъ въ это время исчезаю куда-то, не слышу ничего, не могу шевельнуть пальцемъ, поднять вѣки, крикнуть. Оцѣпенѣніе держитъ меня, и ужасъ охватываетъ меня, и я просыпаюсь

сь въ жару. Просыпаюсь не совсѣмъ, а въ какой-то другой
мъ. Чудится мнѣ, что я опять на заводѣ, только не на
мъ. гдѣ былъ съ Дѣдовымъ. Этотъ гораздо громаднѣе и
рачнѣе. Со всѣхъ сторонъ гигантскія печи, чудной, невидан-
ой формы. Снопами вылетаетъ изъ нихъ пламя и коптитъ
ышу и стѣну зданія, уже давно черныя, какъ уголь.
ашины качаются и визжатъ, и я едва прохожу между вер-
щимися колесами и бѣгущими и дрожащими ремнями; ни-
ѣ ни души. Гдѣ-то стукъ и грохотъ, тамъ-то идетъ работа.
амъ неистовый крикъ и неистовые удары; мнѣ страшно
ти туда, но меня подхватываетъ и несетъ, и удары все
ромче, и крики страшнѣе. И вотъ все сливается въ ревъ,
я вижу... Вижу: странное, безобразное существо корчится
а землѣ отъ ударовъ, сыплющихся на него со всѣхъ сторонъ.
ѣлая толпа бьетъ, кто чѣмъ попало. Тутъ всѣ мои знакомые
ъ остервенѣлыми лицами колотятъ молотами, ломами, палками,
улаками это существо, которому я не прибралъ названія. Я
наю, что это—все онъ же... Я кидаюсь впередъ, хочу крик-
уть: „перестаньте! за что!“ и вдругъ вижу блѣдное, иска-
енное, необыкновенно страшное лицо, страшное потому, что
то мое собственное лицо. Я вижу, какъ я самъ, другой
самъ, замахиваюсь молотомъ, чтобы нанести неистовый
даръ.

Тогда молотъ опустился на мой черепъ. Все исчезло; нѣ-
оторое время я сознавалъ еще мракъ, тишину, пустоту и
еподвижность, а скоро и самъ исчезъ куда-то...

Рябининъ лежалъ въ совершенномъ безпамятствѣ до са-
аго вечера. Наконецъ, хозяйка-чухонка, вспомнивъ, что
илецъ сегодня не выходилъ изъ комнаты, догадалась войти
ъ нему и, увидѣвъ бѣднаго юношу разметавшимся въ силь-
ѣйшемъ жару и бормотавшимъ всякую чепуху, испугалась,
испустила какое-то восклицаніе на своемъ непонятномъ діа-
лектѣ и послала дѣвочку за докторомъ. Докторъ пріѣхалъ,

посмотрѣлъ, пощупалъ, послушалъ, помычалъ, присѣлъ
столу и, прописавъ рецептъ, уѣхалъ, а Рябининъ продолжа
бредить и метаться.

IX.

Дѣдовъ.

Бѣдняга Рябининъ заболѣлъ послѣ вчерашняго кутеж
Я заходилъ къ нему и засталъ его лежащимъ безъ памят
Хозяйка ухаживаетъ за нимъ. Я долженъ былъ дать ей д
негъ, потому что въ столѣ у Рябинина не оказалось ни в
пѣйки; не знаю, стащила ли все проклятая баба, или, м
жетъ быть, все осталось въ „Вѣнѣ". Правда, кутнули вче
порядочно; было очень весело; мы съ Рябининымъ пили бр
дершафтъ. Я пилъ также съ Л. Прекрасная душа этотъ Л
и какъ понимаетъ искусство! Въ своей послѣдней статьѣ он
такъ тонко понялъ, что́ я хотѣлъ сказать своей картино
какъ никто, за что я ему глубоко благодаренъ. Нужно с
написать маленькую вещицу, такъ что-нибудь à la Клевер
и подарить ему. Да кстати его зовутъ Александръ; не завтра л
его именины?

Однако бѣдному Рябинину можетъ прійтись очень плох
его большая конкурсная картина еще далеко не кончен
а срокъ уже не за горами. Если онъ проболѣетъ съ мѣсяц
то не получитъ медали. Тогда — прощай за-граница! Я очен
радъ одному, что, какъ пейзажистъ, не соперничаю съ ним
а его товарищи, должно быть, таки потираютъ руки. И т
сказать: однимъ мѣстомъ больше.

А Рябинина нельзя бросить на произволъ судьбы: нужн
свезти его въ больницу.

X.

Рябининъ.

Сегодня, очнувшись послѣ многихъ дней безпамятства, я долго соображалъ, гдѣ я. Сначала даже не могъ понять, что этотъ длинный бѣлый свёртокъ, лежащій передъ моими глазами—мое собственное тѣло, обернутое одѣяломъ. Съ большимъ трудомъ повернувъ голову направо и налѣво, отчего у меня зашумѣло въ ушахъ, я увидѣлъ слабо освѣщенную длинную палату съ двумя рядами постелей, на которыхъ лежали закутанныя фигуры больныхъ, какого-то рыцаря въ мѣдныхъ доспѣхахъ, стоявшаго между большихъ оконъ съ опущенными бѣлыми шторами и оказавшагося просто огромнымъ мѣднымъ умывальникомъ, образъ Спасителя въ углу съ слабо теплившеюся лампадкою, двѣ колоссальныя кафельныя печи. Услышалъ я тихое, прерывистое дыханіе сосѣда, клокотавшіе вздохи больного, лежавшаго гдѣ-то подальше, еще чье-то мирное сопѣнье и богатырскій храпъ сторожа, вѣроятно приставленнаго дежурить у постели опаснаго больного, который, можетъ быть, живъ, а можетъ быть, уже и умеръ и лежитъ здѣсь такъ же, какъ и мы, живые.

Мы, живые... „Живъ“, подумалъ я и даже прошепталъ это слово. И вдругъ то необыкновенно хорошее, радостное и мирное, чего я не испытывалъ съ самаго дѣтства, нахлынуло на меня вмѣстѣ съ сознаніемъ, что я далекъ отъ смерти, что впереди еще цѣлая жизнь, которую я навѣрно съумѣю повернуть по-своему (о, навѣрно съумѣю!), и я, хотя съ трудомъ, повернулся на бокъ, поджалъ ноги, подложилъ ладонь подъ голову и заснулъ, точно такъ, какъ въ дѣтствѣ, когда, бывало, проснешься ночью возлѣ спящей матери, когда въ окно стучитъ вѣтеръ и въ трубѣ жалобно воетъ буря, и бревна дома стрѣляютъ, какъ изъ пистолета, отъ лютаго мороза, и начнешь тихонько плакать, и боясь, и желая раз-

будить мать, и она проснется, сквозь сонъ поцѣлуетъ и пер
крестить, и, успокоенный, свертываешься калачикомъ и зас
паешь съ отрадой въ маленькой душѣ...

Боже мой, какъ я ослабѣлъ! Сегодня попробовалъ вста
и пройти отъ своей кровати къ кровати моего сосѣда напр
тивъ, какого-то студента, выздоравливающаго отъ горячки,
едва не свалился на полудорогѣ. Но голова поправляет
скорѣе тѣла! Когда я очнулся, я почти ничего не помнил
и приходилось съ трудомъ вспоминать даже имена близки
знакомыхъ. Теперь все вернулось, но не какъ прошлая дѣ
ствительность, а какъ сонъ. Теперь онъ меня не мучает
нѣтъ. Старое прошло безвозвратно.

Дѣдовъ сегодня притащилъ мнѣ цѣлый ворохъ газетъ, и
которыхъ расхваливаются мой „Глухарь“ и его „Утро“
Одинъ только Л. не похвалилъ меня. Впрочемъ, теперь э
все равно. Это такъ далеко, далеко отъ меня. За Дѣдова
очень радъ; онъ получилъ большую золотую медаль и ско
уѣзжаетъ за границу. Доволенъ и счастливъ невыразимо; ли
сіяетъ, какъ масляный блинъ. Онъ спросилъ меня: намѣре
ли я конкурировать въ будущемъ году, послѣ того, какъ т
перь мнѣ помѣшала болѣзнь? Нужно было видѣть, какъ он
вытаращилъ глаза, когда я сказалъ ему „нѣтъ“.

— Серьезно?

— Совершенно серьезно,—отвѣтилъ я.

— Что же вы будете дѣлать?

— А вотъ посмотрю.

Онъ ушелъ отъ меня въ совершенномъ недоумѣніи.

XI.

Дѣдовъ.

Эти двѣ недѣли я прожилъ въ туманѣ, волненіи, нетерпѣніи, и успокоился только сейчасъ, сидя въ вагонѣ варшавской желѣзной дороги. Я самъ себѣ не вѣрю: я—пенсіонеръ академіи, художникъ, ѣдущій на четыре года за границу совершенствоваться въ искусствѣ! Vivat Academia!

Но Рябининъ, Рябининъ! Сегодня я видѣлся съ нимъ на улицѣ, усаживаясь въ карету, чтобы ѣхать на вокзалъ. „Поздравляю, говоритъ, и меня тоже поздравьте“.

— Съ чѣмъ это?

— Сейчасъ только выдержалъ экзаменъ въ учительскую семинарію.

Въ учительскую семинарію!! Художникъ, талантъ! Да онъ пропадетъ, погибнетъ въ деревнѣ! Ну, не сумасшедшій ли это человѣкъ?

На этотъ разъ Дѣдовъ былъ правъ: Рябининъ дѣйствительно не преуспѣлъ. Но объ этомъ когда нибудь послѣ.

Ночь.

I.

Карманные часы, лежавшіе на письменномъ столѣ, торопливо и однообразно пѣли двѣ нотки. Разницу между этими нотами трудно уловить даже тонкимъ ухомъ; а ихъ хозяину, блѣдному господину, сидѣвшему передъ этимъ столомъ, постукиванье часовъ казалось цѣлою пѣснью.

— Эта пѣсня безотрадна и уныла, — говорилъ самъ съ собой блѣдный человѣкъ; — само время напѣваетъ ее и, какъ будто бы въ назиданіе мнѣ, напѣваетъ такъ удивительно однообразно. Три, четыре, десять лѣтъ тому назадъ, часы стучали точно такъ же, какъ и теперь, и черезъ десять лѣтъ будутъ стучать точно такъ же... совершенно точно такъ же.

И блѣдный человѣкъ бросилъ на нихъ мутный взглядъ и сейчасъ же отвелъ глаза туда, куда, ничего не видя, смотрѣлъ раньше.

— Подъ тактъ ихъ хода прошла вся жизнь съ своимъ кажущимся разнообразіемъ: съ горемъ и радостью, съ отчаяньемъ и восторгомъ, съ ненавистью и любовью. И только теперь, въ эту ночь, когда все спитъ въ огромномъ городѣ и въ огромномъ домѣ, и когда нѣтъ никакихъ звуковъ, кромѣ біенія сердца, да постукиванья часовъ, только теперь вижу я, что всѣ эти огорченія, радости, восторги и все, случив-

шееся въ жизни—все это безтѣлесные призраки. Одни—за которыми я гонялся, не зная зачѣмъ; другіе — отъ которыхъ бѣгалъ, не зная почему. Я не зналъ тогда, что въ жизни есть только одно дѣйствительно существующее—время. Время, идущее безпощадно ровно, не останавливаясь тамъ, гдѣ хотѣлъ бы остановиться подольше несчастный, живущій минутою человѣкъ, и не прибавляющее шага ни на іоту даже тогда, когда дѣйствительность такъ тяжела, что хотѣлось бы сдѣлать ее прошедшимъ сномъ; время, знающее только одну пѣсню, ту, которую я слышу теперь такъ мучительно отчетливо.

Онъ думалъ это, а часы все стучали и стучали, назойливо повторяя вѣчную пѣсенку времени. Многое напоминала ему эта пѣсня.

— Право, странно! Я знаю, бываетъ, что какой нибудь особенный запахъ, или предметъ необыкновенной формы, или рѣзкій мотивъ вызываютъ въ памяти цѣлую картину изъ давно пережитаго. Я помню: умиралъ при мнѣ человѣкъ; шарманщикъ-итальянецъ остановился передъ раскрытымъ окномъ, и въ ту самую минуту, когда больной уже сказалъ свои послѣднія безсвязныя слова и, закинувъ голову, хрипѣлъ въ агоніи, раздался пошлый мотивъ изъ „Марты“:

У дѣвицъ
Есть для птицъ
Стрѣлы каленыя...

И съ тѣхъ поръ, всякій разъ, когда мнѣ случается услышать этотъ мотивъ — а я и до сихъ поръ слышу его иногда, пошлости долго не умираютъ—передъ моими глазами тотчасъ же является измятая подушка и на ней блѣдное лицо. Когда же вижу похороны, маленькая шарманка тотчасъ начинаетъ наигрывать мнѣ на ухо:

У дѣвицъ есть для птицъ...

Фу, гадость какая!.. Да, о чемъ, бишь, я началъ думать? Вотъ, вотъ: отчего часы, къ звуку которыхъ, кажется, давно бы пора было привыкнуть, напоминаютъ мнѣ такъ много?

Всю жизнь. „Помни, помни, помни“. Помню! Даже слишкомъ хорошо помню, даже то, что̀ лучше бы не вспомнить. Отъ этихъ воспоминаній искажается лицо, кулакъ сжимается и бѣшено бьетъ по столу... Вотъ теперь ударъ заглушилъ пѣснючасовъ, и одно мгновеніе я не слышу ея, но только одно мгновеніе, послѣ котораго снова раздается дерзко, назойливо и упрямо:

— Помни, помни, помни...

О, да, я помню! Мнѣ не нужно напоминать. Вся жизнь— вотъ она какъ на ладони. Есть чѣмъ полюбоваться!

Онъ крикнулъ это вслухъ надорваннымъ голосомъ; ему сжимало горло. Онъ думалъ, что видѣлъ всю свою жизнь; онъ вспомнилъ рядъ безобразныхъ и мрачныхъ картинъ, дѣйствующимъ лицомъ которыхъ былъ самъ; вспомнилъ всю грязь своей жизни, перевернулъ всю грязь своей души, не нашелъ въ ней ни одной чистой и свѣтлой частицы и былъ увѣренъ, что, кромѣ грязи, въ его душѣ ничего не осталось.

— Не только не осталось, но никогда ничего и не было,— поправился онъ.

Слабый, робкій голосъ, откуда-то изъ далекаго уголка его души, сказалъ ему:

— Полно, не было ли?

Онъ не разслышалъ этого голоса—или, по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ передъ самимъ собою видъ, что не разслышалъ его, и продолжалъ терзать себя.

— Все перебралъ я въ своей памяти, и кажется мнѣ, что я правъ, что остановиться не на чемъ, некуда поставить ногу, чтобы сдѣлать первый шагъ впередъ. Куда впередъ? Не знаю, но только вонъ изъ этого заколдованнаго круга. Въ прошломъ нѣтъ опоры, потому что все ложь, все обманъ. И лгалъ, и обманывалъ я самъ и самого себя, не оглядываясь. Такъ обманываетъ другихъ мошенникъ, притворяющійся богачемъ, разсказывающій о своихъ богатствахъ, которыя гдѣ-то „тамъ“, не „получены“, но которыя есть, и занимающій деньги направо и налѣво. Я всю жизнь долженъ

самому себѣ. Теперь насталъ срокъ разсчета — и я банкротъ, злостный, завѣдомый...

Онъ передумывалъ эти слова даже съ какимъ-то страннымъ наслажденіемъ. Онъ какъ будто бы гордился ими. Онъ не замѣчалъ, что, называя всю свою жизнь обманомъ и смѣшивая себя съ грязью, онъ и теперь лгалъ тою же худшею въ мірѣ ложью, ложью самому себѣ. Потому что на самомъ дѣлѣ онъ совсѣмъ не цѣнилъ себя такъ низко. Пусть кто нибудь сказалъ бы ему даже десятую часть того, что́ онъ самъ наговорилъ на себя въ этотъ долгій вечеръ — и на его лицѣ выступила бы краска не стыда отъ сознанія правды упрека, а гнѣва. И онъ съумѣлъ бы отвѣтить обидчику, задѣвшему его гордость, которую теперь онъ самъ, повидимому, такъ безжалостно топталъ.

Самъ ли онъ? Онъ дошелъ до такого состоянія, что уже не могъ сказать о себѣ: я самъ. Въ его душѣ говорили какіе-то голоса: говорили они разное, и какой изъ этихъ голосовъ принадлежалъ именно ему, его я, онъ самъ не могъ понять. Первый голосъ его души, самый ясный, бичевалъ его опредѣленными, даже красивыми фразами. Второй голосъ, неясный, но привязчивый и настойчивый, иногда заглушалъ первый. „Не казнись,—говорилъ онъ—зачѣмъ? Лучше обманывай до конца, обмани всѣхъ. Сдѣлай изъ себя для другихъ не то, что́ ты есть, и будетъ тебѣ хорошо“. Былъ еще третій голосъ, тотъ самый, что́ спрашивалъ: „полно, не было ли?“ но этотъ голосъ говорилъ робко и едва слышно. Да онъ и не старался разслышать его.

— Обмани всѣхъ... Сдѣлай изъ себя не то, что́ ты есть... Да развѣ я не старался дѣлать это всю жизнь? Развѣ я не обманывалъ, развѣ не разыгрывалъ роль изъ фарса? И развѣ вышло „хорошо“? Вышло то, что даже теперь я ломаюсь, какъ актеръ, даже теперь я не то, что́ я на самомъ дѣлѣ. Правда, развѣ я знаю, что́ я такое на самомъ дѣлѣ? Я слишкомъ запутался, чтобы знать. Но все равно, я чувствую, что ломаюсь вотъ уже нѣсколько часовъ подъ рядъ и говорю себѣ

жалкія слова, которымъ самъ не вѣрю, говорю даже теперь, передъ смертью. Да неужели же передъ смертью? Да, да, да!—прокричалъ онъ вслухъ, каждый разъ злобно надавливая кулакомъ на край стола,—нужно же наконецъ выбраться изъ путаницы. Узелъ завязанъ такъ, что не развяжешь: нужно разрубить его. Зачѣмъ только было тянуть, надрывать себѣ душу, и безъ того изорванную въ отрепье? Зачѣмъ было, разъ рѣшившись, сидѣть истуканомъ съ восьми часовъ вечера до сихъ поръ?

И онъ сталъ торопливо вытаскивать изъ бокового кармана шубы револьверъ.

II.

Онъ дѣйствительно сидѣлъ на одномъ мѣстѣ съ восьми часовъ вечера до трехъ ночи.

Въ семь часовъ вечера этого послѣдняго дня его жизни онъ вышелъ изъ своей квартиры, нанялъ извозчика, усѣлся, сгорбившись, на саняхъ и поѣхалъ на другой конецъ города. Тамъ жилъ его старый пріятель, докторъ, который, какъ онъ зналъ, сегодня вмѣстѣ съ женою отправлялся въ театръ. Онъ зналъ, что не застанетъ дома хозяевъ, и ѣхалъ вовсе не для того, чтобы повидаться съ ними. Его навѣрно впустятъ въ кабинетъ, какъ близкаго знакомаго, а это только и было нужно.

— Да, навѣрно впустятъ; скажу, что надо написать письмо. Какъ бы только Дуняша не вздумала торчать при мнѣ въ кабинетѣ... Ну, дядя, поѣзжай скорѣе! — крикнулъ онъ извозчику.

Извозчикъ—маленькій, съ сгорбленной старческой спиной, очень худой шеей, обмотанной цвѣтнымъ шарфомъ, вылѣзавшимъ изъ очень широкаго воротника, и съ изжелта сѣдыми кудрями, выступавшими изъ-подъ огромной круглой шапки, чмокнулъ, задергалъ вожжами, еще разъ чмокнулъ и торопливо заговорилъ разбитымъ голосомъ:

— Доставимъ, батюшка, не сомнѣвайтесь, ваше благородіе. Но, но!.. Ишь, баловница! Эка лошадь, прости Господи! Но! — Онъ хлестнулъ ее кнутомъ, на что она отвѣтила легкимъ движеніемъ хвоста. — Я и радъ угодить, да лошадку-то хозяинъ далъ... просто такая ужъ... Обижаются господа, что тутъ будешь дѣлать! А хозяинъ говоритъ: „ты, говоритъ, дѣдушка, старъ, такъ вотъ тебѣ и скотинка старая; ровесники, говоритъ, будете“. А ребята наши смѣются. Рады глотки драть; имъ что? Извѣстно, развѣ понимаютъ?

— Не понимаютъ, — спросилъ сѣдокъ, въ это время думавшій о томъ, какъ бы не впустить Дуняшу въ кабинетъ.

— Не понимаютъ, ваше благородіе, не понимаютъ; гдѣ имъ понять! Глупые они, молодые! У насъ во дворѣ одинъ я старикъ. Развѣ можно старика забиждать? Я восьмой десятокъ на свѣтѣ живу, а они зубы скалятъ. Двадцать три года солдатомъ служилъ... Извѣстно, глупые... Ну, старая! застыла!

Онъ опять хлестнулъ лошадь кнутомъ, но такъ какъ она не обратила на ударъ никакого вниманія, то прибавилъ:

— Что съ ей сдѣлаешь: тоже ужъ двадцать первый годъ, должно, пошелъ. Ишь, хвостомъ трясетъ...

На освѣщенномъ циферблатѣ часовъ, поставленныхъ въ одномъ изъ оконъ огромнаго зданія, стрѣлки показывали половину восьмого.

— Уѣхали ужъ, должно быть,—подумалъ сѣдокъ про доктора съ женой.—А можетъ быть, и нѣтъ еще... Дѣдушка, не гони, пожалуй! Поѣзжай потише: мнѣ торопиться некуда.

— Извѣстно, батюшка, некуда,— обрадовался старикъ.— Такъ-то лучше, потихоньку. Но, старая!

Ѣхали нѣкоторое время молча. Потомъ старикъ осмѣлѣлъ.

— Ты вотъ мнѣ что́, баринъ, скажи,—вдругъ заговорилъ онъ, обернувшись къ сѣдоку, при чемъ показалъ свое сморщенное въ кулачокъ лицо съ жиденькой сѣдой бородой и красными вѣками — откуда этакая напасть на человѣка? Былъ извозчикъ у насъ, Иваномъ звали. Молодой, годовъ ему

было двадцать пять, а то и меньше. И кто его знаетъ, съ чего, съ какой такой причины, наложилъ на себя парень руки?

— Кто?—тихо и хрипло спросилъ сѣдокъ.

— Да Иванъ-то, Иванъ Сидоровъ. Въ извозчикахъ у насъ жилъ. Веселый былъ парень и работящій, прямо тебѣ скажу. То-есть вотъ какой! Ну, вотъ, въ понедѣльникъ, поужинали мы, легли спать. А Иванъ не ужинавши легъ. Голову, говоритъ, ломитъ. Спимъ это мы, а онъ ночью всталъ и ушелъ. Только что никто этого не видѣлъ. Пошли утромъ закладывать, а онъ въ конюшнѣ на гвоздѣ. Сбрую съ гвоздя снялъ, возлѣ положилъ — веревку прицѣпилъ... Ахъ ты, Господи! Такъ это тогда, словно бы по сердцу. И что этому за причина, чтобы извозчикъ повѣсился? Какъ можно это, чтобы извозчику вѣшаться! Дивное дѣло!

— Отчего же?—спросилъ сѣдокъ, откашливаясь и дрожащими руками плотнѣе завертываясь въ шубу.

— Мыслей этихъ самыхъ нѣтъ у него, у извозчика. Работа тяжелая, трудная: утромъ, ни свѣтъ, ни заря, закладывай, да со двора. Извѣстно, морозъ, холодъ. Тутъ ему только бы въ трактирѣ погрѣться, да выручку исправить, чтобы вполнѣ два двадцать пять, да на квартиру—и спи. Тутъ думать трудно. Вотъ вашему брату, барину, ну, вамъ, извѣстно, всякое въ голову лѣзетъ съ пищи съ этой.

— Съ какой такой пищи?

— Съ хлѣбовъ съ легкихъ. Потому, встанетъ баринъ, надѣнетъ халатъ, чайку попьетъ, и давай по комнатѣ ходить. Ходитъ, а грѣхъ-то вокругъ. Видалъ я тоже, знаю. Въ полку было у насъ, въ Тенгинскомъ—на Кавказѣ служилъ тогда—баринъ былъ, поручикъ князь Вихляевъ; въ денщики меня къ нему отдали...

— Стой, стой!—вдругъ заговорилъ сѣдокъ.—Вотъ сюда, къ фонарю. Я тутъ ужъ пѣшкомъ.

— Какъ угодно; пѣшкомъ, такъ пѣшкомъ. Благодарствуйте, ваше благородіе.

Извозчикъ повернулъ и исчезъ въ мятели, которая разыгрывалась, а сѣдокъ пошелъ понурою походкою впередъ. Черезъ десять минутъ, поднявшись въ третій этажъ средней руки парадной лѣстницы, онъ позвонилъ у двери, обитой зеленымъ сукномъ и украшенной мѣдною, ярко вычищенною дощечкою. Безконечно долго тянулись для него нѣсколько минутъ, пока не отворились двери. Тупое забытье охватило его; все исчезло: и мучительное прошлое, и болтовня подвыпившаго старика, такъ странно кстати пришедшаяся и заставившая его дойти пѣшкомъ, и даже намѣреніе, съ какимъ онъ явился сюда. Передъ глазами была только зеленая дверь съ черными тесемками, прибитыми бронзовыми гвоздиками, да и во всемъ мірѣ была только она одна.

— Ахъ, Алексѣй Петровичъ!

Это Дуняша отворила дверь со свѣчей въ рукахъ.

— А баринъ съ барыней сейчасъ уѣхали; только-только съ лѣстницы сошли. Какъ это вы не встрѣтили?

— Уѣхали? Экая досада, право!—солгалъ онъ такимъ страннымъ голосомъ, что на лицѣ смотрѣвшей ему въ глаза Дуняши выразилось недоумѣніе.—А мнѣ вѣдь нужно было. Слушайте, Дуняша, я сейчасъ въ кабинетъ къ барину на одну минуту... Можно?—спросилъ онъ даже робкимъ голосомъ—я сейчасъ, только записку... дѣло такое...

Онъ убѣдительно, съ просьбой въ глазахъ, смотрѣлъ на нее, не раздѣваясь и не двигаясь съ мѣста. Дуняша сконфузилась.

— Да что это вы, Алексѣй Петровичъ, развѣ я когда нибудь... не въ первый разъ!—обиженно сказала она.—Пожалуйте.

„Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ все это, зачѣмъ я все это говорю? Она идетъ-таки за мною. Услать нужно. Куда ее ушлешь? Догадается, навѣрно догадается; даже уже теперь догадалась“.

Дуняша ни о чемъ не догадывалась, хотя была до крайности удивлена страннымъ видомъ и поведеніемъ гостя. Она

оставалась одна въ цѣлой квартирѣ и была рада побыть хоть пять минутъ съ живымъ человѣкомъ. Поставивъ свѣчу на столъ, она стала у дверей.

„Уйди ты, уйди, ради Бога“, мысленно взывалъ къ ней Алексѣй Петровичъ. — Онъ сѣлъ къ столу, взялъ листокъ бумаги и началъ придумывать, что́ бы написать, чувствуя на себѣ взглядъ Дуняши, который, какъ ему казалось, читалъ его мысли.

„Петръ Николаевичъ,—писалъ онъ, останавливаясь послѣ каждаго слова — я былъ у тебя по очень важному дѣлу, которое...“

— Которое, которое,—шепталъ онъ—а она все стоитъ и стоитъ... Дуняша! подите, принесите мнѣ стаканъ воды!— вдругъ громко и рѣзко проговорилъ онъ.

— Извольте, Алексѣй Петровичъ.—Она повернулась и вышла.

Тогда гость поднялся со стула и на цыпочкахъ быстро пошелъ къ дивану, надъ которымъ докторъ повѣсилъ револьверъ и саблю, служившіе ему въ турецкомъ походѣ. Онъ ловко и проворно отстегнулъ клапанъ кобуры, выхватилъ изъ нея револьверъ и сунулъ его въ боковой карманъ шубы, потомъ досталъ изъ мѣшечка, пришитаго къ кобурѣ, нѣсколько патроновъ и тоже сунулъ въ карманъ. Черезъ три минуты стаканъ воды, принесенный Дуняшею, былъ выпитъ, ненаписанное письмо запечатано, и Алексѣй Петровичъ ѣхалъ домой. „Кончать надо, надо кончать!“ вертѣлось у него въ головѣ. Но онъ не сталъ кончать тотчасъ же послѣ пріѣзда: войдя въ комнату и заперевъ ее на ключъ, онъ бросился, не раздѣваясь, на кресло, увидѣлъ фотографическую карточку, книгу, рисунокъ обоевъ, услышалъ тиликанье часовъ, забытыхъ имъ на столѣ, и задумался, и просидѣлъ, не шевельнувшись ни однимъ мускуломъ, до глубокой ночи, до той минуты, когда мы его застали.

III.

Револьверъ долго не лѣзъ изъ узкаго кармана; потомъ, когда онъ лежалъ уже на столѣ, оказалось, что всѣ патроны, кромѣ одного, провалились въ маленькую прорѣху. Алексѣй Петровичъ снялъ шубу и взялъ-было ножикъ, чтобы распороть карманъ и вынуть патроны, но опомнился, криво усмѣхнулся однимъ концомъ запекшихся губъ и остановился.

— Зачѣмъ трудиться? Довольно и одного... О, да, очень довольно одного этого крохотнаго кусочка, чтобы исчезло все и навсегда. Весь міръ исчезнетъ! не будетъ ни сожалѣній, ни уязвленнаго самолюбія, ни упрека самому себѣ, ни людей, ненавидящихъ и притворяющихся добрыми и простыми—людей, которыхъ видишь насквозь и презираешь и передъ которыми все-таки притворяешься любящимъ и желающимъ добра. Не будетъ обмана себя и другихъ, будетъ правда, вѣчная правда несуществованія.

Онъ услышалъ свой голосъ; онъ уже не думалъ, а говорилъ вслухъ. И то, что онъ сказалъ, показалось ему отвратительнымъ.

— Опять то же... Умираешь, убиваешь себя—и тутъ нельзя обойтись безъ разговоровъ. Для кого, передъ кѣмъ рисуешься? Передъ самимъ собою. Ахъ, довольно, довольно, довольно...—повторялъ онъ измученнымъ, упавшимъ голосомъ, и дрожащими руками старался открыть непослушный затворъ револьвера. Затворъ послушался наконецъ, открылся; намазанный саломъ патронъ вошелъ въ отверстіе барабана; курокъ взвелся будто самъ собою. Ничто не могло помѣшать смерти: револьверъ былъ образцовый, офицерскій, дверь была заперта, и никто не могъ войти.

— Ну-съ Алексѣй Петровичъ! — сказалъ онъ, крѣпко сжавъ рукоятку.

— А письмо? — вдругъ мелькнуло въ его головѣ.—Неужели умереть, не оставивъ ни строчки?

— Зачѣмъ, для кого? Вѣдь все исчезнетъ, ничего не будетъ; какое же мнѣ дѣло...

— Такъ-то оно такъ. А все-таки напишу. Неужели не высказаться хоть одинъ разъ совершенно свободно, не стѣсняясь ничѣмъ, а главное—собою? Вѣдь это рѣдкій, очень рѣдкій случай, единственный.

Онъ положилъ револьверъ, вынулъ изъ ящика тетрадку почтовой бумаги и, перемѣнивъ нѣсколько перьевъ, которыя не писали, а ломались и портили бумагу, и испортивъ нѣсколько листовъ, наконецъ вывелъ: „Петербургъ, 28-го ноября 187**“. Потомъ рука сама побѣжала по бумагѣ, выводя слова и фразы, которыя онъ и самъ врядъ ли понималъ тогда.

Онъ писалъ, что умираетъ спокойно, потому что жалѣть нечего: жизнь есть сплошная ложь; что люди, которыхъ онъ любилъ — если только онъ дѣйствительно любилъ кого нибудь, а не притворялся передъ самимъ собою, что любитъ — не въ состояніи удержать его жить, потому что „выдохлись“, да и не выдохлись, „нечему было выдыхаться“, а просто потеряли для него интересъ, разъ онъ понялъ ихъ; что онъ понялъ и себя, понялъ, что и въ немъ, кромѣ лжи, ничего нѣтъ и не было; что если онъ сдѣлалъ что-нибудь въ своей жизни, то не изъ желанія добра, а изъ тщеславія; что онъ не дѣлалъ злыхъ и нечестныхъ поступковъ не по неимѣнію злыхъ качествъ, а изъ малодушнаго страха передъ людьми, что тѣмъ не менѣе онъ не считаетъ себя хуже „васъ, остающихся лгать до конца дней своихъ“, и не проситъ у нихъ прощенія, а умираетъ съ презрѣніемъ къ людямъ, не меньшимъ, чѣмъ къ самому себѣ. И жестокая, безсмысленная фраза сорвалась въ концѣ письма:

„Прощайте, люди! Прощайте, кровожадныя, кривляющіяся обезьяны!

Нужно было только подписать письмо. Но когда онъ кончилъ писать, онъ почувствовалъ, что ему жарко; кровь прихлынула къ головѣ и застучала въ вспотѣвшихъ вискахъ. И забывъ о револьверѣ и о томъ, что, избавившись отъ жизни,

онъ избавится и отъ жара, онъ всталъ, подошелъ къ окну и отперъ форточку. Дымящаяся морозная струя пахнула на него. Снѣгъ пересталъ идти, небо было чисто; на другой сторонѣ улицы ослѣпительно бѣлый садъ, окутанный инеемъ, сверкалъ подъ луннымъ свѣтомъ. Нѣсколько звѣздъ смотрѣло изъ далекаго чистаго неба, одна изъ нихъ была ярче всѣхъ и горѣла красноватымъ сіяніемъ.

— Арктуръ,—прошепталъ Алексѣй Петровичъ.—Сколько лѣтъ я не видалъ этого Арктура? Еще въ гимназіи, когда учился...

Ему не хотѣлось отвести глазъ отъ звѣзды. Кто-то быстро прошелъ по улицѣ, сильно стуча озябшими ногами по плитамъ панели и ежась въ холодномъ пальто; карета провизжала колесами по подмерзшему снѣгу; проѣхалъ извозчикъ съ толстымъ бариномъ, а Алексѣй Петровичъ все стоялъ, какъ застывшій.

— Нужно же!—сказалъ онъ себѣ наконецъ.

Онъ пошелъ къ столу. Отъ окна до стола было всего двѣ сажени, но ему казалось, что онъ шелъ очень долго. Когда, подойдя, онъ уже взялъ револьверъ, въ открытое окно раздался далекій, но ясный, дрожащій звукъ колокола.

— Колоколъ!—сказалъ Алексѣй Петровичъ, удивившись, и, положивъ револьверъ снова на столъ, сѣлъ въ кресло.

IV.

— Колоколъ!—повторилъ онъ.—Зачѣмъ колоколъ?.. Благовѣстятъ, что-ли? На молитву... Церковь... духота. Восковыя свѣчи. Старенькій попъ, отецъ Михаилъ, служитъ жалобнымъ, надтреснутымъ голоскомъ; дьячекъ баснтъ. Хочется спать; въ окно едва брезжится разсвѣтъ. Отецъ, стоящій рядомъ со мной, склоня голову, дѣлаетъ торопливые маленькіе кресты; въ толпѣ мужиковъ и бабъ сзади насъ поминутные земные поклоны... Какъ давно это было!.. Такъ давно, что не вѣ-

рится, что это была дѣйствительность, что самъ когда-то видѣлъ, а не прочиталъ гдѣ нибудь, или не слышалъ отъ кого нибудь. Нѣтъ, нѣтъ, было это все, и тогда было лучше. Да и не только лучше, а хорошо было. Если бы теперь такъ, не нужно бы ѣздить за револьверомъ.

„Кончай!“ шептала ему мысль. Онъ посмотрѣлъ на револьверъ и протянулъ къ нему руку, но тотчасъ же отвелъ ее назадъ.

„Струсилъ“—шептала ему мысль.

— Нѣтъ, не струсилъ; тутъ не то. Страшнаго ужъ ничего нѣтъ. Но колоколъ—зачѣмъ онъ?

Онъ взглянулъ на часы.

— Это къ заутренѣ, должно быть. Пойдутъ люди въ церковь; многимъ изъ нихъ станетъ легче. Такъ говорятъ по крайней мѣрѣ. Впрочемъ, помню и мнѣ легче становилось. Мальчикомъ былъ тогда. Потомъ это прошло, погибло. И легче мнѣ не становилось уже ни отъ чего. Это правда... Правда! Нашлась правда въ такую минуту!

А минута казалась неизбѣжной. Онъ медленно повернулъ голову и опять посмотрѣлъ на револьверъ. Револьверъ былъ большой, казеннаго образца, системы Смита и Вессона, когда-то вороненный, но теперь побѣлѣвшій отъ долгихъ скитаній въ кобурѣ доктора. Онъ лежалъ на столѣ ручкою къ Алексѣю Петровичу, которому были видны потертое дерево ручки съ кольцомъ для шнурка, кусокъ барабана съ взведеннымъ куркомъ, да кончикъ ствола, глядѣвшій въ стѣну.

— Вотъ тамъ смерть. Нужно взять, повернуть кругомъ...

На улицѣ было тихо: никто не ѣхалъ и не шелъ мимо. И изъ этой тишины издалека раздался другой ударъ колокола; волны звука ворвались въ открытое окно и дошли до Алексѣя Петровича. Онѣ говорили чужимъ ему языкомъ, но говорили что-то большое, важное и торжественное. Ударъ раздавался за ударомъ, и когда колоколъ прозвучалъ послѣдній разъ, и звукъ, дрожа, разошелся въ пространствѣ, Алексѣй Петровичъ точно потерялъ что-то.

Колоколъ сдѣлалъ свое дѣло: онъ напомнилъ запутавшемуся человѣку, что есть еще что-то, кромѣ своего собственнаго узкаго мірка, который его измучилъ и довелъ до самоубійства. Неудержимой волной нахлынули на него воспоминанія, отрывочныя, безсвязныя, и всѣ какъ будто совершенно новыя для него. Въ эту ночь онъ многое уже передумалъ и многое вспомнилъ, и воображалъ, что вспомнилъ всю свою жизнь, что ясно видѣлъ самого себя. Теперь онъ почувствовалъ, что въ немъ есть и другая сторона, та самая, о которой говорилъ ему робкій голосъ его души.

V.

„Помнишь ли ты себя маленькимъ ребенкомъ, когда ты жилъ съ отцомъ въ глухой, забытой деревушкѣ? Онъ былъ несчастный человѣкъ, твой отецъ, и любилъ тебя больше всего на свѣтѣ. Помнишь, какъ вы сидѣли вдвоемъ въ долгіе зимніе вечера, онъ — за счетами, ты — за книжкой? Сальная свѣча горѣла краснымъ пламенемъ, понемногу тускнѣя, пока ты, вооружась щипцами, не снималъ съ нея нагаръ. Это было твоею обязанностью, и ты такъ важно исполнялъ ее, что отецъ всякій разъ поднималъ глаза съ большой „хозяйственной“ книги и съ своей обычной печальной и ласковой улыбкой посматривалъ на тебя. Ваши глаза встрѣчались.

— Я, папа, вонъ ужъ сколько прочиталъ, — говорилъ ты и показывалъ прочитанныя страницы, зажавъ ихъ пальцами.

— Читай, читай, дружокъ! — одобрялъ отецъ и снова погружался въ счеты.

„Онъ позволялъ тебѣ читать все, потому что только доброе осядетъ въ душѣ его милаго мальчика. И ты читалъ и читалъ, ничего не понимая въ разсужденіяхъ и ярко, хотя по-своему, по-дѣтски воспринимая образы.

„Да, тогда все казалось тѣмъ, какъ оно казалось. Крас ное такъ и было красное, а не отражающіе красные лучи Тогда не было для впечатлѣній готовыхъ формъ — идей, в которыя человѣкъ выливаетъ все ощущаемое, не заботясь томъ, годна ли форма, не дала ли она трещины. И если лю билъ кого нибудь, то зналъ, что любишь; въ этомъ не бывал сомнѣній".

Красивое насмѣшливое лицо взглянуло ему въ глаза и исчезло.

„А эта? Тоже любилъ ее? Нечего сказать, поиграли в чувство довольно. А вѣдь искренно, казалось, говорилъ и ду малъ тогда... Мученья сколько было! И когда счастье при шло, оно казалось вовсе не счастьемъ, и если бы я тогда въ самомъ дѣлѣ могъ приказать времени: „подожди, постой, здѣсь хорошо", то я еще подумалъ бы — приказывать или нѣтъ. А потомъ, и очень скоро, понадобилось уже гнать время впередъ... Да не думать же теперь объ этомъ! Нужно думать о томъ, что̀ было, а не о томъ, что́ казалось".

А было очень немного: только одно дѣтство. И отъ него-то въ памяти остались одни безсвязные клочки, которые Алексѣй Петровичъ сталъ съ жадностью собирать.

Помнится ему маленькій домикъ, спальня, въ которой онъ спалъ противъ отца. Помнится красный коверъ, висѣв шій надъ отцовской постелью: каждый вечеръ, засыпая, он смотрѣлъ на этотъ коверъ и находилъ въ его причудливых узорахъ все новыя фигуры: цвѣты, птицъ, человѣческія лица. Помнится утро съ запахомъ соломы, которою топили домъ. Николай, малый, уже натащилъ полную переднюю соломы и цѣлыми охапками суетъ ее въ устье печи. Она горитъ весело и ясно и дымитъ съ пріятнымъ, немного рѣзкимъ запахомъ. Алеша готовъ былъ просидѣть передъ печью цѣлый часъ, но отецъ звалъ его пить чай, послѣ котораго начинался урокъ. Помнится, какъ онъ не понималъ десятичныхъ дробей, как отецъ кипятился и всѣми силами старался растолковать ему ихъ.

„Кажется, онъ и самъ зналъ ихъ тогда не совсѣмъ твердо“,— подумалъ Алексѣй Петровичъ.

Потомъ — священная исторія. Ее Алеша любилъ больше. Удивительные, огромные и фантастическіе образы, Каинъ, потомъ исторія Іосифа, цари, войны, какъ во́роны носили хлѣбъ пророку Иліѣ. И картинка была при этомъ: сидитъ Илія на камнѣ съ большою книгою, а двѣ птицы летятъ къ нему, держа въ носахъ что-то круглое.

— Папа, смотри: Ильѣ во́роны хлѣбъ носили, а нашъ Ворка самъ у насъ все тащитъ.

Ручной во́ронъ съ выкрашенными въ красную краску носомъ и лапами—это Николай выдумалъ—бочкомъ прыгаетъ по спинкѣ дивана и, вытягивая шею, старается стащить со стѣны блестящую бронзовую рамочку. Въ этой рамочкѣ миніатюрный акварельный портретъ молодого мужчины съ приглаженными височками, одѣтаго въ темнозеленый мундиръ съ эполетами, высочайшимъ краснымъ воротникомъ и крестикомъ въ петлицѣ. Это самъ папа двадцать пять лѣтъ тому назадъ.

Во́ронъ и портретъ мелькнули и исчезли.

— Потомъ что-жъ такое? Потомъ звѣзды, вертепъ, ясли. Помню, что эти ясли были для меня совершенно новымъ словомъ, хотя я зналъ и раньше ясли въ конюшнѣ и на скотномъ дворѣ. Эти ясли казались какими-то особенными.

Новый завѣтъ учили не такъ, какъ Ветхій, не по толстенькой книжкѣ съ картинками. Отецъ самъ разсказывалъ Алешѣ о Іисусѣ Христѣ и часто прочитывалъ цѣлыя страницы изъ Евангелія.

— И кто ударитъ тебя въ правую щеку, обрати ему и другую. Понимаешь, Алеша?

И отецъ начиналъ долгое объясненіе, котораго Алеша не слушалъ. Онъ вдругъ перебивалъ своего учителя.

— Папа, помнишь, дядя Дмитрій Ивановичъ пріѣзжалъ? Вотъ тогда точно такъ было: онъ ударилъ своего Ѳому въ лицо, а Ѳома стоитъ; и дядя Дмитрій Ивановичъ его съ

другой стороны ударилъ, Ѳома все стоитъ. Мнѣ его жалко стало, я и заплакалъ.

— Да, тогда я заплакалъ,— проговорилъ Алексѣй Петровичъ, вставъ съ кресла и начиная ходить взадъ и впередъ по комнатѣ, — я тогда заплакалъ.

Ему стало ужасно жалко этихъ слезъ шестилѣтняго мальчика, жалко того времени, когда онъ могъ плакать оттого, что въ его присутствіи ударили беззащитнаго человѣка.

VI.

Въ окно все летѣлъ морозный воздухъ; клубящійся паръ точно выливался въ комнату, въ которой отъ него уже стало холодно. Большая низкая лампа съ непрозрачнымъ абажуромъ, стоявшая на письменномъ столѣ, горѣла ясно, но освѣщала только поверхность стола, да часть потолка, образуя на немъ дрожащее круглое пятно свѣта; въ остальной комнатѣ все было въ полумракѣ. Въ немъ можно было разглядѣть шкафъ съ книгами, большой диванъ, еще кое-какую мебель, зеркало на стѣнѣ съ отраженіемъ свѣтлаго письменнаго стола и высокую фигуру, безпокойно метавшуюся по комнатѣ изъ одного угла въ другой, восемь шаговъ туда и восемь назадъ, всякій разъ мелькая въ зеркалѣ. Иногда Алексѣй Петровичъ останавливался у окна; холодный паръ лился ему на разгоряченную голову, на открытую шею и грудь. Онъ дрожалъ, но не освѣжался. Онъ продолжалъ перебирать отрывочныя и безсвязныя воспоминанія, припоминая сотни мелкихъ подробностей, путался въ нихъ и не могъ понять, что̀ именно въ нихъ общаго и важнаго. Зналъ онъ только одно, что до двѣнадцати лѣтъ, когда отецъ отправилъ его въ гимназію, онъ жилъ совершенно иною внутреннею жизнью и помнилъ, что тогда было лучше.

— Что̀ же тянетъ тебя туда, въ полусознательную жизнь? Что̀ хорошаго было въ этихъ дѣтскихъ годахъ? Одинокій ре-

бенокъ и одинокій взрослый человѣкъ, „немудрящій“ человѣкъ, какъ ты самъ называлъ его послѣ смерти. Ты былъ правъ, онъ былъ немудрящій человѣкъ. Жизнь скоро и легко исковеркала его, сломавъ въ немъ все доброе, чѣмъ онъ запасся въ юности; но она не внесла ничего и дурного. И онъ доживалъ свой вѣкъ, безсильный, съ безсильной любовью, которую почти всю обратилъ на тебя...

Алексѣй Петровичъ думалъ объ отцѣ и въ первый разъ послѣ многихъ лѣтъ почувствовалъ, что любилъ его, несмотря на всю его немудреность. Ему хотѣлось бы теперь хоть на минуту перенестись въ свое дѣтство, въ деревню, въ маленькій домикъ и приласкаться къ этому забитому человѣку, приласкаться просто, по-дѣтски. Захотѣлось той чистой и простой любви, которую знаютъ только дѣти, да развѣ очень ужъ чистыя, нетронутыя натуры изъ взрослыхъ.

— Да неужели нельзя вернуть это счастье, эту способность сознавать, что говоришь и думаешь правду? Сколько лѣтъ я не испытывалъ его! Говоришь горячо, какъ будто искренно, а въ душѣ всегда сидитъ червякъ, который точетъ и сосетъ. Червякъ этотъ — мысль: что, дескать, другъ мой, не лжешь ли ты все это? Думаешь ли ты на самомъ дѣлѣ то, что теперь говоришь?

У Алексѣя Петровича въ головѣ сложилась еще одна фраза, повидимому нелѣпая:

— Думаешь ли ты на самомъ дѣлѣ то, что теперь думаешь?

Она была нелѣпа, но онъ ее понялъ.

— Да, тогда думалъ именно то, что думалъ. Любилъ отца и зналъ, что любишь. Господи! Хоть бы какого нибудь настоящаго, неподдѣльнаго чувства, не умирающаго внутри моего я! Вѣдь есть же міръ! Колоколъ напомнилъ мнѣ про него. Когда онъ прозвучалъ, я вспомнилъ церковь, вспомнилъ толпу, вспомнилъ огромную человѣческую массу, вспомнилъ настоящую жизнь. Вотъ куда нужно уйти отъ себя и вотъ гдѣ нужно любить. И такъ любить, какъ любятъ дѣти. Какъ дѣти... Вѣдь это сказано вотъ тутъ...

Онъ подошелъ къ столу, выдвинулъ одинъ изъ ящиковъ и началъ рыться въ немъ. Маленькая темнозеленая книжка, купленная имъ когда-то на всероссійской выставкѣ за курьезную дешевизну, лежала въ уголку. Онъ съ радостью схватилъ ее. Листки въ два узенькихъ столбца мелкой печати быстро забѣгали подъ его пальцами. знакомыя слова и фразы воскресали въ памяти. Онъ началъ читать съ первой страницы и читалъ все подъ-рядъ, забывъ даже и фразу, изъ-за которой досталъ книгу. А фраза эта была давно знакомая и давно забытая. Когда онъ дошелъ до нея, она поразила его огромностью содержанія, выраженнаго въ восьми словахъ:

„Если не обратитесь и не будете какъ дѣти“...

Ему показалось, что онъ понялъ все.

— Знаю ли я, что́ значатъ эти слова? Обратиться и сдѣлаться какъ дитя!.. Это значитъ не ставить во всемъ на первое мѣсто себя. Вырвать изъ сердца этого скверная божка, уродца съ огромнымъ брюхомъ, это отвратительное *я*, которое, какъ глистъ, сосетъ душу и требуетъ себѣ все новой и новой пищи. Да откуда же я ее возьму? Ты уже все съѣлъ. Всѣ силы, все время были посвящены на служеніе тебѣ. То я кормилъ тебя, то поклонялся тебѣ; хоть ненавидѣлъ тебя, а все-таки поклонялся, принося тебѣ въ жертву все хорошее, что́ мнѣ было дано. И вотъ докланялся, докланялся!..

Онъ повторялъ это слово, продолжая ходить по комнатѣ, но уже безсильною походкою, качаясь какъ пьяный, опустивъ голову на дрожащую рыданьями грудь и не отирая мокраго отъ слезъ лица. Ноги отказывались служить ему; онъ сѣлъ, прижавшись въ уголокъ дивана, облокотился на его ручку и, опустивъ горячую голову на руки, плакалъ какъ дитя. И долго тянулся этотъ упадокъ силъ, но въ немъ уже не были мученья. Смягчилась накипѣвшая, дѣланная злоба: слезы текли, облегчая, и не было стыдно слезъ; передъ всякимъ, кто бы ни вошелъ въ ту минуту, онъ не сталъ бы сдерживать эти слезы, уносившія съ собой ненависть. Онъ почувствовалъ теперь, что

не все еще пожрано идоломъ, которому онъ столько лѣтъ поклонялся, что остались еще любовь и даже самоотверженіе, что стóитъ жить для того, чтобы излить этотъ остатокъ. Куда, на какое дѣло — онъ не зналъ, да въ ту минуту ему и не нужно было знать, куда снести свою повинную голову. Онъ вспомнилъ горе и страданіе, какія довелось ему видѣть въ жизни, настоящее, житейское горе, передъ которымъ всѣ его мученія въ одиночку ничего не значили, и понялъ, что ему нужно идти туда, въ это горе, взять на свою долю часть его— и только тогда въ душѣ его настанетъ миръ.

„Страшно; не могу я больше жить за свой собственный страхъ и счетъ; нужно, непремѣнно нужно связать себя съ общей жизнью, мучиться и радоваться, ненавидѣть и любить не ради своего *я*, все пожирающаго и ничего взамѣнъ не дающаго, а ради общей людямъ правды, которая есть въ мірѣ, что́ бы я тамъ ни кричалъ, и которая говоритъ душѣ, несмотря на всѣ старанія заглушить ее. Да, да!—повторялъ въ страшномъ волненіи Алексѣй Петровичъ—все это сказано въ зеленой книжкѣ, и сказано навсегда и вѣрно. Нужно „отвергнуть себя“, убить свое *я*, бросить на дорогу...“

„Какая же польза тебѣ, безумный?“—шепталъ голосъ.

Но другой, когда-то робкій и неслышный, прогремѣлъ ему въ отвѣтъ:

„Молчи! Какая же будетъ польза ему, если онъ самъ растерзаетъ себя?“

Алексѣй Петровичъ вскочилъ на ноги и выпрямился во весь ростъ. Этотъ доводъ привелъ его въ восторгъ. Такого восторга онъ никогда еще не испыталъ ни отъ жизненнаго успѣха, ни отъ женской любви. Восторгъ этотъ родился въ сердцѣ, вырвался изъ него, хлынулъ горячей, широкой волной, разлился по всѣмъ членамъ, на мгновеніе согрѣлъ и оживилъ закоченѣвшее несчастное существо. Тысячи колоколовъ торжественно зазвонили. Солнце ослѣпительно вспыхнуло, освѣтило весь міръ и исчезло. . . . . .

. . . . . .

Лампа, выгорѣвшая въ долгую ночь, свѣтила все тусклѣе и тусклѣе и наконецъ совсѣмъ погасла. Но въ комнатѣ уже не было темно: начинался день. Его спокойный сѣрый свѣтъ понемногу вливался въ комнату и скудно освѣщалъ заряженное оружіе и письмо съ безумными проклятіями, лежавшее на столѣ, а посреди комнаты—человѣческій трупъ съ мирнымъ и счастливымъ выраженіемъ на блѣдномъ лицѣ.

Attalea Princeps.

Въ одномъ большомъ городѣ былъ ботаническій садъ, а въ этомъ саду — огромная оранжерея изъ желѣза и стекла. Она была очень красива: стройныя витыя колонны поддерживали все зданіе; на нихъ опирались легкія узорчатыя арки, переплетенныя между собою цѣлой паутиной желѣзныхъ рамъ, въ которыя были вставлены стекла. Особенно хороша была оранжерея, когда солнце заходило и освѣщало ее краснымъ свѣтомъ. Тогда она вся горѣла, красные отблески играли и переливались, точно въ огромномъ мелко отшлифованномъ драгоцѣнномъ камнѣ.

Сквозь толстыя прозрачныя стекла виднѣлись заключенныя растенія. Несмотря на величину оранжереи, имъ было въ ней тѣсно. Корни переплелись между собою и отнимали другъ у друга влагу и пищу. Вѣтви деревъ мѣшались съ огромными листьями пальмъ, гнули и ломали ихъ и, сами налегая на желѣзныя рамы, гнулись и ломались. Садовники постоянно обрѣзали вѣтви, подвязывали проволоками листья, чтобы они не могли расти, куда хотятъ, но это плохо помогало. Для растеній нужны были широкій просторъ, родной край и свобода. Они были уроженцы жаркихъ странъ, нѣжныя, роскошныя созданія, они помнили свою родину и тосковали о ней. Какъ ни прозрачна стеклянная крыша, но она

не ясное небо. Иногда, зимой, стекла обмерзали; тогда въ оранжереѣ становилось совсѣмъ темно. Гудѣлъ вѣтеръ, билъ въ рамы и заставлялъ ихъ дрожать. Крыша покрывалась наметеннымъ снѣгомъ. Растенія стояли и слушали вой вѣтра, и вспоминали иной вѣтеръ, теплый, влажный, дававшій имъ жизнь и здоровье. И имъ хотѣлось вновь почувствовать его вѣянье, хотѣлось, чтобы онъ покачалъ ихъ вѣтвями, поигралъ ихъ листьями. Но въ оранжереѣ воздухъ былъ неподвиженъ: развѣ только иногда зимняя буря выбивала стекло, и рѣзкая, холодная струя, полная инея, влетала подъ сводъ. Куда попадала эта струя, тамъ листья блѣднѣли, съеживались и увядали.

Но стекла вставляли очень скоро. Ботаническимъ садомъ управлялъ отличный ученый директоръ и не допускалъ никакого безпорядка, несмотря на то, что бо́льшую часть своего времени проводилъ въ занятіяхъ съ микроскопомъ въ особой стеклянной будочкѣ, устроенной въ главной оранжереѣ.

Была между растеніями одна пальма, выше всѣхъ и красивѣе всѣхъ. Директоръ, сидѣвшій въ будочкѣ, называлъ ее по-латыни Attalea. Но это имя не было ея роднымъ именемъ: его придумали ботаники. Родного имени ботаники не знали, и оно не было написано сажей на бѣлой дощечкѣ, прибитой къ стволу пальмы. Разъ пришелъ въ ботаническій садъ пріѣзжій изъ той жаркой страны, гдѣ выросла пальма; когда онъ увидѣлъ ее, то улыбнулся, потому что она напомнила ему родину.

— А!—сказалъ онъ — я знаю это дерево. — И онъ назвалъ его роднымъ именемъ.

— Извините, — крикнулъ ему изъ своей будочки директоръ, въ это время внимательно разрѣзывавшій бритвою какой-то стебелекъ,—вы ошибаетесь. Такого дерева, какое вы изволили сказать, не существуетъ. Это Attalea princeps, родомъ изъ Бразиліи.

— О, да,—сказалъ бразильянецъ—я вполнѣ вѣрю вамъ, что ботаники называютъ ее Attalea, но у нея есть и родное, настоящее имя.

— Настоящее имя есть то, которое дается наукой,— сухо сказалъ ботаникъ и заперъ дверь своей будочки, чтобы ему не мѣшали люди, не понимающіе даже того, что ужъ если что нибудь сказалъ человѣкъ науки, такъ нужно молчать и слушаться.

А бразильянецъ долго стоялъ и смотрѣлъ на дерево, и ему становилось все грустнѣе и грустнѣе. Вспомнилъ онъ свою родину, ея солнце и небо, ея роскошные лѣса съ чудными звѣрями и птицами, ея пустыни, ея чудныя южныя ночи. И вспомнилъ еще, что нигдѣ онъ не бывалъ счастливъ, кромѣ родного края, а онъ объѣхалъ весь свѣтъ. Онъ коснулся рукою пальмы, какъ будто бы прощаясь съ нею, и ушелъ изъ сада, а на другой день уже уѣхалъ на пароходѣ домой.

А пальма осталась. Ей теперь стало еще тяжелѣе, хотя и до этого случая было очень тяжело. Она была совсѣмъ одна. На пять саженъ возвышалась она надъ верхушками всѣхъ другихъ растеній, и эти другія растенія не любили ее, завидовали ей и считали гордою. Этотъ ростъ доставлялъ ей только одно горе; кромѣ того, что всѣ были вмѣстѣ, а она была одна, она лучше всѣхъ помнила свое родное небо и больше всѣхъ тосковала о немъ, потому что ближе всѣхъ была къ тому, что̀ замѣняло имъ его: къ гадкой стеклянной крышѣ. Сквозь нее ей виднѣлось иногда что-то голубое: то было небо, хоть и чужое, и блѣдное, но все-таки настоящее голубое небо. И когда растенія болтали между собою, Attalea всегда молчала, тосковала и думала только о томъ, какъ хорошо было бы постоять даже и подъ этимъ блѣденькимъ небомъ.

— Скажите, пожалуйста, скоро ли насъ будутъ поливать? — спросила саговая пальма, очень любившая сырость.— Я, право, кажется, засохну сегодня.

— Меня удивляютъ ваши слова, сосѣдушка, — сказалъ пузатый кактусъ. — Неужели вамъ мало того огромнаго количества воды, которое на васъ выливаютъ каждый день? По-

смотрите на меня: мнѣ даютъ очень мало влаги, а я все-таки свѣжъ и соченъ.

— Мы не привыкли быть черезчуръ бережливыми,— отвѣчала саговая пальма — мы не можемъ расти на такой сухой и дрянной почвѣ, какъ какіе нибудь кактусы. Мы не привыкли жить какъ нибудь. Кромѣ всего этого, скажу вамъ еще, что васъ не просятъ дѣлать замѣчанія.

Сказавъ это, саговая пальма обидѣлась и замолчала.

— Что касается меня,—вмѣшалась корица—то я почти довольна своимъ положеніемъ. Правда, здѣсь скучновато, но ужъ я по крайней мѣрѣ увѣрена, что меня никто не обдеретъ.

— Но вѣдь не всѣхъ же насъ обдирали,—сказалъ древовидный папоротникъ. — Конечно, многимъ можетъ показаться раемъ и эта тюрьма послѣ жалкаго существованія, которое они вели на волѣ.

Тутъ корица, забывъ, что ее обдирали, оскорбилась и начала спорить. Нѣкоторыя растенія вступились за нее, нѣкоторыя за папоротникъ, и началась горячая перебранка. Если бы они могли двигаться, то непремѣнно бы подрались.

— Зачѣмъ вы ссоритесь? — сказала Attalea. — Развѣ вы поможете себѣ этимъ? Вы только увеличиваете свое несчастіе злобою и раздраженіемъ. Лучше оставьте ваши споры и подумайте о дѣлѣ. Послушайте меня! Растите выше и шире, раскидывайте вѣтви, напирайте на рамы и стекла: наша оранжерея разсыплется въ куски, и мы выйдемъ на свободу. Если одна какая нибудь вѣтка упрется въ стекло, то конечно ее отрѣжутъ, но что сдѣлаютъ съ сотней сильныхъ и смѣлыхъ стволовъ? Нужно только работать дружнѣе, и побѣда за нами.

Сначала никто не возражалъ пальмѣ; всѣ молчали и не знали, что сказать. Наконецъ саговая пальма рѣшилась.

— Все это глупости,—заявила она.

— Глупости! глупости! — заговорили деревья, и всѣ разомъ начали доказывать Attalea, что она предлагаетъ ужасный вздоръ.—Несбыточная мечта! — кричали они — вздоръ! нелѣ-

ность! Рамы прочны, и мы никогда не сломаемъ ихъ, да если бы и сломали, такъ что-жъ такое? Придутъ люди съ ножами и съ топорами, отрубятъ вѣтви, задѣлаютъ рамы и все пойдетъ по старому. Только и будетъ, что отрѣжутъ отъ насъ цѣлые куски...

— Ну, какъ хотите!—отвѣчала Attalea.—Теперь я знаю, что мнѣ дѣлать. Я оставлю васъ въ покоѣ: живите, какъ хотите, ворчите другъ на друга, спорьте изъ-за подачекъ воды и оставайтесь вѣчно подъ стекляннымъ колпакомъ. Я и одна найду себѣ дорогу. Я хочу видѣть небо и солнце не сквозь эти рѣшетки и стекла—и я увижу!

И пальма гордо смотрѣла зеленой вершиной на лѣсъ товарищей, раскинутый подъ нею. Никто изъ нихъ не смѣлъ ничего сказать ей; только саговая пальма тихо сказала сосѣдкѣ цикадѣ:

— Ну, посмотримъ, посмотримъ, какъ тебѣ отрѣжутъ твою большую башку, чтобы ты не очень зазнавалась, гордячка!

Остальныя хоть и молчали, но все-таки сердились на Attalea за ея гордыя слова. Только одна маленькая травка не сердилась на пальму и не обидѣлась ея рѣчами. Это была самая жалкая и презрѣнная травка изъ растеній оранжереи: рыхлая, блѣдненькая, ползучая, съ вялыми толстенькими листьями. Въ ней не было ничего замѣчательнаго, и она употреблялась въ оранжереѣ только для того, чтобы закрывать голую землю. Она обвивала собою подножіе большой пальмы, слушая ее, и ей казалось, что Attalea права. Она не знала южной природы, но тоже любила воздухъ и свободу. Оранжерея и для нея была тюрьмой. „Если я, ничтожная, вялая травка, такъ страдаю безъ своего сѣренькаго неба, безъ блѣднаго солнца и холоднаго дождя, то что должно испытывать въ неволѣ это прекрасное и могучее дерево!“ Такъ думала она и нѣжно обвивалась около пальмы и ласкалась къ ней. „Зачѣмъ я не большое дерево? Я послушалась бы совѣта. Мы росли бы вмѣстѣ и вмѣстѣ вышли бы на свободу. Тогда и остальныя увидѣли бы, что Attalea права“.

Но она была не большое дерево, а только маленькая и вялая травка. Она могла только еще нѣжнѣе обвиться около ствола Attalea и прошептать ей свою любовь и желаніе счастья въ попыткѣ:

— Конечно, у насъ вовсе не такъ тепло, небо не такъ чисто, дожди не такъ роскошны, какъ въ вашей странѣ, но все-таки и у насъ есть и небо, и солнце, и вѣтеръ. У насъ нѣтъ такихъ пышныхъ растеній, какъ вы и ваши товарищи, съ такими огромными листьями и прекрасными цвѣтами, но и у насъ растутъ очень хорошія деревья: сосны, ели и березы. Я — маленькая травка и никогда не доберусь до свободы, но вѣдь вы такъ велики и сильны! Вашъ стволъ твердъ, и вамъ уже не долго осталось расти до стеклянной крыши. Вы пробьете ее и выйдете на Божій свѣтъ. Тогда вы разскажете мнѣ, все ли тамъ такъ же прекрасно, какъ было. Я буду довольна и этимъ.

— Отчего же, маленькая травка, ты не хочешь выйти вмѣстѣ со мною? Мой стволъ твердъ и крѣпокъ: опирайся на него, ползи по мнѣ. Мнѣ ничего не значитъ снести тебя.

— Нѣтъ, ужъ куда мнѣ! Посмотрите, какая я вялая и слабая: я не могу приподнять даже одной своей вѣточки. Нѣтъ, я вамъ не товарищъ. Растите, будьте счастливы. Только прошу васъ, когда выйдете на свободу, вспоминайте иногда своего маленькаго друга!

Тогда пальма принялась расти. И прежде посѣтители оранжереи удивлялись ея огромному росту, а она становилась съ каждымъ мѣсяцемъ все выше и выше. Директоръ ботаническаго сада приписывалъ такой быстрый ростъ хорошему уходу и гордился знаніемъ, съ какимъ онъ устроилъ оранжерею и велъ свое дѣло.

— Да-съ, взгляните-ка на Attalea princeps, — говорилъ онъ:—такіе рослые экземпляры рѣдко встрѣчаются и въ Бразиліи. Мы приложили все наше знаніе, чтобы растенія развивались въ теплицѣ совершенно такъ же свободно, какъ и на волѣ, и, мнѣ кажется, достигли нѣкотораго успѣха.

При этомъ онъ съ довольнымъ видомъ выхлопывалъ твердое дерево своею тростью, и удары звонко раздавались по оранжереѣ. Листья пальмы вздрагивали отъ этихъ ударовъ. О, если бы она могла стонать, какой вопль гнѣва услышалъ бы директоръ!

„Онъ воображаетъ, что я расту для его удовольствія, — думала Attalea — пусть воображаетъ".

И она росла, тратя всѣ соки только на то, чтобы вытянуться, и лишая ихъ свои корни и листья. Иногда ей казалось, что разстояніе до свода не уменьшается. Тогда она напрягала всѣ силы. Рамы становились все ближе и ближе, и наконецъ молодой листъ коснулся холоднаго стекла и желѣза.

— Смотрите, смотрите,—заговорили растенія — куда она забралась! Неужели рѣшится?

— Какъ она страшно выросла! — сказалъ древовидный папоротникъ.

— Что-жъ, что выросла! Эка невидаль! Вотъ еслибъ она съумѣла растолстѣть такъ, какъ я! — сказала толстая цикада, со стволомъ, похожимъ на бочку.—И чего тянется? Все равно, ничего не сдѣлаетъ. Рѣшетки прочны и стекла толсты.

Прошелъ еще мѣсяцъ. Attalea подымалась. Наконецъ она плотно уперлась въ рамы. Расти дальше было некуда. Тогда стволъ началъ сгибаться. Его лиственная вершина скомкалась, холодные прутья рамы впились въ нѣжные молодые листья, перерѣзали и изуродовали ихъ, но дерево было упрямо, не жалѣло листьевъ, несмотря ни на что, давило на рѣшетки, и рѣшетки уже подавались, хотя были сдѣланы изъ крѣпкаго желѣза.

Маленькая травка слѣдила за борьбой и замирала отъ волненія.

— Скажите мнѣ, неужели вамъ не больно? Если рамы ужъ такъ прочны, не лучше ли отступить?—спросила она пальму.

— Больно? Что значитъ больно, когда я *хочу* выйти на свободу? Не ты ли сама ободряла меня — отвѣтила пальма.

— Да, я ободряла, но я не знала, что это такъ трудно. Мнѣ жаль васъ. Вы такъ страдаете.

— Молчи, слабое растенье! Не жалѣй меня! Я умру или освобожусь!

И въ эту минуту раздался звонкій ударъ. Лопнула толстая желѣзная полоса. Посыпались и зазвенѣли осколки стеколъ. Одинъ изъ нихъ ударилъ въ шляпу директора, выходившаго изъ оранжереи.

— Что это такое? — вскрикнулъ онъ, вздрогнувъ, увидя летящіе по воздуху куски стекла. Онъ отбѣжалъ отъ оранжереи и посмотрѣлъ на крышу. Надъ стекляннымъ сводомъ гордо высилась выпрямившаяся зеленая корона пальмы.

— Только-то?—думала она.—И это все, изъ-за чего я томилась и страдала такъ долго? И этого-то достигнуть было для меня высочайшею цѣлью?“

Была глубокая осень, когда Attalea выпрямила свою вершину въ пробитое отверстіе. Моросилъ мелкій дождикъ пополамъ со снѣгомъ; вѣтеръ низко гналъ сѣрыя клочковыя тучи. Ей казалось, что онѣ охватываютъ ее. Деревья уже оголились и представлялись какими-то безобразными мертвецами. Только на соснахъ да на еляхъ стояли темнозеленыя хвои. Угрюмо смотрѣли деревья на пальму. „Замерзнешь! — какъ будто говорили они ей — ты не знаешь, что такое морозъ, ты не умѣешь терпѣть. Зачѣмъ ты вышла изъ своей теплицы?“

И Attalea поняла, что для нея все было кончено. Она застывала. Вернуться снова подъ крышу? Но она уже не могла вернуться. Она должна была стоять на холодномъ вѣтрѣ, чувствовать его порывы и острое прикосновеніе снѣжинокъ, смотрѣть на грязное небо, на нищую природу, на грязный задній дворъ ботаническаго сада, на скучный огромный городъ, виднѣвшійся въ туманѣ, и ждать, пока люди, тамъ внизу, въ теплицѣ, не рѣшатъ, что дѣлать съ нею.

Директоръ приказалъ спилить дерево. „Можно бы надстроить надъ нею особенный колпакъ,—сказалъ онъ,—но на-

долго ли? Она опять выростетъ и все сломаетъ. И притомъ это будетъ стоить черезчуръ дорого. Спилить ее".

Пальму привязали канатами, чтобы, падая, она не разбила стѣнъ оранжереи, и низко, у самаго корня перепилили ее. Маленькая травка, обвившая стволъ дерева, не хотѣла разстаться со своимъ другомъ и тоже попала подъ пилу. Когда пальму вытащили изъ оранжереи, на отрѣзѣ оставшагося пня валялись размозженные пилою, истерзанные стебельки и листья.

— Вырвать эту дрянь и выбросить,—сказалъ директоръ.— Она уже пожелтѣла, да и пила очень попортила ее. Посадить здѣсь что-нибудь новое.

Одинъ изъ садовниковъ ловкимъ ударомъ заступа вырвалъ цѣлую охапку травы. Онъ бросилъ ее въ корзину, вынесъ и выбросилъ на задній дворъ, прямо на мертвую пальму, лежавшую въ грязи и уже полузасыпанную снѣгомъ.

То, чего не было.

Въ одинъ прекрасный іюньскій день — а прекрасный онъ былъ потому, что было двадцать восемь градусовъ по Реомюру—въ одинъ прекрасный іюньскій день было вездѣ жарко. а на полянкѣ въ саду, гдѣ стояла кошна недавно скошеннаго сѣна, было еще жарче, потому что мѣсто было закрытое отъ вѣтра густымъ, прегустымъ вишнякомъ. Все почти спало: люди наѣлись и занимались послѣобѣденными боковыми занятіями; птицы примолкли, даже многія насѣкомыя попрятались отъ жары. О домашнихъ животныхъ нечего и говорить: скотъ крупный и мелкій прятался подъ навѣсъ; собака, вырывъ себѣ подъ амбаромъ яму, улеглась туда и. полузакрывъ глаза, прерывисто дышала, высунувъ розовый языкъ чуть не на полъ-аршина; иногда она, очевидно отъ тоски, происходящей отъ смертельной жары, такъ зѣвала. что при этомъ даже раздавался тоненькій визгъ; свиньи, маменька съ тринадцатью дѣтками, отправились на берегъ и улеглись въ черную, жирную грязь, при чемъ изъ грязи видны были только сопѣвшіе и храпѣвшіе свиные пятачки съ двумя дырочками, продолговатыя, облитыя грязью спины, да огромныя повислыя уши. Однѣ куры, не боясь жары, кое-какъ убивали время, разгребая лапами сухую землю противъ кухоннаго крыльца, въ которой, какъ онѣ отлично знали, не

было уже ни одного зернышка; да и то пѣтуху, должно быть, приходилось плохо, потому что иногда онъ принималъ глупый видъ и во все горло кричалъ: „какой скандалъ!“

Вотъ мы ушли съ полянки, на которой жарче всего, а на этой-то полянкѣ и сидѣло цѣлое общество неспавшихъ господъ. То-есть сидѣли-то не всѣ; старый гнѣдой, напримѣръ, съ опасностью для своихъ боковъ отъ кнута кучера Антона разгребавшій копну сѣна, будучи лошадью, вовсе и сидѣть не умѣлъ; гусеница какой-то бабочки тоже не сидѣла, а скорѣе лежала на животѣ; но дѣло вѣдь не въ словѣ. Подъ вишнею собралась маленькая, но очень серьезная компанія: улитка, навозный жукъ, ящерица, вышеупомянутая гусеница; прискакалъ кузнечикъ. Возлѣ стоялъ и старый гнѣдой, прислушиваясь къ ихъ рѣчамъ однимъ, повернутымъ къ нимъ, гнѣдымъ ухомъ, съ торчащими изнутри темно-сѣрыми волосами; а на гнѣдомъ сидѣли двѣ мухи.

Компанія вѣжливо, но довольно одушевленно спорила, при чемъ, какъ и слѣдуетъ быть, никто ни съ кѣмъ не соглашался, такъ какъ каждый дорожилъ независимостью своего мнѣнія и характера.

— По-моему, — говорилъ навозный жукъ — порядочное животное прежде всего должно заботиться о своемъ потомствѣ. Жизнь есть трудъ для будущаго поколѣнія. Тотъ, кто сознательно исполняетъ обязанности, возложенныя на него природой, тотъ стоитъ на твердой почвѣ: онъ знаетъ свое дѣло, и что́ бы ни случилось, не будетъ въ отвѣтѣ. Посмотрите на меня: кто трудится больше моего? Кто цѣлые дни безъ отдыха катаетъ такой тяжелый шаръ — шаръ, мною же столь искусно созданный изъ навоза, съ великой цѣлью дать возможность вырости новымъ, подобнымъ мнѣ, навознымъ жукамъ? Но зато не думаю, чтобы кто нибудь былъ такъ спокоенъ совѣстью и съ чистымъ сердцемъ могъ бы сказать: „да, я сдѣлалъ все, что́ могъ и долженъ былъ сдѣлать“, какъ скажу я, когда на свѣтъ явятся новые навозные жуки. Вотъ что значитъ трудъ!

— Поди ты, братецъ, съ своимъ трудомъ! — сказалъ муравей, притащившій во время рѣчи навознаго жука, несмотря на жару, чудовищный кусокъ сухого стебля. Онъ на минуту остановился, присѣлъ на четыре заднія ножки, а двумя передними отеръ потъ съ своего измученнаго лица. — И я вѣдь тружусь, и побольше твоего! Но ты работаешь для себя, или, все равно, для своихъ жученятъ; не всѣ такъ счастливы... попробовалъ бы ты потаскать бревна для казны, вотъ какъ я. Я и самъ не знаю, что̀ заставляетъ меня работать, выбиваясь изъ силъ, даже и въ такую жару... Никто за это и спасибо не скажетъ. Мы, несчастные рабочіе муравьи, всѣ трудимся, а чѣмъ красна наша жизнь? Судьба!..

— Вы, навозный жукъ, слишкомъ сухо, а вы, муравей, слишкомъ мрачно смотрите на жизнь, — возразилъ имъ кузнечикъ. — Нѣтъ, жукъ, я люблю-таки потрещать и попрыгать, и ничего — совѣсть не мучитъ! Да притомъ вы нисколько не коснулись вопроса, поставленнаго г-жей ящерицей: она спросила, „что̀ есть міръ“, а вы говорите о своемъ навозномъ шарѣ: это даже невѣжливо. Міръ, по-моему, очень хорошая вещь уже потому, что въ немъ есть для насъ молодая травка, солнце и вѣтерокъ. Да и великъ же онъ! Вы здѣсь, между этими деревьями, не можете имѣть никакого понятія о томъ, какъ онъ великъ. Когда я бываю въ полѣ, я иногда вспрыгиваю, какъ только могу, вверхъ и, увѣряю васъ, достигаю огромной высоты. И съ нея-то я вижу, что міру нѣтъ конца.

— Вѣрно, — глубокомысленно подтвердилъ гнѣдой. — Но всѣмъ вамъ все-таки не увидѣть и сотой части того, что̀ видѣлъ на своемъ вѣку я. Жаль, что вы не можете понять, что̀ такое верста... За версту отсюда есть деревня Лупаревка: туда я каждый день ѣзжу съ бочкой за водой. Но тамъ меня никогда не кормятъ. А съ другой стороны Ефимовка, Кисляковка; въ ней церковь съ колоколами. А потомъ Свято-Троицкое, а потомъ Богоявленскъ. Въ Богоявленскѣ мнѣ всегда даютъ сѣна, но сѣно тамъ плохое. А

вотъ въ Николаевѣ—это такой городъ, двадцать восемь верстъ отсюда — такъ тамъ сѣно лучше и овесъ даютъ, только я не люблю туда ѣздить: туда ѣздитъ на насъ баринъ и велитъ кучеру погонять, а кучеръ больно стегаетъ насъ кнутомъ... А то есть еще Александровка, Бѣлозерка, Херсонъ — городъ тоже... Да только куда вамъ понять все это! Вотъ это-то и есть міръ; не весь, положимъ, ну, да все-таки значительная часть.

И гнѣдой замолчалъ, но нижняя губа у него все еще шевелилась, точно онъ что нибудь шепталъ. Это происходило отъ старости: ему былъ уже семнадцатый годъ, а для лошади это все равно, что для человѣка семьдесятъ седьмой.

— Я не понимаю вашихъ мудреныхъ лошадиныхъ словъ, да, признаться, и не гонюсь за ними, — сказала улитка. — Мнѣ былъ бы лопухъ, а его довольно: вотъ уже я четыре дня ползу, а онъ все еще не кончается. А за этимъ лопухомъ есть еще лопухъ, а въ томъ лопухѣ навѣрно сидитъ еще улитка. Вотъ вамъ и все. И прыгать никуда не нужно— все это выдумки и пустяки; сиди себѣ да ѣшь листъ, на которомъ сидишь. Если бы не лѣнь ползти, давно бы ушла отъ васъ съ вашими разговорами: отъ нихъ голова болитъ, и больше ничего.

— Нѣтъ, позвольте, отчего же? — перебилъ кузнечикъ — потрещать очень пріятно, особенно о такихъ хорошихъ предметахъ, какъ безконечность и прочее такое. Конечно, есть практическія натуры, которыя только и заботятся о томъ, какъ бы набить себѣ животъ, какъ вы, или вотъ эта прелестная гусеница...

— Ахъ, нѣтъ, оставьте меня, прошу васъ, оставьте, не троньте меня!—жалобно воскликнула гусеница — я дѣлаю это для будущей жизни, только для будущей жизни.

— Для какой тамъ еще будущей жизни? — спросилъ гнѣдой.

— Развѣ вы не знаете, что я послѣ смерти сдѣлаюсь бабочкой съ разноцвѣтными крыльями?

Гнѣдой, ящерица и улитка этого не знали, но насѣкомыя имѣли кое-какое понятіе. И всѣ немного помолчали, потому что никто не умѣлъ сказать ничего путнаго о будущей жизни.

— Къ твердымъ убѣжденіямъ нужно относиться съ уваженіемъ, — затрещалъ наконецъ кузнечикъ. — Не желаетъ ли кто сказать еще что нибудь? Можетъ быть, вы?—обратился онъ къ мухамъ, и старшая изъ нихъ отвѣтила:

— Мы не можемъ сказать, чтобы намъ было худо. Мы сейчасъ только изъ комнатъ; барыня разставила въ мискахъ наваренное варенье, и мы забрались подъ крышку и наѣлись. Мы довольны. Наша маменька увязла въ вареньѣ, но что-жъ дѣлать? Она уже довольно пожила на свѣтѣ. А мы довольны.

— Господа, — сказала ящерица — я думаю, что всѣ вы совершенно правы! Но, съ другой стороны...

Но ящерица такъ и не сказала, что́ было съ другой стороны, потому что почувствовала, какъ что-то крѣпко прижало ея хвостъ къ землѣ.

Это пришелъ за гнѣдымъ проснувшійся кучеръ Антонъ; онъ нечаянно наступилъ своимъ сапожищемъ на компанію и раздавилъ ее. Однѣ мухи улетѣли обсасывать свою мертвую, обмазанную вареньемъ маменьку, да ящерица убѣжала съ оторваннымъ хвостомъ. Антонъ взялъ гнѣдого за чубъ и повелъ его изъ сада, чтобы запрячь въ бочку и ѣхать за водой, при чемъ приговаривалъ: „ну, иди, ты, хвостяка!“ на что гнѣдой отвѣчалъ только шептаньемъ.

А ящерица осталась безъ хвоста. Правда, черезъ нѣсколько времени онъ выросъ, но навсегда остался какимъ-то тупымъ и черноватымъ. И когда ящерицу спрашивали, какъ она повредила себѣ хвостъ, то она скромно отвѣчала:

— Мнѣ оторвали его за то, что я рѣшилась высказать свои убѣжденія.

И она была совершенно права.

Денщикъ и Офицеръ.

— Раздѣнься! — сказалъ докторъ Никитѣ, неподвижно стоявшему, устремивъ глаза въ неизвѣстную далекую точку.

Никита вздрогнулъ и торопливо началъ разстегиваться.

— Живѣй, братецъ! — нетерпѣливо крикнулъ докторъ — видишь, сколько васъ здѣсь.

Онъ показалъ на толпу, наполнявшую присутствіе.

— Поворачивайся... очумѣлъ!.. — заговорилъ въ помощь ему унтеръ-офицеръ, приставленный къ мѣркѣ.

Никита заторопился, сбросилъ рубашку и штаны и остался совершенно нагимъ. Нѣтъ ничего прекраснѣе человѣческаго тѣла, множество разъ было говорено кѣмъ-то, когда-то и гдѣ-то; но если бы тотъ, кто въ первый разъ произнесъ это изреченіе, жилъ въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія и увидѣлъ голаго Никиту, онъ навѣрно взялъ бы свои слова назадъ.

Передъ присутствіемъ по воинской повинности стоялъ низенькій человѣкъ съ несоразмѣрно большимъ животомъ, унаслѣдованнымъ отъ десятковъ поколѣній предковъ, не ѣвшихъ чистаго хлѣба, съ длинными, вялыми руками, снабженными огромными черными и заскорузлыми кистями. Его длинное, неуклюжее туловище поддерживали очень короткія кривыя ноги, а всю фигуру вѣнчала голова... Что это была за

голова! Личныя кости были развиты совершенно въ ущербъ черепу; лобъ узокъ и низокъ; глаза, безъ бровей и рѣсницъ, едва прорѣзывались; на огромномъ плоскомъ лицѣ сиротливо сидѣлъ крошечный круглый носъ, хотя и задранный вверхъ, но не только не придававшій лицу выраженія высокомѣрія, а напротивъ, дѣлавшій его еще болѣе жалкимъ; ротъ, въ противность носу, былъ огроменъ и представлялъ собою безформенную щель, вокругъ которой, несмотря на двадцатилѣтній возрастъ Никиты, не сидѣло ни одного волоска. Никита стоялъ, понуривъ голову, сдвинувъ плечи, повѣсивъ плетями руки и поставивъ ступни носками немного внутрь.

— Обезьяна, — сказалъ полненькій, живой полковникъ, воинскій начальникъ, наклонясь къ молодому и тощему, съ красивой бородой, члену земской управы—совершенная обезьяна.

— Превосходное подтвержденіе теоріи Дарвина, — процѣдилъ членъ, на что полковникъ одобрительно помычалъ и обратился къ доктору.

— Да что, конечно годенъ! Парень здоровый, — сказалъ тотъ.

— Но только въ гвардію не попадетъ, ха, ха, ха! — добродушно и звонко закатился полковникъ; потомъ, обратясь къ Никитѣ, прибавилъ спокойнымъ тономъ: — Чрезъ недѣлю явись. Слѣдующій, Парфенъ Семеновъ, раздѣвайся!

Никита началъ мѣшкотно одѣваться, руки и ноги не слушались его и не попадали туда, куда имъ слѣдовало. Онъ шепталъ что-то про себя, но что́ именно — должно быть, и самъ не зналъ; онъ понялъ только, что его признали годнымъ къ службѣ и что черезъ двѣ недѣли его погонятъ изъ дома на нѣсколько лѣтъ. Только одно это и было у него въ головѣ, только одна эта мысль и пробивалась сквозь туманъ и оцѣпенѣніе, въ которомъ онъ находился. Наконецъ онъ справился съ руками, опоясался и пошелъ изъ комнаты, гдѣ происходило освидѣтельствованіе. Старикъ лѣтъ шестидесятипяти, маленькій, совсѣмъ согнутый, встрѣтилъ его въ сѣняхъ.

— Забрили?—спросилъ онъ.

Никита не отвѣчалъ, и старикъ понялъ, что забрили, и не сталъ разспрашивать. Они вышли на улицу. Былъ ясный, морозный день. Толпа мужиковъ и бабъ, пріѣхавшихъ съ молодежью, стояла въ ожиданіи. Многіе топтались и хлопали руками; снѣгъ хрустѣлъ подъ лаптями и сапогами. Паръ валилъ отъ закутанныхъ головъ и маленькихъ, лохматыхъ лошаденокъ, дымъ поднимался изъ трубъ городка прямыми высокими столбами.

— Взяли, Иванъ, твоего-то? — спросилъ старика дюжій мужикъ въ новой дубленкѣ, большой бараньей шапкѣ и хорошихъ сапогахъ.

— Взяли; Илья Савельичъ, взяли. Захотѣлъ Господь обидѣть...

— Что-жъ ты теперь дѣлать будешь?

— Что-жъ тутъ дѣлать... Воля Господня... Одинъ въ семьѣ былъ помощникъ, и того нѣтъ...

Иванъ развелъ руками.

— Тебѣ бы его раньше усыновить,—внушительно сказалъ Илья Савельичъ—вотъ парень и былъ бы цѣлъ.

— Кто же его зналъ! Ничего намъ этого неизвѣстно. Опять же онъ у меня замѣсто сына, одинъ работникъ въ семьѣ!.. Думалъ такъ, что господа уважатъ. „Ничего, говоритъ, невозможно, потому — законъ такой“. Какъ же, ваше благородіе, говорю, законъ, когда у него жена тяжелая? Опять же мнѣ, говорю, ваше благородіе, одному невозможно...—„Ничего, говоритъ, мы этого, старичокъ, не знаемъ, а по закону, какъ есть, онъ сирота, одиночка — долженъ на службу. Кто виноватъ, говоритъ, что у него жена и сынъ; вы бы еще пятнадцатилѣтнихъ вѣнчали“. Я ему еще сказать хотѣлъ, такъ онъ и слушать не сталъ. Осерчалъ. „Отстань, говоритъ, тутъ и безъ тебя дѣла много“... Что ты станешь дѣлать... Божья воля!

— Парень-то онъ у тебя смирный.

— Смирный, да работящій, и Боже мой! Слова супро-

тивнаго отъ него не слыхалъ! Я, Илья Савельичъ, такъ скажу: лучше родного онъ мнѣ былъ. То-то и горе наше... Богъ послалъ, Богъ и взялъ!.. Прощайте, Илья Савельичъ, вашего-то, поди, не скоро осмотрятъ?

— Какъ начальство!.. Но только моего годнымъ признать нельзя—хромъ.

— Ваше счастье, Илья Савельичъ.

— Побойся ты Бога, что ты городишь! Эко счастье, что сынъ хромой уродился.

— Что же, Илья Савельичъ, оно къ лучшему выходитъ: все-жъ дома парень останется. Прощайте, будьте здоровы.

— Прощай, братъ... Что-жъ ты, должокъ-то забываешь, что-ль?

— Никакъ невозможно, Илья Савельичъ, то-есть — вотъ какъ, никакъ нельзя! Ужъ вы малость пообождите. Горе-то у насъ такое!

— Ну, ладно, ладно, поговоримъ еще. Прощай, Иванъ Петровичъ.

— Прощайте, Илья Савельичъ, будьте здоровы.

Никита въ это время отвязалъ отъ тумбы лошадь; они съ пріемнымъ отцомъ усѣлись въ сани и поѣхали. До ихъ деревни было верстъ пятнадцать. Лошаденка бойко бѣжала, взбивая копытами комья снѣга, которые налету разсыпались, обдавая Никиту. А Никита улегся около отца, завернувшись въ армякъ, и молчалъ. Старикъ раза два заговаривалъ съ нимъ, но онъ не отвѣчалъ. Онъ точно застылъ и смотрѣлъ неподвижно на снѣгъ, какъ будто ища въ немъ точку, забытую имъ въ комнатахъ присутствія.

Пріѣхали, вошли въ избу, сказали. Семья, состоящая, кромѣ мужчинъ, изъ трехъ бабъ и троихъ дѣтей, оставшихся отъ умершаго въ прошломъ году сына Ивана Петровича, начала выть. Прасковья, Никитина жена, сомлѣла. Бабы выли цѣлую недѣлю.

Какъ прошла эта недѣля для Никиты — извѣстно одному Богу, потому что онъ все время молчалъ, храня на своемъ

лицѣ одно и то же застывшее выраженіе покорнаго отчаянія.

Наконецъ все было кончено. Иванъ свезъ новобранца въ городъ и сдалъ его на сборный пунктъ. Черезъ два дня Никита съ партіей новобранцевъ шагалъ по сугробамъ большой дороги въ губернскій городъ, гдѣ стоялъ полкъ, въ который онъ былъ назначенъ. Одѣтъ онъ былъ въ новый коротенькій полушубокъ, въ шаровары изъ толстаго чернаго сукна, новые валенки, шапку и рукавицы. Въ его котомкѣ, кромѣ двухъ перемѣнъ бѣлья и пироговъ, лежала еще тщательно завернутая въ платокъ рублевая бумажка. Всѣмъ этимъ надѣлилъ своего пріемыша Иванъ Петровичъ, умолившій Илью Савельича дать ему еще взаймы, чтобы обрядить Никиту на службу.

Никита оказался самымъ плохимъ молодымъ солдатомъ. Дядька, которому его отдали для первоначальнаго обученія, былъ въ отчаяніи. Несмотря на всевозможныя вразумленія, дѣлавшіяся имъ Никитѣ, въ числѣ которыхъ нѣкоторую роль играли подзатыльники и затрещины, его ученикъ никакъ не могъ вполнѣ постигнуть даже нехитрую премудрость сдвоиванія рядовъ. Фигура Никиты, наряженнаго въ солдатское платье, была самая жалкая; во фронтѣ то у него выпячивался животъ, то, подбирая его, онъ выдавался впередъ всей грудью, наклоняясь всѣмъ тѣломъ и рискуя шлепнуться лицомъ о землю. Какъ ни билось начальство, оно не могло сдѣлать изъ Никиты даже самаго посредственнаго фронтовика. На ротныхъ ученьяхъ командиръ, разругавъ Никиту, распекалъ взводнаго унтеръ-офицера, и взводный взыскивалъ съ того же Никиты. Взысканіе состояло въ назначеніи на дневальство не въ очередь. Скоро однако унтеръ-офицеръ догадался, что лишнее дневальство было для Никиты не наказаніемъ, а удовольствіемъ. Онъ былъ прекрасный работникъ, и исполненіе обязанностей дневальнаго, состоявшихъ въ носкѣ дровъ и воды, топкѣ печей и, главнымъ образомъ,

въ содержаніи казармъ въ чистотѣ, т.-е. въ безпрерывномъ шарканьѣ мокрой шваброй по полу, было ему по душѣ. Во время работы на немъ по крайней мѣрѣ не лежало обязанности думать, какъ бы не сбиться и не повернуться налѣво, когда командуютъ направо, и, кромѣ того, онъ чувствовалъ себя совершенно свободнымъ отъ страшныхъ вопросовъ по великомудрой наукѣ, называемой у солдатъ словесностью: „Что̀ есть солдатъ?“ „Что̀ есть знамя?“

Никита очень хорошо знаетъ, что̀ такое солдатъ и что̀ такое знамя; онъ готовъ со всевозможнымъ усердіемъ исполнять свои солдатскія обязанности и вѣроятно отдалъ бы жизнь, защищая знамя; но изложить по книжному, обстоятельно, какъ требуетъ того словесность, что̀ такое знамя — выше его силъ.

— Знамя есть, которое хорю... хоругъ...—лепечетъ онъ, стараясь какъ можно болѣе вытянуть въ струнку свое неуклюжее тѣло, поднявъ подбородокъ кверху и моргая лишенными рѣсницъ вѣками.

— Дуракъ! — кричитъ чахоточный унтеръ-офицеръ, обучающій словесности. — Что вы, аспиды, со мной дѣлаете?... Долго ли мнѣ съ вами мучиться, идолы вы, мужичье сиволапое? Тьфу! Который разъ тебѣ повторять надо? Ну, говори за мной: знамя есть священная хоругвь.

Никита не можетъ повторить даже этихъ четырехъ словъ. Грозный видъ унтеръ-офицера и его крикъ дѣйствуютъ на него ошеломляющимъ образомъ; въ ушахъ у него звенитъ; въ глазахъ прыгаютъ знамена и искры; онъ не слышитъ мудренаго опредѣленія знамени; его губы не двигаются. Онъ стоитъ и молчитъ.

— Говори же, чортъ тебя возьми: знамя есть священная хоругвь.

— Знамя...

— Ну?...

— Хорюгъ...—продолжаетъ Никита. Голосъ его дрожитъ, на глазахъ слезы.

— Есть священная хоругвь! — кричитъ взбѣшенный унтеръ-офицеръ.

— Священная, которая....

Унтеръ-офицеръ бѣгаетъ изъ угла въ уголъ, плюетъ и ругается. Никита стоитъ на томъ же мѣстѣ и въ той же позѣ, слѣдя глазами за разсерженнымъ начальникомъ. Онъ не возмущенъ бранью и оскорбленіями, и только всею душею горюетъ о своей неспособности „заслужить“ начальству.

— На три дневальства не въ очередь! — говоритъ упавшимъ голосомъ искричавшійся, измученный унтеръ-офицеръ, и Никита благодаритъ Бога, избавившаго его хоть на время отъ ненавистной „словесности“ и ученья.

Когда начальство замѣтило, что наказаніе, налагаемое имъ на Никиту, не только не причиняетъ ему огорченія, а даже доставляетъ радость, Никита началъ сидѣть подъ арестомъ. Наконецъ, испробовавъ всѣ средства для исправленія несчастнаго, на него махнули рукой.

— Съ Ивановымъ, ваше благородіе, ничего не подѣлаешь, — говоритъ почти каждый день на утреннемъ докладѣ ротному командиру фельдфебель.

— Съ Ивановымъ?.. Да, да... Что же онъ такое дѣлаетъ? — отвѣчаетъ капитанъ, сидящій въ халатѣ, съ папироскою, и прихлебывающій чай изъ стакана въ мельхіоровомъ подстаканникѣ.

— Ничего, ваше благородіе, не дѣлаетъ, человѣкъ онъ смирный, только понятія у него ни къ чему нѣтъ.

— Попробуй какъ нибудь, — говоритъ ротный, задумчиво выпустивъ изо рта колечко табачнаго дыма.

— Пробовали, ваше благородіе, да ничего не выходитъ.

— Ну, такъ что-жъ мнѣ съ нимъ дѣлать? Вѣдь согласись, Житковъ, я не Богъ. А? Ну, дуракъ, такъ что же съ нимъ подѣлаешь!.. Ну, ступай.

— Счастливо оставаться, ваше благородіе.

Наконецъ ротному надоѣло выслушивать каждый день жалобы фельдфебеля на Никиту.

— Отстань ты съ своимъ Ивановымъ!—крикнулъ онъ.— Ну, не выводи его на ученье, плюнь на него. Сдѣлай съ нимъ что хочешь, только не лѣзь съ нимъ ко мнѣ...

Фельдфебель попытался было устроить переводъ Никиты Иванова въ нестроевую роту, но тамъ и безъ того было много людей. Отдать его въ денщики тоже не удалось, потому что у всѣхъ офицеровъ денщики уже были. Тогда на Никиту навалили черную работу, оставивъ всѣ попытки сдѣлать изъ него солдата. Такъ онъ прожилъ годъ, до тѣхъ поръ, пока въ роту не былъ назначенъ новый субалтернъ-офицеръ, прапорщикъ Стебельковъ.

Никиту отдали къ нему „постояннымъ вѣстовымъ", т.-е. попросту, денщикомъ.

Александръ Михайловичъ Стебельковъ, новый хозяинъ Никиты, былъ очень добрый молодой человѣкъ, средняго роста, съ бритымъ подбородкомъ и великолѣпно вытянутыми, какъ острыя палочки, усами, которыхъ онъ иногда не безъ удовольствія слегка касался лѣвою рукою. Онъ только что кончилъ курсъ юнкерскаго училища, не выказавъ въ теченіе пребыванія въ немъ особеннаго пристрастія къ наукамъ, но зато въ совершенствѣ познавъ строевую службу. Онъ былъ совершенно счастливъ въ своемъ настоящемъ положеніи. Два года, проведенные въ училищѣ на казенномъ содержаніи, подъ строгимъ надзоромъ начальства, совершенное отсутствіе знакомыхъ, гдѣ можно было бы отдохнуть въ праздничные дни отъ казарменной жизни училища, ни копѣйки собственныхъ денегъ, съ помощью которыхъ онъ могъ бы доставить себѣ какое нибудь развлеченіе—все это слишкомъ утомило его. И теперь, увидѣвъ себя офицеромъ, человѣкомъ, получающимъ до сорока рублей въ мѣсяцъ содержанія, имѣющимъ команду надъ полуротою солдатъ и въ полномъ своемъ распоряженіи денщика, онъ пока не желалъ ничего болѣе. „Хорошо, очень хорошо",—думалъ онъ, засыпая, и просыпаясь, прежде

всего вспоминалъ, что онъ уже не юнкеръ, а офицеръ, что ему уже не надо тотчасъ же вскакивать съ постели и одѣваться, подъ опасеніемъ нагоняя отъ дежурнаго офицера, а можно еще поваляться, понѣжиться и выкурить папиросу.

— Никита!—кричитъ онъ.

Никита, въ полинялой розовой ситцевой рубашкѣ, въ черныхъ суконныхъ штанахъ и неизвѣстно гдѣ добытыхъ имъ старыхъ глубокихъ резиновыхъ калошахъ на босую ногу, появляется въ дверяхъ, ведущихъ изъ единственной комнаты квартиры Стебелькова въ переднюю.

— Холодно сегодня?

— Не могу знать, ваше благородіе, — робко отвѣчаетъ Никита.

— Поди, погляди и скажи мнѣ.

Никита немедленно отправляется на морозъ и по прошествіи минуты снова является въ дверяхъ передней.

— Дюже холодно, ваше благородіе.

— Вѣтеръ есть?

— Не могу знать, ваше благородіе.

— Дуракъ, какъ же ты не можешь знать? Вѣдь былъ на дворѣ...

— На дворѣ нѣтути, ваше благородіе.

— „Нѣтути, нѣтути“!.. Поди на улицу!

Никита идетъ на улицу и приходитъ съ докладомъ, что „вѣтеръ здоровый“.

— Ученья не будетъ, ваше благородіе. Сидоровъ сказывалъ,—осмѣливается дополнить онъ.

— Хорошо, ступай,—говоритъ Александръ Михайловичъ.

Онъ свертывается въ комокъ, натягиваетъ на себя теплое байковое одѣяло и въ полудремотѣ начинаетъ мечтать подъ трескъ ярко горящей печки, затопленной Никитою. Юнкерская жизнь представляется ему какимъ-то непріятнымъ сномъ... Вѣдь вотъ, какъ недавно это было: бьетъ барабанъ надъ самымъ ухомъ, вскакиваешь, дрожишь отъ холода... За этими воспоминаніями встаютъ другія, тоже не особенно

пріятныя. Бѣдность, жалкая обстановка мелкихъ чиновниковъ, всегда угрюмая мать, высокая тощая женщина съ строгимъ выраженіемъ на худомъ лицѣ, постоянно будто бы говорившемъ: „пожалуйста, я не позволю всякому оскорблять меня!“ Куча братьевъ и сестеръ, ссоры между ними, жалобы матери на судьбу и брань между нею и отцомъ, когда онъ являлся пьянымъ... Гимназія, въ которой было такъ трудно учиться, несмотря на всѣ старанія; товарищи, преслѣдовавшіе его и неизвѣстно по какой причинѣ называвшіе его крайне обиднымъ названіемъ—„селедкою“; невыдержанный экзаменъ изъ русскаго языка; тяжелая унизительная сцена, когда онъ, выключенный изъ гимназіи, пришелъ домой весь въ слезахъ. Отецъ спалъ на клеенчатомъ диванѣ пьяный, мать возилась въ кухнѣ у печки, готовя обѣдъ. Увидя Сашу, входящаго съ книжками и въ слезахъ, она поняла что́ случилось — и набросилась на мальчугана съ ругательствами, потомъ кинулась къ отцу, разбудила его, втолковала ему въ чемъ дѣло, и отецъ побилъ мальчика.

Сашѣ было тогда пятнадцать лѣтъ. Черезъ два года онъ поступилъ на правахъ вольноопредѣляющагося въ военную службу, а къ двадцати годамъ былъ уже самостоятельнымъ человѣкомъ, прапорщикомъ пѣхотнаго полка...

„Хорошо, — думается ему подъ одѣяломъ. — Сегодня вечеромъ въ клубъ... танцы...“

И представляется Александру Михайловичу залъ офицерскаго клуба, полный свѣта, жары, музыки и барышень, которыя сидятъ цѣлыми клумбами вдоль стѣнъ и только ждутъ, чтобы ловкій молодой офицеръ пригласилъ на нѣсколько туровъ вальса. И Стебельковъ, щелкнувъ каблуками („жаль, чортъ возьми, шпоръ нѣтъ!“), ловко изгибается передъ хорошенькою маіорскою дочерью, граціозно развѣсивъ руки, говоритъ: „permettez“, и маіорская дочь кладетъ ему ручку около эполета, и они несутся, несутся, несутся...

„Да, это не то, что—селедка. И какъ глупо: ну, почему я селедка? Вотъ тѣ-то, не селедки, тамъ гдѣ нибудь на пер-

вомъ курсѣ въ университетѣ сидятъ, голодаютъ, а я... И чего это они непремѣнно въ университетъ? Положимъ, что жалованья судебный слѣдователь или докторъ получаетъ побольше моего, но вѣдь сколько времени нужно добиваться... и все это время на свой счетъ живи. То ли дѣло у насъ: только поступи въ училище, а тамъ ужъ самъ поѣдешь; если будешь хорошо служить, то можно и до генерала... Ухъ, тогда задалъ бы я!.." Александръ Михайловичъ и самъ не высказалъ себѣ, кому бы именно онъ задалъ, но воспоминаніе о „не селедкахъ" въ это мгновеніе мелькнуло у него въ душѣ.

— Никита!—кричитъ онъ—чай у насъ есть?

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, весь вышелъ.

— Сходи, возьми осьмушку.

Онъ достаетъ изъ-подъ подушки новенькій кошелекъ и даетъ Никитѣ деньги.

Никита идетъ за чаемъ. Александръ Михайловичъ продолжаетъ свои размышленія, и пока Никита вернулся съ чаемъ, баринъ уже успѣлъ снова уснуть.

— Ваше благородіе, ваше благородіе,—шепчетъ Никита.

— Что? А? Принесъ? Хорошо, я сейчасъ встану... Давай одѣваться.

Александръ Михайловичъ ни дома, ни въ училищѣ никогда не одѣвался иначе, какъ самъ (исключая, разумѣется, младенческаго возраста), но получивъ въ свое распоряженіе денщика, онъ въ двѣ недѣли совершенно разучился надѣвать и снимать платье. Никита натягиваетъ на его ноги носки, сапоги, помогаетъ надѣвать брюки, накидываетъ ему на плечи лѣтнюю шинель, служащую вмѣсто халата. Александръ Михайловичъ, не умываясь, садится пить чай.

Приносятъ литографированный приказъ по полку, и Стебельковъ, прочитывая его отъ первой строчки до послѣдней, съ удовольствіемъ видитъ, что его очередь идти въ караулъ еще далеко. — „А это еще что за новости?" — думаетъ онъ читая:

„Въ видахъ поддержанія уровня знаній господъ офице-

ровъ, предлагаю штабсъ-капитану Ермолину и поручику Петрову 2-му съ будущей недѣли начать чтеніе лекцій — первому по тактикѣ, а второму по фортификаціи. О времени чтенія, имѣющаго происходить въ залѣ офицерскаго собранія, будетъ мною объявлено особымъ по полку приказомъ".

— Ну, вотъ ужъ Богъ знаетъ что: ходить слушать тактику да фортификацію!—думаетъ Александръ Михайловичъ.— Мало онѣ въ училищѣ надоѣли! Да и ничего новаго не скажутъ, будутъ читать по старымъ запискамъ.

Прочитавъ приказъ и кончивъ пить чай, Александръ Михайловичъ приказываетъ Никитѣ убрать самоваръ и садится набивать папиросы, продолжая безконечныя размышленія о своемъ прошломъ, настоящемъ и будущемъ, которое сулитъ ему если не генеральскіе жирные, то по крайней мѣрѣ штабъ-офицерскіе густые эполеты. А когда всѣ папиросы набиты, онъ ложится на постель и читаетъ „Ниву" за прошлый годъ, разсматривая давно уже пересмотрѣнныя картинки и не пропуская ни одной строчки текста. Наконецъ, отъ долгаго лежанья и чтенія „Нивы" у него начинаетъ мутить въ головѣ.

— Никита!—кричитъ онъ.

Никита вскакиваетъ съ постланной на полу передней у печки шинели, служащей ему постелью, и кидается къ барину.

— Посмотри, который часъ... Нѣтъ, лучше дай мнѣ сюда часы.

Никита бережно беретъ со стола серебряные часы съ цѣпочкой изъ новаго золота и, подавъ ихъ барину, снова удаляется въ переднюю на свою шинель.

„Половина второго... Не пора ли идти обѣдать?" думаетъ Стебельковъ, заводя часы бронзовымъ ключикомъ, который онъ только что пріобрѣлъ и въ головкѣ котораго вставлена маленькая фотографическая картинка, видимая въ увеличенномъ видѣ, если разсматривать ее на свѣтъ. Александръ Михайловичъ смотритъ картинку, прищуривъ лѣвый глазъ, и улыбается. Какія славныя штучки нынче дѣлаютъ, право! И

какъ ухитряются... въ такомъ маленькомъ видѣ? — приходитъ ему въ голову... Однако, нужно идти...—Никита!—кричитъ онъ.

Никита появляется.

— Давай умываться.

Никита приноситъ въ комнату некрашеный табуретъ съ поставленной на немъ лоханкой съ рукомойникомъ. Александръ Михайловичъ начинаетъ умываться. Чуть только касается его рукъ ледяная вода, онъ вскрикиваетъ:

— Сколько разъ я тебѣ, болванъ, говорилъ, чтобы ты оставлялъ воду на ночь въ комнатѣ! Вѣдь этакъ рожу заморозишь... дуракъ...

Никита молчитъ въ полномъ сознаніи вины и усердно подливаетъ воду на ладони разсердившагося господина.

— Сюртукъ вычистилъ?

— Точно такъ, ваше благородіе, вычистилъ, — говоритъ Никита и подаетъ барину висѣвшій на спинкѣ стула новенькій сюртукъ съ блестящими золотыми погонами, украшенными цифрой и одной серебряной звѣздочкой. Прежде чѣмъ надѣть его, Александръ Михайловичъ внимательно разсматриваетъ темнозеленое сукно и находитъ пушинку.

— Это что такое? Это развѣ значитъ чистить? Такъ ты исполняешь свои обязанности? Пошелъ, дуракъ, почисть еще.

Никита идетъ въ переднюю и начинаетъ извлекать изъ щетки, при помощи сюртука, звуки, извѣстные подъ названіемъ шурханья. Стебельковъ, при помощи складного зеркала въ желтой деревянной оправѣ и pommade hongroise, начинаетъ доводить свои усы до возможнаго совершенства. Наконецъ, усы приведены въ полный порядокъ, а шурханье въ передней все еще продолжается.

— Давай сюртукъ; не до второго же пришествія будешь ты его чистить... Еще опоздаешь изъ-за тебя, дуракъ...

Онъ внимательно застегиваетъ сюртукъ, потомъ надѣваетъ саблю, калоши, шинель и выходитъ на улицу, гремя ножнами по мерзлымъ доскамъ тротуара.

Остальная часть дня проходитъ въ обѣдѣ, чтеніи „Рус-

ского Инвалида", разговорахъ съ товарищами о службѣ, производствѣ, содержаніи; вечеромъ Александръ Михайловичъ отправляется въ клубъ и мчится „въ вихрѣ вальса" съ маіорской дочерью. Онъ возвращается домой поздно вечеромъ, усталый, съ легкимъ опьяненіемъ отъ нѣсколькихъ рюмочекъ, выпитыхъ во время вечера, но довольный... Жизнь разнообразится только ученьями, караулами, лѣтомъ лагерями, иногда маневрами и рѣдко лекціями по фортификаціи и тактикѣ, которыхъ нельзя не посѣщать. И тянется она годы, не оставляя на Стебельковѣ никакихъ слѣдовъ; только цвѣтъ лица измѣняется, да лысинка начинаетъ пробиваться, да вмѣсто одной звѣздочки на погонахъ появляются двѣ, потомъ три, потомъ четыре...

Что же дѣлаетъ въ это время Никита? А Никита большею частью лежитъ на своей шинелькѣ у печки, вскакивая на безпрестанныя требованія барина. Утромъ у него довольно работы: нужно затопить печь, поставить самоваръ, принести воды, вычистить сапоги, платье, одѣть барина, когда встанетъ, вымести комнату, прибрать ее. (Правда, послѣднее не требуетъ много времени: вся мебель въ комнатѣ состоитъ изъ кровати, стола, трехъ стульевъ, этажерки и чемодана). Все-жъ таки есть для Никиты хоть призракъ дѣла. По уходѣ барина начинается безконечный день, состоящій почти въ обязательномъ ничего недѣланьѣ, и прерывается только походомъ въ казарму за обѣдомъ съ ротной кухни. Живя еще въ казармѣ, Никита научился немного чеботарить: класть заплатки, подкидывать подметки, набивать подборы; переселившись къ Стебелькову, онъ вздумалъ-было продолжать свое ремесло, пряча мѣшокъ за двери въ сѣняхъ, какъ только раздавался стукъ въ двери. Баринъ, нѣсколько дней замѣчавшій, что въ передней сильно пахнетъ чернымъ товаромъ, доискался причины запаха и задалъ Никитѣ жестокую головомойку, послѣ чего приказалъ „чтобы этого никогда не было". Тогда Никитѣ осталось только лежать на своей шинелькѣ и думать. И онъ лежалъ на ней и думалъ цѣлые вечера, за-

спая подъ конецъ до той минуты, когда раздавался стукъ въ двери, возвѣщавшій приходъ барина; Никита раздѣвалъ его, и скоро маленькая квартирка погружалась во мракъ; офицеръ и денщикъ спали.

Гудитъ и завываетъ вѣтеръ, бьетъ хлопьями снѣгъ въ окно. И кажется онъ спящему прапорщику Стебелькову громомъ бальной музыки; видитъ онъ во снѣ ярко освѣщенную залу, такую, какой никогда не видалъ, полную незнакомаго ему разодѣтаго народа. Но онъ не чувствуетъ себя смущеннымъ, а напротивъ — героемъ вечера. Тутъ и знакомое ему общество; оно относится къ нему не такъ, какъ до сихъ поръ, а съ какимъ-то восторгомъ; полковникъ, вмѣсто того, чтобы подать ему два пальца, жметъ его руку обѣими толстыми руками; маіоръ Хлобущинъ, всегда косо смотрѣвшій на его ухаживанье за дочкой, самъ подводитъ ее къ нему, смиренно кланяясь. Что онъ сдѣлалъ великаго, за что его возносятъ, онъ не знаетъ, но что-то онъ сдѣлалъ, это несомнѣнно. Онъ смотритъ на свои плечи и видитъ на нихъ генеральскіе эполеты. Музыка гремитъ, пары несутся, и онъ самъ несется куда-то все дальше и дальше, все выше и выше. Блестящая зала далеко отъ него и кажется ему уже только маленькой свѣтлой точкой. Вокругъ него множество людей въ разныхъ мундирахъ; всѣ спрашиваютъ его приказаній. Онъ не знаетъ, о чемъ они спрашиваютъ, но отдаетъ приказанія, ординарцы мчатся къ нему и отъ него. Громъ пушекъ слышенъ вдали; звучатъ марши: полки идутъ за полками. Все движется куда-то вмѣстѣ съ нимъ; пушки гремятъ ближе, и Стебелькову становится страшно. „Убьютъ!“ думаетъ онъ. И страшный крикъ раздается со всѣхъ сторонъ; бѣгутъ на него странные, уродливые и свирѣпые люди, какихъ онъ никогда не видывалъ. Они все ближе и ближе; сердце Стебелькова сжимается невыразимымъ ужасомъ, какой бываетъ только во снѣ, и онъ кричитъ: „Никита!“

Гудитъ и завываетъ вѣтеръ, бьетъ хлопьями снѣга въ окно. И кажется онъ спящему Никитѣ настоящимъ вѣтромъ,

непогодою. Снится ему, что лежитъ онъ въ своей избѣ, одинъ; около него нѣтъ ни жены, ни отца, никого изъ семьи. Онъ не знаетъ, какъ онъ попалъ домой и боится, не убѣжалъ ли онъ изъ полка. Чудится ему, что за нимъ наряжена погоня, и чувствуетъ онъ, что она близко, и хочетъ онъ бѣжать и спрятаться куда нибудь, но не можетъ шевельнуть ни однимъ членомъ. Тогда онъ кричитъ, и вся изба наполняется людьми; все деревенскіе знакомые; но лица у нихъ какія-то чудныя. „Здравствуй, Никита, — говорятъ ему — твоихъ, братъ, никого нѣту, всѣхъ Богъ прибралъ! Всѣ померли. Вотъ они, глянька сюда!“ И Никита видитъ всю свою семью въ толпѣ; и Иванъ, и жена, и тетка Прасковья, и ребятишки. И понимаетъ онъ, что хотя они стоятъ вмѣстѣ со всѣми, но уже мертвые, и всѣ деревенскіе тоже мертвые: оттого они такъ чудно смѣются. Идутъ они къ нему, хватаютъ его, но онъ вырывается и бѣжитъ по сугробамъ, спотыкаясь и падая; за нимъ гонятся уже не мертвые, а прапорщикъ Стебельковъ съ солдатами. И онъ бѣжитъ все дальше и дальше, а прапорщикъ кричитъ ему: „Никита, Никита, Никита!...“

— Никита!—дѣйствительно кричитъ Стебельковъ.

Проснувшійся Никита вскакиваетъ и ощупью идетъ въ комнату, шлепая босыми ногами.

— Что ты, чортъ тебя возьми, смѣешься надо мной, что ли? Сколько разъ я тебѣ говорилъ, чтобы ты клалъ около меня спички! Дрыхнетъ, какъ болванъ! Полчаса зову, не дозовусь. Дай огня!

Заспанный Никита шаритъ по столу и окнамъ и находитъ спички. Онъ зажигаетъ свѣчу, вставленную въ мѣдный позеленѣвшій подсвѣчникъ и, щурясь, подаетъ ее барину. Александръ Михайловичъ выкуриваетъ папироску, и черезъ четверть часа офицеръ и денщикъ снова спятъ глубокимъ сномъ.

Изъ воспоминаній рядового Иванова.

I.

Четвертаго мая тысяча восемьсотъ семьдесятъ седьмого года я пріѣхалъ въ Кишиневъ и черезъ полчаса узналъ, что черезъ городъ проходитъ 56-я пѣхотная дивизія. Такъ какъ я пріѣхалъ съ цѣлью поступить въ какой нибудь полкъ и побывать на войнѣ, то седьмого мая, въ четыре часа утра, я уже стоялъ на улицѣ въ сѣрыхъ рядахъ, выстроившихся передъ квартирой полковника 222-го старобѣльскаго пѣхотнаго полка. На мнѣ была сѣрая шинель съ красными погонами и синими петлицами, кепи съ синимъ околышемъ; за спиной ранецъ, на поясѣ — патронныя сумки, въ рукахъ — тяжелая крынковская винтовка.

Музыка грянула: отъ полковника выносили знамена. Раздалась команда; полкъ беззвучно сдѣлалъ на караулъ. Потомъ поднялся ужасный крикъ: скомандовалъ полковникъ, за нимъ батальонный и ротные командиры и взводные унтеръ-офицеры. Слѣдствіемъ всего этого было запутанное и совершенно непонятное для меня движеніе сѣрыхъ шинелей, кончившееся тѣмъ, что полкъ вытянулся въ длинную колонну и мѣрно зашагалъ подъ звуки полкового оркестра, гремѣвшаго весе-

лый маршъ. Шагалъ и я, стараясь попадать въ ногу и идти наравнѣ съ сосѣдомъ. Ранецъ тянулъ назадъ, тяжелыя сумки впередъ, ружье соскакивало съ плеча, воротникъ сѣрой шинели теръ шею; но, несмотря на всѣ эти маленькія непріятности, музыка, стройное, тяжелое движеніе колонны, раннее свѣжее утро, видъ щетины штыковъ, загорѣлыхъ и суровыхъ лицъ настраивали душу твердо и спокойно.

У воротъ домовъ, несмотря на раннее утро, толпился народъ; изъ оконъ глядѣли полураздѣтыя фигуры. Мы шли по длинной, прямой улицѣ, мимо базара, куда уже начали съѣзжаться молдаване на своихъ воловьихъ возахъ; улица поднималась въ гору и упиралась въ городское кладбище. Утро было пасмурное и холодное, накрапывалъ дождикъ; деревья кладбища виднѣлись въ туманѣ; изъ-за мокрыхъ воротъ и стѣны выглядывали верхушки памятниковъ. Мы обходили кладбище, оставляя его вправо. И казалось мнѣ, что оно смотритъ на насъ сквозь туманъ въ недоумѣніи. „Зачѣмъ идти вамъ, тысячамъ, за тысячи верстъ умирать на чужихъ поляхъ, когда можно умереть и здѣсь, умереть спокойно и лечь подъ моими деревянными крестами и каменными плитами? Останьтесь!“

Но мы не остались. Насъ влекла невѣдомая тайная сила: нѣтъ силы большей въ человѣческой жизни. Каждый отдѣльно ушелъ бы домой, но вся масса шла, повинуясь по дисциплинѣ не сознанію правоты дѣла, не чувству ненависти къ неизвѣстному врагу, не страху наказанія, а тому невѣдомому и безсознательному, что долго еще будетъ водить человѣчество на кровавую бойню—самую крупную причину всевозможныхъ людскихъ бѣдъ и страданій.

За кладбищемъ открылась широкая и глубокая долина, уходившая изъ глазъ въ туманъ. Дождь пошелъ сильнѣе; кое-гдѣ, далеко-далеко, тучи, раздаваясь, пропускали солнечный лучъ; тогда косыя и прямыя полосы дождя сверкали серебромъ. По зеленымъ склонамъ долины ползли туманы; сквозь нихъ можно было различить длинныя, вытянувшіяся колонны

войскъ, шедшихъ впереди насъ. Изрѣдка блестѣли кое-гдѣ штыки; орудіе, попавъ въ солнечный свѣтъ, горѣло нѣсколько времени яркою звѣздочкою и меркло. Иногда тучи сдвигались: становилось темнѣе; дождь шелъ чаще. Черезъ часъ послѣ выступленія я почувствовалъ, какъ струйка холодной воды побѣжала у меня по спинѣ.

Первый переходъ былъ невеликъ: отъ Кишинева до деревни Гаурени всего восемнадцать верстъ. Однако, съ непривычки нести на себѣ фунтовъ двадцатьпять-тридцать груза, я, добравшись до отведенной намъ хаты, сначала даже сѣсть не могъ: прислонился ранцемъ къ стѣнѣ, да такъ и стоялъ минутъ десять въ полной амуниціи и съ ружьемъ въ рукахъ. Одинъ изъ солдатъ, идя на кухню за обѣдомъ, сжалившись надо мной, взялъ и мой котелокъ; но когда онъ пришелъ, то засталъ меня спящимъ глубокимъ сномъ. Я проснулся только въ четыре часа утра отъ нестерпимо рѣзкихъ звуковъ рожка, игравшаго генералъ-маршъ, и черезъ пять минутъ снова шагалъ по грязной глинистой дорогѣ, подъ мелко сыпавшимъ, точно сквозь сито, дождикомъ. Передо мною двигалась чья-то сѣрая спина съ навьюченнымъ на нее бурымъ телячьимъ ранцемъ, побрякивавшимъ желѣзнымъ котелкомъ, и ружьемъ на плечѣ; съ боковъ и сзади тоже шли такія же сѣрыя фигуры. Первые дни я не могъ отличать ихъ другъ отъ друга. 222-й пѣхотный полкъ, куда я попалъ, состоялъ большею частью изъ вятскихъ (вячкихъ, какъ они говорили) и костромскихъ мужиковъ. Все широкія, скуластыя лица, побурѣвшія отъ холода; сѣрые небольшіе глаза, бѣлокурые, цвѣтные волосы и бороды. Хотя я и помнилъ нѣсколько фамилій, но кому онѣ принадлежатъ—не зналъ. Черезъ двѣ недѣли я не могъ понять, какъ я могъ смѣшивать двухъ своихъ сосѣдей: одного, шедшаго рядомъ со мною, и другого, шедшаго рядомъ съ обладателемъ сѣрой спины, бывшей постоянно передъ моими глазами. Я безразлично называлъ ихъ Ѳедоровымъ и Житковымъ, постоянно ошибался, а между тѣмъ, они были совершенно непохожи другъ на друга.

Ѳедоровъ, ефрейторъ, былъ молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати двухъ, средняго роста, стройно, даже изящно сложенный. У него было правильное, будто выточенное лицо съ очень красиво очерченными носомъ, губами и подбородкомъ, покрытымъ бѣлокурой курчавой бородкой, и съ веселыми голубыми глазами. Когда кричали: „пѣсенники впередъ!“ онъ бывалъ запѣвалой нашей роты и чисто выводилъ грудным тенором, на высокихъ нотахъ прибѣгая къ высочайшему фальцету:

...Царя тре-е-бютъ въ сенатъ!

Онъ былъ уроженецъ владимирской губерніи, съ дѣтства попавшій въ Петербургъ. Что рѣдко случается, петербургская „образованность“ не испортила его, но только отшлифовала, научивъ, между прочимъ, читать газеты и говорить всякія, мудреныя слова.

— Конечно, Владимиръ Михайловичъ, — говорилъ онъ мнѣ—я могу имѣть разсужденія больше, чѣмъ дядя Житковъ, такъ какъ Питеръ оказалъ на меня свое вліяніе. Въ Питерѣ, цивилизація, а у нихъ въ деревнѣ одно незнаніе и дикость. Но однако, какъ они человѣкъ пожилой и, можно сказать, виды видѣвшій и перенесшій различныя превратности судьбы, то я не могу на нихъ орать, напримѣръ. Ему сорокъ лѣтъ, а мнѣ двадцать третій. Хотя я въ ротѣ и ефрейторъ.

Дядя Житковъ—коренастый, необыкновенной силы мужикъ, всегда мрачнаго вида. Лицо у него было темное, скуластое, глаза маленькіе, смотрѣвшіе исподлобья. Онъ никогда не улыбался и рѣдко говорилъ. Онъ былъ плотникъ по ремеслу и находился въ безсрочномъ отпуску, когда мобилизировали нашу армію. До чистой отставки ему оставалось всего нѣсколько мѣсяцевъ; началась война, и Житковъ пошелъ въ походъ, оставивъ дома жену и пятерыхъ ребятишекъ. Несмотря на непривлекательную наружность и вѣчную мрачность, въ немъ было что-то влекущее, доброе и сильное. Теперь мнѣ кажется совершенно непонятнымъ, какъ я могъ смѣшивать этихъ сосѣдей, но въ первые два дня оба мнѣ

казались одинаковыми: сѣрыми, навьюченными, уставшими и продрогшими.

Всю первую половину мая шли непрерывные дожди, и мы двигались безъ палатокъ. Безконечная глинистая дорога подымалась на холмъ и спускалась въ оврагъ чуть ли не на каждой верстѣ. Идти было тяжело. На ногахъ комья грязи, сѣрое небо низко повисло, и безпрерывно сѣетъ на насъ мелкій дождь. И нѣтъ ему конца; нѣтъ надежды, придя на ночлегъ, высушиться и отогрѣться: румыны не пускали насъ въ жилье, да имъ и негдѣ было помѣстить такую массу народа. Мы проходили городъ или деревню и становились гдѣ нибудь на выгонѣ.

— Стой!.. Составь!

И приходилось, поѣвши горячей похлебки, укладываться прямо въ грязь. Снизу вода, сверху вода; казалось, и тѣло все пропитано водой. Дрожишь, кутаешься въ шинель, понемногу начинаешь согрѣваться влажною теплотой и крѣпко засыпаешь опять до проклинаемаго всѣми генералъ-марша. Снова сѣрая колонна, сѣрое небо, грязная дорога и печальные, мокрые холмы и долины. Людямъ приходилось трудно.

— Растворились всѣ хляби небесныя,—со вздохомъ говорилъ нашъ полувзводный унтеръ-офицеръ Карповъ, старый солдатъ, сдѣлавшій хивинскій походъ. — Мокнемъ-мокнемъ безъ конца.

— Высохнемъ, Василь Карпычъ! Вотъ солнышко выглянетъ, всѣхъ высушитъ. Походъ дологъ: поспѣемъ и высохнуть и вымокнуть, пока дойдемъ. Михайлычъ!—обращается сосѣдъ ко мнѣ—далече ли до Дунаю-то?

— Недѣли три еще пройдетъ.

— Три недѣли! Да двѣ идемъ вотъ...

— Идемъ къ чорту въ лапы,—проворчалъ дядя Житковъ.

— Чего ты тамъ, старый чортъ, ворчишь? Народъ смущаешь! Къ какому чорту въ лапы? Почему ты такое произносишь?

— На праздникъ, что ли, идемъ?—огрызается Житковъ.

— Не на праздникъ,, а какъ должны исполнять присягу!.. Ты что, когда присягалъ, говорилъ? „Не щадя живота!..“ А! Старый дуракъ! Ты смотри у меня!

— Что-жъ я сказалъ, Василь Карпычъ? Нешто не иду! Помирать, такъ помирать... все одно...

— То-то! Поговори еще!

Житковъ молчитъ; лицо его становится еще мрачнѣе. Да и всѣмъ вообще не до разговоровъ: идти было слишкомъ тяжело. Ноги скользятъ, и люди часто падаютъ въ липкую грязь. Крѣпкая ругань раздается по батальону. Одинъ Ѳедоровъ не вѣшаетъ носа и безъ устали разсказываетъ мнѣ исторію за исторіей о Петербургѣ и деревнѣ.

Однако, всему бываетъ конецъ. Однажды, проснувшись утромъ на бивуакѣ, около деревни, гдѣ была назначена дневка, я увидѣлъ голубое небо, бѣлыя мазанки и виноградники, ярко залитые утреннимъ солнцемъ, услышалъ повеселѣвшіе, живые голоса. Всѣ ужъ встали, обсушились и отдыхали отъ тяжелаго полуторанедѣльнаго похода подъ дождемъ, безъ палатокъ. Во время дневки привезли и ихъ. Солдаты тотчасъ же принялись натягивать ихъ и, устроивъ все, какъ слѣдуетъ, забивъ колышки и натянувъ полотнища, почти всѣ улеглись подъ тѣнь.

— Отъ дождя не помогли, отъ солнышка сберегутъ.

— Да, чтобы личико у барина не почернѣло, — пошутилъ Ѳедоровъ, лукаво подмигивая въ мою сторону.

II.

Въ нашей ротѣ было всего два офицера: ротный командиръ, капитанъ Заикинъ, и субалтернъ-офицеръ, прапорщикъ Стебельковъ. Ротный былъ человѣкъ среднихъ лѣтъ, толстенькій и добрый; Стебельковъ—юноша, только что выпущенный изъ училища. Жили они дружно: капитанъ приголубилъ прапорщика, поилъ и кормилъ его, а во время дождей

даже прирывалъ подъ своимъ единственнымъ гуттаперчевымъ плащомъ. Когда роздали палатки, наши офицеры помѣстились вмѣстѣ, а такъ какъ офицерскія палатки были просторны, то капитанъ рѣшилъ поселить съ собою и меня.

Утомленный безсонною ночью (наканунѣ наша рота была назначена къ обозу, и мы всю ночь вытаскивали его изъ рытвинъ и даже вывозили при помощи „дубинушки“ изъ разлившейся рѣчки), я крѣпко уснулъ послѣ обѣда. Денщикъ ротнаго командира разбудилъ меня, осторожно трогая за плечо.

— Баринъ Ивановъ! баринъ Ивановъ?—шепталъ онъ, какъ будто не хотѣлъ разбудить меня, а напротивъ, всѣми силами старался не нарушить моего сна.

— Чего вамъ?

— Ротный требуютъ.—И видя, что я надѣваю портупею со штыкомъ, прибавилъ:—Они сказали: веди въ чемъ есть.

Въ палаткѣ Заикина собралась цѣлая компанія. Кромѣ хозяевъ, было еще два офицера: полковой адъютантъ и командиръ стрѣлковой роты, Венцель. Въ 1877 году батальонъ состоялъ не изъ четырехъ, какъ теперь, а изъ пяти ротъ; на походѣ стрѣлковая рота шла сзади, такъ что наша рота своими послѣдними рядами соприкасалась съ ея первыми. Мнѣ приходилось идти почти между стрѣлками, и я уже нѣсколько разъ слышалъ отъ нихъ самые дурные отзывы о штабсъ-капитанѣ Венцелѣ. Всѣ четверо сидѣли вокругъ ящика, замѣнявшаго столъ и занятаго самоваромъ, посудою и бутылкою, и пили чай.

— Господинъ Ивановъ! пожалуйте, пожалуйте!—закричалъ капитанъ.—Никита! Чашку, кружку, стаканъ, что̀ тамъ у тебя есть! Подвинься, Венцель; пусть онъ присаживается.

Венцель всталъ и весьма любезно поклонился. Это былъ сухощавый, небольшого роста молодой человѣкъ, блѣдный и нервный. Какіе у него безпокойные глаза и какія тонкія губы!—пришло мнѣ тогда въ голову. Адъютантъ, не вставая, протянулъ мнѣ руку.

— Лукинъ,—коротко отрекомендовался онъ.

Мнѣ было неловко. Офицеры молчали; Венцель прихлебывалъ чай съ ромомъ; адъютантъ пыхтѣлъ коротенькой трубкой; прапорщикъ Стебельковъ, кивнувъ мнѣ головою, продолжалъ читать растрепанный томъ какого-то переводнаго романа, совершившаго въ его чемоданѣ походъ изъ Россіи за Дунай и вернувшагося впослѣдствіи въ еще болѣе растрепанномъ видѣ въ Россію. Хозяинъ налилъ большую глиняную кружку чаю и влилъ въ него огромную порцію рому.

— Нате-ка, господинъ студентъ! Вы на меня не сердитесь: я человѣкъ простой. Да и всѣ мы здѣсь, знаете, люди простые. А вы человѣкъ образованный; значитъ, должны насъ извинить. Такъ, что ли?

И онъ своею огромною рукою схватилъ мою руку сверху, какъ хищная птица хватаетъ добычу, и нѣсколько разъ потрясъ ее въ воздухѣ, нѣжно смотря на меня выпученными и округлившимися маленькими глазами.

— Вы студентъ?—спросилъ Венцель.

— Да, бывшій, господинъ капитанъ.

Онъ улыбнулся и поднялъ на меня свой безпокойный взоръ. Мнѣ вспомнились солдатскіе разсказы, но въ ту минуту я усомнился въ ихъ правдивости.

— Зачѣмъ это „господинъ капитанъ?“ Здѣсь въ палаткѣ свой между своими. Здѣсь вы просто интеллигентный человѣкъ между такими же,—тихо сказалъ онъ.

— Интеллигентный, это вѣрно! — закричалъ Заикинъ — студентъ! Люблю студентовъ, хоть они и бунтовщики. Самъ былъ бы студентомъ, еслибъ не судьба.

— Какая-жъ такая у тебя особенная судьба, Иванъ Платонычъ?—спросилъ адъютантъ.

— Да приготовиться никакъ не могъ. Ну, математика еще туда сюда, а ужъ насчетъ другого чего—не идетъ, да что хочешь. Словесность эта... Правописаніе. Такъ и въ юнкерскомъ училищѣ писать не научился. Ей Богу!

— Знаете, господинъ студентъ, — сказалъ адъютантъ между двумя огромными, выпущенными имъ, клубами дыма—

какъ Иванъ Платонычъ въ словѣ „еще“ четыре ошибки дѣлаетъ?

— Ну, ну, не ври, тетенька!—Заикинъ отмахнулся рукой.

— Право, не вру. *И, эсъ, ша, о* — какъ это вамъ покажется?

И адъютантъ громко расхохотался.

— Дери глотку. Самъ тоже... еще адъютантъ, „столъ“ черезъ *ять* пишетъ.

Адъютантъ совсѣмъ залился; прапорщикъ Стебельковъ, только что отхлебнувшій чаю, прыснулъ имъ на свой романъ и потушилъ одну изъ двухъ свѣчей, освѣщавшихъ палатку; я тоже не могъ удержаться отъ смѣха. Иванъ Платонычъ, болѣе всѣхъ довольный своей остротой, гремѣлъ раскатами басистаго хохота. Одинъ Венцель не смѣялся.

— Такъ словесность, Иванъ Платонычъ? — попрежнему тихо спросилъ онъ.

— Словесность, словесность... Ну, и прочее. Знаете, какъ нѣкто географію прошелъ, „до экватора“, а исторію „до эры“. Да нѣтъ! Это все ерунда, не въ томъ дѣло. А просто деньжонки водились, ну, и прожигалъ жизнь. Вѣдь я, Ивановъ... позвольте имя и отчество?..

— Владимиръ Михайлычъ.

— Владимиръ Михайлычъ? Ладно... Вѣдь я безпутная голова былъ смолоду. Чего только ни выкидывалъ! Ну, знаете, какъ въ пѣснѣ поется: „жилъ я мальчикъ, веселился и имѣлъ свой капиталъ; капиталу мальчикъ я лишился, и въ неволю жить попалъ“. Поступилъ юнкеромъ въ сей славный, хотя глубоко армейскій полкъ; послали въ училище, кончилъ съ грѣхомъ пополамъ, да вотъ и тяну лямку второй десятокъ лѣтъ. Теперь вотъ на турку премъ. Выпьемте, господа, натуральнаго! Стоитъ ли его чаемъ портить? Выпьемъ, господа „пушечное мясо“.

— Chair à canon,—перевелъ Венцель.

— Пускай шеръ а канонъ, пускай по-французски. Капитанъ у насъ умный, Владимиръ Михайлычъ: языки знаетъ

и разные нѣмецкіе стишки наизусть долбить. Слушайте, юноша! Я васъ затѣмъ позвалъ, чтобы предложить вамъ перебраться ко мнѣ въ палатку. Тамъ вѣдь вамъ вшестеромъ съ солдатами тѣсно и скверно. Насѣкомыя. Все-таки у насъ лучше.

— Благодарю васъ, только позвольте отказаться.

— Это отчего? Вздоръ! Никита! Тащи его ранецъ! Вы въ которой палаткѣ?

— Вторая съ правой стороны. Только все-таки позвольте мнѣ остаться тамъ. Мнѣ вѣдь съ солдатами больше бывать приходится. Лучше ужъ совсѣмъ съ ними.

Капитанъ внимательно посмотрѣлъ на меня, какъ будто бы хотѣлъ прочитать мои мысли. Подумавъ, онъ сказалъ:

— Вы что же, въ дружбѣ съ ними состоять хотите?

— Да, если это возможно.

— Вѣрно. Не перебирайтесь. Уважаю.

И онъ сгребъ своей ручищей мою руку и началъ трясти ее въ воздухѣ.

Немного времени спустя, я распрощался съ офицерами и вышелъ изъ палатки. Вечерѣло; люди одѣвались въ шинели, приготовляясь къ зорѣ. Роты выстроились на линейкахъ, такъ что каждый батальонъ образовалъ замкнутый квадратъ, внутри котораго были палатки и ружья въ козлахъ. Въ тотъ день, благодаря дневкѣ, собралась вся наша дивизія. Барабаны пробили зорю, откуда-то издалека послышались слова команды:

— Полки на молитву, шапки долой!

И двѣнадцать тысячъ человѣкъ обнажили головы. „Отче нашъ, иже еси на небесе“, начала наша рота. Рядомъ тоже запѣли. Шестьдесятъ хоровъ по двѣсти человѣкъ въ каждомъ пѣли каждый самъ по себѣ; выходили диссонансы, но молитва все-таки звучала трогательно и торжественно. Понемногу начали затихать хоры; наконецъ далеко, въ батальонѣ, стояв-

шемъ на концѣ лагеря, послѣдняя рота пропѣла: „но избави насъ отъ лукаваго“. Коротко пробили барабаны.

— Накройсь!

Солдаты укладывались спать; въ нашей палаткѣ, гдѣ, какъ и въ другихъ, помѣщалось шестеро на пространствѣ двухъ квадратныхъ саженъ, мое мѣсто было съ краю. Я долго лежалъ, смотря на звѣзды, на костры далекихъ войскъ, слушая смутный и негромкій шумъ большого лагеря. Въ сосѣдней палаткѣ кто-то разсказывалъ сказку, безпрестанно повторяя слова „наконецъ того“, произнося не „тово“, а „того“...

— Наконецъ того, приходитъ тотъ принцъ къ своей супругѣ и началъ ей про все выговаривать. Наконецъ того, она... Лютиковъ, спишь, что ли?.. Ну, спи, Христосъ съ тобой. Господи! Царица Небесная... Преподобныхъ отецъ нашихъ... шепчетъ разсказчикъ и стихаетъ.

Въ офицерской палаткѣ тоже говоръ. По освѣщенному изнутри полотну двигаются огромныя и уродливыя тѣни сидящихъ въ палаткѣ офицеровъ. Изрѣдка слышенъ взрывъ хохота: это заливается адъютантъ. По линейкѣ ходитъ туда и сюда часовой съ ружьемъ; напротивъ насъ, на бивуакѣ недалеко стоящей артиллеріи, тоже часовой съ обнаженной шашкой. Оттуда изрѣдка слышенъ топотъ лошадей у коновязей, ихъ фырканье, слышно, какъ онѣ мирно жуютъ овесъ, съ такимъ же точно добродушнымъ шурханьемъ, какое мнѣ случалось слышать не на войнѣ, а гдѣ нибудь на постояломъ дворѣ на родинѣ, въ такую же тихую звѣздную ночь. Семь звѣздъ Большой Медвѣдицы блестѣли низко надъ горизонтомъ; гораздо ниже, чѣмъ у насъ. Смотря на полярную звѣзду, я думалъ, что именно въ этомъ направленіи долженъ быть Петербургъ, гдѣ я оставилъ мать, друзей и все дорогое. Надъ головою блестѣли знакомыя созвѣздія; млечный путь не тускло свѣтился, а сіялъ ясною, торжественно спокойною полосою свѣта. На югѣ какія-то большія звѣзды незнакомаго невидимаго у насъ созвѣздія горѣли, одна краснымъ, другая зе-

леноватымъ огнемъ. Мнѣ думалось: когда мы пойдемъ дальше за Дунай, за Балканы, въ Константинополь, увижу ли я тогда еще новыя звѣзды? И какія онѣ?

Спать не хотѣлось; я всталъ и началъ бродить по сырой травѣ между нашимъ батальономъ и артиллеріей. Темная фигура поровнялась со мною, гремя саблею; по ея звуку я догадался, что это офицеръ, и вытянулся во фронтъ. Офицеръ подошелъ ко мнѣ и оказался Венцелемъ.

— Не спится, Владимиръ Михайлычъ? — спросилъ онъ мягкимъ и тихимъ голосомъ.

— Не спится, господинъ капитанъ.

— Меня зовутъ Петръ Николаевичъ... И мнѣ тоже не спится... Сидѣлъ, сидѣлъ у вашего командира; надоѣло: засѣли за карты, да и перепились всѣ... Ахъ, какая ночь!

Онъ пошелъ рядомъ со мною; дойдя до конца линейки, мы повернули назадъ и прошли нѣсколько разъ взадъ и впередъ молча. Венцель началъ первый.

— Скажите мнѣ, вы пошли въ походъ по собственному желанію?

— Да.

— Что же влекло васъ?

— Какъ вамъ сказать?—отвѣтилъ я, не желая вдаваться въ подробности.—Больше всего, конечно, желаніе поиспытать, посмотрѣть.

— И, вѣроятно, изучить народъ въ лицѣ его представителя—солдата?—спросилъ Венцель. Было темно, и я не видѣлъ выраженія его лица, но слышалъ въ голосѣ иронію.

— Куда ужъ тутъ изучать! До изученія ли, когда думаешь только о томъ, какъ бы дойти до привала да заснуть!

— Нѣтъ, безъ шутокъ. Скажите мнѣ, отчего вы не перебрались къ вашему командиру? Неужели вы дорожите мнѣніемъ этого мужичья?

— Конечно, дорожу, какъ мнѣніемъ всѣхъ, кого у меня нѣтъ причины не уважать.

— Не имѣю причины вамъ не вѣрить. Да впрочемъ

вѣдь теперь такая полоса нашла. И литература—и та возводитъ мужика на какой-то перлъ творенія.

— Кто говоритъ о перлахъ творенія, Петръ Николаевичъ! Признавали бы человѣка, и то ладно.

— Ахъ, полноте, пожалуйста, съ жалкими словами! Кто его не признаетъ! Человѣкъ? — ну, пусть будетъ человѣкомъ; какой?—это другой вопросъ... Давайте, поговоримъ о другомъ.

Мы дѣйствительно разговорились: Венцель видимо очень много читалъ и, какъ сказалъ Заикинъ, зналъ и языки. Замѣчаніе капитана о томъ, что онъ „стихи долбитъ", тоже оказалось вѣрнымъ: мы заговорили о французахъ, и Венцель, обругавъ натуралистовъ, перешелъ къ 40-мъ и 30-мъ годамъ, и даже съ чувствомъ продекламировалъ „Декабрьскую ночь" Альфреда де-Мюссе. Онъ читалъ хорошо: просто и выразительно, и съ хорошимъ французскимъ выговоромъ. Кончивъ, онъ помолчалъ и прибавилъ:

— Да, это хорошо; но всѣ французы вмѣстѣ не стоятъ десяти строкъ Шиллера, Гёте и Шекспира.

Завѣдуя полковой библіотекой, пока не принялъ роту, онъ прилежно слѣдилъ за русской литературой. Говоря о ней, онъ строго осудилъ, какъ онъ выразился, „сиволапое направленіе". Отъ этого замѣчанія разговоръ вернулся къ прежнему предмету. Венцель спорилъ горячо.

— Когда я, почти мальчикомъ, поступилъ въ полкъ, я не думалъ того, что говорю вамъ теперь. Я старался дѣйствовать словомъ, я старался пріобрѣсти нравственное вліяніе. Но прошелъ годъ, и они вытянули изъ меня всѣ жилы. Все, что осталось отъ такъ называемыхъ хорошихъ книжекъ, столкнувшись съ дѣйствительностью, оказалось сентиментальнымъ вздоромъ. И теперь я думаю, что единственный способъ быть понятымъ—вотъ!

Онъ сдѣлалъ какой-то жестъ рукою. Было такъ темно, что я не понялъ его.

— Что-жъ это, Петръ Николаевичъ?

— Кулакъ! — отрѣзалъ онъ. — Прощайте, однако, пора спать.

Я сдѣлалъ ему подъ козырекъ и побрелъ къ своей палаткѣ. Мнѣ было и больно, и противно.

Въ палаткѣ, казалось, уже всѣ спали; но минуты черезъ двѣ послѣ того, какъ я легъ, Ѳедоровъ, спавшій рядомъ со мною, тихо спросилъ:

— Михайлычъ, спите?

— Нѣтъ, не сплю.

— Съ Венцелемъ ходили?

— Съ нимъ самимъ.

— Что-жъ онъ съ вами какъ? Смирный?

— Ничего, смирный; даже любезенъ.

— Ишь ты вѣдь! Что́ значитъ свой братъ-баринъ! Не то, что съ нами.

— А что? Развѣ очень сердитъ?

— И-и-и... бѣда! Трещатъ скулы во второй стрѣлковой. Звѣрь!

И онъ сейчасъ же уснулъ, такъ что въ отвѣтъ на мой слѣдующій вопросъ я услышалъ только его ровное и спокойное дыханіе. Я завернулся покрѣпче въ шинель; въ головѣ все спуталось и исчезло въ крѣпкомъ снѣ.

III.

За дождями наступили жары. Около этого времени мы вышли съ поселка, гдѣ ноги вязли въ расползавшейся почвѣ, на большое шоссе, ведущее изъ Яссъ въ Бухарестъ. Первый нашъ переходъ по шоссе, отъ Текуча къ Берладу, навсегда останется въ памяти сдѣлавшихъ его. Было 35 градусовъ въ тѣни; переходъ былъ сорокъ восемь верстъ. Было тихо; мелкая известковая пыль, подымаемая тысячами ногъ, стояла надъ шоссе; она лѣзла въ носъ и ротъ, пудрила волосы, такъ что нельзя было разобрать ихъ цвѣта; смѣшанная съ потомъ, она

покрыла всѣ лица грязью и превратила всѣхъ въ негровъ. Почему-то мы шли тогда не въ рубахахъ, а въ мундирахъ. Солнце нагрѣвало черное сукно, невыносимо пекло головы сквозь черныя кепи; ноги чувствовали сквозь подошву раскаленный щебень шоссе. Люди задыхались. На бѣду, колодцы были рѣдки, и въ большей части ихъ было такъ мало воды, что голова нашей колонны (шла цѣлая дивизія) вычерпывала всю воду, и намъ, послѣ страшной давки и толкотни у колодцевъ, доставалась только глинистая жидкость, скорѣе грязь, чѣмъ вода. Когда не хватало и ея, люди падали. Въ этотъ день въ одномъ нашемъ батальонѣ упало на дорогѣ около девяноста человѣкъ. Трое умерло отъ солнечнаго удара.

Я выносилъ эту пытку сравнительно съ другими легко. Можетъ быть, потому, что нашъ полкъ былъ набранъ большею частью изъ сѣверянъ, а я съ дѣтства привыкъ къ степнымъ жарамъ; а можетъ быть, тутъ дѣйствовала иная причина. Мнѣ случилось замѣтить, что простые солдаты вообще принимаютъ физическія страданія ближе къ сердцу, чѣмъ солдаты изъ такъ называемыхъ привилегированныхъ классовъ (говорю только о тѣхъ, кто пошелъ на войну по собственному желанію). Для нихъ, простыхъ солдатъ, физическія бѣды были настоящимъ горемъ, способнымъ наводить тоску и вообще мучить душу. Тѣ же люди, которые шли на войну сознательно, хотя физически страдали, конечно, не меньше, а больше солдатъ изъ простыхъ людей—вслѣдствіе изнѣженнаго воспитанія, сравнительной тѣлесной слабости и проч. — но душевно были спокойнѣе. Душевный міръ ихъ не могъ быть нарушенъ избитыми въ кровь ногами, невыносимымъ жаромъ и смертельною усталостью. Никогда не было во мнѣ такого полнаго душевнаго спокойствія, мира съ самимъ собой и кроткаго отношенія къ жизни, какъ тогда, когда я испытывалъ эти невзгоды и шелъ подъ пули убивать людей. Дико и странно можетъ показаться все это, но я пишу одну правду.

Какъ бы то ни было, когда другіе падали на дорогѣ, я

все-таки еще помнилъ себя. Въ Текучѣ я запасся огромною тыквенною кубышкою, въ которую входило по крайней мѣрѣ бутылки четыре. Дорогой мнѣ пришлось не разъ наполнять ее водой; половину этой воды я вылилъ въ себя, другую раздавалъ сосѣдямъ. Идетъ человѣкъ, перемогается, но жара беретъ свое: ноги начинаютъ подгибаться, тѣло качается, какъ у пьянаго; сквозь слой грязи и пыли видно, какъ багровѣетъ лицо; рука судорожно стискиваетъ винтовку. Глотокъ воды оживляетъ его на нѣсколько минутъ, но въ концѣ концовъ человѣкъ безъ памяти валится на пыльную и жесткую дорогу. „Дневальный!“ кричатъ хриплые голоса. Обязанности дневальнаго — стащить упавшаго въ сторону и помочь ему; но и самъ дневальный почти въ такомъ же состояніи. Канавы по сторонамъ шоссе усѣяны лежащими людьми... Ѳедоровъ и Житковъ идутъ рядомъ со мною, и хотя видимо страдаютъ, но крѣпятся. Жара произвела на нихъ дѣйствіе своеобразно съ ихъ характерами, но только въ обратную сторону: Ѳедоровъ молчитъ и только иногда тяжело вздыхаетъ, жалобно посматривая своими прекрасными, а теперь воспаленными отъ пыли глазами; дядя Житковъ ругается и резонерствуетъ.

— Ишь, валится... Штыкомъ задѣнешь, чо-ортъ!—сердито кричитъ онъ, отклоняясь отъ штыка упавшаго солдата, который чуть не попалъ ему остріемъ въ глазъ. — Господи! Царица Небесная! За что ты на насъ посылаешь? Кабы не живодеръ этотъ, и самъ бы, кажись, упалъ.

— Кто живодеръ, дядя?—спрашиваю я.

— Нѣмцевъ, штабсъ-капитанъ. Нонче онъ дежурный; сзади идетъ. Лучше идти, а то такъ отработаетъ... Мѣста живого не оставитъ.

Я зналъ уже, что солдаты передѣлали фамилію „Венцель“ въ „Нѣмцевъ“. Выходило и похоже, и по-русски.

Я вышелъ изъ рядовъ. Въ сторонкѣ отъ шоссе идти было немного легче: не было такой пыли и толкотни. Сторонкой шли многіе: въ этотъ несчастный день никто не заботился

о сохраненіи правильнаго строя. Понемногу я отсталъ отъ своей роты и очутился въ хвостѣ колонны.

Венцель, измученный, задыхающійся, но возбужденный, догналъ меня.

— Каково? — спросилъ онъ осипшимъ голосомъ. — Пройдемтесь стороною. Я совершенно измученъ.

— Хотите воды?

Онъ жадно выпилъ нѣсколько большихъ глотковъ изъ моей кубышки.

— Благодарю. Легче стало. Ну, денекъ!

Нѣсколько времени мы шли рядомъ молча.

— Кстати,—сказалъ онъ—вы такъ и не перебрались къ Ивану Платонычу?

— Нѣтъ, не перебрался.

— Глупо. Извините за откровенность. До свиданья; мнѣ надо въ хвостъ колонны. Что-то ужъ очень много этихъ нѣжныхъ созданій падаетъ.

Пройдя нѣсколько шаговъ и повернувъ голову назадъ, я увидѣлъ, что Венцель наклонился надъ упавшимъ солдатомъ и тащитъ его за плечо.

— Вставай, каналья! Вставай!

Я не узнавалъ своего образованнаго собесѣдника. Онъ сыпалъ грубыми ругательствами безъ перерыва. Солдатъ былъ почти безъ чувствъ и съ безнадежнымъ выраженіемъ смотрѣлъ на взбѣшеннаго офицера. Губы его шептали что-то.

— Вставай! Сейчасъ же вставай! А! ты не хочешь? Такъ вотъ тебѣ, вотъ тебѣ, вотъ тебѣ!

Венцель схватилъ свою саблю и началъ наносить ея желѣзными ножнами ударъ за ударомъ по измученнымъ ранцемъ и ружьемъ плечамъ несчастнаго. Я не выдержалъ и подошелъ къ нему.

— Петръ Николаевичъ!

— Вставай!... — Рука съ саблею еще разъ поднялась для удара. Я успѣлъ крѣпко схватить ее.

— Бога ради, Петръ Николаевичъ, оставьте его!

Онъ обернулъ ко мнѣ разъяренное лицо. Съ выкатившимися глазами и съ судорожно искривленнымъ ртомъ онъ былъ страшенъ. Рѣзкимъ движеніемъ онъ вырвалъ свою руку изъ моей. Я думалъ, что онъ разразится на меня грозой за мою дерзость (схватить офицера за руку дѣйствительно было крупною дерзостью), но онъ сдержалъ себя.

— Слушайте, Ивановъ, не дѣлайте этого никогда! Еслибъ на моемъ мѣстѣ былъ какой нибудь бурбонъ, въ родѣ Щурова или Тимоѳеева, вы бы дорого заплатили за вашу шутку. Вы должны помнить, что вы рядовой и что васъ за подобныя вещи могутъ безъ дальнихъ словъ—разстрѣлять!

— Все равно. Я не могъ видѣть и не вступиться.

— Это дѣлаетъ честь вашимъ нѣжнымъ чувствамъ. Но прилагаете вы ихъ не въ то мѣсто. Развѣ можно иначе съ этими... (его лицо выразило презрѣніе, даже больше, какую-то ненависть). Изъ этихъ десятковъ свалившихся, какъ бабы, можетъ быть, только нѣсколько человѣкъ дѣйствительно изнемогли. Я дѣлаю это не изъ жестокости — во мнѣ ея нѣтъ: нужно поддерживать спайку, дисциплину. Еслибъ съ ними можно было говорить, я бы дѣйствовалъ словомъ. Слово для нихъ—ничто. Они чувствуютъ только физическую боль.

Я не дослушалъ его и пустился догонять свою уже далеко ушедшую роту. Я догналъ Ѳедорова и Житкова, когда нашъ батальонъ свели съ шоссе на поле и скомандовали остановиться.

— Что это вы, Михайлычъ, съ штабсъ-капитаномъ Венцелемъ говорили?—спросилъ Ѳедоровъ, когда я въ изнеможеніи упалъ возлѣ него, едва успѣвъ поставить ружье.

— Говорилъ!—пробурчалъ Житковъ.—Нешто такъ говорятъ? Онъ его за руку схватилъ. Эхъ, баринъ Ивановъ, берегитесь Нѣмцева, не смотрите, что онъ разговаривать съ вами охочъ, пропадете вы съ нимъ ни за денежку!

IV.

Поздно вечеромъ мы добрались до Фокшанъ, прошли черезъ неосвѣщенный, безмолвный и пыльный городокъ и вышли куда-то въ поле. Не было видно ни зги, кое-какъ поставили батальоны, и измученные люди уснули, какъ убитые; никто почти не захотѣлъ ѣсть приготовленнаго „обѣда“. Солдатская ѣда всегда „обѣдъ“, случится ли она раннимъ утромъ, днемъ или ночью. Цѣлую ночь подтягивались отсталые. На зарѣ мы опять выступили, утѣшаясь тѣмъ, что черезъ переходъ будетъ дневка.

Снова движущіеся ряды, снова ранецъ давитъ онѣмѣвшія плечи, снова болятъ истертыя и налившіяся кровью ноги. Но первыя десять верстъ почти ничего не сознаешь. Короткій сонъ не можетъ уничтожить усталости вчерашняго дня, и люди шагаютъ совсѣмъ сонные. Мнѣ случалось спать на ходу до такой степени крѣпко, что, остановившись на привалѣ, я не вѣрилъ, что мы уже прошли десять верстъ, и не помнилъ ни одного мѣста изъ пройденнаго пути. Только когда передъ приваломъ колонны начинаютъ подтягиваться и перестраиваться для остановки, просыпаешься и съ радостью думаешь о цѣломъ часѣ отдыха, когда можно развьючиться, вскипятить воду въ котелкѣ и полежать на свободѣ, попивая горячій чай. Какъ только ружья поставлены и ранцы сняты, большая часть людей принимается собирать топливо—почти всегда сухіе стебли прошлогодней кукурузы. Въ землю втыкаются два штыка; на нихъ кладется шомполъ, а на него вѣшаютъ два или три котелка. Сухіе, рыхлые стебли горятъ ясно и весело; раскладываютъ ихъ всегда съ надвѣтренной стороны; пламя лижетъ закопченные котелки, и черезъ десять минутъ вода бьетъ ключемъ. Чай бросали прямо въ кипятокъ и давали ему свариться, получалась крѣпкая, почти черная жидкость, которую пили большею частью безъ сахара, такъ

какъ казна, выдававшая очень много чая (его даже курили, когда не хватало табаку), давала очень мало сахара; и пили въ огромномъ количествѣ. Котелокъ, въ который входило семь стакановъ, составляетъ обыкновенную порцію для одного.

Можетъ быть, страннымъ покажется, что я такъ распространяюсь о мелочахъ. Но солдатская походная жизнь такъ тяжела, въ ней столько лишеній и мученія, впереди такъ мало надежды на хорошій исходъ, что и какой нибудь чай или тому подобная маленькая роскошь составляли огромную радость. Нужно было видѣть, съ какими серьезными и довольными лицами загорѣлые, грубые и суровые солдаты, молодые и старые — правда, старше сорока лѣтъ между нами почти не было—точно дѣти подкладывали подъ котелки палочки и стебельки, поправляли огонь и совѣтовали другъ другу:

— Ты, Лютиковъ, туды, туды, къ краю ее суй! Такъ!... пошла, пошла... занялась. Ну, сейчасъ закипитъ!

Чай, изрѣдка въ холодную и дождливую погоду чарка водки, да трубка табаку—вотъ и вся солдатская отрада, не считая конечно всеисцѣляющаго сна, когда можно забыться и отъ тѣлесныхъ невзгодъ, и отъ мыслей о темномъ, страшномъ будущемъ. Табакъ игралъ не послѣднюю роль среди этихъ благъ жизни, возбуждая и поддерживая утомленные нервы. Туго набитая трубка обходила человѣкъ десять и возвращалась хозяину, который затягивался въ послѣдній разъ, выколачивалъ золу и важно пряталъ трубку за голенище. Помню, какъ огорчила меня потеря моей трубки однимъ изъ пріятелей, которому я далъ ее покурить, и какъ самъ онъ былъ огорченъ и пристыженъ. Точно будто онъ потерялъ цѣлое врученное ему состояніе.

На большомъ привалѣ (около полудня) мы отдыхали часа полтора—два. Послѣ чаепитія обыкновенно все засыпало. На бивуакѣ тишина; только часовой у знамени ходитъ взадъ и впередъ, да не спитъ кое-кто изъ офицеровъ. Лежишь на землѣ, положивъ ранецъ подъ голову, и не то спишь, не то

бодрствуешь; горячее солнце палитъ лицо и шею, мухи надоѣдливо кусаютъ и не даютъ уснуть, какъ слѣдуетъ. Грезы мѣшаются съ дѣйствительностью; такъ недавно еще жилъ жизнью, совершенно непохожею на эту, что въ полубезсознательной дремотѣ все кажется, что вотъ-вотъ проснешься, очнешься дома въ приличной обстановкѣ, и исчезнутъ эта степь, эта голая земля, съ колючками вмѣсто травы, это безжалостное солнце и сухой вѣтеръ, эта тысяча странно одѣтыхъ въ бѣлыя запыленныя рубахи людей, эти ружья въ козлахъ. Все это такъ похоже на тяжелый, странный сонъ...

— Встава-а-ть! — протяжно и сурово командуетъ сильнымъ голосомъ нашъ маленькій бородатый батальонный командиръ, маіоръ Черноглазовъ. И лежащая толпа бѣлыхъ рубахъ шевелится; кряхтя и потягиваясь, подымаются люди, надѣваютъ сумки и ранцы и выстраиваются въ ряды.

— Въ ружье!

Мы разбираемъ ружья. До сихъ поръ хорошо помню я свою винтовку № 18635, съ прикладомъ немного темнѣе, чѣмъ у другихъ, и длинной царапиной по темному лаку. Еще команда—и батальонъ, вытягиваясь, поворачиваетъ на дорогу. Впереди всѣхъ ведутъ коня командира, гнѣдого жеребца Варвара; онъ вытягиваетъ шею, и играетъ, и бьетъ копытами; маіоръ садится на него только въ крайнихъ случаяхъ, постоянно шагая во главѣ батальона за своимъ Варваромъ ровнымъ шагомъ настоящаго пѣхотинца. Онъ показываетъ солдатамъ, что и начальство тоже „старается“, и солдаты любятъ его за это. Онъ всегда хладнокровенъ и спокоенъ, никогда не шутитъ и не улыбается; подымается утромъ раньше всѣхъ, ложится вечеромъ послѣднимъ; обращается съ людьми твердо и сдержанно, не позволяя себѣ драться и кричать безъ толку. Говорятъ, что если бы не маіоръ, то Венцель не то бы еще дѣлалъ.

Сегодня жарко, но не такъ, какъ вчера. Къ тому же мы идемъ уже не по шоссе, а рядомъ съ желѣзной дорогой, по узкому проселку, такъ что большая часть движется по травѣ.

Пыли нѣтъ; набѣгаютъ тучи: нѣтъ-нѣтъ, да и капнетъ рѣдкая, крупная капля. Мы смотримъ на небо, выставляемъ руки, пробуя, не идетъ ли дождь. Даже вчерашніе отсталые прибодрились: идти уже недалеко, какихъ нибудь десять верстъ, а тамъ отдыхъ, вожделѣнный отдыхъ, въ которомъ пройдетъ не одна короткая ночь, а ночь, цѣлый день и еще ночь. Развеселившимся людямъ хочется пѣть; Ѳедоровъ заливается среди пѣсенниковъ; слышна знаменитая:

„И было дѣло подъ Полтавой..."

Пропѣвъ, какъ „вдругъ одна злодѣйка пуля въ шляпу царскую впилась", онъ затягиваетъ безсмысленную и непристойную, но самую популярную у солдатъ пѣсню о томъ, какъ какая-то Лиза, пойдя въ лѣсъ, нашла чернаго жука, и что̀ изъ этого вышло. Затѣмъ еще историческая пѣсня про Петра, какъ его требуютъ въ сенатъ. И въ довершеніе всего доморощенная пѣсня нашего полка:

„Какъ пріѣхалъ Бѣлый Царь, Александра Государь,
Вы, ребята, подтянитесь, предъ Царемъ подбодритесь!
Мы пріемы отхватали, благодарность получали.
. . . . . .
Батальонный командиръ, Черноглазовъ господинъ,
Онъ не спалъ, не дремалъ, батальонъ свой обучалъ,
Онъ на лошади сидѣлъ, никого знать не хотѣлъ".

И такъ далѣе, стиховъ пятьдесятъ.

— Ѳедоровъ!—спросилъ я однажды:—зачѣмъ вы несете эту чепуху объ Лизѣ?—Я назвалъ еще нѣсколько пѣсенъ, нелѣпыхъ и циничныхъ до такой степени, что самый цинизмъ ихъ терялъ всякое значеніе и являлся въ видѣ совершенно безсмысленныхъ звуковъ.

— Повелось такъ, Владимиръ Михайлычъ. Да что? Развѣ это пѣнье? Это такъ, въ родѣ крику для моціону груди. Ну, и идти веселѣй.

Устанутъ пѣсенники, начнутъ играть музыканты. Подъ мѣрный, громкій и большею частью веселый маршъ идти го-

раздо легче; всѣ, даже самые утомленные, пріосанятся, отчетливо шагаютъ въ ногу, сохраняютъ равненіе: батальонъ узнать нельзя. Помню, однажды мы прошли подъ музыку больше шести верстъ въ одинъ часъ, не замѣчая усталости; но когда измученные музыканты перестали играть, вызванное музыкою возбужденіе исчезло, и я почувствовалъ, что вотъ-вотъ упаду, да и упалъ бы, не случись во-время остановки на отдыхъ.

Верстъ черезъ пять послѣ привала намъ встрѣтилось препятствіе. Мы шли долиною какой-то рѣчки: съ одной стороны были горы, съ другой—узкая и довольно высокая насыпь желѣзной дороги. Недавно прошедшіе дожди затопили долину, образовавъ на нашемъ пути большую лужу, саженъ въ тридцать шириною. Полотно желѣзной дороги возвышалось на ней плотиной, и намъ пришлось проходить по немъ. Будочникъ желѣзной дороги пропустилъ первый батальонъ, который благополучно перебрался на ту сторону лужи; но затѣмъ объявилъ, что черезъ пять минутъ пойдетъ поѣздъ и что намъ нужно ждать. Мы остановились и только что составили ружья, какъ на поворотѣ дороги показалась знакомая коляска бригаднаго генерала.

Нашъ бригадный генералъ былъ человѣкъ бравый. Горла, подобнаго тому, которымъ онъ владѣлъ, мнѣ никогда не случалось встрѣчать ни на оперныхъ сценахъ, ни въ архіерейскихъ хорахъ. Раскаты его баса гремѣли въ воздухѣ подобно трубному звуку; и его крупная, тучная фигура съ красною, толстой головой, сизыми, огромными, развѣвающимися по вѣтру бакенбардами, съ черными, толстыми бровями надъ маленькими, блестѣвшими, какъ угли, глазами, когда онъ, сидя на конѣ, командовалъ бригадой, была самая внушительная. Однажды, на Ходынскомъ полѣ въ Москвѣ, во время какихъ-то военныхъ упражненій, онъ выказалъ себя до такой степени воинственнымъ и бравымъ, что привелъ въ совершенный восторгъ стоявшаго въ толпѣ стараго мѣщанина, который при этомъ воскликнулъ:

— Молодчага! Намъ такихъ и надо!

Съ тѣхъ поръ за генераломъ навсегда утвердилось прозваніе „молодчага“.

Онъ мечталъ о подвигахъ. Нѣсколько томиковъ по военной исторіи сопровождали его во весь походъ. Любимымъ разговоромъ его съ офицерами была критика Наполеоновскихъ кампаній. Объ этомъ я конечно зналъ только по слухамъ, такъ какъ очень рѣдко видывалъ нашего генерала; бо́льшею частью онъ обгонялъ насъ на серединѣ перехода, въ своей коляскѣ, запряженной хорошею тройкою, пріѣзжалъ на мѣсто ночлега, занималъ квартиру и оставался тамъ до поздняго утра, а днемъ снова обгонялъ насъ, при чемъ солдаты всегда обращали вниманіе на степень багровости его лица и бо́льшую или меньшую хриплость, съ какою онъ оглушительно кричалъ намъ:

— Здорово, старобѣльцы!

— Здравія желаемъ, ваше превосходительство!—отвѣчали солдаты, и при этомъ прибавляли:

— Опохмеляться ѣдетъ молодчага!

И генералъ проѣзжалъ дальше, иногда безъ всякихъ послѣдствій, а иногда задавъ громоподобную головомойку какому нибудь ротному командиру.

Завидѣвъ остановившійся батальо́нъ, генералъ подлетѣлъ къ намъ и выскочилъ изъ коляски такъ скоро, какъ только позволяла ему его тучность. Маіоръ быстро подошелъ къ нему.

— Что такое? Почему остановились? Кто позволилъ?

— Ваше превосходительство, залило дорогу, а по полотну сейчасъ долженъ пройти поѣздъ.

— Залило дорогу? Поѣздъ? Вздоръ! Вы пріучаете солдатъ нѣжничать! Вы дѣлаете изъ нихъ бабъ! Безъ приказанія не останавливаться! Я васъ, милостивый государь, подъ арестъ...

— Ваше превосходительство...

— Не разсуждать!

Генералъ грозно повелъ глазами и обратилъ свое вниманіе на другую жертву.

— Это что такое? Почему командиръ второй стрѣлковой роты не на мѣстѣ? Штабсъ-капитанъ Венцель, пожалуйте сюда!

Венцель подошелъ. На него полился потокъ генеральскаго гнѣва. Я слышалъ, какъ онъ пробовалъ что-то отвѣтить, возвысивъ голосъ, но генералъ заглушилъ его, и можно было только догадаться, что Венцель сказалъ что-то непочтительное.

— Разсуждать?! Грубить?!—гремѣлъ генералъ.—Молчать! Снимите съ него саблю. Къ денежному ящику, подъ арестъ! Примѣръ людямъ... Струсили лужи! Ребята, за мной! По суворовски!

Генералъ быстро прошелъ мимо батальона къ водѣ неловкою походкой человѣка, долго ѣхавшаго въ экипажѣ.

— За мной, ребята! По суворовски! — повторилъ онъ, и пошелъ въ своихъ лакированныхъ ботфортахъ въ воду. Маіоръ съ злобнымъ выраженіемъ въ лицѣ оглянулся назадъ и пошелъ рядомъ съ генераломъ. Батальонъ тронулся за ними. Воды сначала было по колѣно, потомъ по поясъ, потомъ еще выше, высокій генералъ шелъ свободно, но маленькій маіоръ уже барахтался руками. Солдаты, точно гурьба овецъ во время перегона черезъ рѣку, толкались, вязли въ размокшемъ днѣ, вырывая ноги, метались изъ стороны въ сторону. Ротные командиры и батальонный адъютантъ, ѣхавшіе верхомъ, которымъ можно было бы весьма удобно переѣхать черезъ лужу, видя передъ собой примѣръ генерала, подъѣзжали къ ней, спѣшивались и, ведя лошадей на поводу, вступали въ грязную, взбудораженную сотнями солдатскихъ ногъ воду. Наша рота, состоявшая изъ самыхъ высокихъ въ батальонѣ людей, переходила довольно удобно, но шедшая рядомъ съ нами малорослая восьмая рота, гдѣ были все люди 2—4 вершковъ, едва брела по уши въ водѣ; нѣкоторые даже захлебывались и хватались за насъ. Маленькій солда-

тикъ-цыганъ, съ поблѣднѣвшимъ лицомъ и широко раскрытыми черными глазами, ухватилъ дядю Житкова за шею обѣими руками, бросивъ свое ружье; къ счастью для цыгана, кто-то подхватилъ на лету казенное оружіе и спасъ его отъ потопленія. Саженъ черезъ десять лужа стала мельче, и всѣ уже въ безопасности спѣшили поскорѣе выбраться, толкались и ругались. У насъ многіе смѣялись; солдатамъ восьмой роты было не до смѣха: лица у многихъ посинѣли не отъ одного холода. Сзади напирали стрѣлки.

— Ну, карапузы, выбирайся! Потопли!—кричали они.

— Очень просто, что потонуть можно,—отзывались въ восьмой ротѣ.—Ему хорошо идти; ишь, только баки свои замочилъ. Ерой выискался! Тутъ народъ перетопить можно.

— А ты бы ко мнѣ въ котелокъ сѣлъ. Сухонькимъ бы доставилъ.

— То-то и есть, братецъ, что не въ догадку было,—благодушно отвѣчалъ на насмѣшку маленькій солдатикъ.

Виновникъ всей этой суматохи, уже успѣвшій вытащить ноги изъ вязкаго дна и выйти изъ воды, величественно стоялъ на берегу, смотря на барахтавшуюся въ водѣ массу людей. Онъ промокъ до послѣдней нитки и дѣйствительно замочилъ себѣ и длинныя баки. Вода текла по его одеждѣ; полныя воды лакированныя голенища раздулись, а онъ все кричалъ, поощряя солдатъ:

— Впередъ, ребята! По суворовски!

Мокрые офицеры съ мрачными лицами толпились вокругъ него. Тутъ стоялъ и Венцель съ искаженнымъ лицомъ, и уже безъ сабли. Между тѣмъ, генеральскій кучеръ, походивъ у берега и посовавъ въ воду кнутовищемъ, сѣлъ на козлы и благополучно переѣхалъ черезъ воду немного въ сторонѣ отъ того мѣста, гдѣ перешли мы; воды едва хватало по оси коляски.

— Вотъ гдѣ, ваше превосходительство, переходить нужно было,—спокойно сказалъ маіоръ.—Прикажете людямъ обсушиться?

— Конечно, конечно, Сергѣй Николаичъ, — мирно отвѣтилъ генералъ.—Холодная вода охладила его пылъ. Онъ влѣзъ въ коляску, сначала сѣлъ, потомъ опять всталъ и закричалъ во всю мочь своего богатырскаго голоса:

— Спасибо, старобѣльцы! Молодцами!

— Рады стараться, ваше превосходительство!—нестройно гаркнули солдаты.—И мокрый генералъ уѣхалъ впередъ.

Солнце стояло еще высоко; идти оставалось только пять верстъ; маіоръ сдѣлалъ большой привалъ. Мы раздѣлись, развели костры, обсушили платье, сапоги, ранцы, сумки, и часа черезъ два тронулись въ путь, уже со смѣхомъ вспоминая купанье.

— А Венцеля-то молодчага подъ арестъ отправилъ!— сказалъ, между прочимъ, Ѳедоровъ.

— Ничего, пущай его за денежнымъ ящикомъ денька два походитъ,—отвѣчали сзади изъ стрѣлковой роты.

— Тебѣ-то что?

— Мнѣ-то? Не то что мнѣ, а всей ротѣ легче. Хоть на два дня отдохнемъ. Мочи отъ него нѣтъ—вотъ мнѣ что.

— Терпи, казакъ, атаманъ будешь.

— Терпѣть надо, а атаманами-то ужъ развѣ на томъ свѣтѣ будемъ, — проговорилъ Житковъ, по обыкновенію мрачнымъ голосомъ—ежели турка подстрѣлитъ.

— А вы, дяденька, въ отчаянность не впадайте. Вы то подумайте: вотъ мы съ вами обсушились, сухонькіе идемъ, а молодчага-то сырой катитъ, — сказалъ Ѳедоровъ, и кругомъ всѣ разсмѣялись.

V.

Мы шли все рядомъ съ желѣзной дорогой; поѣзды, наполненные людьми, лошадьми и припасами, постоянно обгоняли насъ. Солдаты съ завистью смотрѣли на проносившіеся мимо насъ товарные вагоны, изъ открытыхъ дверей которыхъ выглядывали лошадиныя морды. — Ишь ты, лошадямъ честь какая; а мы иди!

— Лошадь глупа, она съ тѣла спадетъ,—резонерствовалъ на это Василій Карпычъ.—А ты на то человѣкъ есть, чтобы себя соблюсти, какъ слѣдуетъ.

Однажды на привалѣ къ начальству прискакалъ казакъ съ важнымъ извѣстіемъ. Насъ подняли и выстроили безъ ранцевъ и безъ оружія, въ однѣхъ бѣлыхъ рубашкахъ. Никто изъ насъ не зналъ, зачѣмъ это дѣлается. Офицеры смотрѣли людей; Венцель, по обыкновенію, кричалъ и ругался, дергая за дурно надѣтые кушаки и съ пинками приказывая оправить рубахи. Потомъ насъ повели къ полотну желѣзной дороги, и послѣ довольно долгихъ построеній полкъ вытянулся въ двѣ шеренги вдоль пути. На версту протянулась бѣлая линія рубахъ.

— Ребята! — закричалъ маіоръ — Государь Императоръ проѣдетъ!

И мы начали ждать государя. Наша дивизія была довольно глухая, стоявшая вдали и отъ Петербурга, и отъ Москвы. Изъ солдатъ развѣ только одна десятая часть видѣла царя, и всѣ ждали царскаго поѣзда съ нетерпѣніемъ. Прошло полчаса; поѣздъ не шелъ; людямъ позволили присѣсть. Начались разсказы и разговоры.

— Остановится?—спросилъ кто-то.

— Держи карманъ! Для каждаго полка останавливаться! Поглядитъ на насъ изъ окошечка—и то ладно.

— И не разберемъ, братцы, который: генераловъ-то съ нимъ много ѣдетъ.

— Я-то разберу. Я его на Ходынкѣ въ позапрошломъ году вотъ какъ видѣлъ.

И солдатъ протянулъ руку, чтобы показать, какъ близко онъ видѣлъ государя.

Наконецъ, послѣ двухчасового ожиданія, вдали показался дымокъ. Полкъ всталъ и выровнялся. Сначала прошелъ поѣздъ съ прислугою и кухнею. Повара и поваренки въ бѣлыхъ колпакахъ выглядывали на насъ изъ оконъ и чему-то смѣялись. Саженяхъ въ двухстахъ шелъ царскій поѣздъ; маши-

нистъ, видя выстроившійся полкъ, убавилъ хода, и вагоны, медленно громыхая, проходили передъ глазами, жадно смотрѣвшими на окна. Но всѣ они были завѣшаны; казакъ и офицеръ, стоявшіе на площадкѣ задняго вагона, были единственные люди на поѣздѣ, которыхъ мы увидѣли. Мы посмотрѣли на уходившій быстрѣе и быстрѣе поѣздъ, постояли еще минуты три и пошли на бивуакъ. Солдаты были разочарованы и выражали огорченіе.

— Въ кои-то вѣки теперь его увидимъ!

Но мы увидѣли его скоро. Передъ Плоэшти намъ сказали, что въ этомъ городѣ насъ будетъ смотрѣть государь.

Мы проходили передъ нимъ, какъ были съ похода, въ тѣхъ же грязныхъ бѣлыхъ рубахахъ и штанахъ, въ тѣхъ же побурѣвшихъ и запыленныхъ сапогахъ, съ тѣми же безобразно навьюченными ранцами, сухарными сумками и бутылками на веревочкахъ. Солдатъ не имѣлъ въ себѣ ничего щегольского, молодецкаго и геройскаго; каждый былъ больше похожъ на простого мужика, только ружье, да сумки съ патронами показывали, что этотъ мужикъ собрался на войну. Насъ построили въ узкую колонну по четыре человѣка въ шеренгѣ: иначе нельзя было идти по узкимъ улицамъ города. Я шелъ сбоку, старался больше всего не сбиться съ ноги, держать равненіе, и думалъ о томъ, что если государь со своей свитой будетъ стоять съ моей стороны, то мнѣ придется пройти передъ его глазами, и очень близко отъ него. Только взглянувъ на шедшаго рядомъ со мною Житкова, на его лицо, какъ и всегда, суровое и мрачное, но взволнованное, я почувствовалъ, что и мнѣ передается часть общаго волненія, что сердце у меня забилось сильнѣе. И мнѣ вдругъ показалось, что отъ того, какъ посмотритъ на насъ государь, зависитъ для насъ все. Когда мнѣ впослѣдствіи пришлось идти въ первый разъ подъ пули, я испыталъ чувство, близкое къ этому.

Люди шли быстрѣе и быстрѣе, шагъ становился больше, походка свободнѣе и тверже. Мнѣ не нужно было прино-

равливаться къ общему такту: усталость прошла. Точно крылья выросли и несли впередъ, туда, гдѣ уже гремѣла музыка и раздавалось оглушительное „ура!“ Не помню улицъ, по которымъ мы шли, не помню, былъ ли народъ на этихъ улицахъ, смотрѣлъ ли на насъ; помню только волненіе, охватившее душу, вмѣстѣ съ сознаніемъ страшной силы массы, къ которой принадлежалъ и которая увлекала тебя. Чувствовалось, что для этой массы нѣтъ ничего невозможнаго, что потокъ, съ которымъ вмѣстѣ я стремился и котораго часть я составлялъ, не можетъ знать препятствій, что онъ все сломитъ, все исковеркаетъ и все уничтожитъ. И всякій думалъ, что тотъ, передъ которымъ проносился этотъ потокъ, можетъ однимъ словомъ, однимъ движеніемъ руки измѣнить его направленіе, вернуть назадъ или снова бросить на страшныя преграды, всякій хотѣлъ найти въ словѣ этого одного и въ движеніи его руки невѣдомое, что̀ вело насъ на смерть: „Ты ведешь насъ, — думалъ каждый — тебѣ мы отдаемъ свою жизнь; смотри на насъ и будь покоенъ: мы готовы умереть“.

И онъ зналъ, что мы готовы умереть. Онъ видѣлъ страшные, твердые въ своемъ стремленіи ряды людей, почти бѣгомъ проходившихъ передъ нимъ, людей своей бѣдной страны, бѣдно одѣтыхъ, грубыхъ солдатъ. Онъ чуялъ, что всѣ они шли на смерть, спокойные и свободные отъ отвѣтственности. Онъ сидѣлъ на сѣромъ конѣ, неподвижно стоявшемъ и насторожившемъ уши на музыку и бѣшеные крики восторга. Вокругъ была пышная свита; но я не помню никого изъ этого блистательнаго отряда всадниковъ, кромѣ одного человѣка на сѣромъ конѣ, въ простомъ мундирѣ и бѣлой фуражкѣ. Я помню блѣдное, истомленное лицо — истомленное сознаніемъ тяжести взятаго рѣшенія. Я помню, какъ по его лицу градомъ катились слезы, падавшія на темное сукно мундира свѣтлыми, блестящими каплями; помню судорожное движеніе руки, державшей поводъ, и дрожащія губы, говорившія что-то, должно быть, привѣтствіе тысячамъ молодыхъ, погибающихъ жизней, о которыхъ онъ плакалъ. Все это явилось и исчезло, какъ

освѣщенное на мгновеніе молніей, когда я, задыхаясь не отъ бѣга, а отъ нечеловѣческаго, яростнаго восторга, пробѣжалъ мимо него, поднявъ высоко винтовку одной рукой, а другой— махая надъ головой шапкой и крича оглушительное, но отъ общаго вопля неслышное самому мнѣ „ура!“

Все это промелькнуло и исчезло. Пыльныя улицы, залитыя палящимъ зноемъ; измученные возбужденіемъ и почти бѣглымъ шагомъ на пространствѣ цѣлой версты солдаты, изнемогающіе отъ жажды; крикъ офицеровъ, требующихъ, чтобы всѣ шли въ строю и въ ногу — вотъ все, что я видѣлъ и слышалъ пять минутъ спустя. И когда мы прошли еще версты двѣ душнымъ городомъ и пришли на выгонъ, отведенный намъ подъ бивуакъ, я бросился на землю, совершенно разбитый и тѣломъ, и душою.

VI.

Трудные переходы, пыль, жара, усталость, сбитыя до крови ноги, коротенькіе отдыхи днемъ, мертвый сонъ ночью, ненавистный рожокъ, будящій чуть свѣтъ. И все поля, поля, непохожія на родныя, покрытыя высокою, зеленою, громко шелестящею длинными шелковистыми листьями кукурузой или тучной пшеницей, уже начавшей кое-гдѣ желтѣть.

Тѣ же лица, та же полковая походная жизнь, тѣ же разговоры и разсказы о домѣ, о стоянкѣ въ губернскомъ городѣ, пересуды объ офицерахъ.

О будущемъ говорили рѣдко и неохотно. Зачѣмъ шли на войну—знали смутно, несмотря на то, что цѣлые полгода простояли недалеко отъ Кишинева, готовые къ походу; въ это время можно было бы объяснить людямъ значеніе готовящейся войны, но, должно быть, это не считалось нужнымъ. Помню, разъ спросилъ меня солдатъ:

— А что, Владиміръ Михайлычъ, скоро ли въ бухарскую землю придемъ?

Я подумалъ сначала, что ослышался, но когда онъ повто-

рилъ вопросъ, отвѣтилъ, что бухарская земля за двумя морями, что до нея тысячи четыре верстъ, и что врядъ ли мы когда нибудь попадемъ туда.

— Нѣтъ, Михайлычъ, вы не такъ теперь говорите. Мнѣ писарь сказывалъ. Перейдемъ, говоритъ, черезъ Дунай, тутъ сейчасъ и будетъ бухарская земля.

— Такъ не бухарская—болгарская!—воскликнулъ я.

— Ну, бурхарская, и бухарская, какъ тамъ ее по-вашему; не все одно, что ли?

И онъ замолчалъ, видимо недовольный.

Знали мы только, что турку бить идемъ, потому что онъ много крови пролилъ. И хотѣли побить турку, но не столько за эту, неизвѣстно чью, пролитую кровь, сколько за то, что онъ потревожилъ такое множество народа, что изъ-за него пришлось испытывать трудный походъ („которую тысячу верстъ до него, поганаго, тащимся!"), билетнымъ солдатамъ побросать дома и семьи, а всѣмъ вмѣстѣ идти куда-то подъ пули и ядра. Турка представлялся бунтовщикомъ, зачинщикомъ, котораго нужно усмирить и покорить.

Гораздо больше, чѣмъ войной, мы занимались своими семейными, батальонными и ротными дѣлами. Въ нашей ротѣ все было тихо и спокойно; у стрѣлковъ дѣла шли хуже и хуже. Венцель не унимался; скрытое негодованіе росло, и послѣ одного случая, котораго и теперь, черезъ пять лѣтъ, я не могу вспомнить безъ тяжелаго волненія, дошло до настоящей ненависти.

Мы только-что прошли какой-то городъ и вышли на лугъ, гдѣ уже расположился шедшій впереди насъ первый полкъ. Мѣстечко было хорошее: съ одной стороны рѣка, съ другой—старая, чистая дубовая роща, вѣроятно, мѣсто гулянья для жителей городка. Былъ хорошій, теплый вечеръ; солнце садилось. Полкъ сталъ; составили ружья. Мы съ Житковымъ начали натягивать палатку; поставили столбики; я держалъ одинъ край полы, а Житковъ палкой забивалъ колышекъ.

— Туже, туже держи, Михайлычъ!—(Онъ уже нѣсколько

дней тому назадъ началъ говорить мнѣ ты). — Вотъ такъ, такъ.

Но въ это время сзади послышались какіе-то странные, мѣрные, плескающіе звуки. Я обернулся.

Стрѣлки стояли во фронтѣ. Венцель, что-то хрипло крича, билъ по лицу одного солдата. Съ помертвѣлымъ лицомъ, держа ружье у ноги и не смѣя уклоняться отъ ударовъ, солдатъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Венцель изгибался своимъ худымъ и небольшимъ станомъ отъ собственныхъ ударовъ, нанося ихъ обѣими руками то съ правой, то съ лѣвой стороны. Кругомъ всѣ молчали; только и было слышно плесканье, да хриплое бормотанье разъяреннаго командира. У меня потемнѣло въ глазахъ; я сдѣлалъ движеніе. Житковъ понялъ его и изо всѣхъ силъ дернулъ за полотнище.

— Держи, чортъ безрукій! — закричалъ онъ и выругалъ меня самыми скверными словами.—Отсохли, что ли, руки-то? Куда смотришь? Чего не видалъ?

Удары слышались. По верхней губѣ и подбородку солдата текла кровь. Наконецъ, онъ упалъ, Венцель отвернулся, окинулъ глазами всю роту и закричалъ:

— Если еще кто нибудь посмѣетъ курить во фронтѣ, хуже изобью каналью. Поднять его, обмыть рожу и положить въ палатку. Пусть отлежится. Составь! — скомандовалъ онъ ротѣ.

Руки у него тряслись, были красны, пухлы и въ крови. Онъ вынулъ платокъ, вытеръ руки и пошелъ прочь отъ составлявшихъ ружья въ козла и тяжело молчавшихъ солдатъ. Нѣсколько человѣкъ, глухо переговариваясь, возились около избитаго и поднимали его. Венцель шелъ нервной, измученной походкой; онъ былъ блѣденъ, глаза его блистали; по игравшимъ мускуламъ видно было, какъ онъ стискивалъ зубы. Онъ прошелъ мимо насъ и, встрѣтивъ мой упорный взглядъ, неестественно насмѣшливо улыбнулся однѣми тонкими губами и, прошептавъ что-то, пошелъ дальше.

— Кровопивецъ! — съ ненавистью въ голосѣ сказалъ

Житковъ. — А ты, баринъ, тоже!.. Чего лѣзть? Подъ разстрѣлъ угодить хочешь? Погоди, найдутъ и на него управу.

— Жаловаться пойдутъ?—спросилъ я—кому?

— Нѣтъ, не жаловаться. Въ дѣйствіи тоже будемъ.

И онъ проворчалъ что-то почти про себя. Я боялся понять его. Ѳедоровъ, уже успѣвшій потолкаться между стрѣлками и разспросить, въ чемъ дѣло, вернулся къ намъ.

— Ни за что людей терзаетъ, — сказалъ онъ. — Какъ шли на походѣ, солдатикъ этотъ, Матюшкинъ, цыгарку курилъ. Стали — онъ ружье взялъ къ ногѣ, а цыгарка между пальцами; забылъ, видно, на свою голову. Венцель и доглядѣлъ.

— Звѣрь! — добавилъ онъ печально, укладываясь подъ готовую уже палатку. — И цыгарка-то ужъ потухла; видно, что забылъ, бѣдняга!

Черезъ нѣсколько дней мы прошли въ Александрію, гдѣ собралось очень много войскъ. Еще сходя съ высокой горы, мы видѣли огромное пространство, пестрѣвшее бѣлыми палатками, черными фигурами людей, длинными коновязями и блестѣвшими кое-гдѣ рядами мѣдныхъ пушекъ и зеленыхъ лафетовъ и ящиковъ. По улицѣ города ходили цѣлыя толпы офицеровъ и солдатъ.

Изъ открытыхъ оконъ тѣсныхъ и грязныхъ гостинницъ слышалась заунывная и удалая венгерская музыка, звонъ посуды и шумные разговоры; лавки были набиты русскими покупателями. Непонимающіе другъ друга наши солдаты, румыны, нѣмцы и жиды громко кричали; споръ изъ-за курса бумажнаго рубля слышался на каждомъ шагу.

— Ты что мнѣ „*доу галаганъ*“, черномазый чортъ?.. Гривенникъ давай! Эй, ты, *домнулъ!*

— *Унде эште поштэ?* — преувеличенно вѣжливо, прикладывая руку къ козырьку кепи, спрашиваетъ щеголя-румына офицеръ, вооруженный „Военнымъ Переводчикомъ“ —

книжкой, которою тогда были снабжены войска. Румынъ объясняетъ ему; офицеръ перелистываетъ книжку, ища непонятныхъ словъ, и ничего не понимаетъ, но вѣжливо благодаритъ.

— Тьфу ты, братцы, что за народъ! И попы наши, и церкви наши, а понятія ни къ чему у нихъ нѣтъ! Рупъ серебряный хошь?—кричитъ, что есть мочи, солдатъ съ рубахой въ рукахъ румыну, торгующему въ открытой лавкѣ. — За рубаху? *Патру франку?* Четыре франка?

Онъ вынимаетъ монету, показываетъ ее, и дѣло кончено къ общему удовольствію.

— Сторонись, сторонись, земляки, генералъ идетъ!

Высокій молодой генералъ въ щегольскомъ сюртукѣ, высокихъ сапогахъ и съ нагайкой на ремнѣ черезъ плечо, быстро проходитъ по улицѣ. За нимъ въ нѣсколькихъ шагахъ идетъ ординарецъ, маленькій азіатъ въ цвѣтномъ халатѣ и чалмѣ, съ огромной шашкой и револьверомъ у пояса. Генералъ, высоко держа голову и равнодушно весело смотря на разступающихся и отдающихъ честь солдатъ, проходитъ въ гостинницу. Здѣсь, въ уголку, пріютились и мы съ Иваномъ Платонычемъ и Стебельковымъ, поглощая какое-то мѣстное кушанье, состоящее изъ краснаго перца съ мясомъ. Ободранная комната, уставленная столиками, полна народа. Звонъ посуды, хлопанье пробокъ, трезвые и пьяные голоса— все покрывается оркестромъ, пріютившимся въ чемъ-то въ родѣ ниши, украшенной кумачными занавѣсками. Музыкантовъ пятеро: двѣ скрипки пилятъ съ остервенѣніемъ, віолончель вторитъ однообразными густыми нотами, контрбасъ ревѣтъ, но всѣ эти инструменты составляютъ только фонъ для пятаго. Черномазый, кудрявый венгерецъ, почти мальчикъ, сидитъ впереди всѣхъ; за широкій воротникъ бархатной куртки у него всунутъ странный инструментъ, древняя пѣвница, точно такая, съ какою рисуютъ Пана и фавновъ. Это рядъ неравныхъ деревянныхъ трубочекъ, сложенныхъ вмѣстѣ, такъ что открытые концы ихъ приходятся противъ губъ артиста. Венгерецъ, вертя головой то въ ту, то въ другую сторону,

дуетъ въ эти трубки и извлекаетъ сильные, мелодическіе звуки, непохожіе ни на флейту, ни на кларнетъ. Самые хитрые и трудные пассажи продѣлываетъ онъ, тряся и вертя головой; черные жирные волосы прыгаютъ на его головѣ и падаютъ на лобъ; лицо потно и красно, на шеѣ надулись жилы. Видно было, что ему нелегко... На нестройномъ фонѣ струнныхъ инструментовъ звуки пѣвницы вырисовывались рѣзко, отчетливо и дико красиво.

Генералъ занялъ мѣсто за столомъ знакомыхъ ему офицеровъ, поклонился всѣмъ, вставшимъ при его приходѣ, и громко сказалъ: „садитесь, господа!“ что относилось къ нижнимъ чинамъ. Мы молча кончили обѣдъ; Иванъ Платонычъ приказалъ подать краснаго румынскаго вина, и послѣ второй бутылки, когда лицо у него повеселѣло и щеки и носъ приняли яркій оттѣнокъ, обратился ко мнѣ:

— Вы, юноша, скажите мнѣ... Помните, большой переходъ былъ?

— Помню, Иванъ Платонычъ.

— Вы тогда съ Венцелемъ говорили?

— Говорилъ.

— Вы схватили его за руку? — спросилъ капитанъ неестественно серьезнымъ тономъ. И когда я отвѣтилъ, что дѣйствительно схватилъ, испустилъ продолжительный и шумный вздохъ и безпокойно замигалъ глазами.

— Скверно вы сдѣлали... Глупо вы сдѣлали! Видите ли, я не выговоръ хочу вамъ дѣлать. Вы сдѣлали прекрасно... то-есть противно дисциплинѣ... Чортъ знаетъ, что я несу! Вы меня извините...

Онъ замолчалъ, смотря на полъ и отдуваясь. Я тоже молчалъ. Иванъ Платонычъ отхлебнулъ полстакана и хлопнулъ меня по колѣнкѣ.

— Дайте мнѣ обѣщаніе, что больше не сдѣлаете такой выходки. Я понимаю самъ... Свѣжему человѣку трудно. Ну, что же вы съ нимъ сдѣлаете? Этакая бѣшеная собака этотъ Венцель! Ну, видите ли...

Иванъ Платонычъ видимо не находилъ словъ и, сдѣлавъ долгую паузу, снова прибѣгъ къ стакану.

— То-есть, видите ли... онъ хорошій человѣкъ, въ сущности. Это у него блажь какая-то, чортъ его знаетъ. Вы сами видѣли, я тоже недавно ткнулъ солдата легонько. Ну, если дуракъ не понимаетъ своей собственной пакости, знаете, дерево этакое... Но вѣдь я, Владимиръ Михайлычъ, какъ отецъ. Ей Богу, безъ злобы, хоть и распалишься иногда. А тотъ — въ систему возвелъ. Эй, ты!—крикнулъ онъ румыну-лакею— *оште винъ негру!* Еще вина!.. И когда нибудь подъ судъ попадетъ; а то еще хуже будетъ: обозлятся люди, и въ первомъ же дѣлѣ... Жаль будетъ, потому что все-таки человѣкъ, знаете, хорошій. И даже теплый человѣкъ.

— Ну!—протянулъ Стебельковъ.—Какой теплый человѣкъ будетъ такъ драться!

— Вы посмотрѣли бы, Иванъ Платонычъ, что̀ вашъ теплый человѣкъ недавно надѣлалъ.

И я разсказалъ капитану, какъ Венцель избилъ солдата за цыгарку.

— Ну, вотъ, вотъ, вотъ... всегда такъ! — Иванъ Платонычъ краснѣлъ, пыхтѣлъ, останавливался и снова начиналъ говорить. — Но все-таки онъ не звѣрь. У кого люди лучше всѣхъ накормлены? У Венцеля. У кого лучше выучены? У Венцеля. У кого почти нѣтъ штрафованныхъ? Кто никогда не отдастъ подъ судъ — развѣ ужъ очень крупную пакость солдатъ сдѣлаетъ? Все онъ же. Право, если бы не эта несчастная слабость, его солдаты на рукахъ бы носили.

— Говорили вы съ нимъ объ этомъ, Иванъ Платонычъ?

— Говорилъ и ссорился десять разъ. Что̀ съ нимъ подѣлаешь! „Или, говоритъ, войско, или милиція“. Фразы все какія-то глупыя выдумываетъ. „Война, говоритъ, такая жестокость, что если я жестокъ съ солдатами, то это капля въ морѣ... Они, говоритъ, стоятъ на такой низкой степени развитія“... Однимъ словомъ, чортъ знаетъ что такое! А между тѣмъ, прекрасный человѣкъ. Не пьетъ, въ картишки не

играетъ, дѣло ведетъ добросовѣстно, старику отцу и сестрѣ помогаетъ, товарищъ прекрасный! И образованный человѣкъ! Другого такого въ полку нѣтъ. И помните мое слово: или подъ судъ попадетъ, или тѣ (онъ кивнулъ головой къ окну) разсудятъ. Скверно. Такъ-то, любезнѣйшій мой рядовой.

Иванъ Платонычъ ласково потрепалъ меня по погону; потомъ полѣзъ въ карманъ, досталъ табачницу и началъ свертывать толстѣйшую папиросу. Вложивъ ее въ огромный мундштукъ съ янтаремъ и надписью чернью по серебру „Кавъ-Казъ“, а мундштукъ въ ротъ, онъ молча сунулъ табачницу мнѣ. Мы закурили всѣ трое, и капитанъ началъ снова:

— Иногда, точно, бываетъ: нельзя не потрепать. Вѣдь они въ родѣ дѣтей. Балунова знаете?

Стебельковъ вдругъ расхохотался.

— Ну, ну, чего, Стебелекъ! — проворчалъ Иванъ Платонычъ.—Старый солдатъ, штрафованный. Онъ двадцатый годъ служитъ: все за разныя провинности не отпускаютъ. Ну, такъ вотъ онъ, щельма... Васъ еще не было тогда: передъ Кишиневомъ разъ выходили мы изъ деревни. Приказало начальство осмотрѣть у всѣхъ вторыя пары сапогъ. Выстроилъ я ихъ, хожу сзади и смотрю, торчатъ ли изъ ранцевъ головки. У Балунова нѣтъ. „Гдѣ сапоги?“ — Въ ранецъ для сохраненія вложилъ, ваше благородіе.—„Врешь!“—Никакъ нѣтъ, ваше благородіе: чтобъ не мокли, въ ранцѣ находятся! — Бойко такъ отвѣчаетъ бестія. „Снимай ранецъ, разстегивай“. — Вижу не разстегиваетъ и тащитъ голенище изъ-подъ крышки. „Разстегивай“.—Я, ваше благородіе, и такъ выну. —Однако, заставилъ я его разстегнуть. Что-жъ вы думаете? Тащитъ изъ ранца за уши поросенка живого! И рыльце веревочкой завязано, чтобы не визжалъ! Правой рукой подъ козырекъ, рожу этакую почтительную скорчилъ, а лѣвой поросенка держитъ. Стащилъ подлецъ у молдаванки. Ну, конечно, я его тутъ легонько ткнулъ!

Стебельковъ покатывался отъ хохота и едва выговорилъ:

— Да чѣмъ!.. Ткнулъ-то, Ивановъ, поросенкомъ. Охъ-хо-хо!.. Выхватилъ поросенка, да имъ!..

— Неужели безъ этого нельзя обойтись, Иванъ Платонычъ?

— Ахъ, вы! Досадно, право, слушать. Не подъ судъ же мнѣ его было отдавать!

VII.

Ночью съ 14 на 15 іюня Ѳедоровъ разбудилъ меня.

— Михайлычъ, слышите?

— Что такое?

— Пальба. Дунай переходятъ.

Я началъ прислушиваться. Дулъ сильный вѣтеръ, гнавшій низкія черныя тучи, заслонявшія мѣсяцъ; онъ налеталъ на полотно, съ шумомъ шлепалъ его; гудѣлъ въ веревкахъ и тонко высвистывалъ гдѣ-то въ ружейныхъ козлахъ. Сквозь эти звуки иногда слышались глухіе удары.

— Народу-то теперь что̀ валится! — вздохнувъ, прошепталъ Ѳедоровъ.—Насъ поведутъ или нѣтъ? Какъ полагаете? Ухаетъ-то какъ, будто громъ!

— Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ гроза?

— Нѣтъ! Какая гроза! Очень ужъ правильно. Слышите? Одна за одной, одна за одной.

Удары, дѣйствительно, раздавались правильно, черезъ извѣстные промежутки времени. Я вылѣзъ изъ-подъ палатки и сталъ смотрѣть по направленію выстрѣловъ. Вспышекъ огня не было видно. Иногда напряженнымъ глазамъ мерещился свѣтъ въ той сторонѣ, откуда гремѣли пушки, но это только обманъ.

— Вотъ оно наконецъ!—подумалось мнѣ.

И я старался представить себѣ, что̀ дѣлается тамъ, въ темнотѣ. Мнѣ чудилась широкая черная рѣка съ обрывистыми берегами, совершенно непохожая на настоящій Дунай, ка-

кимъ я его увидѣлъ потомъ. Плывутъ сотни лодокъ; эти мѣрные частые выстрѣлы — по нимъ. Много ли уцѣлѣетъ ихъ? Холоднал дрожь пробѣжала у меня по тѣлу. Хотѣлъ бы ты быть тамъ? невольно спросилъ я самъ себя.

Я посмотрѣлъ на спящій лагерь; все было спокойно: между далекимъ громомъ орудій и шумомъ вѣтра слышалось мирное храпѣнье людей. И страстно захотѣлось мнѣ вдругъ, чтобы всего *этого* не было, чтобы походъ протянулся еще, чтобы этимъ спокойно спящимъ, а вмѣстѣ съ ними и мнѣ, не пришлось идти туда, откуда гремѣли выстрѣлы.

Иногда канонада становилась сильнѣе; иногда мнѣ смутно слышался менѣе громкій, глухой шумъ. Это стрѣляютъ ружейными залпами, думалъ я, не зная, что до Дуная еще двадцать верстъ, и что болѣзненно настроенный слухъ самъ создавалъ эти глухіе звуки. Но хотя и мнимые, они все-таки заставляли воображеніе работать и рисовать страшныя картины. Чудились крики и стоны, представлялись тысячи валящихся людей, отчаянное хриплое „ура!“, атака въ штыки, рѣзня. А если отобьютъ, и все это даромъ?

Темный востокъ посѣрѣлъ; вѣтеръ сталъ утихать. Тучи разошлись; умирающія звѣзды виднѣлись кое-гдѣ на поблѣднѣвшемъ, зеленоватомъ небѣ. Начало свѣтать; въ лагерѣ кое-кто проснулся, и услышавшіе звуки сраженія будили другихъ. Говорили мало и тихо. Неизвѣстность близко подошла къ людямъ: никто не зналъ, что будетъ завтра, и не хотѣлъ ни думать, ни говорить объ этомъ завтрашнемъ днѣ.

Я заснулъ на разсвѣтѣ и проснулся довольно поздно. Пушки продолжали глухо гремѣть, и хотя никакихъ извѣстій съ Дуная не было, между нами ходили слухи, одинъ другого невѣроятнѣе. Одни говорили, что наши уже перешли и гонятъ турокъ, другіе—что переправа не удалась, что уничтожены цѣлые полки.

— Которыхъ потопили, которыхъ перестрѣляли! — заговорилъ кто-то.

— А ты ври больше,—оборвалъ его Василій Карпычъ.

— Зачѣмъ мнѣ врать, ежели правда?

— Правда! Тебѣ кто сказалъ?

— Чего?

— Правду-то? Откедова слышалъ? Мы всѣ знаемъ: пальба идетъ, и больше ничего.

— Всѣ говорятъ. Къ генералу казакъ...

— Казакъ! Ты видѣлъ казака-то? Какой онъ изъ себя есть, казакъ-то твой?...

— Казакъ, обыкновенно... какой казакъ долженъ быть?

— То-то долженъ! Языкъ-то у тебя—бабья балаболка. Сидѣлъ бы да молчалъ. Никого не было, неоткуда и знать.

Я пошелъ къ Ивану Платонычу. Офицеры сидѣли совсѣмъ готовые, застегнутые и съ револьверами на поясѣ. Иванъ Платонычъ былъ, какъ и всегда, красенъ, пыхтѣлъ, отдувался и вытиралъ шею грязнымъ платкомъ. Стебельковъ волновался, сіялъ и для чего-то нафабрилъ свои, прежде висѣвшіе внизъ, усики, такъ что они торчали острыми кончиками.

— Вотъ прапорщикъ-то нашъ! расфрантился передъ дѣломъ,—сказалъ Иванъ Платонычъ, подмигивая на него.— Ахъ, Стебелечекъ, Стебелечекъ—жаль мнѣ тебя! Не будетъ у насъ въ собраніи такихъ усиковъ! Сломаютъ тебя, Стебелечекъ—говорилъ капитанъ шутливо жалобнымъ тономъ.— Ну, что, не трусишь?

— Постараюсь не трусить,—бодрымъ голосомъ сказалъ Стебельковъ.

— Ну, а вамъ, воитель, страшно?

— Самъ не знаю, Иванъ Платонычъ... Оттуда ничего не слышно?

— Ничего, Господь знаетъ, что тамъ дѣлается.—Иванъ Платонычъ тяжко вздохнулъ.—Въ часъ выступаемъ,—добавилъ онъ, помолчавъ.

Пола палатки отвинулась; адъютантъ Лукинъ просунулъ свое лицо, на этотъ разъ серьезное и блѣдное.

— Вы здѣсь, Ивановъ? Приказано привести васъ къ при-

сягѣ... Не сейчасъ, когда будемъ выступать. Иванъ Плат[о]нычъ! Пятую пачку патроновъ людямъ.

Онъ отказался войти посидѣть, говоря, что много дѣла, и побѣжалъ куда-то. Я тоже вышелъ.

Часамъ къ двѣнадцати поспѣлъ обѣдъ. Люди ѣли плохо. Послѣ обѣда приказали снять надульники (кожаные чехольчики) съ ружей и роздали добавочные патроны. Солдаты, готовясь къ бою, начали осматривать свои ранцы и выбрасывать все лишнее. Бросали порванные рубахи и штаны, разныя тряпки, старые сапоги, щетки, засаленныя солдатскія книжки; нѣкоторые, какъ оказалось, донесли до Дуная въ ранцахъ множество ненужныхъ вещей. Я видѣлъ на землѣ брошенный „щелкунъ“, т.-е. деревянную чурку, которою въ мирное время передъ парадами и смотрами разглаживаютъ ремни амуниціи, тяжелыя каменныя банки изъ-подъ помады, какія-то коробочки и дощечки и даже цѣлую сапожную колодку.

— Бросай болѣ, ребята! Все легче въ дѣйствіе идти. Завтра ужъ не нужно будетъ.

— Пятьсотъ верстъ тащилъ... и на что мнѣ она?—разсуждалъ солдатъ Лютиковъ, разсматривая какую-то тряпицу,— съ собою не унесешь...

Выбрасывать вещи, очищать ранецъ, въ тотъ день вошло въ моду. Когда мы сошли съ мѣста, на которомъ стояли, оно представилось на темномъ фонѣ степи правильнымъ четыреугольникомъ, пестрымъ отъ множества тряпокъ и другихъ вещей.

Передъ походомъ, когда полкъ, уже совсѣмъ готовый, стоялъ и ждалъ команды, впереди собралось нѣсколько офицеровъ и нашъ молоденькій полковой священникъ. Изъ фронта вызвали меня и четырехъ вольноопредѣляющихся изъ другихъ батальоновъ; всѣ поступили въ полкъ на походѣ. Оставивъ ружья сосѣдямъ, мы вышли впередъ и стали около знамени; незнакомые мнѣ товарищи были взволнованы, да и у меня сердце билось сильнѣе, чѣмъ всегда.

— Возьмитесь за знамя! — сказалъ батальонный коман-

миръ. Знаменщикъ наклонилъ знамя; его ассистенты сняли чехолъ. Старая, полинявшая зеленая шелковая ткань забилась по вѣтру. Мы стали вокругъ и, держа одной рукой древко, а другую поднявъ вверхъ, повторяли слова священника, который читалъ съ листа старинную Петровскую военную присягу. Вспомнились мнѣ слова Василія Карпыча на первомъ переходѣ. Гдѣ же это? думалъ я. И послѣ долгаго перечисленія случаевъ и мѣстъ службы Его Императорскаго Величества: походовъ, наступленій, авангардій и арріергардій, крѣпостей, карауловъ и обозовъ, я услышалъ эти слова. „Не щадя живота", громко повторили всѣ пятеро въ одинъ голосъ; и, глядя на ряды сумрачныхъ, готовыхъ къ бою людей, я чувствовалъ, что это не пустыя слова.

Мы вернулись въ ряды; полкъ дрогнулъ, зашевелился и, вытянувшись въ длинную колонну, форсированнымъ шагомъ пошелъ къ Дунаю. Выстрѣлы, доносившіеся оттуда, смолкли.

Какъ сквозь сонъ помню этотъ переходъ; пыль, поднимаемую обгонявшими насъ на рысяхъ казачьими полками, широкую степь, спускавшуюся къ Дунаю, другой синѣвшій берегъ котораго мы увидѣли верстъ за пятнадцать, усталость, жару, свалку и драку у встрѣтившагося намъ уже подъ Зимницею колодца; грязный маленькій городокъ, наполненный войсками, какихъ-то генераловъ, махавшихъ намъ съ балкона фуражками и кричавшихъ „ура", на что мы отвѣчали тѣмъ же.

— Перешли! перешли!—гудѣли вокругъ голоса.

— Двѣсти убитыхъ, пятьсотъ раненыхъ!

VIII.

Ужъ было темно, когда мы, сойдя съ берега, перешли протокъ Дуная по небольшому мосту и пошли по низкому песчаному острову, еще мокрому отъ только что спавшей съ него воды. Помню рѣзкій лязгъ штыковъ сталкивавшихся въ

темнотѣ солдатъ, глухое дребезжанье обгонявшей насъ артиллеріи, черную массу широкой рѣки, огоньки на другомъ берегу, куда мы должны были переправиться завтра и гдѣ, я думалъ, завтра же будетъ новый бой... Лучше не думать, уснуть, рѣшилъ я, и улегся въ пропитанный водой песокъ.

Солнце было уже высоко, когда я открылъ глаза. На песчаномъ берегу толпились войска, обозы и парки; у самой воды уже успѣли выкопать батареи и ровики для стрѣлковъ; за Дунаемъ, на крутомъ берегу, можно было разсмотрѣть сады и виноградники, въ которыхъ копошились наши войска; за ними подымались все выше и выше возвышенности, рѣзко ограничивая горизонтъ. Вправо, версты за три отъ нихъ, бѣлѣло на холмахъ своими домами и минаретами Систово. Пароходъ, съ баркой на буксирѣ, перевозилъ батальонъ за батальономъ на ту сторону. У нашего берега шипѣлъ парами маленькій миноносный катеръ.

— Съ благополучнымъ переходомъ, Владиміръ Михайлычъ!—весело поздравилъ меня Ѳедоровъ.

— И васъ также. Да только мы-то вѣдь еще не перешли?

— А вотъ сейчасъ пароходъ придетъ, заберетъ. Мониторъ турецкій, говорятъ, недалеко; вонъ этотъ самоварчикъ на него приготовленъ.—Онъ показалъ на миноноску.—Побито народа что, Господи!—продолжалъ онъ, измѣнивъ голосъ.—Ужъ возили-возили съ той стороны...

И онъ разсказалъ мнѣ всѣмъ извѣстныя подробности Систовскаго боя.

— Теперь нашъ чередъ. Перейдемъ на тотъ бокъ—турки навалятся... Ну, все-таки вышла отсрочка: мы-то живы, а вотъ тѣ...—Онъ кивнулъ на стоявшую недалеко кучку солдатъ и офицеровъ, столпившихся вокругъ невидимаго предмета, на который всѣ они смотрѣли.

— Что это такое?

— Убитыхъ нашихъ оттуда привезли. Подите, посмотрите, Михайлычъ, страсть-то какая!

Я подошелъ къ кучкѣ. Всѣ, молча и снявъ шапки, смо-

трѣли на лежавшія рядомъ на пескѣ тѣла. Иванъ Платонычъ, Стебельковъ и Венцель тоже были здѣсь. Иванъ Платонычъ сердито нахмурился, кряхтѣлъ и отдувался; Стебельковъ съ наивнымъ ужасомъ вытягивалъ изъ-за его плеча тонкую шею; Венцель стоялъ, глубоко задумавшись.

Лежавшихъ на пескѣ было двое. Одинъ—рослый, красивый гвардеецъ финляндскаго полка, изъ сборной гвардейской полуроты, той самой, которая потеряла во время атаки половину людей. Онъ былъ раненъ въ животъ и, должно быть, долго мучился до смерти. Тонкій отпечатокъ чего-то одухотвореннаго, изящнаго и нѣжно жалобнаго оставило страданіе на его лицѣ. Глаза были закрыты, руки сложены на груди. Самъ ли онъ передъ смертью принялъ это положеніе, или товарищи позаботились о немъ? Его видъ не возбуждалъ ужаса и отвращенія, а только безконечную жалость къ погибшей, бившей ключемъ жизни.

Иванъ Платонычъ нагнулся къ трупу и, взявъ фуражку, лежавшую около головы, прочелъ на козырькѣ: „Иванъ Журенко, третьей роты". — Хохолъ былъ бѣднякъ! тихо сказалъ онъ. И представились мнѣ родина, жаркій вѣтеръ въ степи, слобода по оврагу, левады, заросшія вербами, бѣленькая мазанка съ красными ставнями... Кто ждетъ тамъ тебя?

Другой былъ армеецъ волынскаго полка. Смерть застала его внезапно. Онъ бѣжалъ, разъяренный, въ атаку, задыхаясь отъ крика; пуля ударила его въ переносье, пронзила голову, оставивъ по себѣ черную зіяющую рану. Такъ и лежалъ онъ съ широко раскрытыми, теперь уже застывшими глазами, съ открытымъ ртомъ и съ искривленнымъ яростью, посинѣлымъ лицомъ.

— Разсчитались,—сказалъ Иванъ Платонычъ.—Въ чистую. Ничего имъ больше не нужно.

Онъ повернулся; солдаты торопливо разступились, чтобы пропустить его. Мы съ Стебельковымъ пошли за нимъ. Венцель догналъ насъ.

— Вотъ, Ивановъ,—сказалъ онъ—видѣли?

— Видѣлъ, Петръ Николаичъ,—отвѣчалъ я.

— Что-жъ вы думали, глядя на нихъ?—сумрачно спросилъ онъ.

И во мнѣ вдругъ вспыхнула злоба противъ этого злого человѣка и желаніе сказать ему что-нибудь тяжелое.

— Много. И больше всего о томъ, что они уже не пушечное мясо. Для нихъ уже не нужно спайки и дисциплины; и никто не будетъ истязать ихъ ради этой спайки. Они не солдаты, не подчиненные!—говорилъ я дрожащимъ голосомъ—они люди!

Венцель блеснулъ глазами. Звукъ вылетѣлъ изъ его горла и прервался: должно быть, онъ хотѣлъ отвѣтить мнѣ, но сдержалъ себя и на этотъ разъ. Онъ шелъ рядомъ со мной, потупивъ голову, и черезъ нѣсколько шаговъ, не смотря на меня, сказалъ:

— Да, Ивановъ, вы правы. Они люди... Мертвые люди.

IX.

Насъ перевезли черезъ Дунай; нѣсколько дней мы стояли около Систова, ожидая турокъ; потомъ войска потянулись въ глубь страны. Пошли и мы. Насъ долго посылали то туда, то сюда: были мы и около Тырнова, и недалеко отъ Плевны; но прошло три недѣли, а намъ все еще не довелось драться. Наконецъ мы попали въ особый отрядъ, обязанность котораго была—сдерживать наступленіе большой турецкой арміи. Сорокъ тысячъ русскихъ было растянуто на семьдесятъ верстъ; около ста тысячъ турокъ стояло противъ нихъ, и только осторожныя дѣйствія нашего начальника, не рисковавшаго людьми, а довольствовавшагося отпоромъ наступающаго непріятеля, да вялость турецкаго паши позволяли намъ исполнить нашу задачу—не дать туркамъ прорваться и отрѣзать нашу главную армію отъ Дуная.

Насъ было мало, линія наша была велика; поэтому намъ

рѣдко приходилось отдыхать. Мы обошли множество деревень, являясь то тамъ, то здѣсь, чтобы встрѣтить предполагаемое нападеніе; мы забирались въ такую глушь Болгаріи, что насъ не находили транспорты съ провіантомъ, что намъ приходилось голодать, растягивая двухдневную порцію сухарей на пять и болѣе дней. Голодавшіе люди молотили недозрѣлую пшеницу палками на растянутыхъ палаткахъ, варили изъ нея и изъ кислыхъ лѣсныхъ яблокъ отвратительную похлебку, безъ соли (потому что и ея было взять негдѣ), и заболѣвали отъ нея. Батальоны таяли, хотя и не были въ дѣлѣ.

Въ половинѣ іюля наша бригада, съ нѣсколькими эскадронами кавалеріи и двумя батареями пушекъ, пришла въ брошенную жителями, разоренную и полувыжженную турецкую деревню. Нашъ лагерь раскинулся на высокой, обрывистой горѣ: деревня была внизу, въ глубинѣ долины, по которой извивалась узенькая рѣчка. Крутыя, высокія скалы возвышались на другой сторонѣ долины. То была, какъ мы думали, турецкая сторона, однако, турокъ близко не было. Мы простояли нѣсколько дней на нашей горѣ, почти безъ хлѣба, съ трудомъ доставая воду, за которой нужно было спускаться далеко внизъ, къ ключу, бившему внизу изъ скалы. Мы были совершенно отдѣлены отъ арміи и не знали, что̀ дѣлается на бѣломъ свѣтѣ. Верстъ за пятнадцать впереди насъ казаки содержали разъѣзды; двѣ или три сотни ихъ были растянуты на двадцать верстъ. Турокъ не было и тамъ.

Несмотря на то, что мы не могли открыть непріятеля, нашъ маленькій отрядъ принималъ всѣ мѣры осторожности. Днемъ и ночью стояла кругомъ лагеря густая аванпостная цѣпь. По условіямъ мѣстности, ея линія была очень длинна, и каждый день нѣсколько ротъ были заняты этой бездѣятельной, но очень утомительной службой. Бездѣйствіе, почти постоянный голодъ, неизвѣстность положенія дурно дѣйствовали на людей.

Околотки (полковые лазареты) были переполнены; каждый день отправляли ослабѣвшихъ и измученныхъ лихорадкою и

кровавымъ поносомъ людей куда-то въ дивизіонный лазаретъ. Въ ротахъ было налицо отъ половины до двухъ третей полнаго состава. Всѣ были мрачны, и всѣмъ хотѣлось идти въ дѣло. Все-таки, это былъ исходъ.

Наконецъ онъ наступилъ. Отъ командира казачьей сотни прискакалъ казакъ съ извѣстіемъ, что турки начали наступать и что онъ, командиръ, долженъ былъ стянуть своихъ людей и отступить за пять верстъ. Потомъ оказалось, что турки вернулись, не думая продолжать наступленіе, что намъ можно было спокойно оставаться на мѣстѣ, тѣмъ болѣе, что намъ никто не велѣлъ наступать. Но командовавшій тогда нами генералъ, незадолго до того пріѣхавшій изъ Петербурга, чувствовалъ то же, что и всѣ люди отряда. А людямъ было невыносимо сидѣть, сложа руки, или стоять по цѣлымъ суткамъ на часахъ противъ невидимаго и, какъ всѣ были убѣждены, несуществовавшаго непріятеля, питаться скверною пищею и ждать своей очереди заболѣть. Всѣмъ хотѣлось идти драться. И генералъ приказалъ нападеніе.

Мы оставили половину отряда въ лагерѣ. Положеніе дѣлъ было настолько малоизвѣстно, что можно было ждать атаки съ другихъ сторонъ. Четырнадцать ротъ, гусары и четыре пушки послѣ полудня двинулись въ походъ. Никогда мы не шли такъ скоро и бодро, кромѣ того дня, когда проходили передъ государемъ.

Мы шли долиною, проходя одну за другою брошенныя турецкія и болгарскія деревни. Въ узкихъ переулкахъ, обнесенныхъ высокими, выше человѣческаго роста, плетнями, не встрѣчалось ни человѣка, ни скотины, ни собаки; только куры, клохча, разлетались отъ насъ по плетнямъ и крышамъ, да гуси съ крикомъ тяжело поднимались на воздухъ и старались улетѣть. Изъ садиковъ выглядывали вѣтви, точно облѣпленныя спѣлыми сливами всевозможныхъ сортовъ. Въ послѣдней деревнѣ, за пять верстъ отъ того мѣста, гдѣ предполагались турки, намъ дали полчаса отдыха. Въ это время полуголодные солдаты натрясли множество сливъ, наѣлись и

набили ими себѣ сухарные мѣшки. Нѣкоторые, правда, немногіе, позаботились наловить и нарѣзать куръ и гусей, ощипали ихъ и взяли съ собой. Мнѣ вспомнилось, какъ тѣ же солдаты, передъ систовской переправой, въ ожиданія боя, выбрасывали изъ ранцевъ всѣ свои вещи, и я сказалъ объ этомъ Житкову, который въ это время ощипывалъ огромнаго гуся.

— Что-жъ, Михайлычъ, хотя въ дѣйствіи не были, а ждать привыкли. Все сдается, будто такъ только проходишь. Въ ничью сыграешь. А ежели и попадешь въ дѣйствіе — запасъ ѣсть не проситъ. Ну, какъ не убьютъ? Закуситъ-то и есть чѣмъ.

— Страшно вамъ?—невольно спросилъ я его.

— Да можетъ, ничего и не будетъ,—нескоро отвѣтилъ онъ, щурясь и старательно выщипывая оставшійся бѣлый пушокъ.

— А если будетъ?

— Ежели будетъ — страшно, не страшно, все одно, идти надо. Нашего брата не спросятъ. Иди себѣ съ Богомъ... Дай-ка ножа: у тебя ножъ важный.—Я далъ ему свой большой охотничій ножъ. Онъ разрубилъ гуся вдоль и половину протянулъ мнѣ.—Возьми-ка себѣ на случай. А объ этомъ самомъ, страшно ли, не страшно, не думай, баринъ, лучше. Все отъ Бога. Отъ него никуда не уйдешь.

— Ежели уже летитъ въ тебя пуля или, тамъ, граната, куда-жъ уйти!—подтвердилъ Ѳедоровъ, лежавшій около насъ.—Я такъ полагаю, Владиміръ Михайлычъ, что даже опасности больше есть въ бѣгствѣ. Потому—пуля по траэкторіи должна летѣть этакъ вотъ (онъ показалъ пальцемъ), и самая что ни на есть жарня въ тылу образуется!

— Да,—сказалъ я—особенно съ турками. Говорятъ, они высоко цѣлятъ.

— Ну, ученый! — сказалъ Житковъ Ѳедорову.— разговаривай больше! Тамъ тебѣ такую траэкторію покажутъ! Оно, конечно, — прибавилъ онъ, подумавъ — что лучше ужъ впереди...

— Куда начальство,—сказалъ Ѳедоровъ.—А нашъ впередъ пойдетъ, не струситъ.

— Пойдетъ. Нашъ не струситъ. И Нѣмцовъ тоже пойдетъ.

— Дядя Житковъ,—спросилъ Ѳедоровъ—какъ скажешь: быть ему сегодня живу, или нѣтъ?

Житковъ потупилъ глаза.

— Ты про что это говоришь?—спросилъ онъ.

— Да полно! Видѣлъ его? Такъ вотъ все въ немъ и ходитъ.

Житковъ сталъ еще угрюмѣе.

— Пустое ты болтаешь,—глухо проговорилъ онъ.

— А до Дунаю-то что говорили?—сказалъ Ѳедоровъ.

— До Дуная!.. Обозлившись, съ сердцовъ, всякое несли. Извѣстно, невтерпежъ было. Ты что думаешь, разбойники, что ли? — сказалъ Житковъ, обернувшись и смотря Ѳедорову прямо въ лицо. — Бога, что ли, въ нихъ нѣтъ? Не знаютъ, куда идутъ! Можетъ, которымъ сегодня Господу Богу отвѣтъ держать, а имъ объ такомъ дѣлѣ думать? До Дунаю! Да я до Дунаю-то и самъ разъ барину сказалъ (онъ кивнулъ на меня). Точно, что сказалъ, потому—и смотрѣть-то тошно было. Эка вспомнилъ, до Дунаю!

Онъ полѣзъ въ голенище за кисетомъ и долго еще ворчалъ, набивая трубку и закуривая ее. Потомъ, спрятавъ кисетъ, усѣлся поудобнѣе, охвативъ колѣни руками, и погрузился въ какую-то тяжелую думу.

Черезъ полчаса мы вышли изъ деревни и начали подниматься изъ долины въ горы. За возвышанностью, которую намъ нужно было перейти, были турки. Мы вышли на гору; передъ нами открылось широкое, холмистое, постепенно понижавшееся пространство, покрытое то нивами пшеницы, то кукурузными полями, то огромными зарослями карагача и кизила. Въ двухъ мѣстахъ бѣлѣли минареты деревень, скрытыхъ между зелеными холмами. Мы должны были взять правую изъ нихъ. За нею, на краю горизонта, чуть видне-

лась бѣловатая полоска: то было шоссе, прежде занятое нашими казаками. Скоро все это скрылось изъ вида: мы вступили въ густую заросль, изрѣдка прерываемую небольшими полянками.

Я плохо помню начало боя. Когда мы вышли на открытое мѣсто, на вершину холма, откуда турки могли ясно видѣть, какъ наши роты, выходя изъ кустовъ, строились и расходились въ цѣпь, одиноко загремѣлъ пушечный выстрѣлъ. Это они пустили гранату. Люди дрогнули; глаза всѣхъ устремились на уже расплывавшееся, тихо скатывавшееся съ холма бѣлое облачко дыма. И въ тотъ же мигъ приближающійся звонкій, скрежещущій звукъ снаряда, летѣвшаго, какъ казалось, надъ самыми нашими головами, заставилъ всѣхъ пригнуться. Граната, перелетѣвъ черезъ насъ, ударилась въ землю около шедшей позади роты; помню глухой ударъ ея разрыва и вслѣдъ затѣмъ — чей-то жалобный крикъ. Осколокъ оторвалъ ногу фельдфебелю. Я узналъ это послѣ; тогда я не могъ понять этотъ крикъ, ухо слышало его — и только. Тогда все слилось въ томъ смутномъ и невыразимомъ словами чувствѣ, какое овладѣваетъ вступающимъ первый разъ въ огонь. Говорятъ, что нѣтъ никого, кто бы не боялся въ бою; всякій нехвастливый и прямой человѣкъ на вопросъ: страшно ли ему, отвѣтитъ: страшно. Но не было того физическаго страха, какой овладѣваетъ человѣкомъ ночью, въ глухомъ переулкѣ, при встрѣчѣ съ грабителемъ; было полное, ясное сознаніе неизбѣжности и близости смерти. И дико, и странно звучатъ эти слова — это сознаніе не останавливало людей, не заставляло ихъ думать о бѣгствѣ, а вело впередъ. Не проснулись кровожадные инстинкты, не хотѣлось идти впередъ, чтобы убить кого нибудь, но было неотвратимое побужденіе идти впередъ, во что бы то ни стало, и мысль о томъ, что нужно дѣлать во время боя, не выразилась бы словами: нужно убить, а скорѣе: нужно умереть.

Пока мы переходили черезъ поляну, турки успѣли сдѣлать нѣсколько выстрѣловъ. Насъ отдѣляла отъ нихъ только

послѣдняя большая заросль, медленно поднимавшаяся къ деревнѣ. Мы вышли въ кусты. Все смолкло.

Идти было трудно; густые, часто колючіе кусты разрослись густо, и нужно было обходить ихъ или пробираться черезъ нихъ. Шедшіе впереди стрѣлки уже разсыпались цѣпью и изрѣдка тихо перекликались между собою, чтобы не разойтись. Мы пока держались всей ротой вмѣстѣ. Глубокое молчаніе царило въ лѣсу.

И вотъ раздался первый, негромкій, похожій на ударъ топора дровосѣка ружейный выстрѣлъ. Турки наугадъ начали пускать въ насъ пули. Онѣ свистѣли высоко въ воздухѣ разными тонами, съ шумомъ пролетали сквозь кусты, отрывая вѣтви, но не попадали въ людей. Звукъ рубки лѣса становился все чаще и наконецъ слился въ однообразную трескотню. Отдѣльныхъ взвизговъ и свиста не стало слышно: свистѣлъ и вылъ воздухъ. Мы торопливо шли впередъ; всѣ около меня были цѣлы, и я самъ былъ цѣлъ. Это очень удивляло меня.

Вдругъ мы вышли изъ кустовъ. Дорогу пересѣкалъ глубокій оврагъ съ ручейкомъ. Люди отдохнули минуту и напились воды.

Отсюда роты развели въ разныя стороны, чтобы охватить турокъ съ фланговъ; нашу роту оставили въ резервѣ въ оврагѣ. Стрѣлки должны были идти прямо и, пройдя черезъ кусты, ворваться въ деревню. Турецкіе выстрѣлы трещали попрежнему часто, безъ умолку, но гораздо громче.

Выбравшись на другой берегъ оврага, Венцель выстроилъ свою роту. Онъ сказалъ людямъ что-то, чего я не слышалъ.

— Постараемся, постараемся! — раздались голоса стрѣлковъ.

Я смотрѣлъ на него снизу: онъ былъ блѣденъ и, какъ мнѣ показалось, печаленъ, но довольно спокоенъ. Увидѣвъ Ивана Платоныча и Стебелькова, онъ махнулъ имъ платкомъ, потомъ сталъ искать что-то глазами въ нашей толпѣ. Я догадался, что ему хочется проститься и со мной, и всталъ, чтобы онъ замѣтилъ меня. Венцель улыбнулся, кивнулъ мнѣ

нѣсколько разъ головою и скомандовалъ ротѣ идти въ цѣпь. Кучки по четыре человѣка расходились вправо и влѣво, растянулись въ длинную цѣпь и разомъ исчезли въ кустахъ, кромѣ одного, который вдругъ рванулся всѣмъ тѣломъ, поднялъ руки и тяжело рухнулся на землю. Двое изъ нашихъ выскочили изъ оврага и принесли тѣло.

Томительно прошло полчаса неизвѣстности.

Бой разгорался. Ружейный огонь учащался и перешелъ въ сплошной грозный вой. На правомъ флангѣ загремѣли пушки. Изъ кустовъ начали показываться идущіе и ползущіе окровавленные люди; сначала ихъ было мало, но съ каждой минутой становилось больше и больше. Наши помогали имъ спускаться въ оврагъ, поили водой и укладывали, въ ожиданіи санитаровъ съ носилками. Стрѣлокъ, съ раздробленною кистью руки, страшно охая и закатывая глаза, съ посинѣвшимъ отъ потери крови и боли лицомъ, пришелъ самъ и сѣлъ у ручья. Ему затянули руку, уложили на шинель; кровь остановилась. Его била лихорадка; губы дрожали, онъ всхлипывалъ, нервно и судорожно рыдая.

— Братцы, братцы!.. земляки милые!..

— Много побили?

— Такъ и валятся.

— Ротный цѣлъ?

— Цѣлъ пока. Кабы не онъ, отбили бы. Возьмутъ. Съ нимъ возьмутъ, — слабымъ голосомъ говорилъ раненый. — Три раза водилъ, отбивали. Въ четвертый повелъ. Въ буеракѣ сидятъ; патроновъ у нихъ — такъ и сѣютъ, такъ и сѣютъ... Да нѣтъ!—вдругъ злобно закричалъ раненый, привставъ и махая больной рукой—шалишь! Шалишь, проклятый!..

И онъ, вращая изступленными глазами, выкрикнулъ страшное, грубое ругательство и повалился безъ чувствъ.

На берегу оврага показался Лукинъ.

— Иванъ Платонычъ! — закричалъ онъ не своимъ голосомъ—ведите!

. . . . . .

Дымъ, трескъ, стоны, бѣшеное „ура“!.. Запахъ крови и пороха... Закутанные дымомъ странные чужіе люди съ блѣдными лицами... Дикая, нечеловѣческая свалка. Благодареніе Богу за то, что такія минуты помнятся только какъ въ туманѣ.

. . . . . .

Когда мы подоспѣли, Вѣнцель въ пятый разъ велъ остатокъ своей роты на турокъ, засыпавшихъ его свинцомъ. На этотъ разъ стрѣлки ворвались въ деревню. Немногіе изъ защищавшихъ ее въ этомъ мѣстѣ турокъ успѣли убѣжать. Вторая стрѣлковая рота потеряла въ два часа боя *пятьдесятъ два* человѣка изъ ста съ небольшимъ. Наша рота, мало принимавшая участія въ дѣлѣ—нѣсколько человѣкъ.

Мы не остались на отбитой позиціи, хотя турки были сбиты повсюду. Когда нашъ генералъ увидѣлъ, что изъ деревни выходятъ на шоссе батальонъ за батальономъ, двигаются массы кавалеріи и тянутся длинныя вереницы пушекъ, онъ ужаснулся. Очевидно, турки не знали нашихъ силъ, скрытыхъ кустами: если бы имъ было извѣстно, что всего только четырнадцать ротъ выбили ихъ изъ глубокихъ дорогъ, рытвинъ и плетней, окружавшихъ деревню, они вернулись бы и раздавили бы насъ. Ихъ было втрое больше.

Вечеромъ мы были уже на старомъ мѣстѣ. Иванъ Платонычъ позвалъ меня пить чай.

— Венцеля видѣли?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ еще.

— Подите къ нему въ палатку, позовите къ намъ. Убивается человѣкъ, „Пятьдесятъ два! пятьдесятъ два!“ только и слышно. Подите къ нему.

Тонкій огарокъ слабо освѣщалъ палатку Венцеля. Прижавшись въ уголку палатки и опустивъ голову на какой-то ящикъ, онъ глухо рыдалъ.

Красный Цвѣтокъ.

(Памяти Ивана Сергѣевича Тургенева).

I.

— Именемъ Его Императорскаго Величества, Государя Императора Петра Перваго, объявляю ревизію сему сумасшедшему дому!

Эти слова были сказаны громкимъ, рѣзкимъ, звенящимъ голосомъ. Писарь больницы, записывавшій больного въ большую истрепанную книгу на залитомъ чернилами столѣ, не удержался отъ улыбки. Но двое молодыхъ людей, сопровождавшіе больного, не смѣялись: они едва держались на ногахъ послѣ двухъ сутокъ, проведенныхъ безъ сна, наединѣ съ безумнымъ, котораго они только что привезли по желѣзной дорогѣ. На предпослѣдней станціи припадокъ бѣшенства усилился; гдѣ-то достали сумасшедшую рубаху и, позвавъ кондукторовъ и жандарма, надѣли на больного. Такъ привезли его въ городъ, такъ доставили и въ больницу.

Онъ былъ страшенъ! Сверхъ изорваннаго во время припадка въ клочья сѣраго платья, куртка изъ грубой парусины съ широкимъ вырѣзомъ обтягивала его станъ; длинные рукава прижимали его руки къ груди накрестъ и были завязаны сзади. Воспаленные, широко раскрытые глаза (онъ не спалъ

десять сутокъ) горѣли неподвижнымъ, горячимъ блескомъ: нервная судорога подергивала край нижней губы; спутанные курчавые волосы падали гривой на лобъ; онъ быстрыми, тяжелыми шагами ходилъ изъ угла въ уголъ конторы, пытливо осматривая старые шкафы съ бумагами и клеенчатые стулья и изрѣдка взглядывая на своихъ спутниковъ.

— Сведите его въ отдѣленіе. Направо.

— Я знаю, знаю. Я былъ уже здѣсь съ вами въ прошломъ году. Мы осматривали больницу. Я все знаю, и меня будетъ трудно обмануть,—сказалъ больной.

Онъ повернулся къ двери. Сторожъ растворилъ ее передъ нимъ; тою же быстрою, тяжелою и рѣшительною походкою, высоко поднявъ безумную голову, онъ вышелъ изъ конторы и почти бѣгомъ пошелъ направо въ отдѣленіе душевно больныхъ. Провожавшіе едва успѣвали идти за нимъ.

— Позвони. Я не могу. Вы связали мнѣ руки.

Швейцаръ отворилъ двери, и путники вступили въ больницу.

Это было большое каменное зданіе старинной казенной постройки. Два большихъ зала, одинъ — столовая, другой — общее помѣщеніе для спокойныхъ больныхъ, широкій коридоръ со стеклянною дверью, выходившей въ садъ съ цвѣтникомъ, и десятка два отдѣльныхъ комнатъ, гдѣ жили больные, занимали нижній этажъ; тутъ же были устроены двѣ темныя комнаты, одна — обитая тюфяками, другая досками, въ которыя сажали буйныхъ, и огромная мрачная комната со сводами — ванная. Верхній этажъ занимали женщины. Нестройный шумъ, прерываемый завываніями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на восемьдесятъ человѣкъ, но такъ какъ она одна служила на нѣсколько окрестныхъ губерній, то въ ней помѣщалось до трехсотъ. Въ небольшихъ коморкахъ было по четыре и по пяти кроватей; зимою, когда больныхъ не выпускали въ садъ, и всѣ окна за желѣзными рѣшетками бывали наглухо заперты, въ больницѣ становилось невыносимо душно.

Новаго больного отвели въ комнату, гдѣ помѣщались ванны. И на здороваго человѣка она могла произвести тяжелое впечатлѣніе, а на разстроенное, возбужденное воображеніе дѣйствовала тѣмъ болѣе тяжело. Это была большая комната со сводами, съ липкимъ каменнымъ поломъ, освѣщенная однимъ, сдѣланнымъ въ углу, окномъ; стѣны и своды были выкрашены темно-красною масляною краскою; въ почернѣвшемъ отъ грязи полу, въ уровень съ нимъ, были вдѣланы двѣ каменныя ванны, какъ двѣ овальныя, наполненныя водою, ямы. Огромная мѣдная печь съ цилиндрическимъ котломъ для нагрѣванія воды и цѣлой системой мѣдныхъ трубокъ и кранонъ занимала уголъ противъ окна; все носило необыкновенно мрачный и фантастическій для разстроенной головы характеръ, и завѣдывавшій ваннами сторожъ, толстый, вѣчно молчавшій хохолъ, своею мрачною физіономіею увеличивалъ впечатлѣніе.

И когда больного привели въ эту страшную комнату, чтобы сдѣлать ему ванну и, согласно съ системой леченія главнаго доктора больницы, наложить ему на затылокъ большую мушку, онъ пришелъ въ ужасъ и ярость. Нелѣпыя мысли, одна чудовищнѣе другой, завертѣлись въ его головѣ. Что это? Инквизиція? Мѣсто тайной казни, гдѣ враги его рѣшили покончить съ нимъ? Можетъ быть, самый адъ? Ему пришло наконецъ въ голову, что это какое-то испытаніе. Его раздѣли, несмотря на отчаянное сопротивленіе. Съ удвоенною отъ болѣзни силою онъ легко вырывался изъ рукъ нѣсколькихъ сторожей, такъ что они падали на полъ; наконецъ, четверо повалили его и, схвативъ за руки и за ноги, опустили въ теплую воду. Она показалась ему кипяткомъ, и въ безумной головѣ мелькнула безсвязная, отрывочная мысль объ испытаніи кипяткомъ и каленымъ желѣзомъ. Захлебываясь водою и судорожно барахтаясь руками и ногами, за которыя его крѣпко держали сторожа, онъ, задыхаясь, выкрикивалъ безсвязную рѣчь, о которой невозможно имѣть представленіе, не слышавъ ея на самомъ дѣлѣ. Тутъ были и молитвы, и

проклятія. Онъ кричалъ, пока не выбился изъ силъ, и наконецъ, тихо, съ горячими слезами, проговорилъ фразу, совершенно не вязавшуюся съ предыдущею рѣчью:

— Святый великомученикъ Георгій! Въ руки твои предаю тѣло мое. А духъ—нѣтъ, о, нѣтъ!..

Сторожа все еще держали его, хотя онъ и успокоился. Теплая ванна и пузырь со льдомъ, положенный на голову, произвели свое дѣйствіе. Но когда его, почти безчувственнаго, вынули изъ воды и посадили на табуретъ, чтобы поставить мушку, остатокъ силъ и безумныя мысли снова точно взорвало.

— За что? за что?—кричалъ онъ—я никому не хотѣлъ зла. За что убивать меня? О-о-о! О, Господи! О, вы, мучимые раньше меня! Васъ молю, избавьте...

Жгучее прикосновеніе къ затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла съ нимъ справиться и не знала, что́ дѣлать.—Ничего не подѣлаешь,—сказалъ производившій операцію солдатъ—нужно стереть.

Эти простыя слова привели больного въ содроганіе. „Стереть... Что́ стереть? Кого стереть? Меня!“ подумалъ онъ и въ смертельномъ ужасѣ закрылъ глаза. Солдатъ взялъ за два конца грубое полотенце и, сильно нажимая, быстро провелъ имъ по затылку, сорвавъ съ него и мушку, и верхній слой кожи, и оставивъ обнаженную, красную ссадину. Боль отъ этой операціи, невыносимая и для спокойнаго и здороваго человѣка, показалась больному концомъ всего. Онъ отчаянно рванулся всѣмъ тѣломъ, вырвался изъ рукъ сторожей, и его нагое тѣло покатилось по каменнымъ плитамъ. Онъ думалъ, что ему отрубили голову. Онъ хотѣлъ крикнуть и не могъ. Его отнесли на койку въ безпамятствѣ, которое перешло въ глубокій, мертвый и долгій сонъ.

II.

Онъ очнулся ночью. Все было тихо; изъ сосѣдней больной комнаты слышалось дыханіе спящихъ больныхъ. Гдѣ-то далеко монотоннымъ страннымъ голосомъ разговаривалъ самъ съ собою больной, посаженный на ночь въ темную комнату, а сверху, изъ женскаго отдѣленія, хриплый контральто пѣлъ какую-то дикую пѣсню. Больной прислушивался къ этимъ звукамъ. Онъ чувствовалъ страшную слабость и разбитость во всѣхъ членахъ; шея его сильно болѣла.

„Гдѣ я? Что со мной?“ пришло ему въ голову. И вдругъ съ необыкновенною яркостью ему представился послѣдній мѣсяцъ его жизни, и онъ понялъ, что онъ боленъ, и чѣмъ боленъ. Рядъ нелѣпыхъ мыслей, словъ и поступковъ вспомнился ему, заставляя содрогаться всѣмъ существомъ. „Но это кончено, слава Богу, это кончено!“ прошепталъ онъ, и снова уснулъ.

Открытое окно съ желѣзными рѣшетками выходило въ маленькій закоулокъ между большими зданіями и каменной оградой; въ этотъ закоулокъ никто никогда не заходилъ, и онъ весь густо заросъ какимъ-то дикимъ кустарникомъ и сиренью, пышно цвѣтшею въ то время года... За кустами, прямо противъ окна, темнѣла высокая ограда; высокія верхушки деревьевъ большого сада, облитыя и проникнутыя луннымъ свѣтомъ, глядѣли изъ-за нея. Справа подымалось бѣлое зданіе больницы съ освѣщенными изнутри окнами съ желѣзными рѣшетками; слѣва — бѣлая, яркая отъ луны, глухая стѣна мертвецкой. Лунный свѣтъ падалъ сквозь рѣшетку окна во внутрь комнаты, на полъ и освѣщалъ часть постели и измученное, блѣдное лицо больного съ закрытыми глазами; теперь въ немъ не было ничего безумнаго. Это былъ глубокій тяжелый сонъ измученнаго человѣка, безъ сновидѣній, безъ малѣйшаго движенія и почти безъ дыханія. На нѣсколько мгновеній онъ проснулся въ полной памяти, какъ будто бы

здоровымъ, затѣмъ, чтобы утромъ встать съ постели прежнимъ безумцемъ.

III.

— Какъ вы себя чувствуете? — спросилъ его на другой день докторъ.

Больной, только что проснувшись, еще лежалъ подъ одѣяломъ.

— Отлично! — отвѣчалъ онъ, вскакивая, надѣвая туфли и хватаясь за халатъ—прекрасно! Только одно: вотъ!

Онъ показалъ себѣ на затылокъ.

— Я не могу повернуть шеи безъ боли. Но это ничего. Все хорошо, если его понимаешь; а я понимаю.

— Вы знаете, гдѣ вы?

— Конечно, докторъ! Я въ сумасшедшемъ домѣ. Но вѣдь если понимаешь, это рѣшительно все равно. Рѣшительно все равно.

Докторъ пристально смотрѣлъ ему въ глаза. Его красивое, холеное лицо, съ превосходно расчесанной золотистой бородой и спокойными голубыми глазами, смотрѣвшими сквозь золотыя очки, было неподвижно и непроницаемо. Онъ наблюдалъ.

— Что́ вы такъ пристально смотрите на меня? Вы не прочтете того, что́ у меня въ душѣ,—продолжалъ больной — а я ясно читаю въ вашей! Зачѣмъ вы дѣлаете зло? Зачѣмъ вы собрали эту толпу несчастныхъ и держите ее здѣсь? Мнѣ все равно: я все понимаю и спокоенъ; но они? Къ чему эти мученья? Человѣку, который достигъ того, что въ душѣ его есть великая мысль, общая мысль—ему все равно, гдѣ жить, что́ чувствовать. Даже жить и не жить... Вѣдь такъ?

— Можетъ быть, — отвѣчалъ докторъ, садясь на стулъ въ углу комнаты, такъ, чтобы видѣть больного, который быстро ходилъ изъ угла въ уголъ, шлепая огромными туфлями изъ конской кожи и размахивая полами халата изъ бумажной матеріи съ широкими красными полосами и кру-

ными цвѣтами. Сопровождавшіе доктора фельдшеръ и надзиратель продолжали стоять на вытяжку у дверей.

— И у меня она есть!—воскликнулъ больной.—И когда я нашелъ ее, я почувствовалъ себя переродившимся. Чувства стали острѣе, мозгъ работаетъ, какъ никогда. Что́ прежде достигалось длиннымъ путемъ умозаключеній и догадокъ, теперь я познаю интуитивно. Я достигъ реально того, что́ выработано философіей. Я переживаю самимъ собою великія идеи о томъ, что пространство и время — суть фикціи. Я живу во всѣхъ вѣкахъ. Я живу безъ пространства, вездѣ или нигдѣ, какъ хотите. И поэтому мнѣ все равно, держите ли вы меня здѣсь, или отпустите на волю, свободенъ я, или связанъ. Я замѣтилъ, что тутъ есть еще нѣсколько такихъ же. Но для остальной толпы такое положеніе ужасно. Зачѣмъ вы не освободите ихъ? Кому нужно...

— Вы сказали,—перебилъ его докторъ — что вы живете внѣ времени и пространства. Однако, нельзя не согласиться, что мы съ вами въ этой комнатѣ и что теперь — докторъ вынулъ часы — половина одиннадцатаго, 6-го мая 18** года. Что́ вы думаете объ этомъ?

— Ничего. Мнѣ все равно, гдѣ ни быть и когда ни жить. Если *мнѣ* все равно, не значитъ ли это, что *я* вездѣ и всегда?

Докторъ усмѣхнулся.

— Рѣдкая логика, — сказалъ онъ, вставая. — Пожалуй, вы правы. До свиданія. Не хотите ли вы сигарку?

— Благодарю васъ. — Онъ остановился, взялъ сигару и нервно откусилъ ея кончикъ. — Это помогаетъ думать, — сказалъ онъ — это міръ, микрокосмъ. На одномъ концѣ щелочи, на другомъ—кислоты... Таково равновѣсіе и міра, въ которомъ нейтрализуются противоположныя начала... Прощайте, докторъ!

Докторъ отправился дальше. Большая часть больныхъ ожидала его, вытянувшись у своихъ коекъ. Никакое начальство не пользуется такимъ почтеніемъ отъ своихъ подчиненныхъ, какимъ докторъ психіатръ отъ своихъ помѣшанныхъ.

ьной, оставшись одинъ, продолжалъ порывисто хо-
угла въ уголъ камеры. Ему принесли чай, онъ, не
ясь, въ два пріема опорожнилъ большую кружку
въ одно мгновеніе съѣлъ большой кусокъ бѣлаго
отомъ онъ вышелъ изъ комнаты и нѣсколько ча-
останавливаясь, ходилъ своею быстрою и тяжелой
изъ конца въ конецъ всего зданія. День былъ
, и больныхъ не выпускали въ садъ. Когда фельд-
лъ искать новаго больного, ему указали на конецъ
онъ стоялъ здѣсь, прильнувши лицомъ къ стеклу
й садовой двери, и пристально смотрѣлъ на цвѣт-
вниманіе привлекъ необыкновенно яркій алый цвѣ-
ъ изъ видовъ мака.
жалуйте взвѣситься, — сказалъ фельдшеръ, трогая
ечо. И когда тотъ повернулся къ нему лицомъ,
не отшатнулся въ испугѣ: столько дикой злобы и
горѣло въ безумныхъ глазахъ. Но увидавъ фельд-
ь тотчасъ же перемѣнилъ выраженіе лица и по-
шелъ за нимъ, не сказавъ ни одного слова, какъ
руженный въ глубокую думу. Они прошли въ док-
бинетъ; больной самъ сталъ на платформу небол-
тичныхъ вѣсовъ; фельдшеръ, свѣсивъ его, отмѣтилъ
противъ его имени 109 фунтовъ. На другой день
, на третій 106.
ли такъ пойдетъ дальше, онъ не выживетъ, — ска-
оръ, и приказалъ кормить его какъ можно лучше.
смотря на это и на необыкновенный аппетитъ боль-
худѣлъ съ каждымъ днемъ, и фельдшеръ каждый
сывалъ въ книгу все меньшее и меньшее число
Больной почти не спалъ и цѣлые дни проводилъ
ывномъ движеніи.

IV.

Онъ сознавалъ, что онъ въ сумасшедшемъ домѣ; онъ сознавалъ даже, что онъ боленъ. Иногда, какъ въ первую ночь, онъ просыпался среди тишины послѣ цѣлаго дня буйнаго движенія, чувствуя ломоту во всѣхъ членахъ и страшную тяжесть въ головѣ, но въ полномъ сознаніи. Можетъ быть, отсутствіе впечатлѣній въ ночной тишинѣ и полусвѣтѣ, можетъ быть, слабая работа мозга только что проснувшагося человѣка дѣлали то, что въ такія минуты онъ ясно понималъ свое положеніе и былъ какъ будто бы здоровъ. Но наступалъ день; вмѣстѣ со свѣтомъ и пробужденіемъ жизни въ больницѣ его снова волною охватывали впечатлѣнія; больной мозгъ не могъ справиться съ ними, и онъ снова былъ безумнымъ. Его состояніе было странною смѣсью правильныхъ сужденій и нелѣпостей. Онъ понималъ, что вокругъ него все больные, но въ то же время въ каждомъ изъ нихъ видѣлъ какое-нибудь тайное, скрывающееся или скрытое лицо, которое онъ зналъ прежде, или о которомъ читалъ или слыхалъ. Больница была населена людьми всѣхъ временъ и всѣхъ странъ. Тутъ были и живые, и мертвые. Тутъ были знаменитые и сильные міра и солдаты, убитые въ послѣднюю войну и воскресшіе. Онъ видѣлъ себя въ какомъ-то волшебномъ, заколдованномъ кругу, собравшемъ въ себя всю силу земли, и въ горделивомъ изступленіи считалъ себя за центръ этого круга. Всѣ они, его товарищи по больницѣ, собрались сюда за тѣмъ, чтобы исполнить дѣло, смутно представлявшееся ему гигантскимъ предпріятіемъ, направленнымъ къ уничтоженію зла на землѣ. Онъ не зналъ, въ чемъ оно будетъ состоять, но чувствовалъ въ себѣ достаточно силъ для его исполненія. Онъ могъ читать мысли другихъ людей; видѣлъ въ вещахъ всю ихъ исторію; большіе вязы въ больничномъ саду разсказывали ему цѣлыя легенды изъ пережитаго; зданіе, дѣйствительно построенное довольно давно, онъ считалъ по-

стройкой Петра Великаго и былъ увѣренъ, что царь жилъ въ немъ въ эпоху полтавской битвы. Онъ прочелъ это на стѣнахъ, на обвалившейся штукатуркѣ, на кускахъ кирпича и изразцовъ, находимыхъ имъ въ саду; вся исторія дома и сада была написана на нихъ. Онъ населилъ маленькое зданіе мертвецкой десятками и сотнями давно умершихъ людей и пристально вглядывался въ оконце, выходившее изъ ея подвала въ уголокъ сада, видя въ неровномъ отраженіи свѣта въ старомъ радужномъ и грязномъ стеклѣ знакомыя черты, видѣнныя имъ когда-то въ жизни или на портретахъ.

Между тѣмъ, наступила ясная, хорошая погода; больные цѣлые дни проводили на воздухѣ въ саду. Ихъ отдѣленіе сада, небольшое, но густо заросшее деревьями, было вездѣ, гдѣ только можно, засажено цвѣтами. Надзиратель заставлялъ работать въ немъ всѣхъ сколько-нибудь способныхъ къ труду; цѣлые дни они мели и посыпали пескомъ дорожки, пололи и поливали грядки цвѣтовъ, огурцовъ, арбузовъ и дынь, вскопанныя ихъ же руками. Уголъ сада заросъ густымъ вишникомъ; вдоль него тянулись аллеи изъ вязовъ; посерединѣ, на небольшой искусственной горкѣ, былъ разведенъ самый красивый цвѣтникъ во всемъ саду; яркіе цвѣты росли по краямъ верхней площадки, а въ центрѣ ея красовалась большая, крупная и рѣдкая, желтая съ красными крапинками далія. Она составляла центръ и всего сада, возвышаясь надъ нимъ, и можно было замѣтить, что многіе больные придавали ей какое-то таинственное значеніе. Новому больному она казалась тоже чѣмъ-то не совсѣмъ обыкновеннымъ, какимъ-то палладіумомъ сада и зданія. Всѣ дорожки были также обсажены руками больныхъ. Тутъ были всевозможные цвѣты, встрѣчающіеся въ малороссійскихъ садикахъ; высокія розы, яркія петуніи, кусты высокаго табаку съ небольшими розовыми цвѣтами, мята, бархатцы, настурціи и макъ. Тутъ же, недалеко отъ крыльца, росли три кустика мака какой-то особенной породы; онъ былъ гораздо меньше обыкновеннаго и отличался отъ него необыкновенною яркостью алаго цвѣта.

Этотъ цвѣтокъ и поразилъ больного, когда онъ, въ первый день послѣ поступленія въ больницу, смотрѣлъ въ садъ сквозь стеклянную дверь.

Выйдя въ первый разъ въ садъ, онъ прежде всего, не сходя со ступень крыльца, посмотрѣлъ на яркіе цвѣты. Ихъ было всего только два; случайно они росли отдѣльно отъ другихъ и на невыполотомъ мѣстѣ, такъ что густая лебеда и какой-то бурьянъ окружали ихъ.

Больные одинъ за другимъ выходили изъ дверей, у которыхъ стоялъ сторожъ и давалъ каждому изъ нихъ толстый бѣлый, вязаный изъ бумаги колпакъ съ краснымъ крестомъ на лбу. Колпаки эти побывали на войнѣ и были куплены на аукціонѣ. Но больной, само собою разумѣется, придавалъ этому красному кресту особое, таинственное значеніе. Онъ снялъ съ себя колпакъ и посмотрѣлъ на крестъ, потомъ на цвѣты мака. Цвѣты были ярче.

— Онъ побѣждаетъ, — сказалъ больной, — но мы посмотримъ.

И онъ сошелъ съ крыльца. Осмотрѣвшись и не замѣтивъ сторожа, стоявшаго сзади него, онъ перешагнулъ грядку и протянулъ руку къ цвѣтку, но не рѣшился сорвать его. Онъ почувствовалъ жаръ и колотье въ протянутой рукѣ, а потомъ и во всемъ тѣлѣ, какъ будто бы какой-то сильный токъ неизвѣстной ему силы исходилъ отъ красныхъ лепестковъ и пронизывалъ все его тѣло. Онъ придвинулся ближе и протянулъ руку къ самому цвѣтку, но цвѣтокъ, какъ ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыханіе. Голова его закружилась; онъ сдѣлалъ послѣднее отчаянное усиліе и уже схватился за стебелекъ, какъ вдругъ тяжелая рука легла ему на плечо. Это сторожъ схватилъ его.

— Нельзя рвать,—сказалъ старикъ хохолъ.—И на грядку не ходи. Тутъ много васъ, сумасшедшихъ, найдется; каждый по цвѣтку, весь садъ разнесутъ, — убѣдительно сказалъ онъ, все держа его за плечо.

Больной посмотрѣлъ ему въ лицо, молча освободился отъ

его руки и въ волненіи пошелъ по дорожкѣ. — „О, несчастные! — думалъ онъ. — Вы не видите, вы ослѣплены до такой степени, что защищаете его. Но во что бы то ни стало, я покончу съ нимъ. Не сегодня, такъ завтра мы помѣряемся силами. И если я погибну, не все ли равно!“

Онъ гулялъ по саду до самаго вечера, заводя знакомства и ведя странные разговоры, въ которыхъ каждый изъ собесѣдниковъ слыхалъ только отвѣты на свои безумныя мысли, выражавшіяся нелѣпо таинственными словами. Больной ходилъ то съ однимъ товарищемъ, то съ другимъ, и къ концу дня еще болѣе убѣдился, что „все готово“, какъ онъ сказалъ самъ себѣ. Скоро, скоро распадутся желѣзныя рѣшетки, всѣ эти заточенные выйдутъ отсюда и помчатся во всѣ концы земли, и весь міръ содрогнется, сброситъ съ себя ветхую оболочку и явится въ новой, чудной красотѣ. Онъ почти забылъ о цвѣткѣ, но уходя изъ сада и поднимаясь на крыльцо, снова увидѣлъ въ густой потемнѣвшей и уже начинавшей роситься травѣ точно два красныхъ уголька. Тогда больной отсталъ отъ толпы и, ставъ позади сторожа, выждалъ удобное мгновеніе. Никто не видѣлъ, какъ онъ перескочилъ черезъ грядку, схватилъ цвѣтокъ и торопливо спряталъ его на своей груди подъ рубашкой. Когда свѣжіе, росистые листья коснулись его тѣла, онъ поблѣднѣлъ, какъ смерть, и въ ужасѣ широко раскрылъ глаза. Холодный потъ выступилъ у него на лбу.

Въ больницѣ зажгли лампы; въ ожиданіи ужина большая часть больныхъ улеглась на постели, кромѣ нѣсколькихъ безпокойныхъ, торопливо ходившихъ по коридору и заламъ. Больной съ цвѣткомъ былъ между ними. Онъ ходилъ, судорожно сжавъ руки у себя на груди крестомъ; казалось, онъ хотѣлъ раздавить, размозжить спрятанное на ней растеніе. При встрѣчѣ съ другими онъ далеко обходилъ ихъ, боясь прикоснуться къ нимъ краемъ одежды. „Не подходите, не подходите!“ кричалъ онъ. Но въ больницѣ на такіе возгласы мало кто обращалъ вниманіе. И онъ ходилъ все ско-

рѣе и скорѣе, дѣлалъ шаги все больше и больше, ходилъ часъ, два съ какимъ-то остервенѣніемъ.

— Я утомлю тебя. Я задушу тебя!—глухо и злобно говорилъ онъ. Иногда онъ скрежеталъ зубами.

Въ столовую подали ужинать. На большіе столы безъ скатертей поставили по нѣскольку деревянныхъ, крашеныхъ и золоченыхъ мисокъ съ жидкою пшеною кашицею; больные усѣлись на лавки; имъ роздали по ломтю чернаго хлѣба. Ѣли деревянными ложками человѣкъ по восьми изъ одной миски. Нѣкоторымъ, пользовавшимся улучшенной пищей, подали отдѣльно. Нашъ больной, быстро проглотивъ свою порцію, принесенную сторожемъ, который позвалъ его въ его комнату, не удовольствовался этимъ и пошелъ въ общую столовую.

— Позвольте мнѣ сѣсть здѣсь,—сказалъ онъ надзирателю.

— Развѣ вы не ужинали?—спросилъ надзиратель, разливая добавочныя порціи каши въ миски.

— Я очень голоденъ. И мнѣ нужно сильно подкрѣпиться. Вся моя поддержка въ пищѣ: вы знаете, что я совсѣмъ не сплю.

— Кушайте, милый, на здоровье. Тарасъ, дай имъ ложку и хлѣба.

Онъ подсѣлъ къ одной изъ чашекъ и съѣлъ еще огромное количество каши.

— Ну, довольно, довольно,—сказалъ наконецъ надзиратель, когда всѣ кончили ужинать, а нашъ больной еще продолжалъ сидѣть надъ чашкой, черпая изъ нея одной рукой кашу, а другою крѣпко держась за грудь.—Объѣдитесь.

— Ахъ, если бы вы знали, сколько силъ мнѣ нужно, сколько силъ! Прощайте, Николай Николаевичъ, — сказалъ больной, вставая изъ-за стола и крѣпко сжимая руку надзирателя.—Прощайте!

— Куда же вы?—спросилъ съ улыбкой надзиратель.

— Я? Никуда. Я остаюсь. Но, можетъ быть, завтра мы не увидимся. Благодарю васъ за вашу доброту.

И онъ еще разъ крѣпко пожалъ руку надзирателю. Голосъ его дрожалъ, на глазахъ выступили слезы.

— Успокойтесь, милый, успокойтесь,—отвѣчалъ надзиратель.—Къ чему такія мрачныя мысли? Подите, ляжте, да засните хорошенько. Вамъ больше спать слѣдуетъ; если будете спать хорошо, скоро и поправитесь.

Больной рыдалъ. Надзиратель отвернулся, чтобы приказать сторожамъ поскорѣе убирать остатки ужина. Черезъ полчаса въ больницѣ все уже спало, кромѣ одного человѣка, лежавшаго нераздѣтымъ на своей постели въ угловой комнатѣ. Онъ дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и судорожно стискивалъ себѣ грудь, всю пропитанную, какъ ему казалось, неслыханно смертельнымъ ядомъ.

V.

Онъ не спалъ всю ночь. Онъ сорвалъ этотъ цвѣтокъ, потому что видѣлъ въ такомъ поступкѣ подвигъ, который онъ былъ обязанъ сдѣлать. При первомъ взглядѣ сквозь стеклянную дверь, алые лепестки привлекли его вниманіе, и ему показалось, что онъ съ этой минуты вполнѣ постигъ, что именно долженъ онъ совершить на землѣ. Въ этотъ яркій красный цвѣтокъ собралось все зло міра. Онъ зналъ, что изъ мака дѣлается опіумъ; можетъ быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищныя формы, заставила его создать страшный фантастическій призракъ. Цвѣтокъ въ его глазахъ осуществлялъ собою все зло; онъ впиталъ въ себя всю невинно пролитую кровь (оттого онъ и былъ такъ красенъ), всѣ слезы, всю желчь человѣчества. Это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, Ариманъ, принявшій скромный и невинный видъ. Нужно было сорвать его и убить. Но этого мало—нужно было не дать ему при издыханіи излить все свое зло въ міръ. Потому-то онъ и спряталъ его у себя на груди. Онъ надѣялся, что къ утру

цвѣтокъ потеряетъ всю свою силу. Его зло перейдетъ въ его грудь, его душу, и тамъ будетъ побѣждено или побѣдитъ— тогда самъ онъ погибнетъ, умретъ, но умретъ, какъ честный боецъ и какъ первый боецъ человѣчества, потому что до сихъ поръ никто не осмѣливался бороться разомъ со всѣмъ зломъ міра.

— Они не видѣли его. Я увидѣлъ. Могу ли я оставить его жить? Лучше смерть.

И онъ лежалъ, изнемогая въ призрачной, несуществующей борьбѣ, но все-таки изнемогая. Утромъ фельдшеръ засталъ его чуть живымъ. Но несмотря на это, черезъ нѣсколько времени возбужденіе взяло верхъ, онъ вскочилъ съ постели и попрежнему забѣгалъ по больницѣ, разговаривая съ больными и самъ съ собою громче и несвязнѣе, чѣмъ когда нибудь. Его не выпустили въ садъ; докторъ, видя, что вѣсъ его уменьшается, а онъ все не спитъ и все ходитъ и ходитъ, приказалъ впрыснуть ему подъ кожу большую дозу морфія. Онъ не сопротивлялся — къ счастію, въ это время его безумныя мысли какъ-то совпали съ этой операціей. Онъ скоро заснулъ; бѣшеное движеніе прекратилось, и постоянно сопутствовавшій ему, создавшійся изъ такта его порывистыхъ шаговъ, громкій мотивъ исчезъ изъ ушей. Онъ забылся и пересталъ думать обо всемъ и даже о второмъ цвѣткѣ, который нужно было сорвать.

Однако онъ сорвалъ его черезъ три дня, на глазахъ у старика, не успѣвшаго предупредить его. Сторожъ погнался за нимъ. Съ громкимъ торжествующимъ воплемъ больной вбѣжалъ въ больницу и, кинувшись въ свою комнату, спряталъ растеніе на груди.

„Ты зачѣмъ цвѣты рвешь? спросилъ прибѣжавшій за нимъ сторожъ. Но больной, уже лежавшій на постели въ привычной позѣ со скрещенными руками, началъ говорить такую чепуху, что сторожъ только молча снялъ съ него забытый имъ въ поспѣшномъ бѣгствѣ колпакъ съ краснымъ крестомъ и ушелъ. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовалъ, что изъ цвѣтка длинными, похожими

на змѣи, ползучими потоками извивается зло; они опутывали его, сжимали и сдавливали члены и пропитывали все тѣло своимъ ужаснымъ содержаніемъ. Онъ плакалъ и молился Богу въ промежутки между проклятіями, обращенными къ своему врагу. Къ вечеру цвѣтокъ завялъ. Больной растоптalъ почернѣвшее растеніе, подобралъ остатки съ пола и понесъ въ ванную. Бросивъ безформенный комочекъ зелени въ раскаленную каменнымъ углемъ печь, онъ долго смотрѣлъ, какъ его врагъ шипѣлъ, съеживался и наконецъ превратился въ нѣжный, снѣжно бѣлый комочекъ золы. Онъ дунулъ, и все исчезло.

На другой день больному стало хуже. Страшно блѣдный, съ ввалившимися щеками, съ глубоко ушедшими внутрь глазныхъ впадинъ горящими глазами, онъ, уже шатающеюся походкой и часто спотыкаясь, продолжалъ свою бѣшеную ходьбу и говорилъ, говорилъ безъ конца.

— Мнѣ не хотѣлось бы прибѣгать къ насилію,—сказалъ своему помощнику старшій докторъ.

— Но вѣдь необходимо остановить эту работу. Сегодня въ немъ 93 фунта вѣса. Если такъ пойдетъ дальше, онъ умретъ черезъ два дня.

Старшій докторъ задумался.—Морфій? Хлоралъ?—сказалъ онъ полувопросительно.

— Вчера морфій уже не дѣйствовалъ.

— Прикажите связать его. Впрочемъ, я сомнѣваюсь, чтобы онъ уцѣлѣлъ.

VI.

И больного связали. Онъ лежалъ, одѣтый въ сумасшедшую рубаху, на своей постели, крѣпко привязанный широкими полосами холста къ желѣзнымъ перекладинамъ кровати. Но бѣшенство движеній не уменьшилось, а скорѣе возросло. Въ теченіе многихъ часовъ онъ упорно силился освободиться отъ своихъ путъ. Наконецъ однажды, сильно рванувшись,

онъ разорвалъ одну изъ повязокъ, освободилъ ноги и, выскользнувъ изъ-подъ другихъ, началъ со связанными руками расхаживать по комнатѣ, выкрикивая дикія, непонятныя рѣчи.

— О, щобъ тебя!.. — закричалъ вошедшій сторожъ. — Якій тоби бісъ помогае! Грицко! Иванъ! Идить швидче, бо винъ развязавсь.

Они втроемъ накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавшихъ и мучительная для защищавшагося человѣка, тратившаго остатокъ истощенныхъ силъ. Наконецъ его повалили на постель и скрутили крѣпче прежняго.

— Вы не понимаете, что́ вы дѣлаете!—кричалъ больной, задыхаясь. — Вы погибаете! Я видѣлъ третій, едва распустившійся. Теперь онъ уже готовъ. Дайте мнѣ кончить дѣло! Нужно убить его, убить! убить! Тогда все будетъ кончено, все спасено. Я послалъ бы васъ, но это могу сдѣлать только одинъ я. Вы умерли бы отъ одного прикосновенія.

— Молчите, панычъ, молчите!—сказалъ старикъ-сторожъ, оставшійся дежурить около постели.

Больной вдругъ замолчалъ. Онъ рѣшился обмануть сторожей. Его продержали связаннымъ цѣлый день и оставили въ такомъ положеніи и на ночь. Накормивъ его ужиномъ, сторожъ постлалъ что-то около постели и улегся. Черезъ минуту онъ спалъ крѣпкимъ сномъ, а больной принялся за работу.

Онъ изогнулся всѣмъ тѣломъ, чтобы коснуться желѣзной продольной перекладины постели, и нащупавъ ее спрятанной въ длинномъ рукавѣ сумасшедшей рубахи кистью руки, началъ быстро и сильно тереть рукавъ объ желѣзо. Черезъ нѣсколько времени толстая парусина подалась, и онъ высвободилъ указательный палецъ. Тогда дѣло пошло скорѣе. Съ совершенно невѣроятной для здороваго человѣка ловкостью и гибкостью, онъ развязалъ сзади себя узелъ, стягивавшій рукава, расшнуровалъ рубаху и послѣ этого долго прислушивался къ храпѣнію сторожа. Но старикъ спалъ крѣпко. Больной снялъ рубаху и отвязался отъ кровати. Онъ былъ

свободенъ. Онъ попробовалъ дверь; она была заперта изнутри, и ключъ, вѣроятно, лежалъ въ карманѣ у сторожа. Боясь разбудить его, онъ не посмѣлъ обыскивать карманы и рѣшился уйти изъ комнаты черезъ окно.

Была тихая, теплая и темная ночь; окно было открыто: звѣзды блестѣли на черномъ небѣ. Онъ смотрѣлъ на нихъ, отличая знакомыя созвѣздія и радуясь тому, что они, какъ ему казалось, понимаютъ его и сочувствуютъ ему. Мигая, онъ видѣлъ безконечные лучи, которые они посылали ему, и безумная рѣшимость увеличивалась. Нужно было отогнуть толстый прутъ желѣзной рѣшетки, пролѣзть сквозь узкое отверстіе въ закоулокъ, заросшій кустами, перебраться черезъ высокую каменную ограду. Тамъ будетъ послѣдняя борьба, а послѣ—хотъ смерть.

Онъ попробовалъ согнуть толстый прутъ голыми руками, но желѣзо не подавалось. Тогда, скрутивъ изъ крѣпкихъ рукавовъ сумасшедшей рубахи веревку, онъ зацѣпилъ ею за выкованное на концѣ прута копье и повисъ на немъ всѣмъ тѣломъ. Послѣ отчаянныхъ усилій, почти истощившихъ остатокъ его силъ, копье согнулось; узкій проходъ былъ открытъ. Онъ протискался сквозь него, ссадивъ себѣ плечи, локти и обнаженныя колѣни, пробрался сквозь кусты и остановился передъ стѣной. Все было тихо; огни ночниковъ слабо освѣщали изнутри окна огромнаго зданія; въ нихъ не было видно никого. Никто не замѣтитъ его; старикъ, дежурившій у его постели, вѣроятно, спитъ крѣпкимъ сномъ. Звѣзды ласково мигали лучами, проникавшими до самаго его сердца.

— Я иду къ вамъ,—прошепталъ онъ, глядя на небо.

Оборвавшись послѣ первой попытки, съ оборванными ногтями, окровавленными руками и колѣнями, онъ сталъ искать удобнаго мѣста. Тамъ, гдѣ ограда сходилась со стѣной мертвецкой, изъ нея и изъ стѣны выпало нѣсколько кирпичей. Больной нащупалъ эти впадины и воспользовался ими. Онъ влѣзъ на ограду, ухватился за вѣтки вяза, росшаго по ту сторону, и тихо спустился по дереву на землю.

Онъ кинулся къ знакомому мѣсту около крыльца. Цвѣтокъ синѣлъ своей головкой, свернувъ лепестки и ясно выдѣляясь на росистой травѣ.

— Послѣдній!—прошепталъ больной—послѣдній! Сегодня побѣда или смерть. Но это для меня уже все равно. Погодите,—сказалъ онъ, глядя на небо—я скоро буду съ вами.

Онъ вырвалъ растеніе, истерзалъ его, смялъ и, держа его въ рукѣ, вернулся прежнимъ путемъ въ свою комнату. Старикъ спалъ. Больной, едва дойдя до постели, рухнулъ на нее безъ чувствъ.

Утромъ его нашли мертвымъ. Лицо его было спокойно и свѣтло; истощенныя черты съ тонкими губами и глубоко ввавшими закрытыми глазами выражали какое-то горделивое счастье. Когда его клали на носилки, попробовали разжать руку и вынуть красный цвѣтокъ. Но рука закоченѣла, и онъ унесъ свой трофей въ могилу.

Медвѣди.

На степной рѣчкѣ Рохлѣ пріютился городъ Бѣльскъ. Въ этомъ мѣстѣ она дѣлаетъ нѣсколько крутыхъ излучинъ, соединенныхъ протоками; все сплетеніе, если смотрѣть въ ясный лѣтній день съ высокаго праваго берега долины рѣки, кажется цѣлымъ бантомъ изъ голубыхъ лентъ. Этотъ высокій берегъ подымается надъ уровнемъ Рохли саженъ на пятьдесятъ и точно срѣзанъ огромнымъ ножемъ такъ круто, что взобраться отъ воды наверхъ, туда, гдѣ начинается безконечная степь, можно только хватаясь за кусты бересклета, березы и орѣшника, густо покрывающихъ склонъ. Оттуда, сверху, открывается видъ верстъ на сорокъ кругомъ. Направо къ югу и налѣво на сѣверъ тянутся холмы праваго берега Рохли, круто спускающіеся въ долину, какъ тотъ, съ котораго мы смотримъ, или отлогіе; нѣкоторые изъ нихъ бѣлѣютъ своими обнаженными отъ почвы мѣловыми вершинами и скатами; другіе покрыты по большей части чахлой и низкой травкой. Прямо, на востокъ, тянется безграничная, слегка поднимающаяся степь, то желтая отъ сѣнокосовъ, на которыхъ густо разросся негодный молочай, то зеленѣющая хлѣбами, то лилово-черная отъ поднятой недавно цѣлины, то серебристо-сѣрая отъ ковыля. Отсюда она кажется ровною, и только привычный глазъ разсмотритъ на ней едва уловимыя

ніи отлогихъ, невидимыхъ, глубокихъ лощинъ и овраговъ, кое-гдѣ виднѣется небольшимъ возвышеніемъ старый, расханный и вросшій въ землю курганъ, уже безъ каменной бы, которая, можетъ быть, украшаетъ въ качествѣ скиф-аго памятника дворъ харьковскаго университета, а можетъ ть, увезена какимъ нибудь мужикомъ и заложена въ стѣнку гона для скотины.

Внизу рѣка, изгибаясь голубой лентой, тянется съ сѣвера ъ югъ, то отходя отъ высокаго берега въ степь, то приближась и протекая подъ самою кручею. Она окаймлена кустами зняка, кое-гдѣ—сосною, а около города—выгонами и садами. ъ нѣкоторомъ разстояніи отъ берега, въ сторону степи тянутся сплошной полосой почти по всему теченію Рохли сыучіе пески, едва сдерживаемые красною и черною лозою и устымъ ковромъ душистаго лиловаго чабреца. Въ этихъ пекахъ, верстахъ въ двухъ отъ города, пріютилось и городское кладбище; съ высоты оно кажется маленькимъ оазисомъ съ озвышающеюся надъ нимъ деревянной колоколенкой кладбиценской церкви. Самъ городъ не представляетъ собой ничего особенно выдающагося и очень похожъ на всѣ уѣздные города; впрочемъ онъ выгодно отличается отъ своихъ собратій удивительною чистотою улицъ, происходящею не столько отъ заботливости городского управленія, сколько отъ песчаной почвы, на которой выстроенъ городъ; почва эта всасываетъ рѣшительно всякое количество влаги, какое можетъ произвести разгнѣванное небо, и тѣмъ приводитъ въ большое затрудненіе городскихъ свиней, которыя должны отыскивать себѣ удобное помѣщеніе по крайней мѣрѣ за двѣ версты отъ города, въ грязныхъ, илистыхъ берегахъ рѣки.

Въ сентябрѣ 1857 года Бѣльскъ былъ необыкновенно взволнованъ. Обычная тишина жизни нарушилась; повсюду—въ клубѣ, на улицахъ, на скамейкахъ у воротъ, въ домахъ, происходили шумные разговоры. Можно было бы подумать, что происходившее въ это время земское собраніе съ выборами заставило такъ волноваться жителей, но бывали и

прежде земскія собранія, и съ выборами и со скандалами, не производили никакого особеннаго впечатлѣнія на бѣльчанъ. Иногда только встрѣтившіеся на улицѣ граждане обмѣниваются короткими фразами.

— Были? — спроситъ одинъ, указывая взорами на домъ, гдѣ помѣщалась земская управа.

— Былъ!—отвѣтитъ другой и при этомъ махнетъ рукою. А привыкшій къ способу выраженія мыслей собесѣдникъ пойметъ безъ словъ, въ чемъ дѣло, и промолвитъ:

— Кто?

— Иванъ Петровичъ!

— Кого?

— Ивана Парфеныча.

Посмѣются и разойдутся.

Но теперь было не то. Городъ шумѣлъ, какъ во время ярмарки. Толпы мальчишекъ бѣгали по направленію къ городскому выгону и назадъ; солидные люди въ широкихъ лѣтнихъ парусинныхъ и сырцовыхъ шелковыхъ костюмахъ направлялись туда же. Городскія барышни съ зонтиками, въ разноцвѣтныхъ „панье“ (тогда ихъ носили) занимали собою всю ширину улицы, такъ что катавшійся въ кабріолетѣ на сѣромъ въ яблокахъ не конѣ, а звѣрѣ, молодой купецъ Рогачевъ долженъ былъ натягивать вожжи и почти прижиматься къ мазаннымъ стѣнамъ домовъ. Барышень сопровождали мѣстные кавалеры въ сѣренькихъ пальто съ черными бархатными воротниками, съ тросточками, въ соломенныхъ шляпахъ и—у кого были—въ фуражкахъ съ кокардами. Братья Изотовы, коноводы всѣхъ общественныхъ увеселеній, умѣвшіе во время кадрили кричать „гранронъ!“ и „оребуръ!“ неизмѣнно присутствовали здѣсь, если не бѣгали по городу, сообщая знакомымъ дамамъ свѣжія новости.

— Изъ Валуйскаго уѣзда пришли! Полвыгона заняли, до самой рѣки,—говорилъ старшій, Леонидъ.

— Я обозрѣвалъ видъ съ вершины *пристѣна*,—прибавилъ

младшій, Константинъ, любившій выражаться изысканно.— Картина замѣчательная!

Пристѣномъ назывался тотъ самый холмъ, откуда открывается видъ на городъ и окрестности.

— Ахъ, какая мысль! Представьте! Знаете что: прикажемъ заложить линейку и поѣдемъ на пристѣнъ. Это будетъ въ родѣ пикника. И посмотримъ оттуда.

Это предложеніе первой дамы Бѣльска, жены брата казначея (почти весь городъ звалъ ея мужа, Павла Ивановича, братомъ казначея), дамы, пріѣхавшей лѣтъ восемь тому назадъ изъ Петербурга и потому владычицы модъ и хорошаго тона, встрѣтило общее сочувствіе. Заложили толстаго гнѣдого въ экипажъ, который попадается только въ уѣздныхъ городахъ и состоитъ изъ длинныхъ дрогъ, съ двумя длинными подножками, такъ что ѣдущіе помѣщаются въ два ряда по шести-семи человѣкъ въ каждомъ и сидятъ другъ къ другу спиной; компанія человѣкъ въ двѣнадцать усѣлась на него и поѣхала по городу, обгоняя отряды мальчишекъ, ряды барышень и толпы всякаго иного народа, подвигавшіяся къ выгону. Линейка, проѣхавъ по песчанымъ улицамъ города, переѣхала черезъ мостъ и направилась къ высокому правому берегу рѣки. Гнѣдой, упорнымъ шагомъ, морща лоснившуюся шкуру своихъ ляжекъ, взобрался на двухверстный подъемъ, и черезъ полчаса путешественники сидѣли на краю заросшаго кустами пятидесятисаженнаго крутого склона и смотрѣли на знакомый намъ видъ. Внизу, подъ ихъ ногами, подъ самой стѣной, тихо текла подошедшая въ этомъ мѣстѣ рѣка, а за нею разстилался выгонъ, на который и было устремлено общее вниманіе.

Онъ пестрѣлъ, какъ огромный коверъ изъ лоскутьевъ. Видны были грязнобѣлыя палатки, множество повозокъ, толпа пестраго народа: темныя фигуры мужчинъ въ кафтанахъ, сѣрыя грязныя рубахи, яркія желтыя и красныя одежды женщинъ; толпа народа окружала всѣ собравшіеся таборы цыганъ. Былъ чудный, немного жаркій и совершенно тихій

день; на высоту, гдѣ сидѣли зрители, доносился говоръ тысячной толпы, тяжелые удары молота о мягкое желѣзо, конское ржаніе и ревъ десятковъ приведенныхъ изъ нѣсколькихъ уѣздовъ цыганскихъ поильцевъ и кормильцевъ — ручныхъ медвѣдей.

Ольга Павловна смотрѣла на эту пестроту въ бинокль и восхищалась.

— Ахъ, какъ это интересно! Какой большой! Посмотрите, Леонидъ, какой большой медвѣдь, тамъ направо. И рядомъ съ нимъ молодой цыганъ—совершенный Адонисъ!

Она передала бинокль молодому человѣку, и онъ увидѣлъ фигуру стройнаго и очень грязнаго юноши, который стоялъ около звѣря, переваливавшагося съ лапы на лапу, и ласкалъ его.

— Позвольте и мнѣ,—сказалъ толстый бритый господинъ, въ парусинѣ и соломенной шляпѣ. Онъ внимательно смотрѣлъ нѣсколько времени и, обернувшись къ Ольгѣ Павловнѣ, сказалъ съ тяжелымъ вздохомъ:

— Да-съ, Ольга Павловна, Адонисъ. Но какой, я вамъ доложу, изъ этого Адониса конокрадъ выйдетъ—первый сортъ.

— Mon Dieu! Вы непремѣнно стараетесь перевести на прозу всякую поэзію. Почему конокрадъ! Я не хочу этому вѣрить. Онъ такъ хорошъ.

— Хорошъ-то хорошъ... но какъ ему прикажете поддерживать свое прекрасное тѣло безъ этого медвѣдя? Вотъ перебьютъ ихъ завтра, и изъ этой тысячи цыганъ половина пойдетъ по міру.

— Они могутъ ковать, предсказывать...

— Предсказывать! Былъ у меня вчера Илья-коновалъ; вотъ поговорите съ нимъ.—Хороши, говоритъ, у васъ, Ѳома Ѳомичъ, сѣрые, да только берегите отъ нашего брата.—А что, говорю, не ты ли стащишь?—Ухмыляется каналья! Предсказывать! Вотъ у него прорицанія какія!

Отъ линейки отвязали большую корзину, изъ которой появились яства и питія, и общество начало насыщаться, весело болтая и почти не обращая вниманія на разстилав-

шуюся у ихъ ногъ картину. Солнце садилось, огромная тѣнь отъ холма быстро бѣжала на выгонъ, на городъ, на степь; очертанія сглаживались и, какъ это бываетъ на югѣ, день быстро смѣнился ночью. Далекіе извивы рѣки заблестѣли холоднымъ луннымъ свѣтомъ; въ городѣ показались огоньки; въ цыганскомъ таборѣ зажгли костры, краснѣвшіе сквозь туманъ, поднимавшійся съ уснувшей рѣки подъ пристѣномъ. А наверху Константинъ и Леонидъ наперерывъ разсказывали смѣшные анекдоты; Ольга Павловна изрѣдка снисходительно улыбалась; барышни хихикали и иногда прыскали. Зажгли свѣчи въ стеклянныхъ колпакахъ; кучеръ и горничная раздували въ кустахъ самоваръ, причемъ послѣдняя по временамъ отчего-то взвизгивала, впрочемъ весьма осторожно. Толстый Ѳома Ѳомичъ долго молчалъ и наконецъ перебилъ анекдотъ Леонида на самомъ интересномъ мѣстѣ.

— Когда же наконецъ назначена эта медвѣжья казнь?— спросилъ онъ.

— Въ среду утромъ, — разомъ отвѣтили братья Изотовы.

Съ четырехъ уѣздовъ сошлись несчастные цыгане со всѣмъ своимъ скарбомъ, съ лошадьми и медвѣдями. Больше сотни косолапыхъ звѣрей, отъ маленькихъ медвѣжатъ до огромныхъ стариковъ въ посѣдѣвшихъ и выцвѣтшихъ шкурахъ, было собрано на городскомъ выгонѣ. Цыгане съ ужасомъ ждали рѣшительнаго дня. Многіе, пришедшіе первыми, жили на городскомъ выгонѣ уже недѣли двѣ; начальство ждало прихода всѣхъ, переписанныхъ къ тому времени, цыганъ, чтобы устроить разомъ большую казнь. Имъ было дано пять лѣтъ льготы послѣ выхода закона, прекратившаго промыселъ ручными медвѣдями, и теперь срокъ этой льготы истекъ: цыгане должны были явиться въ назначенные для сбора пункты и сами перебить своихъ кормильцевъ.

Они въ послѣдній разъ совершали свой походъ по деревнямъ съ знаменитою козою и ея барабанщикомъ, непремѣн-

ными спутниками медвѣдей. Въ послѣдній разъ, завидѣвъ, какъ они спускаются со степи въ яръ, гдѣ обыкновенно расположены украинскія слободы, толпа мальчишекъ и дѣвчонокъ бѣжала къ нимъ за версту навстрѣчу и съ ликованіемъ возвращалась вмѣстѣ съ ихъ нестройной толпой внизъ, въ слободу, гдѣ начиналось самое торжество.

Да, это было торжество! Они останавливались у кабака или какой нибудь хаты побогаче, а гдѣ была помѣщичья усадьба, то передъ панскимъ домомъ, и начинались представленье, леченье, торговля и мѣна, гаданье, ковка лошадей и починка телѣгъ. И чего-чего тутъ не было въ долгій лѣтній день до самаго вечера, когда цыгане уходили за слободу, на толоку, растягивали тамъ свои палатки, или просто натягивали холстину на оглобли, зажигали костры и готовили себѣ ужинъ! И до поздней ночи вокругъ табора стояла любопытная толпа.

— Ну, пора, пора, — говоритъ мнѣ, маленькому мальчику, отецъ.

— Еще немножечко, еще немножечко.

И отцу самому не хотѣлось уѣзжать. Мы сидѣли съ нимъ на бѣговыхъ дрожкахъ; старый меринъ Васька, повернувъ голову къ огнямъ и настороживъ уши на медвѣдей, стоялъ смирно, изрѣдка фыркая; огни табора бросали дрожащій красный свѣтъ и неопредѣленныя колеблющіяся тѣни; легкій туманъ поднимался изъ лощины сбоку насъ, а за табором разстилалась степь. Темныя крылья вѣтряной мельницы рисовались на небѣ; за нею уходило безграничное таинственное пространство, окутанное серебристосѣрымъ сумракомъ. Шумъ табора не заглушалъ тихихъ и чистыхъ звуковъ степной ночи; то донесется изъ далекаго пруда торжественный, звонкій хоръ лягушекъ, то звенящимъ трескомъ раздастся мѣрный и торопливый крикъ дергача, то перепелы начнутъ кричать свое „пить пойдемъ! пить пойдемъ!“, то откуда-то долетятъ непонятные, невѣдомые звуки, слабые и гармоничные; что это? звукъ ли далекаго колокола, принесенный легкимъ вѣ-

теркомъ, или голосъ природы, языка которой мы не понимаемъ?..

Но въ лагерѣ все успокоивается; понемногу тушатъ ненужные огни; медвѣди, ворочаясь, звякаютъ своими цѣпями и изрѣдка глухо урчатъ подъ телѣгами, къ которымъ прикованы; цыгане укладываются спать. Одинъ изъ нихъ отошелъ въ сторону и горловымъ теноромъ запѣлъ странную пѣсню на родномъ языкѣ, непохожую на пѣсни московскихъ цыганъ и опереточныхъ пѣвицъ, своеобразную, дикую, заунывную, чуждую для уха, донесшуюся откуда-то изъ неизвѣданной темноты... Никто не знаетъ, когда сложена она, какіе степи, лѣса и горы породили ее; она осталась живымъ свидѣтелемъ старины, забытой и тѣмъ, кто поетъ ее теперь подъ чужимъ, горящимъ звѣздами небомъ, въ чужихъ степяхъ...

„Поѣдемъ", говоритъ отецъ. Застоявшійся Васька бодро трогается съ мѣста, и дрожки катятся по извилистой дорогѣ внизъ, въ лощину; легкая пыль слабо взвивается изъ-подъ колесъ, и тутъ же, будто сонная, падаетъ на слегка росистую траву.

— Папа, знаетъ ли кто нибудь по-цыгански?

— Сами они конечно знаютъ, а изъ другихъ я не видалъ никого, кто умѣлъ бы говорить съ ними.

— Я хотѣлъ бы научиться. Я хотѣлъ бы знать, что онъ пѣлъ... Папа, они язычники? Можетъ быть, онъ пѣлъ про своихъ боговъ: какъ они жили, какъ воевали...

Мы возвратились домой, и я лежу подъ одѣяломъ, а воображеніе все еще работаетъ и создаетъ странные образы въ маленькой головѣ, уже склонившейся на подушку.

Теперь по деревнямъ уже не водятъ медвѣдей. Да и цыгане стали рѣдко бродить; большею частью они живутъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ приписаны, и только иногда, отдавая дань своей вѣковой привычкѣ, выбираются куда нибудь на выгонъ, натягиваютъ закопченное полотно и живутъ цѣлыми семьями, занимаясь ковкою лошадей, коновальствомъ и баришничествомъ. Мнѣ случалось видѣть даже, что шатры уступали

мѣсто на скорую руку сколоченнымъ досчатымъ балаганамъ. Это было въ губернскомъ городѣ; недалеко отъ больницы и базарной площади на клочкѣ еще не застроенной земли, рядомъ съ почтовой дорогой, цыгане устроили цѣлый маленькій городокъ. Только смуглыя, глазастыя лица, курчавые волосы, грязная одежда мужчинъ, грязныя яркія тряпки женщинъ и нагіе бронзовые ребятишки напомнили мнѣ былую картину вольнаго цыганскаго табора. Изъ балагановъ слышался лязгъ желѣза; я заглянулъ въ одинъ изъ нихъ: какой-то старикъ ковалъ подковы. Я посмотрѣлъ на его работу и увидѣлъ, что это уже не прежній цыганъ-кузнецъ, а простой мастеровой, взявшій заказъ и работающій, чтобы поскорѣе кончить его и навалить на себя новый. Онъ ковалъ подкову за подковой, отбрасывая ихъ одну за другой въ кучу, въ углу балагана: онъ работалъ съ мрачнымъ, сосредоточеннымъ видомъ, сильно торопясь; это было днемъ; проходя уже довольно поздно вечеромъ, я подошелъ къ балагану и увидѣлъ старика за тѣмъ же дѣломъ. Это былъ уже фабричный. И странно было видѣть цыганскій таборъ почти внутри города, между земской больницей, базаромъ, острогомъ и какимъ-то плацемъ, гдѣ учились солдаты и поминутно раздавалось: на плечо! на караулъ! рядомъ съ дорогой, съ которой вѣтеръ поднималъ тучи пыли, занося ею и досчатые балаганы, и костры съ котелками, въ которыхъ закутанныя пестрыми платками цыганки варили какую-то кашицу, и самихъ цыганъ, и ихъ голыхъ ребятишекъ.

Они шли по деревнямъ, давая въ послѣдній разъ свои представленія. Въ послѣдній разъ медвѣди показывали свое артистическое искусство: плясали, боролись, показывали, какъ мальчишки горохъ воруютъ, какъ ходитъ молодица и какъ старая баба; въ послѣдній разъ они получали угощеніе въ видѣ стаканчика водки, который медвѣдь, стоя на заднихъ лапахъ, бралъ обѣими подошвами переднихъ, прикладывалъ къ своему мохнатому рылу и, опрокинувъ голову назадъ, выливалъ въ пасть, послѣ чего облизывался и выражалъ свое

удовольствіе тихимъ ревомъ, полнымъ какихъ-то странныхъ вздоховъ. Въ послѣдній разъ къ цыганамъ приходили старики и старухи, чтобы полечиться вѣрнымъ, испытаннымъ средствомъ, состоявшимъ въ томъ, чтобы лечь на землю подъ медвѣдя, который ложился на паціента брюхомъ, широко растопыривъ во всѣ стороны по землѣ свои четыре лапы, и лежалъ, пока цыганъ не считалъ сеанса уже достаточно продолжительнымъ. Въ послѣдній разъ ихъ водили въ хаты, при чемъ, если медвѣдь добровольно соглашался войти, его вели въ передній уголъ и сажали тамъ и радовались его согласію, какъ доброму знаку; а если онъ, несмотря на всѣ уговоры и ласки, не переступалъ порога, то хозяева печалились, а сосѣди говорили:

— Щось такé е! Бо винъ зна!

Большая часть цыганъ пришла изъ западныхъ уѣздовъ, такъ что имъ приходилось спускаться къ Бѣльску двухверстнымъ спускомъ, и завидѣвъ издали мѣсто своего несчастія, этотъ городокъ, съ его соломенными и желѣзными крышами и двумя-тремя колокольнями, женщины принимались выть, дѣти плакать, а медвѣди изъ сочувствія, а можетъ быть—кто знаетъ?—понявъ изъ людскихъ толковъ свою горькую участь, такъ ревѣть, что встрѣчавшіеся обозы сворачивали съ дороги въ сторону, чтобы не слишкомъ перепугать воловъ и лошадей, а сопровождавшія ихъ собаки съ визгомъ и трепетомъ забивались подъ самые возы, туда, гдѣ хохлы привязываютъ дегтярную *мазницю* съ *квачемъ*.

У воротъ бѣльскаго исправника собралось нѣсколько стариковъ цыганъ. Они пріодѣлись, чтобы представиться начальству въ приличномъ видѣ. На всѣхъ были черные или синіе суконные бешметы съ наборными серебряными съ чернью поясами, шелковыя рубахи съ узенькимъ галуномъ по воротнику, плисовые шаровары, большіе сапоги, у нѣкоторыхъ съ расшитыми и прорѣзанными узоромъ голенищами, и большею

частью барашковыя шапки. Это убранство надѣвалось только въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ.

— Спитъ? — спросилъ высокій, прямой, пожелтѣвшій отъ старости цыганъ выходившаго изъ двора городового, одного изъ одиннадцати, обязанныхъ охранять порядокъ въ городѣ Бѣльскѣ.

— Встаетъ, одѣвается. Сейчасъ позовутъ васъ—отвѣчалъ городовой.

Старики, до тѣхъ поръ неподвижно сидѣвшіе и стоявшіе, зашевелились и начали тихо разговаривать между собою. Старшій вынулъ что-то изъ кармана шароваръ; всѣ окружили его и смотрѣли на предметъ, находившійся въ его рукахъ.

— Ничего не будетъ, — сказалъ онъ наконецъ. — Развѣ онъ что́ можетъ? Развѣ это отъ него? Это изъ Петербурга, самъ министръ приказалъ. По всѣмъ мѣстамъ медвѣдей бьютъ.

— Попробуемъ, Иванъ, можетъ, какъ нибудь...—отвѣтилъ другой старикъ.

— Попробовать можно,—отвѣчалъ уныло Иванъ.—Только и денежки онъ ваши возьметъ, и ничѣмъ не поможетъ.

Ихъ позвали къ исправнику. Они вошли толпой въ переднюю, и когда къ нимъ вышелъ усатый человѣкъ въ разстегнутомъ полицейскомъ мундирѣ, изъ-подъ котораго была видна красная канаусовая рубашка, старики упали ему въ ноги. Они просили его, предлагали ему деньги. Многіе плакали.

— Ваше высокоблагородіе,—говорилъ Иванъ—сами посудите, куда мы теперь подадимся? Были у насъ медвѣди — жили мы смирно, никого не обижали... Есть у насъ молодцы, что́ и лихимъ дѣломъ промышляютъ; да, ваше высокоблагородіе, развѣ конокрадовъ и русскихъ мало? Никому отъ нашихъ звѣрей обиды не было, всѣмъ утѣха. Теперь же что́ будетъ? По міру должны мы идти, а не то ворами, бродягами быть. Отцы наши и дѣды медвѣдей водили, земли мы пахать не умѣемъ; кузнецы мы всѣ, да вѣдь хорошо было

кузнецами быть, за работой по всей землѣ ходя, а теперь работа къ намъ сама не пойдетъ. И будутъ наши молодцы ворами-конокрадами: некуда больше податься, ваше высокоблагородіе. Какъ передъ Богомъ говорю, не скрываюсь: большое зло сдѣлали и намъ, и всѣмъ добрымъ людямъ, медвѣдей у насъ отнявши. Можетъ, вы намъ поможете; Богъ вамъ за то пошлетъ, господинъ добрый!

Старикъ упалъ на колѣни и въ ноги поклонился исправнику. Остальные сдѣлали то же. Маіоръ стоялъ съ мрачнымъ видомъ, поглаживая длинные усы и засунувъ другую руку въ карманъ синихъ рейтузъ. Старикъ досталъ довольно толстый кожаный бумажникъ и подалъ его.

— Не возьму,—мрачно сказалъ исправникъ;—ничего не могу сдѣлать.

— Да вы бы взяли, ваше в—діе,—раздалось въ толпѣ.— Можетъ, что нибудь... Вы бы написали.

— Не возьму,—громче прежняго сказалъ исправникъ.— Не за что. Ничего нельзя. Это законъ... Вамъ пять лѣтъ льготы было дано... Что́ ужъ тутъ дѣлать?..

И онъ развелъ руками.

Старики молчали. Исправникъ продолжалъ.

— Я самъ знаю, какая это бѣда и вамъ, и намъ: теперь только и смотри за лошадьми; да что-жъ я могу подѣлать? Ты, дѣдъ, спрячь деньги: я даромъ денегъ не беру. Вотъ попадутся мнѣ ваши ребята съ конями — не прогнѣвайтесь; но брать даромъ не въ моихъ правилахъ. Спрячь, спрячь, старикъ: вамъ деньги пригодятся.

— Ваше высокоблагородіе, — сказалъ Иванъ, все держа бумажникъ въ рукахъ — дозвольте еще слово выговорить. Позвольте завтра... (его голосъ задрожалъ) позвольте завтра покончить. Истомились мы, измучились. Двѣ недѣли я вотъ пришелъ со своими, прожились вовсе...

— Еще одной партіи, старикъ, нѣтъ; надо подождать. У меня съ вами тутъ и такъ весь городъ съ ума сошелъ. Надо разомъ.

— Да пришли уже, ваше высокоблагородіе, какъ мы къ вамъ пошли — съ горы спускались. Сдѣлай такую милость, господинъ! Не томи ты насъ!

— Ну, если пришли, такъ завтра, часовъ въ десять, я къ вамъ пріѣду. Ружья у васъ есть?

— Есть ружья, да не у всѣхъ.

— Хорошо, я попрошу полковника дать изъ команды. Съ Богомъ! Жаль мнѣ васъ, очень жаль.

Старики пошли къ двери, но исправникъ окликнулъ ихъ.

— Постойте, эй, вы! Вотъ я вамъ что скажу: вы пойдите къ аптекарю, Ѳомѣ Ѳомичу — знаете аптеку, подлѣ собора—пойдите, скажите, что я васъ послалъ. Онъ у васъ все сало медвѣжье скупитъ: ему оно въ мазь пойдетъ. И шкуры, можетъ быть. Хорошую цѣну дастъ; не пропадать же имъ такъ, въ самомъ дѣлѣ.

Цыгане поблагодарили и толпою отправились въ аптеку. Разрывались ихъ сердца; почти безъ торга продали они смертные останки своихъ друзей. Ѳома Ѳомичъ скупилъ все сало по четырнадцати копѣекъ, а о шкурахъ обѣщалъ поговорить послѣ. Случившійся тутъ же купецъ Рогачевъ, надѣясь сдѣлать хорошую аферу, сторговалъ всѣ медвѣжьи окорока по пятачку за фунтъ.

Вечеромъ того же дня братья Изотовы прибѣжали, запыхавшись, къ казначееву брату.

— Ольга Павловна, Ольга Павловна! Назначили на завтра! Всѣ пришли! Ужъ и ружья полковникъ далъ, — говорили они наперерывъ—Ѳома Ѳомичъ купилъ все сало по четырнадцати копѣекъ фунтъ. Рогачевъ окорока...

— Постойте, постойте, Леонидъ, — перебила Ольга Павловна—зачѣмъ Ѳомѣ Ѳомичу медвѣжье сало?

— Для мазей; превосходная помада для рощенія волосъ.

И при этомъ Константинъ разсказалъ интересный анекдотъ о томъ, какъ нѣкоторый лысый господинъ, намазывая себѣ голову медвѣжьимъ жиромъ, выростилъ себѣ волосы на рукахъ.

— И долженъ былъ брить ихъ каждые два дня, — заключилъ Леонидъ, при чемъ оба брата разразились хохотомъ.

Ольга Павловна улыбнулась и задумалась. Она уже давно носила шиньонъ, и свѣдѣнія о медвѣжьемъ салѣ пришлись ей по сердцу; и когда вечеркомъ аптекарь Ѳома Ѳомичъ пришелъ сыграть пульку съ ея мужемъ и казначеемъ, она издалека завела разговоръ и ловко вынудила у него обѣщаніе прислать ей медвѣжьей помады.

— Непремѣнно-съ, непремѣнно-съ, Ольга Павловна. Даже съ духами. Вы что̀ предпочитаете — пачули или иланг-иланг?

Настало пасмурное, холодное, настоящее сентябрьское утро. Изрѣдка накрапывалъ мелкій дождь, но несмотря на него, множество зрителей обоего пола и всѣхъ возрастовъ пришли на лугъ посмотрѣть интересное зрѣлище. Городъ почти опустѣлъ. Всѣ наличные экипажи — одна имѣвшаяся въ городѣ карета, нѣсколько фаэтоновъ, дрожекъ и линеекъ — были заняты перевозкой любопытныхъ, они доставляли ихъ къ табору и возвращались въ городъ за новыми партіями. Къ десяти часамъ всѣ уже собрались.

Цыгане потеряли всякую надежду. Въ лагерѣ не было большого шума; женщины забились въ шатры, вмѣстѣ съ малыми ребятишками, чтобы не видѣть казни, и только изрѣдка изъ котораго нибудь изъ нихъ вырывался отчаянный вопль; мужчины лихорадочно дѣлали послѣднія приготовленія. Они откатывали къ краю становища телѣги и привязывали къ нимъ звѣрей.

Исправникъ съ Ѳомой Ѳомичемъ прошлись вдоль ряда осужденныхъ. Медвѣди были не совсѣмъ спокойны: необыкновенная обстановка, странныя приготовленія, огромная толпа, большое скопленіе ихъ самихъ въ одномъ мѣстѣ — все приводило ихъ въ возбужденное состояніе; они порывисто метались на своихъ цѣпяхъ или грызли ихъ, глухо рыча. Старый Иванъ стоялъ возлѣ своего огромнаго кривого медвѣдя.

Его сынъ, пожилой цыганъ, уже съ серебристой просѣлью въ черныхъ волосахъ, и внукъ, тотъ самый юноша Адонисъ, на котораго обратила свое вниманіе Ольга Павловна, съ помертвѣвшими лицами и горящими глазами, торопливо привязывали медвѣдя.

Исправникъ поровнялся съ ними.

— Ну, старикъ,—сказалъ онъ—прикажи ребятамъ, чтобы начинали.

Толпа зрителей заволновалась, поднялся говоръ, крики, но скоро все стихло, и среди мертвой тишины раздался не громкій, но важный голосъ. Это говорилъ старикъ Иванъ:

— Дозволь, господинъ добрый, сказать мнѣ слово. Прошу васъ, братья, дайте мнѣ первому покончить. Старше я всѣхъ васъ; девяносто лѣтъ черезъ годъ мнѣ стукнетъ, а медвѣдей вожу я съизмала. И во всемъ таборѣ нѣтъ звѣря старше моего.

Онъ опустилъ сѣдую курчавую голову на грудь, горько покачалъ ею и вытеръ кулакомъ глаза. Потомъ онъ выпрямился, поднялъ голову и продолжалъ громче и тверже прежняго:

— Потому и хочу я первый покончить. Думалъ я, что не доживу до такого горя, думалъ — и медвѣдь мой любимый не доживетъ, да, видно, не судьба: своей рукой долженъ я убить его, кормильца своего и благодѣтеля. Отвяжите его, пустите на волю. Никуда не пойдетъ онъ: памъ съ нимъ, старикамъ, отъ смерти не бѣгать. Отвяжи его, Вася: не хочу убивать его, какъ скота на привязи. Не бойтесь, — сказалъ онъ зашумѣвшей толпѣ — не тронетъ онъ никого.

Юноша отвязалъ огромнаго звѣря и отвелъ немного отъ телѣги. Медвѣдь усѣлся на заднія лапы, спустивъ переднія внизъ, и раскачивался изъ стороны въ сторону, тяжело вздыхая и хрипя. Онъ былъ дѣйствительно очень старъ; его зубы были желты, шкура порыжѣла и вылѣзла; онъ дружелюбно и печально смотрѣлъ на своего стараго хозяина единственнымъ маленькимъ глазомъ. Кругомъ была мертвая тишина.

Слышно было только, какъ звякали о стволы и тупо стучали о пыжи шомполы заряжаемыхъ винтовокъ.

— Дайте ружье,—твердо сказалъ старикъ.

Сынъ подалъ ему винтовку. Онъ взялъ ее и, прижимая къ груди, началъ говорить, снова обращаясь къ медвѣдю:

— Убью я тебя сейчасъ, Потапъ. Дай Боже, чтобы старая рука моя не дрожала, чтобы попала тебѣ пуля въ самое сердце. Не хочу я мучить тебя, не того ты заслужилъ, медвѣдь мой старый, товарищъ мой добрый. Взялъ я тебя маленькимъ медвѣжонкомъ; глазъ у тебя былъ выколотъ, носъ отъ кольца гнилъ; болѣлъ ты и чахъ; я за тобой, какъ за сыномъ, ходилъ, и жалѣлъ тебя, и выросъ ты большимъ и сильнымъ медвѣдемъ; нѣтъ другого такого во всѣхъ таборахъ, что здѣсь собрались. И выросъ ты, и не забылъ добра моего: между людьми у меня друга такого, какъ ты, не было. Ты добръ, и смиренъ былъ, и понятливъ, и всему выучился, и не видѣлъ я звѣря добрѣе и понятливѣе. Что я былъ безъ тебя? Твоею работою вся семья моя жила. Ты справилъ мнѣ двѣ тройки коней, ты мнѣ хату на зиму выстроилъ. Больше еще сдѣлалъ ты: сына моего отъ солдатчины избавилъ. Большая наша семья, и всѣхъ, отъ стараго до малаго младенца, ты въ ней до сихъ поръ кормилъ и берегъ. И любилъ я тебя крѣпко, и не билъ больно, а если виноватъ въ чемъ передъ тобою, прости меня, въ ноги тебѣ кланяюсь.

Онъ повалился медвѣдю въ ноги. Звѣрь тихо и жалобно зарычалъ. Старикъ рыдалъ, вздрагивая всѣмъ тѣломъ.

— Бей, батюшка! — сказалъ ему сынъ — не рви намъ сердце.

Иванъ поднялся. Слезы больше не текли изъ его глазъ. Онъ отвелъ со лба упавшую на него свою сѣдую гриву и продолжалъ твердымъ и звонкимъ голосомъ:

— И вотъ теперь я убить тебя долженъ... Приказали мнѣ, старику, застрѣлить тебя своей рукой; нельзя тебѣ больше жить на свѣтѣ. Что же? Пусть Богъ на небѣ разсудитъ насъ съ ними.

Онъ взвелъ курокъ и твердой еще рукой прицѣлился в звѣря, въ грудь подъ лѣвую лапу. И медвѣдь понялъ. Из его пасти вырвался жалобный, отчаянный ревъ; онъ встал на дыбы, поднявъ переднія лапы и какъ будто закрывая им себѣ глаза, чтобы не видѣть страшнаго ружья. Вопль раздал между цыганами; въ толпѣ многіе плакали; старикъ съ рыд ніемъ бросилъ ружье о землю и безсильно повалился на нег Сынъ бросился подымать его, а внукъ схватилъ ружье.

— Будетъ! — закричалъ онъ дикимъ, изступленнымъ го лосомъ, сверкая глазами. — Довольно! Бей, братцы, один конецъ!

И подбѣжавъ къ звѣрю, онъ приложилъ дуло въ упор къ его уху и выстрѣлилъ. Медвѣдь рухнулъ безжизненно массой; только лапы его судорожно вздрогнули, и пасть рас крылась, какъ будто зѣвая. По всему табору затрещали выстрѣлы, заглушаемые отчаяннымъ воемъ женщинъ и дѣтей. Легкій вѣтеръ относилъ дымъ къ рѣкѣ.

„Сорвался! сорвался!“ раздалось въ толпѣ. Какъ стадо испуганныхъ овецъ, всѣ кинулись вразсыпную. Исправникъ, толстый Ѳома Ѳомичъ, мальчишки, Леонидъ и Константинъ, барышни — все бѣжало въ паническомъ страхѣ, натыкаясь на шатры, на повозки, падая другъ на друга и крича. Ольга Павловна едва не упала въ обморокъ, но страхъ придалъ ей силъ, и она, поднявъ платье, бѣжала по лугу, не думая о безпорядкѣ въ костюмѣ, причиненномъ поспѣшнымъ бѣгствомъ. Лошади, запряженныя въ ожидавшіе господъ экипажи, начали бѣситься и понеслись въ разныя стороны. Но опасность была вовсе не такъ велика. Обезумѣвшій отъ ужаса звѣрь, не старый еще темнобурый медвѣдь, съ обрывкомъ цѣпи на шеѣ, бѣжалъ съ удивительной легкостью; передъ нимъ все разступилось, и онъ мчался, какъ вѣтеръ, прямо къ городу. Нѣсколько цыганъ съ ружьями бѣжали за нимъ. Попадавшіеся на улицѣ немногіе пѣшеходы прижимались къ стѣнамъ, если

не успѣвали спрятаться въ ворота. Ставни запирались; все живое попряталось; исчезли даже собаки.

Медвѣдь несся мимо собора, по главной улицѣ, иногда кидаясь въ сторону, какъ бы отыскивая себѣ мѣсто, куда бы спрятаться; но все было заперто. Онъ промчался мимо лавокъ, встрѣченный неистовымъ крикомъ приказчиковъ, которые хотѣли его испугать, пролетѣлъ мимо банка, прогимназіи, казармы уѣздной команды, на другой конецъ города, выбѣжалъ на дорогу на берегъ рѣки и остановился. Преслѣдователи отстали. Но скоро изъ улицы показалась толпа уже не однихъ цыганъ. Исправникъ и полковникъ ѣхали на дрожкахъ, съ ружьями въ рукахъ; цыгане и взводъ солдатъ поспѣвали за ними бѣгомъ. У самыхъ дрожекъ бѣжали Леонидъ и Константинъ.

— Вотъ онъ, вотъ онъ!—закричалъ исправникъ.—Жарь, катай его!

Раздались выстрѣлы. Одна изъ пуль задѣла звѣря; въ смертельномъ страхѣ, онъ побѣжалъ быстрѣе прежняго. За версту отъ города, вверхъ по Рохлѣ, куда бѣжалъ онъ, находится большая водяная мельница, со всѣхъ сторонъ окруженная небольшимъ, но густымъ лѣсомъ; звѣрь направлялся туда. Но запутавшись въ рукавахъ рѣки и плотинахъ, онъ сбился съ дороги; широкое пространство воды отдѣляло его отъ густой дубовой заросли, гдѣ онъ, можетъ быть, могъ бы найти если не спасеніе, то отсрочку. Но онъ не рѣшился плыть. На этой сторонѣ густо разросся странный кустарникъ, растущій только въ южной Россіи, такъ называемый люціумъ. Его длинные, гибкіе, невѣтвистые стебли растутъ такъ густо, что человѣку почти невозможно пройти сквозь заросль; но у корней есть щели и прогалины, въ которыя могутъ пролѣзать собаки, а такъ какъ онѣ часто ходятъ туда спасаться отъ жары и понемногу расширяютъ проходъ своими боками, то въ густой заросли образуется современемъ цѣлый лабиринтъ ходовъ. Туда и кинулся медвѣдь. Мукосѣи, смотрѣвшіе на него изъ верхняго этажа мельницы, видѣли это, и когда

прибѣжала запыхавшаяся и измученная погоня, исправникъ приказалъ оцѣпить мѣсто, гдѣ скрывался звѣрь.

Несчастный забился въ самую глубину кустовъ; рана его отъ пули, сидѣвшей у него въ ляжкѣ, сильно болѣла; онъ свернулся въ комокъ, уткнувъ морду въ лапы, и лежалъ неподвижно, оглушенный, обезумѣвшій отъ страха, лишавшаго его возможности защищаться. Солдаты стрѣляли въ кусты, думая задѣть его и заставить заревѣть, но попасть наугадъ было трудно. Его убили уже поздно вечеромъ, выгнавъ изъ убѣжища огнемъ. Всякій, у кого было ружье, считалъ долгомъ всадить пулю въ издыхающаго звѣря, и когда съ него сняли шкуру, она никуда не годилась.

Недавно мнѣ случилось побывать въ Бѣльскѣ. Городъ почти не измѣнился: только банкъ лопнулъ, да прогимназія превратилась въ гимназію. Исправника смѣнили, давъ ему за распорядительность мѣсто частнаго пристава въ губернскомъ городѣ; братья Изотовы попрежнему кричатъ „гранронъ“ и „оребуръ“ и бѣгаютъ по городу съ разсказами о самыхъ свѣжихъ новостяхъ; аптекарь Ѳома Ѳомичъ потолстѣлъ еще больше и, несмотря на то, что сдѣлалъ выгодное дѣло, скупивъ медвѣжье сало по четырнадцати копѣекъ, а продавъ его по восьми гривенъ фунтъ, что̀ дало въ цѣломъ немалую сумму, до сихъ поръ съ большимъ неудовольствіемъ говоритъ объ избіеніи медвѣдей.

— Говорилъ я вотъ тогда Ольгѣ Павловнѣ, какой изъ этого Адониса конокрадъ выйдетъ... Ну, и что же? Недѣли не прошло—свелъ мою пару сѣрыхъ, мерзавецъ.

— А вы знаете, что это онъ?—спросилъ я.

— Какъ же не онъ? Вѣдь его судили въ прошломъ году за конокрадство и разбой. На каторгу пошелъ.

— Ахъ, какъ мнѣ было его жаль!—грустно сказала Ольга Павловна.

Бѣдная дама порядочно постарѣла за эти годы и, несмотря

на то, что, по словамъ Ѳомы Ѳомича (который сказалъ мнѣ это по секрету), она вымазала на свою голову фунта четыре медвѣжьей помады, волосы ея не только не стали гуще, но даже порѣдѣли. Впрочемъ, шиньонъ такъ хорошо закрываетъ ихъ, что рѣшительно ничего незамѣтно.

Сказка о жабѣ и розѣ.

Жили на свѣтѣ роза и жаба.

Розовый кустъ, на которомъ расцвѣла роза, росъ въ небольшомъ полукругломъ цвѣтникѣ передъ деревенскимъ домомъ. Цвѣтникъ былъ очень запущенъ; сорныя травы густо разрослись по старымъ, вросшимъ въ землю клумбамъ и по дорожкамъ, которыхъ уже давно никто не чистилъ и не посыпалъ пескомъ. Деревянная рѣшетка съ колышками, обдѣланными въ видѣ четырехгранныхъ пикъ, когда-то выкрашенная зеленой масляной краской, теперь совсѣмъ облѣзла, разсохлась и развалилась; пики растащили для игры въ солдаты деревенскіе мальчики и, чтобы отбиваться отъ сердитаго барбоса съ компаніею прочихъ собакъ, подходившіе къ дому мужики.

А цвѣтникъ отъ этого разрушенія сталъ нисколько не хуже. Остатки рѣшетки заплели хмель, повилика съ крупными бѣлыми цвѣтами и мышиный горошекъ, висѣвшій цѣлыми блѣднозелеными кучами, съ разбросанными кое-гдѣ блѣдно лиловыми кисточками цвѣтовъ. Колючіе чертополохи на жирной и влажной почвѣ цвѣтника (вокругъ него былъ большой тѣнистый садъ) достигали такихъ большихъ размѣровъ, что казались чуть не деревьями. Желтые коровьяки подымали свои усаженныя цвѣтами стрѣлки еще выше ихъ. Крапива

занимала цѣлый уголъ цвѣтника; она, конечно, жглась, но можно было и издали любоваться ея темною зеленью, особенно когда эта зелень служила фономъ для нѣжнаго, роскошнаго блѣднаго цвѣтка розы.

Она распустилась въ хорошее майское утро: когда она раскрывала свои лепестки, улетавшая утренняя роса оставила на нихъ нѣсколько чистыхъ, прозрачныхъ слезинокъ. Роза точно плакала. Но вокругъ нея все было такъ хорошо, такъ чисто и ясно въ это прекрасное утро, когда она въ первый разъ увидѣла голубое небо и почувствовала свѣжій утренній вѣтерокъ и лучи сіявшаго солнца, проникавшаго ея тонкіе лепестки розовымъ свѣтомъ, въ цвѣтникѣ было такъ мирно и спокойно, что если бы она могла въ самомъ дѣлѣ плакать, то не отъ горя, а отъ счастья жить. Она не могла говорить; она могла только, склонивъ свою головку, разливать вокругъ себя тонкій и свѣжій запахъ, и этотъ запахъ былъ ея словами, слезами и молитвой. А внизу, между корнями куста, на сырой землѣ, какъ будто прилипнувъ къ ней плоскимъ брюхомъ, сидѣла довольно жирная, старая жаба, которая проохотилась цѣлую ночь за червяками и мошками и подъ утро усѣлась отдыхать отъ трудовъ, выбравъ мѣстечко потѣнистѣе и посырѣе. Она сидѣла, закрывъ перепонками свои жабьи глаза, и едва замѣтно дышала, раздувая грязносѣрые, бородавчатые и липкіе бока и отставивъ одну безобразную лапу въ сторону: ей было лѣнь подвинуть ее къ брюху. Она не радовалась ни утру, ни солнцу, ни хорошей погодѣ; она уже наѣлась и собралась отдыхать. Но когда вѣтерокъ на минуту стихалъ, и запахъ розы не уносился въ сторону, жаба чувствовала его, и это причиняло ей смутное безпокойство; однако она долго лѣнилась посмотрѣть, откуда несется этотъ запахъ.

Въ цвѣтникъ, гдѣ росла роза и гдѣ сидѣла жаба, уже давно никто не ходилъ. Еще въ прошломъ году осенью, въ тотъ самый день, когда жаба, отыскавъ себѣ хорошую щель подъ однимъ изъ камней фундамента дома, собиралась за-

лѣзть туда на зимнюю спячку, въ цвѣтникъ въ послѣдній разъ зашелъ маленькій мальчикъ, который цѣлое лѣто сидѣлъ въ немъ каждый ясный день подъ окномъ дома. Взрослая дѣвушка, его сестра, сидѣла у окна; она читала книгу, или шила что нибудь, и изрѣдка поглядывала на брата. Онъ былъ маленькій мальчикъ лѣтъ семи, съ большими глазами и большой головой на худенькомъ тѣлѣ. Онъ очень любилъ свой цвѣтникъ (это былъ его цвѣтникъ, потому что кромѣ него почти никто не ходилъ въ это заброшенное мѣстечко) и, придя въ него, садился на солнышкѣ, на старую деревянную скамейку, стоявшую на сухой песчаной дорожкѣ, уцѣлѣвшей около самаго дома, потому что по ней ходили закрывать ставни, и начиналъ читать принесенную съ собою книжку.

— Вася, хочешь я тебѣ брошу мячикъ? — спрашиваетъ изъ окна сестра.—Можетъ быть, ты съ нимъ побѣгаешь?

— Нѣтъ, Маша, я лучше такъ, съ книжкой.

И онъ сидѣлъ долго и читалъ. А когда ему надоѣдало читать о Робинзонахъ, и дикихъ странахъ, и морскихъ разбойникахъ, онъ оставлялъ раскрытую книжку и забирался въ чащу цвѣтника. Тутъ ему былъ знакомъ каждый кустъ и чуть ли не каждый стебель. Онъ садился на корточки передъ толстымъ, окруженнымъ мохнатыми бѣловатыми листьями стеблемъ коровьяка, который былъ втрое шире его, и подолгу смотрѣлъ, какъ муравьиный народъ бѣгаетъ вверхъ къ своимъ коровамъ—травянымъ тлямъ, какъ муравей деликатно трогаетъ тонкія трубочки, торчащія у тлей на спинѣ, и подбираетъ чистыя капельки сладкой жидкости, показывавшіяся на кончикахъ трубочекъ. Онъ смотрѣлъ какъ навозный жукъ хлопотливо и усердно тащитъ куда-то свой шаръ; какъ паукъ, раскинувъ хитрую радужную сѣть, сторожитъ мухъ; какъ ящерица, раскрывъ тупую мордочку, сидитъ на солнцѣ, блестя зелеными щитиками своей спины; а одинъ разъ, подъ вечеръ, онъ увидѣлъ живого ежа! Тутъ и онъ не могъ удержаться отъ радости и чуть было не закричалъ и не захлопалъ ру-

ками, но, боясь спугнуть колючаго звѣрька, притаилъ дыханіе и, широко раскрывъ счастливые глаза, въ восторгѣ смотрѣлъ, какъ тотъ, фыркая, обнюхивалъ своимъ свинымъ рыльцемъ корни розоваго куста, ища между ними червей, и смѣшно перебиралъ толстенькими лапами, похожими на медвѣжьи.

— Вася, милый, иди домой, сыро становится, — громко сказала сестра.

И ежикъ, испугавшись человѣческаго голоса, живо надвинулъ себѣ на лобъ и на заднія лапы колючую шубу и превратился въ шаръ. Мальчикъ тихонько коснулся его колючекъ; звѣрекъ еще больше съежился и глухо и торопливо запыхтѣлъ, какъ маленькая паровая машина.

Потомъ онъ немного познакомился съ этимъ ежикомъ. Онъ былъ такой слабый, тихій и кроткій мальчикъ, что даже разная звѣриная мелкота какъ будто понимала это и скоро привыкла къ нему. Какая была радость, когда ежъ попробовалъ молока изъ принесеннаго хозяиномъ цвѣтника блюдечка!

Въ эту весну мальчикъ не могъ выйти въ свой любимый уголокъ. Попрежнему около него сидѣла сестра, но уже не у окна, а у его постели; она читала книгу, но не для себя, а вслухъ ему, потому что ему было трудно поднять свою исхудалую голову съ бѣлыхъ подушекъ и трудно держать въ тощихъ рукахъ даже самый маленькій томикъ, да и глаза его скоро утомлялись отъ чтенія. Должно быть, онъ уже больше никогда не выйдетъ въ свой любимый уголокъ.

— Маша!—вдругъ шепчетъ онъ сестрѣ.

— Что милый?

— Что, въ садикѣ теперь хорошо? Розы расцвѣли?

Сестра наклоняется, цѣлуетъ его въ блѣдную щеку и при этомъ незамѣтно стираетъ слезинку.

— Хорошо, голубчикъ, очень хорошо. И розы расцвѣли. Вотъ въ понедѣльникъ мы пойдемъ туда вмѣстѣ. Докторъ позволилъ тебѣ выйти.

Мальчикъ не отвѣчаетъ и глубоко вздыхаетъ. Сестра начинаетъ снова читать.

— Уже будетъ! Я усталъ. Я лучше посплю.

Сестра поправила ему подушки и бѣлое одѣяльце; онъ съ трудомъ повернулся къ стѣнѣ и замолчалъ. Солнце свѣтило сквозь окно, выходившее на цвѣтникъ, и кидало яркіе лучи на постель и на лежавшее на ней маленькое тѣльце. освѣщая подушки и одѣяло и золотя коротко остриженные волосы и худенькую шею ребенка.

Роза ничего этого не знала; она росла и красовалась: на другой день она должна была распуститься полнымъ цвѣтомъ, а на третій — начать вянуть и осыпаться. Вотъ и вся розовая жизнь! Но и въ эту короткую жизнь ей довелось испытать не мало страха и горя.

Ее замѣтила жаба.

Когда она въ первый разъ увидѣла цвѣтокъ своими злыми и безобразными глазами, что-то странное зашевелилось въ жабьемъ сердцѣ. Она не могла оторваться отъ нѣжныхъ розовыхъ лепестковъ и все смотрѣла и смотрѣла. Ей очень понравилась роза, и она чувствовала желаніе быть поближе къ такому душистому и прекрасному созданію. И чтобы выразить свои нѣжныя чувства, она не придумала ничего лучше такихъ словъ:

— Постой,—прохрипѣла она—я тебя слопаю.

Роза содрогнулась. Зачѣмъ она была прикрѣплена къ своему стебельку? Вольныя птички, щебетавшія вокругъ нея. перепрыгивали и перелетали съ вѣтки на вѣтку; иногда онѣ уносились куда-то далеко, куда—не знала роза. Бабочки тоже были свободны. Какъ она завидовала имъ! Будь она такою, какъ онѣ, она вспорхнула бы и улетѣла отъ злыхъ глазъ. преслѣдовавшихъ ее своимъ пристальнымъ взглядомъ. Роза не знала, что жабы подстерегаютъ иногда и бабочекъ.

— Я тебя слопаю! — повторила жаба, стараясь говорить какъ можно нѣжнѣе, что̀ выходило еще ужаснѣе, и переползла поближе къ розѣ.

„Я тебя слопаю!“ повторяла она, все глядя на цвѣтокъ. И бѣдное созданіе съ ужасомъ увидѣло, какъ скверныя липкія

лапы цѣпляются за вѣтви куста, на которомъ она росла. Однако, жабѣ лѣзть было трудно: ея плоское тѣло могло свободно ползать и прыгать только по ровному мѣсту. Послѣ каждаго усилія она глядѣла вверхъ, гдѣ качался цвѣтокъ, и роза замирала.

— Господи! — молилась она — хоть бы умереть другою смертью!

А жаба все карабкалась выше. Но тамъ, гдѣ кончались старые стволы и начинались молодыя вѣтви, ей пришлось немного пострадать. Темнозеленая гладкая кора розоваго куста была вся усажена острыми и крѣпкими шипами. Жаба перекололa себѣ объ нихъ лапы и брюхо и, окровавленная, свалилась на землю. Она съ ненавистью посмотрѣла на цвѣтокъ.

— Я сказала, что я тебя слопаю!—повторила она.

Наступилъ вечеръ; нужно было подумать объ ужинѣ, и раненая жаба поплелась подстерегать неосторожныхъ насѣкомыхъ. Злость не помѣшала ей набить себѣ животъ, какъ всегда; ея царапины были не очень опасны, и она рѣшилась, отдохнувъ, снова добираться до привлекавшаго ее и ненавистнаго ей цвѣтка.

Она отдыхала довольно долго. Наступило утро, прошелъ полдень, роза почти забыла о своемъ врагѣ. Она совсѣмъ уже распустилась и была самымъ красивымъ созданіемъ въ цвѣтникѣ. Некому было придти полюбоваться ею; маленькій хозяинъ неподвижно лежалъ на своей постелькѣ, сестра не отходила отъ него и не показывалась у окна. Только птицы и бабочки сновали около розы, да пчелы, жужжа, садились иногда въ ея раскрытый вѣнчикъ и вылетали оттуда, совсѣмъ косматыя отъ желтой цвѣточной пыли. Прилетѣлъ соловей, забрался въ розовый кустъ и запѣлъ свою пѣсню. Какъ она была не похожа на хрипѣніе жабы! Роза слушала эту пѣсню и была счастлива; ей казалось, что соловей поетъ ее для нея, а можетъ быть, это была и правда. Она не видѣла, какъ ея врагъ незамѣтно взбирался на вѣтки. На этотъ разъ

жаба уже не жалѣла ни лапокъ, ни брюха: кровь покрывала ее, но она храбро лѣзла все вверхъ — и вдругъ, среди звонкаго и нѣжнаго рокота соловья, роза услышала знакомое хрипѣніе:

— Я сказала, что слопаю, и слопаю!

Жабьи глаза пристально смотрѣли на нее съ сосѣдней вѣтки. Злому животному оставалось только одно движеніе, чтобы схватить цвѣтокъ. Роза поняла, что погибаетъ...

Маленькій хозяинъ уже давно неподвижно лежалъ на постели. Сестра, сидѣвшая у изголовья въ креслѣ, думала, что онъ спитъ. На колѣняхъ у нея лежала развернутая книга, но она не читала ее. Понемногу ея усталая голова склонилась: бѣдная дѣвушка не спала нѣсколько ночей, не отходя отъ больного брата, и теперь слегка задремала.

— Маша!—вдругъ прошепталъ онъ.

Сестра встрепенулась. Ей приснилось, что она сидитъ у окна, что маленькій братъ играетъ, какъ въ прошломъ году, въ цвѣтникѣ и зоветъ ее. Открывъ глаза и увидавъ его въ постели, худого и слабаго, она тяжело вздохнула.

— Что, милый?

— Маша, ты мнѣ сказала, что розы расцвѣли! Можно мнѣ... одну?

— Можно, голубчикъ, можно!

Она подошла къ окну и посмотрѣла на кустъ. Тамъ росла одна, но очень пышная роза.

— Какъ разъ для тебя распустилась роза, и какая славная! Поставить тебѣ ее сюда на столикъ въ стаканѣ? Да?

— Да, на столикъ. Мнѣ хочется.

Дѣвушка взяла ножницы и вышла въ садъ. Она давно уже не выходила изъ комнаты; солнце ослѣпило ее, и отъ свѣжаго воздуха у нея слегка закружилась голова. Она подошла къ кусту въ то самое мгновенье, когда жаба хотѣла схватить цвѣтокъ.

„Ахъ, какая гадость!“ вскричала она. И, схвативъ вѣтку, она сильно тряхнула ее: жаба свалилась на землю и шлепнулась брюхомъ! Въ ярости она было-прыгнула на дѣвушку, но не могла подскочить выше края платья и тотчасъ далеко отлетѣла, отброшенная носкомъ башмака. Она не посмѣла попробовать еще разъ и только издали видѣла, какъ дѣвушка осторожно срѣзала цвѣтокъ и понесла его въ комнату.

Когда мальчикъ увидѣлъ сестру съ цвѣткомъ въ рукѣ, то въ первый разъ послѣ долгаго времени слабо улыбнулся и съ трудомъ сдѣлалъ движеніе худенькой рукой.

— Дай ее мнѣ,—прошепталъ онъ—я понюхаю.

Сестра вложила стебелекъ ему въ руку и помогла подвинуть ее къ лицу. Онъ вдыхалъ въ себя нѣжный запахъ и, счастливо улыбаясь, прошепталъ:

— Ахъ, какъ хорошо...

Потомъ его личико сдѣлалось серьезнымъ и неподвижнымъ, и онъ замолчалъ навсегда.

Роза, хотя и была срѣзана прежде, чѣмъ начала осыпаться, чувствовала, что ее срѣзали не даромъ. Ее поставили въ отдѣльномъ бокалѣ у маленькаго гробика. Тутъ были цѣлые букеты и другихъ цвѣтовъ, но на нихъ, по правдѣ сказать, никто не обращалъ вниманія, а розу молодая дѣвушка, когда ставила ее на столъ, поднесла къ губамъ и поцѣловала. Маленькая слезинка упала съ ея щеки на цвѣтокъ, и это было самымъ лучшимъ происшествіемъ въ жизни розы. Когда она начала вянуть, ее положили въ толстую старую книгу и высушили, а потомъ, уже черезъ много лѣтъ, подарили мнѣ. Потому-то я и знаю всю эту исторію.

Надежда Николаевна.

I.

Я давно хотѣлъ начать свои записки. Странная причина заставляетъ меня взяться за перо: иные пишутъ свои мемуары потому, что въ нихъ много интереснаго въ историческомъ отношеніи; другіе потому, что имъ еще разъ хочется пережить счастливые молодые годы; третьи затѣмъ, чтобы покляузничать и поклеветать на давно умершихъ людей и оправдаться передъ давно забытыми обвиненіями. Ни одной изъ этихъ причинъ у меня нѣтъ. Я еще молодой человѣкъ; исторіи не дѣлалъ и не видѣлъ, какъ она дѣлается; клеветать на людей мнѣ не зачѣмъ и оправдываться мнѣ не въ чемъ. Еще разъ пережить счастье? Оно было такъ коротко, и конецъ его былъ такъ ужасенъ, что воспоминанія о немъ не доставятъ мнѣ отрады... о, нѣтъ!

Зачѣмъ же точно невѣдомый голосъ нашептываетъ мнѣ ихъ на ухо, зачѣмъ, когда я просыпаюсь ночью, передо мною въ темнотѣ проходятъ знакомые картины и образы, и зачѣмъ когда является одинъ блѣдный образъ, лицо его пылаетъ, и руки сжимаются, и ужасъ и ярость захватываютъ дыханіе, какъ въ тотъ день, когда я стоялъ лицомъ къ лицу съ своимъ смертельнымъ врагомъ?

Я не могу отдѣлаться отъ своихъ воспоминаній, и странная мысль пришла въ голову. Можетъ быть, если я изложу ихъ на бумагѣ, я этимъ покончу всѣ свои счеты съ ними... Можетъ быть, они оставятъ меня и дадутъ спокойно умереть. Вотъ странная причина, заставляющая меня взяться за перо. Можетъ быть, эта тетрадка будетъ прочтена кѣмъ-нибудь, можетъ быть—нѣтъ. Это мало занимаетъ меня. Поэтому я могу и не извиняться передъ своими будущими читателями ни въ выборѣ темы для своего писанія, темы, нисколько не интересной людямъ, привыкшимъ заниматься, если не міровыми, то общественными вопросами, ни въ формѣ изложенія. Правда, мнѣ хочется, чтобы эти строки прочелъ одинъ человѣкъ, но этотъ человѣкъ не осудитъ меня. Ему дорого все, что меня касается. Этотъ человѣкъ моя сестра.

Отчего она сегодня такъ долго не идетъ? Вотъ уже три мѣсяца, какъ я пришелъ въ себя послѣ того дня. Первое лицо, которое я увидѣлъ, было лицо Сони. И съ тѣхъ поръ она проводитъ со мной каждый вечеръ. Это сдѣлалось для нея какой-то службой. Она сидитъ у моей постели или у большого кресла, когда я въ силахъ сидѣть, разговариваетъ со мною, читаетъ вслухъ газеты и книги. Ее очень огорчаетъ, что я равнодушенъ къ выбору чтенія и предоставляю его ей.

— Вотъ, Андрей, въ „Вѣстникѣ Европы“ новый романъ: „*Она думала, что это не такъ*“.

— Хорошо, голубчикъ, будемъ читать „*Она думала, что это не такъ*“.

— Романъ миссисъ Гей.

— Хорошо, хорошо...

И она начинаетъ читать длинную исторію о какомъ-то мистерѣ Скриплѣ и миссъ Гордонъ и послѣ первыхъ двухъ страницъ обращаетъ на меня свои большіе добрые глаза и говоритъ:

— Это недолго; „Вѣстникъ Европы“ всегда сокращаетъ романы.

— Хорошо, хорошо. Я буду слушать.

Она продолжаетъ читать обстоятельную исторію, выдуманную госпожею Гей, а я смотрю на ея опущенное лицо и не слушаю назидательной исторіи. И иногда, въ тѣхъ мѣстахъ романа, гдѣ, по замыслу госпожи Гей, нужно было бы смѣяться, горькія слезы душатъ мнѣ горло. Она оставляетъ книгу и, посмотрѣвъ на меня проницательнымъ и боязливымъ взглядомъ, кладетъ мнѣ на лобъ свою руку.

— Андрей, милый, опять... Ну, будетъ, будетъ. Не плачь. Все пройдетъ, все забудется... — говоритъ она тѣмъ тономъ, какимъ мать утѣшаетъ ребенка, набившаго себѣ на лбу шишку. И хотя моя шишка пройдетъ только съ жизнью, которая — я чувствую — понемногу уходитъ изъ моего тѣла, я все-таки успокаиваюсь.

О, моя дорогая сестра! Какъ я чувствую цѣну этой женской ласки! Да благословитъ тебя Богъ, и пусть черныя страницы начала твоей жизни, — страницы, на которыхъ вписано мое имя, смѣнятся радостною повѣстью счастья! Только пусть эта повѣсть не будетъ похожа на утомительное повѣствованіе миссисъ Гей.

Звонокъ! Наконецъ-то! Это она, она придетъ, внесетъ въ мою темную и душную комнату запахъ свѣжести, нарушитъ ея молчаніе тихою, ласковою рѣчью и освѣтитъ ее своею красотою.

II.

Я не помню своей матери, а отецъ умеръ, когда мнѣ было четырнадцать лѣтъ. Мой опекунъ, дальній родственникъ, перевелъ меня въ одну изъ петербургскихъ гимназій; черезъ четыре года я кончилъ въ ней курсъ. Я былъ совершенно свободенъ; опекунъ, человѣкъ занятый своими огромными дѣлами, въ своихъ заботахъ обо мнѣ ограничивался только выдачей мнѣ денегъ, въ количествѣ, по его мнѣнію, необходи-

мъ для того, чтобы я не бѣдствовалъ. Это былъ не очень льшой доходъ, но совершенно избавлявшій меня отъ ботъ о кускѣ хлѣба и позволявшій мнѣ выбрать себѣ рогу.

Выборъ былъ сдѣланъ давно. Лѣтъ четырехъ я любилъ льше всего на свѣтѣ возиться съ карандашами и красками, къ концу курса въ гимназіи рисовалъ уже очень порядочно, къ что безъ всякихъ затрудненій поступилъ въ Академію удожествъ.

Былъ ли у меня талантъ? Теперь, когда я уже никогда е подойду къ холсту, я, кажется, могу безпристрастно взгляуть на себя, какъ на художника. Да, у меня былъ талантъ. думаю такъ не по отзывамъ товарищей и знатоковъ, не о быстротѣ, съ какою я прошелъ курсъ академіи, а по тому, ившему во мнѣ чувству, которое являлось всякій разъ, когда начиналъ работать. Тотъ, кто не художникъ, не можетъ спытать тяжелаго и сладкаго волненія, съ какимъ первый азъ приступаешь къ новому холсту, чтобы начертать на емъ свое созданіе. Тотъ, кто не художникъ, не можетъ спытать забвенія всего окружающаго, когда духъ погруженъ ъ образы... Да, у меня былъ талантъ, и я вышелъ бы едюжиннымъ живописцемъ.

Вотъ они висятъ на стѣнахъ — мои холсты, этюды и эскизы, неконченныя, начатыя картины. Вотъ и она... Нужно юпросить сестру, чтобы ее убрали въ другую комнату. Или лѣтъ, нужно повѣсить ее какъ разъ въ ногахъ моей постели, чтобы она всегда смотрѣла на меня своимъ грустнымъ, какъ будто чующимъ казнь, взоромъ. Въ синемъ платьѣ, въ нарядномъ бѣломъ чепчикѣ съ большой трехцвѣтной кокардой сбоку, съ выбившимися изъ-подъ его бѣлой оборки густыми волнующимися прядями темнокаштановыхъ волосъ, она смотритъ на меня, какъ живая. О, Шарлотта, Шарлотта! Благословлять или проклинать тотъ часъ, когда мнѣ пришла въ голову мысль написать тебя?

А Безсоновъ былъ всегда противъ этого. Когда я въ пер-

вый разъ сказалъ ему о своемъ намѣреніи, онъ пожалъ плечами и недовольно усмѣхнулся.

— Шальные вы люди, господа россійскіе живописцы,— сказалъ онъ.—Мало у васъ своего! Шарлотта Кордэ! Какое вамъ дѣло до Шарлотты? Развѣ вы можете перенести себя въ то время, въ ту обстановку?

Можетъ быть, онъ былъ правъ... Но только образъ французской героини такъ занималъ меня, что я не могъ не приняться за картину. Я задумалъ написать ее во весь ростъ. одну, стоящую прямо передъ зрителями, съ глазами, устремленными передъ собой; она уже рѣшилась на свой подвигъ— преступленіе, и это написано только на ея лицѣ: рука; которая несетъ смертельный ударъ, пока еще виситъ безсильно и нѣжно выдѣляется своею бѣлизною въ темносинемъ суконномъ платьѣ; кружевная пелеринка, завязанная на-крестъ. оттѣняетъ нѣжную шею, по которой завтра пройдетъ кровавая черта... Я помню, какъ ея образъ создавался въ моей душѣ... Я прочелъ ея исторію въ одной сентиментальной и, можетъ быть, лживой книгѣ, у Ламартина; изъ ложнаго пафоса болтливаго и любующагося своимъ языкомъ и манерой француза для меня ясно и отчетливо вышла чистая фигура дѣвушки—фанатика добра. Я перечиталъ о ней все, что́ могъ достать, пересмотрѣлъ нѣсколько ея портретовъ, и рѣшился написать картину.

Первая картина, какъ первая любовь, овладѣваетъ душою вполнѣ. Я носилъ въ себѣ этотъ слагавшійся образъ, я обдумывалъ мельчайшія подробности и дошелъ наконецъ до того, что, закрывъ глаза, могъ ясно представить себѣ свою Шарлотту.

Но начавъ картину съ счастливымъ страхомъ и радостнымъ волненіемъ, я сразу встрѣтилъ нежданное и трудно одолимое препятствіе: у меня не было натурщицы.

То-есть, онѣ, собственно говоря, были. Я выбралъ, какъ мнѣ показалось, наиболѣе подходящую изъ нѣсколькихъ особъ, занимающихся этимъ дѣломъ въ Петербургѣ, и началъ усердно

аботать. Но, Боже мой, какъ непохожа была эта Анна Ива-овна на взлелѣянное мною созданіе, такъ ясно представляв-шееся моимъ закрытымъ глазамъ! Она позировала прекрасно, на не шевелилась по часу и добросовѣстно зарабатывала вой рубль, чувствуя большое удовольствіе отъ того, что ей ожно было стоять на натурѣ въ платьѣ и не обнажать воего тѣла.

— Такъ хорошо это въ платьѣ позировать! А то другіе жъ смотрятъ, смотрятъ, всю-то глазами обыщутъ!—сказала на со вздохомъ и легкой краской на лицѣ, на первомъ еансѣ. Она сдѣлалась натурщицей всего только мѣсяца два і не могла еще привыкнуть къ своему ремеслу. Русскія дѣ-ушки, кажется, и никогда не могутъ къ нему привыкнуть.

Я написалъ ея руку, плечи и станъ, но когда принялся а лицо, отчаяніе овладѣло мною. Пухленькое молодое лицо, ъ немного вздернутымъ носомъ, добродушными сѣрыми глаз-ами, довѣрчиво и довольно жалобно смотрѣвшими изъ-подъ овершенно круглыхъ бровей, заслонило мою мечту. Я не огъ пересоздать эти неопредѣленныя и мелкія черты въ то ицо. Я бился съ своей Анной Ивановной три или четыре ня и наконецъ оставилъ ее въ покоѣ. Другой натурщицы не было, и я рѣшился сдѣлать то, чего во всякомъ случаѣ дѣлать не слѣдовало: писать лицо безъ натуры, изъ головы, „отъ себя“, какъ говорятъ художники. Я рѣшился на это потому, что видѣлъ ее передъ собой живою. Но когда на-чалась работа, кисти полетѣли въ уголъ. Вмѣсто живого ица, у меня вышла какая-то схема. Идеѣ недоставало плоти и крови.

Я снялъ холстъ съ мольберта и поставилъ его въ уголъ ицомъ къ стѣнѣ. Неудача сильно поразила меня. Помню, что я даже схватилъ себя за волосы. Мнѣ казалось, что и ить-то не стоитъ, задумавъ такую прекрасную картину (а какъ она была хороша въ моемъ воображеніи!) и не будучи въ состояніи написать ее. Я бросился на кровать и съ горя и досады старался заснуть.

Помню, что когда я уже забывался, позвонили: почтальонъ принесъ письмо отъ кузины Сони. Она радовалась тому, что я задумалъ большую и трудную работу, и жалѣла, что такъ трудно найти натурщицу. „Не пригожусь ли я, когда кончу институтъ? Подожди полгода, Андрей,—писала она—я пріѣду къ тебѣ въ Петербургъ, и ты можешь писать съ меня хоть десять Шарлоттъ Кордэ... если только во мнѣ есть хоть капля сходства съ тою, которая, какъ ты пишешь, теперь владѣетъ твоею душой".

Соня совсѣмъ не похожа на Шарлотту. Она неспособна наносить раны. Она любитъ больше лечить ихъ и чудесно дѣлаетъ это.

И меня бы она вылечила... если бы это было возможно.

III.

Вечеромъ я пошелъ къ Безсонову.

Я вошелъ къ нему, когда онъ сидѣлъ, согнувшись надъ своимъ, заваленнымъ книгами, рукописями и вырѣзками изъ газетъ письменнымъ столомъ. Рука его быстро ходила по бумагѣ: онъ писалъ очень скоро, безъ помарокъ, мелкимъ и ровнымъ кудреватымъ почеркомъ. Онъ мелькомъ взглянулъ на меня и продолжалъ писать; упорная мысль видимо владѣла имъ въ эту минуту, и онъ не хотѣлъ оторваться отъ работы, не передавъ ее бумагѣ. Я сѣлъ на широкій, низкій и очень потертый диванъ (онъ спалъ на немъ), стоявшій въ тѣни, и минутъ пять смотрѣлъ на него. Его правильный, холодный профиль мнѣ былъ хорошо знакомъ: не разъ я зачерчивалъ его въ свой альбомъ, однажды даже написалъ съ него этюдъ красками. Этого этюда у меня нѣтъ: онъ послалъ его матери. Но въ этотъ вечеръ, потому ли, что я усѣлся въ тѣни, а онъ былъ хорошо освѣщенъ ярко падающимъ на него свѣтомъ лампы съ зеленымъ стекляннымъ абажуромъ, или потому, что нервы у меня были разстроены, его лицо

какъ-то особенно привлекало мое вниманіе. Я смотрѣлъ на него и разбиралъ его голову по деталямъ, изслѣдовалъ малѣйшія черты, до сихъ поръ ускользавшія отъ меня. Его голова была безспорно головой сильнаго человѣка. Можетъ быть, не очень талантливаго, но сильнаго.

Четвероугольный черепъ, почти безъ изгиба, переходившій въ широкій и мощный затылокъ, круто спускавшійся и выпуклый лобъ, брови, опущенныя на серединѣ и сжимавшія кожу въ вертикальную складку, сильныя челюсти и тонкія губы—все казалось мнѣ сегодня чѣмъ-то новымъ.

— Что вы на меня такъ смотрите?—вдругъ спросилъ онъ, положивъ перо и оборачиваясь ко мнѣ лицомъ.

— Почему вы узнали?

— Я чувствовалъ. Кажется, это не предразсудокъ; мнѣ не разъ приходилось испытывать подобное.

— Я смотрѣлъ на ваше лицо, какъ на модель. У васъ преоригинальная голова, Сергѣй Васильевичъ.

— Право?—сказалъ онъ съ усмѣшкою.—Ну, и пусть ее.

— Нѣтъ, серьезно. Вы на кого-то похожи... изъ знаменитыхъ...

— Мошенниковъ или убійцъ?—спросилъ онъ меня, не давъ кончить. — Я въ Лафатера не вѣрю... Ну, что вы? По лицу вижу, что плохо. Не выходитъ?

— Да, не совсѣмъ хорошо. Бросилъ, совсѣмъ бросилъ,— отвѣтилъ я отчаяннымъ голосомъ.

— Я такъ и думалъ. Что-жъ, у васъ, должно быть, натуры нѣтъ?

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ. Вы знаете, Сергѣй Васильевичъ, какъ я искалъ. Но все это до такой степени не то, что просто хоть въ отчаяніе приходи. Особенно эта Анна Ивановна; она меня совсѣмъ измучила. Она стерла своей плоской физіономіей рѣшительно все. Право, даже кажется, что и въ головѣ-то у меня теперь тотъ образъ не такъ ясенъ.

— А былъ ясенъ?

— О, да, совершенно! Если бы можно было писать съ

зажмуренными глазами — право, кажется, ничего лучшаго не нужно. Съ закрытыми глазами — она здѣсь, вотъ она.—И я, должно быть, пресмѣшнымъ образомъ зажмурился, потому что Безсоновъ расхохотался.

— Не смѣйтесь; я серьезно огорченъ,—сказалъ я.

Онъ вдругъ оборвалъ свой смѣхъ.

— Огорчены, такъ не буду. Но, право, съ вами смѣхъ и горе. Не я ли вамъ говорилъ: бросьте этотъ сюжетъ!

— Я и бросилъ.

— А сколько работы, траты нервной силы, сколько напраснаго огорченія теперь! Я зналъ, что это такъ выйдетъ. И не потому, чтобы я предвидѣлъ, что вы не найдете модели, а потому, что сюжетъ-то неподходящій. Надо это въ своей крови имѣть. Надо быть потомкомъ тѣхъ людей, что пережили и Марата и Шарлотту Кордэ, и все это время. А вы что? Мягчайшій русскій интеллигентъ, вялый, слабый! Надо быть самому способнымъ на такой поступокъ. А вы? Можете ли вы, когда нужно, бросить кисть и, выражаясь высокимъ слогомъ, взять кинжалъ? Вѣдь это для васъ нѣчто въ родѣ путешествія на Юпитеръ...

— Я не разъ съ вами спорилъ объ этомъ, Сергѣй Васильевичъ, и, кажется, ни мнѣ васъ, ни вамъ меня не убѣдить. Художникъ на то и художникъ, чтобы умѣть поставить въ себя вмѣсто своего я—чужое. Развѣ Рафаэлю нужно было быть Богородицей, чтобы написать Мадонну? Вѣдь это абсурдъ, Сергѣй Васильевичъ. Впрочемъ, я себѣ противорѣчу: я не хочу съ вами спорить, а самъ начинаю.

Онъ хотѣлъ что-то сказать мнѣ, но махнулъ рукой.

— Ну, Богъ съ вами!—сказалъ онъ, всталъ и началъ ходить по комнатѣ изъ угла въ уголъ, мягко ступая войлочными туфлями.—Не будемъ спорить. Не будемъ растравлять мы язвы сердца тайной, какъ сказалъ кто-то и гдѣ-то.

— Кажется, никто и нигдѣ.

— А и то можетъ быть. Стихи я обыкновенно перевираю... Для утѣшенія, не приказать ли самоварчикъ? Пора вѣдь.

Онъ подошелъ къ двери и громко крикнулъ, какъ кричатъ на ротномъ ученьѣ:

— Чаю!

Я не любилъ его за эту манеру обращаться съ прислугой. Мы долго молчали. Я сидѣлъ, откинувшись на подушки дивана, а онъ все ходилъ и ходилъ. Казалось, онъ думалъ что-то... И наконецъ, остановившись передо мною, онъ спросилъ дѣловымъ тономъ:

— А если бы у васъ была натура, вы бы попробовали еще разъ?

— Еще бы! — уныло проговорилъ я. — Да гдѣ ее возьмешь?

Онъ опять походилъ немного.

— Видите ли, Андрей Николаевичъ... Есть тутъ одна... особа...

— Если важная, то она не станетъ позировать.

— Нѣтъ, неважная, очень неважная. Но... очень большое имѣю я при этомъ „но“.

— Да какія тутъ „но“, Сергѣй Васильевичъ? Если вы не шутите...

— Шучу, шучу, этого нельзя...

— Сергѣй Васильевичъ...—сказалъ я умоляющимъ тономъ.

— Послушайте, что̀ я вамъ скажу. Знаете, что̀ я цѣню въ васъ,—началъ онъ, остановившись передо мной:—мы съ вами почти ровесники, я старше года на два, но я изжилъ и переиспыталъ столько, сколько вамъ придется изжить и переиспытать, вѣроятно, еще въ десять лѣтъ. Я нечистый человѣкъ, злой и... развратный (онъ рѣзко отчеканилъ это слово). Есть многіе развратнѣе меня, но я считаю себя виновнѣе. Я ненавижу себя за то, что не могу быть такимъ чистымъ, какимъ бы я хотѣлъ быть... какъ вы, напримѣръ.

— О какомъ развратѣ и о какой чистотѣ говорите вы?— спросилъ я.

— Я называю вещи ихъ собственными именами. Я часто завидую вамъ, вашему спокойствію и чистой совѣсти; я за-

видую тому, что у васъ есть... Ну, да это все равно! Нельзя и нельзя!—перебилъ онъ самъ себя злымъ голосомъ.—Не будемъ говорить объ этомъ.

— Если нельзя, то хоть объясните, что или кто у меня есть?—спросилъ я.

— Ничего... Никого... Да, впрочемъ, я скажу: сестра ваша, Софья Михайловна. Вѣдь она сестра не очень близкая по родству?

— Троюродная,—отвѣчалъ я.

— Да, троюродная. Она ваша невѣста, — сказалъ онъ утвердительнымъ тономъ.

— Вы почему знаете?—воскликнулъ я.

— Знаю. Догадывался сначала, а теперь знаю. Узналъ отъ матери, недавно она мнѣ писала, — а она тамъ какъ-то... Развѣ въ губернскомъ городѣ не все извѣстно всѣмъ? Вѣдь правда? Невѣста?

— Ну, положимъ.

— И съ дѣтства? Родители рѣшили?

— Да, родители рѣшили. Сначала для меня это было шуткой, а теперь я вижу, что такъ оно, кажется, и будетъ. Я не хотѣлъ, чтобы это сдѣлалось извѣстнымъ кому-нибудь, но не особенно горюю, что это узнали вы.

— Я завидую тому, что у васъ есть невѣста,—тихо сказалъ онъ, устремивъ глаза куда-то вдаль, и глубоко вздохнулъ.

— Не ждалъ я отъ васъ такой сентиментальности, Сергѣй Васильевичъ.

— Да, я завидую тому, что у васъ есть невѣста, — продолжалъ онъ, не слушая меня.—Завидую чистотѣ вашей, вашимъ надеждамъ, вашему будущему счастью, нерастраченной нѣжности и любви, выросшей съ дѣтства.

Онъ взялъ меня за руку, заставилъ сойти съ дивана и подвелъ къ зеркалу.

— Посмотрите на меня и на себя,—сказалъ онъ.—Вѣдь что вы?

Гиперіонъ передъ сатиромъ козлоногимъ.

Сатиръ козлоногій — это я. А вѣдь я крѣпче васъ; кости шире и здоровье крѣпче отъ природы. А сравните: видите вотъ это? (онъ слегка коснулся пальцами начинавшихъ рѣдѣть на лбу волосъ). Да, батюшка, все это „жаръ души, растраченный въ пустынѣ!“ Да и какой тамъ жаръ души! просто свинство...

— Сергѣй Васильевичъ, не вернемся ли мы къ прежнему? Почему вы отказываетесь познакомить меня съ моделью?

— Да потому, что она въ этой растратѣ участіе принимала. Я сказалъ вамъ: неважная особа, и дѣйствительно неважная. На нижней ступенькѣ человѣческой лѣстницы. Ниже—пропасть, куда она, быть можетъ, скоро и свалится. Пропасть окончательной гибели. Да она и такъ окончательно погибла.

— Я начинаю васъ понимать, Сергѣй Васильевичъ.

— То-то. Видите, какое у меня есть „но“?

— Вы можете оставить это „но“ при себѣ. Почему вы считаете долгомъ меня опекать и оберегать?

— Я сказалъ, за что я васъ люблю. За то, что вы чистый. Не вы одинъ, вы оба. Вы представляете собой такое рѣдкое явленіе, что-то вѣющее свѣжестью, благоухающее. Я завидую вамъ, дорожу тѣмъ, что хоть со стороны могу посмотрѣть. И вы хотите, чтобъ я все это испортилъ? Нѣтъ, не ждите.

— Что же это такое наконецъ, Сергѣй Васильевичъ? Мало вы надѣетесь на мою, вами открытую чистоту, если боитесь такихъ ужасныхъ вещей отъ одного знакомства съ этой женщиной.

— Слушайте! Я могу вамъ дать или не дать ее. Я поступаю согласно своему желанію. Я не хочу вамъ дать ее. Я не даю. Dixi.

Теперь онъ сидѣлъ, а я въ волненіи ходилъ по ковру.

— А вы думаете, что она подходитъ?

— Очень. Впрочемъ, нѣтъ, не очень, — рѣзко оборвалъ онъ—совсѣмъ не подходитъ. Будетъ о ней.

Я просилъ его, сердился, представлялъ всю нелѣпость

взятой имъ на себя задачи охранять мою нравственность, и ничего не добился. Онъ рѣшительно отказалъ мнѣ и въ заключеніе сказалъ:

— Я никогда не говорилъ два раза „dixi“.

— Съ чѣмъ васъ и поздравляю, — отвѣтилъ я ему съ досадой.

Мы поговорили за чаемъ о какихъ-то пустякахъ и разошлись.

IV.

Я цѣлыхъ двѣ недѣли ничего не дѣлалъ. Ходилъ только въ академію писать свою программу на ужаснѣйшую библейскую тему: обращеніе жены Лота въ соляной столбъ. Все у меня уже было готово — и Лотъ, и домочадцы его, но столба придумать я никакъ не могъ. Сдѣлать что нибудь въ родѣ могильнаго памятника, или просто статую Лотовой супруги изъ каменной соли?

Жизнь шла вяло. Получилъ два письма отъ Сони. Получилъ, прочелъ ея милую болтовню объ институтскихъ порядкахъ, о томъ, что она читаетъ потихоньку отъ аргусовскихъ очей классныхъ дамъ, и присоединилъ къ пачкѣ прежнихъ писемъ, обвязанныхъ розовой ленточкой. Я завелъ эту ленточку еще лѣтъ пятнадцати и до сихъ поръ не могъ рѣшиться выбросить ее. Да и зачѣмъ было выбрасывать? Кому она мѣшала? Но что сказалъ бы Безсоновъ, увидя это доказательство моей сентиментальности? Умилился бы еще разъ передъ моей „чистотой“, или началъ бы издѣваться?

Однако онъ не на шутку огорчилъ меня. Что дѣлать? Бросить картину, или опять искать натуру?

Неожиданный случай помогъ мнѣ. Однажды, когда я лежалъ на диванѣ съ какимъ-то глупымъ переводнымъ французскимъ романомъ и долежался до головной боли и отупѣнія отъ разныхъ морговъ, полицейскихъ сыщиковъ и воскресеній

людей, которыхъ смерти хватило бы на двадцать человѣкъ, отворилась дверь и вошелъ Гельфрейхъ.

Представьте себѣ тощія, кривыя ножки, огромное туловище, задавленное двумя горбами, длинныя, худыя руки, высоко вздернутыя плечи, какъ будто выражающія вѣчное сомнѣніе, молодое, блѣдное, слегка опухшее, но миловидное лицо на откинутой назадъ головѣ. Онъ былъ художникъ. Любители очень хорошо знаютъ его картинки, писанныя по большей части на одинъ и тотъ же, слегка измѣненный, сюжетъ. Его герои—кошки; были у него коты спящіе, коты съ птичками, коты, выгибающіе спину; даже пьянаго кота съ веселыми глазами, за бокаломъ вина, изобразилъ однажды Гельфрейхъ. Въ котахъ онъ дошелъ до возможнаго совершенства, но больше ни за что не брался. Если въ картинкѣ, кромѣ кошекъ, были еще какіе нибудь аксесуары — зелень, откуда должны были выглядывать розовый носикъ и золотистые глазки съ узкими зрачками, какая нибудь драпировка, корзинка, въ которой помѣстилось цѣлое семейство котятъ съ огромными прозрачными ушами, то онъ обращался ко мнѣ. Онъ и на этотъ разъ вошелъ съ чѣмъ-то, завернутымъ въ синюю бумагу. Протянувъ мнѣ свою бѣлую и костлявую руку, онъ положилъ свертокъ на столъ и сталъ развязывать его.

— Опять котъ? — спросилъ я.

— Опять... Нужно, видишь ли ты, тутъ коврикъ немножко... а на другомъ кусокъ дивана...

Онъ развернулъ бумагу и показалъ мнѣ двѣ небольшія, въ полъ-аршина, картинки; фигурки кошекъ были совсѣмъ окончены, но были написаны на фонѣ изъ бѣлаго полотна.

— Или не диванъ, такъ что нибудь... Ты сочини ужъ. Надоѣло мнѣ.

— Скоро ты бросишь этихъ котятъ, Семенъ Иванычъ?

— Да, нужно бы бросить, мѣшаютъ мнѣ они, очень мѣшаютъ. Да что же ты подѣлаешь? Деньги! Вѣдь вотъ этакая дрянь — двѣсти рублей.

И онъ, разставивъ тонкія ноги, пожалъ своими и такъ

уже вѣчно сжатыми плечами и развелъ руками, какъ будто хотѣлъ выразить изумленіе, какъ такая дрянь можетъ находить себѣ покупателя.

Своими кошками онъ въ два года добился извѣстности. Ни прежде, ни послѣ (развѣ только на одной картинкѣ покойнаго Гуна) я не видалъ такого мастерства въ изображеніи котовъ всевозможныхъ возрастовъ, мастей и положеній. Но обративъ на нихъ свое исключительное вниманіе, Гельфрейхъ забросилъ все остальное.

— Деньги, деньги... — задумчиво повторялъ онъ. — И на что мнѣ, горбатому чорту, столько денегъ? А между тѣмъ, я чувствую, что приняться за постоянную работу мнѣ становится все труднѣе и труднѣе. Я завидую тебѣ, Андрей. Я два года, кромѣ этихъ тварей, ничего не пишу... Конечно, я очень люблю ихъ, особенно живыхъ. Но я чувствую, какъ меня засасываетъ все глубже и глубже... А вѣдь я талантливѣе тебя. Андрей, какъ ты думаешь?—спросилъ онъ меня добродушнымъ и деликатнымъ тономъ.

— Я не думаю,—отвѣтилъ я, улыбнувшись—а *увѣренъ* въ этомъ.

— Что твоя Шарлотта?

Я махнулъ рукой.

— Плохо?—спросилъ онъ—покажи...—И видя, что я, не сходя съ мѣста, сдѣлалъ отрицательное движеніе головой, онъ самъ пошелъ рыться въ кучѣ старыхъ холстовъ, поставленныхъ въ углу. Потомъ надѣлъ на лампу рефлекторъ, поставилъ мою неоконченную картину на мольбертъ и освѣтилъ ее. Онъ долго молчалъ.

— Я понимаю тебя,—сказалъ онъ. — Тутъ можетъ выйти хорошее. Только все-таки это Анна Ивановна. Знаешь, зачѣмъ я пришелъ къ тебѣ? Пойдемъ со мной.

— Куда?

— Куда нибудь. На улицу. Тоска, Андрей. Боюсь, какъ бы опять не впасть въ грѣхъ.

— Ну, вотъ еще вздоръ!

— Нѣтъ, не вздоръ. Чувствую, какъ что-то уже сосетъ здѣсь (онъ показалъ „подъ ложечку“). „Я-бъ хотѣлъ забыться и заснуть“, — неожиданно пропѣлъ онъ жиденькимъ теноркомъ. — Я и пришелъ къ тебѣ, чтобы не быть одному, а то вѣдь начнешь — на двѣ недѣли затянется. Потомъ болѣзнь. Да наконецъ, и вредно это очень... при такомъ горсѣ.

Онъ повернулся два раза на каблукахъ, чтобы показать мнѣ оба свои горба.

— Знаешь что? — предложилъ я — переѣзжай ко мнѣ. Я удержу тебя.

— Это бы хорошо было. Я подумаю. А теперь пойдемъ.

Я одѣлся, и мы вышли.

Мы долго блуждали по петербургской слякоти. Была осень. Дулъ сильный вѣтеръ съ моря. Поднималась вода. Мы побывали на дворцовой набережной. Разъяренная рѣка пѣнилась и охлестывала волнами гранитные парапеты набережной. Изъ черной пропасти, въ которой исчезалъ другой берегъ, иногда блестѣла молнія, и спустя четверть минуты раздавался тяжелый ударъ: въ крѣпости палили изъ пушекъ. Вода прибывала.

— Я хотѣлъ бы, чтобъ она еще поднялась. Я не видѣлъ наводненія, а это вѣдь интересно,—сказалъ Гельфрейхъ.

Мы долго сидѣли на набережной, молча и вглядываясь въ бушующій мракъ.

— Она больше не прибудетъ, — сказалъ наконецъ Гельфрейхъ.—Вѣтеръ, кажется, стихаетъ. Мнѣ жаль! Я не видѣлъ наводненія... Пойдемъ.

— Куда?

— Куда глаза глядятъ... Пойдемъ со мной. Я сведу тебя въ одно мѣсто. Меня пугаетъ эта природа съ ея чепухой. Богъ съ ней! Лучше посмотримъ человѣческую чепуху.

— Гдѣ же это, Сеничка?

— Да ужъ я знаю... Извозчикъ!—закричалъ онъ.

Мы сѣли и поѣхали. На Фонтанкѣ, противъ деревянныхъ,

часто бывать, потому что нужно въ другое мѣсто. Вотъ какъ: третій день я была въ Нѣмецкомъ клубѣ, вчера въ Орфеумѣ, сегодня здѣсь, завтра въ Большой театръ, послѣ завтра въ Приказчичій, потомъ въ оперетту, потомъ Шато-де-флеръ... Да, я каждый день гдѣ нибудь бываю; такъ и проходитъ die ganze Woche..—И она гордо посмотрѣла на своего собесѣдника, который даже съежился, услышавъ столь пышную программу удовольствій. Это былъ бѣлобрысый человѣкъ лѣтъ двадцати пяти, съ узкимъ лбомъ, съ нависшею на него гривкою, съ бронзовою цѣпочкой. Онъ вздохнулъ, робко глядя на свою великолѣпную даму. Увы, гдѣ ему, скромному апраксинскому приказчику, преслѣдовать ее изо дня въ день по клубамъ и кафе-шантанамъ?

Мы встали и пошли бродить по комнатамъ. Въ концѣ анфилады ихъ широкая дверь вела въ залъ, назначенный для танцевъ. Желтыя шелковыя занавѣски на окнахъ и расписанный потолокъ, ряды вѣнскихъ стульевъ по стѣнамъ, въ углу залы большая бѣлая ниша въ формѣ раковины, гдѣ сидѣлъ оркестръ изъ пятнадцати человѣкъ. Женщины, по большей части обнявшись, парами ходили по залѣ; мужчины сидѣли по стѣнамъ и наблюдали ихъ. Музыканты настраивали инструменты. Лицо первой скрипки показалось мнѣ немного знакомымъ.

— Вы ли это, Ѳедоръ Карловичъ?—спросилъ я, трогая его за плечо.

Ѳедоръ Карловичъ обернулся ко мнѣ. Боже мой, какъ онъ обрюзгъ, опухъ и посѣдѣлъ!

— Да, я—Ѳедоръ Карловичъ, и что же вамъ угодно?

— А помните, въ гимназіи?.. Вы приходили со скрипкой на уроки танцевъ...

— А! Я и теперь сижу тамъ, на табуреточкѣ, въ углу залы. Я помню васъ... Вы вальсировали очень ловко.

— Давно вы здѣсь?

— Вотъ третій годъ.

— Вы помните, какъ одинъ разъ вы пришли рано и въ пустой залѣ сыграли элегію Эрнста? Я слышалъ.

Музыкантъ блеснулъ своими заплывшими глазами.

— Вы слышали? Вы слушали? Я думалъ, что меня никто не слышитъ. Да, я иногда игралъ... Теперь не могу... Теперь здѣсь; на масляной, на пасхѣ—день на балаганахъ, вечеръ здѣсь... (Онъ помолчалъ). У меня четыре сына и одна дочь,—промолвилъ онъ тихо.—И одинъ мальчикъ въ этомъ году кончаетъ Annen-Schule и поступаетъ въ университетъ... Я не могу играть элегіи Эрнста.

Капельмейстеръ взмахнулъ смычкомъ нѣсколько разъ; оглушительно дернулъ тощій и громкій оркестръ какую-то польку. Капельмейстеръ, помахавъ такта три-четыре, самъ присоединилъ свою визгливую скрипку къ общему хору. Пары завертѣлись, оркестръ гремѣлъ.

— Пойдемъ, Сеня,—сказалъ я.—Тоска... Поѣдемъ домой. напьемся чаю и поболтаемъ о хорошемъ.

— О хорошемъ?—спросилъ онъ съ улыбкою.—Ну, ладно. поѣдемъ.

Мы стали проталкиваться къ выходу. Вдругъ Гельфрейхъ остановился.

— Смотри,—сказалъ онъ—Безсоновъ...

Я оглянулся и увидѣлъ Безсонова. Онъ сидѣлъ за мраморнымъ столикомъ, на которомъ стояли бутылки вина, рюмки и еще что-то такое. Низко нагнувшись, съ блестящими глазами, онъ оживленно шепталъ что-то сидѣвшей за тѣмъ же столомъ женщинѣ въ черномъ шелковомъ платьѣ, лица которой намъ не было видно. Я замѣтилъ только ея стройную фигуру, тонкія руки и шею и черные волосы, гладко зачесанные съ затылка вверхъ.

— Благодари судьбу,—сказалъ мнѣ Гельфрейхъ.—Ты знаешь ли, кто эта особа? Радуйся, это она, твоя Шарлотта Кордэ.

— Она? Здѣсь?

V.

Безсоновъ, держа въ рукѣ рюмку съ виномъ, поднялъ на меня свои оживившіеся и покраснѣвшіе глаза, и на лицѣ его ясно выразилось неудовольствіе.

Онъ всталъ съ мѣста и подошелъ къ намъ.

— Вы здѣсь? Какими судьбами?

— Пріѣхали посмотрѣть на васъ,—отвѣтилъ я, улыбаясь.—И я не жалѣю, потому что...

Онъ поймалъ мой взоръ, скользнувшій по его подругѣ, и рѣзко перебилъ меня.

— Не надѣйтесь... Этотъ Гельфрейхъ уже сказалъ вамъ... Но изъ этого ничего не выйдетъ. Я не допущу. Я увезу ее...

И быстро подойдя къ ней, онъ громко сказалъ:

— Надежда Николаевна, поѣдемте отсюда.

Она повернула голову, и я увидѣлъ въ первый разъ ея удивленное лицо.

Да, я увидѣлъ ее въ первый разъ въ этомъ вертепѣ. Она сидѣла здѣсь съ этимъ человѣкомъ, иногда спускавшимся изъ своей эгоистически дѣятельной и высокомѣрной жизни до разгула; она сидѣла за опорожненной бутылкой вина; глаза ея были немного красны, блѣдное лицо измято, костюмъ небреженъ и рѣзокъ. Вокругъ насъ тѣснилась толпа праздношатающихся гулякъ, кутцовъ, отчаявшихся въ возможности жить, не напиваясь, несчастныхъ приказчиковъ, проводящихъ жизнь за прилавками и отводящихъ свою убогую душу только въ такихъ притонахъ падшихъ женщинъ и дѣвушекъ, только прикоснувшихся губами къ гнусной чашѣ, разныхъ модистокъ, магазинныхъ дѣвочекъ... Я видѣлъ, что она уже падаетъ въ ту бездну, о которой говорилъ мнѣ Безсоновъ, если уже совсѣмъ не упала туда.

— Поѣдемъ же, поѣдемъ, Надежда Николаевна!—торопилъ Безсоновъ.

Она встала и, смотря на него съ удивленіемъ, спросила:

— Зачѣмъ? Куда?

— Я не хочу оставаться здѣсь...

— И можете ѣхать... Это, кажется, вашъ знакомый Гельфрейхъ?

— Послушай, Надя...—рѣзко сказалъ Безсоновъ.

Она нахмурила брови и бросила на него гнѣвный взглядъ.

— Кто вамъ далъ право такъ обращаться ко мнѣ? Сеничка, милый мой, здравствуйте!

Семенъ поймалъ ея руки и крѣпко жалъ ихъ.

— Послушай, Безсоновъ, — сказалъ онъ — полно дурить. Поѣзжай домой, если хочешь, или оставайся, а Надежда Николаевна останется съ нами. У насъ есть къ ней дѣло, и очень важное. Надежда Николаевна, позвольте вамъ представить: Лопатинъ, мой другъ и его (онъ указалъ на нахмурившагося Безсонова) также другъ, художникъ.

— Какъ она картины любитъ, Андрей!—вдругъ радостно сказалъ онъ мнѣ.—Въ прошломъ году я водилъ ее по выставкѣ. И твои этюды видѣли. Помните?

— Помню,—отвѣтила она.

— Надежда Николаевна!—еще разъ сказалъ Безсоновъ.

— Оставьте меня... Поѣзжайте куда вамъ угодно. Я остаюсь съ Сеней и вотъ съ... m-r Лопатинымъ. Я хочу душу отвести... отъ васъ!—вдругъ вскрикнула она, видя, что Безсоновъ хочетъ сказать еще что-то.—Вы опротивѣли мнѣ. Оставьте, уѣзжайте...

Онъ рѣзко отвернулся и вышелъ, не простясь ни съ кѣмъ.

— Такъ лучше... безъ него... — сказала Надежда Николаевна и тяжело вздохнула.

— Отчего вы вздыхаете, Надежда Николаевна?—спросилъ Сеничка.

— Отчего? Оттого, что то, что позволено всѣмъ этимъ калѣкамъ (она движеніемъ головы показала на тѣснившуюся вокругъ насъ толпу), то не долженъ позволять себѣ онъ... Ну, да все равно, тоска, надоѣло все это. Нѣтъ, не надоѣло, хуже. Слова не подберешь. Сеничка, давайте пить!

Семенъ жалобно взглянулъ на меня.

— Вотъ видите ли, Надежда Николаевна, и радъ бы, да нельзя; вотъ онъ...

— Что-жъ онъ? И онъ съ нами выпьетъ.

— Онъ не станетъ.

— Ну, такъ вы.

— Онъ не позволитъ.

— Это скверно... Кто же вамъ можетъ не позволить?

— Я далъ слово, что буду его слушаться.

Надежда Николаевна внимательно посмотрѣла на меня.

— Вотъ какъ!—сказала она.—Ну, вольному-воля, спасенному рай. Если не хотите, не нужно. Я буду одна...

— Надежда Николаевна,—началъ я — простите, что при первомъ знакомствѣ...

Я почувствовалъ, что румянецъ заливаетъ мнѣ щеки. Она, улыбаясь, смотрѣла на меня.

— Ну, что вамъ?

— При первомъ же знакомствѣ я просилъ бы васъ... не дѣлать этого, не держать себя такъ... Я хотѣлъ просить васъ еще объ одномъ одолженіи.

Лицо ея передернулось грустью.

— Не держать себя такъ?—сказала она. — Боюсь, что я уже не могу держать себя иначе—отвыкла. Ну, хорошо; чтобы сдѣлать вамъ пріятное, попробую. А одолженіе?

Я, заикаясь, путаясь въ словахъ и конфузясь, разсказалъ ей, въ чемъ дѣло. Она внимательно слушала, уставивъ свои сѣрые глаза прямо на меня. Напряженное ли вниманіе, съ какимъ она вникала въ мои слова, или что-то другое придавало ея взору суровое и немного жестокое выраженіе.

— Хорошо, — сказала она наконецъ. — Я понимаю, что вамъ нужно! Я и лицо себѣ такое сострою.

— Можно безъ этого обойтись, Надежда Николаевна, лишь бы ваше лицо...

— Хорошо, хорошо. Когда же мнѣ быть у васъ?

— Завтра, въ одиннадцать часовъ, если можно.

— Такъ рано? Ну, такъ значитъ, надо ѣхать спать и житься. Сеничка, вы проводите меня?

— Надежда Николаевна,—сказалъ я — мы не условили еще объ одной вещи, это вѣдь даромъ не дѣлается.

— Что-жъ, вы мнѣ платить будете, что ли?—сказала он и я почувствовалъ, что въ ея голосѣ звенитъ что-то гордое оскорбленное.

— Да, платить; иначе я не хочу—рѣшительно сказалъ

Она окинула меня высокомѣрнымъ, даже дерзкимъ взгл домъ, но почти тотчасъ же лицо ея приняло задумчивое вы раженіе. Мы молчали. Мнѣ было неловко. Слабая краска по казалась на ея щекахъ, и глаза вспыхнули.

— Хорошо,—сказала она—платите. Сколько другимъ на турщицамъ, столько и мнѣ. Сколько я получу за всю Ша лотту, Сеничка?

— Рублей шестьдесятъ, я думаю—отвѣтилъ онъ.

— А сколько времени вы будете ее писать?

— Мѣсяцъ.

— Хорошо, очень хорошо!—оживленно сказала она.— попробую брать съ васъ деньги. Спасибо вамъ!

Она протянула мнѣ свою тонкую руку и крѣпко по жала мою.

— Онъ у васъ ночуетъ? — спросила она, оборачиваяс ко мнѣ.

— У меня, у меня.

— Я сейчасъ отпущу его. Только пусть довезетъ.

Черезъ полчаса я былъ дома, а черезъ пять минут послѣ меня вернулся Гельфрейхъ. Мы раздѣлись, легли и по тушили свѣчи. Я начиналъ уже засыпать.

— Ты спишь, Лопатинъ? — вдругъ раздался въ темнот Сеничкинъ голосъ.

— Нѣтъ; а что?

— Вотъ что: я сейчасъ же далъ бы отрубить себѣ лѣву руку, чтобы этой женщинѣ было хорошо и чисто — сказал онъ взволнованнымъ голосомъ.

— Отчего же не правую?—спросилъ я, засыпая.

— Глупый! А писать-то чѣмъ я буду? — серьезно спросилъ Сеничка.

VI.

Когда я проснулся на другой день, въ окно уже глядѣло сѣрое утро.

Посмотрѣвъ на слабо освѣщенное, блѣдное, миловидное лицо Гельфрейха, спавшаго на диванѣ, вспомнивъ вчерашній вечеръ и то, что у меня будетъ натурщица для картины, я повернулся на другой бокъ и снова заснулъ чуткимъ утреннимъ сномъ.

— Лопатинъ!—раздался голосъ.—Я слышалъ его во снѣ. Онъ совпалъ съ моимъ сновидѣніемъ, и я не просыпался, но кто-то трогалъ меня за плечо.

— Лопатинъ, проснитесь,—говорилъ голосъ.

Я вскочилъ на ноги и увидѣлъ Безсонова.

— Это вы, Сергѣй Васильевичъ?

— Я... Не ждали такъ рано? — тихо сказалъ онъ. — Говорите тише: я не хотѣлъ бы разбудить горбуна.

— Что̀ вамъ нужно?

— Одѣньтесь, умойтесь; я скажу. Пойдемте въ другую комнату. Пусть онъ спитъ.

Я забралъ подмышку платье и сапоги и вышелъ одѣваться въ мастерскую. Безсоновъ былъ очень блѣденъ.

— Вы, кажется, не спали эту ночь?—спросилъ я.

— Нѣтъ, спалъ. Всталъ очень рано и работалъ. Скажите, чтобы намъ дали чаю, и поговоримъ. Кстати, покажите вашу картину.

— Не сто́итъ теперь, Сергѣй Васильевичъ. Вотъ погодите, скоро кончу ее въ исправленномъ и настоящемъ видѣ. Можетъ быть, вамъ непріятно, что я поступилъ противъ вашего желанія, но вы не повѣрите, какъ я радъ, что кончу,

что это такъ случилось. Лучше Надежды Николаевны я и ожидать для себя ничего не могъ.

— Я не допущу того, чтобы вы писали съ нея, — глухо сказалъ онъ.

— Сергѣй Васильевичъ, вы, кажется, пришли ссориться со мной.

— Я не допущу ее бывать у васъ каждый день, проводить съ вами цѣлые часы... Я не позволю ей.

— Есть ли у васъ такая власть? Какъ вы можете не позволить ей? Какъ вы можете не позволить мнѣ? — спрашивалъ я, чувствуя, что начинаю раздражаться.

— Власть!.. власть... Нѣсколькихъ словъ будетъ довольно. Я напомню ей, что̀ такое она. Я скажу ей, что̀ такое вы: я скажу ей о вашей сестрѣ, Софьѣ Михайловнѣ...

— Я не позволю вамъ заикаться о моей сестрѣ... Если есть у васъ право на эту женщину — пусть правда то, что̀ вы мнѣ говорили о ней, пусть она пала, пусть десятки людей имѣютъ на нее такія же права, какъ вы—у васъ есть право на нее, но у васъ нѣтъ правъ на мою сестру. Я запрещаю вамъ говорить ей что нибудь о сестрѣ! Слышите?

Я чувствовалъ, что голосъ мой зазвенѣлъ угрозой. Онъ начиналъ выводить меня изъ себя.

— Такъ вотъ какъ! Вы показываете когти! Я не зналъ, что они у васъ есть. Хорошо, вы правы: на Софью Михайловну я не имѣю никакихъ правъ. Я не осмѣлюсь поминать имя ея всуе. Но эта... эта...

Онъ въ волненіи нѣсколько разъ прошелся изъ угла въ уголъ комнаты. Я видѣлъ, что онъ взволнованъ серьезно. Я не понималъ, что̀ съ нимъ дѣлается. Въ прошлый нашъ разговоръ онъ и словами, и тономъ своимъ выразилъ такое нескрываемое презрѣніе къ этой женщинѣ, а теперь... Неужели?..

— Сергѣй Васильевичъ,—сказалъ я—вы любите ее!

Онъ остановился, взглянулъ на меня страннымъ взглядомъ и отрывисто промолвилъ:

— Нѣтъ.

— Что же васъ точитъ? Изъ-за чего вы подняли всю эту бурю? Не могу же я повѣрить, что вы печетесь о спасеніи моей души изъ когтей этого воображаемаго дьявола?

— Это мое дѣло, — сказалъ онъ. — Но помните, что какимъ бы то ни было путемъ, а я помѣшаю вамъ... Я не позволю! Слышите?—задорно крикнулъ онъ.

Я почувствовалъ, что кровь бросилась мнѣ въ голову. Въ томъ углу, гдѣ я стоялъ въ это время спиною къ стѣнѣ, былъ наваленъ разный хламъ: холсты, кисти, сломанный мольбертъ. Тутъ же стояла палка съ острымъ желѣзнымъ наконечникомъ, къ которой во время лѣтнихъ работъ привинчивается большой зонтъ. Случайно я взялъ въ руки это копье, и когда Безсоновъ сказалъ мнѣ свое „не позволю“, я со всего размаха вонзилъ остріе въ полъ. Четырехгранное желѣзо ушло въ доски на вершокъ.

Я не сказалъ ни слова, но Безсоновъ взглянулъ на меня изумленными и даже, какъ мнѣ показалось, испуганными глазами.

— Прощайте, — сказалъ онъ. — Я ухожу. Вы черезчуръ раздражены.

Я уже успѣлъ успокоиться.

— Постойте,—сказалъ я.—Останьтесь.

— Нѣтъ, мнѣ нужно. До свиданія!

Онъ ушелъ. Я съ усиліемъ выташилъ копье изъ пола, и помню, что коснулся пальцемъ слегка нагрѣвшагося блестящаго желѣза. Мнѣ въ первый разъ пришло въ голову, что это — страшное оружіе, которымъ легко положить человѣка на мѣстѣ.

Гельфрейхъ ушелъ въ академію, а я не безъ волненія ожидалъ свою натурщицу. Я поставилъ совсѣмъ новый холстъ и приготовилъ все нужное.

Я не могу сказать, чтобы я думалъ тогда только о своей картинѣ. Я вспоминалъ вчерашній вечеръ съ его странной, еще невиданной мною обстановкой, неожиданную и счастливую для меня встрѣчу, эту странную женщину, падшую жен-

щину, которая сразу привлекла всѣ мои симпатіи, странное поведеніе Безсонова... Что ему нужно отъ меня? Не любитъ ли онъ ее въ самомъ дѣлѣ? Зачѣмъ тогда это презрительное отношеніе къ ней? Развѣ не могъ бы онъ спасти ее?

Я думалъ обо всемъ этомъ, а рука съ углемъ ходила по холсту; я дѣлалъ наброски позы, въ которой хотѣлъ представить Надежду Николаевну, и стиралъ ихъ одинъ за другимъ.

Ровно въ одиннадцать часовъ зазвенѣлъ колокольчикъ. Черезъ минуту она въ первый разъ показалась на порогѣ моей комнаты. О, какъ я помню ея блѣдное лицо, когда она, волнуясь и стыдясь (да, стыдъ смѣнилъ ея вчерашнее выраженіе), молча стояла въ дверяхъ! Она точно не смѣла войти въ эту комнату, гдѣ нашла потомъ свое счастье, единственную свою свѣтлую полосу жизни и... гибель—не ту гибель, о которой говорилъ Безсоновъ... Я не могу писать объ этомъ. Я подожду и успокоюсь.

VII.

Соня не знаетъ, что я пишу эти горькія страницы. По-прежнему, каждый день она сидитъ у моей постели или кресла. Часто заходитъ ко мнѣ и мой другой другъ, мой бѣдный горбатый. Онъ очень похудѣлъ и осунулся и большею частью молчитъ. Соня говоритъ, что онъ упорно работаетъ... Дай Богъ ему счастья и успѣха!

Она пришла, какъ обѣщала, ровно въ одиннадцать часовъ. Она вошла робко, застѣнчиво отвѣтивъ на мое привѣтствіе, и молча сѣла на кресло, стоявшее въ углу мастерской.

— Вы очень точны, Надежда Николаевна, — сказалъ я, накладывая краски на палитру.

Она взглянула на меня и ничего не отвѣтила.

— Я не знаю, какъ благодарить васъ за ваше согласіе... — продолжалъ я, чувствуя, что краснѣю отъ смущенія.

Я хотѣлъ сказать ей что-то совсѣмъ другое. — Я такъ долго не могъ найти натурщицу, что совсѣмъ было бросилъ картину.

— Развѣ у васъ при академіи ихъ нѣтъ?—спросила она.

— Есть, но онѣ мнѣ не годились. Посмотрите вотъ это лицо.

Я досталъ изъ лежавшей на столѣ кучи всякаго хлама карточку Анны Ивановны и подалъ ей. Она взглянула и слабо улыбнулась.

— Да, это вамъ не годится, — сказала она. — Это не Шарлотта Кордэ.

— Вы знаете исторію Шарлотты Кордэ?—спросилъ я.

Она взглянула на меня съ страннымъ выраженіемъ удивленія, смѣшаннаго съ какимъ-то горькимъ чувствомъ.

— Почему же мнѣ не знать? — спросила она. — Я кое-чему училась. Я забыла теперь многое, ведя эту жизнь, и все-таки кое-что помню. А такихъ вещей забыть нельзя...

— Гдѣ вы учились, Надежда Николаевна?

— Зачѣмъ вамъ знать это? Если можно, будемъ начинать.

Тонъ ея вдругъ измѣнился: она проговорила эти слова отрывисто и мрачно, какъ говорила вчера Безсонову.

Я замолчалъ. Доставъ изъ шкафа давно уже сшитое мною синее платье, чепчикъ и всѣ принадлежности костюма Шарлотты, я попросилъ ее выйти въ другую комнату и переодѣться. Я едва успѣлъ приготовить все, что мнѣ было нужно для работы, какъ она уже вернулась.

Передо мной стояла моя картина.

— Ахъ, Боже мой! Боже мой!—заговорилъ я съ восторгомъ.—Какъ это хорошо, какъ это хорошо! Скажите, Надежда Николаевна, не видѣлись ли мы прежде? Иначе это невозможно объяснить. Я представлялъ себѣ свою картину именно такою, какъ вы теперь. Я думаю, что я васъ видѣлъ гдѣ нибудь. Ваше лицо, можетъ быть, безсознательно запечатлѣлось въ моей памяти... Скажите, гдѣ я видѣлъ васъ?

— Гдѣ вы могли видѣть меня?—переспросила она.—Не

знаю. Я не встрѣчалась съ вами до вчерашняго дня. Начинайте, пожалуйста. Поставьте меня, какъ нужно, пишите.

Я попросилъ ее стать на мѣсто, поправилъ складки платья, слегка коснулся ея рукъ, придавая имъ то безпомощное положеніе, какое всегда представлялъ себѣ, и отошелъ къ мольберту.

Она стояла передо мною... Она стоитъ передо мною и теперь, вотъ тутъ, на этомъ холстѣ... Она, какъ живая, смотритъ на меня. У нея то же печальное и задумчивое выраженіе, та же черта смерти на блѣдномъ лицѣ, какія были въ то утро.

Я стеръ все, начерченное углемъ на холстѣ, и быстро набросалъ Надежду Николаевну. Потомъ я сталъ писать. Никогда, ни прежде, ни послѣ мнѣ не удавалось работать такъ быстро и успѣшно. Время летѣло незамѣтно, и только черезъ часъ я, взглянувъ на лицо своей модели, увидѣлъ, что она сейчасъ упадетъ отъ усталости.

— Простите, простите меня... — сказалъ я, сводя ее съ возвышенія, на которомъ она стояла, и усаживая въ кресло.— Я совсѣмъ измучилъ васъ.

— Ничего, — отвѣтила она, блѣдная, но улыбающаяся.— Ужъ если зарабатывать себѣ хлѣбъ, то нужно пострадать немножко. Я рада, что вы такъ увлеклись. Можно посмотрѣть? — сказала она, кивнувъ головой на картину, лица которой она не видѣла.

— Конечно, конечно!

— Ахъ, какая мазня!—вскрикнула она.—Я никогда еще не видѣла начала работы художника. И какъ это интересно!.. И знаете, ужъ въ этой мазнѣ я вижу то, что должно быть... Вы задумали хорошую картину, Андрей Николаевичъ... Я постараюсь сдѣлать все, чтобы она вышла... насколько отъ меня это зависитъ.

—Что же можете вы сдѣлать?

— Я говорила вчера... Я сдѣлаю вамъ выраженіе. Вамъ будетъ легче работать...

Она быстро стала на свое мѣсто, подняла голову, уронила бѣлыя руки, и на ея лицѣ отразилось все, о чемъ мечталъ я для своей картины. Тутъ были рѣшимость и тоска, гордость и страхъ, любовь и ненависть...

— Такъ?—спросила она.—Если такъ, то я буду стоять, сколько угодно.

— Лучше мнѣ ничего не нужно, Надежда Николаевна; но вѣдь вамъ будетъ трудно сохранять подолгу такое выраженіе. Благодарю васъ. Посмотримъ. До этого еще далеко... Позвольте просить васъ позавтракать со мною.

Она долго отказывалась, но потомъ согласилась.

Моя поилица и кормилица, Агафья Алексѣевна, принесла завтракъ; мы въ первый разъ сѣли за столъ вмѣстѣ. Сколько разъ это случалось потомъ!.. Надежда Николаевна ѣла мало и молча; она видимо стѣснялась. Я налилъ въ ея стаканъ вина, которое она выпила почти сразу. Румянецъ заигралъ на ея блѣдныхъ щекахъ.

— Скажите, — вдругъ спросила она — вы давно знаете Безсонова?

Я не ожидалъ этого вопроса. Вспомнивъ все, что произошло между мною и Безсоновымъ изъ-за нея, я смутился.

— Отчего вы краснѣете? Впрочемъ, все равно; только отвѣтьте мнѣ на мой вопросъ.

— Давно. Съ дѣтства.

— Онъ хорошій человѣкъ?

— Да, по-моему, онъ хорошій человѣкъ. Онъ честенъ, много работаетъ. Онъ очень талантливый человѣкъ. Онъ хорошо относится къ матери.

— У него есть мать? Гдѣ она?

— Въ ***. Тамъ у нея есть маленькій домикъ. Онъ высылаетъ ей деньги и самъ иногда туда ѣздитъ. Я никогда не видалъ матери, болѣе влюбленной въ сына.

— Зачѣмъ же онъ не возьметъ ее сюда?

— Кажется... она сама не хочетъ... Впрочемъ, не знаю... Домъ у нея тамъ, она привыкла.

— Это неправда, — задумчиво сказала Надежда Николаевна. — Онъ не беретъ матери сюда потому, что думаетъ, что она помѣшаетъ ему. Я не знаю, я только думаю такъ... Она стѣснитъ его. Это провинціалка, вдова какого нибудь мелкаго чиновника. Она будетъ *шокировать* его.

Она произнесла слово „шокировать“ ѣдко и съ разстановкой.

— Я не люблю этого человѣка, Андрей Николаевичъ,— сказала она.

— За что? Онъ все-таки хорошій человѣкъ.

— Я не люблю его... и боюсь его... Ну, будетъ; пойдемъ работать.

Она стала на мѣсто. Короткій осенній день приходилъ къ концу.

Я работалъ до сумерокъ, давая иногда вздохнуть Надеждѣ Николаевнѣ, и только когда краски начали смѣшиваться въ своихъ цвѣтахъ и стоявшая передо мною на возвышеніи модель уже подернулась сумракомъ, я положилъ кисти... Надежда Николаевна переодѣлась и ушла.

VIII.

Въ тотъ же день вечеромъ я перевезъ Семена Ивановича къ себѣ. Онъ жилъ на Садовой, въ огромномъ, снизу до верху набитомъ жильцами домѣ, занимавшемъ почти цѣлый кварталъ между тремя улицами. Наиболѣе аристократическая часть дома, выходившая на Садовую, была занята меблированными комнатами отставного капитана Грумъ-Скжебицкаго, отдававшаго свои довольно грязныя и довольно большія комнаты начинающимъ художникамъ, не бѣднымъ студентамъ и музыкантамъ. Таковъ былъ преимущественный составъ жильцовъ суроваго капитана, строго наблюдавшаго за благочиніемъ своего, какъ онъ выражался, „отеля“.

Я поднялся по витой чугунной лѣстницѣ и вошелъ въ

коридоръ. Изъ-за первой двери слышались бѣглые пассажи скрипки, немного дальше завывалъ віолончель, а гдѣ-то въ концѣ коридора гремѣлъ рояль. Я постучалъ въ дверь Гельфрейха.

— Войдите!—закричалъ онъ тоненькимъ голосомъ.

Онъ сидѣлъ на полу и въ огромный ящикъ укладывалъ свои пожитки. Чемоданъ, уже завязанный, лежалъ возлѣ. Въ ящикъ Семенъ Ивановичъ клалъ вещи, не придерживаясь какой нибудь системы: на дно была положена подушка, на нее развинченная и завернутая въ бумагу лампа, затѣмъ кожаный тюфячекъ, сапоги, куча этюдовъ, ящикъ съ красками, книги и всякая мелочь. Рядомъ съ ящикомъ сидѣлъ большой рыжій котъ и смотрѣлъ въ глаза хозяину. Этотъ котъ, по словамъ Гельфрейха, состоялъ у него на постоянной службѣ.

— Я уже готовъ, Андрей, — сказалъ Гельфрейхъ. — Я очень радъ, что ты меня къ себѣ берешь. Ну, скажи, былъ сегодня сеансъ? Пришла она?

— Пришла, пришла, Сеня... — отвѣтилъ я, торжествуя въ душѣ.—Помнишь, ночью ты сказалъ одну фразу... что ты отдалъ бы свою лѣвую руку.

— Ну?—спросилъ онъ, сѣвъ на ящикъ и улыбаясь.

— Я немного понимаю тебя, Сеня...

— Вотъ видишь! Ахъ, Андрей, Андрей, вытащи ее! Я не могу. Я глупый, горбатый чортъ. Ты самъ очень хорошо знаешь, что я не протащу черезъ всю жизнь, долгую жизнь, и тяжести одного себя безъ посторонней помощи, безъ твоей, напримѣръ, а ужъ другого кого нибудь поддерживать... куда мнѣ? Мнѣ самому нужно, чтобы меня спасали отъ пьянства, брали къ себѣ, заставляли работать, держали у себя мои деньги, писали корзинки, диваны и всякую обстановку для моихъ котовъ. Ахъ, Андрей, Андрей, что бы я безъ тебя дѣлалъ?

И во внезапномъ порывѣ нѣжности Сеничка вдругъ соскочилъ со своего ящика, подбѣжалъ ко мнѣ, обхватилъ меня

руками и прижалъ голову къ моей груди. Его мягкіе шелковистые волосы касались моихъ губъ. Затѣмъ, такъ же быстро онъ оставилъ меня, побѣжалъ въ уголъ комнаты (я имѣлъ сильное подозрѣніе, что дорогой онъ стеръ слезинку) и усѣлся въ кресло, стоявшее въ углу, въ тѣни.

— Ну, видишь, куда же мнѣ! Но ты... ты—другое дѣло. Вытащи ее, Андрей!

Я молчалъ.

— Былъ еще одинъ человѣкъ, который бы могъ, — продолжалъ Семенъ Ивановичъ—но онъ не захотѣлъ.

— Безсоновъ?—спросилъ я.

— Да, Безсоновъ.

— Онъ давно съ нею знакомъ, Сеничка?

— Давно: раньше меня. У этого человѣка въ головѣ все ящики и отдѣленьица; выдвинетъ одинъ, достанетъ билетикъ. прочтетъ что тамъ написано, да такъ и дѣйствуетъ. Представился ему вотъ этотъ случай. Видитъ, падшая дѣвушка. Ну, онъ сейчасъ къ себѣ въ голову (а тамъ у него все по алфавиту); досталъ, прочелъ: *онъ не возвращаются никогда.*

Семенъ Ивановичъ не сталъ говорить дальше. Онъ облокотился подбородкомъ на руку и задумчиво смотрѣлъ прямо въ лицо.

— Ты разскажи мнѣ, какъ они познакомились. Что за странныя отношенія между ними?

— Послѣ, Андрей; теперь не стану. Да, можетъ быть, она и сама тебѣ разскажетъ. Напрасно я сказалъ: „можетъ быть“, навѣрное разскажетъ. Ты у меня вѣдь вотъ какой...— улыбнувшись, сказалъ Семенъ.—Поѣдемъ, нужно расплатиться съ капитаномъ.

— Деньги у тебя есть?

— Есть, есть. Выручаютъ коты.

Онъ вышелъ въ коридоръ, крикнулъ что-то прислугѣ, и черезъ минуту явился самъ капитанъ. Это былъ крѣпкій, коренастый старикъ, очень свѣжій, съ гладко выбритымъ лицомъ. Войдя въ комнату, онъ щегольски расшаркался и по-

палъ Гельфрейху руку, мнѣ же сдѣлалъ только безмолвный поклонъ.

— Что пану требуется?—спросилъ онъ вѣжливо.

— Я уѣзжаю отъ васъ, капитанъ.

— То есть воля пана, — отвѣтилъ онъ, пожимая плечами. — Я былъ очень доволенъ вами, милостивый государь. Я радъ, когда въ моемъ отелѣ проживаютъ прекрасные образованные люди... Панъ другъ также художникъ? — спросилъ онъ, обращаясь ко мнѣ съ вторичнымъ и весьма изящнымъ поклономъ. — Рекомендую себя: капитанъ Грумъ-Скжебицкій, старый солдатъ.

Я протянулъ ему руку и назвалъ свое имя.

— Панъ Лопатинъ! — воскликнулъ капитанъ, выражая на своемъ лицѣ почтительное удивленіе. — То есть извѣстное имя. Отъ всѣхъ учениковъ академіи слышалъ. Очень счастливъ знакомствомъ. Желаю вамъ имѣть славу Семирадскаго и Матейки... Куда же вы переѣзжаете? — спросилъ капитанъ Гельфрейха.

— А вотъ къ нему... — смущенно улыбаясь, отвѣтилъ Гельфрейхъ.

— Хотя вы и отнимаете у меня превосходнаго квартиранта, но я не огорченъ. Дружба — это такое право... — сказалъ капитанъ, опять кланяясь. — Сейчасъ я принесу свою книгу...

Онъ вышелъ, бодро поднявъ голову. Въ его походкѣ было что-то воинственное.

— Гдѣ онъ служилъ?—спросилъ я Сеню.

— Не знаю; только онъ не русскій капитанъ. Я узналъ въ паспортѣ: онъ просто дворянинъ Ксаверій Грумъ-Скжебицкій. По секрету онъ всѣмъ говоритъ, что былъ въ повстаніи. На стѣнѣ у него и теперь виситъ „дупельтовка“.

Капитанъ принесъ свою книгу и счеты. Справившись съ книгой и пощелкавъ минуты двѣ на счетахъ, онъ объявилъ сумму, которую долженъ былъ ему Гельфрейхъ за квартиру до конца мѣсяца и за обѣды; Семенъ Ивановичъ расплатился,

и мы весьма дружелюбно разстались. Когда вынесли вещи, Семенъ Ивановичъ взялъ подмышку рыжаго кота, давно уже безпокойно тершагося у его ногъ, поднявъ хвостъ палочкой вверхъ и изрѣдка коротко мяукая (вѣроятно, опустошенный видъ комнаты привелъ его въ тревожное настроеніе), и мы уѣхали.

IX.

Прошло еще три или четыре сеанса. Надежда Николаевна приходила ко мнѣ въ десять или одиннадцать часовъ и оставалась до сумерокъ. Не разъ я просилъ ее остаться пообѣдать съ нами, но она всегда, какъ только кончался сеансъ, поспѣшно уходила въ другую комнату, переодѣвалась изъ синяго платья въ свое черное и тотчасъ же прощалась.

Ея лицо за эти нѣсколько дней сильно измѣнилось. Какое-то мрачное и тоскливое выраженіе замѣчалось около ея губъ и въ впадинахъ ея сѣрыхъ глазъ. Она рѣдко говорила со мною и немного оживлялась только тогда, когда въ мастерской сидѣлъ за своимъ мольбертомъ Гельфрейхъ, продолжавшій, несмотря на мои уговариванія приняться за что нибудь серьезное, писать одну кошку за другою. Кромѣ рыжаго натурщика, въ нашей квартирѣ откуда-то появилось штукъ пять или шесть разнообразнаго возраста, пола и цвѣта кошекъ, которыхъ Агафья Алексѣевна безпрекословно кормила, хотя и вела съ ними безпрерывную войну, выражавшуюся преимущественно въ томъ, что она, забирая ихъ по нѣскольку подмышку, выкидывала на черную лѣстницу. Но коты жалобно покрикивали у дверей, и мягкое сердце нашей домоправительницы не выдерживало: дверь отворялась, и натурщики снова овладѣвали квартирой.

Какъ живо вспоминаются мнѣ эти долгіе, тихіе сеансы! Картина подходила къ концу, и тяжелое, неопредѣленное чувство закрадывалось постепенно въ мою грудь. Я чувство-

налъ, что когда Надежда Николаевна перестанетъ быть нужна мнѣ, какъ натурщица, мы разстанемся. Я вспомнилъ нашъ разговоръ съ Гельфрейхомъ въ день его переѣзда; часто, когда я вглядывался въ ея блѣдное, мрачное лицо, въ ушахъ моихъ звенѣли слова: „Ахъ, Андрей, Андрей, вытащи ее!“

Вытащить ее! Я не зналъ о ней почти ничего. Я не зналъ даже, гдѣ она живетъ. Она переѣхала со старой квартиры, куда провожалъ ее Гельфрейхъ послѣ вечера нашей встрѣчи, на другую квартиру, и Сеня не могъ добиться отъ нея—куда. Ни онъ, ни я не знали ея фамиліи.

Я помню, какъ однажды я спросилъ ее объ этомъ на сеансѣ, когда Гельфрейха не было. Въ то утро онъ ушелъ въ академію (я заставилъ его хоть изрѣдка ходить въ этюдный классъ), и мы цѣлый день проводили одни. Надежда Николаевна была немного веселѣе обыкновеннаго, немного разговорчивѣе. Ободренный этимъ, я осмѣлился сказать:

— Надежда Николаевна, я до сихъ поръ не знаю, какъ ваша фамилія.

Она какъ будто не замѣтила моего вопроса. Неуловимая тѣнь пробѣжала по ея лицу, и на мгновеніе сомкнувъ губы, какъ будто что-то поразило ее, она продолжала говорить. Она говорила тогда о Гельфрейхѣ, и я видѣлъ, что она подыскиваетъ сказать что нибудь, чтобы заговорить меня и замять мой вопросъ. Наконецъ она замолчала.

— Надежда Николаевна, — сказалъ я — скажите, за что вы не довѣряете мнѣ? Показалъ ли я хоть чѣмъ нибудь...

— Оставьте это, — печально отвѣтила она. — Я не довѣряю вамъ? Полноте... Зачѣмъ мнѣ вамъ не довѣрять? Что можете вы сдѣлать мнѣ дурного?

— Отчего же вы...

— Оттого, что не нужно. Пишите, пишите, скоро темно будетъ...—сказала она, стараясь говорить веселѣе.—И Семенъ Иваговичъ скоро придетъ; что вы ему покажете? Вы сегодня почти ничего не сдѣлали. У насъ и такъ все время проходитъ въ разговорахъ.

— Успѣемъ... я усталъ... Если угодно, сойдите съ мѣст
Отдохните немного.

Она сошла съ мѣста и сѣла на стулъ, стоявшій въ угл
Я сѣлъ на другомъ концѣ комнаты. Мнѣ страстно хотѣлос
разговориться съ нею, разспросить ее, но я чувствовалъ, чт
съ каждымъ сеансомъ это становится труднѣе и труднѣе.
смотрѣлъ, какъ она сидѣла, сгорбившись, охвативъ колѣн
сжатыми руками и опустивъ неподвижные глаза въ какую-т
точку пола. Одинъ изъ Сеничкиныхъ котовъ терся около е
платья и дружелюбно засматривалъ ей въ лицо, напѣвая сво
добродушную и тихую пѣсенку. Она, казалось, оцѣпенѣла в
этой позѣ... Что дѣлалось въ этой гордой и несчастной душѣ

Гордой! Да, не пустое слово сорвалось у меня съ пера
И тогда я уже думалъ, что ея гибель произошла оттого, чт
она не гнулась. Быть можетъ, сдѣлавъ какую нибудь уступку
она жила бы, какъ всѣ, была бы интересной барышней „с
загадочными глазами“, потомъ вышла бы замужъ, потомъ по
грузилась бы въ море безцѣльнаго существованія бокъ-о-бок
съ супругомъ, занятымъ необычайно важными дѣлами на ка
кой нибудь службѣ. Она наряжалась бы, устраивала у себ
журъ-фиксы, воспитывала бы дѣтей („сынъ въ гимназіи, доч
въ институтѣ“), занималась бы слегка благотворительностью
и, пройдя назначенный ей Господомъ путь, дала бы своем
супругу случай увѣдомить на другой день въ *Новомъ Времени*
о своемъ „душевномъ прискорбіи“. Но она выбита изъ сѣдла
Что же заставило ее сойти съ проторенной колеи жизни „по-
рядочной женщины?“ Я не зналъ этого и мучительно ста-
рался прочесть что нибудь на ея лицѣ. Но оно оставалось
неподвижно, все такъ же глаза ея были устремлены на одну
точку.

— Я отдохнула, Андрей Николаевичъ, — вдругъ сказала
она, поднявъ голову.

Я всталъ, посмотрѣлъ на нее, потомъ на холстъ и отвѣтилъ.

— Я сегодня не могу больше работать, Надежда Нико-
лаевна.

Она взглянула на меня, хотѣла что-то сказать, но удержалась и молча вышла изъ комнаты, чтобы переодѣться. Помню, что я бросился въ кресло и закрылъ лицо руками. Досадливое, непонятное мнѣ самому чувство влилось мнѣ въ грудь; смутное ожиданіе чего-то неизвѣстнаго и страшнаго, страстное желаніе сдѣлать что-то, въ чемъ я самъ себѣ не могъ дать отчета, и нѣжность къ этому несчастному существу, вмѣстѣ съ какимъ-то боязливымъ ощущеніемъ, которое она пробуждала во мнѣ своимъ присутствіемъ—все слилось въ одно давящее впечатлѣніе, и я не помню, сколько времени провелъ я, погруженный почти въ полное забытье.

Когда я очнулся, она стояла передо мной, уже одѣтая въ свое платье.

— До свиданья!

Я всталъ и подалъ ей руку.

— Подождите немного... Мнѣ хочется сказать вамъ кое-что.

— Что такое?—спросила она озабоченно.

— Много, много, Надежда Николаевна... Посидите вы хоть одинъ разъ, Бога ради, не какъ натурщица.

— Не какъ натурщица? Чѣмъ я могу быть для васъ еще? Не дай Богъ быть мнѣ для васъ не натурщицей, а тѣмъ, чѣмъ я была... чѣмъ я есть,—быстро поправилась она.—Прощайте. Вы скоро кончите картину, Андрей Николаевичъ?—спросила она у дверей.

— Не знаю... Я думаю, еще недѣли двѣ или три я буду просить васъ бывать у меня.

Она молчала, какъ будто не рѣшаясь сказать мнѣ, что хотѣла.

— Вамъ что нибудь нужно, Надежда Николаевна?

— Не нужно ли еще кому нибудь... изъ вашихъ товарищей...—проговорила она, запинаясь.

— Натурщицы?..—перебилъ я.—Я постараюсь устроить это, непремѣнно постараюсь, Надежда Николаевна.

— Благодарю васъ. Прощайте.

Я не успѣлъ протянуть ей руку, какъ позвонили. Он поблѣднѣла и опустилась на стулъ. Вошелъ Безсоновъ.

X.

Онъ вошелъ съ веселымъ и развязнымъ видомъ. Мнѣ по казалось сперва, что онъ немного похудѣлъ за эти нѣсколь дней, въ которые мы не видѣлись; но черезъ минуту я поду малъ, что ошибся. Онъ весело поздоровался со мной, покло нился Надеждѣ Николаевнѣ, которая продолжала сидѣть н своемъ стулѣ, и заговорилъ очень оживленно:

— Я зашелъ посмотрѣть. Меня очень интересуетъ ваш работа. Мнѣ хочется узнать, дѣйствительно ли вы можете сдѣ лать что нибудь, даже и теперь, когда у васъ есть модель лучше которой, кажется, вамъ ничего не нужно.

Онъ мелькомъ взглянулъ на Надежду Николаевну. Она си дѣла попрежнему. Я ожидалъ, что она уйдетъ, и мнѣ хотѣ лось этого, но она оставалась, какъ прикованная къ своем стулу, молча, и не спускала глазъ съ Безсонова.

— Это правда, — отвѣтилъ я. — Лучше мнѣ ничего н нужно. Я очень благодаренъ Надеждѣ Николаевнѣ за е согласіе.

Говоря это, я откатилъ мольбертъ отъ стѣны и поставил его, какъ слѣдуетъ.

— Можете смотрѣть,—сказалъ я.

Онъ впился въ картину глазами. Я видѣлъ, что она пора зила его, и мое авторское самолюбіе было пріятно задѣто.

Надежда Николаевна вдругъ встала.

— До свиданья,—сказала она глухо.

Безсоновъ порывисто обернулся и сдѣлалъ нѣсколько ша говъ по направленію къ ней.

— Куда же вы, Надежда Николаевна? Я такъ давно васъ не видѣлъ, и когда встрѣтился съ вами здѣсь почти случайно, вы какъ будто бѣжите отъ меня. Подождите хоть

немного, хоть пять минутъ: мы выйдемъ вмѣстѣ, и я провожу васъ. Я никакъ не могъ васъ найти. На вашей прежней квартирѣ мнѣ сказали, что вы уѣхали изъ города; я зналъ, что это неправда. Я справлялся въ адресномъ столѣ, но тамъ еще не было вашего адреса. Я хотѣлъ справиться еще разъ завтра, надѣясь, что вашъ адресъ тамъ уже долженъ быть; но теперь, конечно, это не нужно: вы сами скажете, гдѣ вы живете; я провожу васъ.

Онъ говорилъ быстро и съ новымъ, неизвѣстнымъ еще для меня въ его устахъ, оттѣнкомъ нѣжности. Какъ непохожъ былъ его настоящій тонъ на тотъ, которымъ онъ говорилъ съ Надеждой Николаевной въ тотъ вечеръ, когда мы съ Гельфрейхомъ столкнулись съ ними обоими!

— Не нужно, Сергѣй Васильевичъ, благодарю васъ,— отвѣтила Надежда Николаевна—я дойду и одна. Провожатыхъ мнѣ не нужно, а... съ вами—тихо договорила она—мнѣ говорить не о чемъ.

Онъ сдѣлалъ движеніе рукой, хотѣлъ сказать что-то, но только одинъ какой-то странный звукъ вылетѣлъ изъ его груди. Я видѣлъ, что онъ сдерживаетъ себя... Онъ прошелъ нѣсколько шаговъ по комнатѣ и потомъ, обернувшись къ ней, тихо сказалъ:

— Ступайте... Если я вамъ не нуженъ, тѣмъ лучше для насъ обоихъ... можетъ быть, для всѣхъ троихъ...

Она ушла, слабо пожавъ мою руку; мы остались одни. Скоро пришелъ Гельфрейхъ; я предложилъ Безсонову остаться съ нами обѣдать. Онъ отвѣчалъ не сразу, занятый какою-то мыслью, но потомъ вдругъ опомнился и сказалъ:

— Обѣдать? Пожалуй... Я давно у васъ не былъ. Я хотѣлъ бы сегодня разговориться.

И онъ дѣйствительно разговорился. Въ началѣ обѣда онъ большею частью молчалъ, или давалъ отрывистыя реплики Сеничкѣ, безъ умолку говорившему о своихъ котахъ, которыхъ онъ непремѣнно броситъ, и о томъ, что нужно же наконецъ приняться за настоящую работу; но потомъ, можетъ

быть, подъ вліяніемъ двухъ стакановъ вина, оживленіе Гельфрейха сообщилось и ему, и я долженъ сказать, что никогда не видѣлъ его такимъ живымъ и краснорѣчивымъ, какъ за этимъ обѣдомъ и въ тотъ вечеръ. Подъ конецъ онъ вполнѣ овладѣлъ разговоромъ и читалъ намъ цѣлыя лекціи о внутренней и внѣшней политикѣ; два года писанья передовыхъ статей по всевозможнымъ вопросамъ сдѣлали его способнымъ говорить весьма свободно обо всѣхъ этихъ вещахъ, о которыхъ мы съ Гельфрейхомъ, занятые своими этюдами, знали очень мало.

— Семенъ Иванычъ,—сказалъ я, когда ушелъ Безсоновъ—вѣдь Безсонову извѣстна фамилія Надежды Николаевна?

— Почему ты знаешь?—спросилъ Гельфрейхъ.

Я разсказалъ ему сцену, происходившую до его прихода.

— Что же ты не спросилъ его? Впрочемъ, я понимаю: я узнаю самъ...

Почему я въ самомъ дѣлѣ не спросилъ Безсонова? Я и теперь не могу отвѣтить на этотъ вопросъ. Тогда я еще ничего не понималъ въ отношеніяхъ его къ Надеждѣ Николаевнѣ. Но смутное предчувствіе чего-то необыкновеннаго и таинственнаго, что̀ должно было случиться между этими людьми, уже и тогда наполняло меня. Я хотѣлъ остановить Безсонова въ его горячей рѣчи объ оппортюнизмѣ, хотѣлъ прервать его изложеніе спора о томъ, развивается ли въ Россіи капитализмъ, или не развивается, но всякій разъ слово останавливалось у меня въ горлѣ.

Я сказалъ это Гельфрейху. Я сказалъ ему это такъ:

Я самъ не знаю, что̀ мѣшаетъ мнѣ говорить о ней просто. Между ними что-то есть. Я не знаю что̀...

Сеничка, ходившій по комнатѣ, помолчалъ, подошелъ къ темному окну и, смотря куда-то въ черное пространство, отвѣтилъ:

— А я знаю. Онъ презиралъ ее, а теперь начинаетъ любить. Потому что видитъ... О, какое черствое, эгоистическое сердце, и завистливое сердце у этого человѣка, Андрей!—

воскликнулъ онъ, обратясь ко мнѣ и потрясая обѣими руками.— Берегись, Андрей!..

Завистливое сердце? Завистливое... Чему оно можетъ завидовать?

XI.

Изъ дневника Безсонова. Вчера Лопатинъ съ Гельфрейхомъ встрѣтили насъ съ Надей. Вопреки моему желанію, они познакомились. Сегодня утромъ я поѣхалъ къ нему и хотѣлъ не допустить этого сближенія, но не былъ въ состояніи ничего сдѣлать. Они будутъ видѣться, будутъ каждый день просиживать по нѣсколько часовъ вмѣстѣ, и я знаю, чѣмъ это кончится.

Я тщетно стараюсь рѣшить вопросъ, почему я принялъ такое горячее участіе во всемъ этомъ дѣлѣ. Не все ли мнѣ равно? Положимъ, я знаю Лопатина много лѣтъ и, кажется, искренно симпатизирую этому талантливому юношѣ. Я не хотѣлъ бы ему зла, а сближеніе съ падшей женщиной, прошедшей огонь и воду, это — зло, особенно для такой нетронутой натуры, какъ онъ. Я знаю эту женщину сравнительно давно. Я узналъ ее, когда она уже была тѣмъ, что̀ есть. Я долженъ признаться передъ самимъ собою, что было время, когда слабость овладѣла мною, и я, увлеченный ея не совсѣмъ обыкновенной внѣшностью и, какъ мнѣ казалось, недюжиннымъ внутреннимъ содержаніемъ, думалъ о ней больше, чѣмъ бы слѣдовало. Но скоро я побѣдилъ себя. Зная уже давно, что легче „верблюду пройти въ игольное ушко“, чѣмъ женщинѣ, вкусившей этого яда, вернуться къ нормальной и честной жизни, и присматриваясь къ ней самой, я убѣдился, что въ ней нѣтъ никакихъ задатковъ для того, чтобы она могла составить исключеніе изъ общаго правила, и съ болью въ душѣ я рѣшилъ предоставить ее судьбѣ. Тѣмъ не менѣе, я продолжалъ съ нею видѣться.

Никогда не прощу себѣ ошибки, сдѣланной мною въ тотъ вечеръ, когда Лопатинъ пришелъ жаловаться на свою неудачу. Я проговорился ему, сказавъ, что у меня есть на примѣтѣ субъектъ, годный въ натурщицы. Не понимаю, какъ Гельфрейхъ не сообщилъ ему объ этомъ раньше: онъ знаетъ ее такъ же давно, какъ и я, если не дольше.

Моя неосторожность и запальчивость сегодня погубили все дѣло. Слѣдовало быть мягче; я же вывелъ этого мягкосердечнаго человѣка изъ себя. Онъ схватилъ какое-то копье и воткнулъ его въ полъ, такъ что стекла задрожали, и я, видя, что онъ раздраженъ до послѣдней степени, долженъ былъ уйти.

Я нѣсколько дней не видѣлъ Лопатина. Вчера встрѣтилъ на улицѣ Гельфрейха и осторожно навелъ разговоръ на его пріятеля.

Она бываетъ у него каждый день; картина подвигается быстро. Какъ она себя ведетъ? Скромно, съ достоинствомъ. Всегда молчитъ. Одѣта въ черное, бѣдно. Беретъ за сеансы деньги. Ну, а Лопатинъ очень радъ, что нашелъ себѣ такую натурщицу; сначала очень повеселѣлъ, а теперь немного задумывается.

— Я не знаю, Безсоновъ, почему вы такъ интересуетесь всѣмъ этимъ, — сказалъ мнѣ въ заключеніе горбатый. — Вы никогда не принимали въ этой женщинѣ никакого участія. А было время, когда вы легко могли бы спасти ее... Теперь уже конечно поздно... то-есть, поздно для васъ...

Поздно для васъ!.. Поздно для васъ!.. Что онъ хотѣлъ сказать этимъ? Не то ли, что если поздно для меня, то не поздно для его друга? Глупцы!

Какъ! И этотъ Гельфрейхъ, который считаетъ себя его другомъ, который знаетъ лучше, чѣмъ я, его отношенія къ сестрѣ-невѣстѣ — и онъ не понимаетъ какое зло творятъ они? Они не спасутъ эту женщину; Лопатинъ разобьетъ сердце любящей дѣвушки и свое...

Я чувствую, что я долженъ, обязанъ сдѣлать что нибудь.

Я пойду завтра къ Лопатину днемъ и постараюсь убѣдиться самъ, какъ далеко зашло дѣло. А сегодня отправлюсь къ ней.

Я былъ у нея и не нашелъ: она переѣхала неизвѣстно куда. Мнѣ сказали, что она распродала свои платья. Я попробовалъ искать ее, но, несмотря на адресный столъ и услуги дворниковъ, не могъ найти ея слѣда. Завтра иду къ Лопатину.

Необходимо оставить свой прежній образъ дѣйствій. Я ошибся въ Лопатинѣ: я думалъ, судя по его мягкости, что съ нимъ можно говорить повелительнымъ тономъ; нужно сказать, что прежнія наши отношенія до нѣкоторой степени оправдывали такое мнѣніе. Необходимо, не трогая его, дѣйствовать на эту женщину. Было время, когда она, казалось мнѣ, была нѣсколько заинтересована мною. Я думаю, что если я приложу хоть немного старанія, я разлучу ихъ. Быть можетъ, я разбужу въ ней старое чувство, и она пойдетъ за мною.

Ухаживать за Надеждой Николаевной! Эта мысль дика для меня самого, но я останавливаюсь на ней. Я чувствую себя не вправѣ допустить паденіе Лопатина и разрушеніе всей его жизни.

Эта женщина смѣется надо мною! Я обратился къ ней со всею нѣжностью, на которую я только способенъ; я даже, можетъ быть, говорилъ съ нею унизительнымъ для себя тономъ, и она ушла, сказавъ нѣсколько обидныхъ и презрительныхъ словъ.

Она удивительно измѣнилась. Это блѣдное лицо пріобрѣло какой-то отпечатокъ достоинства, совершенно не идущій къ ея общественному положенію. Она скромна и въ то же время какъ будто бы горда. Чѣмъ ей гордиться?! Пристально вглядываясь въ лицо Лопатина, я думалъ прочесть на немъ исторію его отношеній къ ней. Ничего особеннаго: онъ нѣ-

сколько возбужденъ, но повидимому только своей картиной. Это будетъ превосходная вещь. Она стоитъ въ холстѣ, какъ живая.

Я пересилилъ свой гнѣвъ и, не показавъ вида, что считаю себя оскорбленнымъ, остался съ Лопатинымъ и Гельфрейхомъ. Мы разговорились, и они внимательно слушали мои поученія, касавшіяся разныхъ предметовъ, которыми я въ настоящее время занятъ.

Но что же дѣлать? Оставить дѣло идти такъ, какъ оно идетъ? Однажды я далъ Лопатину обѣщаніе не впутывать въ это дѣло его сестры, Софьи Михайловны. Я конечно долженъ сдержать свое обѣщаніе. Но не могу ли я написать своей матери? Она хотя рѣдко, но видится съ Софьей Михайловной. и можетъ разсказать ей. Я не измѣню слову и въ то же время...

Да, предоставлять такое дѣло самому себѣ не слѣдуетъ: я не имѣю на это никакого права. А эту женщину я заставлю отказаться отъ ея добычи какими бы то ни было средствами... Нужно только узнать, гдѣ она живетъ. Тогда я поговорю съ нею... А теперь оставлю все это и примусь за свою работу. Въ пустой и безцѣльной толчеѣ, которую мы всѣ называемъ жизнь, есть только одно истинное, безотносительное счастіе: удовлетвореніе работника, когда онъ, погруженный въ свой трудъ, забываетъ всѣ мелочи жизни, и потомъ, окончивъ его, можетъ сказать себѣ съ гордостью: да, сегодня я создалъ благое.

XII.

Записки Лопатина. Шесть дней прошло послѣ свиданія съ Безсоновымъ, а Надежда Николаевна не приходила ко мнѣ. Она прислала только записку, въ которой просила извиненія и ссылалась на какія-то дѣла.

Я показалъ записку Гельфрейху, и мы оба рѣшили, что

она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ея фамилію, можно было бы найти ея адресъ въ адресномъ столѣ; но ни онъ, ни я не знали ея фамиліи. Спрашивать Безсонова было безполезно. Я отчаявался, но Семенъ Ивановичъ обѣщалъ мнѣ сыскать ее „хоть на днѣ морскомъ“. Вставъ на другой день рано утромъ, онъ одѣлся съ какимъ-то озабоченнымъ и рѣшительнымъ видомъ, точно шелъ на опасную экспедицію, и исчезъ на цѣлый день.

Оставшись одинъ, я попробовалъ работать; работа не шла. Я досталъ съ полки книгу и началъ читать. Слова и мысли проходили черезъ мою голову, не оставляя слѣда. Я напрягалъ свое вниманіе всѣми силами и все-таки не могъ одолѣть нѣсколькихъ страницъ.

Я закрылъ эту книгу—умную и хорошую книгу, которую нѣсколько дней тому назадъ читалъ, хотя съ трудомъ, но съ увлеченіемъ и радостью, какія всегда доставляетъ хорошее чтеніе, и пошелъ бродить по городу.

Полусознательная смутная надежда встрѣтить если не Надежду Николаевну, то хоть кого нибудь, кто далъ бы мнѣ какое нибудь указаніе, все время не покидала меня, и я все время внимательно всматривался въ прохожихъ и не разъ переходилъ на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько нибудь напоминавшую мнѣ знакомый образъ. Но я не встрѣтилъ никого, кромѣ капитана Грумъ-Скжебицкаго, въ четвертомъ часу дня (былъ конецъ декабря, и уже темнѣло) прогуливавшагося по Невскому проспекту съ важнымъ и осанистымъ видомъ. Было очень тепло; капитанъ шелъ въ довольно щегольскомъ мѣховомъ пальто, разстегнутомъ и раскрытомъ около шеи; цвѣтной атласный галстукъ съ яркой булавкой выглядывалъ изъ мѣха; шляпа капитана блестѣла, какъ полированная, а рукой, обтянутой въ модную желтую перчатку съ толстыми черными швами, онъ опирался на трость съ большимъ костянымъ набалдашникомъ.

Увидѣвъ меня, онъ пріятно и снисходительно улыбнулся и, сдѣлавъ пріятное движеніе рукой, подошелъ ко мнѣ.

— Радъ видѣть мосье Лопатина,—сказалъ онъ.—Весьма пріятная встрѣча.

Онъ пожалъ мнѣ руку и въ отвѣтъ на мой вопросъ о здоровьѣ продолжалъ:

— Благодарю васъ. Фланируете или же спѣшите куда нибудь? Если справедливо первое, то не пройдетесь ли со мною? Охотно повернулъ бы вмѣстѣ съ вами, но привычка, мосье Лопатинъ! Гуляю ежедневно и прохожу Невскій два раза туда и назадъ. Это законъ.

Я хотѣлъ вернуться домой и поэтому пошелъ съ капитаномъ. Онъ съ достоинствомъ поддерживалъ разговоръ.

— Сегодня вторая пріятная встрѣча, — сказалъ онъ.— Видѣлся я также на Невскомъ съ господиномъ Безсоновымъ и узналъ, что онъ также вамъ пріятель.

— Какъ, капитанъ, вы и Безсонова знаете?

— Вы спросите у меня, кого я не знаю!—отвѣтилъ капитанъ, пожимая плечами.—И господинъ Безсоновъ, будучи студентомъ, жилъ въ моемъ отелѣ. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жилъ у меня, мосье Лопатинъ! Многіе знатные теперь инженеры, юристы и писатели знаютъ капитана. Да, весьма многіе извѣстные люди помнятъ меня.

И при этомъ капитанъ вѣжливо раскланялся съ быстро проходившимъ мимо господиномъ, съ озабоченнымъ и умнымъ лицомъ. Господинъ, молча, выразилъ на лицѣ недоумѣніе, но потомъ улыбнулся и дружелюбно кивнулъ капитану.

— Не забываетъ старыхъ друзей, а уже въ высокихъ чинахъ, мосье Лопатинъ, этотъ господинъ. Извѣстный инженеръ Петрищевъ. Тоже у меня жилъ студентомъ.

— А Безсоновъ?—спросилъ я.

— И Безсоновъ прекрасный господинъ. Нѣсколько слабый относительно прекрасныхъ глазъ слабаго пола...—прибавилъ капитанъ, нагибаясь къ моему уху.

Я почувствовалъ, что сердце у меня забилось сильнѣе. Мнѣ показалось, что капитанъ долженъ знать что нибудь и о Надеждѣ Николаевнѣ.

Капитанъ опять раскланялся съ какимъ-то знакомымъ и продолжалъ:

— Да, если бы это не былъ такой прекрасный молодой человѣкъ, я бы съ нимъ поссорился, панъ Лопатинъ. Но я помню свою молодость, да кромѣ того, старый солдатъ и теперь еще неравнодушенъ къ глазамъ прекраснымъ.

Онъ взглянулъ на меня искоса и подмигнулъ; прищуренные глазки его сдѣлались немного масляными.

— Капитанъ,—началъ я—я очень радъ, что вы знакомы съ Безсоновымъ... Я, видите ли, не зналъ этого.

— Да, онъ жилъ у меня весьма недолго.

— Не былъ ли онъ знакомъ...

Мнѣ вдругъ стало ужасно совѣстно. Что-то остановило мой языкъ, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрѣлъ на капитана, впившагося въ меня своими внезапно измѣнившими выраженіе, глазами. Теперь онъ былъ похожъ на ястреба.

— Впрочемъ, вы вѣроятно не знаете. Извините, — смущенно докончилъ я.

Онъ посмотрѣлъ на меня, придалъ лицу своему самое безпечное выраженіе и помахалъ тростью.

— Да, старому солдату есть что вспомнить...—продолжалъ онъ, какъ будто бы я у него ничего не спрашивалъ.—Шестой десятокъ начинается, — прибавилъ онъ, печально покачавъ головой.—Завидую, признаться, вамъ, мосье Лопатинъ, но завидую только вашимъ юнымъ годамъ.

— Гдѣ вы служили, капитанъ? — спросилъ я, вспомнивъ слова Гельфрейха.

Капитанъ внезапно еще разъ совершенно измѣнился. Его лицо сдѣлалось озабоченно серьезнымъ. Онъ посмотрѣлъ направо, посмотрѣлъ налѣво, обернулся назадъ и близко нагнулся къ моему лицу, такъ что даже задѣлъ меня за ухо усомъ.

— Между нами, какъ между благородными людьми! Вы видите, панъ Лопатинъ. передъ собою бойца Мѣхова и Опатова!

И онъ, отступивъ на шагъ, посмотрѣлъ на меня взоромъ, который, какъ казалось, требовалъ изумленія. Я сдѣлалъ усиліе, чтобы придать своему лицу приличное случаю выраженіе.

— Это тайна, которую я довѣряю только весьма близкимъ друзьямъ...—опять прошепталъ капитанъ, нагнувшись, и, снова отпрянувъ отъ меня, устремилъ на меня торжествующій взоръ.

Мнѣ осталось только выразить ему благодарность за довѣріе и распрощаться съ нимъ, такъ какъ мы подходили къ Полицейскому мосту.

Я былъ недоволенъ собою: я чуть не назвалъ имени Надежды Николаевны этому человѣку, къ которому не чувствовалъ ни малѣйшаго довѣрія.

Когда я вернулся домой, Алексѣевна объявила мнѣ, что „нашъ кошатникъ“ еще не приходилъ. Она подала мнѣ обѣдать и стала у дверей, выражая на лицѣ своемъ горькое соболѣзнованіе по случаю моего малаго аппетита.

— Что-жъ ваша-то, Андрей Николаевичъ, не ходитъ? — спросила она.

— Заболѣла, должно быть, Алексѣевна.

Она покачала головой и, тяжело вздохнувъ, вышла въ кухню, чтобы принести мнѣ чаю. Я давно уже не обѣдалъ иначе, какъ съ Гельфрейхомъ, и мнѣ было очень скучно.

XIII.

Послѣ обѣда принесли письмо отъ Сони.

Я никогда ничего не скрывалъ отъ нея. Когда я умру,— а это случится скоро: смерть уже не подкрадывается ко мнѣ, а подходитъ твердыми шагами, шумъ которыхъ я ясно слышу въ безсонныя ночи, когда мнѣ становится хуже, и меня больше мучатъ и болѣзнь, и воскресающее былое — когда я умру, и она прочтетъ эти записки, пусть знаетъ, что никогда

никогда я не лгалъ передъ нею. Я писалъ ей обо всемъ, что думалъ и чувствовалъ, и развѣ только то, чего я самъ не подозрѣвалъ въ душѣ, или въ чемъ не сознавался передъ самимъ собою, хотя смутно чувствовалъ, не попадало въ мои длинныя письма.

Но она знала меня. Несмотря на свои девятнадцать лѣтъ, она чуткой, любящей душой поняла то, въ чемъ я не смѣлъ себѣ сознаться, что̀ ни разу не сказалось въ моей головѣ опредѣленными словами.

„Ты любишь ее, Андрей. Дай Богъ тебѣ счастья...“

Я не могъ читать дальше. Какая-то большая волна нахлынула на меня, вошла въ меня и почти лишила сознанія. Я опустился на спинку кресла и, держа въ рукахъ письмо, долго сидѣлъ, закрывъ глаза и неподвижный, чувствуя только, какъ эта волна зашумѣла и бушевала въ моей душѣ.

Это была правда: я любилъ ее. Я не испыталъ еще до сихъ поръ этого чувства. Я называлъ любовью свою привязанность къ сестрѣ; я готовъ былъ черезъ нѣсколько лѣтъ сдѣлаться ея мужемъ и, можетъ быть, былъ бы счастливъ съ нею; я не повѣрилъ бы, еслибъ мнѣ сказали, что я могу полюбить другую женщину. Мнѣ казалось, что судьба моя рѣшена: „вотъ жена твоя, сказалъ мнѣ Господь, и у тебя не должно быть другой“, и въ этомъ я утвердился, спокойный за будущее и увѣренный въ своемъ выборѣ. Любить другую женщину казалось мнѣ ненужной и недостойной прихотью.

И вотъ пришло это странное и несчастное созданье, съ разбитой жизнью и страданьемъ въ глазахъ; жалость сперва овладѣла мною; негодованіе противъ человѣка, выражавшаго къ ней презрѣніе, сильнѣе заставило меня взять ея сторону, а потомъ... Потомъ я не знаю, какъ это случилось... Но Соня была права: я любилъ ее мучительною и страстною первою любовью человѣка, до двадцати пяти лѣтъ не знавшаго любви. Я хотѣлъ бы вырвать ее изъ ужаса, въ которомъ она терзалась, унести на своихъ рукахъ куда нибудь

далеко, убаюкать ее на своей груди, чтобы она могла забыться, оживить это убитое лицо улыбкой счастья... И Соня сказала мнѣ все это одной строчкой своего письма...

„Обо мнѣ не думай. Я не хочу сказать: забудь меня совсѣмъ, но только то, чтобы ты не думалъ о моемъ страданіи. Я не стану жаловаться на свое разбитое сердце — и знаешь, почему? Потому что оно вовсе не разбито. Я привыкла смотрѣть на тебя, какъ на брата и какъ на жениха: первое было настоящее, а второе, кажется, люди выдумали и навязали намъ. Я люблю тебя больше всѣхъ на свѣтѣ; я могла бы и не писать этого, потому что ты это знаешь самъ; но когда я прочла твое послѣднее письмо и сказала себѣ правду о тебѣ и Надеждѣ Николаевнѣ—повѣрь мнѣ, дорогой мой, что ни капли горечи не влилось въ мое чувство. Я поняла, что я для тебя сестра, а не жена; поняла это изъ своей радости за твое счастье—радости, смѣшанной со страхомъ за тебя. Я не скрываю этого страха; но дай Богъ тебѣ спасти ее, и быть счастливымъ, и сдѣлать ее счастливой.

„Изъ того, что ты писалъ мнѣ о Надеждѣ Николаевнѣ, я думаю, что она достойна твоей любви...“

Я читалъ эти строки, и новое радостное чувство понемногу овладѣвало мною. Я не раздѣлялъ страха Сони: чего было мнѣ бояться? Какъ и когда это случилось—я не знаю, но я повѣрилъ въ Надежду Николаевну. Вся ея прошлая жизнь, которой я не зналъ, ея паденіе—единственное, что я зналъ изъ ея жизни — казались мнѣ чѣмъ-то случайнымъ, не настоящимъ, какой-то ошибкой судьбы, въ которой Надежда Николаевна не была виновата. Что-то налетѣло на нее, закружило ее, сбило съ ногъ и повалило въ грязь, и я подниму ее изъ этой грязи, прижму къ сердцу и успокою около него эту изстрадавшуюся жизнь.

Сильный порывистый звонокъ заставилъ меня вздрогнуть. Не знаю самъ почему, не дождавшись, пока Алексѣевна, шлепая туфлями, прибредетъ, чтобы отворить дверь, я кинулся къ ней и отодвинулъ засовъ. Дверь распахнулась, и Семенъ

Ивановичъ, схвативъ меня обѣими руками, припрыгивалъ на мѣстѣ и кричалъ радостнымъ и визгливымъ голосомъ:

— Андрей, привелъ, привелъ, привелъ!..

За нимъ стояла темная фигура. Я кинулся къ ней, схватилъ ея дрожащія руки и началъ цѣловать ихъ, не слушая, что она говоритъ мнѣ взволнованнымъ, сдерживающимъ рыданія, голосомъ.

XIV.

Мы долго просидѣли втроемъ въ этотъ памятный для меня вечеръ. Мы говорили, шутили, смѣялись; Надежда Николаевна была спокойна и даже какъ будто весела. Я не разспрашивалъ Гельфрейха, гдѣ и какъ онъ ее нашелъ, и онъ самъ не заикнулся объ этомъ ни однимъ словомъ. Между мной и ею не было сказано ничего, что̀ намекало бы на то, что̀ я передумалъ и перечувствовалъ передъ ея приходомъ. Я не могу сказать, чтобы скромность или нерѣшительность заставляли меня сдерживаться: я просто считалъ это ненужнымъ и лишнимъ; я боялся растревожить ея израненную душу. Я былъ разговорчивъ и веселъ, какъ никогда; Гельфрейхъ изъявлялъ какой-то шумный восторгъ, сіялъ, болталъ безъ умолку и иногда своими выходками заставлялъ улыбаться Надежду Николаевну. Алексѣевна накрыла столъ и принесла самоваръ. Устроивъ все, какъ слѣдуетъ, она стала у притолки и, подпершись одну щеку рукою, нѣсколько минутъ смотрѣла на всѣхъ насъ и на то, какъ Надежда Николаевна заваривала чай и хозяйничала.

— Вамъ нужно что нибудь, Алексѣевна?—спросилъ я.

— Ничего, милый, мнѣ не нужно, такъ, посмотрѣть на васъ только... Ужъ и обидѣлся!—сказала она—нельзя старухѣ и постоять! Вотъ смотрю, какъ у васъ барышня замѣсто хозяйки. Такъ-то оно хорошо!

Надежда Николаевна опустила голову.

— Видишь ты, какъ славно. А то все мужчины да му
чины: и чай разливать, и все. Ужъ и мнѣ-то безъ хозяй
скучно стало, Андрей Николаевичъ, правду тебѣ сказать, у
ты извини меня...

Она повернулась и засѣменила своими ногами по коридо
Наша веселость пропала. Надежда Николаевна встала и
чала ходить по комнатѣ.

Моя картина стояла въ углу. За эти нѣсколько дней я
подходилъ къ ней, и краски успѣли высохнуть. Надеж
Николаевна долго смотрѣла на свое изображеніе и потом
обернувшись ко мнѣ, сказала съ улыбкой:

— Ну, теперь мы скоро кончимъ. Я не стану дѣла
вамъ такихъ перерывовъ. Она будетъ готова задолго до в
ставки.

— Какъ вы похожи!—вставилъ Сеничка.

Она вдругъ остановилась, какъ будто внезапная мыс
помѣшала ей говорить, и съ нахмуреннымъ лицомъ отош
отъ картины.

— Надежда Николаевна, что съ вами? Опять нахмур
лись!—сказалъ я.

— Ничего особеннаго, Андрей Николаевичъ. Я дѣйстви
тельно очень похожа на этой картинѣ. Мнѣ пришло въ го
лову, что меня знаютъ многіе, слишкомъ многіе... Я пре
ставляю себѣ, какъ это будетъ...

Она тяжело дышала, и слезы стояли у нея на глазахъ.

— Я думаю, сколько придется вамъ услышать толков
вопросовъ!—продолжала она.—Кто она? Откуда вы ее взяли
И будутъ спрашивать люди, которые знаютъ, кто я и отку
меня можно было взять...

— Надежда Николаевна...

— Вы не погнушались мною, Андрей Николаевичъ,
и мой милый Сеничка; вы посмотрѣли на меня, какъ на
ловѣка... Въ первый разъ за три года это случилось. Я
вѣрила себѣ... Знаете ли, отчего я ушла отъ васъ? Я д
мала (простите меня за это!), я думала, что вы, какъ и вс

думала: вотъ и я, мое лицо, мое тѣло пригодились къ чему будь нужному, и поэтому пришла къ вамъ. Картина подходила къ концу, вы были со мной вѣжливы и деликатны; я не отвыкла отъ такого отношенія и не вѣрила себѣ. Я не хотѣла испытать одного удара, потому что отъ этого удара мнѣ было бы очень больно, очень больно...

Она сѣла въ глубокое кресло и приложила платокъ къ глазамъ.

— Простите меня,—продолжала она.—Я не вѣрила вамъ, съ ужасомъ ждала той минуты, когда вы наконецъ посмотрите на меня тѣмъ взглядомъ, къ которому я уже слишкомъ привыкла за эти три года, потому что никто за эти три года не смотрѣлъ мнѣ въ лицо иначе...

Она остановилась; лицо ея судорожно исказилось и губы задрожали. Она смотрѣла въ дальній уголъ комнаты, какъ будто бы видѣла тамъ что-то.

— Былъ одинъ, только одинъ, который смотрѣлъ не такъ, какъ всѣ... и не такъ, какъ вы. Но я...

Мы съ Гельфрейхомъ слушали ее, затаивъ дыханіе.

— Но я убила его...—едва слышно выговорила она.

И страшный приступъ отчаянія овладѣлъ ею; вопль вырвался изъ измученной груди, и жалкія, дѣтскія рыданія огласили комнату.

XV.

Изъ дневника Безсонова. Я жду, что будетъ. Я былъ недавно тамъ и видѣлъ ихъ вмѣстѣ. Всей силы воли, какая у меня есть, было недостаточно, чтобы продолжать носить на себѣ надѣтую мною маску равнодушія и вѣжливости: я почувствовалъ, что если пробуду еще четверть часа, то сброшу ее и покажу имъ самого себя.

Эту женщину нельзя узнать. Я помню ее три года и привыкъ видѣть въ ней то, чѣмъ она была въ эти года. Теперь

я вижу происшедшую въ ней перемѣну, и не понимаю е
и не знаю, истинна ли эта перемѣна и не составляетъ
она только роли, искусно разыгрываемой привыкшимъ
обману себя и другихъ презрѣннымъ существомъ.

Я ничего не понялъ въ ихъ отношеніяхъ. Я не зна
даже, сдѣлалась ли она его любовницей. Думаю почему-то, ч
нѣтъ. И если это правда, то она искуснѣе, чѣмъ я думал
Къ чему она стремится? Сдѣлаться его женой?

Я перечиталъ эти нѣсколько строкъ и вижу, что все, н
писанное въ нихъ, неправда, кромѣ того, что она измѣнилас
Я самъ, три года тому назадъ, видѣлъ въ ней что-то не с
всѣмъ обыкновенное, рѣдко встрѣчающееся среди женщин
въ ея положеніи. Я самъ чуть не принялъ на себя роли спа
сителя, которую теперь великодушно разыгрываетъ Лопатин
Но я былъ опытнѣе тогда, чѣмъ она теперь: я зналъ, ч
изъ этого ничего не выйдетъ и отступилъ, даже не проб
сдѣлать что нибудь. Ея натура представляла, кромѣ общих
препятствій въ этомъ отношеніи, одно спеціальное: это —
какое-то страшное упорство и дерзость. Я увидѣлъ, что он
махнула рукой на все и воспротивится при первой же мое
попыткѣ. Я не сдѣлалъ этой попытки.

Сдѣлалъ ли ее Лопатинъ? Не знаю. Вижу только, ч
эту женщину нельзя узнать. Что она бросила свою прежню
жизнь — я знаю навѣрное. Она переѣхала въ какую-то н
морку, куда не пускаетъ ни Гельфрейха, ни этого спасител
ходитъ на сеансы къ нему и кромѣ того шьетъ. Она живет
очень бѣдно. Она похожа теперь на пьяницу, давшаго зарок
не пить. Выдержитъ ли она его? Поможетъ ли ей въ этом
этотъ сентиментальный артистъ, не видѣвшій жизни, ничег
въ ней не понимающій?

Вчера я написалъ матери подробное письмо. Она навѣр
ное сдѣлаетъ все такъ, какъ я предполагаю — женщины лю
бятъ вмѣшиваться въ подобныя исторіи — и передастъ вс
Софьѣ Михайловнѣ. Можетъ быть, хоть это спасетъ его.

Спасти его! Отчего я забочусь объ этомъ спасеніи

Первый разъ въ жизни я такъ глубоко задѣтъ чужими дѣлами. Не все ли мнѣ равно, сойдется ли Лопатинъ съ этой женщиной, или нѣтъ, вытащитъ ли ее изъ грязи, или самъ опустится до нея и въ безплодныхъ попыткахъ разобьетъ свою жизнь, зароетъ и заброситъ свой талантъ? Я не привыкъ рефлектировать, копаться въ своей душѣ; мнѣ въ первый разъ въ жизни приходится глубоко заглядывать въ нее и подробно анализировать свои чувства. Я не могу понять, что происходитъ въ моей душѣ теперь и что заставляетъ меня выходить изъ себя. Я думалъ (и теперь думаю), что только безкорыстное желаніе предотвратить крупное несчастіе человѣка, къ которому я расположенъ... Но внимательно вслушиваясь въ свои мысли, я вижу, что тутъ что-то не такъ. Отчего *я*, желая спасти его, думаю больше о ней? Отчего *ея* лицо, когда-то буйное и задорное, а теперь поникшее и кроткое, представляется моему воображенію каждую минуту? Отчего она, а не онъ, наполняетъ мою душу страннымъ чувствомъ, въ которомъ я никакъ не могу разобраться и въ которомъ преобладаютъ недобрыя чувства? Да, быть можетъ, это правда, я не столько хочу *ему* сдѣлать добро, сколько ей...

Чего? Зла? Нѣтъ, я не хочу сдѣлать ей зла. И между тѣмъ, я хотѣлъ бы оторвать ее отъ него, лишить ее этого покровительства, въ которомъ, быть можетъ, вся ея надежда... О, неужели я хотѣлъ бы статъ на мѣсто Лопатина!

Я долженъ видѣть ее сегодня. Вся эта исторія не даетъ мнѣ спокойно жить и спокойно трудиться. Моя работа идетъ вяло, и въ эти двѣ недѣли я не сдѣлалъ и столько, сколько въ прежнее время дѣлалъ въ два дня. Нужно какъ нибудь покончить этотъ вопросъ: объясниться, объяснить все самому себѣ... и что же потомъ?

Отступить? Никогда! Вся моя гордость подымается при одномъ такомъ предположеніи. Я нашелъ ее. Я могъ спасти, и не захотѣлъ. Теперь я хочу.

XVI.

Записки Лопатина. Гельфрейхъ побѣжалъ за докторомъ, жившимъ на одной съ нами лѣстницѣ; я принесъ воды, и скоро истерическій припадокъ прошелъ. Надежда Николаевна сидѣла въ углу дивана, на который мы съ Гельфрейхомъ перенесли ее, и только изрѣдка тихонько всхлипывала. Я боялся потревожить ее и ушелъ въ другую комнату.

Не найдя доктора, Семенъ Ивановичъ пришелъ назадъ и засталъ ее уже успокоившеюся.

Она собралась идти домой, и онъ изъявилъ желаніе проводить ее. Она пожала мою руку, смотря мнѣ прямо въ глаза своими, полными слезъ, глазами, и я видѣлъ на ея лицѣ какую-то боязливую благодарность.

Прошла недѣля, другая, мѣсяцъ. Наши сеансы продолжались. Сказать по правдѣ, я старался растянуть ихъ; я не знаю, понимала ли она, что я дѣлаю это съ намѣреніемъ, но только она часто торопила меня. Она стала спокойнѣе и иногда, правда рѣдко, бывала весела.

Она разсказала мнѣ всю свою исторію. Я долго думалъ надъ вопросомъ: занести ли мнѣ и эту исторію въ свои записки, или нѣтъ? Я рѣшаюсь умолчать о ней. Кто знаетъ, въ чьи руки можетъ попасть эта тетрадь? Если бы я навѣрное зналъ, что ее будутъ читать только Соня и Гельфрейхъ, то и тогда я не сталъ бы говорить о прошломъ Надежды Николаевны: они оба знаютъ это прошлое хорошо. Я попрежнему ничего не скрывалъ отъ сестры и въ письмахъ тогда же передалъ ей весь долгій и горькій разсказъ Надежды Николаевны. Гельфрейхъ зналъ все отъ нея самой. Слѣдовательно, имъ ея исторія въ моихъ запискахъ не нужна. Другіе же... я не хочу, чтобы ее судили другіе! Я узналъ всю ея жизнь, я былъ ея судьею и я простилъ ей все, что̀ по мнѣнію людей, нуждается въ прощеніи. Я слушалъ ея

тяжелую исповѣдь и разсказъ о ея бѣдствіяхъ, самыхъ страшныхъ бѣдствіяхъ, которыя только можетъ испытать женщина, и не обвиненіе шевелилось въ моей душѣ, а стыдъ и унизительное чувство человѣка, считающаго себя виновнымъ въ злѣ, о которомъ ему говорятъ. Послѣдній эпизодъ ея исторіи наполнилъ меня ужасомъ и жалостью: слова ея въ тотъ вечеръ, когда ее привелъ Гельфрейхъ, и съ нею сдѣлался припадокъ, были не пустыя слова. Она дѣйствительно убила человѣка, сама того не зная. Онъ хотѣлъ спасти ее, но не могъ. Его слабыя руки не въ силахъ были удержать ее на краю пропасти, и не удержавъ ея, онъ кинулся въ пропасть самъ. Онъ застрѣлился. Безъ слезъ, съ какою-то застывшею рѣшимостью она разсказывала мнѣ эту ужасную исторію, и я долго думалъ о ней. Можетъ ли воскреснуть ея разбитое сердце, заживутъ ли такія страшныя раны?

Но раны, казалось, заживали. Она становилась спокойнѣе и спокойнѣе, и улыбка уже не такъ рѣдко появлялась на ея лицѣ. Она приходила ко мнѣ каждый день и оставалась у насъ обѣдать. Послѣ обѣда мы долго сидѣли втроемъ, и чего-чего только не было переговорено въ эти тихіе часы между мною и Гельфрейхомъ! Надежда Николаевна только изрѣдка вставляла свое слово.

Я хорошо помню одинъ изъ этихъ разговоровъ. Гельфрейхъ, все еще не бросая своихъ котовъ, началъ усердно заниматься писаньемъ этюдовъ. Однажды онъ признался, что работаетъ такъ усердно только потому, что задумалъ картину, которую напишетъ, „можетъ быть, черезъ пять, а можетъ быть, и черезъ десять лѣтъ“.

— Отчего же такъ долго, Сеничка? — спросилъ я съ невольной улыбкой, при видѣ важности, съ какою онъ излагалъ свое намѣреніе.

— Оттого, что это серьезная вещь. Это дѣло жизни, Андрей. Ты думаешь, что только люди высокаго роста, съ прямою спиною и прямою грудью могутъ задумывать серьезныя вещи? О, вы, чванныя дылды! Вѣрь мнѣ, — продол-

жалъ онъ съ напускной важностью — что между этими горбами могутъ жить великія чувства, а въ этомъ длинномъ ящикѣ (онъ стукнулъ себя по темени) рождаются великія мысли.

— Эта великая мысль — секретъ? — спросила Надежда Николаевна.

Онъ посмотрѣлъ на насъ обоихъ и, помолчавъ, сказалъ:

— Нѣтъ, не секретъ. Я разскажу вамъ. Мысль эта пришла мнѣ въ голову уже давно. Слушайте. Какъ-то разъ Владиміръ Красное Солнышко разсердился за смѣлыя слова на Илью Муромца; приказалъ онъ взять его, отвести въ глубокіе погреба и тамъ запереть и землей засыпать. Отвели стараго казака на смерть. Но, какъ это всегда бываетъ, княгиня Евпраксѣюшка „въ тѣ поры догадлива была“: она нашла къ Ильѣ какой-то ходъ и посылала ему по просфорѣ въ день, да воды, да свѣчей восковыхъ, чтобы читать евангеліе. И евангеліе прислала.

Сеничка замолчалъ и задумался, и молчалъ такъ долго, что я наконецъ сказалъ:

— Ну, Семенъ Ивановичъ?

— Ну, вотъ и все. Конечно, скоро старый казакъ понадобился князю: пришли татары, и некому было выручить Кіевъ изъ бѣды. Пожалѣлъ тогда Владиміръ, горько пожалѣлъ. А Евпраксѣюшка послала тотчасъ же людей, чтобы шли въ подвалы глубокіе и выводили Илью за бѣлы руки. Зла Илья не помнилъ, сѣлъ на коня, ну, и такъ далѣе. Переколотилъ татаръ — вотъ и все.

— Гдѣ же тутъ картина, Семенъ Ивановичъ?

Семенъ посмотрѣлъ на меня съ выраженіемъ преувеличеннаго изумленія и всплеснулъ руками:

— Художникъ! художникъ! Да еще Лопатинъ, Андрей Лопатинъ! Да тутъ тридцать, триста, три тысячи картинъ, если хочешь, но я изъ нихъ выбираю одну и напишу ее; умру, а напишу! Развѣ ты не видишь, какъ онъ сидитъ въ погребѣ? Развѣ не представляется это тебѣ, какъ живое?

Ну, вотъ тебѣ: пещера, погребъ, вообще нора какая нибудь въ родѣ кіевскихъ пещеръ. Узкіе переходы, и въ стѣнѣ небольшая ниша. Пыль, плѣсень, что-то страшное, фантастическое отъ свѣта восковой свѣчи. И сидитъ Илья на приступкѣ, передъ нимъ аналой, и лежитъ на аналоѣ большая, старая святая книга съ толстыми, покоробившимися, пожелтѣвшими листами пергамента, и литеры въ ней черныя и красныя. Сидитъ старый казакъ въ одной рубахѣ и внимательно читаетъ, переворачивая непослушные листы книги большими мужицкими, неловкими руками, привыкшими къ поводу, и къ копью, и къ мечу, а то и просто къ дубинѣ. Много потрудились эти руки, и отъ сильной работы, что̀ всю жизнь онѣ дѣлали, дрожатъ, и ходенемъ ходятъ, и съ трудомъ переворачиваютъ листы святой книги... Эхъ, братъ — вдругъ перебилъ свою рѣчь Гельфрейхъ — одна бѣда: очковъ тогда не было. Если бы они были, непремѣнно Евпраксѣюшка ему бы очки послала, большія, круглыя, въ серебряной оправѣ. Вѣдь онъ дальнозорокъ долженъ былъ быть отъ жизни въ степи? Какъ вы думаете?

Мы оба расхохотались. Гельфрейхъ въ недоумѣніи посмотрѣлъ на насъ, потомъ какъ будто понялъ, чему мы смѣемся, и улыбнулся самъ. Но торжественное настроеніе его разсказа опять взяло верхъ, и онъ продолжалъ:

— Не стану вамъ говорить, какіе у него глаза: это описывать всего труднѣе. И въ глазахъ-то у меня все. Въ глазахъ и губахъ. Ну, такъ вотъ, онъ сидитъ и читаетъ. И раскрылъ онъ мѣсто о нагорной проповѣди, и читаетъ онъ о томъ, что, получивши ударъ, надо поставить себя подъ другой. И читаетъ онъ это мѣсто и не понимаетъ. Всю жизнь трудился Илья, не покладая рукъ; печенѣговъ, и татаръ, и разбойниковъ извелъ великое множество; разныхъ Тугариновъ Змѣевичей, и Идолищъ Поганыхъ, и поленицъ, и жидовиновъ побѣждалъ; вѣкъ прожилъ въ подвигахъ и на заставахъ, не пропуская злого въ крещеную Русь; и вѣрилъ онъ во Христа, и молился ему, и думалъ, что исполняетъ Христовы запо-

вѣди. Не зналъ онъ, что̀ написано въ книгѣ. И теперь онъ сидитъ и думаетъ: „Если ударятъ въ правую щеку, подставить лѣвую? Какъ же это такъ, Господи? Хорошо, если ударятъ меня, а если женщину обидятъ, или ребенка тронутъ. или наѣдетъ поганый, да начнетъ грабить и убивать Твоихъ. Господи, слугъ? Не трогать? Оставить, чтобы грабилъ и убивалъ? Нѣтъ, Господи, не могу я послушаться Тебя! Сяду я на коня, возьму копье въ руку и поѣду биться во имя Твое. ибо не понимаю я Твоей мудрости, а далъ Ты мнѣ въ душу голосъ, и я слушаю его, а не Тебя!..“ И рука его дрожитъ. и дрожитъ въ ней желтый листъ книги съ красными и черными литерами. Свѣча горитъ тусклымъ пламенемъ; надъ нею тонкая черная струйка копоти вьется и уходитъ въ темноту. И освѣщены этимъ свѣтомъ только Илья да книга. только ихъ двое...

Семенъ Иванычъ замолчалъ и задумался, откинувшись на спинку кресла и поднявъ глаза въ потолокъ.

— Да, — сказалъ я послѣ долгаго молчанія — это хорошая картина, Сеничка. Только это лучше разсказалось. чѣмъ напишется красками на полотнѣ. Какъ ты выразишь все это?

— Сдѣлаю, непремѣнно сдѣлаю, все сдѣлаю! — съ жаромъ воскликнулъ Сеничка. — Сдѣлаю! Поставлю этотъ вопросительный знакъ. Илья и Евангеліе! Что̀ общаго между ними? Для этой книги нѣтъ бо́льшаго грѣха, какъ убійство, а Илья всю жизнь убивалъ. И ѣздитъ-то онъ на своемъ жеребчикѣ, весь обвѣшанный орудіями казни — не убійства, а казни, ибо онъ казнитъ. А когда ему не хватаетъ этого арсенала, или его нѣтъ съ нимъ, тогда онъ въ шапку песку насыплетъ и имъ дѣйствуетъ. А вѣдь онъ святой. Видѣлъ я его въ Кіевѣ... .Лежитъ вмѣстѣ со всѣми, и справедливо...

— Все это такъ, Сеничка, но я не то хотѣлъ тебѣ сказать. Не выразятъ этого краски.

— Какъ не выразятъ? Вздоръ! Если и не выразятъ всего, такъ что-жъ за бѣда? Вопросъ поставятъ... Постой, постой! —

горячился Семенъ, видя, что я хочу перебить.—Ты скажешь, что вопросъ уже поставленъ? Вѣрно! Но этого мало. Нужно задавать его каждый день, каждый часъ, каждое мгновенье. Нужно, чтобы онъ не давалъ людямъ покоя. И если я думаю, что мнѣ удастся хоть десятку людей задать этотъ вопросъ картиной, я долженъ написать эту картину. Я давно думалъ объ этомъ, да вотъ эти все сбивали.

Онъ нагнулся, взялъ съ пола сидѣвшаго на коврѣ рыжаго кота, который, казалось, внимательно слушалъ его рѣчи, и посадилъ къ себѣ на колѣни.

— Развѣ ты не дѣлаешь того же самаго?—продолжалъ Сеничка.—Развѣ твоя картина не тотъ же вопросъ? Развѣ ты знаешь, хорошо ли поступила эта женщина? Ты заставишь думать людей, вотъ и все. И кромѣ эстетическаго чувства, которое возбуждаетъ всякая картина и которое одно, само по себѣ, стоитъ не очень-то много, не въ томъ ли смыслъ этого, надъ чѣмъ мы трудимся?

— Семенъ Ивановичъ, Сеничка, милый мой,—сказала вдругъ Надежда Николаевна—я никогда не видала васъ такимъ. Я всегда знала, что у васъ прекрасное сердце, но...

— Но вы думали, что я глупенькій горбунчикъ? Помните, разъ вы такъ назвали меня?

Онъ посмотрѣлъ на нее и, должно быть, замѣтивъ тѣнь на ея лицѣ, прибавилъ:

— Простите, что я вспоминаю. Эти годы нужно вычеркнуть изъ памяти. Все пойдетъ хорошо. Вѣдь правда, Андрей, все пойдетъ хорошо?

Я кивнулъ ему головой. Я былъ тогда очень счастливъ: я видѣлъ, что Надежда Николаевна понемногу успокоивается и—кто знаетъ?—можетъ быть, жизнь ея за послѣдніе три года сдѣлается для нея только далекимъ воспоминаніемъ, не пережитыми годами, а лишь смутнымъ и тяжелымъ сновидѣніемъ, послѣ котораго, открывъ глаза и видя, что ночь тиха, что въ комнатѣ все попрежнему, радуешься, что это былъ только сонъ.

XVII.

Зима проходила. Солнце подымалось все выше и выше и все сильнѣе пригрѣвало петербургскія улицы и кровли: повсюду изъ трубъ шумѣла вода, и талый ледъ съ громомъ выкатывался изъ нихъ. Показались дрожки, гремѣвшія по кое-гдѣ обнаженной мостовой съ новымъ, воскресшимъ для уха звукомъ.

Я кончилъ картину. Еще нѣсколько сеансовъ, и можно будетъ нести ее въ академію на судъ экспертовъ выставки. Гельфрейхъ заранѣе поздравлялъ меня съ успѣхомъ. Надежда Николаевна радовалась, глядя на картину, и на ея лицѣ я часто видѣлъ незнакомое мнѣ до сихъ поръ выраженіе спокойнаго удовольствія. Иногда она даже была весела и шутила, большею частью надъ Сеничкой; Сеничка же весь погрузился въ чтеніе множества книгъ, которыя ему нужно было прочесть, по его словамъ, для картины, въ разсматриваніе альбомовъ со всякими древностями и изученіе евангелія. Его коты разбѣжались; остался только одинъ непремѣнный рыжій котъ, да и тотъ жилъ на покоѣ, почти нетревожимый своимъ хозяиномъ для отправленія должности натурщика. Со времени нашего разговора объ Ильѣ Муромцѣ Семенъ Ивановичъ написалъ только одну картинку и, продавъ ее за полтораста рублей, считалъ себя обезпеченнымъ деньгами надолго, тѣмъ болѣе, что онъ, къ моему великому удивленію, нисколько не стѣснялся своимъ долговременнымъ пребываніемъ въ моемъ жилищѣ, гдѣ жизнь ему ничего не стоила.

Мы проводили втроемъ почти все свободное время. Гельфрейхъ досталъ гдѣ-то для Надежды Николаевны огромную рукопись, содержавшую въ себѣ проектъ какого-то важнаго лица—проектъ, по которому Россія должна была быть облагодѣтельствована въ самомъ непродолжительномъ времени, и

она переписывала ее щегольскимъ крупнымъ почеркомъ. Такъ какъ облагодѣтельствованіе Россіи требовало большой работы мысли, то проектъ исправлялся и дополнялся безъ конца и, кажется, и до сихъ поръ не приведенъ къ окончанію. Кто-то переписываетъ его теперь, послѣ Надежды Николаевны?

Какъ бы то ни было, она не бѣдствовала. Того, что она зарабатывала перепиской, и денегъ, получаемыхъ отъ меня за сеансы, ей хватало. Она жила въ той же самой маленькой комнаткѣ, куда переѣхала, скрывшись отъ насъ. Это была узенькая, низкая комната, съ однимъ окномъ, выходившая куда-то въ стѣну; кровать, комодъ, два стула и ломберный столъ, служившій и для письма, и для чая, и для обѣда, составляли все убранство. Когда приходили мы съ Сеничкой, онъ отправлялся къ хозяйкѣ въ кухню и выпрашивалъ себѣ табуретъ. Впрочемъ, эти посѣщенія случались рѣдко; непривѣтлива и мрачна была эта комната, съ которой Надежда Николаевна ни за что не хотѣла разстаться. Большею частью мы собирались у насъ съ Семеномъ Ивановичемъ, гдѣ было и просторно, и свѣтло.

Я ни разу не говорилъ съ нею о томъ, что происходило въ моей душѣ. Я былъ спокоенъ и счастливъ настоящимъ; я понималъ, что неосторожное прикосновеніе къ ея, быть можетъ, незакрывшимся душевнымъ ранамъ больно отзовется на ней. Я могъ потерять ее навсегда, если бы теперь же сталъ настаивать на приведеніи въ исполненіе своей завѣтной мысли, своего желанія и надежды. Можетъ быть, я не могъ бы держать себя такъ спокойно и сдерживаться такъ долго, если бы эта надежда не была такъ сильна. Я твердо вѣрилъ, что пройдутъ еще полгода, годъ, даже два (время не пугало меня), и она, успокоенная и выздоровѣвшая, увидитъ около себя твердую опору, на которую можно положиться, и сдѣлается моею на всю жизнь. Я даже не надѣялся, я прямо зналъ, что она будетъ моею женой.

Не знаю, видѣлъ ли это Безсоновъ... Онъ иногда прихо-

дилъ къ намъ, нарушая наше спокойствіе и внося неловкость въ наши разговоры. Повидимому, онъ былъ спокоенъ и хладнокровно смотрѣлъ на Надежду Николаевну. Она не заговаривала съ нимъ, хотя отвѣчала ему на его вопросы и слушала его длинные разговоры о самыхъ разнообразныхъ предметахъ. Онъ былъ очень начитанъ и говорилъ хорошо. Отчего-то мнѣ показалось, что онъ сдѣлался такимъ словоохотливымъ и поучительнымъ, чтобы скрывать отъ насъ что-то, прятавшееся за его гладкой рѣчью и не дававшее ему покоя. Послѣ я узналъ, что это было такъ, что своимъ внѣшнимъ спокойствіемъ онъ скрывалъ смертельную язву, убивавшую его, какъ тотъ французскій священникъ, слывшій неуязвимымъ и въ битвахъ носившій красный плащъ, чтобы не видно было крови, лившейся изъ его ранъ. Но когда я узналъ это, уже было поздно.

Зачѣмъ-то онъ опять перебрался къ капитану. Одинъ разъ я былъ у него. Новая комната его, какъ и прежняя, была вся завалена книгами, газетами и бумагами, но мнѣ показалось, что все это лежало въ большомъ безпорядкѣ и покрытое пылью, какъ будто давно уже никто не притрогивался къ работѣ въ этой комнатѣ. Дома онъ держалъ себя иначе, чѣмъ у насъ, въ присутствіи Надежды Николаевны; говорилъ мало и мрачно шагалъ изъ угла въ уголъ, покуривая папиросу. Я чувствовалъ, что я лишній, и рѣшился больше не ходить къ нему. Я спросилъ у него, между прочимъ, не зналъ ли онъ чего нибудь о капитанѣ, и правда ли, что капитанъ „боецъ Мѣхова и Опатова“.

— Сочиняетъ, — сказалъ Безсоновъ. — Онъ и полякъ-то не настоящій. Онъ перешелъ въ православіе когда-то очень давно, и я думаю, что онъ просто хочетъ импонировать молодымъ людямъ, когда открываетъ имъ свою мнимую тайну.

Я ушелъ отъ Безсонова. Скоро два случая открыли мнѣ глаза на его поведеніе.

Во первыхъ, Соня прислала мнѣ письмо съ описаніемъ разговора, происшедшаго между нею и матерью Безсонова.

Старушка иногда заходила къ ней въ институтъ въ пріемные часы, помня участіе, которое всегда принимала въ ней и въ ея сынѣ Сонина мать. По словамъ сестры, на этотъ разъ она пришла съ взволнованнымъ и таинственнымъ видомъ и послѣ нѣсколькихъ неловкихъ предисловій обнаружила, зачѣмъ именно явилась. Сергѣй Васильевичъ написалъ ей подробно обо всемъ, происходившемъ у насъ. Ему не хватало черной краски, чтобы представить положеніе дѣла въ такомъ мрачномъ видѣ, какъ ему хотѣлось. Онъ *не просилъ* мать передать содержаніе письма Сонѣ, но сама старушка, изъ чувства благодарности, рѣшила пойти и разсказать все, съ цѣлью предупредить ее, чтобы она дѣйствовала, пока еще можно спасти меня. Она была очень удивлена, узнавъ, что сестрѣ все уже извѣстно. Она волновалась. Ей, старой женщинѣ, стыдно было говорить молодой дѣвушкѣ, да еще институткѣ, о подобныхъ вещахъ; но что же дѣлать? Нужно спасти несчастнаго Андрюшу, во что бы то ни стало. На мѣстѣ Сони, она вышла бы изъ института и сейчасъ же поѣхала бы въ Петербургъ, чтобы открыть мнѣ глаза.

„Сергѣй Васильевичъ — писала Соня — играетъ во всей этой исторіи какую-то странную роль. Я не вѣрю, чтобы онъ написалъ все это матери, не зная, что она навѣрное передастъ все мнѣ и, скажу больше, не желая, чтобы она передала.

„Я пріѣду къ тебѣ въ Петербургъ, но только послѣ экзаменовъ. Если ты согласишься, мы проживемъ лѣто гдѣ нибудь на дачѣ, и я немного подготовлюсь, чтобы не было трудно на первыхъ порахъ на курсахъ“.

Это письмо разстроило меня, но полученное вслѣдъ за нимъ второе, длинное анонимное посланіе, переполнило чашу.

Въ высокопарныхъ кудреватыхъ выраженіяхъ неизвѣстный авторъ предостерегалъ меня противъ печальной судьбы всѣхъ молодыхъ людей, слѣпо предающихся своимъ страстямъ и не разбирающихъ достоинствъ и недостатковъ существа, съ которымъ намѣреваются вступить въ союзъ, „узы какового

легки и незамѣтны въ началѣ, но впослѣдствіи превращаются въ тяжкую цѣпь, подобную той, какую влачатъ несчастные каторжники". Такъ выражался неизвѣстный авторъ письма... „Вѣрьте благородному слову опытнаго старца, господинъ Лопатинъ, что неравенство въ бракѣ есть вещь весьма ужасная. Вещь эта лишила міръ многихъ великихъ талантовъ: прошу то помнить, господинъ Лопатинъ". Затѣмъ слѣдовалъ цѣлый обвинительный актъ противъ „Надежды", душа которой называлась даже „добычею пекла" (тутъ я уже рѣшительно узналъ руку капитана). Она обвинялась въ долгой развратной жизни, изъ которой могла бы выйти, если бы захотѣла, „ибо имѣетъ родственниковъ своей фамиліи, хотя весьма удаленныхъ, которые — я увѣренъ въ томъ — извлекли бы падшую изъ ея соціальнаго положенія, но по натуральной склонности сей особы къ разврату, она предпочитала погрязать въ болотѣ, изъ котораго вы тщетно имѣете намѣреніе спасти ее, при чемъ, безъ сомнѣнія, погубите и жизнь свою. и чудный вашъ талантъ". Она обвинялась въ убійствѣ человѣка, „также весьма порядочнаго господина, не отличавшагося талантами, подобно вамъ, но прекраснаго человѣка, получавшаго на службѣ пятьдесятъ рублей въ мѣсяцъ и имѣвшаго въ виду увеличить свое содержаніе, которое было бы весьма достаточно для жизни ихъ обоихъ, ибо на что же могло разсчитывать подобное существо, какъ эта презрѣнная. которая однако, по склонности своей, предпочла отказать этому молодому человѣку, господину Никитину, въ бракѣ, лишь бы продолжать гнусную жизнь свою?.."

Письмо было очень длинное; я не дочиталъ и бросилъ его въ топившуюся печку. Участіе Безсонова въ этомъ дѣлѣ для меня показалось несомнѣннымъ. Съ какой стати капитану заботиться о спасеніи моей души? Вся кровь бросилась мнѣ въ голову, и первымъ моимъ движеніемъ было бѣжать къ Безсонову. Я не знаю, что бы я съ нимъ сдѣлалъ. О капитанѣ я не думалъ: этотъ ренегатъ, скрывающій свое ренегатство, былъ уговоренъ, подпоенъ, можетъ быть, чѣмъ

нибудь запуганъ. Я схватилъ шляпу и былъ уже у дверей, когда опомнился. Лучше было прежде успокоиться и потомъ уже рѣшить, что дѣлать.

Я утвердился въ этомъ рѣшеніи и, въ ожиданіи Надежды Николаевна, попробовалъ писать кое-какіе аксесуары картины, думая успокоиться въ работѣ; но кисть прыгала по холсту, и глаза не видѣли красокъ. Я одѣлся, чтобы выйти и освѣжиться на воздухѣ; отворивъ дверь, я увидѣлъ, что передъ ней стоитъ Надежда Николаевна, блѣдная, задыхающаяся, съ выраженіемъ ужаса въ широко раскрытыхъ глазахъ.

XVIII.

Изъ дневника Безсонова. Тоска! Тоска эта преслѣдуетъ меня, гдѣ бы я ни былъ, что бы я ни дѣлалъ, чтобы забыть, утолить ее чѣмъ нибудь. Глаза мои наконецъ открылись: съ тѣхъ поръ, какъ я ничего не записываю въ этотъ дневникъ, прошелъ мѣсяцъ, и въ этотъ мѣсяцъ рѣшилось все. Куда дѣвалось это хваленое философское спокойствіе? Гдѣ мои безсонныя ночи, проводимыя за работой? Я, тотъ самый я, который гордился тѣмъ, что имѣю характеръ въ наше безхарактерное время, смятъ и уничтоженъ налетѣвшей бурей... Какой бурей? Развѣ это буря? Я презираю себя, презираю за свою прежнюю гордость, которая не помѣшала мнѣ склониться передъ пустой страстью; презираю за то, что позволилъ этому дьяволу въ образѣ женщины овладѣть своей душой. Да, если бы во мнѣ жила вѣра въ сверхъестественное, я не могъ бы иначе объяснить случившееся, какъ навожденіемъ.

Перечиталъ написанныя строчки... Что за унизительныя, жалкія жалобы! О, гдѣ ты, моя гордость, гдѣ сила воли, дававшая мнѣ возможность переламывать себя и жить не такъ, какъ живется, а какъ я хотѣлъ жить? Я унизился до мелочной интриги: написалъ письмо матери, и она, безъ со-

мнѣнія, разсказала все, что я хотѣлъ, его сестрѣ, и изъ этого ничего не вышло; въ нетерпѣніи, я заставилъ стараго дурака написать безграмотное письмо Лопатину—и изъ этого ничего не выйдетъ, я знаю это. Онъ броситъ письмо въ огонь, или, еще хуже, онъ покажетъ его ей, своей любовницѣ, и они вмѣстѣ будутъ читать его, потѣшаться надъ безграмотными изліяніями капитанской души и будутъ издѣваться надо мной, потому что поймутъ, что некому было, кромѣ меня, толкнуть капитана на эту пошлость.

Его любовницѣ! Такъ ли это?! Слово сорвалось у меня съ пера, но я до сихъ поръ не знаю, правда ли это? А если это не такъ? Если для меня есть еще надежда? Что заставляетъ меня думать, что онъ полюбилъ ее, кромѣ смутныхъ подозрѣній, возбужденныхъ безумной ревностью?

Три года тому назадъ все было возможно и легко. Я лгалъ въ этомъ самомъ дневникѣ, когда писалъ, что отказался онъ нея, потому что увидѣлъ невозможность спасти. Если не лгалъ, то обманывалъ себя. Ее легко было спасти: нужно было только наклониться и поднять ее. Я не захотѣлъ наклониться. Я понялъ это только теперь, когда мое сердце болитъ любовью къ ней. Любовью! Нѣтъ, это не любовь, это страсть безумная, это пожаръ, въ которомъ я весь горю. Чѣмъ потушить его?

Я пойду къ ней и поговорю съ нею. Я соберу всѣ свои силы и буду говорить спокойно. Пусть она выбираетъ между мною и имъ. Я скажу только правду, скажу, что ей нельзя разсчитывать на этого впечатлительнаго человѣка, который сегодня думаетъ о ней, а завтра его поглотитъ что нибудь другое, и она будетъ забыта. Иду! Такъ или иначе, а это нужно кончить. Я слишкомъ измученъ, и больше не могу...

Въ тотъ же день.

Я былъ у нея. Сейчасъ иду къ нему.

Это послѣднія строки, которыя будутъ написаны въ этомъ дневникѣ. Ничто не можетъ удержать меня. Нѣтъ у меня власти надъ собою...

XIX.

Записки Лопатина. Зачѣмъ тянуть дольше? Не лучше ли кончить свои воспоминанія на этихъ строкахъ.

Нѣтъ, я напишу до конца. Все равно: если я и брошу перо и эту тетрадь, этотъ ужасный день будетъ переживаться мною въ тысячный разъ; въ тысячный разъ я испытаю ужасъ и мученія совѣсти и муки потери; въ тысячный разъ сцена, о которой я сейчасъ буду писать, пройдетъ передъ моими глазами во всѣхъ своихъ подробностяхъ, и каждая изъ этихъ подробностей ляжетъ на сердце новымъ страшнымъ ударомъ. Буду продолжать и доведу до конца.

Я привелъ Надежду Николаевну въ комнату; она едва стояла на ногахъ и дрожала, какъ въ лихорадкѣ. Она смотрѣла на меня все тѣмъ же испуганнымъ взглядомъ и въ первую минуту не могла сказать слова. Я усадилъ ее и далъ ей воды.

— Андрей Николаевичъ, берегитесь. Заприте двери... не впускайте никого. Онъ придетъ сейчасъ.

— Кто, Безсоновъ?

— Заприте дверь,—шептала она.

Гнѣвъ овладѣлъ мною. Ему мало безыменныхъ писемъ; онъ дошелъ до насилія.

— Что онъ сдѣлалъ съ вами? Гдѣ вы его видѣли? Успокойтесь. Выпейте еще воды и разскажите. Гдѣ вы его видѣли?

— Онъ былъ у меня...

— Въ первый разъ?

— Нѣтъ, не въ первый. Онъ былъ еще два раза. Я не хотѣла говорить вамъ, чтобы не разстраивать васъ. Я просила его перестать ходить ко мнѣ; я сказала, что мнѣ тяжело видѣть его. Онъ молча ушелъ и не былъ недѣли три. Сегодня онъ пришелъ рано и ждалъ, пока я одѣнусь...

Она замолчала; ей было трудно продолжать.

— Что-жъ дальше?

— Я никогда не видѣла его такимъ. Онъ говорилъ сначала спокойно. Онъ говорилъ о васъ. Онъ не говорилъ о васъ ничего дурного; сказалъ только, что вы человѣкъ впечатлительный и увлекающійся и что я не могу надѣяться на васъ. Онъ просто сказалъ, что вы меня бросите, потому что вамъ скоро надоѣстъ возиться со мной...

Она замолчала и расплакалась. О, никогда такія любовь и жалость не овладѣвали мной! Я взялъ ея холодныя руки и цѣловалъ ихъ. Я былъ безумно счастливъ: слова безъ удержу полились изъ устъ моихъ. Я сказалъ, что я люблю ее на всю жизнь, что она должна быть моей женой, что она видитъ и знаетъ, что Безсоновъ неправъ. Я сказалъ ей тысячи нелѣпыхъ словъ, счастливыхъ словъ, по большей части не имѣвшихъ никакого внѣшняго смысла, но она поняла ихъ. Я видѣлъ ея милое лицо, озаренное счастьемъ, на моей груди, это было совсѣмъ новое, немного чужое лицо, не то лицо съ тайнымъ мученьемъ въ чертахъ, которое я привыкъ видѣть.

Она улыбалась и плакала, и цѣловала мои руки, и прижималась ко мнѣ. И въ ту минуту во всемъ мірѣ не было ничего, кромѣ насъ двоихъ. Она говорила что-то о своемъ счастьѣ и о томъ, что она полюбила меня съ первыхъ же дней нашего знакомства и убѣгала отъ меня, испугавшись этой любви; что она не стóитъ меня, что ей страшно связывать мою судьбу съ своей; и снова обнимала меня и снова плакала счастливыми слезами. Наконецъ она опомнилась.

— А Безсоновъ?—вдругъ сказала она.

— Пусть приходитъ Безсоновъ, — отвѣтилъ я. — Какое намъ съ вами дѣло до Безсонова?

— Постойте, я кончу, что̀ начала говорить о немъ. Да, онъ говорилъ о васъ. Потомъ о себѣ. Онъ сказалъ, что онъ гораздо болѣе надежная опора, чѣмъ вы. Онъ напомнилъ мнѣ, что три года тому назадъ я любила его и пошла бы за нимъ. И когда я сказала, что онъ обманываетъ самъ себя, вся его гордость вспыхнула, и онъ до такой степени вышелъ изъ себя, что бросился на меня... Постойте, — сказала На-

дежда Николаевна, схвативъ меня за руку, когда увидѣла, что я вскочилъ на ноги—онъ не тронулъ меня... Мнѣ жалко его, Андрей Николаевичъ... онъ у меня въ ногахъ валялся, этотъ самолюбивый человѣкъ! Если бы вы видѣли это!

— Что же вы сказали ему?

— Что же было говорить? Я молчала. Я сказала только, что не люблю его. И когда онъ спросилъ — не потому ли, что люблю васъ, я сказала ему правду... Тогда съ нимъ случилось что-то такое страшное, чего я не могу понять. Онъ кинулся на меня, обнялъ меня, прошепталъ мнѣ: „прощай, прощай!“ и пошелъ къ двери. Никогда я не видала такого ужаснаго лица. Я упала на стулъ почти безъ силъ. У двери онъ обернулся, и странно такъ засмѣялся, и говоритъ: „впрочемъ, я еще увижусь съ тобой и съ нимъ“. И лицо его было такъ ужасно...

Она вдругъ перестала говорить и страшно поблѣднѣла, устремивъ глаза во входу въ мастерскую. Я обернулся. Въ дверяхъ стоялъ Безсоновъ.

— Не ждали?—сказалъ онъ, заикаясь.—Я не обезпокоилъ васъ и прошелъ съ черной лѣстницы.

Я вскочилъ на ноги и сталъ противъ него. И мы стояли такъ долго, мѣряя другъ друга глазами. Онъ былъ дѣйствительно способенъ навести ужасъ. Блѣдный, съ красными воспаленными глазами, съ ненавистью устремленными на меня, онъ ничего не говорилъ; его тонкія губы только шептали что-то, дрожа. Мнѣ вдругъ стало жаль его.

— Сергѣй Васильевичъ, зачѣмъ вы пришли? Если вы хотите говорить со мной, пойдите и успокойтесь.

— Я спокоенъ, Лопатинъ... Я боленъ, но спокоенъ. Я уже рѣшилъ все, и мнѣ не отъ чего волноваться.

— Зачѣмъ же вы пришли?

— Затѣмъ, чтобы сказать вамъ нѣсколько словъ. Вы думаете быть счастливымъ съ ней? — онъ указалъ рукою на Надежду Николаевну. — Вы не будете счастливы! Я не позволю вамъ этого.

— Уйдите отсюда, — сказалъ я, дѣлая страшныя усилія, чтобы говорить спокойно.—Пойдите, отдохните. Вы сами сказали, что больны.

— Это мое дѣло. Вы слушайте что я вамъ скажу. Я ошибся... Я виноватъ. Я люблю ее. Отдайте ее мнѣ.

„Онъ сошелъ съ ума!“ мелькнуло у меня въ головѣ.

— Я не могу жить безъ нея, — продолжалъ онъ глухимъ и хриплымъ голосомъ.—Я не выпущу васъ, пока вы не скажете мнѣ „да!“

— Сергѣй Васильевичъ!

— И вы скажете мнѣ это „да“, или...

Я взялъ его за плечи и повернулъ къ двери, онъ шелъ послушно. Но подойдя къ двери, вмѣсто того, чтобы взяться за ручку, онъ повернулъ ключъ, сильнымъ движеніемъ оттолкнулъ меня и сталъ въ угрожающую позу. Надежда Николаевна вскрикнула.

Я увидѣлъ, какъ онъ переложилъ ключъ въ лѣвую руку, а правую опустилъ въ карманъ. Когда онъ вынулъ ее, въ ней блестѣлъ предметъ, которому я тогда не успѣлъ дать названія. Но видъ этого предмета ужаснулъ меня. Не помня себя, я схватилъ стоящее въ углу копье, и когда онъ направилъ револьверъ на Надежду Николаевну, я съ дикимъ воплемъ кинулся на него. Все покатилось куда-то съ страшнымъ грохотомъ. . . . . .

. . . . . .

Тогда началась казнь.

Я не знаю, сколько времени я лежалъ безъ сознанія. Когда я очнулся, я не помнилъ ничего. То, что я лежалъ на полу, то, что я видѣлъ сквозь какой-то странный сизый туманъ потолокъ, то, что я чувствовалъ, что въ груди у меня есть что-то, мѣшающее мнѣ двинуться и сказать слово — все это не удивило меня. Казалось, что все это такъ и нужно для какого-то дѣла, которое нужно сдѣлать и котораго я никакъ не могъ вспомнить.

Картина! Да. Шарлотта Кордэ и Илья Муромецъ... Онъ

сидитъ и читаетъ, а она переворачиваетъ ему листы и дико смѣется... Какіе пустяки!.. Это не то; это не тотъ вопросъ, о которомъ говоритъ Гельфрейхъ.

Я дѣлаю движеніе и чувствую, что мнѣ очень больно. Конечно, это такъ нужно, иначе и нельзя.

Тишина. Ожившая муха звенитъ въ воздухѣ и потомъ бьется въ стекло. Рамы еще не вынуты, но сквозь нихъ доходитъ веселое дребезжаніе дрожекъ. Дымокъ расходится передъ моими глазами—странный сизый дымокъ, и я ясно вижу на потолкѣ грубую лѣпную розетку вокругъ крюка. Я думаю, что это очень странный орнаментъ; я никогда не замѣчалъ его прежде. И кто-то касается моей руки; я повертываю голову и вижу чью-то руку, маленькую, нѣжную, бѣлую, лежащую на полу. Я не могу достать ея, и мнѣ очень жаль, потому что это рука Надежды Николаевны, которую я люблю больше всего на свѣтѣ...

И вдругъ яркій лучъ сознанія озаряетъ меня и я сразу припоминаю все, что̀ случилось... Онъ убилъ ее.

Не можетъ быть! Не можетъ быть! Она жива. Она только ранена. Помогите! Помогите! Я кричу, но звука не слышно. Только какое-то клокотаніе въ груди душитъ и давитъ меня и розовая пѣна клубится на моихъ губахъ. Онъ убилъ и меня.

Собравъ силы, я приподнялся и увидѣлъ ея лицо. Глаза ея были закрыты, и она была неподвижна. Я чувствовалъ, какъ волосы шевелятся на моей головѣ. Я хотѣлъ бы лишиться сознанія. Я упалъ къ ней на грудь и покрывалъ поцѣлуями это лицо, полчаса тому назадъ полное жизни и счастія, довѣрчиво прижимавшееся къ моей груди. Теперь оно было неподвижно и строго; маленькая ранка надъ глазомъ уже не сочилась кровью. Она была мертва.

Когда выломали дверь, и Семенъ Ивановичъ бросился ко мнѣ, я почувствовалъ, что меня оставляютъ послѣднія силы. Меня подняли и положили на диванъ. Я видѣлъ, какъ взяли

и вынесли ее, я хотѣлъ крикнуть, просить, умолять, чтобы этого не дѣлали, чтобы оставили ее здѣсь, подлѣ меня. Но я не могъ крикнуть; я только беззвучно шепталъ, пока докторъ осматривалъ мою, прострѣленную на вылетъ, грудь.

Вынесли и его. Онъ лежалъ съ суровымъ и страшнымъ лицомъ, залитымъ кровью, волной хлынувшей изъ смертельной раны на головѣ.

Я кончаю. Что еще прибавлять!

Соня пріѣхала сейчасъ же, вызванная телеграммой Семена Ивановича. Меня лечили долго и упорно, и продолжаютъ лечить. Соня и Гельфрейхъ увѣрены, что я останусь живъ. Они хотятъ везти меня за границу и надѣются на это путешествіе, какъ на каменную гору.

Но я чувствую, что мнѣ осталось уже немного дней. Рана моя закрылась, но грудь разрушается другой болѣзнью: я знаю, что у меня чахотка. И третья, еще болѣе страшная болѣзнь помогаетъ ей. Я ни на минуту не забываю Надежду Николаевну и Безсонова; страшныя подробности послѣдняго дня вѣчно стоятъ передъ моимъ душевнымъ взоромъ, и какой-то голосъ, не переставая, нашептываетъ мнѣ на ухо о томъ, что я убилъ человѣка.

Меня не судили. „Дѣло“ прекращено: было признано, что я убилъ, защищаясь.

Но для человѣческой совѣсти нѣтъ писанныхъ законовъ, нѣтъ ученія о невмѣняемости, и я несу за свое преступленіе казнь. Мнѣ недолго уже нести ее. Скоро Господь проститъ меня, и мы встрѣтимся всѣ трое тамъ, гдѣ наши страсти и страданія покажутся намъ ничтожными и потонутъ въ свѣтѣ вѣчной любви.

Лягушка-Путешественница.

СКАЗКА.

Жила-была на свѣтѣ лягушка-квакушка. Сидѣла она въ болотѣ, ловила комаровъ да мошку, весною громко квакала вмѣстѣ со своими подругами. И весь вѣкъ она прожила бы благополучно — конечно, въ томъ случаѣ, если бы не съѣлъ ее аистъ. Но случилось одно происшествіе.

Однажды она сидѣла на сучкѣ высунувшейся изъ воды коряги и наслаждалась теплымъ мелкимъ дождикомъ.

„Ахъ, какая сегодня прекрасная мокрая погода!—думала она.—Какое это наслажденіе жить на свѣтѣ!“

Дождикъ моросилъ по ея пестренькой лакированной спинкѣ; капли его подтекали ей подъ брюшко и за лапки, и это было восхитительно-пріятно, такъ пріятно, что она чуть-чуть не заквакала; но, къ счастью, вспомнила, что была уже осень и что осенью лягушки не квакаютъ—на это есть весна—и что, заквакавъ, она можетъ уронить свое лягушечье достоинство. Поэтому она промолчала и продолжала нѣжиться.

Вдругъ тонкій, свистящій, прерывистый звукъ раздался въ воздухѣ. Есть такая порода утокъ: когда онѣ летятъ, то ихъ крылья, разсѣкая воздухъ, точно поютъ, или, лучше сказать, посвистываютъ; фью-фью-фью-фью раздается въ воздухѣ, когда летитъ высоко надъ вами стадо такихъ утокъ, а ихъ

самихъ даже и не видно—такъ онѣ высоко летятъ. На этотъ разъ утки, описавъ огромный полукругъ, спустились и сѣли какъ разъ въ то самое болото, гдѣ жила лягушка.

— Кря, кря! — сказала одна изъ нихъ. — Летѣть еще далеко; надо покушать.

И лягушка сейчасъ же спряталась. Хотя она и знала, что утки не станутъ ѣсть ее, большую и толстую квакушку, но все-таки, на всякій случай, нырнула подъ корягу. Однако, подумавъ, она рѣшилась высунуть изъ воды свою лупоглазую голову: ей было очень интересно узнать, куда летятъ утки.

— Кря, кря!—сказала другая утка—ужъ холодно становится! Скорѣй на югъ! скорѣй на югъ!

И всѣ утки стали громко крякать въ знакъ одобренія.

— Госпожи утки, — осмѣлилась сказать лягушка — что такое югъ, на который вы летите? Прошу извиненія за безпокойство.

И утки окружили лягушку. Сначала у нихъ явилось желаніе съѣсть ее, но каждая изъ нихъ подумала, что лягушка слишкомъ велика и не пролѣзетъ въ горло. Тогда всѣ онѣ начали кричать, хлопая крыльями:

— Хорошо на югѣ! Теперь тамъ тепло! Тамъ есть такія славныя, теплыя болота! Какіе тамъ червяки! Хорошо на югѣ!

Онѣ такъ кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она убѣдила ихъ замолчать и попросила одну изъ нихъ, которая казалась ей толще и умнѣе всѣхъ, объяснить ей, что такое югъ. И когда та разсказала ей о югѣ, то лягушка пришла въ восторгъ, но въ концѣ все-таки спросила, потому что была осторожна:

— А много ли тамъ мошекъ и комаровъ?

— О! цѣлыя тучи!—отвѣчала утка.

— Ква!—сказала лягушка, и тутъ же обернулась посмотрѣть, нѣтъ ли здѣсь подругъ, которыя могли бы услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она ужъ никакъ не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разикъ:

— Возьмите меня съ собой!

— Это мнѣ удивительно! — воскликнула утка.—Какъ мы тебя возьмемъ? У тебя нѣтъ крыльевъ.

— Когда вы летите?—спросила лягушка.

— Скоро, скоро! — закричали всѣ утки.—Кря, кря! кря! кря! Тутъ холодно! На югъ! на югъ!

— Позвольте мнѣ подумать только пять минутъ, — сказала лягушка — я сейчасъ вернусь, я навѣрное придумаю что нибудь хорошее.

И она шлепнулась съ сучка, на который было снова влѣзла, въ воду, нырнула въ тину и совершенно зарылась въ ней, чтобы посторонніе предметы не мѣшали ей размышлять. Пять минутъ прошло, утки совсѣмъ было собрались летѣть, какъ вдругъ изъ воды, около сучка, на которомъ сидѣла лягушка, показалась ея морда, и выраженіе этой морды было самое сіяющее, на какое только способна лягушка.

— Я придумала! я нашла!—сказала она:—пусть двѣ изъ васъ возьмутъ въ свои клювы прутикъ, а я прицѣплюсь за него посерединѣ. Вы будете летѣть, а я ѣхать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будетъ превосходно.

Хотя молчать и тащить хотя бы и легкую лягушку три тысячи верстъ не Богъ знаетъ какое удовольствіе, но ея умъ привелъ утокъ въ такой восторгъ, что онѣ единодушно согласились нести ее. Рѣшили перемѣняться каждые два часа, и такъ какъ утокъ было, какъ говорится въ загадкѣ, столько, да еще столько, да полстолько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хорошій, прочный прутикъ, двѣ утки взяли его въ клювы, лягушка прицѣпилась ртомъ за середину, и все стадо поднялось на воздухъ. У лягушки захватило духъ отъ страшной высоты, на которую ее подняли; кромѣ того, утки летѣли неровно и дергали прутикъ; бѣдная квакушка болталась въ воздухѣ, какъ бумажный паяцъ, и изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлеп-

нуться на землю. Однако она скоро привыкла къ своему ложенію и даже начала осматриваться. Подъ нею быстро носились поля, луга, рѣки и горы, которые ей, впрочем было очень трудно разсматривать, потому что, вися на п тикѣ, она смотрѣла назадъ и немного вверхъ, но кое-что таки видѣла, и радовалась, и гордилась.

„Вотъ какъ я превосходно придумала“, думала она про себ

А утки летѣли вслѣдъ за несшей ее передней парой, кр чали и хвалили ее.

— Удивительно умная голова наша лягушка, — говорил онѣ—даже между утками мало такихъ найдется.

Она едва удерживалась, чтобы не поблагодарить ихъ. но вспомнивъ, что, открывъ ротъ, она свалится съ страшной высоты, еще крѣпче стиснула челюсти и рѣшилась терпѣть. Она болталась такимъ образомъ цѣлый день: несшія ее утки перемѣнялись на лету, ловко подхватывая прутикъ; это было очень страшно: не разъ лягушка чуть было не квакнула отъ страха, но нужно было имѣть присутствіе духа, и она его имѣла. Вечеромъ вся компанія остановилась въ какомъ-то болотѣ; съ зарею утки съ лягушкой снова пустились въ путь, но на этотъ разъ путешественница, чтобы лучше видѣть что дѣлается на пути, прицѣпилась спинкой и головой впередъ, а брюшкомъ назадъ. Утки летѣли надъ сжатыми полями, надъ пожелтѣвшими лѣсами и надъ деревнями, полными хлѣба въ скирдахъ; оттуда доносился людской говоръ и стукъ цѣповъ, которыми молотили рожь. Люди смотрѣли на стаю утокъ и, замѣчая въ ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушкѣ ужасно захотѣлось летѣть поближе къ землѣ, показать себя и послушать, что объ ней говорятъ. На слѣдующемъ отдыхѣ она сказала:

— Нельзя ли намъ летѣть не такъ высоко? У меня отъ высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мнѣ вдругъ сдѣлается дурно.

И добрыя утки обѣщали ей летѣть пониже. На слѣдующій день онѣ летѣли такъ низко, что слышали голоса:

— Смотрите, смотрите! — кричали дѣти въ одной деревнѣ—утки лягушку несутъ.

Лягушка услышала это, и у нея прыгало сердце.

— Смотрите, смотрите! — кричали въ другой деревнѣ взрослые:—вотъ чудо-то!

„Знаютъ ли они, что это придумала я, а не утки?“—подумала квакушка.

— Смотрите, смотрите! — кричали въ третьей деревнѣ.— Экое чудо! И кто это придумалъ такую хитрую штуку?

Тутъ лягушка ужъ не выдержала и, забывъ всякую осторожность, закричала изо всей мочи:

— Это я! я!

И съ этимъ крикомъ она полетѣла вверхъ тормашками на землю. Утки громко закричали; одна изъ нихъ хотѣла подхватить бѣдную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всѣми четырьмя лапками, быстро падала на землю; но такъ какъ утки летѣли очень быстро, то и она упала не прямо на то мѣсто, надъ которымъ закричала и гдѣ была твердая дорога, а гораздо дальше, что̀ было для нея большимъ счастіемъ, потому что она бултыхнулась въ грязный прудъ на краю деревни.

Она скоро вынырнула изъ воды и тотчасъ же опять сгоряча закричала во все горло:

— Это я! Это я придумала!

Но вокругъ нея никого не было. Испуганныя неожиданнымъ плескомъ, мѣстныя лягушки всѣ попрятались въ воду. Когда онѣ начали показываться изъ нея, то съ удивленіемъ смотрѣли на новую.

И она разсказала имъ чудную исторію о томъ, какъ она думала всю жизнь и наконецъ изобрѣла новый необыкновенный способъ путешествія на уткахъ; какъ у нея были свои собственныя утки, которыя носили ее, куда ей было угодно; какъ она побывала на прекрасномъ югѣ, гдѣ такъ, такъ хорошо, гдѣ такія прекрасныя, теплыя болота и такъ много мошекъ и всякихъ другихъ съѣдобныхъ насѣкомыхъ.

— Я заѣхала къ вамъ посмотрѣть, какъ вы живете, — сказала она, — я пробуду у васъ до весны, пока не вернут мои утки, которыхъ я отпустила.

Но утки ужъ никогда не вернулись. Онѣ думали, ч квакушка разбилась о землю, и очень жалѣли ее.

Сказаніе о гордомъ Аггеѣ [1]).

Жилъ въ нѣкоторой странѣ правитель; звали его Аггей. Былъ онъ славенъ и силенъ: далъ ему государь полную власть надъ страною; враги его боялись, друзей у него не было, а народъ во всей области жилъ смирно, зная силу своего правителя. И возгордился правитель, и сталъ онъ думать, что никого нѣтъ на свѣтѣ сильнѣе и мудрѣе его. Жилъ онъ пышно; множество у него было богатства и слугъ, съ которыми онъ никогда не говорилъ: считалъ ихъ недостойными. Съ женою своею жилъ въ ладу, но держалъ и ее строго, такъ что не смѣла она сама заговаривать, а ждала, пока не спроситъ ее, или не скажетъ ей что нибудь мужъ.

Жилъ такъ Аггей одинъ, точно на высокой башнѣ стоялъ. Снизу толпы народа на него смотрятъ, а онъ не хочетъ никого знать и стоитъ на своемъ низенькомъ помостѣ; думаетъ, что одно это мѣсто его достойно: хоть одиноко, да высоко.

Пошелъ въ праздникъ Аггей въ церковь. Пришелъ онъ туда съ женою своею въ пышныхъ одеждахъ, мантіи на нихъ были златотканныя, пояса съ дорогими каменьями, а надъ ними несли парчевой балдахинъ. И впереди ихъ, и сзади шли воины съ мечами и сѣкирами, и довели ихъ до царскаго

[1]) Пересказъ старинной легенды.

мѣста, откуда имъ слушать службу. Вокругъ нихъ стали н чальники и чиновники. И слушалъ Аггей службу, и дума по-своему, какъ ему казалось, вѣрно или невѣрно говорит въ святомъ писаніи.

Началъ протопопъ книгу читать и дошелъ онъ до то мѣста, гдѣ написано: „богатые обнищаютъ, а нищіе обог тѣютъ“. Услышалъ Аггей такія слова и разгнѣвался.

— Что ты, — говоритъ — попъ, вздумалъ читать таку ложь? Не знаешь развѣ, какъ славенъ я и богатъ? Ка мнѣ обнищать, а нищему обогатѣть противъ меня?

Протопопъ же не слушалъ его и дальше сталъ чита книгу, и службу отслужилъ до конца, не отвѣчая Аггею.

И разъярился правитель: протопопа велѣлъ заковать в кандалы и посадить въ темницу, а листъ, на которомъ т слова были написаны, велѣлъ изъ книги выдрать.

Отвели протопопа въ темницу и листъ выдрали, а пр витель Аггей пошелъ въ свои палаты пировать, и на пи пилъ, ѣлъ и веселился.

Шелъ за городомъ одинъ юноша и увидѣлъ оленя, тако росласго и красиваго, что до тѣхъ поръ и не видывалъ. И з хотѣлъ онъ угодить правителю: побѣжалъ въ городъ, пришел въ его палаты и сказалъ объ оленѣ слугамъ. Донесли о том Аггею, и приказалъ онъ собираться на охоту.

Выѣхала охота въ поле; увидали оленя и поскакали к нему. Стоитъ олень, голову поднялъ, на охоту оглядывается будто ждетъ чего-то. Не видалъ такого звѣря и самъ Аггей рослый и гладкій, морда тонкая, умная; рога, какъ дере вѣтвистое, отъ конца до конца цѣлая сажень. Шерсть гн дая, блеститъ, какъ лощеная; ляжки бѣлыя, какъ снѣг Скачетъ къ нему Аггей и дивится, что не уходитъ олень. на него все смотритъ большими глазами, точно сказать чт то хочетъ. Подскакалъ Аггей, думалъ ужъ копье метну повернулся звѣрь, взмахнулъ вѣтвистыми рогами, прянул первымъ скокомъ на три сажени и пошелъ по полю: ко былъ у Аггея такой, что и цѣны ему не было, а сталъ отста

кать. Обернулся правитель на своихъ охотниковъ, а ихъ уже едва и видно; посмотрѣлъ впередъ на оленя и видитъ, что звѣрь пошелъ тише.—„Ну, — думаетъ — догоню!“ Скачетъ во всю конскую мочь и видитъ — все ближе и ближе къ нему бѣлыя ляжки оленьи мелькаютъ. Только хотѣлъ-было копье бросить—олень обернулъ голову, наддалъ—и опять Аггей далеко отъ него. Охоты ужъ давно не видно, и скачутъ въ чистомъ полѣ только олень да Аггей на конѣ.

Гонялся онъ за нимъ полдня; видитъ наконецъ, что олень къ рѣкѣ бѣжитъ. „Ну, — думаетъ — если направо пойдетъ — пропалъ, а налѣво — мой!“ Налѣво рѣка луку сдѣлала, и некуда звѣрю была оттуда уйти: сзади охотникъ, спереди рѣка широкая, ни человѣку, ни звѣрю не переплыть. Повернулъ олень налѣво; задрожало у Аггея сердце отъ радости. Скачетъ, а самъ думаетъ: „скоро рѣка, некуда тебѣ уйти“. Подскакалъ олень къ берегу, а недалеко отъ берега островокъ небольшой, а на островѣ кусты густые и лѣсъ мелкій. Прыгнулъ олень со всего размаха въ воду, окунулся, вынырнулъ и поплылъ на островъ. Подскакалъ Аггей и видитъ, что звѣрь въ кусты ушелъ. Погналъ и онъ коня въ воду.

Ступилъ конь въ воду, шагнулъ три раза и ушелъ въ воду по шею, а дальше нога и дна не достаетъ. Повернулъ Аггей назадъ на берегъ, думаетъ: „Олень отъ меня и такъ не уйдетъ, а на такой быстринѣ, пожалуй, и коня утопишь“. Слѣзъ съ коня, привязалъ его къ кусту, снялъ съ себя дорогое платье и пошелъ въ воду. Плылъ, плылъ, едва не унесло. Наконецъ, попробовалъ ногой — дно. „Ну, — думаетъ — сейчасъ я его достану“—и пошелъ въ кусты.

Разгнѣвался Господь на Аггея. Призвалъ Онъ къ себѣ ангела и повелѣлъ ему, принявъ на себя видъ Аггеевъ, одѣться въ его платье, сѣсть на коня и ѣхать въ городъ. И исполнилъ ангелъ волю Господню по слову Его.

Искалъ, искалъ звѣря Аггей по кустамъ — нѣтъ звѣря. Весь островъ кругомъ обошелъ; поперекъ сквозь кусты излазилъ — нѣтъ ничего. И не придумалъ Аггей, куда дѣвался

олень впереди — рѣка широкая, никакому звѣрю не переплыть; да и увидѣлъ бы онъ оленя, если бы тотъ поплыть вздумалъ. Досадно стало Аггею; однако, дѣлать нечего, надо назадъ ворочаться. Онъ вышелъ къ водѣ, бросилъ копье, чтобъ не мѣшало, и приплылъ къ берегу. Смотритъ — ни коня, ни платья нѣтъ. Разсердился правитель, подумалъ, что украли, и рѣшилъ строго наказать вора. Вышелъ онъ изъ воды, поднялся на крутой берегъ—чистое поле, нѣтъ никого. Нечего дѣлать, нужно голому идти. Идетъ, а трава ему ноги рѣжетъ: непривычны онѣ босикомъ ходить; солнце печетъ голое тѣло и голову. Шелъ, шелъ Аггей, поднялся на пригорокъ; видитъ, въ лощинѣ пастухъ коровъ и телятъ пасетъ. Остановился Аггей и началъ ему рукой махать.

— Эй, ты, говоритъ, поди сюда!

Пастухъ на него смотритъ, удивляется: „Откуда — думаетъ — середи чистаго поля голый человѣкъ взялся?“ Пошелъ къ нему потихоньку; въ одной рукѣ кнутъ длинный, въ другой — труба берестовая; самъ въ лаптяхъ и въ зипунишкѣ худомъ; черезъ плечо мѣшокъ для хлѣба повѣшенъ.

Аггей на него закричалъ:

— Ты чего не идешь, когда зовутъ?

— А ты кто такой? — спрашиваетъ пастухъ.—Чего тебѣ надобно?

— Не видѣлъ ли, кто мое платье взялъ и коня увелъ?

— Да ты кто такой, самъ-то? — опять спрашиваетъ пастухъ.

— Какъ, ты меня не знаешь? Я правитель вашъ, Аггей.

Посмотрѣлъ на него пастухъ и засмѣялся.

— Что ты, дуракъ, городишь! Правитель нашъ сейчасъ мимо меня въ городъ съ охоты проѣхалъ. Долго его тутъ охотники искали и нашли: вмѣстѣ поѣхали.

— Какъ ты смѣешь, рабъ, негодяй! — закричалъ Аггей.

— Пошелъ, пошелъ! — говоритъ пастухъ — а то кнута отвѣдаешь.

Не вспомнилъ себя правитель отъ гнѣва. Забылъ онъ,

что нагъ и безоруженъ, и бросился на пастуха. Схватилъ за плечо, хотѣлъ ударить, но пастухъ былъ сильнѣе: повалилъ онъ Аггея на землю и началъ бить берестовою трубою. Билъ-билъ, пока береста вся не расплелась, и отошло тогда у него сердце.

— Вотъ—говоритъ—тебѣ за такія слова. Ступай!

Поднялся Аггей, весь избитый, побрелъ потихоньку. А пастухъ подумалъ, и жаль ему стало. „Напрасно—думаетъ—я человѣка изобидѣлъ: можетъ, онъ шальной какой, или сумасшедшій“.

Отошелъ Аггей немного отъ пастуха, слышитъ, тотъ зоветъ его.

— Эй ты, воротись!

Аггей обернулся, смотритъ, а пастухъ въ одной рукѣ что-то держитъ, а другою рукой къ себѣ его манитъ.

— Воротись! — кричитъ — куда ты голый пойдешь? На тебѣ хоть мѣшокъ.

Стоитъ Аггей, не шевелится. Горько и стыдно стало душѣ его. Пастухъ досталъ ножъ изъ-за пояса, прорѣзалъ въ мѣшкѣ три дыры: одну для головы, а двѣ для рукъ, и подошелъ къ Аггею.

— Мѣшокъ-то у меня пустой, хлѣбъ весь съѣлъ. Нехорошо человѣку голому ходить; надѣнь вмѣсто рубахи.

Надѣлъ онъ на него мѣшокъ. Пошелъ Аггей, ни слова не сказавши, въ городъ. Идетъ, а самъ думу думаетъ о своей напасти и не знаетъ, откуда она на него пришла. Обманщикъ, видно, какой-нибудь, на него похожій, его платье взялъ и коня увелъ. И чѣмъ дальше идетъ Аггей, тѣмъ больше сердце у него разгорается. „Ужъ покажу я ему, что я Аггей — настоящій, грозный правитель. Прикажу на площадь отвести и голову отрубить. А пастуха тоже такъ не оставлю“, — подумалъ Аггей, да вдругъ вспомнилъ про мѣшокъ и застыдился.

Шелъ онъ до вечера, а до города еще далеко. Пришлось ему въ полѣ ночевать: зарылся въ копну и проспалъ всю

ночь. Поднялся съ зарею и опять пошелъ; недалеко отъ г
рода вышелъ на большую дорогу. По дорогѣ много наро
въ городъ на базаръ идетъ и ѣдетъ. Догоняетъ его обоз
стали его извозчики спрашивать, что онъ за человѣкъ, и о
чего это онъ въ мѣшокъ одѣтъ.

Вспомнилъ Аггей про пастуховы побои и побоялся ск
зать правду.

— Я — говоритъ — не здѣшній житель; ѣхалъ я чере
вашъ городъ по дѣламъ, да дорогой напали на меня разбо
ники, всего избили и ограбили, и коня, и платье, и деньг
отняли. Надѣли на меня мѣшокъ, да и пустили.

Пожалѣли его добрые люди: собрали кто рубаху, к
штаны; одинъ далъ ему опорки старые, другой — кафтанъ,
третій—шапку. Поблагодарилъ ихъ Аггей, спросилъ, какъ з
вутъ и гдѣ ихъ найти, и пошелъ въ городъ уже повеселѣ

„Скоро — думаетъ — моему мученію конецъ. Злодѣя н
кажу, а тѣхъ, кто мнѣ помогъ, награжу".

Пошелъ онъ прямо на соборную площадь: тамъ его п
латы стояли. Думалъ онъ въ свои ворота войти; не узнал
его стража и не пустила. Побоялся онъ, какъ бы опять бит
не стали, отошелъ и сталъ думать, что ему дѣлать. Идт
прямо въ домъ къ себѣ нельзя: пока дойдешь до обманщик
и изобьютъ, и въ тюрьму посадятъ, и убьютъ, пожалуй
„Надо потерпѣть", думаетъ. Пошелъ на базаръ, гдѣ поден
щики нанимались, и сталъ въ толпу. Наняли его за малы
деньги кирпичи на постройку носить. Трудна была ему ра
бота: всѣ плечи въ кровь съ непривычки истеръ, а самъ вес
будто разбитый. Получилъ онъ подъ вечеръ деньги и раздѣ
лилъ ихъ на три части: на одну хлѣба купилъ, поѣлъ, дру
гую про запасъ за ночлегъ оставилъ, а на третью купил
бумаги, чтобъ написать женѣ своей письмо. Была у них
одна великая тайна: зналъ про нее лишь онъ да жена его
и чтобъ повѣрила она письму, написалъ онъ про эту тайну
и подойдя къ своему дому, увидѣлъ одну женщину изъ при
служницъ жены и отдалъ ей письмо для передачи. Не узнал

его въ дурномъ платьѣ и женщина служанка. Сталъ Аггей недалеко отъ воротъ, отвѣта поджидаетъ.

А жена его, видя, что мужъ ея при ней, не могла повѣрить тому письму. Подумала, не проговорился ли мужъ кому про ту тайну и не злодѣй ли какой хочетъ смутить ее. Боялась она своего грознаго мужа и знала, что если узнаетъ онъ, что ей такія письма приносятъ, то накажетъ ее, не разобравъ дѣла. И чтобы отогнать того человѣка, что̀ письмо написалъ, и напугать его, чтобы никогда больше не смѣлъ смущать ее, приказала слугамъ схватить его, привести во дворъ и высѣчь жестоко. Исполнили это слуги, отпустили Аггея чуть живого. Приплелся онъ на постоялый дворъ и всю ночь промучился: къ утру лишь заснулъ. И тѣлу его было больно, а въ душѣ и того хуже: гнѣвъ безсильный и ярость связанная терзали его, а хуже мученія нѣтъ.

На другой день пришелъ праздникъ, и стали хозяева съ постоялаго двора въ церковь собираться. Нарядилась хозяйка и вышла за ворота, а мужъ на дворѣ чѣмъ-то замѣшкался. Стала жена мужа звать:

— Иди,—кричитъ—а то правитель въ церковь пройдетъ, и не увидимъ его.

Услышавъ это, Аггей и спрашиваетъ:

— А кто у васъ правитель?

— А ты не здѣшній, видно, что не знаешь? Правитель у насъ Аггей. Правитъ онъ городомъ и всею областью уже двѣнадцать лѣтъ. Грозный у насъ правитель: вчера увидѣла я его на улицѣ, со страху чуть не упала.

Пошли хозяева въ церковь, а Аггей не знаетъ, что̀ ему и думать. Махнулъ онъ рукой. „Будь, что будетъ, — думаетъ — хуже того, что̀ теперь, себѣ не сдѣлаю; хоть и казнитъ меня, а пойду и обличу злодѣя“. И пошелъ за хозяевами къ собору, и сталъ съ народомъ на паперти, гдѣ проходитъ правителю.

И видитъ Аггей: идутъ его воины-тѣлохранители съ сѣкирами и мечами, и начальники, и чиновники въ празднич-

ныхъ одеждахъ. И идутъ подъ балдахиномъ парчевымъ правитель съ правительницей: одежды на нихъ златотканныя, пояса дорогими каменьями украшенные. И взглянулъ Аггей въ лицо правителю и ужаснулся: открылъ ему Господь глаза, и узналъ онъ ангела божія. И бѣжалъ Аггей въ ужасѣ изъ города.

Бѣжалъ онъ долго, самъ не зная, гдѣ и куда. И очутился онъ въ дремучемъ лѣсу, и упалъ отъ усталости подъ деревомъ, и долго лежалъ безъ силъ и безъ памяти, какъ будто бы оставила его на время душа его.

Проснулся онъ ночью, и дико ему стало. Забылъ, что́ случилось въ послѣдніе три дня, и не знаетъ, отчего звѣзды изъ-за вѣтокъ смотрятъ на него, отчего надъ нимъ деревья отъ вѣтра шумятъ, отчего ему холодно и лежитъ онъ не на своей пуховой постели, а на сырой травѣ. Сталъ вспоминать и все припомнилъ.

И горько плакалъ Аггей. Вспомнилъ онъ всю жизнь свою и понялъ, что не за выдранный листъ наказалъ его Господь, а за всю жизнь. „Прогнѣвалъ я Господа, — думаетъ — и будетъ ли мнѣ теперь пощада и спасеніе?“

Долго лежалъ онъ и плакалъ, каясь въ грѣхѣ своемъ и прося у Бога помощи и силы. И послалъ ему Господь силу.

Разсвѣтало; Аггей всталъ и вышелъ изъ лѣса, и пошелъ на свѣтлый божій міръ, къ людямъ.

Годъ прошелъ, другой проходитъ, а жена Аггеева все думаетъ, что мужъ ея вмѣстѣ съ нею въ палатахъ живетъ. Только удивляется она, отчего мужъ ея сталъ смиренъ и добръ: не казнитъ никого и не наказываетъ; на охоту не ѣздитъ, а только въ церковь ходитъ, да разбираетъ ссоры и тяжбы и миритъ поссорившихся. Видится она съ нимъ рѣдко; посмотритъ онъ на нее кротко, не попрежнему, скажетъ ласковое слово и уйдетъ въ свою горницу, и тамъ затворится, и сидитъ одинъ.

Приступила она къ нему наконецъ: „Господинъ мой, скажи мнѣ, чѣмъ я прогнѣвала тебя, что ты удалилъ отъ себя жену свою? Не знаю за собой никакой вины; за что же ты другой годъ меня чуждаешься?“

Посмотрѣлъ на нее ангелъ, улыбнулся тихо и сказалъ:

— Ничѣмъ ты меня не прогнѣвала, любезная жена, но я далъ Богу обѣтъ три года не знать тебя. Вотъ третій годъ уже наступаетъ, и скоро будешь ты жить попрежнему съ мужемъ своимъ.

Сказалъ и ушелъ въ свой покой и затворился. Заплакала жена, и тоже пошла къ себѣ.

Такъ прожили они три года. За недѣлю прежде, чѣмъ пойти четвертому, отдалъ правитель приказъ собрать со всей области нищихъ и убогихъ. Будетъ на правителевомъ дворѣ всѣмъ имъ пріемъ и угощеніе, и надѣлитъ ихъ правитель дарами. Поскакали гонцы во всѣ города, послали изъ городовъ приказъ по селамъ и деревнямъ, и со всѣхъ концовъ потянулись нищіе. И не зналъ никто до той поры, что такъ много нищихъ въ области; всѣ дороги покрыли они: хромые, безногіе, безрукіе, и слѣпые, и слабые, и юродивые, и убогіе разумомъ, старые и малые. Идутъ нищіе зрячіе больше по одиночкѣ, а слѣпые—артелями. Собрались въ городъ, и пришло ихъ столько, что не только во дворѣ у правителя не помѣстились, а и всю соборную площадь заняли.

Пошелъ правитель въ церковь, набились и нищіе въ церковь, тѣ, которые попали, а другіе толпою стали передъ церковью на площади. Слуги же въ то время на площади столы разставили и накрыли ихъ, и поставили на нихъ пироги и похлебки, и мясо, медъ и вино. И сколько ни было нищихъ, всѣмъ мѣста хватило.

Вышелъ правитель изъ церкви, остановился на паперти, далъ знакъ рукой, и вся толпа стихла.

— Радъ видѣть васъ всѣхъ, добрые люди: милости прошу хлѣба-соли откушать. Садитесь по мѣстамъ и кушайте, а пообѣдаете—еще къ вамъ выйду.

Сказалъ, и прошелъ въ свои палаты. Стали за столы усаживаться; одна артель слѣпыхъ цѣлый столъ заняла. Пришли эти слѣпцы издалека; шли они тихо и долго; было ихъ двѣнадцать человѣкъ, а поводырь у нихъ былъ одинъ. Шелъ онъ впереди, двое за него держались, а за тѣхъ остальные по парѣ. Разсадилъ онъ ихъ по мѣстамъ, а самъ сталъ служить: розлилъ имъ по мискамъ похлебку, пироги роздалъ, мясо нарѣзалъ, ложки въ руки далъ. Ѣдятъ слѣпые, а онъ отъ одного къ другому ходитъ и служитъ имъ.

Вотъ въ концѣ обѣда вышелъ правитель изъ своихъ палатъ и началъ обходить столы. Кого спроситъ о чемъ, кому ласковое слово скажетъ, а за нимъ идутъ слуги съ деньгами и платьемъ и всѣхъ одѣляютъ. Обошелъ всѣхъ и подходитъ къ послѣднему столу, гдѣ слѣпая артель сидѣла. Увидѣлъ правителя поводырь, и задрожалъ, и поблѣднѣлъ весь. Подходитъ къ нему правитель и спрашиваетъ:

— Ты тоже нищій?

— Нѣтъ, великій правитель, не нищій я. Слуга я нищимъ.

— Добро сказалъ ты, человѣкъ. Какъ зовутъ тебя?

Потупилъ поводырь глаза въ землю.

— Люди Алексѣемъ зовутъ.

Посмотрѣлъ ему въ глаза ангелъ, улыбнулся и говоритъ:

— Не всякая ложь въ ложь поставится. Иди за мной.

Оставилъ поводырь своихъ слѣпыхъ и пошелъ за правителемъ въ палаты. Идутъ они черезъ толпу, и дивятся на нихъ всѣ люди: идутъ точно братья родные. Оба высокіе и статные; оба черноволосые, и оба на одно лицо; только у поводыря въ густыхъ кудряхъ сѣдины много серебрится, да лицо почернѣло отъ вѣтра и солнца, а у правителя лицо бѣлое и свѣтлое.

Разступился народъ, пропустилъ ихъ; ушли они въ палаты. Провелъ поводыря ангелъ въ дальній покой и затворился съ нимъ.

— Узналъ тебя, Аггей, — говоритъ правитель — знаешь ли ты меня?

— Знаю, господинъ, что посланъ ты былъ наказать меня. Каюсь я въ грѣхѣ моемъ и во всей жизни моей...

И заплакалъ Аггей, и плакалъ навзрыдъ. Стоитъ ангелъ передъ нимъ: лицомъ просвѣтлѣлъ и улыбается; поднялъ Аггей голову и пересталъ плакать: не видѣлъ онъ никогда улыбки такой.

— Кончилось наказаніе твое, — сказалъ ангелъ.—Возьми мантію правителеву, возьми мечъ и жезлъ, и шапку правителеву. Помни, за что ты наказанъ былъ, и правь народомъ кротко и мудро, и будь отнынѣ братомъ народу своему.

— Нѣтъ, господинъ мой, ослушаюсь я твоего велѣнія, не возьму ни меча, ни жезла, ни шапки, ни мантіи. Не оставлю я слѣпыхъ своихъ братій: я имъ и свѣтъ, и пища, и другъ, и братъ. Три года я жилъ съ ними, и работалъ для нихъ, и прилѣпился душою къ нищимъ и убогимъ. Прости ты меня и отпусти въ міръ къ людямъ: долго стоялъ я одинъ среди народа, какъ на каменномъ столпѣ, высоко мнѣ было, но одиноко, ожесточилось сердце мое, и исчезла любовь къ людямъ. Отпусти меня!

— Добро сказалъ ты, Аггей, — отвѣчалъ ангелъ. — Иди съ миромъ.

И пошелъ поводырь Алексѣй со своими двѣнадцатью слѣпыми, и работалъ всю жизнь на нихъ и на другихъ бѣдныхъ, слабыхъ и угнетенныхъ, и прожилъ такъ многіе годы до смерти своей.

А ангелъ черезъ три дня оставилъ тѣло правителя. Похоронили тѣло, и жалѣлъ народъ своего правителя, который сначала гордымъ былъ, а послѣ кроткимъ сталъ.

Ангелъ же явился передъ лицо Господа.

Сигналъ.

Семенъ Ивановъ служилъ сторожемъ на желѣзной дорогѣ. Отъ его будки до одной станціи было двѣнадцать, до другой—десять верстъ. Верстахъ въ четырехъ въ прошломъ году открыли большую прядильню; изъ-за лѣса ея высокая труба чернѣла, а ближе, кромѣ сосѣднихъ будокъ, и жилья не было.

Семенъ Ивановъ былъ человѣкъ больной и разбитый. Девять лѣтъ тому назадъ, онъ побывалъ на войнѣ: служилъ въ денщикахъ у офицера, и цѣлый походъ съ нимъ сдѣлалъ. Голодалъ онъ, и мерзъ, и на солнцѣ жарился, и переходы дѣлалъ по сорока и по пятидесяти верстъ въ жару и въ морозъ; случалось и подъ пулями бывать, да, слава Богу, ни одна не задѣла. Стоялъ разъ полкъ въ первой линіи; цѣлую недѣлю съ турками перестрѣлка была: лежитъ наша цѣпь, а черезъ лощинку — турецкая, и съ утра до вечера постриливаютъ. Семеновъ офицеръ тоже въ цѣпи былъ; каждый день три раза носилъ ему Семенъ изъ полковыхъ кухонь, изъ оврага, самоваръ горячій и обѣдъ. Идетъ съ самоваромъ по открытому мѣсту, пули свистятъ, въ камни щелкаютъ, страшно Семену, плачетъ, а самъ идетъ. Господа офицеры очень довольны имъ были: всегда у нихъ горячій чай былъ. Вернулся онъ изъ похода цѣлый, только руки и ноги ломить стало. Не мало горя пришлось ему съ тѣхъ поръ отвѣдать. При-

шелъ онъ домой — отецъ старикъ померъ; сынишка былъ по четвертому году — тоже померъ, горломъ болѣлъ; остался Семенъ съ женою самъ-другъ. Не задалось имъ и хозяйство, да и трудно съ пухлыми руками и ногами землю пахать. Пришлось имъ въ своей деревнѣ невтерпежъ; пошли на новыя мѣста счастья искать. Побывалъ Семенъ съ женой и на линіи, и въ Херсонѣ, и въ Донщинѣ; нигдѣ счастья не достали. Пошла жена въ прислуги, а Семенъ попрежнему все бродитъ. Пришлось ему разъ по машинѣ ѣхать; на одной станціи, видитъ, начальникъ будто знакомый. Глядитъ на него Семенъ, и начальникъ тоже въ Семеново лицо всматривается. Узнали другъ друга. Офицеръ своего полка оказался.

— Ты Ивановъ? говоритъ.

— Такъ точно, ваше благородіе, я самый и есть.

— Ты какъ сюда попалъ?

Разсказалъ ему Семенъ: такъ молъ и такъ.

— Куда-жъ теперь идешь?

— Не могу знать, ваше благородіе.

— Какъ такъ, дуракъ, не можешь знать?

— Такъ точно, ваше благородіе, потому, податься некуда. Работы какой, ваше благородіе, искать надобно.

Посмотрѣлъ на него начальникъ станціи, подумалъ и говоритъ:

— Вотъ что, братъ, оставайся-ка ты покудова на станціи. Ты, кажется, женатъ? Гдѣ у тебя жена?

— Такъ точно, ваше благородіе, женатъ; жена въ городѣ Курскѣ, у купца въ услуженіи находится.

— Ну, такъ пиши женѣ, чтобы ѣхала. Билетъ даровой выхлопочу. Тутъ у насъ дорожная будка очистится, ужъ попрошу за тебя начальника дистанціи.

— Много благодаренъ, ваше благородіе, отвѣтилъ Семенъ.

Остался онъ на станціи. Помогалъ у начальника на кухнѣ, дрова рубилъ, дворъ, платформу мелъ. Черезъ двѣ недѣли пріѣхала жена, и поѣхалъ Семенъ на ручной телѣжкѣ въ свою будку. Будка новая, теплая, дровъ — сколько хочешь;

огородъ маленькій отъ прежнихъ сторожей остался, и земли съ полдесятины пахотной по бокамъ полотна было. Обрадовался Семенъ: сталъ думать, какъ свое хозяйство заведетъ, корову, лошадь купитъ.

Дали ему весь нужный припасъ: флагъ зеленый, флагъ красный, фонари, рожокъ, молотъ, ключи — гайки подвинчивать, ломъ, лопату, метелъ, болтовъ, костылей, дали двѣ книжки съ правилами и росписаніе поѣздовъ. Первое время Семенъ ночи не спалъ, все росписаніе твердилъ; поѣздъ еще черезъ два часа пойдетъ, а онъ обойдетъ свой участокъ, сядетъ на лавочку у будки, и все смотритъ и слушаетъ, не дрожатъ ли рельсы, не шумитъ ли поѣздъ. Вытвердилъ онъ наизусть и правила; хоть и плохо читалъ, по складамъ, а все-таки вытвердилъ.

Дѣло было лѣтомъ; работа нетяжелая, снѣга отгребать не надо. Да и поѣзда на той дорогѣ рѣдки, обойдетъ Семенъ свою версту два раза въ сутки, кое-гдѣ гайки попробуетъ, подвинтитъ, щебенку подровняетъ, водяныя трубы посмотритъ, и идетъ домой хозяйство свое устраивать. Въ хозяйствѣ только у него помѣха была: что ни задумаетъ сдѣлать, обо всемъ дорожнаго мастера проси, а тотъ начальнику дистанціи доложитъ; пока просьба вернется, время и ушло. Стали Семенъ съ женою даже скучать.

Прошло времени мѣсяца два; сталъ Семенъ съ сосѣдями сторожами знакомиться. Одинъ былъ старикъ древній; все смѣнить его собирались; едва изъ будки выбирался. Жена за него и обходъ дѣлала. Другой будочникъ, что поближе къ станціи, былъ человѣкъ молодой, изъ себя худой и жилистый. Встрѣтились они съ Семеномъ въ первый разъ на полотнѣ, посерединѣ между будками, на обходѣ; Семенъ шапку снялъ и поклонился.

— Добраго—говоритъ—здоровья, сосѣдъ.

Сосѣдъ поглядѣлъ на него сбоку. „Здравствуй“, говоритъ. Повернулся и пошелъ прочь. Бабы послѣ между собою встрѣтились. Поздоровалась Семенова Арина съ сосѣдкой; та тоже

разговаривать много не стала, ушла. Увидѣлъ разъ ее Семенъ:—„Что это—говоритъ—у тебя, молодица, мужъ неразговорчивый?“ Помолчала баба, потомъ говоритъ:

— Да о чемъ ему съ тобой разговаривать? У всякаго свое... Иди себѣ съ Богомъ.

Однако прошло еще времени съ мѣсяцъ, познакомились. Сойдутся Семенъ съ Василіемъ на полотнѣ, сядутъ на край, трубочки покуриваютъ и разсказываютъ про свое житье-бытье. Василій же больше помалчивалъ, а Семенъ и про деревню свою, и про походъ разсказывалъ.

— Не мало—говорилъ—я горя на своемъ вѣку принялъ, а вѣку моего не Богъ вѣсть сколько. Не далъ Богъ счастья. Ужъ кому какую таланъ-судьбу Господь дастъ, такъ ужъ и есть. Такъ-то братецъ, Василій Степанычъ.

А Василій Степанычъ трубку объ рельсъ выколотилъ, всталъ и говоритъ:

— Не таланъ-судьба намъ съ тобою вѣкъ заѣдаетъ, а люди. Нѣту на свѣтѣ звѣря хищнѣе и злѣе человѣка. Волкъ волка не ѣстъ, а человѣкъ человѣка живьемъ съѣдаетъ.

— Ну, братъ, волкъ волка ѣстъ, это ты не говори.

— Къ слову пришлось, и сказалъ. Все-таки, нѣту твари жесточе. Не людская бы злость да жадность—жить бы можно было. Всякій тебя за живое ухватить норовитъ, да кусъ отхватить, да слопать.

Задумался Семенъ.

— Не знаю, — говоритъ, — братъ. Можетъ, оно и такъ, а коли и такъ, такъ ужъ есть на то отъ Бога положеніе.

— А коли такъ,—говоритъ Василій — такъ нечего намъ съ тобой и разговаривать. Коли всякую скверность на Бога взваливать, а самому сидѣть да терпѣть, такъ это, братъ, не человѣкомъ быть, а скотомъ. Вотъ тебѣ мой сказъ.

Повернулся и пошелъ, не простившись. Всталъ и Семенъ.

— Сосѣдъ,—кричитъ—за что же ругаешься?

Не обернулся сосѣдъ, пошелъ. Долго смотрѣлъ на него Семенъ, пока въ выемкѣ на поворотѣ стало Василія не видно.

Вернулся домой, и говоритъ женѣ:—Ну, Арина, и сосѣдъ же у насъ: зелье, не человѣкъ.

Однако не поссорились они; встрѣтились опять и попрежнему разговаривать стали, и все о томъ же.

— Э, братъ, кабы не люди... не сидѣли бы мы съ тобою въ будкахъ этихъ, говоритъ Василій.

— Что́-жъ въ будкѣ... ничего, жить можно.

— Жить можно, жить можно... Эхъ ты! Много жилъ, мало нажилъ, много смотрѣлъ, мало увидѣлъ. Бѣдному человѣку, въ будкѣ тамъ или гдѣ, какое ужъ житье! Ѣдятъ тебя живодеры эти. Весь сокъ выжимаютъ, а старъ станешь — выбросятъ, какъ жмыху какую, свиньямъ на кормъ. Ты сколько жалованья получаешь?

— Да маловато, Василій Степанычъ. Двѣнадцать рублей.

— А я тринадцать съ полтиной. Позволь тебя спросить, почему? По правилу, отъ правленія всѣмъ одно полагается: пятнадцать цѣлковыхъ въ мѣсяцъ, отопленіе, освѣщеніе. Кто же это намъ съ тобой двѣнадцать, или тамъ тринадцать съ полтиной опредѣлилъ? Позволь тебя спросить?.. А ты говоришь, жить можно! Ты пойми, не объ полуторахъ тамъ или трехъ рубляхъ разговоръ идетъ. Хоть бы и всѣ пятнадцать платили. Былъ я на станціи въ прошломъ мѣсяцѣ; директоръ проѣзжалъ, такъ я его видѣлъ. Имѣлъ такую честь. Ѣдетъ себѣ въ отдѣльномъ вагонѣ: вышелъ на платформу, стоитъ... Да не останусь я здѣсь долго; уйду, куда глаза глядятъ.

— Куда же ты уйдешь, Степанычъ? Отъ добра добра не ищутъ. Тутъ тебѣ и домъ, тепло, и землицы маленько. Жена у тебя работница...

— Землицы! Посмотрѣлъ бы ты на землицу мою. Ни прута на ней нѣту. Посадилъ-было весной капустки, такъ и то дорожный мастеръ пріѣхалъ. „Это, говоритъ, что такое? Почему безъ доношенія? Почему безъ разрѣшенія? Выкопать, чтобъ и духу ея не было“. Пьяный былъ. Въ другой разъ ничего бы не сказалъ, а тутъ втемяшилось... „Три рубля штрафу!..“

Помолчалъ Василій, потянулъ трубочки и говоритъ тихо:

— Немного еще, зашибъ бы я его до смерти.

— Ну, сосѣдъ, и горячъ ты, я тебѣ скажу.

— Не горячъ я, а по правдѣ говорю и размышляю. Да еще дождется онъ у меня, красная рожа. Самому начальнику дистанціи жаловаться буду. Посмотримъ!

И точно пожаловался.

Проѣзжалъ разъ начальникъ дистанціи путь осматривать. Черезъ три дня послѣ того господа важные изъ Петербурга должны были по дорогѣ проѣхать: ревизію дѣлали, такъ передъ ихъ проѣздомъ все надо было въ порядокъ произвести. Балласту подсыпали, подровняли, шпалы пересмотрѣли, костыли подколотили, гайки подвинтили, столбы подкрасили; на переѣздахъ приказали желтаго песочку подсыпать. Сосѣдка сторожиха и старика своего выгнала траву подчищать. Работалъ Семенъ цѣлую недѣлю; все въ исправность привелъ и на себѣ кафтанъ починилъ, вычистилъ, а бляху мѣдную кирпичемъ до сіянія оттеръ. Работалъ и Василій. Пріѣхалъ начальникъ дистанціи на дрезинѣ; четверо рабочихъ рукоять вертятъ; шестерни жужжатъ; мчится телѣжка верстъ по двадцать въ часъ, только колеса воютъ. Подлетѣлъ къ Семеновой будкѣ; подскочилъ Семенъ, отрапортовалъ по солдатски. Все въ исправности оказалось.

— Ты давно здѣсь?—спрашиваетъ начальникъ.

— Со второго мая, выше благородіе.

— Ладно. Спасибо. А въ сто шестьдесятъ четвертомъ номерѣ кто?

Дорожный мастеръ (вмѣстѣ съ нимъ на дрезинѣ ѣхалъ) отвѣтилъ:

— Василій Спиридовъ.

— Спиридовъ, Спиридовъ... А, это тотъ самый, что въ прошломъ году былъ у васъ на замѣчаніи?

— Онъ самый и есть-съ.

— Ну, ладно, посмотримъ Василія Спиридова. Трогай.

Налегли рабочіе на рукояти; пошла дрезина въ ходъ.

Смотритъ Семенъ на нее и думаетъ: Ну, будетъ у нихъ съ сосѣдомъ игра.

Часа черезъ два пошелъ онъ въ обходъ. Видитъ, изъ выемки по полотну идетъ кто-то, на головѣ будто бѣлое что виднѣется. Сталъ Семенъ присматриваться—Василій; въ рукѣ палка, за плечами узелокъ маленькій, щека платкомъ завязана.

— Сосѣдъ, куда собрался? кричитъ Семенъ.

Подошелъ Василій совсѣмъ близко: лица на немъ нѣту, бѣлый какъ мѣлъ, глаза дикіе; говоритъ началъ—голосъ обрывается.

— Въ городъ—говоритъ—въ Москву... въ правленіе.

— Въ правленіе... Вотъ что! Жаловаться, стало быть, идешь? Брось, Василій Степанычъ, забудь...

— Нѣтъ, братъ, не забуду. Поздно забывать. Видишь, онъ меня въ лицо ударилъ, въ кровь разбилъ. Пока живъ не забуду, не оставлю такъ!

Взялъ его за руку Семенъ:

— Оставь, Степанычъ; вѣрно тебѣ говорю: лучше не сдѣлаешь.

— Чего тамъ лучше! Знаю самъ, что лучше не сдѣлаю: правду ты про таланъ-судьбу говорилъ. Себѣ лучше не сдѣлаю, но за правду надо, братъ, стоять.

— Да ты скажи, съ чего все пошло-то?

— Да съ чего... Осмотрѣлъ все, съ дрезины сошелъ, въ будку заглянулъ. Я ужъ зналъ, что строго будетъ спрашивать; все, какъ слѣдуетъ, исправилъ. Ѣхать ужъ хотѣлъ, а я съ жалобой. Онъ сейчасъ кричать. „Тутъ — говоритъ — правительственная ревизія, такой-сякой, а ты объ огородѣ жалобы подавать! Тутъ—говоритъ — тайные совѣтники, а ты съ капустой лѣзешь!“ Я не стерпѣлъ, слово сказалъ, не то чтобы очень, но такъ ужъ ему обидно показалось. Какъ дастъ онъ мнѣ... а я стою себѣ, будто такъ оно и слѣдуетъ. Уѣхали они, опамятовался я, вотъ обмылъ себѣ лицо и пошелъ.

— Какъ же будка-то?

— Жена осталась. Не прозѣваетъ; да ну ихъ совсѣмъ и съ дорогой ихней!

Всталъ Василій, собрался.

— Прощай, Иванычъ. Не знаю, найду ли управу себѣ.

— Неужто пѣшкомъ пойдешь?

— На станціи на товарной попрошусь; завтра въ Москвѣ буду.

Простились сосѣди; ушелъ Василій, и долго его не было. Жена за него работала, день и ночь не спала; извелась совсѣмъ, поджидаючи мужа. На третій день проѣхала ревизія: паровозъ, вагонъ багажный и два перваго класса, а Василія все нѣтъ. На четвертый день увидѣлъ Семенъ его хозяйку; лицо отъ слезъ пухлое, глаза красные.

— Вернулся мужъ? спрашиваетъ.

Махнула баба рукой, ничего не сказала и пошла въ свою сторону.

Научился Семенъ когда-то, еще мальчишкой, изъ тальника дудки дѣлать. Выжжетъ таловой палкѣ сердце, дырки, гдѣ надо, высверлитъ, на концѣ пищикъ сдѣлаетъ, и такъ славно наладитъ, что хоть что угодно играй. Дѣлывалъ онъ въ досужее время дудокъ много и съ знакомымъ товарнымъ кондукторомъ въ городъ на базаръ отправлялъ; давали ему тамъ за штуку по двѣ копѣйки. На третій день послѣ ревизіи оставилъ онъ дома жену, вечерній шестичасовой поѣздъ встрѣтить, а самъ взялъ ножикъ и въ лѣсъ пошелъ, палокъ себѣ нарѣзать. Дошелъ онъ до конца своего участка — на этомъ мѣстѣ путь круто поворачивалъ—спустился съ насыпи и пошелъ лѣсомъ подъ гору. За полверсты было большое болото, и около него отличнѣйшіе кусты для его дудокъ росли. Нарѣзалъ онъ палокъ цѣлый пукъ и пошелъ домой. Идетъ лѣсомъ; солнце уже низко было; тишина мертвая, слышно только, какъ птицы чиликаютъ, да валежникъ подъ ногами хруститъ. Прошелъ Семенъ немного еще, скоро и полотно, и чудится

ему, что-то еще слышно: будто гдѣ-то желѣзо о желѣзо позвякиваетъ. Пошелъ Семенъ скорѣй. Ремонту въ то время на ихъ участкѣ не было. „Что бы это значило?“ думаетъ. Выходитъ онъ на опушку — передъ нимъ желѣзнодорожная насыпь подымается; наверху, на полотнѣ, человѣкъ сидитъ на корточкахъ, что-то дѣлаетъ; сталъ подыматься Семенъ потихоньку къ нему: думалъ, гайки кто воровать пришелъ. Смотритъ—и человѣкъ поднялся; въ рукахъ у него ломъ; подѣлъ онъ рельсъ ломомъ, какъ двинетъ его въ сторону. Потемнѣло у Семена въ глазахъ; крикнуть хочетъ—не можетъ. Видитъ онъ Василія, бѣжитъ наверхъ бѣгомъ, а тотъ съ ломомъ и ключемъ съ другой стороны насыпи кубаремъ катится.

— Василій Степанычъ! Отецъ родной, голубчикъ, воротись! Дай ломъ! Поставимъ рельсъ, никто не узнаетъ. Воротись, спаси свою душу отъ грѣха!

Не обернулся Василій, въ лѣсъ ушелъ.

Стоитъ Семенъ надъ отвороченнымъ рельсомъ; палки свои выронилъ. Поѣздъ идетъ не товарный, пассажирскій. И не остановишь его ничѣмъ: флага нѣтъ. Рельса на мѣсто не поставишь; голыми руками костылей не забьешь. Бѣжать надо, непремѣнно бѣжать въ будку за какимъ нибудь припасомъ. Господи, помоги!

Бѣжитъ Семенъ къ своей будкѣ, задыхается. Бѣжитъ — вотъ-вотъ упадетъ. Выбѣжалъ изъ лѣсу—до будки сто саженъ, не больше, осталось, слышитъ — на фабрикѣ гудокъ загудѣлъ. Шесть часовъ. А въ двѣ минуты седьмого поѣздъ пройдетъ. Господи! Спаси невинныя души! Такъ и видитъ передъ собою Семенъ: хватитъ паровозъ лѣвымъ колесомъ объ рельсовый обрубъ, дрогнетъ, накренится, пойдетъ шпалы рвать и въ дребезги бить, а тутъ кривая, закругленіе, да насыпь, да валиться-то внизъ одиннадцать саженъ, а тамъ, въ третьемъ классѣ, народу биткомъ набито, дѣти малыя... Сидятъ они теперь всѣ, ни о чемъ не думаютъ. Господи, вразуми Ты меня!.. Нѣтъ, до будки добѣжать и назадъ во-время вернуться не поспѣешь...

Не добѣжалъ Семенъ до будки, повернулъ назадъ, побѣ-

палъ скорѣе прежняго. Бѣжитъ почти безъ памяти; самъ не знаетъ, что̀ еще будетъ. Добѣжалъ до отвороченнаго рельса: палки его кучей лежатъ. Нагнулся онъ, схватилъ одну, самъ не понимаетъ зачѣмъ, дальше побѣжалъ. Чудится ему, что уже поѣздъ идетъ. Слышитъ свистокъ далекій, слышитъ, рельсы мѣрно и потихоньку подрагивать начали. Бѣжать дальше силъ нѣту; остановился онъ отъ страшнаго мѣста саженяхъ во ста: путь ему точно свѣтомъ голову освѣтило. Снялъ онъ шапку, вынулъ изъ нея платокъ бумажный; вынулъ ножъ изъ-за голенища; перекрестился. Господи благослови!

Ударилъ себя ножемъ въ лѣвую руку повыше локтя; брызнула кровь, полила горячей струей; намочилъ онъ въ ней свой платокъ, расправилъ, растянулъ, навязалъ на палку и выставилъ свой красный флагъ.

Стоитъ, флагомъ своимъ размахиваетъ, а поѣздъ ужъ виденъ: Не видитъ его машинистъ, подойдетъ близко, а на ста саженяхъ не остановить тяжелаго поѣзда!

А кровь все льетъ и льетъ: прижимаетъ Семенъ рану къ боку, хочетъ зажать ее, но не унимается кровь; видно, глубоко поранилъ онъ руку. Закружилось у него въ головѣ; въ глазахъ черныя мухи залетали; потомъ и совсѣмъ потемнѣло; въ ушахъ звонъ колокольный. Не видитъ онъ поѣзда и не слышитъ шума; одна мысль въ головѣ: не устою, упаду, уроню флагъ; пройдетъ поѣздъ черезъ меня... помоги, Господи, пошли смѣну...

И стало черно въ глазахъ его, и пусто въ душѣ его, и выронилъ онъ флагъ. Но не упало кровавое знамя на землю; чья-то рука подхватила его и подняла высоко на встрѣчу подходящему поѣзду. Машинистъ увидѣлъ его, закрылъ регуляторъ и далъ контръ-паръ. Поѣздъ остановился.

Выскочили изъ вагоновъ люди, сбились толпою. Видятъ: лежитъ человѣкъ весь въ крови, безъ памяти; другой возлѣ него стоитъ съ кровавой тряпкой на палкѣ.

Обвелъ Василій всѣхъ глазами, опустилъ голову.

— Вяжите меня,—говоритъ—я рельсъ отворотилъ.

Аясларское Дѣло.

Мы двѣ недѣли стояли въ Ковачицѣ. Вяло, однообраз
течетъ лагерная жизнь, когда нѣтъ никакого дѣла, да е
въ такой глуши. Впрочемъ, глушью Ковачицу назвать было
несправедливо: въ ней находился нашъ корпусный штаб
почтовое отдѣленіе—словомъ, средства узнать что-нибудь, ч
дѣлается въ окружающемъ мірѣ, а главное — на обои
театрахъ войны и въ далекой дорогой родинѣ. Мы, по прав
сказать, все-таки не были избалованы свѣжестью и обиліе
новостей, да къ тому же онѣ часто являлись къ намъ обез
браженныя и преувеличенныя. Темные слухи о первыхъ пле
ненскихъ неудачахъ были до того преувеличены, что толь
газеты двухъ и трехнедѣльнаго возраста разсѣяли мрачност
царившую среди офицеровъ. Кажется, по прямой дороги и
Плевны къ намъ было бы ближе, чѣмъ черезъ Петербургъ
Москву, однако, „коли въ объѣздъ — верста, а напрямикъ -
пять“, говорится въ сказкѣ.

Наша бригада скучала. Правда, одинъ разъ часть нѣжи
скаго полка ходила на рекогносцировку или, вѣрнѣе, для н
казанія вооруженныхъ и возставшихъ жителей, въ Ломъ. П
шли, наказали и вернулись. Одного потеряли убитымъ, и одн
солдатъ спасся какимъ-то чудомъ.

Стали мы ворочаться, а башибузуки издали попал
ваютъ. Пріотсталъ я маленько: выстрѣлить обернулся; толь

сталъ подгонять — какъ хватитъ она меня въ спину! да неловко пришлось — въ шинель угодила. Семь суконъ пробила, въ восьмомъ запуталась.

„Она“ — конечно, пуля. У солдатика, дѣйствительно, въ развернутой шинели оказалось семь причудливо расположенныхъ дыръ.

И только, братцы мои, поспѣлъ я крестъ на себя положить, глянь — торбочку дернуло, а въ ней двѣ дыры у самой ноги, и крошки сухарныя сыплются!

Отвѣдала, да и ушла. Нескусны наши россійскіе сухарики! острить кто-то.

Между тѣмъ какъ мы стояли въ Ковачицѣ и, по выраженію нѣкоторыхъ, „кисли“, впереди, на боевой линіи, у Попкіоя, часто происходили стычки.

9-го августа нашъ полковой докторъ назначилъ „тѣлесный смотръ“. Собираться къ третьему батальону (который стоялъ отдѣльно). Наша рота собралась раньше всѣхъ: насъ выстроили и повели на мѣсто сбора. Это была небольшая площадка, свободная отъ палатокъ и орудій. Здѣсь мы остановились; доктора не было, и приходилось ждать. Отъ нечего дѣлать я сталъ смотрѣть на палатки. Странную картину представляетъ лагерь въ военное время. Маленькія солдатскія палатки ярко бѣлѣютъ, облитыя солнцемъ; ружейные козлы и разноцвѣтныя фигуры солдатъ пестрятъ этотъ бѣлый фонъ. Преобладаютъ лиловыя пятна пестрядинныхъ рубахъ; затѣмъ краснѣютъ кумачевыя, желтѣютъ, алѣютъ, зеленѣютъ ситцевыя. Черные мундиры надѣваются развѣ только на какую нибудь службу: всѣ предпочитаютъ самое неумѣренное дезабилье. Тутъ голыя ноги, тамъ голая спина и грудь. Сапогъ не надѣваютъ, потому что жарко, да и беречь ихъ надо, тысяча верстъ похода дала имъ себя знать.

Мы ждали довольно долго; кто-то пошелъ доложить доктору, что люди собираются. Но намъ, видно, не суждено было испытать „тѣлеснаго смотра“. Въ палатку командира третьяго батальона вбѣжалъ полковой адъютантъ, и тотчасъ же

нились, доставая воду, и обливали другъ друга, перенося полныя воды манерки черезъ головы сосѣдей. Мы напились и набрали воды въ свои бутылки.

— Ну, полегчало; можно и опять въ походъ, — сказалъ Гаврило Васильичъ, утирая рукавомъ свои бѣлокурые усы и бороду.

Онъ былъ замѣчательный красавецъ, голубоглазый, стройный, ловкій. Онъ лежитъ теперь на Аясларской горѣ, и отъ его голубыхъ глазъ и прекраснаго лица уже ничего не осталось.

Давъ отдохнуть полчаса, маіоръ Ф. повелъ насъ далѣе. Чѣмъ ближе мы подходили къ Попкіою, тѣмъ становилось труднѣе и труднѣе. Солнце пекло съ какою-то яростью, будто торопилось допечь насъ, пока мы еще не пришли на мѣсто и не спрятались отъ жары въ палатки. Нѣкоторые не выдерживали этой ярости: едва бредя съ опущенною головою, я чуть не споткнулся объ упавшаго офицера. Онъ лежалъ красный, какъ кумачъ, и судорожно, тяжело дышалъ. Его положили въ лазаретную фуру.

Полутораверстный подъемъ изъ долины, по которой мы шли, на правый склонъ ея показался намъ хуже всей дороги. Запахи, дающіе себя знать при приближеніи ко всякому лагерю, еще прибавляли духоты. Какъ дошелъ я — рѣшительно не помню, но все-таки дошелъ; другіе были менѣе счастливы. Едва таща ноги, мы перестроились въ порядокъ, въ которомъ должны были расположиться на отдыхъ, и, едва стоя на ногахъ, дождались наконецъ благословеннаго возгласа маіора Ф.:

— Составь!

Т.-е. составь ружья и дѣлай, что тебѣ угодно.

II.

Люди такъ измучились, что даже невыносимая жажда не могла заставить ихъ идти за водою. Только черезъ полчаса собрались команды съ манерками и отправились въ деревню. На

томъ склонѣ долинѣ, на вершинѣ котораго мы расположились, находилась мусульманская часть Попкіоя, — пустая, словно послѣ чумы. На противоположной сторонѣ тѣснились болгарскія „кишты“, точно такія же, какъ и турецкія, съ такими же низенькими черепичными крышами. Тамъ слышался лай собакъ, виднѣлись люди, овцы, буйволы, или, какъ ихъ прозвали наши солдаты, „буйлы“. Направо шла долина, по которой мы только что шли, съ ручейкомъ посрединѣ и съ безконечными кукурузными, ячменными и пшеничными полями по склонамъ. Налѣво, перпендикулярно къ нашей долинѣ, шло долина Лома, уходившая въ обѣ стороны въ туманную синеватую даль, изъ которой все слабѣе и слабѣе вырисовывались горы праваго берега рѣки.

Противъ насъ эти возвышенности были очень высоки. На нихъ, въ одномъ мѣстѣ, изрѣдка появлялся дымъ бѣлымъ клубомъ и медленно, медленно несся, тая и расплываясь въ воздухѣ; черезъ полминуты раздался глухой ударъ, въ родѣ далекаго раската грома. Это была рекогносцировка моршанскаго полка.

Мы сыскали фонтанъ, набрали воды и въ разбродъ вернулись на бивуакъ. Солдаты, немного отдохнувъ, уже оживились, чему, конечно, способствовали эти далекіе выстрѣлы.

— Ишь, какъ садитъ!

— Что, братцы, наши это или турки? — задалъ кто-то вопросъ.

Кто-то другой отвѣтилъ, что моршанцы не взяли съ собою пушекъ. И дѣйствительно, судя по положенію и направленію дыма, это не могли быть выстрѣлы нашихъ орудій.

Правѣе деревни, гораздо ближе, чѣмъ орудійные выстрѣлы, не на возвышенности, а подъ нею, въ долинѣ Лома, застучала ружейная стрѣльба, сначала рѣдко, какъ будто бы рубили лѣсъ въ нѣсколько топоровъ, потомъ все чаще и чаще, Иногда звуки сливались въ сплошную трескотню.

Я подошелъ къ офицерамъ нашей роты. И. Н. А., нашъ ротный командиръ, говорилъ другому офицеру, С., что, какъ

ему только сейчасъ разсказывали, такія перепалки бываютъ здѣсь чуть не каждый день.

— Ну, кажется, дождались дѣла,—сказалъ С.

— Да дѣло-то это такое... развѣ это дѣло? Засѣли жители съ черкесами въ лѣсу, только безпокоятъ, а между тѣмъ шальныя пули вѣдь и здѣсь летаютъ. Не хотѣлъ бы я быть убитымъ такимъ образомъ.

— Отчего, И. Н.?—спросилъ я.

— Да такъ, что̀ это за сраженіе!

И. Н. хорошій знатокъ военнаго ремесла и большой поклонникъ стратегіи и тактики. Онъ не разъ выражалъ мысль, что если быть убитымъ, то ужъ какъ слѣдуетъ, въ правильномъ бою, а еще лучше—въ генеральномъ сраженіи. Теперешняя перестрѣлка ему видимо не нравилась; онъ безпокойно пощипывалъ нѣсколько одинокихъ волосковъ на своемъ подбородкѣ и вдругъ, добродушно и серьезно улыбнувшись, сказалъ:

— Пойдемте лучше, господа, чай пить: самоваръ готовъ.

Мы забрались въ палатку и усѣлись чайничать. Стрѣльба мало-по-малу замолкла, и остатокъ дня и ночь мы провели въ совершенномъ спокойствіи.

Впрочемъ, всю ночь мнѣ снились бѣлые клубы дыма и ружейная трескотня.

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко. Жара была такая же, какъ и вчера. Батальонъ невскаго полка, прошедшій мимо насъ, по направленію вчерашнихъ орудійныхъ выстрѣловъ, шелъ однако довольно бодро; люди чувствовали близость боя.

Они однако скоро вернулись и, обогнувъ деревню, вѣроятно пошли туда, гдѣ вчера была ружейная перестрѣлка. Сегодня она была слышна хуже—выстрѣлы удалились отъ насъ. Загремѣли и пушки, сначала съ нашей стороны, но скоро на высотахъ съ того берега показались бѣлые клубы дыма. Турки привезли артиллерію.

Я предложилъ С. пройти въ деревню и, взойдя на какую

нибудь крышу, слѣдить за боемъ; оттуда было лучше видно. Хотя минаретъ мечети былъ цѣлъ и конечно былъ выше всѣхъ крышъ, но мечеть стояла низко, почти въ долинѣ; поэтому мы взобрались на первую попавшуюся галерейку черкесскаго дома, обращенную къ мѣсту битвы. Но хотя оно и разстилалось передъ нами, ни войскъ, ни даже дыма ружейнаго огня не было видно: смотрѣть было рѣшительно нечего. Мы слѣзли съ галереи въ маленькій садикъ съ абрикосовыми деревьями и бѣлыми акаціями: въ немъ все было въ порядкѣ, какъ будто бы еще вчера хозяева полили гряды съ цвѣтами. Тыквы вились своими цѣпкими стеблями по плетню, нѣсколько стеблей кукурузы и высокихъ „крысьихъ хвостовъ“ съ красными колосьями разнообразили пестрый цвѣтникъ. Мы вошли въ домъ. Стѣны были гладко и чисто вымазаны сѣрою глиною. Все было цѣло; только очагъ, сложенный изъ кусковъ черепицы, былъ проломленъ. На полу валялось нѣсколько листовъ изъ какой-то писаной мусульманской книги съ заглавными украшеніями, сдѣланными золотомъ и красками.

Больше разсматривать было нечего, и мы, выбравшись изъ лабиринта плетней, вышли на улицу. Денщикъ С—ва, красный какъ ракъ, бѣжалъ къ намъ:

— Ваше благородіе, пожалуйте! Ужъ въ ружье стали!

Мы добѣжали до батальона, и черезъ двѣ минуты я уже шагалъ въ рядахъ съ ружьемъ на плечѣ.

Мы шли къ мѣсту вчерашней ружейной перестрѣлки. Солдаты крестились. Длинный рядъ лазаретныхъ фуръ остановился на дорогѣ, чтобы дать намъ пройти, и потянулся вслѣдъ за нами.

III.

Мы обогнули деревню, спустились въ минуту по мостику, перекинутому черезъ ручей. Дорога шла слегка въ гору по молоденькому лѣсу; деревца кизила, всѣ красныя отъ мно-

жества плодовъ, мѣшались съ терномъ. Дорога была узка не болѣе четырехъ человѣкъ могло идти по ней рядом вправо отъ нея, въ кустахъ были выкопаны ложементы, при готовленные на случай нападенія турокъ на Попкіой.

Мы пріостановились и дали пройти какому-то полку. Эт былъ невскій полкъ, цѣлый день бывшій въ огнѣ и возвра щавшійся въ лагерь, такъ какъ онъ разстрѣлялъ всѣ патроны Сколько помнится, убитыхъ и раненыхъ въ этотъ день невцевъ было мало. Они шли измученные, усталые, но весел и оживленно.

— Вы чего-жъ это, землячки, на попятный? — спраши вали мы невскихъ солдатиковъ. Нѣкоторые молча открывал пустыя сумки, другіе отвѣчали, что патроновъ-де нѣтъ, чт ихъ смѣнили софійцы, которые пошли впередъ, и турки по дались.

— Эхъ вы!

— Чего „эхъ вы!“ Вотъ ты поди-ка самъ, два дня не ѣвши! Да и патроновъ нѣтъ. Солдатъ безъ патроновъ—трубк безъ табаку, — сказалъ невскій солдатъ, набивая трубку— поворачивай назадъ! Коли-бъ они на насъ лѣзли, а то такъ они пострѣливаютъ, и мы пострѣливаемъ—пустое дѣло! Дайте землячокъ, прикурить.

Онъ „прикурилъ“ и побѣжалъ догонять свою роту.

Рысью пронеслась по дорогѣ батарея, за нею пошли и мы. Солнце садилось; все зарумянилось. Мы спустились въ лощину, гдѣ текъ маленькій ручеекъ. Десятокъ гигантскихъ черныхъ тополей будто бы крышей закрывали мѣсто, гдѣ мы снова остановились. Лазаретныя повозки расположились въ нѣсколько рядовъ. Доктора, фельдшера и санитары суетились и приготовлялись къ перевязкѣ. Пушечные выстрѣлы гремѣли невдалекѣ; удары становились все чаще и чаще.

Еще два батальона прошли мимо насъ впередъ; мы, вѣроятно, были оставлены для резерва. Насъ отвели въ сторону, люди составили ружья и улеглись на землѣ, покрытой мягкой, душистой мятой.

Я лежалъ на спинѣ и смотрѣлъ сквозь вѣтви на потемнѣвшее небо. Гигантскіе, въ шесть обхватовъ стволы уходили вверхъ, вѣтвились, переплетались. Только кое-гдѣ выглядывала звѣздочка на черносинемъ небѣ и далеко-далеко казалось она на днѣ какой-то бездны, и мирно посматривала оттуда. А выстрѣлы гремѣли и гремѣли. Вершины деревьевъ на мгновеніе озарялись краснымъ свѣтомъ и потомъ казались еще страшнѣе и мрачнѣе. Ружейнаго огня не было слышно. Вѣроятно совершалось то, что̀ на военномъ языкѣ такъ скверно называется артиллерійскою подготовкою атаки.

Я лежалъ и почти дремалъ. Около меня солдаты тихо и сдержанно разговаривали. Теперь припоминаю странное обстоятельство, не могшее въ то время обратить на себя мое вниманіе: никто ни словомъ не намекнулъ, не вспомнилъ, что у него есть другой міръ, родина, родные, друзья. Какъ будто бы всѣ забыли свою прежнюю жизнь. Говорили объ этихъ грозныхъ пушечныхъ выстрѣлахъ, о томъ, зачѣмъ отошли невцы и отчего не подвезли патроновъ, о томъ, сколько можетъ быть турокъ и кто дерется съ нашей стороны: только ли три полка (невскій, софійскій и болховскій), или обѣ дивизіи. „Да, можетъ, братцы, еще и одиннадцатая подоспѣетъ; начесали бы мы ему зубы“. — „Ну, разсказывай, начесали! Кто его знаетъ; можетъ, онъ всю свою силу вывелъ. Намъ бы его попридержать, и то ладно; больше съ насъ не спросятъ“. — „И то правда, наступать, говорятъ, не велѣно“. — „Кто тебѣ говорилъ?“ — „Ивановъ, писарь изъ штаба; онъ землякъ мнѣ“. — „Знаетъ онъ, твой Ивановъ!“ съ сомнѣніемъ говоритъ солдатикъ.

Верхушки тополей поблѣднѣли: листья осеребрились и заблестѣли мягкимъ отраженіемъ луннаго свѣта. Луна взошла, но намъ ея не было видно, такъ какъ мы лежали на днѣ оврага. Все-таки стало немного свѣтлѣе. На краю оврага показался верховой офицеръ; онъ отчаянно кричалъ: „Патронные ящики софійскаго полка дава-а-ай!“ Но ящики стояли по ту сторону оврага, и звукъ его голоса, несмотря на

крайнее напряженіе, не доходилъ до ѣздовыхъ. Кто-то нашего начальства крикнулъ: „Передать дальше!“ И начал что-то вродѣ того, что́ музыканты называютъ фугою. Оди кричалъ: „Патронные ящики дава-ай!“ Другой начиналъ же фразу, когда первый выкрикивалъ „ящики“, а третій когда второй кончалъ „патронные“. Какъ бы то ни бы дремавшіе ѣздовые проснулись и, ударивъ по лошадямъ, вск перенеслись черезъ оврагъ.

Черезъ десять минутъ началась и ружейная стрѣль Ухо, сначала чутко прислушивавшееся къ каждому выстрѣ утомилось. Да и сонъ клонилъ. Скоро выстрѣлы слились какой-то неясный шумъ, какъ будто бы шумъ падающей во потомъ смолкъ и онъ. Я уснулъ.

— Вставать!

Звучный голосъ нашего батальоннаго командира разбуди меня. Всѣ поднимались, потягивались, перекидывали чере плечо шинели, только что служившія изголовьемъ.

„Въ ружье!“ Орудія не умолкали. Мы выбрались и оврага и пошли по широкой дорогѣ, проложенной артил ріей. Огни выстрѣловъ были уже близки, звукъ ихъ дѣлал непріятно силенъ. Тотчасъ вслѣдъ за огнемъ, иглой прор завшимъ воздухъ, слышался громовой ударъ; потомъ что- звенѣло, сверля воздухъ. Это наша граната летѣла на мра ную обрывистую высоту, занятую турками. Артиллеристы бе звучно суетились у орудій и стрѣляли безъ перерыва: иног два орудія сливали свой ревъ, и обѣ гранаты летѣли вмѣст Онѣ лопались на склонѣ горы въ самой турецкой цѣпи.

Мы шли все впередъ и впередъ. До высоты было верст двѣ. Ровная и широкая дорога кончилась; мы вошли въ рѣдкі лѣсокъ, весь заросшій кустами. Трудно было идти, раздвига терновникъ и карагачъ, да еще въ темнотѣ, но люди даж старательно сохраняли равненіе. Показались какіе-то камн плиты, поставленныя ребромъ. Это мусульманское кладбищ Вотъ и настоящіе магометанскіе монументы — камень, груб обсѣченный сверху, въ видѣ чалмы. Здѣсь мы остановились

Луна сильно свѣтила и озаряла гору, за которою шелъ бой. Снизу горы линія огней — наша цѣпь, и сверху другая, болѣе густая линія огней — турецкая; обѣ эти линіи перемѣшались. Софійцы шли въ атаку. Верхніе огни вспыхивали все дальше и дальше, все выше и выше. Но мы недолго могли слѣдить за боемъ, потому что насъ отвели куда-то въ сторону и положили каждую роту отдѣльно. Отсюда опять мы увидѣли огоньки выстрѣловъ. Звуки ихъ, какіе-то тупые, деревянные, безпрестанно долетали до насъ. Но скоро стали доходить и не одни звуки.

— Ссс... ссс... ссс...—раздавалось въ воздухѣ надъ нами справа и слѣва.

— Пуля—закричалъ кто-то.

— Ладно! лежи... Помирать долетаютъ.

Дѣйствительно, пули были уже на излетѣ; это всегда слышно по звуку. Пуля близкаго выстрѣла визжитъ и свиститъ, а та, которая „помирать долетаетъ“, только шипитъ, какъ змѣя.

Пули летѣли и летѣли. Рота молчала. Напряженное состояніе, невольно явившееся при звукѣ смерти, ослабѣло; всѣ стали думать, что пули только перелетаютъ, или безвредно падаютъ на землю. Нѣкоторые, снявъ шинели, устраивались уснуть поудобнѣе, если только можно удобно уснуть на колеяхъ изъ засохшей грязи, держа ружье въ рукахъ и подъ пулями. Задремалъ и я. Тяжела, мучительна была эта дремота... Недалеко отъ насъ, кажется въ седьмой ротѣ, вдругъ заговорили, загомонили. „Неси!“ услышалъ я. „Куда уже его нести“... перебилъ кто-то; конца фразы я не разслышалъ. И. Н. послалъ узнать что случилось. Оказалось, что пуля, прилетѣвшая умирать, не захотѣла умирать одна и попала прямо въ сердце солдату. Эта смерть произвела скверное, давящее впечатлѣніе: быть убитымъ, не видя непріятеля, пулею, пролетѣвшею три тысячи шаговъ, двѣ версты, казалось всѣмъ чѣмъ-то роковымъ, ужаснымъ. Однако, мало-по-малу, всѣ замолчали, успокоились, начали дремать.

Негромкій, рѣзкій звукъ разбудилъ всѣхъ: пуля пробила барабанныя кожи. И кто-то нашелся даже пустить по пов „шкуры барабанной“ шутку, которая однако была вст чена общимъ неодобреніемъ. „Нашелъ время балясничат угрюмо говорили солдаты.

Всѣмъ было немного жутко, всѣ чего-то ждали. И вдр раздался крикъ, но не отъ боли, а скорѣе отъ испуга. Д ствительно, пуля попала въ патронную сумку солдатика, торый, блѣдный и съ дрожащимъ лицомъ, понесъ показыв ее ротному командиру. И. Н. внимательно осмотрѣлъ пу и, замѣтивъ, что она четырехлинейнаго калибра, изъ руж Пибоди и Мартини, перевелъ роту въ какую-то выемку роги.

Здѣсь мы, несмотря на свистъ и шипѣнье, успокоили На горѣ раздавалось наше „ура!“ Это софійцы штурмова гору.

IV.

Я проснулся, когда было еще почти темно. Бока болѣ невыносимо. Пули летали попрежнему, но теперь уже оче высоко въ воздухѣ надъ нами. Огоньковъ на горѣ не бы видно, но стрѣльба слышалась частая. „Значитъ, гора взят и софійцы держатся на гребнѣ“, подумалъ я.

Чуть встало солнце, насъ подняли. Солдаты, кряхтя зѣвая, вставали. Было холодно; большинство, продрогнув тряслось, какъ въ лихорадкѣ. Роты собрались у фонтана. оба наши батальона (2 и 3) двинулись къ горѣ.

Тотчасъ же послѣ того, какъ мы перешли Ломъ по н большому мостику, дорога пошла въ гору. Сначала подъем хотя и весь покрытый кустами, былъ сносенъ, но чѣмъ выш мы поднимались, тѣмъ круче становилась покатость, тѣм уже дорога. Наконецъ, мы были принуждены взбираться г одиночкѣ, иногда подпираясь ружьями. Роты перепутались

Среди насъ, вмѣстѣ съ офицерами другого батальона, очутился нашъ полковникъ, съ трудомъ взбиравшійся на высоты. „Вотъ мучительная гора! — сказалъ онъ своему адъютанту — какъ это софійцы умудрились взять ее!“ — „Трудно, ваше высокоблагородіе!“ промолвилъ какой-то крохотный солдатикъ изъ самой низенькой 8-й роты.

Софійцы спускались съ горы, такъ какъ мы шли имъ на смѣну. Измученные безсонною ночью, жаждой и нервнымъ напряженіемъ, они едва брели, ничего не отвѣчая на наши разспросы — много ли турокъ, силенъ ли огонь. Только нѣкоторые тихо говорили: „Дай вамъ, Господи! И-и-и, какъ жарить!“

Наконецъ мы добрались до вершины горы. Въ самомъ концѣ подъемъ переходилъ въ совершенно отвѣсную скалу; подъ нею была небольшая площадка, гдѣ роты могли построиться въ безопасности отъ выстрѣловъ. Несмотря на то, что трудный подъемъ, кусты, узкая дорога совершенно перепутали насъ, люди разобрались и стали на мѣста чрезвычайно быстро. Пули, перелетая черезъ скалу, визжали надъ нами пронзительно и крайне непріятно. Здѣсь подъ скалой было безопасно, но каково было на ней? Вѣтви кустовъ, растущихъ на гребнѣ, трещали, сломанныя пулями, иногда нѣсколько листьевъ сыпалось сверху. Мы двинулись вправо, сначала подъ обрывомъ, потомъ мало-по-малу стали вскарабкиваться по одному человѣку съ камня на камень. Обогнувъ скалу, мы вылѣзли совсѣмъ наверхъ и двинулись между густыхъ и высокихъ кустовъ. Кто насъ велъ — не знаю; всѣ шли по направленію выстрѣловъ, съ трудомъ пробираясь между кустами. Вотъ наконецъ и узенькая дорожка. Впередъ! Бѣгомъ! Тутъ уже лежали свѣжіе трупы нашихъ и турокъ; навстрѣчу намъ уже несли раненыхъ. Солдатикъ восьмой роты, такъ смѣло вступившій въ разговоръ съ полковымъ командиромъ, брелъ самъ, жалобно воя и придерживая одной рукой другую, изъ которой ручьемъ текла кровь. Мы все бѣжали и бѣжали и наконецъ очутились на открытомъ мѣстѣ.

Нашъ маленькій и худощавый маіоръ Ф. уже былъ на мѣ
и хладнокровно расхаживалъ по цѣпи. „Куда идти, г. маіор
спросилъ я. Онъ, молча, показалъ саблей налѣво. Я по
жалъ туда, по дорогѣ разъ припавши къ землѣ отъ р
щейся гранаты. И. Н. медленно прогуливался, пощипы
свои одинокіе волоски. — „И. Н.! — закричалъ я ему — я
знаю, гдѣ нашъ полувзводъ, позвольте въ первый!“ — Иди
идите скорѣе“, — сказалъ онъ, поглядывая вдаль, на турец
линіи.

Однако, ни перваго, ни второго полувзвода отыскать бы
невозможно: въ лѣсу всѣ перепутались, а разбираться по
пулями и гранатами было поздно. Я улегся за первымъ п
павшимся бугоркомъ земли и началъ стрѣлять. По одну ст
рону, рядомъ со мною, лежалъ нашъ капральный, по др
гую — солдатъ софійскаго полка. — „Вы бы ушли, землякъ,
сказалъ я ему — вѣдь вашъ полкъ спустился“.

„Да ужъ все одно, постоимъ до конца! — отвѣчалъ он
Не знаю, какъ зовутъ его, не знаю даже живъ ли онъ, н
всегда буду помнить торжественный тонъ его голоса.

Турецкіе стрѣлки были отъ насъ шагахъ въ восьмистах
такъ что наши ружья врядъ ли дѣлали имъ большой урон
Кромѣ того, цѣлый рядъ турецкихъ орудій стоялъ отъ нас
шагахъ въ 1200—1500 и засыпалъ нашу слабую цѣпь гря
натами. Хотя пули убиваютъ и ранятъ гораздо больше, н
сильнѣйшее нравственное дѣйствіе производятъ гранаты. Я
лежалъ, понемногу пострѣливалъ, совѣтуясь иногда съ Пав
ломъ Игнатьичемъ (капральный) о высотѣ прицѣла и не стрѣ
лять ли намъ на-авось въ артиллерію. Пули визжали вс
чаще и чаще, наконецъ отдѣльныхъ выстрѣловъ вовсе не
стало слышно: все слилось въ какое-то жужжанье. Гранаты
летѣли, визжа, издали; когда онѣ приближались, то уже не
визжали, а скрежетали и хлопали, разрываясь и обдавая лю-
дей осколками и землею. Я приподнялся посмотрѣть что дѣ-
лается у насъ въ цѣпи. Лежавшіе изрѣдка дико вскрики-
вали, стоявшіе за деревьями и на колѣняхъ падали иногда

съ крикомъ, иногда молча. Гаврило Васильичъ, только что выступивъ и заряжая ружье, повалился ничкомъ: осколокъ гранаты ударилъ ему въ пахъ, вырвавъ внутренности. Раненые, кто могъ, уползали, большею частью молча; впрочемъ, быть можетъ, ихъ крика и не было слышно за шумомъ боя.

Я началъ стрѣлять снова. Турки собрались внизу котловины, на другомъ краю которой стояла ихъ артиллерія, въ колонны, и шли на наши цѣпи въ атаку. Прицѣливаться стало ближе. Павелъ Игнатьевичъ методично заряжалъ и стрѣлялъ. Я также не жалѣлъ патроновъ, потому что цѣлить было удобно. Темныя фигуры съ красными головами, шедшія на насъ, падали, но все-таки шли. Вдругъ, красныя головы исчезли; не знаю, неровность ли почвы, или кусты закрыли колонну. Потерявъ цѣль вблизи, я снова сталъ стрѣлять въ даль, въ массы, стоявшія на днѣ котловины, и едва успѣлъ замѣтить, что и Павелъ Игнатьевичъ, и софійскій солдатъ исчезли, и всей нашей цѣпи уже не было. Я обернулся назадъ: солдаты сбѣжались въ кучки и жаркимъ ружейнымъ огнемъ встрѣчали наступавшихъ турокъ. Я былъ одинъ между нашими и турецкою колонною.

Что мнѣ было дѣлать? Не успѣлъ этотъ вопросъ мелькнуть въ головѣ, какъ около меня раздалось мое имя. Я опустилъ глаза — у моихъ ногъ лежалъ Ѳедоровъ, молоденькій солдатъ нашей роты, побывавшій въ Петербургѣ, хватившій цивилизаціи и выражавшійся почти литературнымъ языкомъ. Теперь онъ лежалъ бѣлый, какъ эта бумага; изъ разбитаго плеча волною текла кровь. „В. М., батюшка, дайте пить. Унесите, унеси-ите“, жалобно просилъ онъ. Я забылъ все — и турокъ, и пули. Одному мнѣ нечего было и думать поднять рослаго Ѳедорова, а изъ нашихъ никто не рѣшался выскочить на тридцать шаговъ, даже для того, чтобы поднять раненаго, несмотря на мои отчаянные вопли. Увидавъ офицера, молоденькаго прапорщика С., я началъ кричать и ему: „П. Н., помогите! Никто не идетъ, помогите хоть вы!“ Можетъ быть, С. и пришелъ бы, но пуля свалила его. Я чуть

не заплакалъ... Наконецъ, два солдата, кажется, нашей роты кинулись ко мнѣ. Мы взяли Ѳедорова, не переставшаго жалобно повторять: „унесите, голубчики, Христа ради“, — я за ноги, двое за плечи; тотчасъ же они опустили его на землю. „Турки, турки!“ кричали они, убѣгая. Ѳедоровъ былъ мертвъ. Я обернулся, въ двадцати шагахъ отъ меня остановилась турецкая колонна, смутившаяся, испугавшаяся нашихъ штыковъ . . . . . .

Черезъ минуту что-то ударило меня будто огромнымъ камнемъ. Я упалъ; кровь лилась изъ ноги струею. Помню, что тутъ я вдругъ сразу вспомнилъ все: родину, родныхъ, друзей и радостно подумалъ, что я еще увижу ихъ...

Очень коротенькій романъ.

Стужа, холодъ... Январь на дворѣ и даетъ себя знать всякому бѣдному люду, дворникамъ, городовымъ — всѣмъ, кто не можетъ спрятать носъ въ теплое мѣсто. Онъ даетъ себя знать конечно и мнѣ. Не потому, чтобы я не нашелъ себѣ теплаго угла, а по моей собственной фантазіи.

Въ самомъ дѣлѣ, зачѣмъ я брожу по пустой набережной? Четырехрожковые фонари ярко горятъ, хотя вѣтеръ врывается въ фонарь и заставляетъ газовое пламя плясать. Отъ ихъ яркаго свѣта темная масса роскошнаго палаццо, а особенно его окна кажутся еще мрачнѣе. Въ огромныхъ зеркальныхъ стеклахъ отражается метель, мракъ. Воетъ, стонетъ вѣтеръ надъ ледяной пустыней Невы. „Дингъ-дангъ! дингъ-дангъ!“ раздается сквозь вихрь. Это куранты крѣпостного собора звонятъ, и каждый ударъ заунывнаго колокола совпадаетъ со стукомъ моей деревяшки объ обледенѣлыя гранитныя плиты и съ ударами моего больного сердца о стѣнки его тѣснаго помѣщенія.

Я долженъ представиться читателю. Я молодой человѣкъ на деревянной ногѣ. Быть можетъ, вы скажете, что я подражаю Диккенсу; помните: Сайласъ Вегъ, литературный человѣкъ съ деревянной ногой (въ романѣ „Our common friend“)? Нѣтъ, я не подражаю; я дѣйствительно молодой человѣкъ на деревянной ногѣ. Только я сдѣлался имъ такъ недавно...

„Динъ-данъ! динъ-данъ“! Куранты бьютъ сначала свое заунывное „Господи помилуй“, а потомъ часъ. Еще только часъ! Еще семь часовъ до свѣта! Тогда эта черная, полная мокраго снѣга ночь уйдетъ и дастъ мѣсто сѣрому дню. Пойду ли я домой? Не знаю; мнѣ рѣшительно все равно. Мнѣ не нужно сна.

Весною я тоже любилъ прохаживать цѣлыя ночи напролетъ на этой набережной. Ахъ, какія это были ночи! Что лучше ихъ? Это не душная ночь юга, съ его страннымъ, чернымъ небомъ и большими звѣздами, преслѣдующими насъ своими взглядами. Здѣсь все свѣтло и нарядно. Разноцвѣтное небо холодно и красиво; извѣстная по мѣсяцеслову „заря во всю ночь“ золотитъ сѣверъ и востокъ; воздухъ свѣжъ и рѣзокъ; Нева катится, гордая и свѣтлая, и спокойно плещетъ маленькими волнами о камни набережной. И на этой набережной стою я. И на мою руку опирается дѣвушка. И эта дѣвушка...

Ахъ, милостивыя государыни и господа! Зачѣмъ я началъ разсказывать вамъ о своихъ ранахъ? Но ужъ таково глупое, бѣдное человѣческое сердце. Когда оно ранено, оно мечется навстрѣчу каждому встрѣчному и ищетъ облегченія. И не находитъ его. Это совершенно понятно; кому нуженъ дырявый, нештопаный чулокъ? Всякій старается отбросить его носкомъ подальше отъ своей ноги...

Мое сердце еще не нуждалось въ штопаньѣ, когда весною этого года я познакомился съ Машею, навѣрно самою лучшею изъ всѣхъ Машъ въ мірѣ. Познакомился я съ нею на этой самой набережной, которая вовсе не была такъ холодна, какъ теперь. И у меня была настоящая нога, вмѣсто этой скверной деревяшки, настоящая, стройная нога, такая же, какъ и моя оставшаяся лѣвая. Я вообще былъ довольно строенъ и уже конечно не походилъ, какъ теперь, на какого-то раскаряку. Дурное слово, но теперь мнѣ не до слова... И такъ, я познакомился съ нею. Случилось это очень просто: я шелъ. Она шла (я вовсе не волокита, т.-е. *не былъ* воло-

китою, потому что я теперь съ деревяшкою)... Не знаю, что-то меня толкнуло, и я заговорилъ. Прежде всего, конечно, о томъ, что я вовсе не изъ тѣхъ наглецовъ и т. д.; потомъ о томъ, какія у меня чистыя намѣренія, и пр.. и пр. Моя добродушная физіономія (на которой теперь толстая складка повыше переносья, очень мрачная складка) успокоила дѣвушку. Я проводилъ ее до Галерной улицы и до самаго дома, гдѣ она жила. Она возвращалась отъ своей старой бабушки, жившей у Лѣтняго сада, къ которой она каждый вечеръ ходила читать романы. Бѣдная бабушка была слѣпа!

Теперь бабушка умерла. Въ этомъ году умерло такъ много и не старыхъ бабушекъ. Могъ умереть и я, и даже очень могъ, увѣряю васъ. Но я выдержалъ. Господа, сколько горя можетъ выдержать человѣкъ? Вы не знаете? И я тоже не знаю.

Очень хорошо. Маша приказала мнѣ быть героемъ, и потому мнѣ нужно было ѣхать въ армію...

Времена крестовыхъ походовъ прошли: рыцари исчезли. Но если любимая дѣвушка скажетъ вамъ: „это кольцо я!“ и броситъ его въ огонь пожара, ну, хоть самаго большого пожара, положимъ, Фейгинской мельницы (какъ это было давно!) — развѣ вы не броситесь, чтобы его достать? „Ахъ, какой онъ странный, конечно нѣтъ“, — отвѣчаете вы; — конечно нѣтъ! Я отправлюсь къ Буцу и куплю ей новое въ десять разъ дороже“. — И она скажетъ, что оно теперь уже не то, а это, дорогое кольцо? Никогда не повѣрю. Впрочемъ, я не вашего закона, читатель. Быть можетъ, та женщина, которая вамъ нравится, и сдѣлаетъ такъ. Вы вѣдь навѣрное владѣлецъ многихъ сотенъ акцій и, можетъ быть, даже членъ „Грегеръ и К.“ Вы даже въ Бухарестъ выписываете „Стрекозу“ для развлеченія. Помните, быть можетъ, въ дѣтствѣ вамъ случалось наблюдать бабочку, налетѣвшую на огонь? Вы тогда тоже развлекались. Бабочка трепетала, лежа на спинѣ и махая коротенькими опаленными крыльями. Вы на-

ходили это интереснымъ; потомъ бабочка надоѣла вамъ, и вы давили ее пальцемъ. Бѣдное созданьице перестало страдать. Ахъ, благосклонный читатель! Если бы вы могли придавить пальцемъ и меня, чтобы и я переставъ страдать!

Она была странная дѣвушка. Когда объявили войну, она нѣсколько дней ходила мрачная, молчаливая, я ничѣмъ не могъ развлечь ее. „Послушайте,—сказала она мнѣ однажды— вы честный человѣкъ?“ — Могу допустить это, отвѣчалъ я.— „Честные люди дѣломъ подтверждаютъ свои слова. Вы были за войну: вы должны драться“.—Она хмурила брови и крѣпко жала мою руку своею маленькой ручкой.

Я смотрѣлъ на Машу и серьезно сказалъ ей: „Да!“

— Когда вы вернетесь, я буду вашей женой, — говорила она мнѣ на дебаркадерѣ. — Вернитесь!—Слезы душили меня, я чуть не разрыдался. Но я былъ твердъ и нашелъ силы отвѣтить Машѣ:

— Помните, Маша, честные люди...

— Дѣломъ подтверждаютъ свои слова, — докончила она фразу.

Я прижалъ ее послѣдній разъ къ сердцу и бросился въ вагонъ.

Я пошелъ драться изъ-за Маши, но я честно исполнилъ свой долгъ и относительно родины. Я бодро шелъ по Румыніи подъ дождемъ и пылью, въ жаръ и холодъ. Я самоотверженно грызъ сухари „компаніи“. Когда случилась первая встрѣча съ турками, я не струсилъ: за это мнѣ дали крестъ и произвели въ унтеръ-офицеры. Когда случилась вторая встрѣча— что-то хлопнуло, и я хлопнулся о землю. Стонъ, туманъ... Докторъ въ бѣломъ передникѣ съ окровавленными руками... Сестры милосердія. Моя отрѣзанная нога съ родимымъ пятномъ ниже колѣна... Все это какъ сонъ пролетѣло мимо меня. Санитарный поѣздъ съ комфортабельнѣйшими постелями и наизящнѣйшею уполномоченною дамою летитъ и несетъ меня въ Петербургъ.

Когда покидаешь городъ, какъ слѣдуетъ, двуногій, а воз-

ращаешься въ него съ одной ногой и обрубкомъ вмѣсто другой—это чего-нибудь стоитъ, повѣрьте мнѣ.

Меня положили въ госпиталь; это было въ іюлѣ. Я просилъ отыскать въ адресномъ столѣ адресъ Марьи Ивановны Г., и добродушный сторожъ-солдатъ принесъ мнѣ его. Все тамъ же, на Галерной!.. Я пишу письмо, другое, третье—и не получаю отвѣта.

Мой добрый читатель, я разсказалъ вамъ уже все. Вы мнѣ конечно не повѣрили. И исторія невѣроятная: какой-то рыцарь и какая-то коварная измѣнница. „Точь въ точь старый романъ!“ Мой проницательный читатель, вы напрасно не вѣрили мнѣ. Есть такіе рыцари и кромѣ меня...

Наконецъ, мнѣ придѣлали деревяшку, и я могъ самъ узнать, что было причиною молчанія Маши. Я доѣхалъ до Галерной на извозчикѣ, потомъ заковылялъ по длинной лѣстницѣ. Какъ я взлеталъ на нее восемь мѣсяцевъ тому назадъ! Наконецъ, вотъ и дверь. Я звоню съ замираніемъ сердца... За дверью слышны шаги; старая горничная Авдотья отворяетъ мнѣ, и я, не слушая ея радостныхъ возгласовъ, бѣгу (если можно бѣжать на разнокалиберныхъ ногахъ) въ гостиную. Маша!

Она не одна: она сидитъ съ своимъ дальнимъ родственникомъ, очень хорошимъ молодымъ человѣкомъ, который при мнѣ кончалъ курсъ въ университетѣ и разсчитывалъ получить очень хорошее мѣсто. Оба они очень нѣжно (вѣроятно по случаю деревяшки) поздоровались со мною, но оба были сконфужены. Черезъ четверть часа я все понялъ.

Я не хотѣлъ становиться поперекъ ихъ счастья. Проницательный читатель ехидно улыбается: неужели вы хотите, чтобы я вѣрилъ всѣмъ этимъ розсказнямъ? Кто же уступитъ любимую дѣвушку какому-нибудь шалопаю даромъ?

Во-первыхъ, онъ вовсе не шалопай, а во-вторыхъ... Я бы, пожалуй, сказалъ вамъ, что во-вторыхъ... но вы не пой-

мете... Вы не поймете, потому что не вѣрите, что въ наше время есть добро и правда. Вы бы предпочли несчастіе трехъ людей несчастію васъ одного. Вы не вѣрите мнѣ, проницательный читатель. И не вѣрьте; Богъ съ вами!

Третьяго дня была свадьба; я былъ шафером. Я гордо исполнялъ свои обязанности при церемоніи, во время которой драгоцѣннѣйшее для меня существо отдавало себя другому. Маша иногда робко взглядывала на меня. И ея мужъ обращался со мною такъ смущенно-внимательно. На свадьбѣ было весело. Пили шампанское. Нѣмцы родственники кричали hoch! и называли меня „der russische Held“! Маша и ея мужъ были лютеране.

„Ага, ага,—вопитъ проницательный читатель—вотъ вы и попались, господинъ герой! Для чего вамъ понадобилось лютеранское исповѣданіе? А для того, что въ декабрѣ православныхъ не вѣнчаютъ! Вотъ и все-съ. И всѣ ваши розсказни чистая выдумка“.

Думайте что хотите, проницательный читатель. Мнѣ это рѣшительно все равно. Но если бы вы походили со мною этими декабрьскими ночами по дворцовой набережной, послушали бы со мною бури и куранты, стукъ моей деревяшки; если бы вы прочувствовали, что у меня дѣлается на душѣ въ эти зимнія ночи, вы бы повѣрили... „Дингъ-дангъ! дингъ-дангъ!“ Куранты бьютъ четыре часа. Пора идти домой, броситься на одинокую, холодную постель и уснуть. До свиданья, читатель!

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ПИСЬМА.

Петербургскія Письма.

I.

Я не былъ въ Петербургѣ почти три года. Странное волненіе охватило меня, когда поѣздъ, перейдя Обводный каналъ, сталъ идти тише и тише, когда замелькали красные и зеленые фонари, когда подъ сводомъ дебаркадера гулко зарѣялъ свистокъ. Я не петербуржецъ по рожденію, но жилъ въ Петербургѣ съ ранняго дѣтства, свыкся съ нимъ, узналъ его; южанинъ родомъ, я полюбилъ бѣдную петербургскую природу, бѣлыя весеннія ночи, которыя—къ слову сказать—ничѣмъ не хуже нашихъ пресловутыхъ украинскихъ ночей, полюбилъ безпрерывную сутолоку на улицахъ, безконечные ряды домовъ-дворцовъ, чистоту города, прекрасные городскіе сады, Неву... Полюбилъ я петербургскую жизнь, ту самую, о которой собираюсь писать теперь на родину физическую съ родины духовной. Вотъ это-го послѣднее, что Петербургъ есть духовная родина моя, да и всякаго, прожившаго въ немъ дѣтство и юность, заставляетъ, когда подъѣзжаешь къ городу, волноваться, и волненіе это не меньше того, что́ испытываетъ юноша... при свиданіи, хотѣлъ я сказать, да нашелъ болѣе сильное сравненіе: когда вынимаешь на экзаменѣ билетъ, рѣшающій быть или не быть за перегородкой, отдѣляющей сытыхъ отъ голодныхъ и полуголодныхъ.

Да, этотъ болотный, нѣмецкій, чухонскій, бюрократическій, крамольническій, чужой городъ, этотъ „лишній административный центръ“, какъ выразился недавно нѣкій мудрый провинціальный пѣвецъ, приглашаемый на здѣшнюю сцену и отказавшійся, по его словамъ, „изъ принципа“ — этотъ городъ, прославленный, будто бы, безсердечностью своихъ жителей, формализмомъ и мертвечиной, а по моему скромному мнѣнію — единственный русскій городъ, способный быть настоящею духовною родиною. За внѣшнею сухостью скрывается настоящая умственная жизнь, насколько такая можетъ существовать у насъ въ Россіи. Пусть Петербургъ далекъ отъ Россіи (всѣ обвиненія московскихъ звонарей главнымъ образомъ основываются на этой мысли), пусть Петербургъ часто ошибается, говоритъ о томъ, что плохо знаетъ, но онъ все-таки думаетъ и говоритъ. Не въ Москвѣ фокусъ русской жизни или того общаго, что есть въ этой жизни, а въ Петербургѣ. Дурное и хорошее собирается въ него отовсюду, и — дерзкія скажу слова! — не иной городъ, а именно Петербургъ есть наиболѣе рѣзкій представитель жизни русскаго народа, не считая, конечно, за русскій народъ только подмосковныхъ кацаповъ, а расширяя это понятіе и на хохла, и на бѣлорусса, и на жителя Новороссіи, и на сибиряка и т. д., и т. д.

Привыкли говорить у насъ въ томъ смыслѣ, что де Москва — естественное произведеніе русской жизни, а Петербургъ — искусственное насажденіе и искусственно питаемое растеніе; что Москва Россіи нужна, а Петербургу нужна Россія; что Петербургъ — паразитъ, выросшій на счетъ народнаго пота... что когда вся Россія страдаетъ, Петербургъ наслаждается, резонерствуетъ и больше ничего.

Ахъ, милостивые государи! Придите сюда въ этотъ наслаждающійся и равнодушный городъ, и поживите здѣсь зиму, и если у васъ есть глаза, чтобы видѣть, и уши, чтобы слышать, вы на себѣ почувствуете эту, можетъ быть, и непонятную, но реальную и могучую связь между страною и ея

настоящею, невыдуманною столицей! Вы увидите, что удары, по всему лицу русской земли наносимые человѣческому достоинству, отзываются, и больно отзываются, здѣсь. Я не буду говорить о томъ, въ чьихъ и какихъ сердцахъ они отзываются... Вездѣ есть всякіе люди... Но все-таки болѣетъ и радуется (когда есть чему) за всю Россію одинъ только Петербургъ.

Потому-то и жить въ немъ трудно. На улицахъ благоустройство, порядокъ; городовые вѣжливы, увеселеній много, матеріальныя трудности жизни не больше, чѣмъ въ другихъ большихъ городахъ. Смертность, вопреки установившемуся предразсудку, не бо́льшая, чѣмъ вездѣ въ Россіи (въ Петербургѣ 37, въ Москвѣ 36, въ Орлѣ что-то около 60 на тысячу), даетъ прямое указаніе, что Петербургъ не особенно страдаетъ. У нѣмцевъ смертность меньше, но гнилые нѣмцы намъ конечно не указъ. Не знаю, какъ полагаютъ на этотъ счетъ московскіе патріоты, а я такъ готовъ предположить, что слишкомъ малая смертность показываетъ трусость и страхъ смерти: доблестный славянинъ врядъ ли унизится до заботъ о томъ, чтобы довести смертность въ своей странѣ до 17 на тысячу, какъ какой нибудь голоногій шотландецъ или селедочникъ-датчанинъ. Поэтому, я сравниваю Петербургъ только съ русскими городами. А по сравненію съ ними, онъ еще, слава Богу, ничего. Но жить въ немъ труднѣе, чѣмъ гдѣ нибудь, не по внѣшнимъ условіямъ жизни, а по тому нравственному состоянію, которое охватываетъ всякаго думающаго человѣка, попавшаго въ этотъ большой городъ. Здѣсь, въ Маркизовой лужѣ (такъ прозвали Невскую бухту Финскаго залива во времена морского министра маркиза де-Траверсе, который за свое долголѣтнее управленіе нашимъ флотомъ въ Александровскія времена, какъ говорятъ, ни разу не вывелъ его изъ этой бухты), живешь, кажется, вдали и отъ Старобѣльска, и отъ Вилюйска, а принимаешь, невольно принимаешь, и старобѣльскіе, и вилюйскіе интересы такъ близко къ сердцу, какъ врядъ ли принимаютъ ихъ сами жи-

тели этихъ богоспасаемыхъ городовъ. Я не въ состояніи яс
показать, въ чемъ и какъ проявляется эта связь, но о
есть. И для фельетониста, пишущаго петербургскія письм
не легко ограничиться чисто мѣстными интересами: начне
писать, положимъ, какъ прекрасно играетъ военный оркестр
въ Лѣтнемъ саду, при электрическомъ освѣщеніи, и как
большія деньги беретъ г. Балашовъ, буфетчикъ этого сада. з
бифштексы, а незамѣтно перейдешь и на югъ и на запад
посѣтивши Кавказъ и, чего добраго, поинтересуешься позна
комиться и съ „болѣе отдаленными мѣстами“ востока и „ту
драми“ сѣвера.

Поэтому, заранѣе прошу извиненія, если въ моихъ *пис*
махъ читатель найдетъ иногда разговоры, мало относящіес
къ столицѣ, если мнѣ въ письмахъ въ Харьковъ придетс
говорить иногда даже о самомъ Харьковѣ. Обѣщаю стараться
чтобы этого посторонняго элемента было поменьше, и так
какъ вступительною болтовнею я занялъ чуть ли не половин
письма, то ставлю черточку.

Лѣтній сезонъ уже наступилъ. Петербургъ опустѣлъ, почт
до своей лѣтней нормы. Численно, правда, населеніе город
почти не уменьшилось, если только не увеличилось, несмотр
на то, что поѣзды, отъѣзжающіе въ Москву, за границу и
въ Финляндію, биткомъ набиты пассажирами. Взамѣнъ этих
счастливыхъ людей, имѣющихъ возможность „отдохнуть“ лѣ-
томъ на лонѣ русской или нѣмецкой природы, обратные
поѣзда и барки, проходящія сверху по Невѣ, привозятъ цѣ-
лые полки рабочихъ. За лѣто нужно подновить, почистить го-
родъ, выстроить нѣсколько десятковъ новыхъ домовъ, навести
на судахъ зимній запасъ дровъ, сѣна, хлѣба. Нѣтъ улицы, по
которой можно было бы проѣхать, не встрѣтивъ препятствія
въ видѣ разломанной мостовой, ямы, разрытой для исправ-
ленія водяной или газовой трубы, забора, отгораживающаго
новое сооруженіе, или старый, надстраивающійся на одинъ

ли два этажа, домъ. Жара и пыль—ничтожныя сравнительно съ харьковскими — конечно заставляютъ и тѣхъ обывателей, которые не могутъ покинуть городъ на все лѣто, искать спасенія на дачахъ. Сообщенія (пароходы, конно-желѣзныя и паровыя желѣзныя дороги) настолько удобны и дешевы, что мѣшнему чиновнику или конторщику ничего не стоитъ ѣздить каждое утро въ городъ а „послѣ должности“ возвращаться къ семьѣ и природѣ за какія нибудь 15, 20, даже 30 верстъ, чтобы остальное время дня провести въ гуляньѣ по сосновому лѣсу или березовой рощѣ, а то и просто по недавно денажированному болотцу; въ уженьѣ рыбы (посмотрите въ лѣтніе №№ сатирическихъ изданій: чуть не третья часть карикатуръ направлена противъ этой несчастной и невинной страстишки)—рыбы, никогда не попадающейся на удочку; въ охотѣ на умудренныхъ опытомъ ингерманландскихъ утокъ, рябчиковъ и глухарей, считающихъ позоромъ быть подстрѣленными охотникомъ-диллетантомъ. Иные отцы семействъ избираютъ болѣе благую часть: проводятъ лѣтніе вечера, какъ проводили и зимніе, садясь за зеленый столикъ въ 9—10 часовъ вечера и „винтя“ до солнечнаго восхода. Прибавьте къ этому увеселенія, разсѣянныя лѣтомъ вокругъ Петербурга: вокзалы, лѣтніе театры. оркестры музыки на открытомъ воздухѣ и пиво, пиво и пиво, — вотъ и весь фонъ дачной жизни петербургской семьи средней руки. На этомъ фонѣ разыгрываются всевозможныя дачныя событія. Завязываются знакомства, начинаются романы, развиваются драмы. Но все это дѣлается какъ-то особенно, „не въ серьезъ, а по дачному“, какъ удалось мнѣ недавно услышать.

Для этого мирнаго житія необходимы, само собою разумѣется, хлѣбъ мясо, свѣчи, дрова и прочіе продукты. Десятки тысячъ семействъ переселяются изъ города въ окрестности, всѣмъ имъ надо ѣсть и пить, петербургскія же хозяйки привыкли вести свое хозяйство безъ хлопотъ. Изъ сотни хозяекъ врядъ ли одна дѣлаетъ какіе нибудь запасы по провинціальному; остальныя пользуются услугами мелочной лавки,

удивительнѣйшаго учрежденія, въ которомъ нельзя доста[ть] только сырого мяса и матерій, а все остальное, нужное в[ъ] домашней жизни, есть всегда и въ достаточномъ количеств[ѣ]. Мелочная лавка перебралась и за городъ и торгуетъ тамъ в[ъ] лѣтніе мѣсяцы очень бойко. Кромѣ нея, къ услугамъ потре[бителей] существуетъ еще цѣлая армія всевозможныхъ разнос[чиковъ], преимущественно ярославцевъ; они носятъ по дачам[ъ] и вѣжливо предлагаютъ „вашему сіятельству“ и „вашему превосходительству“ говядину, рыбу, раковъ, зелень, хлѣбъ, пирожныя, мороженое, цвѣты въ горшкахъ, корзины и легку[ю] мебель, шторы и багеты для картинъ, проволочныя издѣлія, посуду, письменныя принадлежности; даже книги — и тѣ разносятся ярославцами и даются на прочтеніе скучающимъ дачницамъ по гривеннику за томъ. Походный парикмахеръ ѣздитъ въ телѣжкѣ; походный фотографъ разъѣзжаетъ въ цѣломъ фургонѣ: тамъ у него лабораторія, а павильонъ конечно на воздухѣ.

Дачная жизнь выработала совершенно особые типы. Покойный Кущевскій, долго жившій въ Петербургѣ и хорошо его знавшій, набросалъ уже много лѣтъ тому назадъ цѣлый рядъ талантливыхъ очерковъ этихъ типовъ; желающихъ познакомиться съ ними отсылаю къ нему. Но не могу не отмѣтить одной, довольно часто встрѣчающейся разновидности петербургскаго жителя. Это человѣкъ большею частью молодой, съ приличной физіономіей и франтовато одѣтый. Гдѣ онъ живетъ лѣтомъ — неизвѣстно; чиновникъ въ адресномъ столѣ на справку отвѣчаетъ, что „Иванъ Ивановичъ Петровъ выбылъ въ херсонскую губернію“. Но Иванъ Ивановичъ въ херсонской губерніи никогда не бывалъ и врядъ ли бывалъ гдѣ нибудь за Павловскомъ или Петергофомъ. Иванъ Ивановичъ состоитъ на службѣ; въ чемъ заключаются его служебныя обязанности — не знаетъ никто изъ его знакомыхъ, но онъ служитъ и получаетъ рублей 40 — 50 въ мѣсяцъ. И то сказать, здѣсь, въ Питерѣ, есть удивительныя мѣста [1])... Какъ бы

[1]) Напримѣръ, мѣсто *кума въ Воспитательномъ домѣ*. „Кумъ“, по слу-

ни было, сорока или пятидесяти рублей въ мѣсяцъ Ивану Ивановичу не хватаетъ: ему нужны фракъ, цилиндръ, лакированные сапоги, тонкое бѣлье — видимое міру, конечно — перчатки. Комнату (въ городѣ зимою) онъ нанимаетъ маленькую и скверную; ѣстъ, благодаря безчисленнымъ знакомствамъ, хорошо. Пятнадцать знакомыхъ семействъ — вотъ и все, что ему нужно; можно обѣдать въ каждомъ *только* разъ въ двѣ недѣли, что и выгодно и прилично. Но наступаетъ лѣто; всякая тварь радуется и стремится въ зелень, на воздухъ; почему же не стремиться и Ивану Ивановичу? И вотъ онъ, узнавъ адресы всѣхъ знакомыхъ, начинаетъ свой лѣтній туръ. Ѣдетъ въ Лѣсной, къ дѣйствительному статскому совѣтнику Дубѣ, и въ его миломъ семействѣ — онъ принятъ въ немъ, какъ родной — проводитъ недѣльку. Затѣмъ „дѣла“ призываютъ его въ Петербургъ; потолкавшись въ городѣ полдня, онъ стремится въ Ораніенбаумъ къ тайному совѣтнику Стрекозѣ. Стрекоза хотя и презираетъ его, но по русскому хлѣбосольству не гонитъ, а кормитъ дней 5 или 6. Дочь Стрекозы, томная дѣвица лѣтъ 30, говоритъ съ нимъ о чувствахъ и литературѣ (Иванъ Ивановичъ и это можетъ), компаньонка-француженка, шутя, учитъ его болтать по-французски; время проходитъ весьма пріятно. Но Иванъ Ивановичъ донельзя деликатенъ; деликатность — основная черта его характера. Онъ помнитъ, что его ждутъ (увы! ждутъ! ибо знаютъ, что отъ Ивана Ивановича нѣтъ спасенья) и живущій на дачѣ, въ ожиданіи кассаціи, а затѣмъ отдаленнаго вояжа, интендантскій полковникъ Загреби, и почтенный старецъ, недавно вернувшійся изъ такого же вояжа и живущій на покоѣ, бывшій коммерціи совѣтникъ Потащиловъ, и семейство знакомаго протоіерея, отправившаго своихъ чадъ и домочадцевъ въ Новосаратовскую нѣмецкую колонію, и товарищъ его, Ивана Ивановича, по гимназіи, художникъ, живущій въ Лиговѣ „на этюдахъ“, питающійся колбасою, пивомъ, таба-

хомъ, получаетъ за каждаго крестника пятакъ и рюмку водки. Впрочемъ, это, можетъ быть, „одна беллетристика“; навѣрное не знаю.

комъ и запахомъ хвойнаго лѣса и масляныхъ красокъ. Иван Ивановичъ, какъ мотылекъ, перелетающій съ одного цвѣт на другой, перелетаетъ по конно-желѣзнымъ и паровымъ пу тямъ, на пароходахъ, а то и на своихъ двоихъ, съ дачи н дачу, говоритъ за двоихъ, ѣстъ за троихъ, любезничаетъ с дамами и благополучно доживаетъ лѣто, тратя свои скудны гроши только на пріобрѣтеніе билетовъ на проѣздъ. Даж сигары (у Загреби) и папиросы (у художника) онъ курит не свои, а хозяйскія, вознаграждая за сигары разсказомъ томъ, какъ онъ однажды выкурилъ у такого-то сигару в полтора рубля штука, а за папиросы — набиваніемъ ихъ в пользу хозяина. И такъ живетъ Иванъ Ивановичъ изъ год въ годъ, пока не явятся лысинка и брюшко и какими-то чуд ными и невѣдомыми путями не оттопырится боковой карман

Милостивый государь, — скажетъ мнѣ читатель, — страни мнѣ это: начали вы съ такихъ, можно сказать, благородных словъ, обѣщали показать Петербургъ страдающій и мысля щій, а вмѣсто того говорите о дачахъ и объ Иванѣ Иванов вичѣ, старомъ, заношенномъ еще въ пятидесятыхъ годах типѣ! Гдѣ же тутъ мысль, гдѣ страданье?

О, конечно, конечно, читатель! Иванъ Ивановичъ вовсе н страдаетъ. И стыдно мнѣ было бы ограничиться однимъ Ив номъ Ивановичемъ, но дѣло въ томъ, что мыслящій Петер бургъ весь уже уѣхалъ. Дѣло лѣтнее. А вообще-то вѣдь н Иваны Ивановичи и кумовья Воспитательнаго дома дѣлают нравственную физіономію города.

О моемъ же дачелюбивомъ пріятелѣ я вспомнилъ потому что онъ знаетъ всѣхъ и все. Надѣюсь попасть съ нимъ и к Стрекозѣ, и къ Дыбѣ, и къ Загреби, и ко всѣмъ прочим а что я тамъ увижу—сообщу черезъ двѣ недѣли.

II.

Иванъ Ивановичъ обманулъ меня: обѣщалъ зайти за мною и повезти въ Петергофъ къ какимъ-то своимъ знакомымъ, не пришелъ. Сижу одинъ и скучаю.

Лѣто, жара и тоска. Хочется уйти куда нибудь подальше отъ камня, въ зелень, въ какое нибудь тихое мѣсто, куда не доходитъ шумъ города, гдѣ нѣтъ толпы. Трудно найти такое уединенное мѣстечко: сады биткомъ набиты гуляющими, дачныя мѣста тоже. Пойду на кладбище. Если скучно среди живыхъ, то куда же дѣваться, какъ не къ мертвымъ? Говорить съ ними, т.-е. читать ихъ книги, я усталъ, пойду посмотрѣть, гдѣ они лежатъ.

Мертвый Петербургъ больше живого. Не говоря уже о томъ, что каждая пядь земли города при Петрѣ Великомъ, когда рабочіе, случалось, цѣлое лѣто питались только рѣпой, стоила человѣческой жизни, обычный покосъ смерти давнымъ давно населилъ и переполнилъ городскія кладбища. Начали устраивать загородныя по линіямъ желѣзныхъ дорогъ. Цѣлые похоронные поѣзда отходятъ ежедневно изъ Петербурга, увозя десятки гробовъ; иные наставлены кучей въ одномъ вагонѣ, другіе занимаютъ отдѣльные вагоны, торжественно красуясь на траурныхъ катафалкахъ. Свиститъ машина, трогается поѣздъ съ мертвымъ грузомъ, а навстрѣчу ему подходятъ къ городу поѣзды съ живыми, съ новымъ запасомъ народа, изъ которыхъ многіе и многіе поѣдутъ назадъ только до первой станціи — Преображенскаго или Удѣльнаго кладбища. Здравствуйте, живые; прощайте, мертвые!

Не закрылись еще и городскія кладбища: Смоленское, Митрофаніевское, Волково и нѣсколько другихъ меньшихъ и большею частью привилегированныхъ. Правда, жильцы ихъ давно уже лежатъ другъ на другѣ, и нельзя вырыть могилы, чтобы не наткнуться на полусгнившій, а то и новый гробъ.

Но петербуржцы больше любятъ эти старые, тѣсные, несмотря на свою огромность, мертвые города, чѣмъ ихъ новыя колоніи. Ничего, если придется потревожить сосѣда; его подвинутъ къ сторонкѣ, а рядомъ съ нимъ ляжетъ новый жилецъ. Лѣтомъ и зимою на кладбищѣ хорошо. Оно представляетъ собою сплошной садъ: ольха, береза, бузина отлично растутъ на жирной почвѣ; кладбища—самые тѣнистые сады въ городѣ. Могилки раздѣлены дорожками съ деревянными мостками; сбоку надписи съ обозначеніемъ разрядовъ отъ I до VI и названіями мостковъ. Точно улицы въ живомъ городѣ. На Волковомъ кладбищѣ, гдѣ я былъ сегодня, есть мостки цыганскіе, нѣмецкіе, духовные; есть и литераторскіе.

Къ кладбищу ведетъ длинная Разстанная улица. Небольшіе дома по большей части заняты монументными мастерскими; готовые мраморные и гранитные памятники глядятъ изъ оконъ; на нихъ приготовлены мѣста для надписей, а самихъ надписей еще нѣтъ; смерть напишетъ ихъ сегодня или завтра. Въ заборахъ—лавочки для продажи цвѣтовъ и вѣнковъ изъ мха и иммортелей; всѣ заборы увѣшаны ими. Однадвѣ кухмистерскія съ большими залами для поминанія усопшихъ. Кладбищенская богадѣльня; ветхія старухи поглядываютъ изъ сада на прохожихъ, идущихъ къ кладбищу и отъ него, ожидая, когда и имъ придется отправиться туда же на покой. Два дома причта кладбищенской церкви на концѣ улицы, у самой площадки передъ воротами. Густая зелень закрываетъ кладбище; церковь, маленькая, старинная, едва виднѣется изъ нея. Недавно поставили въ сторонкѣ другую, бо́льшую. Старый сторожъ сидитъ на лавочкѣ съ трубкой и поплевываетъ на мостовую. За воротами небольшой навѣсъ съ прилавкомъ; тамъ сидитъ старушка изъ богадѣльни и принимаетъ пожертвованія.

Въ церкви почти всегда нѣсколько гробовъ: запахъ ладана смѣшивается съ тяжелымъ запахомъ покойника; кадильный дымъ плаваетъ облакомъ, слышно торопливое чтеніе и

пѣніе. Уйдемъ отсюда подальше, туда, въ третій и четвертый разряды, гдѣ памятники проще, гдѣ „дешеваго рѣзца нелѣпыя затѣи“ уступаютъ мѣсто простымъ плитамъ и деревяннымъ крестамъ. Крайняя лѣвая дорожка и есть „литераторскіе“ мостки. Подходишь къ мѣсту, гдѣ легли лучшіе русскіе люди, и невольно сжимается сердце. Вспоминается прелестное описаніе Вашингтона Ирвинга „Уголка поэтовъ“ въ Вестминстерскомъ аббатствѣ-кладбищѣ величайшихъ людей величайшей страны. Мы не заботимся о нашихъ великихъ мертвыхъ, какъ заботятся англичане. Мы не заботимся о нихъ и при жизни. Мы умѣли только брать отъ нихъ, ничего не давая взамѣнъ.

Нашъ „Poets Corner“ (собственно уголокъ не поэтовъ, а публицистовъ) очень невеликъ. Лежитъ здѣсь Бѣлинскій рядомъ со своимъ другомъ Кульчицкимъ (могила котораго исчезла и на мѣстѣ котораго похоронили, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, съ большимъ скандаломъ, студента Чернышева); рядомъ съ Бѣлинскимъ могила Добролюбова, черезъ дорожку Писаревъ. Въ сторонѣ—Афанасьевъ-Чужбинскій, теперь уже почти забытый, но въ свое время извѣстный и трудолюбивый изслѣдователь юга Россіи и романистъ. Умирая, онъ просилъ, чтобы его положили поближе къ Бѣлинскому и Добролюбову, и друзья исполнили его желаніе. Они лежатъ вмѣстѣ на пространствѣ трехъ-четырехъ квадратныхъ саженъ, окруженные безчисленною толпою темныхъ именъ, написанныхъ на мраморѣ, гранитѣ, плитѣ и деревѣ. Толпа, которую они любили и учили и которая задушила ихъ, не оставила ихъ и послѣ смерти, стѣснила и сдавила ихъ маленькій уголокъ, такъ что новому другу уже негдѣ будетъ лечь...

Надъ Бѣлинскимъ черный, высокій памятникъ изъ гранита съ такимъ же крестомъ и простою надписью: „Виссаріонъ Григорьевичъ Бѣлинскій, 26-го мая 1848 г.“. Добролюбовъ лежитъ подъ тяжелымъ чернымъ саркофагомъ безъ всякаго украшенія и символа; только имя, годы рожденія и смерти. У Писарева маленькій бѣлый крестъ на черномъ основаніи.

Друзья Чужбинскаго поставили ему большой бѣлый мраморный памятникъ. Деревянныя рѣшетки, отдѣляющія сосѣднія „семейныя мѣста“, исписаны карандашемъ. Тутъ и стихи, но не собственнаго сочиненія, а большею частью изъ Некрасова; тутъ и наивная проза съ выраженіемъ любви и горя. „Всѣ, кого ты училъ, помнятъ тебя“. „Неужели ты забытъ?“

. . . Природа мать! Когда-бъ такихъ людей
Ты иногда не посылала міру,
Заглохла-бъ нива жизни...

Таковы надписи надъ могилой Писарева. У Бѣлинскаго кто-то написалъ строчку изъ молодого поэта:

Учитель, гдѣ ты? Приди и научи!

Этотъ страстный вопль, эта жалоба на смерть, унесшую учителя — единственная надпись надъ могилой Бѣлинскаго. Забыли его. На черномъ гранитѣ памятника нѣтъ ни одного вѣнка...

А вокругъ — неутѣшная купчиха 2-й гильдіи пишетъ на памятникѣ мужа о томъ, что „всѣ тлѣнь и прахъ, а мы всѣ по тебѣ въ слезахъ“; вдовецъ жалуется, что жена его умерла, оставивъ семь человѣкъ дѣтей, „воздоенныхъ отъ сосцовъ ея“; надворный совѣтникъ и ордена св. Владиміра 4-й степени кавалеръ лежитъ подъ мавзолеемъ, украшеннымъ факелами съ каменнымъ пламенемъ и дубовыми длинными стихами; на деревянномъ крестѣ написано—страшно сказать!—*семь* дѣтскихъ именъ и выставленъ возрастъ дѣтей, отъ трехъ мѣсяцевъ до года и четырехъ мѣсяцевъ... Сильно мрутъ петербургскія дѣти...

Однажды я попалъ на кладбище въ „родительскую“ субботу. Несмотря на строгое запрещеніе, поминающіе все-таки ухитряются проносить водку въ самоварахъ и чайникахъ. Тысячи сидятъ на могилкахъ, пьютъ и ѣдятъ. Поминаніе кончается пьянствомъ и скандаломъ. Городовые, дворники, участокъ, протоколъ... Закрыть глаза и бѣжать. Но теперь

все тихо, пусто и спокойно; только могильщики ходятъ съ лопатами, да каменщики обтесываютъ новые памятники и высѣкаютъ имена и льстивыя надписи. Стукъ молота, негромкая пѣсенка работника о томъ, что

А въ деревню не хватало
Двадцати пяти рублей...

пѣніе, доносящееся изъ церкви, да далекій, неумолчный шумъ живого милліоннаго населенія города—вотъ и всѣ звуки. Изрѣдка налетитъ вѣтеръ, зашумитъ въ вѣтвяхъ деревьевъ, и снова все тихо.

Уйдемъ отсюда. Оставимъ мертвыхъ, вернемся къ живымъ. Не поѣхать ли намъ, читатель, въ Петергофъ? Тамъ сегодня пущены фонтаны, паркъ набитъ биткомъ гуляющими, играютъ три оркестра.

Пароходъ, отходящій отъ англійской набережной, до того полонъ пассажировъ, что многіе изъ нихъ должны стоять всю дорогу на ногахъ. Пестрая разнокалиберная толпа. Русскій языкъ почти не слышенъ среди другихъ: нѣмцы, шведы, англичане говорятъ по-своему, а большинство русской публики, первоклассной конечно, трещитъ, съ грѣхомъ пополамъ, по-французски. Петергофскіе дачники принадлежатъ большею частью къ очень состоятельному классу; часть бомонда, не уѣхавшая за границу по случаю цѣны полуимперіала въ 8 р. 20 к., тоже ютится въ Петергофѣ или Павловскѣ. Это очень людныя мѣста.

Пароходъ быстро проходитъ Невское устье; по берегамъ возвышаются верфи и магазины. Вотъ огромная корма „Владимира Мономаха“ нависла надъ водой изъ-подъ крыши элинга; военныя суда, живыя и мертвыя, назначенныя къ сломкѣ, занимаютъ лѣвый берегъ: нить миноносокъ тянется чуть не на полверсты. Дальше начало морского канала, который къ осени, говорятъ, начнетъ уже дѣйствовать, проводя прямо

въ Петербургъ самыя большія суда, такъ какъ глубина его—28 футовъ. Вдругъ берега расширяются, уходятъ вправо и влѣво, синѣя возвышенностями и лѣсами. Маркизова лужа спокойна: черные и бѣлые бакены обрамляютъ фарватеръ, а по сторонамъ его желтѣютъ песчаныя мели. Въ самомъ узкомъ и мелкомъ мѣстѣ фарватера, верстахъ въ 8 отъ устья Невы, шведскій пароходъ плотно усѣлся на мель и бурлитъ винтомъ, тщетно пытаясь сдвинуться съ мѣста; буксирный пароходъ также напрасно старается стянуть его. Тутъ мы идемъ тихимъ ходомъ, осторожно обходя потерпѣвшаго шведа.

Впереди, сквозь легкую мглу, какая часто бываетъ на морѣ, когда солнце свѣтитъ слишкомъ ярко, видна узкая полоска, иззубренная шпицами церквей и мачтами судовъ. Это Кронштадтъ: пятна справа и слѣва—его грозные форты. Направо финляндскій берегъ уходитъ въ туманъ волнистою линіею, налѣво берегъ Стрѣльны и Петергофа, весь заросшій парками и садами. Сзади широкая картина уходящаго Петербурга: отдѣльныхъ зданій уже почти нельзя разсмотрѣть; только куполъ Исаакія нестерпимо горитъ золотою звѣздой.

Петергофская пристань состоитъ изъ длиннаго деревяннаго помоста, вытянутаго отъ берега почти на полверсты. У самаго ея начала—входъ въ знаменитый паркъ; около ресторанчики, гдѣ гремитъ музыка. Пройдя мимо него, вступаешь въ царство петербургской старины.

Здѣсь все старо, солидно и прочно. Старъ самый паркъ, множество деревъ котораго посажены самимъ Петромъ Великимъ; стары фонтаны, однажды навсегда устроенные такъ, что почти не требуютъ починки; старый дворецъ глядитъ, сквозь брызги Самсона и множество другихъ водометовъ, на знаменитый каналъ, ведущій къ морю и выкопанный въ одну ночь. Толпа, наполняющая садъ и тѣснящаяся особенно около Монплезира (недалеко отъ него играютъ два оркестра военной музыки) совсѣмъ не подходитъ къ этимъ важнымъ и чиннымъ мѣстамъ, хотѣлось бы видѣть фижмы, пудру, французскіе кафтаны, шелковые чулки и шпаги. Одни только

придворные лакеи въ кургузыхъ фракахъ съ галунами, въ красныхъ жилетахъ, короткихъ штанахъ и шоколаднаго цвѣта штиблетахъ напоминаютъ прошлое. Они стоятъ у дверей Монплезира, и, кажется, вотъ-вотъ отворятся эти старыя двери, и выйдетъ матушка-царица съ кѣмъ нибудь изъ своихъ орловъ. Но лакеи стоятъ только для красы, да еще для того, чтобы взимать двугривенные съ желающихъ посмотрѣть любимое мѣстечко Петра и Екатерины. Монплезиръ — низкое кирпичное зданіе, очень простой и красивой постройки, въ голландскомъ вкусѣ XVII вѣка: въ немъ одна только большая зала и нѣсколько маленькихъ комнатъ; по сторонамъ двѣ длинныя галереи съ большими окнами. Кто изъ читателей видѣлъ картину Ге „Петръ I допрашиваетъ царевича Алексѣя“, или копію съ нея, тотъ имѣетъ полное понятіе о большой залѣ: г. Ге писалъ ее съ натуры и не упустилъ ни малѣйшей подробности. Входишь въ залу, и какъ-то странно кажется, что посреди не стоитъ большой столъ, за столомъ не сидитъ грозный судья-отецъ, и противъ него нѣтъ смущеннаго, дрожащаго сына.

Передъ Монплезиромъ терраса. выходящая прямо на море и обнесенная бѣлой балюстрадой. Это лучшее мѣстечко въ Петергофѣ; недаромъ его любили всѣ его хозяева. Отсюда видны и Петергофъ, и Кронштадтъ; сотни судовъ снуютъ вдали взадъ и впередъ по фарватеру. Море лѣнивыми волнами разбивается о прибрежные валуны. Просидѣлъ бы здѣсь не одинъ часъ, если бы не толпа, не вѣчные, надоѣвшіе разговоры. . . . . .

. . . . . .

Десять часовъ. Пора и на пароходъ. Покойной ночи.

1882 г.

СТАТЬИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КРИТИКѢ.

Новая картина Семирадскаго «Свѣточи христіанства».

16 марта 1877 г.

„Однихъ зашивали въ звѣриныя шкуры, и они погибали, пожираемые собаками; другіе умирали на крестѣ, или ихъ покрывали горючими веществами и, по заходѣ солнца, жгли вмѣсто факеловъ. Неронъ уступалъ свои сады для этого зрѣлища... Хотя эти люди и были виновны и заслуживали строгое наказаніе, но сердца все-таки открыты для жалости къ нимъ".

Такъ говоритъ Тацитъ о заживо сожженныхъ въ царствованіе Нерона христіанахъ.

„И свѣтъ во тьмѣ свѣтитъ, и тьма не объяла его".

Эти слова вырѣзаны Семирадскимъ на рамѣ его колоссальнаго произведенія.

Когда вы входите въ залъ, гдѣ стоитъ картина, почти непріятное чувство овладѣваетъ вами: вы видите предъ собою какую-то яркую пеструю путаницу мраморовъ и человѣческихъ фигуръ, путаницу съ рѣзкими пятнами, огненными, черными, перламутровыми, золотыми.

Только подходя ближе и дѣлая нѣкоторое усиліе, вы можете разобрать, въ чемъ дѣло. Слѣва пестрая народная толпа, тѣснящаяся на мраморномъ крыльцѣ дворца, выходящемъ въ садъ. Болѣе ста фигуръ въ свѣтлыхъ и яркихъ одеждахъ, мраморы, сосуды, блестящіе металлами, украшенія, горящія

драгоцѣнностями, цвѣты, опахала, роскошныя носилки цезаря, его ручной тигръ. Справа цвѣтами обвитые столбы, около которыхъ блеститъ пламя жаровни и факеловъ, зажигаемыхъ нагими рабами, на столбахъ увязанные веревками пуки соломы, куда по грудь запрятаны мученики... Сейчасъ зажгутъ эти пуки, а нѣкоторые, сзади, уже начали горѣть, разбрасывая искры.

Взгляните на эту пеструю толпу. Недостатокъ ли искусства художника, или, быть можетъ, его намѣреніе—не берусь рѣшить — сдѣлали разсматриваніе отдѣльныхъ фигуръ картины крайне утомительнымъ. Вы видите толпу, массу, раздѣтую и полуобнаженную, разукрашенную тканями и золотомъ. Но ваше вниманіе скоро утомляется, когда вы начнете разсматривать отдѣльныя фигуры; ни одна фигура, ни одна группа не выдѣляются рѣзко на этомъ общемъ фонѣ.

Главную фигуру, цезаря Нерона, вамъ приходится искать глазами. Вотъ онъ, одутловатый и смуглый, пресыщенный, скучающій, для возбужденія притупленныхъ нервовъ придумавшій такое утонченное зрѣлище, сидитъ въ роскошномъ, раззолоченномъ, инкрустированномъ перламутромъ паланкинѣ, вмѣстѣ со своею женою Поппеею. Въ ея лицѣ, жирномъ и вяломъ, ничего не видно, кромѣ чувственности; даже на такое экстра-тонкое зрѣлище она смотритъ апатично и тупо. Черные рабы, несущіе носилки, почти не выражаютъ своими лицами ни жалости, ни злорадства. Ихъ черную кожу не проберешь чужимъ страданіемъ, а ненависти къ христіанамъ они имѣть не могутъ: что для нихъ христіане?

Носилки Нерона остановились на средней площадкѣ мраморной лѣстницы. Отъ нея идутъ два марша: одинъ налѣво и вверхъ, во дворецъ, другой прямо къ зрителю, внизъ оканчивающійся большою площадкой, на которой расположенъ „первый планъ“ картины, наиболѣе выдающаяся и интересная ея часть. Тамъ, вверху, за цезаремъ, большая давка; масса зрителей спускается по лѣстницѣ, чтобы посмотрѣть, какъ будутъ горѣть „поджигатели Рима“. Видны тамъ и

черная кожа раба, и красная полоса на бѣлой тогѣ сенатора, и шлемъ императорскаго полководца, и яркія одежды, и обнаженныя руки и плечи женщинъ. Все это смѣшивается въ общее пятно, и пятно менѣе удачное изъ всей картины: часть лѣстницы, заворачивающая въ глубь картины, на самый верхъ, съ многочисленною толпою, лишена воздушной перспективы и, какъ говорятъ художники, „лѣзетъ впередъ", несмотря на сравнительную туманность тоновъ.

А здѣсь, около насъ, внизу, какая смѣсь одеждъ и лицъ! Какое разнообразіе типовъ и красокъ! Вотъ собралась кучка серьезныхъ людей; сенаторъ, стоящій спиною къ зрителю, грекъ-философъ съ повязкою на головѣ, что-то ему убѣдительно доказывающій, и слушатели. Что говоритъ грекъ? Ужъ не доказываетъ ли онъ нелѣпость подобнаго препровожденія времени? Нѣтъ, гдѣ ему, бѣдному, имѣть свое собственное мнѣніе, когда въ двухъ шагахъ отъ него сидитъ самъ цезарь, всегда имѣющій возможность посадить на столбъ, въ соломѣ, любого философа! Должно быть, онъ прославляетъ цезаря за его мудрую предусмотрительность и строгое правосудіе. Около этой группы стоитъ одинокая фигура старика сенатора. Врядъ ли я ошибусь, если скажу, что это—одно изъ наиболѣе удавшихся художнику лицъ. Старый, толстый, обрюзглый, съ отвисшими щеками, съ маленькими глазками на пошломъ жирномъ лицѣ, онъ какъ-то скотски равнодушно смотритъ на начинающуюся казнь. Его сѣдая развратная голова увѣнчана пышными и нѣжными бѣлыми розами; какъ-то дико, нелѣпо видѣть дѣвственные цвѣты на такой головѣ; но они показываютъ, что престарѣлый сенаторъ только-что пересталъ пить и, вѣроятно, сейчасъ же послѣ спектакля начнетъ вновь (древніе думали, что вѣнки изъ розъ предохраняютъ отъ опьянѣнія).

Какъ спокойно смотритъ онъ! Да чего ему волноваться? можно ли чѣмъ нибудь удивить его, видѣвшаго Тиверія, Калигулу, Клавдія?.. Цезарь жжетъ христіанъ; до него, сенатора, очередь еще не дошла, онъ и пользуется временемъ,

наслаждается жизнью, съ розами на челѣ. А можетъ быть судьба и поблагопріятствуетъ ему, и онъ уйдетъ отъ яда или казни и умретъ „естественною“ смертью отъ пьянства и разврата. Ближе къ нимъ и къ жертвамъ Рима стоитъ интересная, прекрасно задуманная художникомъ пара: какой-то смуглый юноша въ роскошномъ, яркомъ восточномъ костюмѣ со своею подругою. Они оба, особенно онъ, чужіе на этомъ буйномъ пиршествѣ разврата и безчеловѣчія. Онъ, очевидно, не римлянинъ, а какой-то азіатскій принцъ, сдѣлавшій тысячи миль, чтобы подивиться владычествующему надъ міромъ человѣку и городу-царю. Что же онъ нашелъ здѣсь? Безумца, переходящаго съ трона на театральные подмостки и сжигающаго заживо людей не такъ, какъ тамъ, на южномъ востокѣ, изъ „политической необходимости“, а просто для потѣхи, и толпу льстецовъ, этихъ римскихъ гражданъ, владыкъ всего міра, раздѣляющую забавы этого безумца, льстивую, презрѣнную толпу. И вотъ передъ нимъ привязанные къ позорнымъ столбамъ люди, которыхъ сейчасъ будутъ жечь... Можетъ быть, одно слово отреченія освободитъ ихъ; но они не отрекаются. Что-жъ это такое, откуда они? И юноша задумчиво и тоскливо смотритъ на факелы изъ живыхъ людей; его настроеніе передается и его прекрасной подругѣ, боязливо прислонившейся къ нему и сострадательно смотрящей на мучениковъ.

И не одни они относятся къ предложенному Нерономъ зрѣлищу не съ апатичнымъ и тупымъ спокойствіемъ или злорадствомъ. Вотъ, на первомъ планѣ, ближе всего къ зрителю, сидитъ женщина. Одежда ея роскошна, сандаліи прикрѣплены драгоцѣнными застежками, горящими золотомъ и камнями. Она опустила дорогую, всю раззолоченную лиру (вѣроятно, это пѣвица) и сидитъ въ позѣ Сафо. Она явно жалѣетъ и этого старика съ дѣтскимъ выраженіемъ лица, безропотно висящаго тамъ, на столбѣ, и эту молоденькую дѣвушку, которую, кажется, ужъ подожгли.

Экспрессія лица этой женщины не особенно удалась ху-

ожнику, хотя по рисунку и письму это лучшая фигура картины. Она могла бы служить вся цѣликомъ, какъ она есть, превосходнымъ изображеніемъ Сафо, но вовсе не Сафо, смотрящей на истязанія людей. Въ ея лицѣ болѣе задумчивости, чѣмъ жалости и негодованія. Но ребенокъ, рядомъ съ нею, съ любопытствомъ ужаса смотрящій на страшную сцену — прекрасная фигура и по экспрессіи. Совсѣмъ налѣво, у самой стѣны, еще фигура человѣка, жалѣющаго христіанъ: это гладіаторъ, частью одѣтый въ свои тяжелые и безобразные доспѣхи, частью держащій ихъ въ рукахъ; онъ прислонился своею широкою спиною къ мраморной стѣнѣ и смотритъ съ состраданіемъ. Его простое, глуповатое лицо, съ выраженіемъ дикаря, написано не особенно удачно, но состраданіе варвара, смѣшанное съ дѣтскимъ изумленіемъ, прекрасно выражено. Жаль, что художникъ не потрудился тщательнѣе заняться этою фигурою и поставилъ ее довольно неловко: спина гладіатора какъ-то врѣзывается въ мраморъ, къ которому онъ прислонился. Передъ гладіаторомъ — дѣвушка-танцовщица, забывшая пляску и свои мѣдныя тарелочки, которыми она такъ весело побрякивала минуту тому назадъ. Она облокотилась на край мраморной площадки и смотритъ на рабовъ, готовящихся поджечь живые свѣточи. Ея фигура, наклонившаяся впередъ, полуприкрытая коричневой золотистой драпировкой, полна ожиданія и ужаса; только небрежно написанное лицо нѣсколько портитъ общее впечатлѣніе. У ногъ ея расположилась группа, стоящая болѣе подробнаго описанія.

Это три лица: старикъ сенаторъ, молодой мужчина и женщина, едва вышедшая изъ дѣтскаго возраста. Мужчины играютъ въ кости, она сидитъ на колѣняхъ у младшаго и хохочетъ надъ проигравшимся въ пухъ и прахъ и растерявшимся старикомъ, который уперся глазами въ костюмы публики. Это — совсѣмъ глупый, дряхлый старикашка, впавшій въ дѣтство. Не таковъ его счастливый соперникъ въ любви и игрѣ. Здоровое веселье видно на его хохочащей физіономіи: посмотрите, съ какимъ торжествомъ поднялъ онъ одну руку со ста-

канчикомъ, выбросилъ изъ него кости на круглый мраморный столикъ, а въ другой держитъ чашу, полную вина. Онъ наслаждается жизнью и удачею и не обращаетъ ни малѣйшаго вниманія на то, что два десятка людей сейчасъ начнутъ горѣть заживо. Какое ему дѣло до нихъ, когда игра кончилась такъ весело, когда на его колѣняхъ такъ удобно пріютилось молоденькое, веселое существо! Онъ радуется и выражаетъ свою радость гомерическимъ хохотомъ надъ выжившимъ изъ ума римскимъ сенаторомъ. А она, эта женщина-дѣвочка, со смѣющимся, но утомленнымъ отъ оргій лицомъ, она также не смотритъ на казнь. Въ ея молодой душѣ не выросли человѣческія чувства—жаль и состраданіе; ранній развратъ сгубилъ все и оставилъ только способность находить удовольствіе въ ласкахъ друга, на колѣняхъ котораго она сидитъ, да на днѣ его золотой чаши.

Еще болѣе омерзительна женщина, полулежащая на землѣ нѣсколько правѣе описанной группы. Она — вся ожиданіе и нетерпѣніе. Это волнующееся злое лицо, чувственный взоръ, въ которомъ ясно видна жажда крови и воплей, прекрасно удались художнику по силѣ экспрессіи.

Выше этихъ фигуръ помѣщается пара: полный смуглый сенаторъ въ вѣнкѣ изъ желтыхъ цвѣтовъ, со своею подругою, стройною, прекрасною женщиною. Онъ, небрежно развалясь на мраморѣ, неодобрительно смотритъ на ненужную жестокость, конечно не зная, кто истинный виновникъ римскаго пожара. Ему гораздо пріятнѣе было бы, быть можетъ, уйти отсюда съ красивою подругою, которую онъ ласково держитъ за обнаженную руку повыше кисти. И она, нервная, впечатлительная, тоже ушла бы, если бы было можно: готовящаяся казнь возмущаетъ ее, заставляетъ страдать, и прекрасное лицо невольно складывается въ выраженіе ужаса и отвращенія. Сзади этой пары, превосходно исполненной, опять люди, забывшіе и казнь, и всѣхъ и все, увлекшіеся своимъ бѣшенымъ бурнымъ, пьянымъ весельемъ. Громко свиститъ двойная флейта, гудитъ и бренчитъ бубенъ, быстро двигаются

ыа опьянѣвшихъ отъ вина и пляски танцоровъ, мелькаютъ ъ воздухѣ тирсъ и поднятыя руки. А вотъ одна изъ танцовщицъ уже упала въ опьянѣніи и валяется ничкомъ, головою ъ зрителю. Тутъ же шутъ въ костюмѣ, похожемъ на котюмъ арлекина, хочетъ выкинуть какую-то шутку, пустить шутку въ толпу. Но движеніе его застыло, шутка замерла въ олураскрытыхъ устахъ. Шуты—впечатлительный народъ...

Еще одна фигура: строгая, мрачная фигура римлянки около гладіатора. Она сидитъ такъ, что ее не видитъ никто изъ окружающихъ, и мрачно, съ ненавистью глядитъ на загорающихся христіанъ. На кого обращена эта ненависть? На тѣхъ ли, которые горятъ, или на тѣхъ, по чьему повелѣнію совершается страшное дѣло? По выраженію лица нельзя сказать навѣрное. А вотъ парочка, стоящая ближе всѣхъ къ казнимымъ, но меньше всѣхъ обращающая на нихъ вниманіе. Они оба оперлись на черный мраморъ, которымъ кончается балюстрада лѣстницы. Они шутя и дружелюбно болтаютъ между собою, даже несмотря на угощеніе цезаря; они сами интересуютъ другъ друга гораздо болѣе, чѣмъ всѣ на свѣтѣ христіане.

Тамъ, вдали, въ глубинѣ картины, видны еще и еще фигуры воиновъ, сенаторовъ, вольноотпущенныхъ, дворцовой челяди. Вотъ одинъ изъ нихъ махнулъ краснымъ платкомъ, это—знакъ начинать представленіе.

Его уже начинаютъ. Жаровня съ растопленною смолою пылаетъ краснымъ пламенемъ, сверкая и дымя; рабъ возится около нея, отмахивая крыломъ летящій въ сторону цезаря дымъ. Другой обмакиваетъ свой факелъ въ смолу. Еще нѣсколько человѣкъ зажигаютъ пуки соломы, иные взобрались на лѣстницы. Лица ихъ совершенно спокойны и хладнокровны; спокойствіе это напоминаетъ выраженіе лица у прислужниковъ современнаго цирка; безстрастно, машинально исполняютъ они свое дѣло.

На высокихъ шестахъ, увитыхъ гирляндами, привязаны они, актеры представленія, въ первый и послѣдній разъ вы-

ступающіе на сцену. Тутъ и старики, и юноши, и дѣвушки: длинный рядъ ихъ теряется между кипарисами сада. Безпомощные, нагіе, обложенные соломою, увязанные веревками, смотрѣли они съ высоты на истязающую ихъ толпу. Хорошо виденъ изъ нихъ второй отъ зрителя (лицо перваго ушло изъ картины) старикъ, съ кроткимъ дѣтскимъ выраженіемъ лица, съ сѣдою головою. Какъ непохожъ онъ на поджигателя и преступника! Какъ непохожа эта молоденькая дѣвушка на подрывательницу государственнаго строя! Однако они висятъ на шестахъ вмѣстѣ со своими товарищами; сейчасъ пламя начнетъ лизать солому, въ которую они завернуты, начнетъ душить ихъ дымомъ вонючимъ, потомъ доберется до тѣла... И раздадутся душу раздирающіе нечеловѣческіе вопли: живое человѣческое тѣло горитъ! Тутъ даже и твердая вѣра, беззавѣтная вѣра въ спасеніе и будущую жизнь, „идѣже нѣсть печали“, не помогутъ несчастнымъ страдальцамъ; мученія вызовутъ изъ ихъ грудей безумные, страшные вопли, и дрогнутъ сердца безчеловѣчной толпы, смутится она, и только развѣ въ пьяной и развратной оргіи забудетъ совершенное ея повелителемъ и одобренное ею преступленіе.

Таково содержаніе картины Семирадскаго. Я не могъ конечно описать и половины всѣхъ фигуръ: ихъ, какъ сказано уже, болѣе ста; описаны только болѣе выдающіяся или замысломъ, или выполненіемъ. О техникѣ Семирадскаго, гдѣ она касается человѣческихъ фигуръ, тканей, украшеній, мрамора, сосудовъ и другихъ аксесуаровъ, врядъ ли можно сказать что нибудь, кромѣ того, что она безукоризненна. Золото нѣкоторыхъ сосудовъ блеститъ точно такъ же, какъ и позолоченная рама картины. Блестящее перламутровое сидѣнье въ паланкинѣ императора какъ будто вырѣзано изъ настоящаго перламутра и налѣплено на картину. Роскошныя ткани только что не скатываются съ женскихъ плечъ. Мраморы представляютъ совершеннѣйшую иллюзію; особенно хорошъ мраморный барельефъ съ группою людей, колесницею и конями на стѣнѣ дворца.

Важные недостатки картины—ошибочность и нецѣльность освѣщенія, уже указанное отсутствіе воздушной перспективы въ лѣвомъ углу картины, и весьма слабо написана правая часть, гдѣ помѣщены сами мученики.

Семирадскій выбралъ для своей картины весьма трудный моментъ — раннія сумерки. Солнце только что зашло: заря, какъ всегда на югѣ, скромна и блѣдна; тьма наступаетъ быстро. Вся картина, всѣ фигуры, всѣ мраморы и украшенія, все должно было бы быть подернуто сѣрыми тонами наступающей темноты; золото не должно ярко горѣть, драпировки не должны *кричать* своими яркими тонами.

Посмотрите, такъ ли это на „Свѣточахъ христіанства“? День кончился, солнце зашло, справа видна потухающая заря, а между тѣмъ передній планъ картины очень хорошо освѣщенъ *почти отъ зрителя* бѣлымъ дневнымъ свѣтомъ. Особенно рѣзко видно это на бѣлыхъ драпировкахъ и на сочетаніяхъ яркихъ тоновъ между собою. Золото блеститъ, правда, такъ, какъ оно не можетъ блестѣть ни у одного художника, но также и такъ, какъ оно не должно блестѣть въ такомъ сѣромъ свѣтѣ сумерекъ; блеститъ, несмотря на искусственныя сумерки, производимыя занавѣсами, задернутыми во всей залѣ, гдѣ стоитъ картина.

Невѣрность освѣщенія имѣла конечно огромное вліяніе на цѣльность всей картины и особенно на ея воздушную перспективу. Относительно послѣдней грѣшатъ два мѣста картины: часть лѣстницы, о которой уже было говорено, и группа черныхъ рабовъ на площадкѣ, несущихъ паланкинъ. Какъ толпа на лѣстницѣ, такъ и черные рабы какъ-то выдѣляются впередъ изо всей картины.

Уходящее въ глубь сцены зданіе, все изъ бѣлаго мрамора, съ роскошными барельефами и статуями, не оставляетъ желать ничего лучшаго.

Я упомянулъ въ числѣ недостатковъ также и слабость правой части картины. Дѣйствительно, она по письму значительно уступаетъ всей остальной картинѣ, начиная отъ ра-

бовъ-палачей и кончая зарею и тяжелаго свинцоваго тона небомъ. Я не говорю о христіанахъ, потому что они, а особенно сѣдой старикъ, прекрасны. Но рабы очень напоминаютъ хорошіе этюды съ нашихъ натурщиковъ, особенно одинъ, съ темной бородой, протянувшій свой факелъ къ жаровнѣ. Небо, именно верхняя его часть, составляетъ самое слабое мѣсто картины.

Въ началѣ я замѣтилъ, что картина производитъ впечатлѣніе путаницы, въ которой весьма трудно разобраться. Съ этимъ, безъ сомнѣнія, согласится всякій, кто увидитъ новую вещь Семирадскаго, но врядъ ли можно вмѣнить это въ укоръ художнику. Мы не можемъ знать, вышла ли путаница фигуръ, драпировокъ и пр. отъ неумѣнья скомпоновать картину, или она является слѣдствіемъ обдуманнаго намѣренія представить толпу, какъ она есть, во всемъ ея безпорядкѣ и пестротѣ. Я желалъ бы, чтобы была справедлива вторая догадка, и надѣюсь, что она вѣрна. Я основываюсь на предъидущей большой картинѣ Семирадскаго „Грѣшница“, гдѣ Христосъ, грѣшница и стоящія около нихъ фигуры составляютъ сильное и эффектное „пятно“.

Вторая выставка „Общества выставокъ художественныхъ произведеній“.

12 марта 1877 г.

Пятаго марта въ Академіи Художествъ открылась вторая выставка „Общества выставокъ художественныхъ произведеній“. Съ грустными размышленіями поднимался я по гранитнымъ ступенямъ нашего храма „свободныхъ искусствъ“. Когда-то — вспоминалось мнѣ — здѣсь, въ этихъ стѣнахъ, соединялись *всѣ* художественныя русскія силы; здѣсь, на ряду съ произведеніями маститыхъ профессоровъ, стояли первые опыты теперешней русской школы: гг. Ге, Крамского, Маковскихъ, Якоби, Шишкина... Здѣсь можно было шагъ за шагомъ прослѣдить всю лѣтопись нашего искусства—а теперь! Раздвоеніе, вражда!

Передвижная выставка удалилась изъ родныхъ стѣнъ и основала колонію; метрополія не снесла процвѣтанія своей младшей сестры и сама задумала удивить міръ. Основалось „Общество выставокъ“. Первая прошлогодняя выставка, нужно сказать правду, не удивила міра, т.-е., пожалуй, и удивила, но какъ-то въ другую сторону.

Съ такими печальными мыслями пошелъ я къ кассѣ, купилъ билетъ и каталогъ. Еще не входя въ залъ, я случайно раскрылъ его — и, о ужасъ! что представилось моимъ глазамъ! На 11-й страницѣ четкимъ шрифтомъ напечатано:

„*И. Ф. Ясинскій.* Братья-Разбойники *Лермонтова*“. Я не вѣрилъ своимъ глазамъ. Какъ! О, гг. Якоби, Мещерскій, Орловскій, цвѣтъ „Общества выставокъ“, зачѣмъ не смотрѣли вы за „агентомъ общества Ив. Кед. Шене“, крупнымъ шрифтомъ означеннымъ на оберткѣ каталога? Зачѣмъ не назначили этому почтенному агенту помощника, знающаго, кому изъ нашихъ поэтовъ принадлежатъ „Братья-Разбойники“?

Я пошелъ въ конференцъ-залъ, откуда открываются по обѣ стороны двери въ галереи. Одна изъ нихъ была заперта, слѣдовательно, для выставки хватило половины обыкновеннаго помѣщенія. Я заглянулъ на послѣднюю страницу каталога: всѣхъ произведеній оказалось 171. Въ прошломъ году было 244. Мнѣ осталось только тяжело вздохнуть. Весною на передвижной выставкѣ картинъ было вчетверо меньше; входя въ залъ, я тоже, помню, испустилъ вздохъ, но обойдя картины, я развеселился: такое свѣжее, отрадное впечатлѣніе произвела эта выставка, крохотная, но составленная изъ образцовыхъ произведеній.

На выставкѣ „Общества“ мое грустное настроеніе еще болѣе усилилось подъ вліяніемъ общаго ансамбля пейзажей, портретовъ, жанровъ и другихъ „художествъ“, которыя, за немногими исключеніями, смотрятъ тоскливо и печально.

Пейзажи. По огромности труда, первое мѣсто между пейзажистами безспорно принадлежитъ г. П. Верещагину, который выставилъ девятнадцать видовъ уральской желѣзной дороги, исполненныхъ имъ по заказу г. Голубева. Виды превосходные, но исполненіе заставляетъ желать многаго; г. Верещагинъ вѣроятно принялъ во вниманіе прошлогоднія замѣчанія о чрезмѣрной бѣлесоватости его типовъ и на этотъ разъ пересолилъ въ другую сторону: картины его бьютъ въ глаза цвѣтистостью. То же можно сказать о г. Мещерскомъ, прибавивъ развѣ только въ похвалу его, что онъ отличается замѣчательною любовью къ чистотѣ. На его пейзажѣ „на р. Ріонѣ“ все точно будто вымыто: вымыты скалы, вымыто небо, вымыта вода, искусно приготовленная изъ цвѣтного стекла:

впрочемъ, картина въ общемъ является пріятнымъ сочетаніемъ цвѣтовъ. Нельзя сказать того же о картинѣ Мещерскаго „Передъ грозою“, съ ярко зелеными дубами, ярко желтою рожью и отполированною грязною дорогою. Орловскій выставилъ нѣсколько береговыхъ пейзажей, о которыхъ можно сказать, что они какъ двѣ капли воды похожи на прошлогодніе, да еще два сухопутныхъ пейзажа „Зимняя ночь“ и „Зимнее утро“. Эти вещи, сколько я помню, первые опыты г. Орловскаго на поприщѣ зимняго пейзажа, и опыты не вполнѣ удачные.

Нашъ маститый корифей г. Айвазовскій выставилъ шесть (почему бы не шестьдесятъ) картинъ, если можно назвать этимъ именемъ продукты творчества уважаемаго профессора. Все та же прозрачная водица, тѣ же туманы надъ нею, и все такое розовенькое, голубенькое, красивенькое. Двѣ картины претендуютъ на нѣкотораго рода жанровое значеніе, а одна мѣтитъ даже и въ историческій жанръ. А именно, на одной изъ картинъ („Буря у крымскихъ скалъ“) на скалѣ, куда рѣшительно нѣтъ возможности забраться смертному, въ интересной позѣ, съ скрещенными руками, стоитъ господинъ въ два вершка ростомъ, по внимательномъ разсмотрѣніи обнаруживающій нѣкоторое сходство съ Пушкинымъ. Картина посвящена памяти поэта... Не плачь, дорогой поэтъ! Хоть и очень обидѣли тебя, отнявъ „Братьевъ-Разбойниковъ“, но вотъ и утѣшеніе; знаменитый маэстро посвящаетъ тебѣ картину, которую писалъ уже навѣрно не меньше двадцати пяти минутъ, вмѣстѣ съ твоею фигурою. Тебѣ, Пушкину, остается только благодарить его, Айвазовскаго, за оказанную честь.

Я подошелъ къ другой картинѣ И. К. Айвазовскаго, „Льдины на Невѣ“, гдѣ вмѣстѣ съ прозрачными, циклопической величины глыбами льда изображены такіе же прозрачные, розовые мужики-ледоколы, и не могъ не вскрикнуть отъ удивленія: Г. Айвазовскій сатирикъ! Вотъ что значитъ могучій талантъ! На одной изъ прозрачныхъ льдинъ лежитъ забытый мужиками-пьяницами пустой, огромный штофъ, а

рядомъ съ нимъ—рукавица, вѣроятно также забытая въ пьяномъ видѣ и оставленная на жертву какой-то таинственной птицѣ. Какъ обрадуются гг. Бланкъ, Лоде и прочіе землевладѣльцы, полагающіе причины всѣхъ золъ Россіи въ пьянствѣ и небрежности русскаго человѣка, видя эту картину знаменитаго маэстро!

Г. Лагоріо выставилъ „Камыши на рѣкѣ Лжѣ“, о которой какой-то каламбуристъ изъ публики замѣтилъ, что въ ней довольно лжи, и морской пейзажъ. Хотя я не согласенъ съ каламбуристомъ, но не могу не сказать, что г. профессоръ Лагоріо не часто балуетъ публику хорошими произведеніями. Тоже и г. Судковскій: нѣсколько лѣтъ назадъ онъ выставилъ великолѣпную „Бурю у береговъ Очакова“ и съ тѣхъ поръ не показывался. Въ этомъ году явились четыре его вещи на мотивы изъ окрестностей Очакова, писанныя очень эскизно и даже грубо, но обнаруживающія недюжинный талантъ. Остается пожалѣть, что г. Судковскій работаетъ такъ мало.

Совершенно обратными качествами отличается г. Горовскій. Его виды въ с. Рамо и въ Опочковскомъ уѣздѣ, луга и дороги выдѣляются рѣдкою прилизанностью и полнѣйшимъ отсутствіемъ правды въ тонахъ. Кстати замѣтимъ о портретѣ г-жи Лышинской, работы г. Горовскаго, выставленномъ рядомъ съ его пейзажами; портретъ этотъ какъ будто бы писанъ съ дамы, неумывавшейся по крайней мѣрѣ двѣ недѣли.

Остается сказать еще нѣсколько словъ о финляндскихъ и заграничныхъ пейзажистахъ. Добросовѣстный „Видъ Гельсингфорса“ г. Клейне останавливаетъ на себѣ вниманіе внушительностью размѣровъ и обстоятельностью рисунка. Какимъ-то чудомъ попавшая на выставку вещица извѣстнаго Диде, „Гора Эйгеръ“, навела меня на соображеніе, которое считаю нелишнимъ сообщить читателю. Картина Диде принадлежитъ г. Куріару, здѣшнему доктору; интересно было бы знать, кто выставилъ картину, докторъ ли Куріаръ или Францъ Диде? Если г. Куріаръ, то я въ будущемъ году устраиваю превосходную

аферу: предлагаю владѣльцамъ всѣхъ картинъ въ Петербургѣ одолжить мнѣ ихъ на мѣсяцъ за извѣстную плату, небольшую конечно, а если не спросятъ платы, то и того лучше; затѣмъ беру на прокатъ картины г. Дорэ изъ Вѣны и олеографіи г. Нето и составляю выставку не изъ 171 произведенія, а изъ 171.000. Успѣхъ громадный, деньги льются рѣкой, я потираю руки, и, главное, эта ненавистная „передвижная“ будетъ посрамлена.

Картины моднаго живописца Клевера, котораго я не могу причислить къ русскимъ художникамъ, „Весна“ и „Вечеръ“, кидаются въ глаза, какъ и большинство его произведеній, грубостью письма и стремленіемъ къ эффекту.

Прекрасную, по моему скромному мнѣнію, лучшую изъ пейзажей, вещь выставилъ баронъ Тизенгаузенъ изъ Мюнхена, именно: „У Адріатическаго моря“; очень хорошъ также пейзажъ Венглейна, также мюнхенскаго художника, „Передъ грозою“ съ испуганнымъ стадомъ на первомъ планѣ; но этимъ пейзажемъ любовалась уже половина Петербурга въ магазинѣ Бегрова. Вообще, пейзажей много: до восьмидесяти нумеровъ; но кромѣ весьма и весьма немногихъ, о которыхъ уже было сказано, они не выдерживаютъ ни малѣйшей критики, а произведенія гг. Красовскихъ, Пэне, Экгорстовъ и другихъ подобныхъ просто ужасны!.. Видно, что только настоятельная надобность составить выставку заставила комитетъ Общества принимать на выставку вещи старыя и совершенно уничтожить экспертизу при пріемѣ новыхъ.

Портретами настоящая выставка рѣшительно хромаетъ. По большей части они настолько дурны, что говорить о нихъ — даромъ тратить мѣсто на этихъ столбцахъ.

Душа Общества, В. И. Якоби, выставилъ картинку, составляющую переходъ отъ портрета къ жанру: „Портретъ г-жи Розинской съ дочерью“. Сидитъ на креслѣ г-жа Розинская, около нея рѣзвится ея маленькая дочь; вокругъ обстановка роскошной гостиной. Все это очень мило, ярко, пестро, вообще прекрасно; и другая картина г. Якоби „Любитель рѣд-

костей", съ криво поставленной дамой, тоже прекрасна; только странное дѣло, смотря на эти картинки, я невольно вспомнилъ одну изъ прежнихъ картинъ нашего Семевскаго живописи. Я вспомнилъ „Привалъ арестантовъ". Я вспомнилъ поразительное впечатлѣніе, произведенное этою картиной на публику (были въ ней конечно и недостатки, но побочные). Какъ ухитрился художникъ такъ передѣлать свои симпатіи, свои стремленія, свой внутренній складъ! Темное, пасмурное небо, дождь слякоть — и уютная гостиная съ экзотическими растеніями. Мокрый верстовой столбъ, мокрыя повозки, съ колесами, до ступицъ покрытыми грязью — и роскошное кресло, въ которомъ такъ удобно расположиться покейфовать послѣ обѣда! Измученныя лица арестантовъ, блѣдное и холодное лицо покойника, которому безчувственный конвойный изъ какого-то страннаго любопытства задираетъ пальцемъ глаза — и рѣзкая, улыбающаяся группа изящной, или по крайней мѣрѣ долженствующей быть такою, аристократической матери и ребенка въ бѣломъ хорошенькомъ платьицѣ!

Но довольно объ этомъ, читатель; скучная тема, не правда ли!

Лучшая вещь выставки безспорно — огромная картина профессора К. Е. Маковскаго „Возвращеніе священнаго ковра изъ Мекки въ Каиръ". Передъ нами перспектива улицы восточнаго города; стройныя массы домовъ съ полосатыми стѣнами, съ маленькими окнами неправильно тѣснятся и уходятъ въ глубь картины, мѣшаясь съ минаретами и башнями и рѣзко рисуясь на прозрачномъ египетскомъ небѣ. По улицѣ прямо на насъ движется пестрая толпа. Все тѣснится и бѣжитъ, все хочетъ посмотрѣть на святыню, совершившую опасное путешествіе. Толпа взбирается на ступени домовъ, чтобы лучше видѣть; черные глаза женщинъ любопытно высматриваютъ изъ-подъ покрывалъ. Самое шествіе открывается изувѣромъ, бѣснующимся съ обнаженною саблею въ рукахъ. За нимъ идутъ взволнованные, горланящіе правовѣрные со знаменами и бунчуками, потомъ шагаетъ

верблюдъ съ роскошнымъ бархатнымъ, вышитымъ золотомъ шатромъ на спинѣ; въ шатрѣ — святыня Каира. Особенно удалась художнику группа изъ трехъ людей, около самаго верблюда: два дервиша ведутъ подъ руки товарища, вѣроятно доведшаго свое изступленіе до нервнаго припадка. Шествіе теряется въ глубинѣ сцены. На все это пущено столько свѣта и восточнаго зноя, все это нарисовано съ такою силою и правдою, что одна картина г. Маковскаго почти вознаградила меня за общее тягостное впечатлѣніе, произведенное выставкою. Она заставляетъ зрителя задуматься, она въ яркихъ краскахъ показываетъ вамъ внѣшность того востока, о которомъ теперь такъ много говорится, міра фанатизма и невѣжества, свирѣпости и изступленія.

Другая хорошая вещь выставки принадлежитъ кисти одного изъ талантливѣйшихъ нашихъ художниковъ, П. П. Чистякова. Картина эта — „Старый русскій боярин“. Передъ вами поколѣнный портретъ старика въ богатой бархатной шубѣ; старое, изборожденное морщинами, лицо, кажется, заснуло, умерло; только въ глазахъ осталась и сосредоточилась жизнь. Они смотрятъ изъ-подъ нависшихъ бровей прямо въ лицо зрителя съ какимъ-то презрительнымъ выраженіемъ. „Вы, маленькіе людишки, думаетъ боярин, посмотрите на меня, водившаго въ бой царскія рати, бывшаго въ ссылкѣ, бывшаго въ почести и славѣ, какой только могъ достигнуть русскій человѣкъ, сѣченнаго кнутомъ, чуть не лишеннаго живота и уцѣлѣвшаго отъ всего этого. Вамъ ли, съ вашими маленькими радостями и огорченіями, или, какъ вы говорите, непріятностями, понять меня, прочувствовать буйную жизнь стараго русскаго боярина!“ Написанъ „боярин“ превосходно; рембрандтовское освѣщеніе удачно выбрано для типа, изображеннаго художникомъ.

Но опять-таки картина эта — картина старая, бывшая уже на выставкѣ, какъ и подогрѣтый портретъ г-жи Розинской, Якоби, какъ и очень, очень многія вещи на выставкѣ Общества. Странное явленіе! Странно также появленіе на

выставкѣ такого множества совершенно ничтожныхъ жанр
ковъ, и русскихъ, и иностранныхъ. Г. Самойловъ выстави
ни на что непохожихъ „Двухъ воровъ“ — верхъ безобразі
съ какой-то дырою въ полу, изображающею падающій и
окна свѣтъ. Г. Ефимовъ предложилъ публикѣ „Иконописц
портретиста“ и „Старушку, раскрашивающую лубочныя ка
тины“; въ будущемъ году, вѣроятно, появится „Г. Ефимов
раскрашивающій свои картины“ въ панданъ къ этимъ дву
произведеніямъ.

Г. Беллоли, не довольствуясь успѣхомъ своей прошл
годней выставки голыхъ и полуголыхъ женщинъ, поставил
одну изъ старыхъ вещей — „Любовная записка“. Прежде э
картина называлась „Первое любовное письмо“, но г. Бе
лоли, вѣроятно, самъ устыдился претендовать на то, что е
картина можетъ выразить какое либо душевное движені
Просто сидитъ довольно пріятная дама, съ криво нарисова
ными глазами, и держитъ въ рукахъ бумажку; вотъ и вс
Дѣйствительно, здѣсь нѣтъ никакого „перваго любовна
письма“.

Беру смѣлость посовѣтовать Обществу не трогать мер
выхъ, дабы они не имали срама: я намекаю на вещицу п
койнаго Нефа „Послѣ купанья“; лучше было бы не выст
влять ее.

Иностранцы, прославшіе... Ахъ, забылъ, забылъ, извинит
г. Ясинскій, совсѣмъ было забылъ васъ, автора „Братьев
Разбойниковъ“ *Лермонтова*. О вашихъ ужасныхъ разбойниках
я не скажу ничего; пусть смотритъ публика и радуется. Н
неужели вы, дѣлая изъ книги выписку, не могли потрудить
посмотрѣть на обертку?

Объ иностранныхъ художникахъ я говорить не стану: я
могу только пройти молчаніемъ француза Девильи, присла
шаго намъ удивительнѣйшій и огромнѣйшій „Набѣгъ каза
ковъ“. Какіе-то азіатскіе номады, столько же похожіе на ка
заковъ, какъ тюркосы на французовъ, летятъ съ изступленны
звѣрскими рожами въ атаку. И, что всего замѣчательнѣе, ле

ить они на чухонскихъ лошадяхъ! Не вѣрите — подите по-
мотрите. Какую цѣль могло имѣть Общество, принимая по-
рбную картину, не знаю. Развѣ въ видѣ ироніи? Вотъ,
ескать, какъ французы мало знаютъ насъ, бѣдные французы!
огда надо бы было сдѣлать и соотвѣтственное ироническое
римѣчаніе; а такъ, ей Богу, странно!

Есть еще на выставкѣ нѣсколько изображеній фруктовъ
животныхъ. „Виноградъ“ г. Дюрани изъ Рима такъ себѣ.
„Портретъ собаки“ извѣстнаго академика Сверчкова, а
собенно ужасные звѣри г. Афанасьева обратили меня въ
ѣгство.

Въ отдѣлѣ скульптуры можно упомянуть только о хоро-
шенькихъ вещицахъ изъ бронзы г. Лансере и о мраморномъ
юстѣ г. Громова, работы Чижова. Съ послѣднимъ (бюстомъ)
ы знакомы по прошлогодней выставкѣ, когда онъ появился
ще въ гипсѣ.

Что-жъ въ итогѣ? Три хорошія картины, нѣсколько сно-
ныхъ — и только. Остальное печально донельзя. Грустная вы-
тавка, бѣдное Общество, питающее себя подогрѣтыми карти-
нами и новыми произведеніями стряпни гг. Ясинскихъ, Кра-
овскихъ, Самойловыхъ и проч.!

Сегодня мы увидимъ знаменитую картину Семирадскаго
„Факелы Нерона“, которая уже поставлена въ отдѣльномъ
алѣ. Если хоть десятая часть похвальныхъ о ней отзывовъ
справедлива, то во что обратится остальная выставка въ сравне-
ніи съ нею.

Страннымъ показалось намъ присутствіе непомѣченныхъ
въ каталогѣ выставки превосходныхъ вещей Рѣпина. Если онъ
членъ Общества, то оно, кажется, имѣло время помѣстить въ
каталогъ его вещи, стоящія въ Академіи съ осени; если же
Рѣпинъ не членъ, то Общество должно удалить изъ зала его
произведенія, чтобы публика, какъ это теперь происходитъ,
не считала картинъ Рѣпина въ числѣ вещей, принадлежащихъ
выставкѣ Общества.

Императорская Академія Художествъ за 1876—1877 учебный годъ.

21 декабря 1877 г.

Нѣкоторыя уважительныя причины помѣшали своевременному появленію на столбцахъ „Новостей“ отчета о выставкѣ работъ учениковъ Академіи Художествъ. Выставка разбирается и скоро будетъ закрыта; казалось бы, уже поздно говорить о ней съ читателями, но она наводитъ на такія печальныя и серьезныя размышленія о судьбахъ русскаго искусства, что было бы непростительно обойти ее молчаніемъ.

Количество выставленныхъ работъ очень велико: нѣсколько „конкурсныхъ“ картинъ на двѣ темы, заданныя Академіею, множество эскизовъ также на заданныя программы, и наконецъ, весьма значительное количество этюдовъ съ натурщиковъ, это—казенныя академическія работы по живописи. Есть еще и неказенныя работы: этюды гг. Богданова, Крачковскаго и Поплавскаго, о которыхъ придется поговорить особо. Скульптура явилась въ незначительномъ числѣ образцовъ; теперь залъ Академіи украшаетъ только произведеніе г. Вельонскаго, получившаго первую золотую медаль за весьма солидный барельефъ „Венера передъ Олимпомъ“ (не ручаюсь за вѣрность названія). Этимъ мы покончимъ со скульптурой: больше сказать о ней нечего.

Живопись—самое задушевное изъ пластическихъ искусствъ. Какъ же проявили себя молодые, свѣжіе таланты, возросшіе

подъ бдительнымъ надзоромъ Академіи? Какія она возлагаетъ на нихъ требованія? Какъ они ихъ исполнили? Требованія странныя, а исполненіе жалкое.

На вторую золотую медаль конкурировали гг. Кудрявцевъ, Зиминъ и Данилевскій. Писали они на тему: „Адамъ и Ева при видѣ убитаго Авеля“, а никакой Евы и никакого Адама, по правдѣ сказать, не написали. Написано девять голыхъ фигуръ (на трехъ холстахъ) и одна собака весьма странной и рѣдкой въ настоящее время породы, по мысли г. Данилевскаго обнюхивающая ноги убитаго Авеля. О, г. Данилевскій, видимо, богатъ мыслями; видно, что онъ тщательно обдумалъ сюжетъ! „Адамъ и Ева... — думаетъ онъ — ну, натурально, голые. На лицахъ ужасъ или тамъ что нибудь такое. Освѣтить ихъ развѣ выше колѣнъ заходящимъ солнцемъ? Еще чего-то не хватаетъ; вотъ тутъ пустое мѣсто; что бы помѣстить сюда? Камень? Нѣтъ! Драпировку брошенную, собаку? Отлично!“ И г. Данилевскій—

Чертитъ, и въ шляпѣ дѣло.

Пусть не обидится г. Данилевскій. Я не хочу подозрѣвать его въ бездарности и даже въ нелюбви къ искусству. Я взялъ его картину, какъ примѣръ того, какъ относятся молодые художники къ заданнымъ имъ темамъ. Тамъ, гдѣ г. Данилевскій работаетъ для себя (къ сожалѣнію, я мало знакомъ съ его работами), я не сомнѣваюсь, что онъ не обнаруживаетъ ни такихъ поразительныхъ промаховъ въ рисункѣ, ни странной любви къ желтому бенгальскому огню, ни легкомысленности, съ которой онъ пригласилъ животное невѣдомаго типа играть въ его картинѣ роль собаки. Я увѣренъ, что увидь г. Данилевскій у себя, въ своемъ „собственномъ“ альбомѣ, носъ, подобный носу его Евы, онъ вырвалъ бы страницу альбома, или стеръ бы несчастный носъ резинкой. А въ программѣ — ничего, сойдетъ! — И даже сильныя побужденія, желаніе, напримѣръ, докончить на казенный счетъ свое художественное образованіе въ Италіи, въ Парижѣ, не въ си-

лахъ преодолѣть ту неохоту, которая овладѣваетъ всякимъ молодымъ живописцемъ, когда его заставляютъ писать на тему заданную, навязанную. Хорошо еще, если случится, что она совпадаетъ съ настроеніемъ художника (чему примѣромъ отчасти представляетъ прошлогодняя вещь г. Сурикова: „Павелъ передъ Иродомъ"); тогда онъ вноситъ въ работу и стараніе, и душу, хотя, все-таки, и здѣсь навязанность темы мѣшаетъ свободѣ творчества: а если нѣтъ—съ отвращеніемъ „компонуется" картина, небрежно замазываются фоны, на скорую руку, съ манекеновъ или натурщиковъ, набрасываются апостолы, Каины, пастухи, египетскіе придворные, Вероники, русскіе бояре, словомъ, весь программный штатъ Академіи Художествъ. И человѣкъ, немного знакомый съ закулисной стороной дѣла, ясно видитъ, что это вовсе не Каинъ, а натурщикъ Иванъ, и не патріархъ Гермогенъ, а извѣстный тремъ, если не болѣе, поколѣніямъ художниковъ старикъ Тарасъ, тоже натурщикъ. Что крайне неудовлетворительное исполненіе программъ Академіи не можетъ быть объяснено неспособностью нашей художественной молодежи — это не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію и наглядно доказано г. Кившенко, безспорно талантливымъ художникомъ, получившимъ первую золотую медаль за свою программу „Бракъ въ Канѣ Галилейской". Что г. Кившенко талантливъ — явствуетъ какъ изъ прежнихъ его работъ (какъ, напр., его премированная Общ. поощр. художн. картина), такъ и изъ карандашныхъ рисунковъ его на настоящей выставкѣ. Они заслуживаютъ нѣсколькихъ словъ. Обратимся къ „Браку".

Почему бракъ, а не аукціонъ, не толкучка — рѣшить крайне затруднительно. Съ большимъ трудомъ между фигурами можно сыскать жениха и невѣсту. Гости толкутся безъ всякаго толку и смысла. Какіе-то кривые баши-бузуки на колѣняхъ передъ Христомъ не то вымаливаютъ у Него прощеніе, не то... впрочемъ трудно сказать, что они выражаютъ своими позами и лицами. Вѣроятно, удивленіе. И я тоже былъ удивленъ, замѣтивъ, что плечо одного изъ нихъ посы-

дано снѣжкомъ — однако при внимательномъ разсмотрѣніи снѣжокъ оказался вышивкою бѣлыми нитками. Очень интересная подробность костюма древнихъ евреевъ. Или это прямое указаніе, извиненіе передъ публикой: извините, молъ, *бѣлыми нитками шита картина*, для наглядности изобразилъ.

За эту вещь, смѣшную по рисунку, печальную по колориту, жалкую по компоновкѣ, Академія дала первую золотую медаль! Она дана, впрочемъ, не за „Бракъ“; она дана за прежнія работы г. Кившенко, показывавшія несомнѣнный талантъ. И теперь два рисунка-эскиза того же художника не наводятъ на печальныя размышленія; ясно потому, что заданныя темы эскизовъ совпали съ желаніемъ работать г. Кившенко.

Первый эскизъ — тѣ же живые факелы Нерона, которые показалъ намъ весною г. Семирадскій. Не обинуясь скажу, что композиція и замыселъ въ эскизной работѣ г. Кившенко гораздо выше компоновки знаменитой картины. Зажигаемые христіане г. Кившенко производятъ въ зрителѣ содроганіе, чего г. Семирадскій не достигъ.

Впечатлѣніе талантливости художника еще болѣе имѣетъ мѣсто при видѣ другого эскиза — „Голгоѳа“. Христа еще не распяли. Крестъ не врытъ въ землю, для него приготовлена яма. Около казнимаго Бога собралась кучка воиновъ, палачей; они дѣлятъ Его простыя одежды и разсчитываются другъ съ другомъ деньгами. Пошлыя лица, съ очень удовлетворительно выраженною экспрессіею, окружаютъ Христа — блѣднаго, стройнаго мужа. Невыразимое страданіе ясно написано на его лицѣ. Двѣ аксесуарныя группы: толпа угрожающаго народа и нѣсколько рыдающихъ друзей, нарисованы ловко и правильно.

Между прочимъ, на этомъ эскизѣ написано: „за неисполненіе темы назначается третья премія“. Что̀ значитъ этотъ чудный сонъ? Чѣмъ г. Кившенко „не исполнилъ“ заданной темы? Тема „Голгоѳа“ можетъ дать матеріалъ для

десяти различныхъ по содержанію картинъ. Академія, даже не опредѣливши строго момента сцены на Голгоѳѣ, требуетъ отъ художника, чтобы онъ угадалъ, чего ей хочется. А хочется ей, вѣроятно, рабскаго подражанія прежнимъ образцамъ. Одна эта новаторская черная яма навѣрно мозолитъ глаза почтеннымъ профессорамъ Академіи, гг. Шамшину, Венигу и прочимъ столпамъ нашего искусства.

Отчего же, какъ не отъ этого стремленія обезличить каждаго художника, лишить его свободы творчества, и зависитъ изображенное отношеніе учениковъ къ своимъ казеннымъ работамъ? Я не стану разбирать подробно всѣхъ выставленныхъ картинъ на академическія темы... „Адамъ и Ева", какъ г. Кудрявцева, такъ и Зимина, вовсе не выказывая ихъ бездарности, однако, вполнѣ доказываютъ все сказанное выше. Небрежный рисунокъ, небрежное письмо такъ и бьютъ въ глаза, какъ въ этихъ двухъ картинахъ, такъ и въ исполненіи программъ на первую золотую медаль.

О картинахъ г. Кившенко сказано уже довольно. Кромѣ него, выставили „Бракъ въ Канѣ" гг. Голынскій, Винцманъ, Манизеръ, Шаховской и Прохоровъ. Ниже всякой критики картина послѣдняго: трудно понять, какъ рѣшается человѣкъ съ столь слабыми задатками посвятить себя живописи. Представьте, читатель, хлѣвъ, или, скорѣе—уголъ двора, покрытый сверху рогожею. Подъ рогожею совершается что-то странное. Какіе-то люди въ яркихъ и грязныхъ одеждахъ зачѣмъ-то сидятъ въ разныхъ позахъ. Вглядываясь ближе, вы видите, что это большею частью даже и не люди, а манекены. Что дѣлаютъ эти манекены — неизвѣстно, но во всякомъ случаѣ, не пируютъ. Это ясно какъ день: какой же можетъ быть пиръ, когда на двадцать человѣкъ подано лишь два бокала— золотой да стеклянный, да на полтинникъ винограда и яблочекъ изъ фруктовой лавки! Правда, у стола стоятъ огромнѣйшіе глиняные сосуды, имѣющіе содержать въ себѣ вино, но какъ пить изъ нихъ? На эти сосуды манекенъ, написанный вмѣсто Спасителя, смотритъ съ выраженіемъ изумленія.

видно, что Его чудо поразило Его самого болѣе всѣхъ. Быть можетъ, г. Прохоровъ имѣлъ въ виду глубокую мысль? — не знаю. Думаю, что нѣтъ. Въ г. Прохоровѣ и Академію обвинять было бы несправедливо.

Г. Шаховской, талантливый Шаховской, написавшій уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ „Гитариста“, потомъ бравшій преміи на конкурсахъ, на этотъ разъ положительно оказался ниже себя. Г. Винцманъ, въ своей небрежной картинѣ, нѣсколькими уголками ея показалъ сильный, симпатичный талантъ и очень недюжинную технику, но вся картина слаба, небрежна, писана сплеча. Болѣе труда положилъ въ свою работу г. Манизеръ. Мнѣ кажется, что если бы г. Кившенко не заслужилъ медали своими *прежними* работами, то справедливость требовала бы присужденія награды обойденному г. Манизеру. Въ его картинѣ я замѣтилъ одинъ уголокъ, написанный очевидно внѣ программы, „отъ себя“. Эти два музыканта, дующіе въ свои свирѣли или другіе инструменты, эти два наскоро набросанныя лица, полныя экспрессіи, такъ рѣзко отличаются отъ остального невыразительнаго и вялаго персонала „Брака“ (кромѣ немногихъ фигуръ), что невольно привлекаютъ вниманіе зрителя. Наконецъ г. Голынскій написалъ какой-то странный бракъ—на краю города, на улицѣ. Никто въ этомъ бракѣ бракомъ не интересуется: женихъ протягиваетъ чашу за виномъ съ выраженіемъ: а ну-ка, дай, дай винца; Христосъ приглашаетъ свою мать присѣсть рядомъ съ нимъ; какая-то дѣвушка устремила вдаль томный и печальный взоръ. Есть и одна недурная фигура (сравнительно)—мужчины, стоящаго на первомъ планѣ. Кромѣ описаннаго, Академія выставила классныя работы своихъ учениковъ. Если бы можно было выставить рядомъ съ ними работы учениковъ сороковыхъ или пятидесятыхъ годовъ, тогда печальное зрѣлище сдѣлалось бы еще печальнѣе отъ нагляднаго доказательства попятнаго движенія академическаго искусства.

Гг. ученики Академіи, Крачковскій и Богдановъ, выставили вовсе не академическія работы — свои лѣтніе этюды,

написанные совершенно самостоятельно. Г. Крачковскій, у извѣстный пейзажистъ, показалъ, что безъ академическа корсета и шнуровки можно правильно и быстро развива свой талантъ. Его этюды каждый годъ дѣлаютъ большее большее впечатлѣніе. Врожденная художнику поэзія находи тѣмъ лучшее выраженіе, что г. Крачковскій упорно трудитс если судить по его этюдамъ. Этюды этого года отличаютъ отъ прежнихъ гораздо болѣе сильнымъ, выработаннымъ ко ритомъ.

Рядомъ съ этюдами Крачковскаго, г. Богдановъ пом стилъ свои жанровые этюды. И объ этомъ многообѣщающе художникѣ я ничего не могу сказать, кромѣ похвалы, им въ виду его постоянное совершенствованіе. Главное качест таланта — чувство мѣры и критическое отношеніе къ себѣ — выражено одинаково сильно какъ въ картинахъ приро Крачковскаго, такъ и въ живыхъ, полныхъ правды, фигурах Богданова.

Эти два художника составляютъ прямое указаніе состав Академіи на ошибочность ея направленія. Таланты нуждаютс въ поддержкѣ, а не въ рамкахъ. Не пеленать надо искусств а доставить ему возможность свободно развиваться.

Выставленные тутъ же этюды г. Полавскаго слабѣе дру гихъ работъ этого, вообще талантливаго художника.

Обыкновенно художественные рецензенты проходятъ мол чаніемъ работы архитектурнаго класса Академіи. Это и вообщ несправедливо, а въ этомъ году обойти молчаніемъ работ гг. Прейса, Померанцева и другихъ я считаю невозможнымъ не потому, чтобы онѣ являли собою что-нибудь замѣчательно въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ (правда, г. Померанцевъ выказалъ и громадный вкусъ, и изящество, совершенно мирящееся съ простотою, и вообще работы архитекторовъ въ этомъ году недурны), а потому, что и въ этомъ случаѣ Академія учинила странность, задавъ ученикамъ самую странную тему. Тема эта—„Проектъ увеселительнаго заведенія близъ столицы“. Каково? Убѣленныя, увѣнчанныя головы про-

рессоровъ Академіи не могли выдумать для своихъ питомцевъ никакой темы лучше загороднаго колоссальнаго кафе-шантана съ рестораномъ, бильярдами, зимнимъ садомъ и отдѣльными „номерами“!

Постыдились бы господа! Постыдились бы поддерживать, хотя и косвенно, глубоко пустившее корни въ наше общество (вѣрнѣе, въ малоразвитую часть его) направленіе театра Берга, „Демидрона“ и т. п. вещей! Неужели мало для васъ великихъ архитектурныхъ темъ? Неужели фантазія, поэзія, знаніе архитектора меньше выразилось бы въ построеніи храма Вѣчному Существу, предмету поклоненія всѣхъ народовъ, чѣмъ въ проектѣ безсмысленнаго „увеселительнаго вокзала“! И какіе размѣры допущены были для него! Зданіе г. Прейса имѣетъ 110—112 саженъ длины; другія мало уступаютъ по величинѣ. Вѣдь это больше Зимняго Дворца. Помилосердствуйте!

А если господа профессора Академіи ужъ непремѣнно хотѣли бить на современность, то и тогда бы ужъ не трудно было найти тему. Зданіе для народныхъ аудиторій, пріютъ для искалѣченныхъ въ настоящую войну, зданіе для всемірной выставки—развѣ это не темы? И вмѣсто того—увеселительное заведеніе!

Время ли веселиться, господа!

ЗАМѢТКИ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ВЫСТАВКАХЪ.

ЗАМѢТКИ О ХУДОЖЕСТВЕННЫХЪ ВЫСТАВКАХЪ.

1887 г.

Велика дерзость, съ которою я, человѣкъ толпы, рѣшаюсь говорить о живописи. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, въ одной изъ большихъ газетъ, было высказано мнѣніе по поводу рецензій г. Стасова, что-де Стасовъ карандаша въ руки взять не умѣетъ, а съ великимъ задоромъ берется судить и рядить о произведеніяхъ пластическихъ искусствъ. Положимъ, все это правда; почтенный художественный критикъ самъ не рисуетъ и судитъ не безъ нѣкотораго задора, что̀ извѣстно всѣмъ, посѣщающимъ выставки картинъ и желающимъ уяснить себѣ ихъ достоинства или недостатки при помощи чтенія трудовъ г. Стасова. Но тѣмъ не менѣе, г. Стасовъ сорокъ лѣтъ, какъ о томъ свидѣтельствуетъ превосходно исполненный нашими художниками адресъ, выставленный теперь на акварельной выставкѣ, пристально слѣдитъ за искусствомъ. Изъ самаго тона его статей читатель можетъ судить о степени его привязанности къ нему. Въ качествѣ завѣдующаго художественнымъ отдѣломъ Публичной Библіотеки, В. В. Стасовъ десятки лѣтъ состоитъ въ буквальномъ смыслѣ слова заваленнымъ всевозможными художественными произведеніями. Понятно, ему и книги въ руки во всемъ, что̀ касается рисунка, лѣпки, колорита, линейной и воздушной перспективы и прочихъ такихъ вещей; понятно, что, слѣдя за развитіемъ нашей живописи еще съ той поры, когда не было русской

школы, когда началъ работать первый русскій живописецъ. Ѳедотовъ, и продолжая состоять въ роли оберегателя и пѣстуна нашей живописи, въ роли, исполняемой имъ съ самоотверженностью цѣпного пса, готоваго растерзать всякаго врага родной школы, Владимиръ Васильевичъ пріобрѣлъ полное право судить и рядить, раздавать отмѣтки, возводить картины въ рангъ перловъ творенія или объявлять ихъ „гнилью“ и жалкою мазнею. Прочтите адресъ, о которомъ я говорилъ, и вы убѣдитесь, что и наши художники думаютъ то же.

Мы, люди толпы, часто должны быть очень благодарны критикамъ, насъ просвѣщающимъ. Но кромѣ В. В. Стасова и двухъ-трехъ художественныхъ критиковъ, большею частью безмолвствующихъ, у насъ по этой части, что̀ называется, хоть шаромъ покати. Газетные рецензенты, съ карандашикомъ и каталогомъ бѣгающіе отъ картины къ картинѣ и прислушивающіеся къ мнѣніямъ знакомыхъ и незнакомыхъ художниковъ, чтобы потомъ внести ихъ отрывочныя замѣчанія на столбцы газетъ, въ которыхъ они кормятся, являются критиками болѣе по какому-то странному недоразумѣнію. Писать о картинахъ такъ легко: недурной колоритъ, но отсутствіе жизненной правды; лѣпка портрета (и чортъ ее знаетъ, что̀ это за лѣпка такая! думаетъ критикъ) представляетъ собою явленіе невиданное; портретъ г. Х. писанъ въ Рѣпинскихъ тонахъ; прибавилъ еще „раккурсовъ“ тамъ какихъ нибудь, да разсказалъ съ грѣхомъ пополамъ содержаніе картины — и дѣло въ шляпѣ. Въ редакціяхъ газетъ художественная критика въ полномъ загонѣ; сплошь и рядомъ мы видимъ въ верхнемъ этажѣ газеты и въ нижнемъ два совершенно противоположныхъ отзыва объ одномъ и томъ же произведеніи; это прямо указываетъ на то, что статьи художественныхъ критиковъ никогда никѣмъ въ редакціяхъ не просматриваются. Важное дѣло картины! Пускай ихъ пишутъ объ этихъ пустякахъ что̀ кому угодно! И дѣйствительно пишутъ! Одинъ рецензентъ повторяетъ ошибки каталога, другой ухитряется при-

писать одному и тому же г. Невреву двѣ картины: одну — ко „Княгиню Юсупову“, а другую—„Христосъ и грѣшница“ Поѣнова. Перепутать фамиліи, конечно, извинительно, но приписать картины двухъ мастеровъ, необыкновенно рѣзко отличающихся своею художественною индивидуальностью, одному лицу—это указываетъ на выходящее изъ ряда вонъ отсутствіе пониманія дѣла.

И мы, толпа, читаемъ все это, и мы иногда даже основываемъ на подобныхъ писаніяхъ свои такъ называемыя мнѣнія. „Это хорошо, то плохо“, говоримъ мы въ полномъ убѣжденіи, что наше отношеніе къ художникамъ заключаетъ въ себѣ, главнымъ образомъ, оцѣнку ихъ достоинствъ и, замѣтьте, преимущественно техническихъ. Мы не можемъ понять, что нашего мнѣнія въ техническихъ вопросахъ никто не спрашиваетъ, что художникъ самъ всегда знаетъ, что̀ у него въ техникѣ слабо, что̀ хорошо. Онъ не проситъ у насъ отмѣтки за рисунокъ, письмо, колоритъ и перспективу. Ему хотѣлось бы заглянуть въ нашу душу поглубже и увидѣть то настоящее, что̀ мы такъ упорно скрываемъ, то впечатлѣніе, на которое онъ разсчитывалъ всею своею работою, не думая о контурахъ и колоритахъ, наше отношеніе къ нему, какъ *нехудожника* къ *художнику*, ибо художникъ менѣе всего пишетъ для художниковъ и присяжныхъ критиковъ, а только для себя (въ смыслѣ потребности и удовлетворенія ея) и для толпы.

Что̀ такое толпа по отношенію къ художнику? Чѣмъ онъ отличается отъ нея? То, что́ я скажу, конечно, азбучная истина, но я считаю нужнымъ сказать ее, ну, хоть бы „для перехода“, и заранѣе прошу извиненія у тѣхъ, кто скажетъ мнѣ: „да это мы очень хорошо и безъ васъ знаемъ“. Художникъ, по сравненію съ толпой, есть человѣкъ, который лучше видитъ и можетъ передать другимъ то, что́ онъ видитъ. Сколько тысячъ людей проходитъ ежедневно передъ драгоцѣннѣйшимъ матеріаломъ для художественнаго творчества не замѣчая его, или созерцая безсознательно! Первое, что́ думаетъ каждый,

прочитавшій или увидѣвшій высокое созданіе искусства: как это похоже, какъ это вѣрно, какъ это знакомо и, тѣмъ н менѣе, я въ первый разъ увидѣлъ это, созналъ это! Худож никъ увидѣлъ, понялъ, поставилъ передъ глазами — и видят всѣ, до сихъ поръ слѣпые. Маленькій, слѣпой щенокъ, ты кающій мордочкой направо и налѣво и, растопыривъ слабы лапки, не находящій молока — когда чья нибудь рука возь метъ его за шиворотъ и сунетъ его въ блюдечко, и онъ, успо коенный, начнетъ лакать молоко, долженъ чувствовать таку же благодарность, какую чувствуетъ наше сердце, сердце че ловѣка толпы, открывающаго новый міръ чужими глазами и трудомъ. О, жалокъ былъ бы кругъ нашихъ представленій если бы мы были предоставлены только своимъ личнымъ пяти чувствамъ, и мозгъ нашъ перерабатывалъ бы только пищу ими добытую! Часто одинъ мощный, художественный образъ влагаетъ въ нашу душу болѣе, чѣмъ добыто многими годами жизни; мы сознаемъ, что лучшая и драгоцѣннѣйшая часть нашего я принадлежитъ не намъ, а тому духовному молоку къ которому приближаетъ насъ мощная рука творчества. Отсюда и благодарность, отсюда и

. . . . . сей фиміамъ пахучій,
Цвѣты и лавры . . . . .

которые мы подносимъ и которыми мы осыпаемъ людей, одаренныхъ отъ Бога властью раскрывать наше сердце и влагать въ него новые міры.

Постараемся же, не мудрствуя лукаво о колоритахъ и прочемъ, оцѣнивать не художника, не его картину, а наше впечатлѣніе отъ его произведенія, то самое молоко, которымъ мы питаемся. Я рѣшаюсь писать свои замѣтки именно потому, что надѣюсь, насколько хватитъ силъ, удержаться на этой точкѣ зрѣнія. Можетъ быть, художники найдутъ интереснымъ искреннее и возможно болѣе полное выраженіе

впечатлѣнія, производимаго выраженіемъ ихъ задушевныхъ мыслей на одного изъ тысячъ, толпящихся на выставкахъ; можетъ быть, и мои собратья, люди толпы, провѣряя свои личныя впечатлѣнія другими, переданными здѣсь, уяснятъ себѣ что нибудь, очистятъ свое впечатлѣніе и болѣе полно воспользуются тѣмъ духовнымъ матеріаломъ, который даютъ художественныя произведенія.

Выставка Товарищества передвижныхъ выставокъ въ этомъ году какъ-то особенно удачна. Трудно представить себѣ даже, чтобы искусство, едва вышедшее изъ пеленокъ, существующее, какъ самостоятельная школа, едва какихъ нибудь тридцать лѣтъ, могло давать подобныя выставки изъ года въ годъ. Два капитальнѣйшія произведенія этой выставки — плоды не одного года работы гг. Полѣнова и Сурикова; я не знаю, поспѣютъ ли къ будущему году крупныя вещи, задуманныя другими нашими мастерами. Говорю это къ тому, что очень можетъ быть, что будущая, XVI, выставка представитъ намъ менѣе интересное и менѣе богатое мыслью собраніе, и что тогда непремѣнно начнутся вопли, повторяющіеся изъ года въ годъ, о паденіи русской живописи, похожіе на неизмѣнный припѣвъ, двадцать разъ въ годъ выпѣваемый всею нашею печатью, о паденіи русской беллетристики, припѣвъ, не умолкавшій со временъ Бѣлинскаго, припѣвъ, подъ который окрѣпла, расцвѣла и выступила въ первый рядъ европейскихъ художественныхъ литературъ и наша.

Какъ въ одномъ, такъ и въ другомъ случаѣ забываютъ, что искусство живетъ не отдѣльными выставками и отдѣльными книжками журналовъ, а цѣлыми эпохами, и что двухъ-трехъ крупныхъ вещей довольно, чтобы ярко освѣтить пять, десять лѣтъ его жизни.

I.

И вси людіе идяху къ Нему: и сѣдъ учаще ихъ. Приведоша же книжницы и фарисеи къ Нему жену... поставиши и по средѣ... Учителю, сія жена ята есть нынѣ въ прелюбодѣяніи. Въ законѣ же намъ Моисей повелѣ таковыя каменіемъ побивати: Ты же что глаголеши? Сіе же рѣша искушающе его (Еванг. отъ Іоанна, гл. 8).

Знойный южный день: солнце перешло за полдень и, бросая недолгія тѣни, ярко освѣщаетъ преддверіе іерусалимскаго храма съ широкою каменною лѣстницею, ведущею въ сѣни, поддерживаемыя колоннами краснаго порфира, съ нѣсколькими старыми, корявыми, чернозелеными, пыльными кипарисами, возвышающими свои вытянутыя, сжатыя вершины, въ ясную синеву южнаго неба; справа виденъ бѣдный, опаленный солнцемъ, восточный городъ, уходящій въ гору. На дворѣ храма волненіе. Только спѣшащій на работу въ поле, послѣ полуденнаго отдыха, крестьянинъ, взгромоздившійся на смиреннаго ослика вмѣстѣ со своими кирками и мѣшками да небольшая кучка людей, сидящая слѣва внизу у лѣстницы, не раздѣляютъ этого волненія. Нѣсколько женщинъ и какой-то поселянинъ, пришедшіе съ провизіей и клѣтками съ птицей, можетъ быть, для продажи, а можетъ быть, и для жертвы, еще не поняли, зачѣмъ ворвалась въ ограду эта шумная толпа, зачѣмъ она ведетъ какую-то женщину. Группа Учителя съ учениками полна спокойнаго ожиданія. Въ бѣдныхъ, запыленныхъ дорожныхъ одеждахъ, въ грубой обуви сидятъ они: юноша Іоаннъ, вперившій въ толпу задумчивый взглядъ, два брата Заведеевы, съ некрасивыми, но умными и сильными лицами; тутъ же и человѣкъ, носящій суму черезъ плечо, съ острыми, сухими чертами лица, съ общимъ характеромъ доктринерства, какое и владѣло его душой и погубило его—

казначей Іуда. Вблизи нихъ и Учитель. Онъ обернулся къ разъяренной толпѣ, ведущей преступницу, и спокойно ждетъ вопроса предводителей.

Толпа передана художникомъ живою. Онъ проникъ въ самую сущность массоваго движенія и выразилъ стадное чувство, большею частью преобладающее въ немъ. Большинство толпы — равнодушные, повинующіеся только этому чувству, которое велитъ бить — будутъ бить, велитъ плакать — будутъ плакать, велитъ кричать „Осанна!“ и подстилать одежды — будутъ сами ложиться подъ ноги Грядущаго. Они горятъ не своимъ огнемъ; все дало имъ общее возбужденіе; какъ стадо овецъ, они готовы шарахнуться за первымъ, на кого болѣе другихъ подѣйствуетъ внѣшняя причина. Многіе, быть можетъ, и не знаютъ, кого ведутъ и за что будутъ бить. Таковъ высокій флегматикъ, держащій преступницу за плечи и ведущій ее передъ собою. Ведетъ, очевидно, не онъ, а нѣчто ему совершенно неизвѣстное, съ чѣмъ онъ и не считается, о чемъ и не думаетъ; онъ только старательно исполняетъ чужое велѣніе и съ добросовѣстностью современнаго полицейскаго тащитъ туда, куда, какъ онъ полагаетъ, почему-то тащить слѣдуетъ. Тутъ и улыбающійся рыжій еврей; въ его улыбкѣ есть что-то двусмысленное; быть можетъ, онъ наканунѣ покупалъ ласки этой самой женщины-ребенка или подобной ей. Тутъ же юноша, заглядывающійся на нее съ любопытствомъ еще непроснувшейся страсти — ему тоже суждено участвовать въ грѣхѣ, подобномъ совершенному ею; согбенный старикъ, съ потухшимъ взоромъ, покопавшись въ своей памяти, найдетъ и свое участіе въ такихъ же дѣлахъ. И всѣ они ведутъ побивать ее камнями. Такова толпа.

Но видны въ ней и иныя лица: фарисей, разъяренный до послѣднихъ предѣловъ, готовый растерзать въ куски самъ, своей волей; другой, съ восторгомъ слушающій, какъ два священника, выступившіе впередъ толпы, бѣшено кричатъ Іисусу: „Моисей повелѣлъ намъ, а ты?“ Онъ впился въ нихъ глазами и раздѣляетъ ихъ радость и торжество: ненавистному

бунтовщику, возмутившему стоячее болото мертваго закона, заданъ вопросъ, который его погубитъ. Священники, составляющіе центръ картины, составляютъ и основу ея содержанія. Привычная важность еще нѣсколько сдерживаетъ одного изъ нихъ, высокаго, чернобородаго съ сильною просѣдью старца, но другой, рыжій, съ одутловатымъ лицомъ, весь обратился въ ненависть, дикую, безумную. Что для нихъ бѣдная дѣвочка! Не все ли равно, растерзаютъ ее, или останется она жива? Она почти не существуетъ для нихъ; вся сила ихъ ненависти направлена на этого простого, спокойнаго человѣка, хладнокровно слушающаго ихъ вопли.

Что скажетъ онъ? Инстинктивно упираясь назадъ, конвульсивно сжавъ руки въ кулаки, стоитъ эта преступница-полуребенокъ, ожидающая казни или милости. Не знаю, намѣренно или нѣтъ, но Полѣновъ не сдѣлалъ изъ нея главной фигуры. Быть можетъ, для него не была важна сама жертва; быть можетъ, главная задача его, превосходно выполненная, состояла именно въ изображеніи толпы, о которой сейчасъ было говорено. Какъ бы то ни было, главныя лица евангельскаго разсказа въ картинѣ не поставлены на первый планъ. Я не могу согласиться съ толками о томъ, что грѣшница непохожа на грѣшницу, что Христа будто бы „искать надобно", что въ его изображеніи художникъ потерпѣлъ полную неудачу. Не видимъ ли мы каждый день на нашихъ улицахъ такихъ же грѣшницъ, только что выступившихъ на путь грѣха, за который въ библейскія времена побивали камнями? Взгляните на грѣшницу Полѣнова; не то же ли это безпрестанно проходящее передъ нами, наивное лицо ребенка, не сознающаго своего паденія? Она не можетъ связать его съ горькой участью, ее ожидающею—быть растерзанною толпой, побитой камнями; она, какъ попавшійся дикій звѣрекъ, только жмется и пятится, и ея застывшее лицо не выражаетъ даже ужаса. Мнѣ кажется, оно такъ и быть должно.

Христосъ Полѣнова очень красивъ, очень уменъ и очень спокоенъ. Его роль еще не началась. Онъ ожидаетъ; Онъ

знаетъ, что ничего добраго у Него не спросятъ, что предводители столько же, и еще болѣе, хотятъ Его крови, какъ и крови преступившей законъ Моисеевъ. Что́ бы ни спросили у него, Онъ знаетъ, что Онъ съумѣетъ отвѣтить, ибо у Него есть въ душѣ живое начало, могущее остановить всякое зло.

Полѣновъ взялъ всю сцену, какъ она, по его представленію, должна была быть. Это не группа съ театральныхъ подмостковъ, гдѣ есть главные персонажи, тщательно одѣтые и загримированные, съ художественно выраженными чувствами на лицахъ, а есть толпа статистовъ, одѣтыхъ съ чужого плеча, нелѣпо разставившихъ руки и ноги и еще болѣе нелѣпо и нецѣлесообразно корчащихъ шаблонно актерскую гримасу.

Скажу еще два слова о всей картинѣ. Она ласкаетъ глазъ зрителя прелестью освѣщенія, живымъ расположеніемъ сцены и интересными подробностями. Она красива и интересна даже и для того, кто не захочетъ найти въ ней внутренняго содержанія, или не сможетъ найти его. Взгляните на фигуры задняго плана, на нищаго калѣку, усѣвшагося на лѣстницѣ, на важнаго священника, которому какой-то левитъ менѣе важнаго ранга докладываетъ о случившемся, на выступившаго впереди всей картины терпѣливо-добродушнаго ослика, прищурившаго глаза и развѣсившаго мохнатыя уши. Одна его морда, вырѣзанная изъ полотна, могла бы, подъ названіемъ „Портретъ осла“, служить украшеніемъ иной выставки. Необыкновенно пріятное впечатлѣніе производитъ также отсутствіе сухой академической условности въ одеждѣ дѣйствующихъ лицъ. Въ картинѣ нѣтъ ни одной, что́ называется, драпировки; все это настоящее *платье*, одежда; и художникъ, пристально изучившій востокъ, съумѣлъ такъ одѣть своихъ героевъ, что они дѣйствительно носятъ свою одежду, живутъ въ ней, а не надѣли ее для подмостковъ или для позированія передъ живописцемъ.

Картину купилъ Государь. Если рѣшено, какъ говорятъ,

помѣстить ее въ Эрмитажѣ. то его посѣтителямъ будетъ оказана большая услуга.

II.

Другая, крупная по размѣру и по содержанію картина выставки — „Боярыня Морозова“ Сурикова. Опять толпа, и опять преступница. Но преступница — не робкая, запуганная дѣвочка, а женщина въ полномъ сознаніи своей правоты и силы, и толпа не разъяренная, готовая растерзать, а толпа созерцающая, свидѣтельница подвига.

Одна изъ знатнѣйшихъ боярынь своего времени [1]), уже во время немилости къ ней царя Алексѣя Михайловича назначенная говорить „царскую титлу“ на свадьбѣ его съ Н. К. Нарышкиной, т.-е. занимать первое, среди боярынь, мѣсто въ царскомъ свадебномъ чинѣ, вдова брата знаменитаго друга царя Михаила, воспитателя царя Алексѣя, въ теченіе всей его молодости бывшаго правителемъ государства — скованная по рукамъ, брошена въ убогія дровни, не прикрытыя даже рогожей, и подъ карауломъ стрѣльцовъ отправлена въ тюрьму (Печерскій монастырь). Что могла сдѣлать эта женщина? За что ее вытащили на всенародный позоръ?

Она сама говоритъ намъ это. Высоко поднявъ гордую голову, съ полубезумнымъ выраженіемъ экстаза, она широко размахнула руками, скованными желѣзами и, поднявъ правую, сложила ее двуперстнымъ знаменіемъ. „Тако крещусь, тако же и молюсь!“ восклицаетъ она. Что для нея эти „юзы“! Когда за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ близкій человѣкъ говорилъ ей о томъ, что, навлекая гнѣвъ царя, она можетъ погубить своего маленькаго сына, „красотѣ котораго сколько разъ государь, и съ царицею, удивлялись“ („а ты его ни во что полагаешь!“), она отвѣтила: „Христа люблю болѣе сына.

[1]) Домашній бытъ русскихъ царицъ, Забѣлина, стр. 105—148.

Вотъ что́ прямо вамъ скажу. Если хотите, выведите моего сына Ивана на Пожаръ и отдайте его на растерзаніе псамъ, устрашая меня, чтобы я отступилась отъ вѣры... не помыслю отступить благочестія, хотя бы и видѣла красоту, псами растерзанную!"

Она была ревнительницей древняго благочестія. Два перста „Іисусъ" были святыней души ея, вмѣстѣ съ старымъ складомъ жизни по идеаламъ Домостроя, душнымъ, темнымъ, куда въ ту эпоху едва лишь началъ проникать свѣтъ настоящей человѣческой жизни. Какъ пчелы замазываютъ воскомъ и узою всякую лишнюю щель въ своемъ ульѣ, такъ и она стремилась схорониться отъ свѣта; завела въ своемъ домѣ обитель изъ пяти старицъ, пріютъ для всевозможныхъ нищихъ и юродивыхъ, радовалась „зря въ нощи на правилѣ себя съ ними стоящую"; сама постриглась и отдала себя подъ начало нѣкоей матери Меланіи, женщинѣ, какъ видно, тупой, безконечно ниже ея стоявшей, отдала, ибо „зѣло желаше несытною любовію иноческаго образа и житія".

Протопопъ Аввакумъ былъ вѣрнымъ ея другомъ и наставникомъ. Другіе ревнители старой вѣры поддерживали и подкрѣпляли ее. Интересны совѣты ихъ, служившіе ко спасенію души. „Въ нощи возставъ, соверши *триста* поклоновъ и *семьсотъ* молитвъ... Въ вечеру мѣру помни сидѣть; поклоны, егда метаніе по колѣну твориши, тогда главу впрямь держи; егда же великій прилучится, тогда главою до земли; и нощію *триста* метаній на колѣну твори. Егда совершивши *сто* молитвъ, стоя тогда „слава и нынѣ, аллилуія" и тутъ три поклона великіе бываютъ"... и т. д. и т. д. И она прилѣпилась сильною, но темною душою къ этому міру поклоновъ, гдѣ истинными героями являлись люди, подобные юродивому Ѳедору, который „часъ другой полежитъ (ночью) и встанетъ, тысячу поклоновъ отбросаетъ... а иное, стоя, часа съ три плачетъ". „Много добрыхъ людей знаю, а не видѣлъ (такого) подвижника, — говоритъ про него Аввакумъ [1]); — на Устюгѣ

[1]) Житіе Аввакума, изд. Тихонравова, стр. 81, 82.

пять лѣтъ безпрестанно на морозѣ босъ, въ одной рубашкѣ, я самъ сему самовидецъ". Самъ Ѳедоръ говорилъ: „Какъ отъ мороза въ теплѣ томъ станешь, батюшко, отходить, зѣло въ тѣ поры тяжко бываетъ: по кирпичью тому ногами тѣми стукаешь, что̀ каганьемъ; а на утро опять не болятъ".

Что же это за удивительная жертва, чему она приносится? Велика была ея потребность, и не было ей исхода. Не было живой жизни, широко раскрывшей бы передъ Ѳедосьей Прокопьевной свои объятія, куда бы она могла отдать свою дѣятельную любовь, страстность, энергію и самоотреченіе. Какъ въ темномъ ящикѣ, жили люди, создавая себѣ искусственный, призрачный міръ привязанностей. Всѣ они говорили о Христѣ, но подъ „Христомъ" подразумѣвалось только безсмысленное сложеніе перстовъ, да надобность „отбрасывать" тысячи поклоновъ и отмораживать свои ноги до того, чтобы онѣ по „кирпичью стукали". Слабые лучи свѣта новой жизни безпокоили этихъ мучениковъ для мученичества; они видѣли, что ихъ призраки блѣднѣютъ, и когда засіяетъ этотъ свѣтъ, считавшійся ими дьявольскимъ навожденіемъ, то и совсѣмъ исчезнутъ, а въ жертву этимъ призракамъ было уже принесено много, такъ много, что они не могли не сдѣлаться драгоцѣнными. И они ненавидѣли этотъ свѣтъ, похищавшій ихъ сокровище. И на картинѣ Сурикова, и въ дѣйствительности, бѣдная женщина столько же ненавидѣла вражій міръ, сколько любила свои призраки.

Она кончила жизнь, не уступивъ ни на іоту. На „увѣщаніяхъ" она держала себя такъ, что ей сказали: „Послѣ того ты не Прокопьева дочь, а бѣсова дочь". Она радовалась, когда ее подняли на дыбу, и говорила: „Вотъ что̀ для меня велико и поистинѣ дивно: если сподоблюсь огнемъ сожженія въ срубѣ на Болотѣ. Это мнѣ преславно, ибо этой чести никогда еще не испытала".

Ее сослали вмѣстѣ съ сестрою, раздѣлившею ея подвигъ, въ Боровскъ. Тутъ, въ гнилой земляной тюрьмѣ, она скончалась почти отъ голода. Въ полномъ изнеможеніи она про-

сила караулившаго ее стрѣльца: „Очень изнемогла я отъ голода и хочу ѣсть. Помилуй меня, дай мнѣ калачика“.— Боюсь, госпожа, отвѣтилъ стрѣлецъ. — „Ну, хлѣбца“. — Не смѣю.—„Ну, мало сухариковъ“.—Не смѣю.—„Ну, принеси мнѣ яблоко или огурчиковъ“. Стрѣлецъ не смѣлъ ничего дать ей. „Добро, чадо! Благословенъ Богъ нашъ, изволивый тако! Если невозможно тебѣ это, то сотвори послѣднюю любовь: убогое это тѣло мое покройте рогожкой и положите меня подлѣ сестры неразлучно“.

Умирая, она просила вымыть ей сорочку. Воинъ взялъ ее и снесъ на рѣку, и тамъ, „моя водою малое это платно“, лицо свое слезами омывалъ, жалѣючи боярыню.

Такъ кончила жизнь вельможная жена, владѣтельница 8.000 душъ крестьянъ и имѣнія, оцѣниваемаго на наши деньги въ нѣсколько милліоновъ.

Картина Сурикова удивительно ярко представляетъ эту замѣчательную женщину. Всякій, кто знаетъ ея печальную исторію, я увѣренъ въ томъ, навсегда будетъ покоренъ художникомъ и не будетъ въ состояніи представить себѣ Ѳедосью Прокопьевну иначе, какъ она изображена на его картинѣ. Такъ Грознаго трудно вообразить въ иной тѣлесной оболочкѣ, чѣмъ та, какую придали ему Антокольскій и Рѣпинъ. Изможденное долгимъ постомъ, „метаніями“ и душевными волненіями послѣднихъ дней лицо, глубоко страстное, отдавшееся одной завѣтной мечтѣ, носится передъ глазами зрителя, когда онъ уже давно отошелъ отъ картины. Толкуютъ о какой-то неправильности въ положеніи рукъ, о какихъ-то невѣрностяхъ рисунка; я не знаю, правда ли это, да и можно ли думать объ этомъ, когда впечатлѣніе вполнѣ охватываетъ, и думаешь только о томъ, о чемъ думалъ художникъ, создавая картину— объ этой несчастной, загубленной мракомъ женщинѣ.

Толпа Сурикова, само собою разумѣется, не такъ живописна, какъ толпа Полѣнова. Она одѣта не въ граціозные

библейскіе костюмы, она не залита южнымъ солнцемъ и расположена не передъ входомъ въ знаменитый прекрасный храмъ, а тѣснится на сугробахъ снѣга, на узкой московской улицѣ, среди странныхъ маленькихъ построекъ, расписанныхъ съ причудливостью неразвитого вкуса. Но грубые московскіе люди въ шубахъ, тѣлогрѣяхъ, торлопахъ, неуклюжихъ сапогахъ и шапкахъ стоятъ передъ вами, какъ живые. Такого изображенія нашей старой, допетровской толпы въ русской школѣ еще не было. Кажется, вы стоите среди этихъ людей и чувствуете ихъ дыханіе.

Художникъ ясно показалъ отношеніе тогдашняго общества къ непокорной боярынѣ. Тутъ есть и свои, и чужіе, и равнодушные. Изъ своихъ, первая—сестра Морозовой, кн. Авдотья Прокопьевна Урусова, съ плачемъ идущая рядомъ съ санями, въ которыхъ влекутъ сестру. Тутъ и другіе явные сторонники старой вѣры: странникъ съ котомкой и нищая старуха съ сумой, стоящая на колѣняхъ, не скрывающіе своего сочувствія къ плѣнницѣ, и превосходно задуманная и выполненная фигура юродиваго, сидящаго босикомъ и въ рубищѣ на снѣгу. Это не Ѳедоръ, который въ то время уже былъ повѣшенъ, а одинъ изъ подобныхъ ему. Его багровыя отъ мороза, скрюченныя ноги, полунагое тѣло, едва прикрытое грязнымъ рубищемъ, тяжкія вериги, воспаленные, гнойные глаза, облысѣлая голова безъ шапки, повязанная платкомъ, возбуждаютъ состраданіе и ужасъ. Онъ такъ же, какъ и Морозова, выставилъ общее имъ знамя: сложилъ руку двуперстнымъ знаменіемъ и показываетъ его ей, какъ бы говоря: „Такъ, такъ, государыня! обличай блудню еретическую“. Глубокую жалость возбуждаютъ эти несчастные, гибнущіе изъ-за призраковъ!

Кромѣ этихъ людей, никто не смѣетъ выразить своего сочувствія такъ открыто и смѣло. Женщины большею частью молчатъ; горько пригорюнившись, стоитъ богатая старуха; испуганно выглядываютъ монахини—быть можетъ, тѣ изгнанныя инокини, которыхъ пріютила въ дому своемъ мученица:

только не видно между ними старицы Меланіи. Она умѣетъ только учить смиренію и посту, грозить потерею спасенія, и не попадаетъ ни на виску, ни въ гнилую боровскую тюрьму. Есть въ толпѣ и равнодушные, совсѣмъ посторонніе: татаринъ, глазѣющій на зрѣлище, иностранецъ въ чудной шапкѣ, вдумчиво смотрящій на странную, мало понятную ему сцену. Нѣсколько мальчиковъ, тоже прибѣжавшихъ посмотрѣть на увозъ боярыни, представляютъ собою замѣчательное разнообразіе и типовъ, и отношенія къ зрѣлищу. Съ жаднымъ любопытствомъ бѣжитъ одинъ изъ нихъ, размахивая какъ-то всѣмъ тѣломъ, одѣтымъ въ нагольный тулупъ, и ногами, обутыми въ бархатные шитые сапоги; его лица не видно, но зрителю ясно, что это зѣвака, который ни за что не пропуститъ интереснаго зрѣлища. Въ другомъ зашевелилась мысль: онъ уперся глазами въ лицо этой странной женщины, выкрикивающей свое исповѣданіе; трудно понять ему, въ чемъ именно дѣло, но онъ чувствуетъ, что оно идетъ о правдѣ и неправдѣ, и родившаяся мысль растетъ; превосходно выразилъ это художникъ. Невольно, смотря на этого мальчика, думаешь о томъ, что онъ будущій сподвижникъ только-что родившагося тогда Петра. Тутъ и третій, невинно скалящій зубы, потому что видитъ, что другіе смѣются. А смѣются многіе. Смѣется мужикъ, везущій боярыню и замахнувшійся вожжами на лошадь, медленно выбирающуюся изъ сугробовъ; смѣется боярынъ, смѣется и попъ. Ему, можетъ быть, и нѣтъ дѣла до того, какъ слагать персты: онъ крестится такъ, какъ повелѣли великій государь и святѣйшій патріархъ. Онъ оскалилъ беззубый ротъ и ехидно усмѣхается, глядя на бунтовщицу.

Я долженъ признаться, что, по моему мнѣнію, въ изображеніи этого попа художникъ не совсѣмъ правъ. Очевидно, онъ не любитъ этого попа, онъ немного даже подчеркиваетъ: смотрите, подлый человѣкъ радъ насилію. Такъ задуманный попъ выполненъ необыкновенно живо и хорошо. Но если разобрать хорошенько, кто былъ настоящимъ *внутреннимъ* насильникомъ, то окажется, пожалуй, что не угнетаемые. О,

дайте этой Морозовой, дайте вдохновляющему ее, отсутствующему здѣсь Аввакуму власть — повсюду зажглись бы костры, воздвиглись бы висѣлицы и плахи, рѣкой полилась бы кровь, и бездушные призраки приняли бы многую жертву. Аввакумъ, не имѣя власти, находилъ возможность учить „лаею“ и жезломъ, и стегалъ ремнемъ несогласныхъ съ нимъ въ самой церкви. Что́ же бы сдѣлалъ онъ на мѣстѣ патріарха и тихаго царя, доведеннаго до измора, выведеннаго изъ терпѣнія упорствомъ женщины, которую и онъ, въ челѣ всего московскаго общества цѣнилъ и уважалъ, и которую онъ только послѣ большихъ нравственныхъ терзаній послалъ на освященную вѣками, неизбѣжную виску?

Да, велика сила слабости! Какая бы дикая, чуждая истинной человѣчности идея ни владѣла душой человѣка, какіе бы мрачные призраки ни руководили имъ, но если онъ угнетенъ, если онъ въ цѣпяхъ, если его влекутъ на пытку, въ заточеніе, въ земляную тюрьму, на казнь — толпа всегда будетъ останавливаться передъ нимъ и прислушиваться къ его рѣчамъ; дѣти получатъ, можетъ быть, первый толчокъ къ самостоятельной мысли, и черезъ много лѣтъ художники создадутъ дивныя изображенія его позора и несчастія.

СТИХОТВОРЕНІЯ.

I.

ПЛѢННИЦА.

Прекрасная пальма высокой вершиной
Въ стеклянную крышу стучитъ;
Пробито стекло, изогнулось желѣзо,
И путь на свободу открытъ.

И отпрыскъ отъ пальмы султаномъ зеленымъ
Поднялся въ пробоину ту;
Надъ сводомъ прозрачнымъ, надъ небомъ лазурнымъ,
Онъ гордо глядитъ въ высоту.

И жажда свободы его утолилась.
Онъ видитъ небесный просторъ,
И солнце ласкаетъ (холодное солнце!)
Его изумрудный уборъ.

Средь чуждой природы, средь странныхъ собратій,
Средь сосенъ, березъ и елей,
Онъ грустно поникнулъ, какъ будто бы вспомнилъ
О небѣ отчизны своей;

Отчизны, гдѣ вѣчно природа пируетъ,
Гдѣ теплыя рѣки текутъ,
Гдѣ нѣтъ ни стекла, ни рѣшетокъ желѣзныхъ,
Гдѣ пальмы на волѣ растутъ.

Но вотъ онъ замѣченъ; его преступленье
Садовникъ исправить велѣлъ —
И скоро надъ бѣдной, прекрасною пальмой
Безжалостный ножъ заблестѣлъ.

Отъ дерева царскій вѣнецъ отдѣлили,
Оно содрогнулось стволомъ,
И трепетомъ шумнымъ отвѣтили дружно
Товарищи-пальмы кругомъ.

И снова задѣлали путь на свободу,
И стекла узорчатыхъ рамъ
Стоятъ на дорогѣ къ холодному солнцу
И блѣднымъ чужимъ небесамъ.

3 марта 1876 г.

II.

Нѣтъ, не дана мнѣ власть надъ вами,
Вы, звуки милые поэзіи святой;
Не долженъ я несмѣлыми руками
Касаться лиры золотой.
Но если сердце злобой разгорится,
И мстить захочетъ слабая рука —
Я не могу разсудку покориться,
Одолѣваетъ злобная тоска,
И я спѣшу въ больныхъ и буйныхъ звукахъ
Всю желчь души истерзанной излить,
Чтобъ хоть на мигъ одинъ забыть о мукахъ,
И язвы сердца утолить.

Январь 1876 г.